АЗБУКА ВЕРЫ

Всеволод Владимирович Крестовский

Кровавый пуф. Книга 2. Две силы

Художественная литература · azbyka.ru

Кровавый пуф. Книга 2. Две силы – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/krovavyj-puf-kniga-2-dve-sily

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

Кровавый пуф. Книга 2. Две силы

Всеволод Владимирович Крестовский

Часть первая

I. Сюрприз на пути в Варшаву

Станция Луга. Двадцать пять минут. Буфет!

Хвалынцев вышел из вагона и, вместе с толпой алчущих и жаждущих пассажиров, направился в залу, где дымящиеся блюда разнообразных снедей, среди столов, покрытых свежим бельем, ясным хрусталем, бутылками и цветами, так вкусно и приветливо манили к себе взоры и аппетит проголодавшихся путешественников.

Он спросил себе обед и, с торопливостью — по большей части свойственною непривычным железнодорожным путникам, которые боятся опоздать при роковом звонке — принялся истреблять поданные ему блюда.

Но не успел он еще изрядно потрудиться над крылом пулярки под рисом, как вдруг почувствовал, что кто-то сзади хлопнул его по плечу самым приятельским образом.

Константин обернулся и просто ошалел от изумления.

Перед ним стоял и улыбался Свитка, воочию тот самый Свитка, который давеча проводил его на железную дорогу и простился, так что Хвалынцев был убежден, что посвятитель и ментор его остался в Петербурге, а он вдруг — на тебе! — через четыре часа пути является тут как тут, нежданный, негаданный.

— Вы какими судьбами? — пробормотал изумленный Константин Семенович.

— Хм… Не судьбами, батюшка; судеб вообще нет, а есть железные дороги и непредвидимые случайности, и вот в силу одной из таковых случайностей я и еду с вами.

Хвалынцев недоверчиво поглядел на него.

— Но ведь вы же, провожая меня, сколько я понимаю, никак не располагали отправиться вместе? — заметил он, — и вдруг…

— И вдруг отправился!.. ха, ха, ха… оно, точно чудно немножко, но… в нашем деле, батюшка, случается иногда непредвидимые и совершенно неожиданные случайности: одна из таких, говорю вам, и постигла меня.

— Но когда же, наконец, она успела вас постигнуть, если вы, не думая ехать, простились со мной за три минуты до отхода машины?

— А вот в эти-то три минуты и постигла.

— Действительно чудно… Нельзя не согласиться! — с скептической улыбкой заметил Хвалынцев. — Куда же вы едете?

— По пути с вами.

— Я это вижу, но далек ли ваш путь?

— О, еще пространствуем малую толику! Я еду в Литву.

— Надолго?

— Мм… смотря по тому, как потребуют обстоятельства… Впрочем, не думаю, чтобы надолго: недели на полторы, на две — не более.

— И что же, это вы сами надумали ехать?

— Напротив, я и не воображал. Меня послали.

— Хм…

И кроме этого "хм!" Хвалынцев ровно ничего не нашел ответить ему, хотя в душе и подумал себе, что тут что-то не так… В душу его закралось темное подозрение: уж не с тою ли, мол, целью, чтобы следить за каждым его шагом, приставлен к нему этот Свитка? — "Чего доброго, они, может, думают, что я обману их доверие, что я изменю им, и потому так зорко следят за мною?" думалось ему. "Хм… Ну, все равно, пусть следят, осторожность, говорят, не мешает".

— Вы ведь во втором классе едете? — отнесся к Хвалынцеву Свитка.

— Во втором.

— А я в третьем. Я и билет-то себе взял только на Царскосельской станции, а дотуда заплатил уже в вагоне обер-кондуктору.

— И как же вы это так — без белья, без вещей, безо всего?

Свитка только улыбнулся и беззаботно махнул рукой.

— Есть мне когда думать о таких пустяках! — сказал он. — Были бы деньги со мною, а прочее все вздор! Сорочку лишнюю куплю себе в Вильне, в первом попавшемся магазине, а не то и добрые люди одолжат на время, а больше мне ничего и не надо. Послушайте! — как бы под впечатлением новой мысли, предложил он Хвалынцеву. — Пересаживайтесь-ка ко мне в третий! В третьем, конечно, менее комфорту, но зато гораздо веселее и занимательнее. Ей-Богу! Третий класс не лишен даже своего рода поучительности. Садись-ка право! А когда захочется спать, для пущего комфорту, пожалуй, и я тогда с вами во второй переберусь.

Хвалынцев согласился, и они поехали вместе.

"Черт их знает", думал себе Константин Семенович. "Это какой-то своего рода театральный эффект, такое неожиданное появление; как будто этого нельзя было сделать гораздо проще?! Или же они, в самом деле, следят за мной?.. Но, если верить им, в их деле участвуют многие тысячи людей, а над каждым из этих тысяч возможно ли устроить такой зоркий и бдительный контроль? Что же касается меня", пришел он к скромному заключенью, "то я пока еще вовсе не такая важная птица в этом деле, чтобы за мною нужно было следить особо. Не разберешь!"

И действительно, разобрать ему всю эту путаницу было невозможно, хотя, в сущности, ларчик открывался просто. Дело в том, что из "Петербургского центра" Свитка, дня за три до отъезда Хвалынцева, действительно получил поручение съездить в Литву для некоторых совещаний и переговоров с местными «филярами», а заодно уж ему было поручено еще и проследить за

Хвалынцевым, убедиться в окончательной прочности его намерений и убеждений и, так сказать, проконвоировать его под своим личным досмотром до возможно дальнейшего пункта, пользуясь этим временем, между прочим, и для того, чтобы пуще и пуще укреплять его мысли, волю, желание и убеждение на новой почве общего дела. Агенты святой народовой справы никогда не упускали даже малейшего случая в этом направлении, если только случай представлял им к тому маломальскую возможность и удобство. Но… Свитка и не подозревал, что именно его-то последняя миссия и заронила в душу нового адепта первое семя сомнения.

— Послушайте, Константин Семенович, — весело и радушно предложил он как-то во время пути, — ведь и для вас, и для дела, в сущности, решительно все равно, приедете ли вы в Варшаву несколькими днями раньше или позже; никто от этого, при настоящем положении дела, не выиграет, не проиграет, могу вас смело уверить в том моим словом. А я вам хочу предложить одну маленькую, но очень приятную экскурсию.

— Что такое? — с некоторым недоверием спросил Хвалынцев, уже невольно ожидая еще какого-нибудь нового сюрприза.

— А вот что: хотите вы познакомиться с нашей милой патриархальной Литвой? — предложил Свитка. — Могу вас уверить, знакомство это ни в каком случае не будет для вас лишним. Край превосходный, и посмотрите, как он дивно настроен! Вот уж именно, батюшка, если где можно с пользой для дела поучиться чему-либо, так это у нас, в Литве! Мы с вами проехались бы немного по краю, побывали бы у кой-каких помещиков… Поглядите на них… Может, и понравятся вам… А что за женщины! О, какие женщины, черт их возьми! Ей-Богу, поедемте! — соблазнял Свитка. — Побываем мимоездом в Вильно, в Гродно, вы тут по крайней мере воочию посмотрите, что такое были наши польские да и вообще европейские города в XVII и XVIII веке; ведь там, батюшка мой, чуть не на каждом перекрестке что ни дом, то целая история двух столетий! Да и вообще знакомство с целым краем, в общей сумме знаний, вещь далеко не лишняя, а жизнь и путешествие нам почти ничего не будет стоить — разве сущую безделицу… Итак, решайте-ка! — подал он в заключение свою руку. — Поедем, тем более, что все это продлится дней пять-шесть, ну, много неделю, но уж никак не дольше.

Хвалынцев, после нескольких соблазнительных увещаний, дал ему слово.

II. Впечатления по дороге Литвою

Пески, болота, тощие речонки, тощие пашни на глинистом или песчаном грунте, сосновые леса и тоже большей частью на песке; вереск да очерет, опять пески и пески, опять леса, леса и болота; убогенькие и словно пришибленные к земле серые деревнюшки; убогие и точно так же пришибленные иссера-белые крестьяне, которые при встрече с проезжим *не* мужиком уничиженно обнажают головы; тощие маленькие лошаденки рыжей масти; жиды на подводах с бочками водки; нищие при дорогах; набело вымазанные глиной корчмы с жидами и жиденятами; кое-где на выгонах убогая скотинка; свиньи под каждым забором, в каждой деревенской луже; высокие кресты на плешинах песчаных пригорков, обозначающие убогие, не обнесенные оградами кладбища; такие же высокие кресты, там и сям разбросанные по полям, вблизи и вдали, на сколько хватит око, целые группы крестов при деревенских околицах; кое-где аллеи пирамидальных тополей при въездах в панскую усадьбу; высокие, белокаменные, крытые черепицей, двухбашенные костелы и низенькие, убогие, почернелые, покосившиеся набок православные церкви; сытый, усатый пан в нетычанке; самодовольно выбритый ксендз на сытой лошадке и грязно, убого одетый священник пешком или в хлопском полукошеке — голь, нищета, какой-то гнет, какая-то бесконечно унылая, беспросветная пришибленность, забитость, скудость во всем и повсюду, — вот то неприглядное впечатление, которое с первого взгляда сделала эта хваленая «Литва» на свежую душу Хвалынцева,

привыкшего доселе к широким картинам великорусской, поволжской жизни. Он не воздержался, чтобы не высказать эти впечатления своему спутнику.

— Хм! — злобно и не без горечи ухмыльнулся в ответ ему Свитка. — Вас поражает пришибленность! а кто довел край до такого положения, как не русское правительство?

— Но, позвольте-с, — не совсем смело на первый раз возразил Хвалынцев, желая сделать возражение свое и поделикатнее, но в то же время так, чтобы в нем и некоторая доля «самостоятельности» проглядывала. — Позвольте-с, ведь то же самое правительство и в великорусских губерниях, а разница меж тем сильно заметна.

— Хм... И то да не то!.. оно так только кажется. Свой своему по неволе брат, а здесь ведь край чужой, заграбленный — ну, так и дави его! Чего жалеть-то! В этом-то и вся нехитрая правительственная система.

— Ну, нельзя сказать, помещики на вид у вас глядят-таки сытенько, а крестьянин вон только подгулял на этот счет, — заметил Хвалынцев.

Свитка, с коварной усмешкой, как будто согласился в душе с возражением Хвалынцева, но нарочно, посвистывая, отвернулся в сторону и сделал вид, будто не расслышал или не обратил внимания на заключения своего спутника.

— Но уж, надеюсь, вы никак не станете утверждать, — начал он через минуту, — что это край русский. Худо ли, хорошо ли, но это у нас свое, самобытное, литовское! Да-с! Возьмите хоть самую внешность края, возьмите ее вы, человек мимоезжий, чужой, и скажите по совести: представляется ли все это вам краем русским? Разве хоть эти вон кресты, эти костелы не говорят вам прямо, что здесь католицизм и Польша?

В это самое время, как будто нарочно, неподалеку в стороне, показалась убогого, жалкого вида православная церквица с покосившимся восьмиконечным русским крестом.

— Что это, костел? — обратился Хвалынцев к подводчику.

— Гэто?.. не, паночку, гэто церква! — указал тот на убогий сруб своим кнутиком.

— Ну, а это-то как же? — с пытливым сомнением взглянув на Свитку, возразил Хвалынцев. — Попы да церкви-то как же?

Свитка с ироническим пренебрежением подфыркнул и скосил свои губы.

— Пфе! Ну, уж нашли возражение! — сказал он. — Попы!.. да ведь эти все попы или насажены сюда вашим же правительством, или насильно обращены из униатов! Правительство и церквей настроило, обману ради. Тоже ведь своя пропаганда. Но только обмануть-то ему никого не удастся.

Хвалынцев замолчал и на минуту погрузился в некоторое раздумье.

— Но отчего же эти церкви в таком жалком виде, если правительство настроило их ради пропаганды? — снова принялся он упорно возражать, воображая тем самым поддержать свою самостоятельность и независимость мнений. — Ведь для такой пропаганды, которая действует обманом, нужен блеск прежде всего?

— Отчего-с? А оттого, что здесь крестьянство и весь народ вообще душой предан католицизму

либо же бывшей унии и ненавидит всекаемое православие, — горячо заговорил Свитка, как бы заранее предчувствуя торжество своей аргументации. — Оттого, что в костел идет народ охотой, а в церковь по полицейскому принуждению, загоном. На благоустройство костела жертвует и пан, и холоп свою лишнюю копейку, а на церковь никто вам ни гроша не даст, а ремонтные деньги, что идут на поддержку от правительства, благочинные да попы в свой карман кладут, да на бумаге фантастические итоги выводят. Вот вам и причины этого "жалкого вида", да и вообще православная церковь жалка и бедна здесь потому, что она чужда всем и каждому, а костел здесь свой, и свой потому, что в нем польская вера, польский дух, а на их стороне все народные симпатии, и вы это увидите, вы сами убедитесь в этом. Вот, погодите, поедем мы с вами по помещикам. Ведь вы имеете, конечно, понятие о том что такое ваш великорусский помещик? — спросил Свитка опять-таки с каким-то затаенным коварством в душе, с какою-то внутреннею двусмысленностью и вообще не без задней мысли.

— Отчасти-с. Сам ведь тоже принадлежу к их лику, — ответил Хвалынцев.

— Ну, да вы-то исключение. А вот вы посмотрите-ка на наших! Это, батюшка мой, по общему убеждению, действительно представители краевой интеллигенции и цивилизации; тут хоть и патриархальность, но в ней есть движение, жизнь есть, отсутствие косности. Да впрочем что! Я хвастаться не хочу, а вы лучше сами увидите, сами посмотрите отношения их к общему делу, и вот в чем именно задатки нашего будущего успеха. Вся Польша, вся Литва, это как один человек!

Просвещая таким образом своего спутника, Свитка чуть ли не всю дорогу избирал Литву и местные отношения почти исключительной темой своих разговоров, и, пока они были друг подле друга, нельзя сказать, чтобы старания Свитки оставались бесплодны; он имел преимущество компетентного аборигена перед мимоезжим пришлецом, и Хвалынцев поневоле верил, если не всему, то очень и очень многому, потому что прежде всего он верил в безусловную честность самого Свитки, и если порой наплывала на него некоторая тень сомнения, то он старался гнать ее, как чувство недостойное порядочного человека, раз уже отдавшегося душой известному "делу".

III. В корчме

— Мы с вами, любезный друг, едем теперь к пану Котырло — старый мой добродей и золотая душа! — сообщил на последней смене лошадей Василий Свитка, который, по наблюдениям Хвалынцева, с тех пор как охватило его литовской жизнью и природой, как стал дышать родным литовским воздухом, сделался как-то слащавее, сантиментальнее, словно этот воздух и природа умаслили и размягчили его душу. О всем литовском он говорил и вспоминал не иначе как с похвалой и некоим сладостным умилением. "Чувство родины", думал про себя Хвалынцев, и потому мало в чем перечил ему относительно «Литвы» и ее прелестей.

— Кто этот пан Котырло? — полюбопытствовал узнать Константин Семенович.

— Э, золотая душа! — подтвердил Свитка. — Чуть-чуть не магнат, батюшка! был два трехлетия понятовым маршалком! И родство, и связи, и состояние! Очень старая дворянская фамилия! А уж как нас примут!

— Да за коим чертом, скажите пожалуйста, мы к нему поедем? — перебил его Хвалынцев, который, зная Свитку за демократа и красного, недоумевал что ему делать у пана Котырло, "чуть не магната", с родством, связями и состоянием.

— Для вас это должно быть вопросом совершенно равнодушным, — заметил Свитка. — А

впрочем, недурно будет, если вы сами посмотрите на быт и жизнь нашего шляхетства. Лишнее знакомство в этом отношении не мешает, и даже будет полезно.

При этих словах Хвалынцев опять-таки уловил в лице приятеля мимолетную улыбку затаенного коварства. Ему показалось, как будто у этого Свитки есть на душе своя особая идея, особая цель, особые планы, которых он не высказывает, но словно желает *подвести* подо что-то своего приятеля и заставить его самого доглядеться и додуматься *до чего-то.*

* * *

Часов около восьми вечера путники наши выехали в местечко Червлёны, которым владел пан Котырло. Сквозь прясло осеннего тумана Хвалынцев заметил обширную, четырехстороннюю площадь, по краям которой вкривь и вкось лепились то серые, то выбеленные домишки, а посредине смутно вырисовывались две башни над темной массой каменного костела. Свитка приказал подводчику ехать в "заездный дом".

Деревянный домишко, к которому с одной стороны прилепилась сквозная галерейка на покосившихся столбиках, а сзади, под одной и той же кровлей, примкнул сарай для возов и лошадей, представлял собой и заезжий двор, и корчму, и клуб для местного населения.

Сыроватый туман от людского дыхания и тютюновый дым, ошибающий запах сивухи, бочка которой лежала на видном месте, несколько серых фигур за большим столом и на лавках вдоль стен, тускло освещаемых, сквозь чадный туман, мутным светом коптящегося каганца; неопределенных лет грязная шинкарка-жидовка; визг и вой нескольких жиденят, мал мала меньше, да суетящийся жид, который обрадовался приезду новых постояльцев, в сладкой надежде на барыши с их постоя, — вот что встретило Хвалынцева, чуть только он переступил порог "заездного дома".

Смежная комната, куда наших путников проводил суетливый еврей, носила название «панской» и отличалась относительной чистотой. Крашеный стол, два прежестких дивана, три-четыре стула грубой работы, да кривое, до невозможности засиженное мухами, зеркало составляли его убранство, к которому надо присоединить еще и те старые, и тоже до невозможности засиженные мухами литографии, какие только и можно еще встретить по захолустным заезжим домам да на почтовых станциях. Тут уже менее ошибало сивушным маслом, но зато господствовал характеристичный еврейский запах чернушки, без семян которой не пекутся еврейские булки.

Предоставив Хвалынцеву располагаться здесь как хочет со всем дорожным скарбом, Свитка тотчас же приказал проводить себя в панскую усадьбу.

Не раздеваясь, Хвалынцев разлегся на одном из жестких диванов и, как человек, которому ровно нечего делать и который достаточно устал с дороги для того, чтобы думать о чем-либо, стал рассеянно глядеть в полураскрытую дверь и невольно прислушиваться к разговору в смежной горнице. Говор был пьяноват, и потому достаточно громок.

Насколько Хвалынцев мог заметить мельком, там сидело несколько крестьян, и между ними человек лет под сорок, который и наружностью, и манерами своими старался приблизиться к типу мелкого шляхтича-официалиста. По его жилетке и длиннополому сюртуку, по его смазным сапогам, усам и бакам, спускавшимся под подбородок, почти безошибочно можно было заключить, что этот субъект, которого мужики не без некоторой почтительности титуловали "добродеем, мопанковм и паном Михаилом", принадлежит либо к числу приказчиков вотчинной панской конторы, либо же просто к панской дворовой челяди.

— Цяперь ни-ни!.. Цяперь воля! — разглагольствовал один из пьяненьких крестьян, энергически ударяя по краю стола закорузлой ладонью. — Треба тальки Богу та Цару дзяковаць што вызволиу!

— Яб яму ще й больш подзяковау, каб ион мяне вызволиу спад Янкеля! — заметил на это другой, не менее пьяненький крестьянин, намекая не без задней мысли на суетливого корчмаря-еврея. — Спакуль пан не зъеу, то Янкель зъесц! Заусим съесць, бадай яму!..

— Н-н-ну? — гнусаво и не без претензии на амбицию протянул Янкель с характерно еврейской растяжкой и певучестью. — Сказжит спизжалуйста, Янкель изъел. Зацем я тибе изъел и сшто я изъел? Н-н-ну?

— Чаго "ну"! — азартно приподнялся мужик. — Ты у мяне за сколькі квартоу мого пол-кавалка зямли на рок узяу? га?.. За дзевяц квартоу? А я цябе засеяу, тай зняу хлеб, тай пазвазиу у пуню за сколькі квартоу?.. га?.. За три?.. Уся моя праца тай увесь мой хлеб за двадцать квартоу пайшоу! А цяперь мяне аж на полкварты веры нема! А больш таго праз цябе пропасць повинен и заусим, з дзецями! Усё гаспадарство гэть до черта! А усё праз цябе!

— Не ты адзин, куме! И усе так-то! усе пад Янкелем! и усе спад Янкеля живуць! — примирительно заметил третий, с безнадежностью махнув рукой, словно желая выразить, что таковой порядок вещей предопределен уже свыше непреклонной судьбой и ничего, значит, против него не поделаешь.

— Н-ну-у? Хай зжонка несе сштуку халсцины, я цебе дам аж цалу кварту! — свеликодушничал Янкель.

Мужик только взглянул на него исподлобья и, укоризненно помотав головой, в бессильной и сдержанной злобе отвернулся в сторону. Очевидно, у жинки не было уж в запасе лишней штуки холста, за которую Янкель столь соблазнительно сулил целую кварту водки.

— Павер на бирку? Ну што, бачь, табе! — убеждал Янкеля кум примиритель, которому тоже весьма желательно бы было распить с кумом по лишней чарке.

— На биркэ? — ухмылялся Янкель. — А он-то и сшто такого? — красноречиво указал он на дверной косяк, на котором в длинном ряде сделанных мелом черточек последовательно отмечалось количество отпущенной в долг водки. — Болш на биркэ а ни ниц!

— А сколькі ты наддау? Как мы не знали таго! — элегически убеждал кум, намекая корчмарю на самовольные и плутовские прибавки черточек на дверном косяке.

— Н-ну, малчи, сшволачь! — презрительно возвысил тот голос и отвернулся, явно показывая вид, что не намерен долее продолжать разговор с такими грубыми мужиками.

— Пачайкайце, Панове! Я вам пагажду! — вмешался дворовый. — Гей, Янкель! Став кварту за мяне! Дай Боже на здарове панам, бо каб не пан, дак бы и горелки не пакупиць!

— Але?! — протянул один из мужиков, кидая вопросительный взгляд на дворового. — Чи ще й мало было батогоу?

— А што ж ион сблаговол гля цябе?[1] — вступился дворовый.

— А не? не сблаговал? — насупив брови, горячо возразил пьяненький и потому расходившийся кум. — Што было шкоды якой, то усё ад няго! Нада прауду казац! Нас было у бацка три сыны —

ледва усих троих у солдаты непоздавау, тай то двох здау, адзин я застауси, бо пад мерку не падайшоу, а тоб бацьку з маткой по миру хадзиць! А сколькі батогоу праз его-мосць изъеу! А цеснота, а беднота! А дзеучать сколькі пашкодзиу нам? ой, та што там, Боже мой… Млостно й гутариць![2] Пан!.. Не пан а черт ион быу гля нас! От-што!

— Гэто так, так! — одобрительно подтвердили некоторые из состольников; — прауду кажучи, треба вяльми Богу та Цару дзяковац за волю, бо цяперь хоць батожиць, може, не будуць; а й то згодно![3]

— А усё ж без паноу Цар недау бы и воли, бо панам так схацелось, каб хлопи вольны были, от Цар и зрабиу по-паньскому! — наперекор общему мнению возразил дворовый, очевидно принявший на себя защиту панских интересов.

— Ай, што брехаць непутно! — махнув рукой, как на пустые речи, выкрикнул пьяненький кум. — Паны!.. А што ж паны упярод не хацели каб нам воля была, а цяпер удруг схацели яну?.. С чаго ж так?.. Полна, добраздею.

— Наш пан заусягды хацеу! — упорно отстаивал панский защитник.

— Наш пан?.. Ге-ге!

При этом возражении хлопы — себе на уме — только усмехнулись.

— Але! — подтвердил дворовый, — бо йон сильно магущи пан и багат незличито! И есць у няго много й золота, й сяраб-ра, й бумажной манеты, и йон як захоче, то усих сваих хлопоу адзалациць! Нада только з им пакорна абхадзицца та слухац яго воли: што укаже, то й мусим рабиць, и усим нам з таго згода будзе!

— А то так… так, так! — поддакнул и Янкель, — бо взже йон вельки пан! И усшё и сшто захоцыть, то из вам й изделаиць! И сшам пан ассессоржи[4] Асессор — становой пристав. и сшам пан шпраник, и усшё началство зпод пана зживуц, и сшам энгерал-гибернатор из им вельки пшияциулек! Ну-у, и сштошь ви тут говоритю!

— Пачайкайце, Панове! Пачайкайце трошку! — не без некоторой восторженности стал жестикулировать дворовый, возвысив свой голос. — Паны хацяц каб скарейш наврацилася Полыца, и як тольки яна наврацицца, нам усим тоды жицье будзе, як нетреба найлепш![5] уся зямля наша, уся воля наша, ни начальства, ни падушных, ни чего не будзе, а будзем мы усе роуно як паны! Каб тольки Полыца!..

— Полыца!.. Ге-ге! — возразил ничем не довольный и во всем скептичный кум. — Дзед мой помёр ще за й за тридцать рокоу, так я ще тодысь памятую, йон сказувау яка така была та Полыца, бадай яну черци драли! Щей й горш было, як при панщизне!

— Ну, горш панщизны не може й быць! — заметили некоторые.

— А забий мяне Бог, кали не горш! Стары людзи кажуць! Стары людзи не ашукаюць.[6] Яны лепш, як мы памятуюць сабе.

В это время из усадьбы прибежал казачок звать Хвалынцева в дом, так что Константин лишился уже возможности быть невольным слушателем разговоров, имевших для него даже некоторую долю поучительности. Наскоро поправив свой туалет, он пошел вслед за казачком, думая себе: "ну, каков-то этот пан Котырло?"

Пьяные речи корчемной публики намного противоречили тем розовым картинам, которые рисовались столь идиллически-яркими красками в рассказах Василия Свитки. Все то, что из-за полупритворенной двери удалось Хвалынцеву расслушать в этой пьяной, но не лишенной смысла беседе, навело его на некоторые мысли, породившие в душе еще и еще несколько зачатков новых сомнений. Противоречие выходило явное. Свитка говорит, что между хлопом и помещиком дружба, любовь, согласие и взаимная поддержка, а речь подгулявшего хлопа дышит неудержимой ненавистью к благодетелю пану. Свитка говорит, что народ ненавидит русское правительство, а пьяный хлоп тепло благодарит Русского царя за волю, в которой пока еще, — да и то сомнительно, — видит единое лишь благо, что, может, теперь паны не станут уже больше его батожить. Свитка говорит что народ спит и видит, как бы поскорей возвратилась прежняя Польша с ее порядками, а пьяный хлоп проклинает эту желанную Польшу хуже чем недавнюю барщину. Свитка говорит, что у здешнего народа нет ровно ничего общего с народом великорусским, а между тем он, Хвалынцев, отлично с первого разу понимает речь этого народа, которая отличается только некоторыми местными особенностями. Свитка говорит, что здесь везде и во всем чистейшая Польша, веет польский дух, звучит польская речь, а между тем он, Хвалынцев, вместо польской речи слышит белорусский, родственный по духу и смыслу говор; польский же дух находит только в дворовом человеке, да отчасти в шинкаре-еврее, которые оба по своему положению терлись и трутся более около панства, приходят с панством все-таки в большее соприкосновение, чем хлоп-земледелец, и потому действительно заражаются польским духом. — "Но где же здесь собственно Польша?" думает себе Хвалынцев. — Где же она? В этих придорожных крестах? В этом костеле? В этой усадьбе разве?"

Он вступил в широкий, обсаженный пирамидальными тополями панский двор, и встречен был дружным лаем собак, от которых казачок ретиво отмахивался кнутиком, выгадывая таким образом безопасный проход своему спутнику.

IV. "Палац сломяны"

Длинный, низенький, одноэтажный деревянный дом, с высокой соломенной кровлей, бока которой справа и слева были срезаны, — дом с выдающимся посередине крыльцом, которое таким образом делило его посредством сеней на две равные половины, взглянул на Хвалынцева из вечерней мглы рядом освещенных окошек. По сторонам двора, вокруг и около, можно было разглядеть несколько жилых и хозяйственных построек, разбросанных без всякого порядка, в каком-то хаотическом виде.

Едва вступил Хвалынцев в сени и стал скидать с себя верхнюю одежду, как дверь из залы отворилась и на пороге ее, в сопровождении Свитки, показался сам пан Котырло, и притом с самым радушным, предупредительным видом.

Это был мужчина лет за пятьдесят, весьма еще бодрый и несколько дородный, очень живо напоминавший собою тех неслужащих дворян-помещиков, которые, большую часть своих досугов посвящая лошадям и собакам, арапникам и зайцам, стараются всю наружность свою, весь склад свой, весь тип свой приблизить к типу лихих, старослуживых отставных майоров-поляков, которые любят, чтобы в отставке их титуловали полковниками.

Пан Котырло, пожимая обеими руками руку Хвалынцева и весь расплываясь в сладко-приветливой улыбке, еще в сенях обратился к нему на французском языке с приветствием, которое заключалось в том, что он душевно рад видеть у себя человека родственной национальности, с которым познакомился уже заочно из рекомендации Свитки, и потому-де просит войти в свой дом, как в дом искреннего друга. Это приветствие и весь склад его, очевидно, были уже несколько обдуманы заранее.

Хвалынцев вступил в залу, где и был представлен всему семейству. Ему тотчас же с самой предупредительной любезностью был предложен на почетном месте, возле самого хозяина, стул за длинным чайным столом, вокруг которого сидело теперь все общество. На столе было вдоволь наставлено разных разностей: варений и печений, на которые вообще такие мастерицы польские хозяйки. Тут были и бабы, и мазурки, и сухаречки, и вендлина, и шинка, и палатки, и кишки, и колбасы — и все это в большом изобилии. Тут же красовались какие-то разнокалиберные, сбродные чашки, блюдцы и стаканы, и глиняная крынка со сливками, прямо с погреба, и великолепнейшие тарелки старого саксонского фарфора под жирными кишками и палатками, и простой молочник с отбитым носком и со склеенною сургучом ручкой.

Все семейство пана Котырло в отношении Хвалынцева сразу же постаралось выказать самый радушный прием.

Сама пани Котырло, высокая худощаво-болезненная женщина, лет уже за сорок, постоянно хранила как бы несколько обиженный и богомольный вид, поджимала губы и закатывала порою глаза, но в сущности казалась бабой не злой. Она держала себя с некоторой церемонностью, очевидно, желая изобразить собой особу весьма хорошего тона. Подле нее лежал ворох корпии, которую она щипала очень тщательно, с богомольным видом сестры милосердия. Такие же ворохи корпии за этим столом Хвалынцев увидел еще перед двумя или тремя особами. Две дочери — две панны Котырлувны, прилежно занятые шитьем мужских сорочек и портов из самого грубого холста, весьма напоминали собой пухлый, сдобный папушник домашнего печенья. Видно было, что они с младенчества и по сей день отлично выкормлены в деревне на сытых помещичьих хлебах. Из себя довольно крупные, сильно и здорово румяные, востроглазые и смешливые, хотя и не очень-то грациозные, они постарались сразу завладеть Хвалынцевым и, вперебой друг дружке, обратились к нему на польском языке с банальным вопросом: "давно ль он в ихних краях и как нравится ему Польша?" — и только тогда лишь, как заметили, что гость их затрудняется ответом, не вполне точно уяснив себе смысл любезных вопросов, обе решились повторить их на языке французском.

— О, мы вас будем учить по-польски. Непременно будем! — тараторили обе Котырлувны. — И мы вас выучим! наверно выучим! И отлично!.. Ведь вы же кое-что понимаете?.. Это такой прекрасный язык!.. Язык Мицкевича!

— Кое-что — да! — согласился Хвалынцев. — В вашем языке есть много общего с русским…

— Мм… то есть *с русинским,* или вообще со славянским, но не с московским, pas avec la langue moscovite! — заметили ему на это панны, оставшиеся как будто несколько недовольны тем, что Хвалынцев заявил о сходстве польского языка с русским.

Они, в отношении своего гостя, с первых же минут пустили в ход то особое, не больно хитростное и не больно суразное кокетство, которое свойственно большей части этих паненок, выросших среди деревенских усадеб, промеж окольных заматерелых соседей, и все старающихся копировать, впрочем, по большей части весьма неудачно, одну из героинь Мицкевича, сантиментальную Зосю.[7]

Тут было и стреляньe глазами, и наивничанье, вовсе не наивное, и некоторое жеманство, с претензией походить на грацию котенка; но хорошего во всем этом было, по крайней мере, то, что оно казалось искренно. Видно было, что паненки наскучались в деревне и рады-радехоньки новому человеку, да еще молодому, да еще и столь недурному собой!

Молодой панич, их братец, являл из себя довольно красивого, но упорно молчащего юношу, в длинных сапогах и серой чамарке. Кроме этих лиц, составлявших семейство пана Котырло, тут

же находилась еще не то племянница, не то сирота какая-то; потом еще нечто блеклое и сухопарое, вроде бывшей гувернантки, а ныне — род компаньонки или ключницы. И та, и другая сидели за шитьем портов и сорочек, точно так же, как и обе паненки.

Когда Хвалынцев впоследствии, под конец уже вечера, нескромно полюбопытствовал узнать, для чего собственно они в восемь рук столь прилежно занимаются шитьем из столь грубого материала, то они в некотором замешательстве сперва значительно переглянулись между собою, а затем уже одна из паненок ответила ему не совсем-то уверенным голосом:

— Это так… просто, для домашних надобностей… ничего более!

Далее от экс-гувернантки, за тем же столом, скромненько и тихонько сидел какой-то дальний, пожилой и притом бедный родственник, конечно родовитый шляхтич, всегда подобострастный к пану и пани; а потом еще тоже родственник, только уже под стать паничу-сыну, казавшийся чем-то вроде великовозрастного, но некончалого гимназиста, который на все очень добродушно, но очень глупо улыбался и пучил глаза. Но за исключением болтливой гувернантки, все это были лица без речей, служившие лишь для пополнения семейной картины и щипавшие корпию. Они и жили, и пили, и ели в Котырловской усадьбе, выказывая за то своим патронам чувства глубокой почтительности и благодарности, выражавшиеся в гуртовом целовании рук у пана и пани, после каждого завтрака, обеда, чая и ужина, причем, впрочем, экс-гувернантка и пожилой родственник самого пана Котырло лобызали не в руку, а в плечо.

— Как вы хорошо сделали, что приехали именно теперь, а не позже! — застрекотала одна из паненок, обращаясь к обоим приятелям, и потому ухитряясь с необыкновенной быстротой одну и ту же фразу произносить по-польски и тотчас же переводить ее, Хвалынцева ради, по-французски. — Я говорю, что вы необыкновенно хорошо и умно сделали, приехавши теперь: у нас тут послезавтра киермаш, гости понаедут, охоту устроим — вот весело-то будет!.. Я вас заранее ангажирую на первую кадриль, — стрельнула она на Хвалынцева.

— А жалоба? — заметил Свитка, указав глазами на ее траурное платье.

Паненка несколько смутилась.

— Жалобу скинем на этот раз! — храбро поддержала ее сестрица.

— А что скажут? — продолжал Свитка.

— Ай, Иезус!.. "Что скажут"!.. Но мы так давно не танцевали!.. Вы, впрочем, не думайте, чтобы мы были дурные польки! — поспешила она заверить. — О, нет! далеко нет! И вы увидите! Мы вам докажем! Но ведь ужасная же скука, а это так редко удается!.. И, наконец, ведь в Вильне танцевали же все, публично, на Бельмонте, да еще как! Самые знатные дамы!..

— Да, но там была политическая цель! — возражал Свитка. — Там граф Тышкевич делал визиты портному и открыто катался с ним в своем экипаже; там первые аристократки танцевали с мастеровыми, с ремесленниками, с лакеями, даже с сапожниками,[8] но там оно понятно: там дело шло о пропаганде слияния.

— А мы разве не можем устроить то же с нашими хлопами? — восприимчиво подхватила шустрая паненка. — О, непременно устроим! И я заранее предлагаю вам тур вальса на погибель Москвы! Ну-с, посмотрим: как добрый патриот, посмеете ли вы отказаться от этого тура, если он будет предложен вам с такой идеей?

Свитка любезно и смиренно склонил свою голову, в знак покорности и согласия.

"Бедные паненки"! думал про себя Хвалыннцев. "И потанцевать-то им нельзя просто! Даже и под вальс нужна политическая подкладка!"

Сам пан Котырло, под шумок общей болтовни, вставляя время от времени какое-нибудь слово, вопрос или замечание, старался осторожно выщупывать Хвалынцева с более серьезных сторон. Так, между прочим, смесью французского, польского и даже русского языка сообщил он ему, что теперь Литва серьезно взялась за ум, потому времена-де такие: освобождение и прочее, что паны действительно задумывают серьезное слияние с народом, заботятся о народной нравственности, учреждают братства трезвости, устраивают школы, просвещают, вразумляют и прочее.

— И у меня ведь тоже школа заведена! — не без некоторой благодушной гордости похвалился он. — Ксендз обучает, органист обучает, ну, и они вот тоже иногда, — кивнул он головой на своих дочек. — Если вас этот предмет интересует, я вот вам завтра утром покажу ее.

— И много уже таких школ у вас заведено? — полюбопытствовал Хвалынцев.

— Да таки порядочно. В каждой парафии[9] стараются иметь; нельзя иначе: с этим делом торопиться надо! Дело благое!

— Ну, и успешно идет?

— О, еще как!.. Ведь инициатива-то наша! Да вот вы сами увидите!

— Значит, правительство тут совершенно не заботилось об этом предмете? — осведомился Хвалынцев.

— Мм… то есть как вам сказать! — замялся несколько Котырло. — Правительственные школы, положим, хоть и есть кое-где, но они все в упадке: народ не любит их, да и учить там не умеют.

— Что ж за причина? — удивился Хвалынцев.

— А причина, видите ли, та, что там поп, а здесь ксендз.

— Так что ж? — выразил гость еще большее удивление.

— О, Боже мой! — компетентно улыбнулся Котырло. — Вы спрашиваете "что ж", да кто же не знает, что наш ксендз во сто раз ученей попа и образованней, и цивилизованней! Ведь поп здесь ничем почти не отличается от хлопа: та же грубость, то же невежество! Тогда как на стороне ксендза и знание, и уменье, и метода, и любовь к делу; и, наконец, ксендз, как хотите, и роднее, и ближе мужику, — одним словом, симпатичнее: мужик ему верит, мужик его любит, уважает его. От этого и успех такой в наших школах. Тут все-таки *свое*, а там — извините — наяздовое, чужое.

Деля внимание свое одновременно между разговором пана Котырло и болтовней его дочек, Хвалынцев в то же самое время оглядывал и обстановку, среди которой он находился.

Эта обстановка делала на него своеобразное и, до некоторой степени, даже странное по своей новизне впечатление. Свитка еще заранее рекомендовал ему, как идеал старопольского радушия и довольства, Котырловский "палац сломяны", то есть дворец под соломенной кровлей. «Дворец» тем паче должен был заинтересовать свежего, мимоезжего человека. И действительно, оригинальность бросалась в глаза сама собою, с первого взгляда: пан Котырло, обладатель целого местечка, так сказать, крупный собственник, крупный землевладелец,

человек "с состоянием, с родством и связями", с влиянием, как бывший два трехлетия "маршалок понятовы",[10] и наконец "чуть не магнат", как рекомендовал его Свитка, и что же? этот "чуть не магнат" живет в "сломяном палаце" с низенькими, заплатанными окошками, на ржавых железных петлях и задвижках с расщелистым, скрипучим полом, со стенками, беленными мелом и глиной, с низким потолком, настланным на поперечные и ничем не маскированные балки. И тут же вот у пана Котырло висят по мазаным стенам прекрасные старые картины в тяжелых золоченых рамах, между которыми Хвалынцев заметил два приморских вида, созданных, по всем видимостям кистью Жозефа Берне, две маскарадные сцены, на которых явно сказался характер Вато, заметил одного Вувермана, с неизменным, характерным крупом белой лошади. Но рядом же с этими замечательными произведениями висели плохо раскрашенные, чуть не лубочные литографии, из которых одна изображала семейство польского старца-магната, изгнанника, за которым на заднем плане пылает его фамильный замок, сжигаемый московскими казаками, а на другой — известная могила Наполеона на острове Св. Елены, где склонившиеся над могильной плитой деревья образовывают в просветах своими сучьями и ветвями печально склоненный силуэт императора в традиционной маленькой шляпе и даже со шпагой. Тут же стояли старинные бронзы, французские и китайские вазы, старый фарфор на двух простеночных горках; над диваном красовалось большое роскошно-широкое зеркало, и вместе со всем этим жесткая, сборная, неудобная мебель «краёвего», если даже не домашнего изделия, самой грубой, так сказать, Собакевичевской работы, из простой сосны и ясеня. Смежная гостиная, куда все общество, со своими корпиями и шитьем, переместилось после чая, была в том же роде, только сильно припахивала какою-то затхлостью и всецело носила на себе характер времен консульства и первой империи, но в ней, по крайней мере, случайно, или по преданию, был хоть какой-нибудь характер. В этой гостиной у окна стояли неизменные пяльцы с неизменным вышиваньем подушки, для которой делался теперь по узору польский "бялы оржел" со всеми его атрибутами. Над диваном помещалась картина "Страшного суда", где Христос принимает в свои объятия измученную женщину, в цепях и терновом венце, а Вельзевул когтями разрывает на части дебелую бабищу в сарафане и кокошнике, под которою в геенне огненной жарятся и корчатся православные чернецы, генералы, казаки, любодеи, обжоры, Иуда Искариотский и прочие тяжкие грешники; апостол Петр отмыкает врата рая, и в них входит целый легион праведников, одетых в кунтуши и конфедератки. По бокам "Страшного суда" висели портреты: хозяина в маршалковском мундире, опирающегося на книгу, и хозяйки, с пунцовым розаном в ненатурально извороченной руке. Все эти три произведения, обличавшие весьма бесхитростную кисть, были работаны лет пятнадцать тому назад живописцем-самоучкой из дворовых челядинцев одного соседнего помещика, снабжавшего таким образом большой любезностью сломяные палацы и костелы всего околодка произведениями собственного своего крепостного гения. Под "Страшным судом", в старинных инкрустированных рамочках черного дерева, висели рядом две миниатюры на слоновой кости: одна представляла бабушку нынешних внучек- паненок Котырлувн, — в белом коротеньком лифчике на сборках, с громадными коками, с поджатыми губами, как будто бы собирающимися произнести слово pomme, а другая изображала их дедушку, в разукрашенном наряде польского каштеляна. Далее по стенам помещались в рамочках, оклеенных золотым бордюром, литографические портреты разных польских патриотических знаменитостей, да еще кое-какие варшавские виды.

Едва прошел какой-нибудь час с того времени, как все общество из-за чайного стола переселилось в гостиную, едва пан Котырло успел вдосталь похвалиться успехом краевых обществ трезвости, вводимых между хлопами по инициативе ксендзов и помещиков, а панны Котырлувны, вперебой ему, не успели узнать в достаточной точности танцует ли и любит ли гость мазурку, и нравятся ли ему польки (в этом, впрочем, они не сомневались), сама же пани Котырлова не успела вдосталь навздыхаться при воспоминании о последней проповеди отца-визитатора, приезжавшего в соседний кляштор, — как в дверях гостиной появился

доморощенный лакей, в штанах засунутых в голенища смазных сапог, но зато в ливрейном фраке с фамильными пана Котырло гербами, и объявил, что ужин подан. — Прошен', Панове, до коляцыи! — сантиментально-прискорбным, но радушным тоном пригласила гостей пани Котырлова, полуболезненно подымаясь с места и указывая жестом на дверь, — и все направились в столовую комнату, соблюдая неизменную градацию мест и отношений: сначала хозяева с гостями, потом паненки с паничом, а потом уже приживальные лица без речей. Пан Котырло под руку подвел Хвалынцева к маленькому, отдельно в углу стоявшему столику, на котором был поставлен графинчик и старофамильная серебряная чарка. Пожилой, скромный родственник, с меланхолическим видом, медленно потирая руки, уже потаптывался около этого привлекательного столика и косился взором на заветный графинчик, почтительно, хотя и с внутренним нетерпением, выжидая своей очереди.

— Я вас попотчую правдивой старой литевкой! — сказал своим гостям пан Котырло, и сказал это тем отчасти торжественно-таинственным тоном, который всегда служит предварением о чем-нибудь необыкновенном, достопримечательном, чем можно и удивить приятно, и с удовольствием похвалиться. При этом он даже слегка чмокнул кончики своих пальцев, затем взял в одну руку графинчик, а в другую чарку и, держа ее перед Хвалынцевым, с толковым видом знатока стал неторопливо наполнять ее желтоватой влагой литовского нектара. Константин уже было совсем протянул чарке свою руку, как вдруг пан Котырло с поклоном поднес ее к собственным губам и, откинув назад голову, мигом осушил ее. Невпопад протянутая рука гостя торопливо и неловко опустилась книзу, и эта маленькая ошибка несколько смутила и сконфузила Хвалынцева. Хозяин, кажись, заметил это и, опрокинув в себя чарку, тотчас же любезно подал ее Константину, самолично налил доверху и, сделав рукою пригласительный жест с радушной любезностью промолвил:

— Прошен.

Хвалынцев выпил, не успев еще достаточно оправиться от своего конфуза, и почувствовал, как внутри его распространяется какая-то приятная, бархатно-гладящая и живительная теплота. "Стара литевка" была действительно достопримечательна. Но выпив, он подметил, что Котырло, ввиду его смущения, очень хорошо им разгаданного, смотрит на него каким-то улыбающимся, благодушно-ироническим взглядом. Эта подметка была для Константина причиной нового маленького конфуза.

— Что, хорошо? — прищурив глаз, спросил Котырло тоном неминуемо ожидающим похвалы великой.

— Кге!.. действительно, прекрасно!., великолепная водка!.. никогда еще не пил такой! — крякнул Хвалынцев, ощущая внутри приятную жгучую теплоту, разливающуюся, что называется, по всем жилкам и суставчикам.

— Хе, хе, хе! — благодушно усмехнулся Котырло. — А уж это у нас на Литве обычай такой, — продолжал он, в намерении разъяснить Хвалынцеву настоящую причину его конфуза. — У нас всегда первую чарку пьет сам хозяин, а уж потом, тотчас же после себя, передает ее своему гостю и сам наливает. Это стародавний обычай! Хе, хе!.. Польша ведь только стариной и держится!.. А вы уж простите великодушно, потому что мы, поляки, от своих родных и старых обычаев никогда и нигде не отступаем.

— Это похвальная, прекрасная черта! — заметил Хвалынцев. — Но что же он обозначает собою, этот ваш обычай?

— А вот видите, — самодовольно пояснил Котырло. — Обычай этот идет вот откуда: случалось в

былые времена, что на пирах и на банкетах иногда отравляли вином какого-нибудь гостя, соперника там, что ли, по любви, по выборам, по наследству, или тяжебника, понимаете? Ну, конечно, в древности чего не случалось... Так вот с тех пор у нас и обычай такой завелся, чтобы хозяин пил не иначе как первый из той самой чарки и из той самой бутылки, из которых он потчует своего гостя. Это для того, видите ли, чтобы гость был совершенно покоен, что ни чарка, ни водка не отравлены. Ну, конечно, старина, обычай, — вы понимаете? Прошу покорно до коляцыи!

И он под руку повел Хвалынцева к столу и посадил рядом с собою.

"Хороши, однако, нравы и обычаи были", подумал про себя Константин Семенович.

Стол наполовину только был покрыт грязною-распрегрязною скатертью, которая уже черт знает сколько времени была в употреблении, так что пестрела со всех концов разными масляными, винными, суповыми и соусными пятнами. За столом прислуживали: какая-то задрипанная, зашленданная и грязная-распрегрязная девка, рваный и заплатанный казачок, босиком, и лакей в фамильном фраке с аристократическими гербами. Девка поражала глаз своей смоклой грязью, казачок влиял на аппетит шмыганьем своего носа и тасканьем из оного, а лакей действовал на обоняние вонью сала и дегтя от своих смазных сапожищ, красовавшихся на нем вместе с аристократической ливреей.

Хвалынцев развернул салфетку и увидел, что она, подобно скатерти, была вся грязная-распрегрязная, затертая, пятнистая, давно уже незнакомая с мытьем и притом вся в дырьях, вся рваная от долгого употребления. Но тем не менее в одном из углов ее красовался шифр пана Котырло и неизвестно по какому праву приплетенная над шифром графская корона. Остальные салфетки были точно так же грязные и дырявые. Но зато между столовыми вещами кое-где виднелся богатый хрусталь и саксонский фарфор, и все это точно так же с графскими коронами и Котырловским шифром!

Ливрейный лакей внес и поставил перед экс-гувернанткой большую, дымящуюся миску с кипяченым молоком, в котором изобильно плавали «оборанки», нечто вроде наших российских клецок. Когда тарелка этого блюда была поставлена перед Хвалынцевым, причем казачок, подавший ее, оставил на закраине ясный след своего грязного, окунутого в молоко пальца, то пан Котырло не без самодовольства пояснил своему гостю, что это национальное польское блюдо называется «мнихи» и при этом посоветовал подложить в него "еще трошечку" масла да подсыпать перцу, соли и сахару, что и исполнил для самого себя в количестве весьма изобильном. Хвалынцеву польские «мнихи» не понравились, но он принудил себя съесть тарелку.

За этим блюдом шли неизменные: "б*и*гос" и "зразы с кашей", потом жареный "генсь зе сливками и з яблоками" и потом "налесн*и*ки зе повидлами". Все это запивалось разными наливками: малинувкой, вишнювкой и помаранчувкой", а в заключение последовала вдруг, совершенно неожиданно для Хвалынцева, жирная "кава за сметанкой". Он не привык ужинать и притом был уже давным-давно сыт, но хозяева так радушно и насильно подкладывали ему на тарелку и так изобильно подливали в рюмки, что он, наконец, нешутя, стал опасаться за свой желудок и свою голову. Это чересчур радушное гостеприимство, напоминавшее собою всеславянскую Демьянову уху, начинало уже походить на нечто вроде настоящей физической пытки, так что Хвалынцев под конец ощутил в себе даже злобственное настроение духа.

Вскоре после ужина, который стоил доброго обеда, путников наших отпустили на покой. Казачок проводил их через двор в отдельный флигель, где для них была уже приготовлена вытопленная комната с постелями, в которых подушки были непозволительно мягки, а тюфяки

заменялись «сенниками», т. е. большими мешками, набитыми сеном.

— Фу-у!!.. Слава тебе, Господи!.. Наконец-то! — с облегченным, но ие без злобы вырвавшимся вздохом произнес Хвалынцев, разлегшись на своем сыроватом сеннике, когда казачок совсем уже удалился из комнаты.

— Чего вы? — приподнявшись на локте, уставился на него глазами Василий Свитка.

— Одолели, проклятые! — пробормотал Константин Семенович.

— То есть, что это?

— Да все, мой батюшка!.. Ну, ударь раз, ударь два, да и удовольствуйся; а то ведь все боксом да боксом!.. Эдак ведь, пожалуй, и лопнешь!..

— Закормили? Хе, хе, хе!.. — ухмыльнулся Свитка. — Зато, батюшка, по-нашему, по-польски!.. Ну, а как вам понравилось?

— То есть, что понравилось?

— Да все вообще?

— Мм… как вам сказать!.. Я нахожу, что все это, в сущности ужасное свинство.

Свитка при этих словах даже привскочил с постели.

— Вот те и на! — смеясь, воскликнул он. — То есть, что вы собственно называете свинством? Объяснитесь пожалуйста!

— Свинством? — да *все,* если угодно! — отозвался Хвалынцев, пыхтя своей папиросой. — Это лучше всего я вам объясню сравнением.

— Ну-с?!.. Очень любопытно. Я вас слушаю.

— А вот, видите ли-с, — начал Константин, — меня прежде всего поражает здесь эта странная, какая-то таборная, полуцыганская обстановка быта и жизни. Я, надо вам сказать, достаточно хорошо знаком со всевозможными обстановками великорусской помещичьей жизни, начиная от великолепных тузов славнобубенского дворянства и до последней мелкой сошки. Но картины этой жизни совсем не подходят к картинам той: тут у вас, действительно, нечто свое, не похожее на великорусский быт.

— Ну, вот то-то же и есть, что свое! сами соглашаетесь! — перебил Свитка.

— Погодите любезный друг! — возразил Хвалынцев. — Дело-то, вот видите ли, в чем: там, бывало, если помещик являет из себя туза, так уж он туз до конца ногтей своих, до малейшей подробности своей жизни, а если грязнец, то уж так во всем и всегда грязнецом и смотрит. Там, бывало если человек только *тянется,* чтобы походить на туза, так уж он из кожи лезет для этого, и наружную свою обстановку, так или иначе, но уж устроит, по возможности, соответственным образом, хоть и знает, что в перспективе через это имению наверное грозит продажа с молотка. А если нет у него таких стремлений и нет достатков, то уж на нет и суда нет! Вообще там у нас, как мне кажется, все как-то *проще,* беспритязательнее, соответственнее действительной сущности дела, потребностям и жизни.

— Ну-с, а здесь?.. — не без некоторой иронии подстрекнул его Свитка.

— А здесь, — начал Хвалынцев, — меня поражает, и уже не в первый раз, ряд противоречий, которые для непривычной натуры звучат рядом крупных диссонансов.

— Хм… Это любопытно! — заметил Свитка. — Объясните, пожалуйста.

— А вот сейчас. Там у нас, вот видите ли, грязца, так грязца, а комфорт, так уж комфорт, черт возьми! Здесь же… здесь полнейшее отсутствие порядочности в обиходных привычках жизни и тысяча самых кичливых претензий и магнатски-спесивых замашек. Здесь нет потребности и, кажись, нет даже самого понятия о настоящем достоинственном, человечески самоуважающем комфорте жизни, несмотря на средства и достатки. Зато куда как много есть крупной, но — извините за откровенность — дико шляхетской спеси!.. И это сказывается как-то невольно, само собою, с первого разу, с первого взгляда!

— То есть, в чем например? — несколько нахмурился Свитка.

— Во всем-с! — подтвердил Хвалынцев. — Не говорю уже о чересчур сельской простоте этого сломяного палаца, но эти Вато, Вуверманы, Берне рядом со "Страшными судами" и "Могилами Наполеона", эти севры и саксы рядом с крынками и рваными грязными салфетками, эти гербовые ливреи с заплатами и смазными сапожищами, — все это, батюшка мой, ках хотите, выходят магнатские претензии с прорехами.

На этих словах Свитка вдруг погасил свечку и со словами: "Ну, прощайте, однако, я спать хочу!" — решительно перевернулся на другой бок, лицом к стенке.

Хвалынцеву показалось, что приятель остался как будто не совсем-то доволен его откровенным и столь обильным словоизлиянием. Он и сам сознавал, что, увлекшись откровенностью, сказал, быть может, несколько лишнего, несколько такого, чего бы человеку политикующему, находясь в чужом месте, под чужой, национально враждебной, но столь назойливо гостеприимной кровлей, не следовало бы вовсе высказывать, но… в то же время он чувствовал, что несколько рюмок разных вишнювок, малинувок, помаранчувок и прочего невольно развязали язык его.

…"И черт его знает, что оно такое!" думается Хвалынцеву, мысль которого сама собою все возвращалась к предмету только что оконченных откровенных излияний. "Это ведь не спесивая голь, не наследие дон-Сезар де-Базана и ведь не прорехи бедности, — нет, напротив! тут во всем виден достаток, видны хорошие средства: но это просто неумение жить, незнакомство с порядочностью жизни, с комфортом, с гармоническим соответствием житейской обстановки; тут просто отсутствие порядочных привычек, просто нравственное захолустье какое-то и прирожденное свинячество, которое въелось в плоть и кровь и стало достолюбезным!"

И вот при всех этих мыслях и впечатлениях, Хвалынцев опять и опять-таки должен был сознаться, что хваленая Литва пока еще ровно ни в чем не показалась ему привлекательной.

"Или уж я сам такой закоренелый русак, и все мне это, значит, чужое", подумалось вдруг ему, "или у меня уж такое скверное расположение духа за все эти дни, или… или уж я и не знаю, наконец, что это такое!.. Знаю только одно, что все это мне крайне не по душе, но… ведь я-то сам, я ведь с ними, я ведь за них… Что же в них есть хорошего?.. Что?"

"Цезарина!" в ответ на этот вопрос подшепнуло ему какое-то глубоко затаившееся чувство — и яркий, красивый образ польской женщины, на несколько мгновений, снова встал, со всем своим обаянием пред его нравственными очами…

V. Szkolka dla dzieci viejskich[11]

Эту надпись прочел Хвалынцев на доске над крылечком небольшого домика, куда на другое утро повел его и Свитку обязательный пан Котырло. Перед этим они только что осмотрели хозяйственные постройки, стодолу, сараи, конюшни и птичник, скотный двор, винокурню, овчарню, псарню, мельницу, и гости не могли не заметить, что на всем этом хозяйстве лежала печать прочного, солидно-помещичьего благосостояния. Особенно понравились Хвалынцеву совсем почти незнакомые в Великороссии красивые и вековечные постройки сараев из полевого булыжного камня, скрепленного надежным цементом. Контраст между "палацом сломяным", как личным обиталищем пана Котырло, и всеми этими хозяйственными заведениями, расположенными хотя и хаотично, но зато построенными вполне солидно, прочно, хозяйственно и прекрасно, не мог не броситься невольно, сам собою в глаза его гостям. Пан Котырло хотел, что называется, товар лицом показать, и потому, произведши уже на гостей приятное впечатление своим материальным благосостоянием, намеревался теперь поразить их заботами о нравственном и умственном благосостоянии своих «подданных» и потому-то напоследок уже привел их в устроенную им сельскую школу.

Когда они вошли туда, там уже кишела как будто нарочно собранная напоказ толпа ребятишек, человек до тридцати, в присутствии сельского ксендза, — и учитель их, местный костельный органист, в наипочтительнейшем согбении, подошел к ясновельможному пану и облобызал его руку; ксендз же, которому была протянута рука, слегка облобызал панское плечо, за что был награжден мимолетным небрежным поцелуем в висок. Вообще, на поцелуи в руку и в плечо пан не изъявил ни малейшего сопротивления, из чего Хвалынцев справедливо заключил, что эти лобызания тут дело обычное. Ребятишки тоже было бросились подобострастно целовать, но уже не руку, а только полу панского пальто; однако процедура эта, вероятно, показалась пану слишком продолжительной, и потому он всех их прогнал на места, явно желая, впрочем, обнаружить при этом отеческую ласковость тона.

Наружность школьной комнаты сделала на Хвалынцева очень благоприятное впечатление: отсутствие всякого сора на полу, чистота стен, шкафчик с книжками, несколько простых длинных столов со скамейками, на стенах литографические изображения из Евангелия и из Библии, вроде историй блудного сына, Иова многострадального, Юдифи, отрубающей голову нечестивому царю Олоферну, Фараона, гибнущего с войском в пучине морской, десяти казней египетских и прочего в роде назидающем и устрашающем. Затем тут же висела таблица с портретами "крулей польских", портреты Костюшки, Собиеского, Понятовского и Мицкевича, а в переднем углу несколько образов, между которыми, кроме неизбежных Ченстоховской и Остробрамской, красовались "свенты Станислав, патрон польскен', свенты Казимерж, патрон Литвы и свенты Юзеф, патрон Руси". У входной двери на стене было повешено маленькое распятие с раковинкой — «кршестельничкой», в которую была налита вода святая, дабы каждый входящий, буде он только добрый католик, мог бы омочить в нее конец большого пальца и сотворить крестное знамение. Все это, как нельзя более гармонируя одно другому, вполне соответствовало понятию о самой образцовой, самой благоустроенной сельской школе. Но особенное внимание Хвалынцева остановили на себе надписи вдоль стенных карнизов, сделанные по-печатному черными крупными литерами. Эти надписи, вроде кратких молитв, гласили, конечно по-польски. "Боже, змилуй сен' над нами!" "Боже, збав ойчизнен!" "Под твоен' обронен' уцекамы сен'!" и далее в подобном же духе.

Соображая виденное и осмотренное в это утро, и особенно глядя на эту «школку», Хвалынцев очень горько укорил себя в душе за скороспелость сделанных им вчера заключений о «свинячестве» домашней обстановки и жизни пана Котырло. "Если там и есть это свинячество", подумалось ему, "зато здесь какое благоустройство! зато в каком порядке все

хозяйство!" И он преисполнился в душе некоторого уважения к создателю того и другого и с непритворным удивлением высказал ему, что не ожидал встретить ничего подобного и что сельским школам "у нас, в России", далеко до такого образцового устройства.

Это замечание пролило некоторый отрадный елей на сердце пана Котырло, который с подобающей самодовольной скромностью ответил, что рад всегда, по силе возможности, служить народу.

— Оно хоть и в клерикальном духе немножко, — прибавил он, как бы извиняясь перед Хвалынцевым, лишь только заметил, что тот обратил особенное внимание на стенные надписи, — но кто знает наш литовский народ, тот знает, что для него это всего необходимее.

"Пан органыста", руководимый отчасти ксендзом, стал показывать свою педагогическую деятельность и успехи своих школьников. Прежде всего он заставил их спеть всем хором, на костельный лад, какое-то величание и благодарение благодетельному и "*найяснейшему*" ойцу и пану Котырло за все его великие милости и заботы. Потом некоторые из школьников писали цифири на доске, а некоторые читали по своим букварям. Хвалынцев полюбопытствовал заглянуть в один из них и очень удивился в душе, увидя, что русский язык, то есть местный белорусский говор, на котором в этом букваре были составлены некоторые изречения и правила, изображается вдруг латино-польскими буквами. На первый раз это показалось ему несколько странным, потому что, казалось бы, и естественнее, и проще русскую речь изображать и русской грамотой, но спутник и ментор его, очень хорошо угадав по выражению лица мысль своего Телемака, предупредил его минутное недоумение своим разъяснением.

— Что вы смотрите на букварь? — с улыбкой спросил он вполголоса, в то время как внимание Котырло и прочих было отвлечено ответами учеников. — Верно что он по-польски?

— Да, — кивнул ему Хвалынцев.

— О, это вполне понятно, если вы возьмете в соображение ту непримиримую антипатию, которую чувствует здешний народ ко всему «москевському». Эта антипатия, поверьте мне, простирается даже и на шрифт москевський, и по русскому букварю он вам ни за что не станет учиться!

Пан Котырло, видимо развеселенный и удовольствованный впечатлением, сделанным на гостей его школой и успехами школьников, захотел — pour la bonne bouche — показать степень их бойкости и развития.

— А ну бо, хлопцы! — возвысил он голос (с крестьянами и школьниками Котырло изъяснялся местным говором). — Кто скаже мне цяпер верши? Ну, ты! — обратился он к одному мальчугану из тех, что был побойчее видом, — деклямуй мне верши! "Гуторку двох соседоу" вешь?

— Вем, пане! — бойко вскочил мальчуган с места.

— Ну, деклямуй! А мы послухаем! Они у нас и это умеют! Вы не думайте! — обратился он к Хвалынцеву.

Мальчишка торопливо и монотонно, как заданный урок, стал говорить стихи, видимо стараясь не сбиться и вовремя припомнить следуемое слово:

Мой саколику суседзе,
Муси канец света будзе,

Бо вже надто царь гуляе
И людзей, як псоу, стреляе,
Чувац, што в русской губерни
Гдзе народ яму быу верный
Дзесяць тысяч расстреляли
За то што прауды искали.

— Ну ты, далей! — ткнул Котырло пальцем на следующего мальчугана.

Тот, робея, и еще более боясь как бы не сбиться, продолжал стихи таким же монотонным, но уже заикающимся голосом:

А у Варшаве усе касциолы,
Навет усе жидоуски школы
Ободрали, обокрали,
И люд за касциолоу забрали
Да й у неволю засадили,
Каб больше Бога не хвалили.

— Ты цяпер! Дальщ! — ткнул Котырло еще одного школьника, и тот сразу же подхватил гораздо бойче своего предшественника:

А усе по указу цара,
Може ен нечиста вера,
Антыхрист, што кажуц людзи,
Бо ен вельми круциц, муциц,
Народ Божий баламуциц,
Себе богом называе,
Кто не вериць, тых стреляе.

— От-так, так, хлопче! "Себе богом называе, а кто не вериц, тых стреляе!" Добрже, хлопче! добрже! — перебил его Котырло, видимо довольный всею этою сценою, и потрепал хлопца по щеке в знак своего высшего панского одобрения.

Он не оставил без подобного же благоволения и остальных хлопцев, которые успели отличиться так или иначе перед посетителями, а в знак высшей награды, раздал им несколько копеек и позволил облобызать свою руку. Мальчишки жадно целовали протянутую им панскую длань, но еще жаднее прятали себе за пазуху только что полученные копейки. Последние, как видно, составляли для них лучшее поощрение, чтобы заучивать наизусть подобные "верши".

— Это, конечно, только так… одни лишь шутки, шутки, вы понимаете! — обратился Котырло к Хвалынцеву насчет стихов таким добродушно приятельским тоном, в котором сказывалась как бы просьба о снисхождении и оправдание себя в столь невинной забаве. — Но… знаете, это воспитывает… вкореняет… Это шутки… а они меж тем возбуждают дух… дух, вы понимаете!.. как хотите, а мы все-таки дети Ржечи Посполитой, и этого нам забыть невозможно — никогда и никому, от первого магната до последнего хлопа!

Хвалынцев сочувственно кивнул головой, в подтверждение того, что он действительно понимает; но, в сущности, в голову его засело новое сомнение, вызванное опять-таки новым противоречием. Да и в самом деле, как же это так? Вчера вот в корчме отцы этих детей, в приятельской откровенной беседе, с теплой, живой благодарностью поминают Царя за недавнюю волю, а здесь вот, в школе, дети этих самых отцов, под ферулой пана Котырло,

ксевдза и пана органисты, трактуют того же самого Царя антихристом, который себя Богом называет и стреляет в тех, кто не верит в его божественность.

"Конечно, пропаганда", успокаивал себя Хвалынцев. "Это все понятно, как необходимость со стороны пропаганды, но..."

В этом-то "*но*" и явился камень преткновения, какой-то риф, коварно и предательски скрытый под гладкотекущей поверхностью воды. В пропаганде, направленной подобным образом со стороны помещика, шляхетского пана и "чуть не магната", смутно и почти инстинктивно слышалась Хвалынцеву какая-то ложь, неискренность, задняя, фальшивая мысль, какой-то разлад между лицевою стороною дела и его подкладкой, между жизнью и пропагандой. Но в чем именно кроется этот разлад, эта затаенная фальшь и неискренность, Хвалынцев пока еще не мог объяснить, не умел дать себе ясного отчета. Он только вдруг стал чувствовать, что тут все это дело, кажись, не совсем-то ладно и не совсем-то так выходит, как его уверяли, да и теперь еще всячески стараются уверить.

Потом... потом и еще одно не могло не броситься в глаза: хозяйство пана Котырло так благоустроено, и школа у него такая прекрасная, и так заботился он, по-видимому, об умственной и нравственной пище этих ребятишек, хоть отцы в корчме вчера и сильно-таки поругивали его (ну, да впрочем, темный народ эти отцы!), но вот что грустно: зачем эти мальчишки, то есть большая часть из них, на вид такие все хилые, болезненно-бледные, словно заморенные? Зачем, по крайней мере, две трети из них в эту прекрасную филантропическую школу являются не то что без сапог или в берестяных лапотишках, а чисто-начисто босиком, по холодной ноябрьской грязи и слякоти, и все одеты просто-таки в заплатах, в оборышах, в нищенских рубищах? Отчего это так? Отчего этот пан Котырло, столь богатый и благоустроенный, столь гуманно пекущийся о развитии своих хлопов, которые чуть не вчера еще были его «подданными», не попекся раньше хоть немного о том, чтобы крепостные его в рубищах не щеголяли? Неужели же и в этом все тот же "ржонд москевьский" причинен и повинен?

— Итак, вам понравилась наша школа? — спросил Хвалынцева Котырло, пожимая ему руку с таким радушием, на которое, по-видимому, не могло воспоследовать ничего иного, кроме безусловного комплимента.

— А у вас в России есть подобные школы? — вслед за тем спросил он.

— Может быть и есть где-нибудь, — ответил Константин, — но, говоря откровенно, мне подобное устройство приходится видеть еще в первый раз.

— В России! — пренебрежительно подфыркнул себе под нос Василий Свитка. — В России ничего нет, кроме кнута и острога.

— Грустная истина! — вздохнул, подняв глаза вверх, пан Котырло. — Грустная и горькая истина!.. Но это потому, что в России вообще нет народа, в настоящем смысле этого слова.

Это замечание и удивило, и задело за живое Хвалынцева.

— Виноват, я это не совсем-то понимаю, — заметил он, — и вы конечно извините меня, если после ваших слов я спрошу вас: что вы называете народом?

— *Народом!..* Народ — это *мы,* — уверенно с полным убеждением ответил Котырло.

— То есть... опять-таки прошу извинить меня: кто это мы? Для меня, русака, оно не совсем-то

понятно.

— Мы, то есть цивилизованный слой Польши: духовенство, студентство, н-ну, пожалуй, ремесленники вообще, но, главнейшим образом, тот слой, который свято хранит в себе предания заветной вольной старины, предания свободы и Ржечи Посполитой, то есть шляхетство, магнатерия…

— Понимаю, но… все-таки магнатерия не народ.

— А что же? — подняв брови, живо спросил Котырло.

— Магнатерия — это магнатерия, то есть аристократия, каковой она была везде и повсюду, но это не народ.

В ответ на это Котырло улыбнулся очень вежливо, но очень тонкой улыбкой.

— Н-да, я согласен, — сказал он. — В России и даже, пожалуй, везде это так. Но в Литве и Польше, — а в Литве по преимуществу — народ это магнаты.

— Хм… не зная Литвы, не смею спорить, — сомнительно пожал плечами Хвалынцев. — Но мне кажется, что двадцать-тридцать фамилий еще не составляют того, что называется *народом*.

- О, да! Согласен!.. Ну, а двадцать-тридцать тысяч дворян-помещиков составляют его по-вашему или нет?

— По-нашему? Едва ли?!.. Да и вообще едва ли двадцать-тридцать тысяч составляют *народ,* там где есть несколько миллионов крестьян; не говорю уже о прочих не шляхетных сословиях.

— Ах, господа москали! Вот и все-то вы таковы! — досадливо, но стараясь не потерять вида любезности, воскликнул, пожимая плечами, пан Котырло. — У вас у всех, только Бога ради извините меня, — у вас у всех, говорю я, совершенно фальшивый взгляд на демократию. По-вашему выходит, что и Мирабо не смеет быть демократом потому только, что он *граф* Мирабо. Для вас демократия это — *мужик,* тогда как у нас, поляков, мужик — это есть в сущности не более как сырой, если только не мертвый экономический материал.

Хвалынцев, выпуча глаза, даже откинулся несколько назад от неожиданности такой фразы.

— Не пугайтесь кажущейся резкости такого определения, — мягко, взяв его за локоть, с сладкой убедительностью сказал Котырло. — Не пугайтесь, мой добрый и честный москаль!.. потому что, видите ли, по-нашему народ — это то, что живет, мыслит, чувствует, стремится к свободе, к знанию… то, что цивилизует, подымает нравственно, гуманизирует, образовывает темную, полудикую массу. Вот это народ по-нашему!

— А по-нашему, — возразил Хвалынцев, — это могло быть, пожалуй, вожаками народа, подобно тому как офицеры — вожаки солдат, да и то еще в таком только случае, если бы настоящий народ захотел и согласился признать их за вожаков своих, если бы они сами по духу и по крови принадлежали к тому же народу, были бы, так сказать, плоть от плоти его и кость от кости его.

— Э, Боже мой! — махнул рукой Котырло. — Опять-таки вы употребляете слово *народ* в вашем, извините меня, странном, исключительно московском смысле!

— Я иного не понимаю, — заметил Хвалынцев. — Для меня нет иного понятия в слове *народ;* для меня это только совокупность всех живых сил отдельной нации, без всяких каст, сословий

и различий по происхождению, образованию, капиталу и по чему бы то ни было. Мы не выделяем из народа ни мужика, ни аристократа, ни невежды, ни цивилизованного.

— Хорошо, — согласился Котырло; — но какую же активную силу имеет сама по себе эта темная, нецивилизованная масса, инертивная по самой своей природе? Ведь для хлопа, как и для вашего крестьянина, нет других интересов, кроме интересов его желудка, то есть кроме экономических интересов.

— У нас были 1612 и 1812 годы, — скромно заметил Хвалынцев.

— Ну, опять-таки те же самые экономические интересы, — возразил Котырло, — потому что в первом случае поляки, а во втором французы мешали вашему «народу» отправлять свои естественные, экономические надобности. Мы хорошо понимаем, что «народа» в его настоящем полудиком состоянии не сдвинешь с экономической почвы, и потому-то мы образовываем, цивилизуем его, стараемся всевозможными усилиями поднять его на высоту того гражданственного сознания, что он и мы — народ единый и нераздельный. Не мы до него спускаемся, но его до себя подымаем, и неужели же вы за это осудите нас?

Хвалынцев, не имевший почти никакого понятия об исторических отношениях польской шляхты к ее «быдлу», мог только отдать полную дань похвалы и почтения таковому гуманному стремлению.

— Да-с!.. И вот потому-то, — продолжал Котырло, — шляхетство наше, которое создало для себя такую благородную миссию, и имеет все права называться *народом* по преимуществу. Мы еще только подготовляем мужика, но интеллигенция наша, дворянство наше, духовенство наше — у всего этого только и есть один великий лозунг: "великая, всецелая и нераздельная наша старая Польша".

VI. Маленький опыт слияния с народом

Прибежал запыхавшийся казачок и объявил, что гости едут. Пан Котырло заторопился навстречу этим новым гостям.

По тополевой аллее шибкою рысью приближался шикарный фаэтон, запряженный парою добрых узкошеих и длинноухих коней польской породы. Блестящая упряжь отличалась польско-краковским характером. Кучер в кракуске, с расшитой пелериной, с рядами блестящих наборчатых блях на поясе, с длинным бичом в руке, которым он так громко, так щегольски похлопывал, а сам глядел молодцом и словно бы настоящим кракусом. Гайдук на запятках, не менее молодцевато и как бы беспечно, крестом на груди сложив свои руки, сидел, видимо красуясь своей конфедераткой и чамаркой серого сукна, с зеленой оторокой. Он даже был вооружен револьвером и охотничьим ножом на лакированной портупее, в том роде, как у посланничьих выездных лакеев, и таким образом являл собою как бы стража и телохранителя своего пана, который с сигарой в зубах, в изящнейшем парижском костюме, небрежно покоился на эластических подушках своего фаэтона. Поравнявшись с Котырло, этот пан привстал в своем экипаже и, проносясь мимо, сделал «манифестацию» своей гарибальдийкой, широким размахом руки поднял ее над своею тщательно завитой расчесанной и напомаженной головой. Судя по его «люишке» и по вытянутым в мышиные хвостики усам, Хвалынцев принял было его за характерного француза, но, по объяснению пана Котырло, оказалось, что это Селява-Жабчинский, местный мировой посредник, либерал и bon-vivant, живший большей частью то в Париже, то в Варшаве, и притом большой «авантурник». Теперь для Хвалынцева стало ясно, почему наружность его столь напоминает и парикмахера, и светского шулера вместе. Сильно набеленная и нарумяненная дама, которая сидела подле него, могла бы

показаться если не матушкой, то по крайней мере почтенной тетушкой этого господина; но оказалось, что некрасивая, хотя и желающая быть прелестной, особа — ни больше, ни меньше, как богатая супруга пана посредника; причем значительная разница лет, вероятно, не служила помехой для их семейного счастья.

Фаэтон, сопровождаемый разливистым лаем собак, шикарно подкатил к крыльцу сломяного палаца. Паненки и паничи повыбегали навстречу. Ахи, восклицания, поцелуи — словом: все радости приятнейшей встречи сопровождали прибытие этой четы, которая и по состоянию, и по посредничьему положению пользовалась в избытке ласкательным вниманием и почетом. Тотчас появился завтрак с неизменной "старой литевкой", с жирной «кавой» и всевозможными вкусностями домашней кладовой и кухни. А тем часом и еще новые гости подъехали: пан асессорж Шпарага и пан Косач — земский заседатель. Это, конечно, были гости не важные, но тем не менее люди нужные, и потому отказу в любезностях для них тоже не было, хотя пан Котырло, как родовитый состоятельный шляхтич, бывший «маршалок» и "чуть не магнат" держал себя пред Шпарагой и косачем с заметным оттенком благосклонного к ним достоинства.

После завтрака кракус-кучер, отпрягший уже было коней и занявшийся в людской приятною "люлькою тютуну" в не менее приятной беседе, вдруг был потревожен очень досадным приказанием снова закладывать коней в фаэтон и живее подкатывать к крыльцу.

Пан Котырло, очень оживленно и даже не без громкого хохота разговаривавший о чем-то с посредником в своем кабинете, вышел оттуда с ним облаченный во фраке и готовый, по-видимому, ехать куда-то. Пан Селява-Жабчинский тоже переоделся в этот парадный костюм и, для пущего блеску, навесил на грудь посредничью цепь. О чем они там между собою так весело разговаривали, Хвалынцев, конечно, не знал, но слышал, как, выходя из кабинета, Котырло, со смехом пожимая плечами, говорил посреднику:

— Алеж то глупсьтво, муй пане! то юж надто![12]

— Ну, ну, ничего! Так надо! Едем, едем! — поощрительно похлопывая его слегка по руке около плеча, уговаривал посредник и, натянув свежие палевые перчатки, не без грации изобразил легкий поклон всему обществу. Сели в фаэтон и поехали.

— Куда это они? — спросил Хвалынцев у Свитки, глядя в окно на отъезжавший экипаж.

— Кажись, с визитами, — пояснил тот вкратце.

Часа через два они вернулись, а к этому времени подъехали еще двое гостей — двое помещиков солидного, старосветского покроя, пан Хомчевский, стрелок и латинист-классик, и пан Прындич, просто себе так «старожитный» пан, без всяких индивидуальных отличий.

— Ну, панове, потеха! — с громким смехом влетел в залу парадный посредник, — давно уж такой потехи не видал! Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, потеха!

— А что? А что такое? — оживленно обступили гости вошедших.

— Шляхетный пан маршалок делал визиты своим хлопам! — торжественно пояснил Селява, указывая на Котырло шутливо-церемониальным рекомендательным жестом.

— Ну, вот! Сам же потащил меня! — с полусмущенной улыбкой оправдывался маршалок, который хотя уже и не был маршалком, но всеми без исключения титуловался этим прозванием в силу старого польского обычая, где бывало достаточно человеку раз побыть чем-

нибудь от маршалка до «возного», чтобы потом уже на всю свою жизнь серьезно титуловаться "паном маршалком" или "паном возным".[13]

— Хлопам!.. Визиты хлопам! — выпучил глаза пан Прындич, который был просто себе пан старожитный. Он весь был повергнут в пучину несказанного изумления, тогда как другой пан, Хомчевский, стрелок и классик, улыбкой своею выражал явное недоверие, — шутишь, мол, брат, знаем!

— А ей-Богу же правда. Вместе делали! — подтвердил посредник. — То есть ко всем наиболее влиятельным и богатым, но и к двум тоже самым бедным и ничтожным, pour l'égalité, для уравновешения.

— Да за каким дьяволом, с позволения сказать, извините, понадобилось вам делать визиты к хлопам? — развел руками недоумевающий старожитный гость. — Разве они понимают шляхетное обращение?

— О, ретроград! — с комическим ужасом, качая головой, воскликнул посредник. — "За каким дьяволом!" А я бы посоветовал и вам-то поскорей взяться за ум! Надевайте-ка фрак, да и к своим отправляйтесь, по нашему примеру! Я уж это не в первый раз делаю.

— Алеж за яким дзяблем!? — начиная уже несколько горячиться, повторил ретроград.

— Э! Вы все свое! А интересы слияния?.. Ну, ну и... гражданская равноправность, пожалуй... Нет, это не лишнее, это не мешает... и в свое время, поверьте мне, очень-таки может пригодиться нам! Политиковать, так уж политиковать, мой пане! Вы думаете это наше изобретение, или что мы одни так делаем? Извините-с! Магнаты, князья, графы и те не гнушаются! Почитайте-ка, да послушайте-ка, что делается на Волыни! Вот с кого пример брать надо, если мы добрые патриоты!

— Ну, да! А сам говорит: "потеха"! — кивнул на него головой классик.

— А что ж, и действительно потеха! Только потеха не в том, что мы делали визиты, а в том, как они эти визиты принимали! Ха, ха, ха!.. О, Боже ж мой! Нет, это просто стоит в лицах представить!.. Вообразите себе, например, подъезжаем... гайдук спрыгивает с запяток, бежит, осведомляется: дома ли? принимают ли? могут ли принять?

И пан Селява-Жабчинский очень живо и изобразительно представил в лицах то глупое недоумение и недоверие хлопов, с каким они на первый раз, с непривычки, принимали панские визиты, как пугались бабы и девки, как они, словно шальные, опрометью кидались в хлевы и закуты прятаться от панского посещения, как ребятишки при виде такой паники начинали реветь и визжать со страху, как недоумелые хлопы долго не могли взять себе в толк, что это мол «визит», а не беда какая, не реквизиция, грозящая разорением и ссылкой или солдатчиной, и наконец, как скверно пахнет, какой воздух тяжелый и отвратительный в этих грязных, поганых, противных хатах, такой тяжелый и так это там все грязно, что нужны, мол, вся сила гражданского мужества и все самоотвержение ради великого дела, ради отчизны, чтобы решаться на подобные визиты, но... это необходимо, этого требует долг.

Вслед за тем пан Селява-Жабчинский очень юмористично, обращаясь преимущественно к дамам, рассказал, как они с паном Котырло, чуть не каждый раз стукаясь об низкие притолки дверей, входили в своих фраках и раздушенных перчатках в эти противные хаты, как пожимали руку хлопу (хорошо, что хоть рука-то в перчатке), как рассаживались на лавке, словно в великосветской гостиной, и приглашали хлопа садиться рядом с собою, но глупый хлоп только

кланялся да все пятился от них подальше, либо к печке, либо к двери; как они расспрашивали о том: "все ли он в добром здоровьи? Как поживает его супруга? Что детки поделывают? Хорошо ли идет хозяйство и пр."; как объясняли ему, что теперь он такой же пан, как и они, такой же гражданин равноправный, и что они, мол, все вместе, без всяких различий, один и тот же народ, одни и те же дети общей матери Польши, а глупый хлоп, все-таки с непривычки же на первый раз, только глазами хлопал да кланялся учащенно.

— Впрочем, ничего! доброе начало положено! А там все пойдет уже само собой! — утешался розовой надеждой либерально-шляхетный посредник.

Слушатели с живым участием внимали его веселому рассказу, который очень часто прерывался их неудержимым смехом; но этот смех относился никак не к самому пану Селяве-Жабчинскому.

Хвалынцев, хотя и не вполне еще понимал по-польски, но все-таки понял вею сущность рассказа. Сначала он, по некоторому малодушию, из чувства условного приличия относительно гостеприимных хозяев, которые так искренно и так усердно хохотали, тоже состроил было нечто вроде смеющейся гримасы, но потом, почувствовав весь смысл панского издевательства, он ощутил в душе присутствие некоторого злобного настроения. Ему стало не то гадко, не то больно от этого цинического насмехания и от всего этого бесконечно-иезуитского лицемерия, которое побудило либеральных панов делать визиты, любезничать и толковать о слиянии и равноправности со своими жалкими хлопами, которых эти господа столь глубоко и столь шляхетно презирают.

"Нет! тут опять-таки что-то не то! Опять-таки фальшь какая-то!" подумалось ему снова, и опять в душе защемила боль неясного сомнения.

VII. За стеною

Деревенский помещичий день проходит главнейшим образом в еде, и едою же подразделяется на части: от чая до закуски, от закуски до завтрака, от завтрака до новой закуски, а там до обеда, до лакомства разными вареньями и сластями, до чая, до ужина, после которого эта растительная жизнь завершается сном богатырским на мягких перинах.

В течение всего утра Хвалынцев вдосталь находился и насмотрелся на всевозможные хозяйственные учреждения пана Котырло, так что не грех было и устать, а потому после сытого и, по обыкновению, польски жирного обеда, ему стала-таки улыбаться заманчивая мысль: пойти и прилечь на часочек. Он отправился в отдельной флигелек, где еще со вчерашнего вечера для него и Свитки была отведена комната и где постоянно помещалась контора пана Котырло, в которой, как бы в некоем центральном министерстве, сосредоточивалось управление всеми сельскими и экономическими делами. Комната, занимаемая Хвалынцевым, отделялась от этой конторы одной лишь тонкой дощатой перегородкой, которая, впрочем, доходила вплоть до потолка, но изобиловала достаточным количеством щелей между досками, и эти щели волей-неволей давали полную возможность отчасти видеть и в совершенстве слышать все, что происходит за стеной.

Хвалынцев, питая в душе сладкую надежду на послеобеденный сон, нарочно постарался уйти никем не замеченный, из опасения чтобы паненки так или иначе не завладели его особой, а паче всего не вздумали бы затеять какие-нибудь petits jeux или засадить его за разбитые клавикорды. Маневр ему удался, и потому, пробравшись через двор в свою комнату, он спустил на окошке мату, очень искусно сплетенную из соломы домодельной работой, устроил в комнате полную темноту, улегся самым удобным образом и тотчас же заснул. Но не прошло и получаса,

как сквозь сон до него стали долетать отзвуки какого-то говора, которые наконец-таки и разбудили его. Говорили за стеной в конторе. Хвалынцев перевернулся на другой бок и зажмурил глаза в надежде заснуть вторично. Не тут-то было: застенные разговоры принимают все более и более оживленный характер, и Хвалынцев, хочешь не хочешь, поневоле должен слушать их. Тем не менее, надежда на сон пока еще не окончательно его оставила: он всячески старался уснуть, не обращая внимания на говор, но через несколько минут, с досадой в душе, должен был оставить свои приятные надежды.

За стеной очень явственно можно было различить голоса мирового посредника, самого пана Котырло и нескольких крестьян. Что это голоса крестьянские, Хвалынцев сразу угадал по тому сдавленному, гортанному звуку голоса, которым обыкновенно говорят слабогрудые люди и который служит одним из характеристичных признаков белорусского крестьянина. И помещик, и посредник совокупными усилиями старались, по-видимому, в чем-то убедить призванных хлопов и относились к ним необыкновенно мягким, ласковым, вразумляющим тоном. С мужиками разговор у них шел на том смешанном, не то польском, не то белорусском наречии, которое, кажись, является продуктом чуть ли не местного изобретения самих же панов для объяснений с их хлопами. По крайней мере, польский пан никогда не объясняется с белорусским крестьянином ни на чистом польском языке, как на не совсем понятном для белорусса, ни на местном наречии, искони почитаемом «хлопским», то есть унизительным для шляхетного пана; поэтому житейская практика панов и выработала здесь эту средне пропорциональную мешанину.

Хвалынцев, слушая поневоле, вскоре стал догадываться и разуметь, о чем именно идет дело за стеною. Мировой посредник вместе с паном Котырло всячески старались втолковать мужикам, что если они желают на будущее время остаться крестьянами и получить на выкуп ту самую землю, которой они искони и по сей день пользуются, то "по закону" им придется платить в год по сорока рублей серебром за участок, но что помещик, пан Котырло, "от своей ласки панской", от всего чистого своего сердца желает им, хлопам, сделать добро за всю их верную службу, а потому великодушно соглашается отдать им ту самую землю *на аренду* по двадцати рублей в год за участок; но согласие свое на это дает в том только случае, если они из крестьян перейдут в дворовые, а этот переход в дворовые будет для них "незличито выгоден" в том отношении, что они-де, будучи дворовыми, будут пользоваться льготой и от платежа податей, и от рекрутчины, и что все это в высшей степени благодетельное для них дело есть такой пустяк, в сущности, что стоит лишь им, хлопам, не теряя золотого времени, сейчас же подписать добровольный акт, что они-де отказываются от своих прав на выкуп их участков, а оставляют те участки у себя в аренде — вот и все! А уж перечисление их в дворовые совершится самым законным путем, и это-де не ихняя уже забота, так как сам пан Котырло с паном посредником постараются об этом, но что во всяком случае дворовым быть и гораздо почетнее, и гораздо выгоднее, чем крестьянином, и что пан Котырло единственно из своей ласки панской, из великодушия, для их же добра предлагает им такую прекрасную сделку.

"Мм... не дурно", думает про себя Хвалынцев; "у пана Котырло, как видно, губа-то не дура. Двадцать рублей вместо сорока, аренда вместо выкупа, а в результате, на действительном-то факте одно лишь круглое обезземеленье хлопа... крестьянский пролетариат, вечная зависимость от пана — ей-Богу не дурно! и в то же время гуманные школы, гуманное «слияние», визиты к хлопам, высокие идеи о вольной отчизне, да что же это, однако! И неужели те не поймут и согласятся?"

Однако же хлопы, насколько можно было предположить себе за стеной, стали мяться и почесываться, выказывая раздумчивую нерешительность.

— А вы, паночку, кажеце, што павинны мы по сорок рублеу на рок за кавалок плациць? —

послышался наконец один неуверенный голос.

Посредник подтвердил, что если на выкуп, то "по закону" надо будет по сорока.

— А выбачайце, яснавяльможный! — продолжал несмело другой голос, — бо мы цемны люд, може што й не зрозумели… А как знаць нам, по якому закону?

Посредник несколько замялся и пояснил, что "по закону", то есть собственно значит по уставной грамоте.

Хлопы снова зачесали в затылках и раздумчиво потупились.

— Алежь яна ще й не згатована, ще й не подписана громадой? — заметил кто-то из хлопов.

— А, муй коханы! алежь то вшистко рувне! — ласково стал убеждать посредник. — Не подпысано тераз, ну, усе равно заутра, чи на послезаутра подпишамы, громада же без мала уся сгодилась, лечьбы насчет выгона да лесовых укосов сгодиться бы, а то и скончоно!

— Але! — подтвердили некоторые хлопы.

И посредник вместе с паном снова принялись ублажать неподатливых хлопов и изображать им в самых привлекательных красках всю сладость выгоды, весь почет перехода из крестьянства в дворовые, причем главное что не сорок, а двадцать только, всего-навсего двадцать рублей платить придется!

Крестьяне все еще раздумывали, покрякивали, потаптывались с ноги на ногу и тупили глаза да головы в землю.

— А може й так, выбачайце, паночку яснавяльможный! — заговорил наконец один из них. — Може мой такий дурны розум, а я сабе мыслю так што… ну, добро ж: цяперь мы пираменимся з хлопоу на дворовый, а патым нам вже й не вольно будзе з дваравых та й зноу на хресцьяны абернутьца. То кажу, так?

— А то так, так! — подтвердили и пан, и посредник.

— Ну, нехай, так! И я мыслю сабе, што муси быць так!.. А цяпер пан мне каже, как я за двадцять рубли зняу на гаренду мой кавалок; ну, гэто так, гэто гля мяне гожо. А може й там, патым, праз сколько время, пан мне скажець: невольно больщ за двадцять, а плаци каже напярод тридцать, альбо сорок рубли, кали хочешь гарендбваць, а не то, каже, вон пайшол! Ну, и што ж тоды мне будзе, без земли, без усяво?

И пан, и посредник необычайно поспешили возмутиться таким невероятным и коварным предположением. Селява-Жабчинский принялся уверять, что это вовсе невозможно, что их пан, пан Котырло, такой добрый, такой честный, благородный, великодушный человек, что он не то что не захочет, а и не подумает никогда сделать со своим верным и добрым хлопом подобную мерзость. Пан Котырло со своей стороны клялся и божился, ударяя себя в грудь кулаком и призывая пана Бога во свидетели, что никогда ничего такого и быть не может. Он горячо уверял, что любит своих хлопов, и что только из чистосердечного, искреннего желания добра для них же, дураков, делает им столь выгодное предложение, что он даже не ожидал от них за всю свою искренность и панскую ласку такого обидного, оскорбительного предположения, что он всегда желал быть для них "як пан ойтец" и думал, что и они до него тоже "як добры дзеци", а вместо того… Пан Котырло «деклямовал» все это не без горячего увлечения, и притом столь огорченным, даже оскорбленным отечески-ласковым тоном! А пан

посредник тотчас же, подметя в пане Котырло эту огорченную струнку, грустно стал укорять неблагодарных хлопов, что как же, мол, им не стыдно и не совестно, и как даже перед Богом не грешно, в отплату за всю панскую ласку, за всю любовь и заботу панскую, за все попечения об ихнем же хлопском благе, платить ему таким обидным недоверием, что им-де следует покаяться, просить у пана прощения, просить его о позволении поцеловать руку панскую, и закончил тем, что пан Котырло, по доброте своей, верно не откажется простить их и, в знак примирения, велит поднести им по доброму "кручку паньською вудки".

Добродетельный пан, в знак того, что у него мягкое, незлопамятное сердце, тотчас же распорядился послать за водкой своего конторщика, пана Михала, а пан Михал не замедлил явиться с целым двухведерным бочонком. Оскорбленный помещик, в своем присутствии, приказал пану Михалу угощать оскорбителей-хлопов, прибавя со вздохом, что в "такое время" он не желает, чтобы между им и хлопами оставалось какое-нибудь зло и недоразумение, и что он охотно им все прощает и забывает.

Хвалынцев слышал, как забулькала из бочонка хмельная влага, и ошибающий сивушный запах тотчас же достиг до его обоняния сквозь узкие щели перегородки. Заинтересованный всей этой сценой, он приподнялся с подушки и заглянул в одну из ближайших щелей. У большого стола, разглядел он, сидел Котырло с посредником, на котором красовалась его золотая цепь, и по взволнованным их лицам можно было догадаться, что их весьма живо и существенно интересует благоприятный для их желаний и целей исход предлагаемой сделки. На столе перед посредником лежал начисто переписанный лист бумаги, по всей вероятности, акт добровольного отречения от выкупного надела. У дверей помещалось человек двадцать хлопов, которых в эту минуту усердно угощал водкой пан конторщик, и в этом последнем Хвалынцев сразу же узнал того самого дворового человека, в длинном сюртуке, который вчера в корчме пропагандировал хлопам желанное восстановление Польши и прославлял неизреченную доброту пана Котырло.

После первого «крючка», пан был столь добр и ласков, что разрешил угостить по второму, а после второго, уж куда ни шло, чтобы произвести целесообразное действие — и по третьему. По три «крючка» на брата не замедлили произвести его: бледно-болезненные, забитые, зачахлые лица хлопов раскраснелись, оживились и повеселели. В тоне их придавленных изнутри, тоще-гортанных голосов послышалась какая-то расплывающаяся мягкость. Они все поочередно подходили к пану с приниженным, согбенным выражением своей благодарности; кто посмелей, тот целовал панскую руку, а кто поробчее, тот ограничивался благоговейно-почтительным лобызанием передней полы панской драповой венгерки, щегольски отороченной белыми смушками и фигурно расшитой черными шелковыми снурками. После этой церемонии, которую пан Котырло принимал как должное, как необходимое, с самым невозмутимым чувством сознания своего родового, шляхетного превосходства, хлопы загалдели меж собою, а посредник еще пуще стал распинаться перед ними за их собственное благо, за льготы быта дворовых людей, которые меж тем остаются такими же крестьянами, при тех же участках, а главное за эти соблазнительные двадцать вместо сорока рублей платы. В среде хлопов уже раздавались поддающиеся, сочувственные голоса, и не прошло десяти минут, как согласие их на сделку было дано, и акт добровольного отказа от выкупных наделов подписан и скреплен самым надлежащим и законным порядком. Таким образом, целая деревня в двадцать дворов, соседняя с местечком, но в числе прочих точно так же принадлежащая пану Котырло, переходила у него в состояние безземельных дворовых. Двадцать прекрасных участков, вследствие добровольных отказов пьяных крестьян, становились его полной и неотъемлемой собственностью на веки вечные. Вместе с этими двадцатью участками было приобретено, по крайней мере, сорок безземельных, вполне от пана зависимых батраков-пролетариев.

Пан Котырло вздохнул свободным, облегченным вздохом, и от нескрываемого внутреннего

удовольствия, потирая свои мягкие полные руки, расщедрился вовсе и приказал пану Михалу поднести крестьянам, за их покорство и разумность, еще водки по скольку там придется на весь остальной бочонок.

Хлопы всем гуртом кланялись и благодарили еще раз за панскую милость и ласку.

Дело было кончено, и через несколько минут контора опустела.

Вся эта сцена сделала на Хвалынцева возмущающее впечатление. Будучи сам помещиком, и едва лишь девять, десять месяцев тому назад заключая со своими крестьянами добросовестный акт уставной грамоты, он не мог не понять теперь, какая гнусная обманная проделка кроется под великодушием пана Котырло. Оставаясь в потемках своей комнаты и лежа на сеннике с заложенными под голову руками, он невольно погрузился в новое, тяжелое и глубокое раздумье.

VIII. Два храма

На другой день, от раннего утра еще, местечко Червлёны кишело народом, который сбрелся сюда с разных окрестных деревень, усадеб, фольварков и местечек по случаю «киермаша». Червлёнский костел праздновал свой храмовой праздник, а в Червлёнах искони уже с храмовым праздником была неразлучна ярмарка — киермаш. Мелкая шляхта, в бричках и тележках, останавливала лошадей и задавала им корм либо на дворе у костельной ограды, либо же в заездных домах у "пани Янкелевой" и у "пана Эльки", а все что на общественной лестнице стоит ниже "дробной шляхты", как например: войты, полесовщики, сотские и десятские, да и крестьяне, которые позажиточней, все это гуртом лепилось по корчмам, которыми в немалом количестве изобиловали Червлёны. Окрестные паны приезжали в крытых нетычанках и в допотопных колясках, но не иначе как в польской упряжи "с бичом", и ехали, кто по-знатней и покороче знакомей, прямо в усадьбу к пану Котырло, а прочие битком набивались в двух-трех «панских» комнатах заездных домов, где пани и паненки торопливо переодевались в праздничную, парадную «жалобу», боясь опоздать к «набоженьству», так как на вышке костельной колокольни давно уже трезвонили в раскачивающиеся «дзвоны». Мужики в белых, начисто выстиранных «кошулях» и в новых свитках, бабы с цветными хустками на головах, девки в лентах и в ярких искусственных цветах, заплетенных в косы, и те и другие с разноцветными «пацюрками» на шеях и с неизменными «шкаплержами», выставленными нарочно напоказ, ради щегольства, поверх бараньих «кожушков» и суконных «сукмянцев», перехваченных в талии, все это и пешком и на возах, в плетенных из лозы «полукошиках», с разных сторон направлялось к базарной площади, которая сплошь уже заставлена была возами, так что почти не было и проходу. Одни из них оставались «доглядеть» возы, другие шли "до косьциолу", третьи до «церквы», которая, сгорбившись и покосившись от ветхости, тоже благовестила себе в убогий колоколишко, где-то там вдалеке, на выезде из местечка, около кладбища.

"До плебаньи, на обядек до пробоща", точно так же как и "до пана Котырло" понаехали свои особые гости в образе соседних ксендзов, между которыми в виде непременного и неизменного чирья, еще со вчерашнего вечера уже затесался какой-то странствующий краснорожий бернардин «клестраж», "ксенз-брац*и*шек", учуявший некием инстинктом предстоящий "обядек с колдунами, с тушеной капустой, со старой литевкой, п*и*вкем, миодкем и ксендзовскими наливками". Странствующий бернардин, как и подобает смиренно-скудному служителю Божию, не имел при себе ничего, кроме своей коричневой хламиды да небольшого чемоданчика, сплошь набитого тетрадками проповедей, приноровленных ко всевозможным празднествам католического костела. С этим чемоданчиком, да еще с запасом всевозможных «новинок», сплетен, «диктериек» и анекдотов, он обтекал мир литовский, сказывая свои

проповеди и анекдоты, и за то получая от ксендзов и панов временной приют, лакомый кусок, а иногда и подводу с живым бараном — до следующей плебании.

Весь проход от ограды до паперти занят был рядами нищих, убогих, хромых, горбатых и слепых обоего пола, и в их среде голосами разными и воплями дикими раздавался нестройный хор всевозможных «кантычек». Один "старушек подкосьцёльны" с «ксёнжкою» и «кием» в руках, разбитым старческим голосом завывает "Лазаржа".

Певны человек богаты
В злото, сребро, шкарлаты,
Ядзль, пил, тылько танцовал,
Дзень и ноц банкетовал…

Другой «старушек», увешанный "ружаньцами, крижаками, медаликами и шкаплержами", заправляет целой партией, которая с ожесточением подхватывает за ним "Дзесенциору":

А Бог розсказал: верж в Бога еднего,
Друга: именя не берж дармо Его,
Тршеције: паментай, бысь свенцил дни мое,
Чварте: шануй ойца, маткон' твоен',
Пионте: не забий, шусте; не цудзолож,
Сюдме: не крадний; усьме: фальшу не множ,
Адзевенте: не по*ж*ондай,
До цудзых жонек не пршисёндай.

И все это козлогласование покрывается вперебой «жебраньем» в самом плачевном, скрипучем надоедливом тоне:

— Паночку! Паненко! Дрогеньки, злоценьки! Хоць грошичек на мяне беднаго калеку! — причем к мимоидущим протягиваются десятки рук, шапок, тарелок, и чуть лишь грошик попадает в которую из них, тотчас же начинаются завистливые щипки, тычки, колотушки и ругань вперемежку с "паночку, злоценьки! Матко Божско!" и пр.

Тут же рядом с нищими ютятся столики и стойки, покрытые и завешанные четками, крестиками, образками, пестрыми шкаплержами, литографиями Ченстоховской и Остробрамской Богоматери, распятиями, «кршталеницами» и прочими предметами подобного рода, служащими на религиозные потребы "доброчинных католиков".

Коляска пана Котырло уже дважды подъезжала к костелу, подвозя поочередно все его семейство, которое помещалось впереди всех, на особом видном месте, где на широком ковре было поставлено несколько кресел и стульев. Орган гудел и гремел с высоты хор, и голос пана-органиста звучал и разливался особенно звонко какими-то праздничными трелями, когда Хвалынцев вместе с Свиткой вошли в костел. Алтарь, убранный по-праздничному кружевами, букетами фальшивых цветов и рядами длинных восковых свеч; по бокам главного и меньших алтарей позолоченные и раскрашенные статуи разных святых, с характерно-католическими физиономиями, в каких-то изысканных и как бы театральных позах; воздетые руки и плешивый затылок ксендза, облаченного в кружева и в пестрый коротенький «орнат», а по бокам его двое коленопреклоненных мальчиков в «комжах» с разноцветными лентами на груди и с пронзительными колокольчиками в руках; по бокам скамеек и по стенам ряды разноцветных «хорунгви» в виде знамен, — все это, увиденное в первый раз, произвело на Хвалынцева довольно яркое и приятное впечатление. Невольно давая себе в нем отчет, он заметил, что все в этом храме рассчитано на внешний эффект, все так и бьет на зрение, на слух, на внешнее

чувство, и не мог не сознаться, что все это действительно хорошо и очень красиво, хотя и чересчур уже изысканно и декоративно.

Оглядывая молящуюся публику, которая разместилась по рядам скамеек, он тоже не мог не заметить, что на скамейках этих расселось все то, что так или иначе причисляет себя к крупной и дробной шляхте: крупная шляхта впереди, дробная назади; на самых же задних местах заседали разные официалисты, лакеи, горничные, псари, егеря и вообще наиболее крупные личности из панских дворен; хлопы же смиренно теснились, и уже не сидя, а стоя позади всех избранных и шляхетных, в полутемном пространстве под хорами. Все эти пани и паненки в красивых и разнообразных жалобах, все эти солидные паны в смушковых венгерках и молодые паничи в чамарках, порой старались изобразить на лицах своих напряженное чувство религиозного экстаза (в особенности же молодые пани и панны), но по большей части шушукались между собою и с видимым праздничным удовольствием глазели по сторонам, а иногда не без кокетства кидали как бы случайные взоры на молодых паничей, которые в свою очередь видимо рисовались своими небрежно-красивыми позами и щегольскими чамарками. Кто из них хотел казаться в некотором роде демократом, тот щеголял чамаркой из простого серого сукна, а кто желал проявить в себе тенденции аристократического свойства, тот облекался в драповые или, что еще грандиознее, в бархатные; но как аристократические, так и демократические венгерки и чамарки необходимо были с величайшей изысканностью расшиты шелковыми снурками, так что в тех и других собственно сказывался лишь великолепный шик двоякого рода: шик аристократический и шик демократический, — так сказать, шик Чарторыйских и шик Мерославского.

Но если жалоба, и оба шика, и кокетливые взгляды с непринужденными позами, и вызываемое по временам напряженно-религиозное выражение лиц носили на себе как бы деланный и очевидно показной характер, то хлопы в своем тесном, полутемном углу молились с тупым, но искренним фанатизмом, почти не вставая с колен и то ударяя себя в грудь кулаками, то распростираясь на полу ниц, что называется «кржижем». Эти оттенки молитвенного настроения шляхты и хлопов сами собой сказывались слишком ярко, для того, чтобы наблюдательный взгляд свежего, постороннего человека, каким был теперь Хвалынцев, не мог сразу же их подметить.

"Где же однако народ?" подумалось Хвалынцеву, глядя на ряды скамеек, переполненных шляхтой, и на темное пространство под хорами, где теснилось несколько десятков серых свиток и сукмянов. — Где же эти хлопы, которые так привержены костелу? Неужели же тут вот и все?"

Сомнение взяло Хвалынцева: ему насказали слишком много, так что действительность, сравнительно с рассказами, казалась теперь скудна и мизерна. "Этого быть не может!" подумал он и решил удостовериться собственными глазами. Для этой цели он пошел в ту убогую «церкву», которая где-то там, на выезде, как бы заброшенная и заглохшая, уныло звякала в цбогий колоколишко. Ему захотелось сравнить и посмотреть, что за публика собирается там в этой церкви?

— Где тут церковь? Это, что ли? — спросил он у встречного хлопа, дойдя до самой околицы.

— Але, паночку! Ось та сама! — пробормотал хлоп, обнажая почтительно голову и указывая на ветхое, покосившееся, заплесневелое и какое-то облупленное здание. Хвалынцев не бе изумления окинул взором то, что называлось храмом Божиим. Хотя и в душе, и на деле он признавал себя человеком вполне индифферентным к делу религии вообще, но тут — и сам невесть почему — почувствовал вдруг какое-то горькое, обидное ощущение: эта церковь называлась в этом крае русскою церковью, тогда как костел назывался *польским* костелом. А

сравнение между той и другим, при первом же взгляде на них, невольно било в глаза, невольно и притом само собою напрашивалось в мысли: тот красуется на площади, на лучшем, на самом видном месте селения, а эта запрятана в какую-то трущобку, словно бы ее стыдно и на глаза показать добрым людям; тот гордо высится своими белыми башнями, красуется своим фронтоном и прорезными, причудливо-узорчатыми крестами, а эта стоит себе словно бы пришибленная к земле, и если бы не покосившийся крест над входом, то ее скорее можно бы было принять за заброшенный хлебный амбар, чем за церковь — до такой степени во всей внешности ее отсутствовали признаки благолепия, подобающего даже самому бедному храму. Привыкнув на всем знакомом ему пространстве Великороссии встречать множество церквей, то щегольски-богатых новой архитектурой, то изящных в простоте своего древнего стиля, и во всяком случае благолепных, Хвалынцев был просто поражен этим четырехугольным срубом, действительно, напоминавшим что-то вроде амбара или сарая.

Он вошел в притвор и выступил на середину храма. Два узеньких оконца с заматовелыми стеклами, тускло пропускавшими несколько скудных лучей дневного света, освещали бледный иконостасик, с образами какого-то смешанного характера: не то это были католические образа, не то православные. Тоненькие свечи желтого воску теплились перед местными иконами не в паникадилах, а в каких-то высоких железных подсвечниках, изображавших собою утвержденный на подножке и увенчанный обручем прут, который был утыкан горящими свечами. Эти подсвечники являлись, по всей вероятности, произведением местной кузницы. Священник облачен в убогую, старенькую, изношенную ризу; на клиросе нестройно поет дьячок с каким-то любителем из хлопов и двумя крестьянскими мальчиками. И все это вокруг так бедно, так скудно, так пришибленно!..

Хвалынцев оглядел молящихся, пришел в изумление, оказавшееся, после некоторого размышления, изумлением поучительного свойства. В церкви было не много народа, но народ этот был исключительно *серый* — куда ни глянь — все одни только свитки хлопские, сукмяны да кожушки, и нигде ни тени, ни малейшего признака того, что могло бы напомнить собою принадлежность если не к шляхте, то хоть к помещичьим дворовым людям: одни только хлопы и хлопы…

"Вот она *русская-то* церковь!.. Что ж это, однако?!.." снова подумалось Хвалынцеву, и теперь для него уже вполне стали ясны те мимолетные выражения, которые, во время своего путешествия по Литве, там и сям удалось ему подслушать: "хлопська вяра; поп до хлопа, плебан до пана". Русский инстинкт, русское чувство, помимо собственной его воли, закрадывались в душу Хвалынцева, незаметно подтачивая кору напускного космополитизма, и это чувство, чем более теперь глядел он на представшую ему картину, тем глубже сказывалось какой-то обидой, какой-то горечью и грустным раздумьем. Это чувство смутно подсказывало ему, что во всем слышанном от Свитки и Котырло о "казенной вере", о "казенной церкви" опять-таки кроется какая-то фальшь, какая-то утайка лицевой стороны дела, какая-то тенденциозная маска…

В церкви было холодно. По ней ходил сырой пар от людского дыхания, который, мешаясь с дымом ладона, наполнял внутренность храма каким-то мглистым туманом. Хвалынцев стал вглядываться в лица молящихся, и ни в одном из них не подметил того исступленно-фанатического деланного экстаза, который столь крупными чертами кидался в глаза в костеле. Здесь, напротив, общее выражение лиц было обыденное и до того спокойное, что глаз поверхностного наблюдателя скорей бы даже мог принять его за признак религиозного индифферентизма, и на это последнее предположение могло бы пожалуй натолкнуть отчасти и то обстоятельство, что многие женские груди украшались католическими шкаплержами, в руках у некоторых из баб были очевидно польские молитвенники, а иные из них так даже и

крестились по-римски; но все-таки общее впечатление слишком различествовало от впечатлений, только что унесенных Хвалынцевым из костела.

Когда он пришел в церковь, то застал почти уже самый конец обедни, которая здесь кончилась гораздо ранее костельной «мши». Вскоре прихожане стали выходить из церкви и группами останавливались, «балакая» промеж себя в церковной ограде. Вышел и священник — из себя поджарый, захудалый попик, не молодых, но еще и не преклонных лет, в тощенькой шубенке. Еще едва показался он на паперти, как многие из хлопов, с фамильярно-почтительной приветливостью сняв свои шапки, подходили под благословление "пана ойца", а иные, без малейших признаков робости или застенчивости, замечаемой в них постоянно в отношениях с панами и панскими официалистами, приветливо и радушно вступали с "паном ойцом" в разговоры, так что, судя по этому обращению, можно было безошибочно предположить, что пан ойтец для серого хлопа свой человек, родной и близкий его быту, его жизни, его интересам. Одна кучка хлопов, человек в пять или шесть, отличавшаяся наибольшей солидностью, обступила священника, очевидно, прося у него какого-то совета, и пан ойтец, степенно толкуя о каком-то деле, скрылся вместе с ними в низенькой двери своей начисто выбеленной хаты.

"Да, хоть тут и шкаплержи у иной бабы, и два польские молитвенника, и кажущийся индифферентизм", подумал себе Хвалынцев, глядя на эти группы расходящегося люда, "но... все-таки Польша, кажись, не здесь, а там, в костеле... Здесь — одни хлопы, а там битком набито шляхтой... и все-таки *здесь-то* нимало не похоже на Польшу", решил он сам с собой. "Это скорей же что-то свое, самобытное, если уж не считать его русским". — Пойду еще поглядеть на Польшу! — сказал он себе и снова направился к костелу.

Пришедши туда, он застал уже на высоте кафедры краснорожего бернардина, который с сильной жестикуляцией и с декламаторскими приемами католического оратора горячо импровизировал какую-то проповедь. Голос его то возвышался до визга фальцетных нот, то падал до глухого, гробового баса, то гремел громовыми раскатами, то стихал до умиленно-нежного шепота. Публика слушала его с напряженным и живым вниманием, чутко ловя каждое слово, каждый жест, — и на лицах присутствующих ясно отпечатлевалось выражение какой-то мрачной, глухо-исступленной ненависти, сдавленной боли, внутреннего страдания... Многие пани и паненки утирали тихие слезы, паны слушали в каком-то фанатически-озлобленном молчании, хлопы же из своего полутемного пространства под хорами устремляли на проповедника взоры, исполненные тупого внимания. Казалось, что слово проповедника, главнейшим образом, имело в виду именно хлопов и по преимуществу к ним обращалось.

Хвалынцев, конечно, с трудом вникал в смысл этой речи, но все-таки кое-что понял. Бернардин говорил о страданиях Богоматери перед крестом и гробом распятого Христа и проводил параллель между Ее страданиями и мукою отчизны, которая плачет над гробом распятого народа польского; говорил, что как Христос *воскрес* от смерти, так и народ польский должен восстать, чтобы воскреснуть "в рувн*о*сти, вольности и неподлеглости из-под неволи москевскей". Для этой цели каждый добрый католик должен избегать всякого общения со схизматиками, даже до такой степени, что если бы в отсутствие ксендза пришлось какому отцу крестить своего умирающего ребенка, то пусть лучше ребенок умирает некрещеным, чем принявшим крещение от поганой руки "схизматицкого попа", ибо в этом случае чистая душа его уподобляется духу пса и утрачивается не только для Польши, но и для неба. Слово свое бернардин заключил, наконец, тем, что каждый добрый поляк уже потому должен все свои силы и средства употребить на дело отчизны, что и сам Христос был "родовиты поляк" и не за что иное, как только за свое польское происхождение распят и замучен жидами и москалями.[14]

Весь этот грубый, дубоватый фанатизм бернардинской проповеди поразил Хвалынцева в особенности тем, что непосредственное, прямое влияние его всецело отразилось всею своею положительной стороной не на хлопах, на которых оно было рассчитано, а главнейшим образом на цивилизованной шляхте. Это была для него своего рода новость, вполне неожиданная: до сей минуты он никак не мог себе представить, чтобы на людей, которых Свитка столь многократно выдавал ему в своих беседах за сок интеллигенции края, можно было подействовать столь грубыми наркотическими средствами. На миловидных личиках этих паненок, на физиономиях всех этих статных паничей и панов родовитых, в эту минуту столь ярко отпечатлевалось чувство фанатической ненависти, что в источнике ее уже невозможно было усомниться.

"Что же после этого все те речи, которые мы слышали!" с горечью подумалось ему, "все эти возгласы о взаимном братстве, о борьбе "за свободу вашу и нашу"!.. неужто опять-таки фальшь, опять лицемерие!?.."

Болезненное чувство горечи, обиды и тяжкого сомнения все более и более закрадывалось в его душу; давешний космополит петербургских болот здесь, "на Литве", почти помимо собственной воли, начинал чувствовать себя русским. Это общество было ему чуждо, и в ту минуту он до поразительной ясности сознал в себе ощущение одиночества и полной отчужденности. Один только образ Цезарины яркими блестками мелькал мгновеньями в его влюбленном воображении; но теперь этот образ уже не примирял, а только смирял его внутреннюю борьбу и на минуту баюкал его сомнения.

"Мша" была кончена. В костеле готовились к какой-то процессии. Молодые паненки подняли на плечах своих парадные носилки с образом ченстоховской Богоматери, убранным в кисею, кружева и пестрые ленты; паничи схватились за древки знамен и хоругвей, которые плавно заколыхались над толпой своими разноцветными полотнищами; перед алтарем поднялся балдахин с кистями, под которым поместился ксендз с реликвиями в руках, прижатых к груди — и вот загудел орган, зазвенели колокольчики — и все присутствовавшие разом опустились на колени.

Костел в то же время наполнился громкими и торжественными звуками, в которых сразу послышалось Хвалынцеву что-то знакомое: он узнал их. Это был тот самый знаменитый гимн "Боже цось Польске", который еще столь недавно пела Цезарина в тот роковой вечер и который тогда же порешил его судьбу...

Теперь те же самые звуки с исступлением и силой вырывались из сотни человеческих грудей и заглушали собою гул и аккорды органа. Но вот все присутствовавшие поднялись с колен — процессия медленно и торжественно двинулась вон из костела. Впереди ее сакристиян на длинном посеребренном древке нес распятие, покрытое траурным крепом; за ним, в руках какого-то дюжего панича, склонялась наперед черная похоронная хоругвь с серебряными позументами и кистями, как бы осеняя собою траурный крест; за этою хоругвью рядами потянулись остальные костельные стяги, паненки с разукрашенным образом, паны и пани с зажженными свечами, мальчишки с пронзительными колокольчиками и наконец сам ксендз под балдахином, благоговейно поддерживаемый под руки самим паном Котырло и вообще самыми важными, влиятельными панами околодка. Вся эта процессия, с неумолчным пением того же гимна, при звуке колоколов, обошла вокруг костела и остановилась в ограде, неподалеку от главных ворот, где была вырыта довольно глубокая яма в аршин окружности.

Несколько дюжих хлопов, откуда ни возьмись, притащили громадный крест, окрашенный в черный цвет с белыми траурными каймами по всем ребрам и с какой-то надписью поперек продольного бруса. Ксендз пробормотал по книжке какие-то приличные случаю молитвы,

окропил святой водой яму, и высокий крест был водружен, врыт в землю, забит клиньями и камнями, для пущей крепости, и наконец освящен при пении "Боже цось Польске".

Под влиянием охватившего всю душу чувства одиночества и отчужденности, Хвалынцев хоть и вышел вместе с толпой из костела, но теперь отделился от нее и, выйдя за ограду, примкнул к толпе серых хлопов, любопытно глазевших на торжественно-красивое шествие. Он поднял глаза на траурный крест, только что водруженный на надлежащее место, и прочел на нем крупную надпись: "Тен кржиж поставионы ту на памионтек о дню 2-ого марца 1861 року в Варшаве".

"А, это значит, на память о пяти патриотических жертвах!" вполне основательно домекнулся он.

А в это время из сотни шляхетских грудей еще пуще гремел, потрясая холодный воздух, неизменно повторяющийся припев народного гимна:

Пршед Тве олтаржи занесим благане:

Ойчизны вольность рач нам вруциц, Пане!

— Анакейка! слышь, братец? Цудно!.. Яй-Богу цудно! — обратился по соседству с Хвалынцевым какой-то серый и уже подгулявший хлоп к стоявшему рядом с ним белобрысому парню. — Штойта, слышь Анакейка, паны спевающь, каб паншизна наврацилась... Яй-Богу!

— Ну-у? — недоверчиво обернулся на него белобрысый.

— А так! — подтвердил сосед. — Вот-яна, слышь, панцизны вольнасць!..

Хвалынцев прислушался и точно: в гуле и шуме смешанных поющих голосов и ярмарочного гвалту у певцов выходило как будто и в самом деле *панщизна,* вместо отчизна.

— Ай, добрадзею, и то! — с наивным удивлением согласился белобрысый парень.

— Яны вже дауно пра то спевающь, — заметил на это кто-то из толпы. — Усе у Бога моляць, каб яна зноу варацилась...

— А пек им! Бодай их и зямля не приймала бы! — прорычал белобрысый, медвежевато косясь на процессию, и в голосе, которым сказаны были эти слова, явно прозвучала нотка какой-то стародавней, накипелой и наболелой ненависти. — Пайдзем лучш до корчмы, дабрадзею! — прибавил он, хлопнув по плечу соседа, — каб и не чуваць пра то!

"Вот те и на!" подумал себе Хвалынцев и даже мысленно при этом присвистнул сардонически. "Это уже всего прелестней! Паны об «ойчизне», а "сырой экономический материал", вместо того, знай себе «панщизну» чует! Вот и поди ты тут!" — И он, хочешь не хочешь, не мог воздержаться, чтобы не засмеяться при этом горьким и несколько озлобленным смехом.

IX. Киермаш

После сцены с крестьянами, которую случайно и подневольно выглядел и выслушал Хвалынцев за стеною панской конторы, нравственному чувству его стало претить дальнейшее пребывание под гостеприимным кровом пана Котырли. Не находя удобным в данный момент пускаться со Свиткой интимные объяснения по этому предмету, он в тот же вечер объявил было ему, что хочет ехать далее, но Свитка, погруженный в свои собственные дела и поручения, и притом

постоянно развлекаемый привольной жизнью в радушной семье старых своих знакомых, не имел ни времени, ни охоты вглядываться и вдумываться в нравственное состояние своего спутника: он не подметил ни затаенной борьбы, ни сомнение волновавших Хвалынцева, и потому просто-напросто стал уговаривать его повременить отъездом еще какой-нибудь денек-другой, с тем, чтобы потом зараз уже тронуться вместе.

— Я еще не кончил тут своих поручений, а вам все равно, да и люди ведь хорошие, — говорил он, убеждая приятеля остаться. Но о том какого рода его «поручение» — Свитка вообще отзывался довольно глухо, а Хвалынцев, помня одно из первых правил «организации» — отнюдь не выведывать того, что не касается прямых и непосредственных обязанностей его, как члена, не почитал уместным допытываться у Свитки о роде и свойстве его дел и поручений; он знал только, что эти поручения касаются "общего дела". Но при наплыве тех сомнений которые неожиданными сюрпризами ставили перед ним самые простые столкновения с самой обыденной житейское практикой здешних мест, он чувствовал, что словно бы с ним играют в жмурки, что он должен случайно и притом ощупью наталкиваться на здешнюю фальшь и здешнюю правду. Эти сомнения начинали втайне грызть и мучить его, потому что благодаря им, он чувствовал внутренний разлад между своей, однажды принятой решимостью бесповоротно отдаться «делу» и тем голосом внутренней правды, который стал подсказывать ему, что о деле-то собственно он вот и до сих пор все еще почти понятия не имеет, и что оно во многом, кажись, выходит вовсе не таково, каким ему старались его представить. Но своего рода point d'honneur,[15] верность раз данному слову и, главнейшим образом, обаятельное чувство к обаятельной женщине заставляли его идти вперед без оглядки, и потому, сам пугаясь своих сомнений, он сначала было намеревался сгоряча уж лучше сразу убежать от них и для того поскорее уехать отсюда. Он сознавал, что это, положим, бесхарактерно и глупо, ибо напоминает страуса, прячущего голову ввиду опасности; но в то же время оно казалось ему и вполне последовательным ввиду раз данного обета. И таким образом, он стоял теперь в нерешительном раздумьи на явившемся перед ним распутьи. Однако, убедительные просьбы Свитки повременить двумя днями и основательно представленные им резоны о крайней затруднительности путешествия одному «москалю» по незнакомому, глухому краю, заставили Хвалынцева покориться перспективе дальнейшего пребывания в Червлёнах. Теперь же, после костела и церкви, после только что разыгравшейся любопытной и поучительной сценки между каким-то «добродзеем» и «Аникейкой» и, наконец, после столь ясно и живо сознанного чувства собственной отчужденности от всего этого шляхетского мира — Хвалынцеву уже самому захотелось поприглядеться да понаблюдать по возможности более этот мирок и местные отношения. "От самого себя не уйдешь", решил он размышляя о всех своих сомнениях, "уж если раз они закрались в тебя — кончено! не выживешь! куда ни беги, повсюду погонятся за тобою, пока не разубедишься так или иначе!"

После довольно шумного и людного завтрака у пана Котырло, Хвалынцев отправился вместе со Свиткой бродить по ярмарке. Базарная площадь перед костелом еще более, чем давеча, загромоздилась крестьянскими возами, так что лавировать в узком лабиринте меж оглоблями, лошадиными хвостами, колесами и воловьими мордами было весьма затруднительно. Волы, коровы, лошади, овцы, свиньи, телята, возы, люди, солома, сено, гуси, индюшки — все это перемешалось между собою в самом пестром беспорядке. Там вон навалена целая гора новеньких ведер, бочонков, балеек и кадушек; тут невыносимо сельдями воняет; здесь натыкаешься на груду горшков, на копу овса; справа продают косы и грабли, слева — сапоги, валенки, полушубки, а несколько далее разные сласти: пряники, фиги, орехи; вот понесло с одной стороны дегтем, с другой — цыбулькой; а там вон пестреет "панский товар": яркие ленты, ситцевые платки и шерстяные материи; там шапки и картузы; там кнуты и ободья, колеса, сани, и тут же толкутся бабы и молодицы, какие-то шляхтянки, какие-то солдаты. Городские барышники и наезжие паничи в венгерках, с арапниками в руках, шныряют между

возами и приценяваются по преимуществу к коням. Земские власти, вроде войтов и сотских, степенно похаживают с кнутиками и дубинками. Полесовщики, с охотничьими барсуковыми сумками через плечо, стараются сбыть пристреленного зайца или дикую козу. Евреи снуют во все стороны с вечной своей хлопотливостью и гвалтом, в яве олицетворяя собой изречение царя Соломона: "суета сует и всяческая суета". Нищие слепцы уселись на самом бойком месте и в целых шесть глоток что есть мочи дерут своего «Лазаржа», и вместе с их гнусавым пением несется по площади ржание жеребят, коровье мычание, хрюканье и визг огорчаемых поросят, гусиный гогот, гул людского говора и разнообразные крики, а наипаче всего гвалт жидовский — бесконеный, всеодолевающий, повсюду слышимый и непрерывный. Вот какая-то хмельная баба, верхом на лошаденке, избоченясь, продирается сквозь толпу, встречаемая и сопровождаемая громким смехом, а рядом с ней выплясывает трепака загулявший хлоп, под звуки визгливой скрипицы, приобретенной ц какого-нибудь захожего солдатика. Двое других хлопов обнявшись следуют за плясуном и усердно подпевают ему:

Чики, чики, чичику
Едзець баба на быку,
Пытается у Василя
Чи далеко до сяла?
Ах ты баба косовока
Видзишь, сило недалека!

Публика, глядя на них, утешается и сопровождает всю этц компанию дружным, одобрительным смехом.

Проходя мимо одной корчмы, приятели наши заслышал! звуки диковатой музыки.

— Зайдем-ка, поглядим: это любопытно, — предложи Свитка.

Хвалынцев с удовольствием согласился, и они в ту же минуту очутились в дымной пропитанной винными парами атмосфере довольно просторной комнаты, в которой скучилось человек шестьдесят народу. В углу, подле шинкарского стола помещались музыканты: старик еврей бойко действовал руками на цымбалах, молодой еврейчик с увлечением, раскачиваясь всем корпусом и закидывая назад растрепанную голову, лихо пилил на скрипице, а другой азартно гудел на бубне. Несколько пар, где молодица с парнем, а где и просто баба с бабой, обнявшись под руки друг с другом, танцевали, так называемые «кружки», нечто вроде вальса, и при этом подпевали себе в лад коротенькие песни.

Ах ты мати мая,
А я дочка твая,
Чаму ж мяне не учила
Як я маленька была?

притапывая каблуками и манерно склоняя набок голову, голосила одна разбитная молодица, а здоровенный «дзецюк», не давая ей кончить, подхватывал наперебой:

Дзевчиначка го, го, го!
Люби мяне голаго:
Я сарочки не маю
Жаницися думаю.
Як сарочку здабуду,
Жаницися не буду.

А в это же самое время другой «дзецюк», не обращая ни малейшего внимания ни на музыку, ни на танцы, сидел облокотясь обеими руками на стол, перед своей кружкой пива, и проливая, по-видимому, совершенно беспричинные слезы, зычно горланил себе особую, самостоятельную песню:

Забалела галава ад зяленаго вина;
Сабералась галава до слауна горада Масквы,
А на той же на Маскве долга улица широка…

Хвалынцев с живейшим любопытством прислушивался ко всем этим песням, к их своеобразным напевам, в которых неизменно слышится что-то тягостное, тягуче-тоскливое, но в которых однако же чутко сказывалось ему как будто что-то свое, знакомое, родное…

— Гей! музыка! Каб це ободрана кабыла споткалася! Грай казачка! Казачка, кажу! Танцоваць хачу! — хлопнув ладонью по столу и вытерев сермяжным рукавом слезы, поднялся с места парень, только что певший про Москву, и затем, раздвинув танцующие пары, выступил на середину комнаты и выбрал себе пьяненькую партнерку, которая, руки в боки, поместилась напротив него.

Музыка не заставила долго просить себя и тотчас же грянула «казачка». Дзецюк, прислушиваясь к звукам, подергивал в такт плечами, а молодица семенила на месте, как вдруг он рванулся отчаянно вперед, взмахнул рукою, схватился за пасмы волос своих и пошел, и пошел работать и отчеканивать то носком, то каблуками, с самым серьезным и даже мрачным выражением лица.

А по корчме раздавалась разухабистая, лихая песня:

Ой, ты, дзевка, лебедка мая
Сподобалася мне паходка твая!
Як ты идзешь, то мне мило глядзець,
Як ты сядзежь, мае сердцо дрыжиць,
Як ты ходзишь, дак ты цешишь мяне,
Як ты станешь, дак смешишь мяне!

Но вдруг дзецюк остановился, не кончив и даже как-то разом оборвав свою пляску. Он перевалисто, медвежеватыми шагами воротился на свое прежнее место, отодвинув с него какого-то хлопчика, и снова подперев голову обеими руками, сосредоточенно понурился над своей недопитой квартой пива. Через несколько минут, всё так же, ни на кого не обращая внимания и с тем же мрачным выражением лица, он вдруг, словно бы был совсем один в этой горнице, заголосил себе новую песню:

Ой, спод Слуцка, та спод Клецка
Езде дружба[16] модецка,
Од княжати из-под Минска,
Воияваци места Пинска,
Места Пинска воеваци,
От Ляхоу обороняли
Хоць прийшли не дали рады:[17]
Погинули усе от здрады.[18]
А я пойду у пост вяликий
До Турова, до владыки,
Щоб молебну одслужици,

Да й покаюсь за грехи,
Дзень и ноц буду малици,
Дзень и ноц буду прасици,
Кабы сгинули Ляхи.

— И вы говорите, что это не Русь! — не выдержав себя, наконец, с дружеским укором обратился к Свитке Хвалынцев, долго с серьезным вниманием присматривавшийся и прислушивавшийся к этой песне. — И вы хотите доказать, что это… (он не договорил и замялся на минуту). Ах, любезный дружище! кой черт! Это просто та же самая наша Русь сиволапая! Как и везде — все одна и та же!

Свитка улыбнулся с легкой иронией.

— Вы полагаете? — проговорил он самоуверенно, авторитетным тоном.

— Не полагаю, я убеждаюсь, — со вздохом подтвердил Хвалынцев. — Песня не врет, а вы вслушайтесь в эту песню: в ней все, и звуки, и склад, и пошиб, все это русское, наше. Да и детина-то этот горланит себе, небойсь, не про Варшаву, а про "славный город Москву", чай, сами слыхали? И мне кажется, как вы с этим народом ни бейтесь, ничего вам против этого не поделать!

— Ну, это еще бабушка надвое сказала! — с тою же самоуверенной иронией заметил Свитка.

— Надвое?.. Ой ли?.. Глядите, не ошибиться бы нам!.. Ведь эта бабушка — сама жизнь, понимаете ли, *жизнь,* а тут она становится чуть ли не вразрез с нами.

— А давеча в костеле? что?!..

— В костеле?.. А давеча в церкви? — скажу я вам на это.

У Свитки чуть заметно дрогнули углы губ и нахмурились брови, от какого-то неприятного, скрытого чувства.

— А вы были там? — как бы совсем равнодушно спросил он Хвалынцева.

— Был-с; и там и здесь — в обоих.

— Ну, и что же?

— А то, что коли уж говорить откровенно, хоть на Литве, по-вашему, народ — это шляхта, а эта серочь, — "простой экономический материал", говоря вашими же словами, но…

— Что же "но"? — с худо скрытой досадой улыбнулся ментор.

— Но… но чем больше вглядываюсь, тем больше убеждаюсь, и просто чую моим русским инстинктом, что он, этот "экономический материал", не пойдет вместе с нами!

— Не пойдет охотой, все равно пойдет силой, — с спокойной уверенностью проговорил Свитка.

— Силой? Да кто же его заставит? Уж не шляхта ли?

— К чему же шляхта? На это есть у нас другие факторы: русское правительство заставит.

Хвалынцев не без изумления посмотрел ему в глаза и, в виду этого самосознательно

уверенного, спокойного тона, невольно рассмеялся.

— Qui vivra, verra![19] — пожав плечами, ответил на его смех приятель.

X. Панское полеванье

На другой день, еще на рассвете, часов около шести, казачок явился в опочивальню наших приятелей и стал настойчиво будить их. Хвалынцеву хотелось еще понежиться в том сладком сне, который всегда одолевает под утро не впору разбуженного человека, но Свитка быстро вскочил с сенника и, поёживаясь от легкого холода, проворно стал надевать сапоги и мыться, чтобы поскорей разогнать остатки одолевавшей дремоты.

— А ну-те бо! вставайте, вставайте! Нечего нежиться! На службе ведь вам этого не позволят! — тормошил он Хвалынцева, наскоро совершая свой туалет. — Слышите, вон уж охотники собрались, ружья справляют, собаки визжат... Да и кони-то никак готовы! Ну, ну просыпайтесь! Полно вам в самом деле. Ясю! давай пану одеться!

Хвалынцев, наконец, преодолел свою дремоту и вскочил с постели.

Под окнами на дворе, действительно, слышен был звонкий, веселый визг собак, забираемых на смычки, фырканье и топот заседланных коней, громыханье колес о промерзлую почву и разные людские голоса, говор, возгласы, споры и распоряженья. Хвалынцев приподнял соломенную мату и, протерев запотелое стекло, вглядчиво прищурил глаза: сквозь утренний туман на дворе было заметно большое движение: псари, егеря, кучера, лакеи и всякая дворовая челядь хлопотливо и спешно снаряжалась к охоте. Судя по этому легкому туману, день обещал быть хорошим, с легким, бодрящим морозцем. Ага! да кроме изморози, и легкий снежок еще выпал — первый ноябрьский снег — и белой скатертью сплошь запушил крыльцо с протоптанными свежими, мокрыми следами, соломенные крыши, обширный двор и там вдали, за греблей, широкие поля на отлогих косогорах. Слава Богу! самый подходящий денек для доброй охоты! Вид этого свежего первого снега, пар, валивший из конских ноздрей, веселый визг слегка озябших собак, суета людская на дворе и легкий холодок в комнате, где остывшая за ночь печка не давала уже тепла, все это произвело на Хвалынцева бодрящее, веселое впечатление, и он, с невольной улыбкой в лице и с ощущением легкого здорового озноба во всем теле, поспешно стал натягивать свое платье. За стеною, в панской конторе, тоже слышались негромкие голоса и щелкали осматриваемые курки; шомпола шипели в дулах, загоняя пыжи из пакли; дробь и картечь с мелким рокотом сыпались в стволы, поминутно скрипела и хлопала дверь, то впуская то выпуская кого-нибудь из охотников и каждый раз при этом напуская в комнату утреннего холода, который резким ощущением давал себя чувствовать даже сквозь щели перегородки, отделявшей от конторы комнату наших приятелей.

Менее чем в четверть часа Хвалынцев был уже готов: затянул ремнем свою дубленку, и через темные сени переступил порог конторы. Там он нашел станового, пана Шпарагу, который был страстным охотником, и пана Косача, который хотя охотником и не был, но от компании не отставал. Либеральный пан посредник, несмотря на столь раннюю пору, уже успел облечься в изящный английский охотничий костюм и, попивая чай с коньяком, наблюдал, как его лакей, тоже одетый по-охотничьи, заряжал его дорогую лондонскую двухстволку. Двое старосветских панов, пан Хомчевский и пан Прындич, очевидно привычные и бывалые охотники, вырядились по-свойски: в русские кеньги да в теплые полушубки, и никому кроме самих себя не доверяя заряжать свои старые винтовки, закусывали на дорожку копченым салом и запивали его из "добрых килишков" «гданскою» водкой. На столе, посреди разнокалиберного прибора, носившего на себе явный характер спешного холостого беспорядка, шипел уёмистый самовар, и Хвалынцев с величайшим удовольствием хватил стакан горячего чаю.

В костеле звякал колокол: это пан Котырло, как добрый, старый охотник, свято исполнявший все традиции и обычаи заправского «полеванья», еще с вечера заказал ксендзу на утро литию святому Губерту, покровителю охоты, и теперь ксендз исполнял приказ своего пана.

Хвалынцеву тоже одолжили кое-какое старенькое одноствольное ружьишко, на замке которого он прочел российскую надпись «Тула». Через полчаса, один из псарей явился доложить, что все уже готово. Старосветские паны вместе со становым Шпарагой наскоро пропустили еще по одному килишку — и вся компания высыпала на двор. Псари с доезжачим, на кое-как заседланных клячах, вытянулись перед крыльцом в одну шеренгу; впереди их на сворах, переминаясь на молодом снегу и поджимая с холоду ноги, повизгивали и облизывались собаки. Далее стояли запряженные повозки, брички и нетычанки; из них одне были приготовлены для охотников, которые предпочитали ехать в экипажах, а другие дожидались выхода дам. Пани и паненки тоже хотели присутствовать на охоте, но, по всегдашнему обыкновению запаздывать при раннем вставаньи, в настоящий момент были еще не готовы, справляясь со своим туалетом. Несколько коней, по большей части из кавалерийского брака, стояли у крыльца, заседланные, — который английским, который казацким, а который и бог весть каким седлом, в ожидании панства. Но вот, появился на крыльце сам пан Котырло с персидским кинжалом за поясом, с буйволовым рогом через плечо и с черкесской нагайкой в руке. Опытным, строгим глазом окинул он всю охоту, пожал руки гостям, кивнул головой остальным охотникам, почтительно снявшим свои шапки, и вскарабкавшись на подведенную ему серую кобылу, набожно перекрестился и дал знак трогаться со двора. Охотники, крестясь и нахлобучивая шапки, при радостном визге и лае собак, потянулись вслед за паном Котырлом: который, как и всегда в подобных случаях, никому не уступал почетного звания маршалка охоты. Хвалынцев с Василием Свиткой, предпочитая ехать в таратайке, тронулись вслед за другими, вместе с фурой, в которой помещались съедобные запасы, выпивка и походная кухня.

Охота, как видно, готовилась на славу, потому что по дороге, выезжая то навстречу, то с боковых проселков, время от времени, присоединялись к главному корпусу новые охотники, — кто в повозке, кто верхом со сворами, — почтительно кланялись пану Котырло, как главнокомандующему соединенных сил, приятельски здоровались с остальными и, весело болтая, смешивались с пестрой толпой панов, псарей и доезжачих.

Спустя около получаса, всю эту компанию нагнали и экипажи с дамами. Веселые, разрумянившиеся на утреннем холодке лица паненок и их звонкое молодое щебетание тотчас же послужили значительной приманкой для многих охотников, особенно из тех, кто побойчей да помоложе, так что они со всех сторон облепили своими конями дамские экипажи и, рассыпаясь в тысячах любезностей и комплиментов, старались заставить гарцевать своих Росинантов и вообще заботились о том, чтобы держаться как можно более лихими молодцами.

Хвалынцев не без улыбки оглядывал этот кортеж, да по-правде сказать, нельзя было и не улыбнуться: молодые паничи, и даже некоторые из солидных пожилых панов снарядились словно бы не на охоту, а на неприятеля. У кого за поясом торчал ятаган турецкий, у кого револьвер, у кого в кобурах пара дедовских пистолей, у кого даже сабля или шашка сбоку, и все при этом еще с ножами, с кинжалами, с ружьями, винтовками, двухстволками, а некий пожилой пан, выехавший к охоте с одного проселка, вместе с двумя своими гайдуками, явился даже одетым в уланский колет, с красными отворотами, с лядункой через плечо, в старой, Николаевского времени, уланской шапке с помпоном, от которой спускались на спину шнурки серебряных этишкетов; сбоку у него лязгала кавалерийская сабля, а разбитый на ноги конь был заседлан с уланским вальтрапом. Пан отдал всем под козырек, по-военному, и, стараясь держать посадку, то и дело закручивал свои сивые нафабренные усы. Несмотря на посинелое от мороза лицо, он стоически переносил холод, предпочитая красоваться в своем кургузом колете, коротенькие фалдочки которого преуморительно шлепали на рыси об жирные, круглые

ляжки воинственного пана; и сам он при этом тоже грузно шлепал в седло, встряхиваясь всем корпусом и эполетами. Несмотря на то, что был давно уже в отставке, экс-улан все-таки не воздержался, чтобы ради этакого парада не напялить на себя закоптелые от времени эполеты. Это был пан Копец, титулуемый не иначе как "паном пулковником", хотя на самом деле был только ротмистром в отставке. — Пан пулковник знаменит был на весь околодок воинственным жаром своих гиперболических рассказов о баснословных делах и невероятных подвигах былого времени. Только иногда он сбивался в показаниях, говоря, что служил то в знаменитых «квартаках», то в "уланьскей лигии рабов ойчизны", тогда как в сущности, самая служба его началась гораздо позже 1831-го года, и все это очень хорошо знали, но тем не менее все любили пана пулковника за его воинственный жар и даже с увлечением шляхетного гонора слушали его рассказы.

К пану пулковнику тотчас же пристроились человек двенадцать всадников, и он не преминул построить их на ходу в одну шеренгу, а сам, став перед ними и преуморительным образом, сбиваясь в командных словах, давно уже им полузабытых и наполовину присочиняемых, браво и громко командовал всей этой ватаге:

— Швадрон! У право по трши заездзь! Прямо, дырэкция у право!.. Швадрон! до фронту тршимай! Марш!

И все эти паны и паничи, в своих разнообразных чамарках, венгерках и дубленках, со всем своим разнокалиберным оружием, то и дело дергая поводьями коней, но неизменно стараясь при этом гарцевать и красоваться на виду у дам, по-видимому, самым серьезным образом подчинялись импровизированной команде пана пулковника и проделывали разные эволюции: то вдруг заезжали по три, то справа рядами, то строили фронт, — и пан пулковник, видимо войдя в роль командира, хвалил их самым начальственным тоном. Но вдруг он выхватил свою саблю и, закричав "швадрон! пики к ата-а-ке!.. марш-марш!" всадил шпоры коню и, неистово размахивая саблей, пустился в карьер вдоль по вспаханному полю. «Швадрон» во весь опор, с гиком и криком, бросился за ним. Раздалось вдруг несколько выстрелов. Но громче всех гремел голос пана пулковника.

— Напришуд, панове!.. за мной!.. Бей! коли!.. руби!.. шах-мах!.. Гоп-гоп!.. "Марш марш, Хлопицький, а за ним Дембицький"!.. "Еще Польска не згинэла"!.. За мной!

Бог весть, до каких пор продолжалась бы вся эта потеха, если бы пан Котырло, с досадливой миной на недовольном лице, не остановил своим властным маршалковым криком воинственную компанию, выговаривая ей, что неуместными, преждевременными выстрелами они только зверину попугают и без толку коней потомят, так что и вся охота, пожалуй, пойдет ни к черту.

— Алежь знатно, пане, москаля побили! Досконале! — покручивая ус, похвалялся пан пулковник, возвратись со своею пестрою ватагою к дамским экипажам. Паненки вполне одобрили его воинственный жар, за что он отблагодарил их кавалерийским салютом своей сабли. Паничи тоже казались необычайно довольны подвигом своей победоносной атаки на москаля и с гордо самодовольными улыбками присоединялись к эскорту дамских экипажей.

— Эк им любо-то в солдатики играть! — говорил в это время Хвалынцев своему приятелю. — Ради чего все сие бысть, однако? И ради чего этот барин в каком-то шутовском наряде выехал, скажите мне, пожалуйста?

Свитка немного поморщился.

— Что ж, тут дурного ничего нету, — процедил он сквозь зубы.

— Дурного нет, но смешного много.

— Как кому!.. А по-моему и это не лишнее: может пригодиться.

Хвалынцев недоверчиво засмеялся.

— Ну, полноте! — сказал он, — серьезный вы человек, а говорите неподобное! Ведь не научит же такая потеха и взаправду бить москалей!

— Все-таки… это… это дух воспитывает.

— Хм… Разве что дух! — помолчав, согласился Константин, видя, что тон и направление его замечаний не нравятся Свитке.

Меж тем компания прибыла уже на условный пункт, к опушке Карначевской рощи. Эта небольшая роща, в которой на обычном месте тотчас же расположился повар с походными таганцами и вертелами и со всею своею фурой, должна была, по заранее составленному плану, находиться в тылу линии охотников. Шагах в пятистах от нее синел сосновый бор, известный под именем «Вишовника». Когда Хвалынцев, озадаченный странной этимологией этого слова, осведомился у своего возницы, откуда происходит и что обозначает это странное название, то тот весьма наивно и просто ответил ему:

— А то, паночку, гля таво, што в ём спакуль веку усё вешаютца… гля таво й Вишовник.

— То есть как это вешаются? — переспросил Константин, оставаясь в некотором недоумении перед таким объяснением.

— А так, як усягды! — тем же тоном ответил возница, — на поясцу, чи на вяровци… захлестнець за сук, пятлю сделаець, та й гатова!

— И много тут вешалось?

— А усе, кому горо яко, аль так сабе марно жиць на сведи…

— И давно ему такое прозвание дано?

— А дауно. Ще й от здедоу зосталося… То здауна так, паночку!

Хвалынцев пожал плечами.

— Чего вы? — озирнулся на него Свитка.

— А того, что сколько ни жил в России, — отвечал Константин, — и в скольких местах ни перебывал, но, ей-Богу, нигде не встречал такого характерного названия!

— Не доводилось, значит, — заметил Свитка.

— Да!.. А вот здесь довелось! — с некоторого рода маленьким злорадством отпарировал Хвалынцев, поняв из тона Свитки сокровенный смысл его замечания, которым он хотел сказать, что и в России мол то же самое. Всеми этими случайностями, на лету подхватываемыми сведениями обогащалась сокровищница знакомства Хвалынцева с хваленой Литвою.

Между Карначевскою рощею и Вишовником, почти по самой опушке, растянулась полукруглой линией длинная цепь охотников, занявшая собой от одного фланга до другого расстояние версты в полторы, коли не больше. Хвалынцеву досталось место при самой дороге, которая, пролегая мимо Карначевской рощи, уходила в глубь соснового бора. Он выбрал себе наиболее удобный пункт, около старой, опаленной и разбитой грозой сосны, которая одиноко высилась своим искалеченным стволом над мелким хвойным кустарником, и довольно удобно примостился за ее прикрытием, в ограждение себя от чуткого внимания зоркого зверя. Наторенный проселок, со своими двумя глубокими колеями, пролегал от него шагах в пяти, не более. Вправо и влево от себя, шагов на пятьдесят расстояния, Хвалынцев мог видеть двух соседних стрелков, которые оба принадлежали, кажись, к дворне пана Котырло. "Если и дам промах, значит, те поддержат", подумал себе Константин, не имевший претензии считать себя ни особенно ловким, ни особенно опытным и страстным охотником. Он в охоте всегда любил более окружавшую его природу и потом хороший способ убить праздное время не без пользы для собственного здоровья.

В воздухе было тихо и чуялся легкий морозец. В лесу тоже стояла тишина невозмутимая, только ветер порою с легким шумом тянул по вершинам. Прошло с добрый час времени с тех пор, как Хвалынцев занял свое место под опаленною сосною. Вдруг далеко-далеко в лесу послышался короткий лай собаки. Через несколько мгновений к нему присоединился другой собачий голос, к другому третий, а там еще и еще, и минуты через три лес огласился знакомою переливчатою музыкою… Гончие дружно вели по зверю. Хвалынцев заботливо осмотрел свой курок и прислушался: направление собачьего лая казалось значительно левее… "Далеко; не на нас ведут"… В эту самую минуту ухо его различило другой, совсем посторонний звук. Он обернулся и увидел, что позади, приближаясь к нему, громыхает по замерзлым колеям легкая повозка, запряженная в одну лошадку. По морозцу лошадка бежала бойко, так что повозка приближалась довольно быстро. Вдруг соседний стрелок справа неистово замахал на нее руками, как бы желая остановить, но видя, что это не помогает, решился наконец закричать вполголоса, продолжая свою жестикуляцию:

— Стой!.. Стой!.. Назад!.. Невольно!.. Невольно далей!.. Пречь за колеи!

Повозка почти приблизилась к тому месту, где стоял Хвалынцев.

— Тпрру-у!.. Тпруу-ся! — послышался из нее недовольный голос. Лошадка стала и отфыркнулась.

Хвалынцев обернулся и увидел священника, того самого, как показалось ему, который вчера служил обедню в Червленской церкви. Он один сидел в своей повозке и сам правил.

— Полеванье, запевне? — начал было он по-польски, заметив Хвалынцева и приподняв ему свою широкополую шляпу.

— Да, батюшка, охота — отвечал тот по-русски.

— Так-с… проехать, значит, не можно?

— Не знаю, право… Вероятно, нельзя. Потому облава с той стороны — сюда, значит, гонят.

— Так-с… Хм… Какая ж досада, право! — со вздохом причмокнув языком, проговорил священник, безразлично осматриваясь в лес и по сторонам озабоченным взглядом.

— А вам очень спешно? — спросил Хвалынцев.

— Да надо бы… болящий тут у меня один — вот в Миньках, за лесом тут… версты четыре будет.

— Так вы что же, навестить?

— Да; лекарствице везу…

— Сами лечите? — продолжал расспрашивать Хвалынцев, который, соскучившись стоять более часу на одном месте и слыша по лаю, что зверя гонят совсем в другую сторону, рад был случаю развлечься немножко болтовнёю с посторонним человеком, который к тому же представлял собою для него некоторый интерес, как русский священник этого края.

— Да-с, врачуем с Божьею помощью, — скромно и просто отвечал тот. — Медиков-то по ближности нет, ну да не всегда и едут они охотно к селянину… Так вот по необходимости… и тем паче своего прихода. А вы, осмелюсь полюбопытствовать, сдается мне, русский? — с некоторою застенчивостью вдруг спросил он.

— Русский, батюшка. А что?

— Так, по выговору слышно. Очень приятно… Знаете, в здешнем крае это на редкость, если кто из России. Верно на службу прибыть изволили?

— Нет, батюшка, проездом… Совсем случайно попал.

— Сродников, значит, или знакомых имеете?

— Да вот почти только что познакомился. У попутчика моего тут знакомые, а я уж так только с ним.

— Так-с, так-с, — раздумчиво проговорил священник, вглядываясь в даль дороги все тем же безразличным взглядом. — Вчера, если не ошибаюсь, — вдруг прибавил он, приветливо обращаясь снова к Хвалынцеву, — в церкви нашей изволили быть… сдается мне, будто приметил за обедней…

— Как же, батюшка, был, — словоохотливо подтвердил Константин. — Это первая еще церковь, в которой мне довелось быть в здешнем крае.

— Церкви-то вообще здесь не богатые, — заметил священник, как бы извиняясь в нищенской внешности своего храма.

— Зато костелы, кажись, очень богаты?

— Костелы… Н-да, костелы богаты… Ну, да большому кораблю большое и плаванье, говорится…

— А разве православная церковь здесь такой маленький кораблик?

— Не маленький, а знаете… извините на моем откровенном слове, — забытый, так сказать, обиженный корабль, и трудно плавать в здешних морях-то: очень уж много всяких камней подводных…

— Почему так?

— Да по всему-с: и духовно, и материально. Теперь начать хотя бы с материального: ведь ксендз вон, даром что безбрачен, а одного казенного положения получает почти втрое более

против нашего брата, ну и от помещиков тоже поддержка большая, а нам откуда же? Хлопы народ ведь бедный, круглый год картошку да хлеб с мякиной едят… на поддержку храма и то вон во сколько лет никак не скопимся… А в России-то нас, к тому же, кажется, как будто и за русских совсем не почитают… и не знают нас даже… совсем позабыты… Так вот и сиротствуем — и народ, и церковь, и священнослужители…

Хвалынцеву, после столь откровенно и беспритязательно высказанных слов, захотелось, придравшись к случаю, проверить несколько достоверность Свиткинских и Котырловских сообщений.

— А меня, напротив, все уверяли тут, — сказал он, — что правительство костел притесняет, а всячески пропагандирует православие, что даже в заграничных газетах жалуются.

Священник усмехнулся.

— Кто это уверяет-с?

— Да вот новые мои знакомые.

— Да?.. ну что ж… бывает. — Священник как бы затруднился вполне открыто высказать свою мысль перед незнакомым человеком, — бывает так, что уверяют иногда будто и белое — не белое, а черное. Всякое на свете бывает! А что это насчет заграничных газет говорить вы изволите, — продолжал он, — так я вам скажу, что нам-то даже вот и жаловаться некуда и некому.

— Что ж так? — удивился Хвалынцев.

— Бесполезно-с. Уж таков наш опыт исторический. Пожалуйся — из тебя сейчас сделают ябедника, беспокойного человека, ославят доносчиком, шпионом, а то пожалуй административным порядком и в дальний монастырь на заточение упрячут… У нас и эти примеры есть.

— Но ведь есть же у вас, наконец, и беспристрастные, честные, справедливые люди?

— Конечно-с… как не быть, да поди, доберись до них! Надо прежде сквозь двадцать мытарств перейти, а на каждом из них тебе шею свернуть могут. Ведь они здесь сила!

— То есть кто это?

— А господа дворяне… ну, и чиновничество тоже разумею в том же счете… Да, большая сила! — раздумчиво и неспешно повторил священник, но вдруг, как бы спохватившись, приподнял слегка свою шляпу и с смущенной торопливостью обратился к Хвалынцеву, словно бы извиняясь в чем. — Вы, впрочем, милостивый государь, не обессудьте на таком моем слове… может, я что и вопреки… с такой моей откровенностью… Но так как собственно думал себе, что русского человека встретил, то больше поэтому!.. Ведь нам это в редкость!.. А то, знаете, и высказать-то здесь некому… в себе таишь все это… На впрочем, извините, ежели что не так…

Хвалынцев в ответ на это поспешил открыто и радушно протянуть ему руку и просил отнюдь не сомневаться в нем.

— Меня, напротив, все это крайне интересует, все эти здешние отношения, — говорил он, — ведь я тут просто как в темном лесу, так что, ей-Богу, сердечно рад каждому случаю, каждой

встрече, которая мне разъясняет мои собственные сомнения… Я, видите ли, батюшка, я и сам начинаю убеждаться, — признался он в заключение, — что здесь многое не так, как я думал и как меня уверяли…

— Да-с, — продолжал с легкою усмешкою священник. — Хотя бы вот насчет того, как вы изволили выразить, будто костел в притеснении; а знаете ли, как называется здесь наша православная церковь, православная вера? — "хлопська цэрковь", "хлопська вяра", и нет им другого имени опричь как «хлопские»; спросите любого крестьянина какой *ты* веры? — он вам ответить «хлопською» и православного крестьянина они иначе не называют, как презрительным словом «попадзюк», то есть это значит, что он к попу ходит на духовные требы, с попом, а не с ксендзом дело имеет; а римская вера "панской верой" величается, — ну, вот вам и изволите видеть, какое ей утеснение.

Мало-помалу разговор перешел на животрепещущий в то время вопрос об отношениях крестьян к помещикам. Хвалынцев заметил, в похвалу здешних помещиков, что они были первые, которые поспешили столь либерально откликнуться на призыв к эмансипации.

— Да-с, они вообще очень ловкие! — согласился священник. — Почему же однако и не заявить себя с либеральной стороны, коли за кулисами можно дело обделать по-своему?

— То есть? — попытал Хвалынцев, желая вызвать собеседника на объяснение.

— То есть посредники-то ведь свои же люди, — а по пословице: рука руку моет. Почему же и не обсчитать темного хлопа, например, показавши хотя бы в уставных грамотах и земельный надел, и всякие угодья меньше того, что на самом деле? ну, а оценочную норму можно и гораздо повыше взять, — ведь дельцы-то все, милостивый государь, люди-то свои, говорю вам, а хлопу одно прозвание: "быдло!" А через то, глядь и землицы побольше выгадаем, и выкупная сумма понадбавится, а деньги-то нам теперь ой, как нужны… время такое… И это ведь не отдельный какой-либо случай: это в нашем крае всеобщее теперь, завседневное явление.

— Так неужели же не найдется никого, кто бы раскрыл глаза хоть бы хлопам-то этим? — в изумлении пожал плечами Хвалынцев, не мало возмущенный этими сведениями, которые в ту пору составляли для него совершенную и притом неожиданную новость.

— А вот изволите видеть, — усмехнулся священник с оттенком едкой, накипелой горечи, — помещик — это пан, посредник тоже пан, чиновник, какой вам угодно, тоже пан, и ксендз, по положению своему, пан и пану же служит, и все это вкупе называется поляками, а крестьянин — это хлоп, быдло, существо иной природы… Ну, вот нам, попам своим, хлоп пока еще верит, приходит зачастую: так и так, пане ойче, объясните. Ну, конечно, совесть требует не держать его во тьме; объяснишь ему, наставишь, а за этим у нас тоже зорко следят, и как только проведают, сейчас каверзу на тебя донос: такой-то поп народ смущает, бунт производит, социалистские и коммунистские идеи распространяет, неповиновение властям и помещикам и все такое прочее. Ну, сейчас следствие, приедет следователь — опять же пан; а пойдете в суд — и судья, и секретарь, и все остальные — все паны, все шляхетные… И бывали случаи, да даже еще недавно, что кроме хлопот и неприятностей, нашего брата и с приходов смещали. Да-с, мудрено здесь плавать, говорю вам, — ой, как мудрено-то: везде и во всем большую силу имеют!

— Но ведь это же безвыходное положение! — воскликнул Хвалынцев.

— Пока — совершенно безвыходное, — согласился священник, — а будущее в руце Божией… Его святая воля!

В это время с левой стороны раздалось несколько выстрелов, перекатным эхом пронесшихся по лесу, и через минуту музыка собачьего лая была покрыта победно-призывными звуками охотничьего рога.

— Надо полагать, зверя забили, — заметил священник, прислушиваясь к этим звукам; — викторию трубят.

Хвалынцев огляделся по сторонам. Оба соседние стрелка тронулись уже с мест и шли по направлению влево на звук призывного рога.

— Кончено, что ли? — окликнул Константин подходившего охотника.

— Скончону, паночку! — подтвердил тот, приподымая свою серую барашковую шапку.

— Ну, теперь и мне, значит, вольно проехать, — заметил священник. — Очень приятно!.. очень приятно! — приветливо приподнимая шляпу, отнесся он к Хвалынцеву. — Благодарю за беседу… душевно благодарю.

— Позвольте, батюшка, познакомиться! — обратился к нему Константин Семенович, протягивая руку и назвав себя.

— А, очень рад! Отец Конотович, Сильвестр, — отрекомендовался в свой черед священник, и, завернувшись плотнее в свою старенькую заячью шубу, тронул вожжи. Застоявшаяся лошадка потрусила бодрой рысцой в глубину соснового леса.

Хвалынцев, проводив его глазами, вскинул ружье за плечо и зашагал по целине широким шагом, поспешая вслед за другими охотниками к сборному пункту.

XI. "Kochajmy sie![20]"

Зычный рог доезжачего, скликавший собак и охотников, возвещал торжество немалое: на пана-посредника Селяву-Жабчинскаго как раз выбежал кабан. Посредник прицелился и дал промах, спустил другой курок и тоже мимо, вследствие чего и задал тягу в сторону, а кабан был положен метким выстрелом в самое ухо, который вослед ему пустил старосветский помещик, пан Хомчевский, в ту самую минуту, когда пан Селява давал стрекача, а кабан, валя целиком все в одном направлении и ломая на ходу низенькие молодые ветви и сучья кустарников, перешел уже линию охотничьей цепи. На снегу, обагренном несколькими пятнами крови, лежал полновесный и неуклюжий труп его, окружаемый группами подходивших охотников, вслед за которыми подошел и Хвалынцев. Перекрестный огонь веселых шуток, поздравлений, расспросов, рассказов, восторгов, похвал, объяснений и горячих споров трещал над тушей убитого зверя. Голодные собаки с жадностью в глазах, но осторожно приподняв переднюю ногу, аппетитно и пытливо обнюхивали кабана и исподтишка слизывали тихо капавшую кровь. Пан Селява-Жабчинский горячо отвергал факт собственного «драпака» и оспаривал у старосветского помещика честь ловкого выстрела. Экс-улан, натянув поверх колета волчью шубу и все-таки порядком продрогнув, а может только и под предлогом холода, исправно тянул из горлышка охотничьей фляги. Дамы и паненки, потаптываясь зазябшими ножками, весело смеялись и звонко тараторили, пуская мимо ушей любезности комплименты чамарковых паничей, так как в эту минуту их несравненно более занимал дюжий кабан, чем все эти паничи с их чамарками, сердцами и комплиментами. Наконец, подъехала повозка, на которую егеря свалили убитого зверя, а пан Котырло, в качестве маршалка охоты, примирил двух спорящих соперников, заставя их поцеловаться, но все-таки честь выстрела оставив за старосветским паном, и вслед за тем охотники стали расходиться, занимая цепь в совсем новом направлении,

для вторичной облавы, версты за полторы от прежнего места. Эта вторая облава не имела уже такого блистательного успеха, но все-таки взяла, если не качеством, то количеством добычи: она принесла одну серну и трех зайцев.

Вся компания уже и прозябла, и проголодалась порядочно. Был второй час пополудни. Маршалок объявил охоту конченной и с любезностью старопольского хозяина пригласил всех без исключения гостей — и своих, и участвовавших — в Карначевскую рощу.

Там уже панские челядинцы, под надзором и руководством старого дворецкого, успели приготовить все, что было необходимо к импровизированному пиру: для дам раскинута была большая палатка, устланная коврами и волчьими шкурами, а для мужчин помещение хотя и не отличалось таким комфортом, зато было весьма живописно: между составленными экипажами и стволами нескольких деревьев, на приподнятых вверх дышлах и оглоблях, были с подветренной стороны прилажены большие пестрые ковры, брезенты и циновки; подобные же ковры устилали землю в огороженном таким образом пространстве, где стоял под белою скатертью большой складной стол, уставленный батареями бутылок, башнями тарелок, кареями стаканов и грудами ножей, вилок и ложек. Несколько складных стульев помещались вокруг стола, а кроме того валялись еще на коврах несколько кожаных подушек, матрасиков и экипажных сидений. Пред входом пылал и трещал большой костер, а несколько в стороне другой подобный же, у которого, на разных каганцах и треножках, повар с двумя поварятами разогревал, заранее еще в ночь приготовленные, соусы и жарил на вертеле мясо. Около него стояли ящики, банки и бочонки с разными припасами, и суетилась прислуга. Эти пестрые навесы, эти ковры, экипажи с привязанными около них лошадьми, которые мерно хрустели зубами над заданными торбами овса, эти своры разношерстных собак, эти ярко-пылающие костры и оживленные группы охотников и женщин — все это вместе представляло разнообразную, пеструю, довольно поэтическую и очень красивую картину, напоминавшую собою отчасти нечто вроде цыганского табора.

День был почти безветренный и ясный; мороз не превышал двух градусов, а костры и время от времени приносимые в дамскую палатку жаровни, при помощи вина и теплого платья, делали вовсе не чувствительным даже и тот маленький холод, который чувствовался в воздухе. На столе вкусным паром дымились блюда, приносимые разом, без всякого особенного порядка. Тут главную роль играли: столь излюбленная польскими охотниками тушеная капуста, и бигос, и зразы и жареные куропатки. Вино, хоть и не весьма-то высокого качества, все больше с рижскими ярлыками, лилось в изобилии и поглощалось с примерным аппетитом. Чем более охотники пили и ели, ели и пили, тем более разгорались их бодрые, здоровые лица и тем громче и свободнее становился перекрестный огонь рассказов, споров, восклицаний и смеха. Пан Селява-Жабчинский повествовал о том, как он в Тирольских Альпах убил в одну охоту трех ланей, вися над обрывом, на такой узенькой тропке, что еле-еле где было ногу поставить, а в Уэльзе вместе с герцогом Кембриджским, ни более ни менее, как с ним самим, да еще с лордом Шевсбюри, затравил громаднейшего медведя. Становой Шпарага утверждал, что своими глазами видел у одного полешука, на Полесьи, заколдованное ружье, которое бьет хоть на тысячу шагов только дикого зверя, но в домашнее животное, будь то хоть вол, хоть свинья, хоть сам пан Шпарага, в двух-трех шагах даст непременно промах! А в ответ ему кто-то уверял, что все это ровно еще ничего не значит в сравнении с похождениями барона Мюнхаузена; но пан Шпарага в простоте и невинности сердечной и не подозревал кто такой этот барон Мюнхаузен и какое отношение имеют похождения сего знаменитого барона к его повествованию о заколдованных ружьях. Старый экс-улан, молодцовато и не без видимой рисовки опираясь на саблю, порицал времена настоящие и хвалил прошедшие, восторгался воспоминанием о том, как пили уланы, как били рабы ойчизны, как плясали мазурку чвартаки, и опять путал свою воображаемую службу между тем и этим полками и, наконец, дойдя до высшего пафоса, вдруг

выхватил из ножен свою саблю и стал отчаянно махать ею по воздуху, изображая как они рубились с москалем в прежние годы. Эта последняя эволюция пана Копца была столь внезапна, что слушавшие паничи разом отскочили в стороны, опасаясь как бы невзначай не задела их уланская сабля, а собаки с азартным лаем бросились было на пана-пулковника, но угрожаемые его кликом, держались в оборонительных позициях на благородной дистанции и не переставали на него лаять, так что чем больше он машет, тем громче и сильней подымается вой и лай собачий.

Выпито было уже очень и очень изрядно, когда пан Котырло приказал подать несколько больших бокалов старого богемского хрусталя, с гравюрами, надписями и с выпуклым дном, без ножек, так что бокал этой конструкции никоим образом не мог быть поставлен на стол: надо было или выпивать его до дна, или держать в руках пока не выпьешь, а по приговору пана-маршалка ни соседи, ни слуги ни от кого не могли принимать недопитого бокала. Откупорили несколько бутылок «венгржина» и наполнили ими эти монстры. Пан Котырло, поднявшись со своего председательского места, провозгласил любимый старопольский тост:

— Кохаймы сен, Панове![21]

И вместе с этими словами, нагнувшись к своему соседу, тому самому старожитному пану Хомчевскому, который метким выстрелом положил кабана и чрез то стал, в некотором роде, героем и лауреатом нынешнего полеванья, пан Котырло с чувством облобызался с ним дважды и залпом выпил свою стопу.

Пан Шпарага затянул приличную случаю песню, пан Конец стал вторить баском, кое-кто подтянул разными голосами, и наконец весь хор грянул дружное: "цупу-лупу, лупу-цупу!"

— "Выпил Куба до Якуба", — начинал пан Шпарага.

— "Якуб до Михала", — подхватывал пан пулковник, отчеканивая такт своей саблей.

Выпил ты, выпил я —
Компания ц*а*ла!

— "А кто не выпие", — присоединялись голоса любителей, — "тэго ве два кія!" И вслед за ним "компания цала" подхватывала во всю глотку:

Цупу-лупу! лупу-цупу!
Тэго ве два кія!

Хвалынцев вполголоса попросил у Свитки объяснить ему значение столь оригинального припева, и Свитка пояснил что "цупу-лупу, лупу-цупу" есть очень наглядное звукоподражательное выражение палочных ударов по спине. — Кто не выпивает, того, значит, цупу-лупу в две палки, понимаете? — добавил он шутливо.

Хвалынцеву, действительно, стало теперь вполне понятно, что некоторые паны для усиления впечатления этого «цупу-лупу» громко в такт шлепали себя ладонями по коленям, а пан Шпарага увлекся до того, что даже не без азарту и весьма выразительно стал при каждом припеве лупить с двух сторон собственными руками свои же собственные щеки.

Застольная песня шла далее:

Индык с с*о*сем, барщ с биг*о*сем,
Ядлы негдысь паны,

Дзись шинкарка и кухарка
Едзон' як боцяны.
Кто жабами жіе,
Тэго в*е*два кія!
Лупу-цупу! цупу-лупу!
Тэго в*е*два кія!

Хвалынцев просил Свитку объяснить ему смысл всей этой песни, которая казалась столь характерною. Добрый товарищ, чувствуя теплое и милое настроение духа после нескольких стаканов вина, охотно согласился исполнить желание своего приятеля. Смысл охотничьей песенки, кроме поясненного уже куплета, был таков:

"Старинный пан, хотя и ходил в жупане (одежда, почитавшаяся простою), зато как шляхтич, как дворянин, ворочал деньгами, золотом; теперь же всякий — увы! ходит в куцем фраке, а меж тем в кармане у него шиш! Но кто живет без гроша, того лупи в две палки! Цупу-лупу! лупу-цупу! Того лупи в две палки! Индюка с соусом и борщ с бигосом — некогда паны лишь едали, а теперь всякая шинкарка (обыкновенно из евреек) и всякая кухарка едят, словно аисты (то есть позволяют себе делать некоторый выбор в своей пище, как бы приравниваются к панам). А кто желает наслаждаться блюдами из лягушек, кто живет напыщенно (как могут жить магнаты) того бей в две палки! Цупу-лупу! лупу-цупу! Бей того в две палки! Некогда только одна лишь сама пани, барыня, носила кружева и перлы, а теперь — увы! всякая кухарка и шинкарка позволяет себе одеваться как важная дама. Но если кто позволяет себе жить свыше своего прирожденного общественного положения, того лупи в две палки! Цупу-лупу! лупу-цупу! Того лупи в две палки!"

— Ну как вам нравится эта наша древняя песня, которая даже и по сей день, несмотря на древность, все-таки поется? Мы любим и чтим свою святую старину! — проговорил Свитка, на вид как будто расплывчиво и масляно, а в сущности не без хитрого какого-то умысла.

— Да вы это как, в насмешку, что ли, спрашиваете меня? — отозвался Хвалынцев.

— В насмешку? — будто бы удивился Свитка. — Да что же тут смешного? Просто милая песенка, которая советует каждому жить по средствам, по состоянию — что ж тут достойного смеха?

— По вашему, ничего, — возразил Константин, — а по-моему... если только хотите, чтоб я откровенно...

— Ах, пожалуйста! Откровенность прежде всего!

— Ну, так я вам должен сказать, что во всю свою жизнь еще я не слыхал ничего, что выражало бы более характерно всю мелочность замкнутого самолюбия шляхтича, всю нелепую притязательность старого аристократизма, чтобы никто не осмеливался жить столь же комфортабельно, сколь живет оно, дворянство. Это по-моему, одна из самых кастовых, из самых белокостных песен всего мира, несмотря на всю ее пустоту и наивность!

— Ну, вот! вы все это с точки зрения своего русского сиволапого демократизма! — махнул рукой Свитка.

А между тем, веселая компания продолжала все ту же песню, и после каждого «цупу-лупу» сосед передавал соседу опорожненный бокал, а этот, наполнив его до краев, возглашал новое "кохайны сен"! — и старые стопы довольно быстро и дружно, под звуки характерного припева, обходили круг состольников.

XII. Фацеция паньська

В то самое время как тосты "кохаймы сен" вместе с «цупу-лупу» дошли до полного разгара, так что в панских головах пошли уже колесом вертеться разные — и удалые, и шляхетные мысли, проекты и фантазии, вдруг послышалось на пролегавшей мимо и неподалеку дороге громыханье приближавшейся повозки. Первый, обративший внимание на это совершенно ничтожное и случайное обстоятельство, был экс-улан, который подошел к костру запалить свою коротенькую охотничью «файку».[22]

— Поп едет, панове! Плюнуть надо! — возгласил он, обращаясь к компании, и присовокупил в пояснение:

— Как служил я в уланах, так у нас в полку было поверье, что встречаться с попом означает неудачу и несчастие, а чтоб оно не случилось, то надо поскорее вослед ему плюнуть. — Плюйте, панове!

— Э, да это он, панский добр*о*дзей! — воскликнул пан Селява-Жабчинский, обратив и с своей стороны внимание на приближавшуюся повозку.

— А ведь опять смущал хлопов! Мне донесли-таки! — с несколько злобной досадой тихо сказал пан Котырло, обращаясь к посреднику.

— О?.. Опять? — нахмурился Селява. — Когда? давно?

— Вчера еще… но я уж вечером знал.

Посредник произнес только сквозь зубы: «тсс» и озабоченно покачал головой. — Уж не насчет ли перехода в дворовые? — спросил он.

Котырло подтвердил его догадку.

— От-то, пане, бэстия! — с досадой, хлопнув рукой по столу, воскликнул Селява. — Смотрите, все дело испортит!.. Эх, проучить бы следовало!.. За позволеньем панским, я б его сию же минуту!..

— Цупу-лупу, лупу-цупу! п*о*па ве два кія, — прибавил на распев становой Шпарага.

Компания расхохоталась в ответ этой импровизации и подхватила ее нестройными уже голосами.

Между тем подгулявший пан Селява-Жабчинский успел в это время перемигнуться, перешепнуться и стакнуться о чем-то с предприимчивым и еще более подгулявшим экс-уланом, так что едва лишь замолк последний звук припева, пан Копец энергично вскочил с места и громко воззвал ко всей компании:

— Панове-браця! Кто хочет в охотники на штурм?.. в атаку на п*о*па?.. Кто желает, тот к коням! К коням, панове! До брони! И гайже на п*о*па!..

— Гай-гай!.. Гайда, панове! К коням!.. браво!.. — подхватило несколько голосов, и с шумом и смехом человек семь молодежи азартно посрывались со своих мест и бросились к гайдукам с приказанием скорее подтягивать лошадям подпруги.

Котырло попытался было остановить, но расходившийся улан вместе с Селявой убедительно

принялись успокаивать и уверять его, что ничего неприятного не случится, что просто они только захватят попа, ради потехи, попугают его немного, приведут сюда и заставят его пить, а затем прочтут добрую нотацию, чтобы знал как смущать хлопов на будущее время, и, не тронув его ни пальцем, отпустят с миром. Котырло не успел еще ответить ни да, ни нет на их уверенья, как молодежь была уже на конях, а экс-улан, договаривая еще свои последние успокоительные уверения, занес ногу в стремя, грузно перевалился в седло и крикнув: "марш-марш! за мной!" погнался крупной рысью за проехавшей повозкой.

Отец Сильвестр меж тем, ничего не подозревая, трусил себе легонькой рысцой по дороге и уже оставил за собою панский табор саженях во ста, когда на него нежданно-негаданно с гиком и гвалтом вдруг налетели с боков и сзади восемь всадников.

— Стой! стой!.. Сдавайся з плен! В плен!.. И без капитуляции! — орал вместе с молодежью пан Копец, став поперек дороги пред повозкой и махая своей саблей.

— А ни с места, или пулю в лоб! — кричали паничи, и чтобы нагнать на неприятеля пущего страху, не без эффекта прицеливались в него, примерно, кто из ружья, кто из пистолета, а кто замахивался охотничьим ножом, и все это сопровождалось хохотом, гвалтом и криками: "в плен, стой! виват!" и т. п.

Оторопевший отец Сильвестр, решительно не понимая в чем дело и чего хотят от него, придержал вожжи и растерянно поглядывал то на того, то на другого. Меж тем кто-то схватил за повод его лошадку и повернул ее назад по дороге, так что отцу Сильвестру волей-неволей пришлось ехать в лес под конвоем торжествующих свою победу паничей.

Весь остальной табор встретил этот поезд громкими вива-тами, рукоплесканиями и стаканами вина. Победа была полная.

На растерянном и смущенно-бледном лице священника сказывалась однако догадка, что его желают вышутить, поднять на смех, а может и оскорбить чем-либо. Он молча и совершенно пассивно сидел в своей повозке, держа вожжи, но не правя ими, и ждал что будет.

— Слезай, пане попе!.. Вылезай, свенты ойче схизматыцьки! — распоряжался меж тем экс-улан. — Гей, хлопцы! Ссадить его!

Двое гайдуков схватили отца Сильвестра под руки и стали высаживать его из повозки.

Священник не оказывал ни малейшего сопротивления.

— Вот так, так его!.. Молодцы!.. Ставь его на землю! ставь!.. А теперь после такой победы можно и вина выпить! Пусть прелестные панны будут столь любезны и в награду за нашу победу не откажут сами из своих божественных ручек поднести по стакану рыцарям!

И панны действительно не отказали. Напротив они очень весело и с большой охотой предложили по стакану желающим. Никто, конечно, из рыцарей не отказался от такой награды, а экс-улан первый, преклонив колено пред угощавшей его панной Котырлувной и приложив руку к сердцу, разом и как-то бравурно осушил стакан и с чувством чмокнул подносившую ему ручку.

Компания при этом все также рукоплескала и кричала "виват!"

Рыцари все до единого последовали примеру своего «довудцы»: каждый становился пред какой-либо из дам на одно колено, глядел на нее сантиментальным взором, а иной и

сантиментальный вздох испускал, затем выпивал свой стакан и чмокал руку.

А священник меж тем стоял между двух гайдуков и молча, безучастно выжидал что будет далее…

— Теперь над военнопленным надлежит нарядить военный суд! — предложил экс-улан, обращаясь ко всей компании. — Панове! Ржечь Посполита! Кого найяснейшее панство желает избрать презусом комиссии судной?

— Пана Копца! Пана пулковника! Пана довудцу! — отозвался целый хор мужских и женских голосов, и экс-улан был избран в презусы единогласным решением всей Ржечи Посполитой.

— Благодарю за честь! — приложив руку к сердцу, почтительно, одним раскачивающимся на весь полукруг поклоном, ответил пан Копец всему собранию и сел на предполагаемое председательское место.

— Вице-президентом будет наш почтенный пан посредник, прокурором пан Шпарага, а асессорами мои боевые товарищи, — продолжал пан презус. — Панове-суд! прошу занять ваши места! Гей, хлопцы!.. Вы будете жандармерия народова! Введите подсудимого и поставьте его пред трибунал! Атрибутами суда у нас будет бутылка, пробка и стакан.

Гайдуки крепко ухватили священника под руки и, не выпуская его рук, ущемленных между их здоровыми мускулами, привели его к столу и поставили на указанном месте против презуса.

Презус поднялся со стула и комически-торжественно-официальным тоном обратился к отцу Сильвестру:

— Ну, вацьпане! за все твои проступки и преступления военный суд приговаривает тебя к повешению за бороду на колокольне или к расстрелянию фасолей и горохом, но по неизреченной своей милости смертную казнь заменяет тебе следующею карой: ты, свенты ойче, должен нам проплясать трепака и выпить кварту водки. Вина тебе не дадим, потому что ты в нем толку не смыслишь, и притом сказано: не мечите бисера пред вепржовыми[23] братьями. Ты видишь, что я выражаюсь еще очень деликатно. Итак, пляши трепака! Пляши же, свенты ойче!

Компания хохотала, находя своего презуса в высшей степени остроумным человеком.

— Я прошу отпустить меня… мне, право, некогда, да и не место мне здесь, — совершенно просто и серьезно проронил отец Сильвестр свое первое слово.

— Пляши, пане попе! Пляши без возражений! Хуже будет! — настойчиво кричала ему вместе со своим презусом компания хмельных асессоров.

Священник стоял неподвижно и холодно-серьезным взглядом смотрел на своих судей.

— А, не хочешь! Гей, хлопцы, бери его под руки и пляши!.. Панове, надо песню! без песни что за трепак!

И презус затянул неверным хмельным голосом:

С там-тэй[24] страны Вислы
Компала сен[25] врона,
А пан поп наш мыслял,

Же то его жона!

Гайдуки кинулись было к отцу Сильвестру исполнять отданное им приказание, но тот с силой рванулся от них руками, и с таким повелительным пылающим взором, таким внушительным, полным достоинства и грозным голосом крикнул им: «прочь», что те невольно попятились и стали в нерешительности, не зная что теперь им делать.

— А, понимаю! — приложив палец ко лбу, домекнулся презус, — пан поп не хочет плясать, не подкрепившись предварительно! Ну, и конечно: что за пляска без вина! Гей! поднести вацьпану кварту водки! живо!

Гайдуки мигом распорядились, как следует.

— Пей, пане ойче!.. Ты вообрази, что это свента крев и пей! — сказал посредник Селява.

Священник вздрогнул при этом кощунстве и, решительно отвернувшись, пошел быстрыми шагами к своей повозке.

— А, утекать! Нет, стой!.. Хлопцы! держите! не пускайте!.. Ты думаешь, не заставят? Нет, заставят! Выпьешь!

Священника опять сзади ухватили за руки. Посредник сорвался с места и стремительно подскочил к нему.

— А что! — злобно-шипящим полушепотом быстро стал он выговаривать, грозя пальцем пред лицом отца Сильвестра; — а что, будешь теперь возмущать хлопов? будешь учить их не верить нам, законным властям? будешь нашептывать, чтобы пану своему не повиновались?.. Га?.. будешь?.. Подожди, это так тебе только шутки, а уж я тебя упеку!.. упеку! Вздумал с кем тягаться! Ты думаешь, на вас администрации нет? Подожди же!..

— Что, все пить не хочет? — приподнимаясь на локтях, громко спросил Копец! — не хочет? Ну, так за бороду лить! на голову, за шиворот, куда ни попало! Лей, хлопцы! Лей моею властною рукою!.. Как?! ты благородной шляхте сопротивляться?! Тебя благородное панство удостаивает своей компании, другой был бы рад и счастлив тем, а ты сопротивляться?!. Лей ему, хлопцы, за шиворот! Лей!

Лакей, державший кварту, с хлопским хихиканьем поднял было руку, чтобы вылить за воротник священнику водку, но тот снова рванулся что лишь было мочи от державших его гайдуков и этим движением удалось ему нечаянно вышибить из рук лакея кварту, которая отлетела в сторону, выплеснув из себя всю водку прямо в лицо посреднику Селяве.

Священник почувствовав себя свободным, кинулся бежать куда ни попадя от этого скопища.

— Свору! свору сюда! — задыхаясь, кричал разъяренный пан Селява и стал натравливать на отца Конотовича несколько собак, пустившись за ним вдогонку. — Иш-га! ишга!.. на-на-на-на! бери его!.. Уж-га-а!

Несколько собак, натравленных посредником, бросились на священника.

Хвалынцев, весь бледный от негодования, тяжело и трудно дыша, быстрыми шагами подошел к пану Котырло и нервически крепко сжал его руку.

— Как честный человек, прекратите эту гнусную сцену! — сказал он, и в тот же момент, подняв

валявшийся на ковре охотничий арапник, не слушая, не дожидая какого-либо решения и ответа со стороны хозяина, бросился на выручку к отцу Сильвестру, когда тот с испуганными криками тщетно отмахивался от налетевших собак, которые трепали уже полы его заячьей шубенки. Несколько ударов бича по собакам освободили отца Сильвестра. Сам Котырло, смущенный в душе словом Хвалынцева и только теперь домекнувшись о всей неловкости, всей неуместности сцены, разыгравшейся в глазах постороннего человека, и притом москаля (хоц и бардзо поржонднего человека, а все ж москаля!) поспешил за ним, цыкая на собак и ругая, примерно, псарей, как, мол, они осмелились спустить свору и не удержать ее вовремя! Для виду он даже извинился слегка пред священником и выразил ему свое сожаление, что произошла вся эта неприятность, которой он вовсе не желал и даже не мог предвидеть.

Перепуганный священник, еще не успев прийти в себя, только оглядывал порванные полы своей шубенки. Хвалынцев проводил его до повозки, и отец Сильвестр, с благодарностью пожав ему руку, отправился, не преследуемый уже никакими выходками. Вернувшись к охотничьей компании, Константин Семенович застал там довольно горячий спор между паном Котырло и посредником. Котырло утверждал, что не следовало доводить шутку до таких пределов, и даже вовсе не следовало трогать попа, а Селява-Жабчинский вместе с экс-уланом и несколькими паничами доказывали, что напротив, так-то и следует, что все это в сущности величайшие пустяки, что нужно было бы проучить посерьезнее "москевськего шпега", и что наконец почему же им и не проделать всю эту штуку над каким-нибудь подлым шпегом, если им вдруг пришла в голову такая «фацеция»: это, мол, не более как одна из хороших фацеций, на которые еще наши деды и прадеды были такие великие мастера.

В это самое время раздалось вдруг несколько ружейных выстрелов, обративших на себя общее внимание. Выстрелы трещали в роще близ дороги, по которой проезжал отец Конотович. Взглянув в ту сторону, Хвалынцев увидел, что лошадка, преследуемая ружейною трескотнёю, шарахнулась с перепугу в сторону и понесла. Повозка, прыгая и подскакивая на камнях и колеях, кренясь то в ту, то в эту стороны, мчалась со слишком достаточною быстротою, чтобы седок с успехом мог подвергнуться риску свернуть себе шею и переломить ребра. Через минуту он пропал из виду вместе с прыгающею повозкою и ошалелою лошадью. Паны хохотали. Оказалось, что вся эта новая штука есть продолжение милой фацеции панской. Пан Селява вместе с паном Копцем, еще раньше, в то время как только что привезли плененного попа, успели шепнуть доезжачему, чтобы тот сию же минуту распорядился выслать на дорогу незаметным образом нескольких егерей, а те пусть засядут за кустами и, как только поп поедет мимо, встретят и проводят его холостыми выстрелами. План удался в совершенстве и эффект вышел блистательный.

Но общая гармония была уже нарушена, и это чувствовалось каждым. Нарушил ее все тот же москаль, хоть и поржондны чловек — Хвалынцев своим откровенно высказанным пану Котырло взглядом на всю эту сцену, назвав ее, и в минуту возмущенного негодования, «гнусною» и затем кинувшись с арапником на выручку отца Сильвестра. Этот порыв слишком явно нарушил единство отношения к панской фацеции, показал собою, что она не пользуется единодушною симпатиею, на что, конечно, рассчитывали творцы фацеции, не принимая ровно ни в какой расчет Хвалынцева. Этот порыв заставил сполитиковать и пана Котырло, который из приличия, и притом уже явно ради своего гостя-москаля стал на его сторону и даже горячо заспорил против Селявы и Копца. А раз что гармония была нарушена, в праздничной компании явилось что-то натянутое, и гости стали готовиться к отъезду. Некоторые из них тихо разговаривали между собою и искоса посматривали на Хвалынцева взглядом далеко не дружелюбным. Очевидно, его заступничество за "схизматыцькего попа" и притом еще "москевськего шпега" пришлось здесь далеко не по нутру и даже на самого заступника кинуло невыгодную тень подозрительного свойства. Некоторые из панов подходили к Свитке и о чем-то тихо говорили с

ним, как видно расспрашивали его насчет Хвалынцева: "что это, мол, за гусь и зачем, для чего и откуда он взялся?" Константин Семенович очень хорошо чувствовал, что все эти тихие разговоры касаются его, и ощущая некоторую томительную неловкость, не мог дождаться, когда-то наконец можно будет удалиться из этой компании. Он решил себе: завтра же, во что бы то ни стало, расстаться с гостеприимным кровом пана Котырло. Он был зол и на себя, и на всех этих господ, испытывая как в отношении к ним, так равно и к самому себе чувство некоторого презрения, с тем лишь оттенком, что эти господа внушали ему кроме презрения какую-то еще особенную гадливость.

"Но", думалось ему в то же время, "они-то тут все свои, род*а*ки что называется, и все эти фацеции — это их плоть и кровь, их привычки, их обычаи и нравы — это у них все свое, все родное; а ты-то, друг любезный, ты-то с коего черта затесался между ними? Что у тебя-то общего может быть с этими господами? Революция?.. Общее дело?!"

В первый раз в жизни эти три слова: «революция» и "общее дело" прозвучали в его душе какою-то смутною фальшью. Ему почувствовалось, что так называемое "общее дело" вовсе "не общее", что его «идеалы» и стремления этих всех господ слишком расходятся между собою, даже... даже слово «революция» вдруг показалось как будто немножко смешным и немножко пустым нашему революционеру. "За кого и против кого революция?" За свободу вашу и нашу, вспомнились ему при этом вопросе знаменательные слова, красиво вышитые на знамени графини Цезарины. "Хороша свобода, нечего сказать! Свобода травить попов собаками, свобода объегоривать ловким манером темного хлопа... Нет, черт возьми, тут все фальшь какая-то!.. Но какая и в чем ее суть? Вот чего надо добиться. Надо этот темный вопрос разрешить", думалось Хвалынцеву. "Да и во мне-то самом все та же фальшь сидит!" порешил он с досадой. "Цезарина — это не фальшь, это страсть... Может быть слепая, глупая, дикая, но страсть, и страсть всепоглощающая... Ради нее куда хочешь — хоть на каторгу, хоть под пули!" И опять яркий образ польской графини на несколько мгновений затмил своим блеском в его смущенной, колеблющейся душе все остальные чувства и сомнения. "Да, да, она одна! И только она!.. И ничего более!" жаркой думой прильнув к этому образу, мысленно говорил самому себе Константин, — "Все, все для нее, вся жизнь, вся судьба, вся будущность — бери все себе, все! За одну ласку, за один привет..."

И он, взволнованный до внутренней нервной дрожи, до колючей сухости во рту и в горле, жадно выпил стоявший пред ним стакан вина.

"А это все сволочь!" резко и бесцеремонно порешил он в душе, перенося мысль к окружавшим его Копцам, Шпарагам и Селявам.

— Поедем; наша бричка запряжена, — подошел к нему Свитка.

Хвалынцеву показалось, что слова эти были сказаны тем особенным, несколько суховатым тоном, который одновременно изобличал и внутреннее недовольство им самого Свитки, и некоторую смущенную неловкость пред ним за свои только что оконченные разговоры о нем с панами.

Константин молча последовал за своим ментором, и они поехали вслед за другими.

Оба довольно долгое время молчали. Обоим было как будто неловко чего-то.

Наконец Свитка первый решился нарушить это молчание, начинавшее становиться тягостным.

— И что вам, право, за охота была, Константин Семенович, вступаться за этого попа! — начал он поддельно мягким дружелюбным тоном.

Хвалынцев, ощутив внутри себя какое-то враждебное чувство, огородил себя им как будто щитом и кинул в лицо Свитке холодно-вопросительный взгляд.

— А по-вашему надо бы было аплодировать что ли, когда человека собаками травят? — немножко резко сказал он.

Свитка, заметив эту резкость тона и как стальную твердость холодного взгляда, тотчас же постарался придать своему голосу и выражению лица еще более мягкости и дружелюбия.

— Нет, не то, — заговорил он, — а так только, рассуждая что черт ли вам в нем, совсем посторонний человек, да и поп еще к тому же.

— Мне кажется, кто бы ни был — это решительно все равно! — не изменяя тона, возразил Хвалынцев.

— А мне так право досадно немножко, — продолжал Свитка, — все это так было хорошо, шло так мило, интимно так, и вдруг… Да и они все такие, право, славные ребята, и так были расположены к вам…

— Расположены? — перебил Хвалынцев, чувствуя, что злоба снова начинает подступать к нему. — Расположены, вы говорите? Ну, а я вам признаюсь, что я вовсе не расположен к ним! Я зол на самого себя, я готов самого себя презирать за ту подленькую щепетильность, за ту малодушную уступчивость, которая, из чувства обязанности гостеприимством, заставила меня безмолвно сидеть и быть свидетелем всей этой гнусности с самого ее начала… Я, не обинуясь, называю это подлостью в самом себе! Следовало не допустить этого в самом начале-с, а не тогда уже, как собаки стали рвать человека! Есть положения, знаете, когда чересчур покладливая деликатность, как у меня вот, переходит в низость, становится подлостью!

— Ах, голубчик мой, Константин Семенович! — хихикнул по обыкновению Свитка. — Ну, добро бы было из чего донкихотствовать, а то ведь сами посудите: с одной стороны порядочные люди, стоящие у одного с нами дела, а с другой какой-то поп-доносчик, и вдруг… И наконец, ведь все же это были не более как шутки!

— Порядочные люди! — презрительно усмехнулся Хвалынцев. — Порядочные люди, любезный мой друг, узнаются точно так же и по их шуткам, как и по серьезным делам; а с этими господами, стоящими, как вы говорите, у одного с нами дела, я, извините меня, рядом с ними ни у каких дел стоять не желаю!

Свитка окинул его беглым, удивленным и немножко даже встревоженным взглядом, но луч какой-то затаенной своекорыстной радости и торжества на одно мгновение блеснул в его взоре.

— Ах, ты, Господи, Боже мой! — пожал он плечами, — и из-за чего только человек волнуется! Да ведь говорю же вам, голубчик мой, что этот поп — это человек положительно вредный для нашего дела… Это доносчик, шпион, который, как и все они здесь, посажен на своем месте правительством, чтобы следить за каждым нашим шагом, подглядывать, да подслушивать! Да этих каналий, по-настоящему, на колокольнях вверх ногами вешать бы следовало! — уже с азартом досады заключил монолог свой Василий Свитка.

Хвалынцев поглядел ему в глаза, усмехнулся и молча повернул в сторону лицо свое.

— Чему вы усмехаетесь? — весь вспыхнув и словно булавкой уколотый, быстро спросил его приятель.

Константин ответил не сразу.

— Больно уж все вы, господа, как погляжу я, стрелять да вешать охочи! — с легким ироническим вздохом проговорил он, и разговор на этом оборвался, не возобновляясь уже ни единым словом до самого конца дороги. Обоим было досадно и как-то не по себе, оба были недовольны друг другом, а Хвалынцев отчасти даже и разочарован в своем менторе и друге.

XIII. Во время бессонной ночи

Вернувшись с охоты, Хвалынцев прошел прямо к себе во флигелек и попросил Свитку извиниться за него, буде спросят о нем, и сказать, что он чувствует себя слишком усталым. Ему не хотелось более ни видеть всех этих панов, ни якшаться с ними. Он еще раз твердо решил себе завтра же ехать отсюда. Нервы его были расстроены, раздражены, и состояние духа желчное и досадливое. Не то, чтоб он чересчур уже свысока взирал на всех этих панов, не то, чтобы чувствовал какое-либо свое превосходство пред ними; напротив, он казнился своим собственным малодушием, он в эти минуты действительно презирал самого себя и злобился на себя же. — Но при всем этом была еще и особая причина, которая вызывала и поддерживала его желчно-досадливое настроение: он все яснее и яснее чувствовал внутренний разлад с самим собою, чувствовал себя вполне чуждым всему и всем в этом крае, в этой жизни, для которых он отдал свою собственную жизнь и деятельность и отдал "без поворота", как казалось ему. Что тут, в этой панской среде, задумано и стряпается нечто большое, нечто серьезное, это чувствовалось само собою; но опять же чувствовалось ему и то, что вся эта стряпня и все эти их задачи, кажись, совсем не такие, о которых идеально мечтал еще столь недавно наш юный друг, думая об "общем деле". Мало того, что "общее дело" он начинал находить далеко не «общим», но сверх того минутами ему вдруг стало казаться, что в отношении его-то самого это вовсе лишнее и совсем постороннее дело, что никаких этих революций совсем даже не нужно ему делать купно с какими-то польскими панами. Он наконец сознался себе, что с поразительным легкомыслием свои собственные мечты — и не более как мечты — принимал до сих пор за "общее дело", тогда как в сущности даже вовсе не знает, что это за дело и куда оно клонит. Он сознался себе, что просто с завязанными глазами кинулся, очертя голову, на какой-то неизвестный ему путь, гадательно предположив себе заранее, что путь этот должен быть таким-то и таким-то и приведет к такой-то вот цели. И вдруг теперь оказывается, что путь вовсе не таков, как о нем думалось, а цель — совсем другая, посторонняя и даже Бог ее знает какая именно…

Краска стыда выступила на его щеки. В эти минуты он самому себе начинал казаться жалким и смешным человеком, и даже не человеком, а глупым мальчишкой, мышонком, собравшимся творить великие дела и вдруг попавшимся в ловушку.

Это печальное сознание, эта едкая досада, этот стыд жгучий до слез, до боли, до скрежета зубного, и рядом с ними образ Цезарины — увлекательный, неотразимо-манящий и зовущий за собою всем обаянием молодой, впервые в жизни почувствованной страсти — страсти еще неудовлетворенной, но полной самых живых, самых светлых и сладких надежд…

В этих-то двух крайностях, в этих двух несовместимых противоположностях и крылась настоящая причина того внутреннего разлада с самим собою, который Хвалынцев ощущал тем сильнее, чем более вглядывался в глубь себя и в явления окружавшей его среды и жизни.

Он лег в постель раньше обыкновенного, но очень и очень долго ему не спалось.

К наплыву этих дум и ощущений приплеталось еще очень много других, посторонних. Он, например, испытывал злобное чувство враждебности ко всем этим Котырлам, Селявам,

Шпарагам, Косачам и Копцам, ко всем этим позирующим, гарцующим и рисующимся паничам в чамарках и конфедератках, ко всем этим самодовольным и нагло-шляхетным солидным панам, и к их ханжеско-патриотическим супругам, и к кокетничающим паням, к сахаристым взаимным учтивостям всех этих господ, к учтивостям, вовсе ненужным в простой обиходной жизни и даже как-то странно режущим глаз постороннему человеку, к их приторным, сантиментальным ухаживаньям за этими панями и паненками, к их нахальной, хвастливой похвальбе, к их манерам, потом к свинячеству их домашней обстановки и жизни, к спесиво-надутым претензиям, к их шляхетности и к гонору, даже к красиво-театральным эффектам их ксендза и костела. Даже их радушие казалось приторным, деланным, а потому противным, гостеприимство же излишним и тягостно-обременительным. Эта враждебность минутами доходила в Хвалынцеве до раздражительной, мелочной придирчивости: он с злобным удовольствием старался выискивать в них все дурное, а не видеть ничего хорошего было ему в то же время так легко и просто, потому что оно самым естественным образом делалось как-то так, что ничто хорошее не приходило в голову, настроенную столь односторонне. И эту враждебность возбуждало в его душе не что иное, как гнетущее чувство собственного внутреннего одиночества, собственной отчужденности, болезненное сознание, что я здесь как-то лишний, посторонний, что я здесь всем чужд и мне равно все чужды — все и во всем, что, невзирая на все радушие, чувствуешь себя все-таки в каких-то холодных тисках, все-таки внутренно-замкнутым человеком и, несмотря на какое-то воображаемое "общее дело", не находишь ни единой общей точки нравственного соприкосновения с ними, тогда как вот хотя бы этот поп, этот отец Сильвестр — странное дело! — как-то и ближе, и роднее кажется почему-то... Ну, казалось бы, "что ему Гекуба и что он ей!" и не особенно-то он попам сочувствовал еще с университета, а религиозным индифферентистом самого себя почитал, а вот — поди ж ты! с этим самым попом Сильвестром сразу почувствовал себя как-то совсем иначе, чем с милыми, любезными панами: как-то проще, доступнее, сердечнее и легче... Ведь уж на что бы вот, казалось, Котырло и Свитка: товар лицом ему показывают, всячески стараются убедить, заставить его верить, а все не верится, все фальшь какая-то чуется в их увереньях; а поп Сильвестр, вовсе не думая и не заботясь о доверии, между тем сразу как-то бесхитростно вызывает его.

Одну минуту Хвалынцев стал было «напущать» на себя "трезвые взгляды", говоря себе общеизбитые формулы о том, что чувство подобного озлобления есть низменное, недостойное чувство, что цивилизация должна-де гуманизировать отношения к людям, должна уравнивать их помимо различий национальности, каст и прочего, что симпатия к попу вытекает у него из узкого чувства национального предпочтения и есть не что иное, как та же "национальная бестактность". — "Нет, впрочем, не из национального, а из демократического принципа", попытался он тут же оправдаться и поправиться пред самим собою, но через минуту уже сам над собою начал злобно издеваться за эти "похвальные трезвые мысли" — и чувство злобы после этого еще сильнее заговорило в нем.

— Ах, да какой же все это вздор, какая пошлая глупость все эти хорошие слова и похвальные мысли! — сказал он самому себе. — "Демократический вдруг принцип"... "цивилизация"!.. "уравнение"!.. Ну, и уравнивайся! Ну, и трави вместе с ними попов да зайцев, или зайцев да попов! Ведь все одно и то же!

..."Нет, видно тут не "демократический принцип" и не одно "национальное предпочтение", а нечто другое, более глубокое, лежит в основании"...

Но вот этого-то «нечто» и не мог еще Хвалынцев вполне ясно и осязательно определить себе в своем уме; он только чувствовал его в своем сердце, — чувствовал, что подгоняемые кнутом цивилизации отношения к панам суть не что иное, как фальшь в сокровенной своей сущности, а в невольной симпатии к травленому хлопскому попу, совсем помимо измышленного какого-то

там "демократического принципа", лежит нечто простое, искреннее и правдивое, нечто в высшей степени жизненное и душевное.

И вот опять охватывает его болезненное чувство злобы и презрения к самому себе за подленькую уступчивость, за то малодушие, которое допустило его несколько минут скрывать в себе человеческий протест и оставаться безучастным, хотя и не равнодушным зрителем, когда над этим попом начались панские издевательства.

"Нет, вон отсюда! Вон поскорее", чуть не в сотый раз порешил он, злобно и нервически ворочаясь в темноте на своей постели.

XIV. Сеймик панский

В то самое время как Хвалынцев, сказавшись усталым, предавался в уединении своей комнаты всем этим болезненно-желчным думам и ощущениям, в главном флигеле господского дома было ярко освещено; однако движения особенного или шумной веселости вовсе не замечалось. Напротив, там было даже как-то тише, чем всегда, хотя в усадьбу и съехалось несколько гостей, нарочно, втихомолку приглашенных паном Котырло после охоты. По Хвалынцеве, конечно, вовсе не скучали, и даже когда Свитка передал его извинение в столь раннем отходе на покой, то хозяева остались весьма довольны: все же лишний, посторонний человек не будет на глазах торчать в такое время, когда подлежит настоятельная надобность толковать о делах весьма серьезных и важных. Свитка тоже был доволен не менее, если только не более прочих.

Общество сидело в двух отдельных и не смежных комнатах: мужчины заперлись в кабинете, а дамы в гостиной, в своем особом и тесном кружке. Они почти шепотом и с таинственным видом сообщали разные новости и слухи, неизменно касавшиеся «ойчизны». Одна передавала, будто знает наверно, от самых что ни есть достоверных людей, что Гарибальди находится теперь в Варшаве, для того, чтобы в нужную минуту принять главное начальство над народовым войском; другая уверяла, что "ангельска эскадра" с десантом находится уже в Поневеже, и что вот тоже один благочестивый ксендз предсказание одно сделал насчет французского флота: к этому ксендзу, видите ли, являлась Ченстоховская Богородица и сообщила, что на 25-е декабря, на самое "Боже народзене" Она приведет по Висле, под самую Варшаву, весь броненосный французский флот и будет бомбардировать цитадель и сожжет ее, и москалей всех повыгонит, и стало быть надо нам только подождать 25-го декабря. Одна из паненок по этому поводу разочла сколько дней, сколько часов, сколько минут и секунд остается от сего дня до желанного срока, и обещала каждодневно читать особую литию Ченстоховской Богородице, чтоб Она как-нибудь сократила эти дни, часы и минуты. Но занимательнее всех оказалась красавица преклонных лет — супруга пана Селявы-Жабчинского. Она хлопотливо порылась в своем ридикюле, вытащила оттуда свой молитвенник и достала сложенную между его листками бумажку, которую тотчас же, попросив всеобщего внимания, стала читать таинственно-тихим, но тем не менее торжественным тоном. Это было весьма распространенное и в многочисленных списках ходившее по рукам в то время "Предсказание некоей ясновидящей немки".

"От России, охваченной общим кровавым мятежом, — внятно читала посредница, — которого жертвой пали правительство и тайный сенат, отпадают все пограничные области, даже черкесы возвращают себе свое давнее достояние. Польша, в давних границах, перестраивает карту Европы. Развенчанные монархи: царь русский, император австрийский и король прусский, спасаются в Лондоне. Умирает Наполеон III, и поляки, избавясь от всех врагов и соперников, созывают в 1865 году на общий конгресс представителей вновь возникших государств в Варшаву, которая становится центральной столицей всей Европы".

Слушательницы с благоговейным восторгом и с безусловной верой, что все непременно так и сбудется, внимали торжественному чтению посредницы. Но сама пани Котырлова пожелала закрепить это предсказание свидетельством духов, дабы ни в ком уже не оставалось ни малейших сомнений. Она вместе с религиозным фанатизмом соединила еще и фанатическую веру в спиритизм, подобно бесчисленному множеству полек того времени, и сама себя почитала медиумом. Пани Котырлова взяла карандаш, утвердила его вертикально на подложенном под руку листе бумаги и задумалась. Водворилось всеобщее молчание. Все взоры устремились на карандаш с напряженнейшим вниманием и даже с некоторым страхом и трепетом. И вот минут через десять, усталая, без всякой подпоры, рука стала шевелиться — карандаш вывел какие-то каракули. Все нагнулись смотреть что написали духи и по этим каракулям единодушно порешили, что так тому и быть, ибо духи дали ответ ясный и утвердительный.

После этого дамская беседа продолжалась в этом же роде, до самого ужина, изредка перерываясь разве какою-нибудь стократно уже жеванною и пережеванною сплетнею из окрестного околодка.

Но не то было в кабинете, где, запершись от любопытных глаз и ушей лакеев и девок, сидело почти все наиболее веское "панство повятове".

— Шановне панство, — начал Василий Свитка, когда все расселись попокойнее и закурили кто сигару, а кто трубку с длинным чубуком из кабинетной коллекции пана Котырло, — я очень рад, что под предлогом киермаша и охоты мы собрались теперь здесь в числе нескольких избранных. В том, что мы честные патриоты, которые не выдадут общую тайну ни пред Сибирью, ни под пыткой даже, кажется, нечего сомневаться.

Паны зашевелились: кто молча кивнул головой, кто промычал себе под нос, в виде утверждения, нечто вроде: "конечно!" "а як же ж!" "натуральне!" "ого"!

— Поэтому, — продолжал Свитка, — позвольте мне рекомендовать себя пред вами: я послан от Петербургского Центра с некоторыми поручениями, с которыми буду иметь честь познакомить вас, а в доказательство, что я имею на то известное полномочие, вот мой мандат,[26] потрудитесь взглянуть на него.

И вынув из бумажника небольшой билетик, исписанный мелким почерком и скрепленный голубою печатью Петербургского Центра, он предъявил его всему собранию.

Посредник, морщась и щурясь, поднес близко к лампе бумажку и прочел Свиткино полномочие.

— Сомнений нет: печать петербургского Центра и мандат совершенно правилен, решающим, авторитетным тоном проговорил он, возвращая билет, и прибавил: "мы к вашим услугам".

Все сидели, кто где и кто как, а Свитка в виде докладчика, опершись обоими кулаками на стол и стоя в любезно-почтительной, но тем не менее самодостоинственной позе, обращался ко всему собранию.

— В нашем Центре получено самое достоверное дипломатическое сообщение, — начал он, обводя глазами, — да впрочем, вероятно и вам оно известно. Слова в высшей степени знаменательные! Наши эмигранты чрез принца Наполеона еще раз хлопотали у императора французов за наше дело. Вы знаете ответ, который им был передан? Я могу сообщить вам его буквально от слова до слова, вот он: "Поляки должны сами подать первый знак жизни; но

поляки-обыватели спокойны, а я не могу воскрешать мертвых". Когда же ему стали говорить о наших будущих границах, то вот опять-таки его слова на это: "Пролитие крови обозначит, где собственно таятся естественные границы Польши: восстание наметит их".

— Виват, Наполеон! Виват цесарж! восторженно сорвались с мест и загалдели несколько панов разом. — О, теперь баста! наше дело выиграно! Теперь finis Moscoviae!.. Consumptum est![27]

— Позвольте, шановне панство! позвольте! — перебил Свитка, — прошу не забыть слов: "я не могу воскрешать мертвых", — это что значит? Это значит, что нам надо скорее подумать о прочной организации вооруженного повстанья.

— Э, что там долго думать! — махнул рукой экс-улан. — Просто трем-брем! шах-мах!.. бей москаля, и баста! По-моему так!.. Я на этот счет все равно как Кропител у нашего Мицкевича: трем-брем и баста!

— Это делает честь вашей храбрости, — вмешался Селява, — но все-таки надо обсудить сначала...

— Нечего там судить!

— Однако же позвольте!..

— Вздор! Ничего не хочу слушать!.. Шах-мах и баста!

— Но так же невозможно!..

— Что-с?!. А кто мне запретит?.. Кто смеет?.. Или я не такой же благородный шляхтич, как и вы, как и все? Да мой род еще, может, постарше... да в нашем гербе...

— Да нет, позвольте...

— Вздор! не желаю! ничего не желаю! Как шляхтич, я могу мое мнение иметь... Мое такое право на то есть!.. И мое мнение я сумею поддержать моею саблею...

— Ну, вот! ну, вот! уж и до сабель! За сабли всегда еще успеем схватиться! — мягко и примирительно вступился между спорящими пан Котырло, наливая и поднося завзятому экс-улану большую рюмку наливки. — Ну, успокойтесь, Панове, и будем слушать, будем толковать... Лучше вот пейте!.. Вишнювка добрая!

— In vino veritas![28] — скрепил пан Хомчевский, лауреат нынешней охоты, который по старине любил свою речь уснащать латинскими изречениями, и к самой латыни относился всегда восторженно, называя ее не иначе как "свента лацина".

Червленский ксендз, тоже приглашенный на сеймик и тоже весьма любивший мудрые латинские изречения, но плохо с ними управлявшийся, считал непременным своим долгом, при каждом классическом изречении Хомчевского, благоволиво и с удовольствием мотнуть головою и поддакнуть ему этим безмолвным выражением своего компетентного одобрения, дескать: "аппробую! они не понимают, а мы с вами понимаем, мы люди ученые!" Впрочем, благодушный ксендз участие свое в сеймике ограничивал одной лишь апробацией "свентей лацины", да усердным прислушиваньем к чужим речам, причем, в виде внимания к словам ораторов и размышления над ними, он очень серьезно и глубокомысленно поводил бровями, а сам, главнейшим образом, только потел и усердно, но систематически, то есть исподволь и неторопливо, приналегал на Котырловскую вишнювку.

Экс-улан, после мировой с Селявой, ворча под нос, накокец-то кое-как успокоился над своей рюмкой.

— Что касается границ, — продолжал Свитка, сняв со стены ландкарту и разложив ее на столе пред собою, — то тут, я полагаю, не может быть и толков. Мы обязаны твердо и непреклонно держаться границ 72-го года.

— Мало!.. Не хочу!.. Не желаю!.. Мало! — забурлил опять пан Копец.

— Были совещания в Вильне и Петербурге, — не обратив особенного внимания на пана Копца, говорил далее Свитка, — и так как по дипломатическому сообщению, границы Польши должны быть намечены самим повстаньем, то и решены три главные передовые пункта, в которых оно должно начаться одновременно, если даже не раньше, с повсеместным восстанием внутри края. Эти пункты… вот они (Свитка склонился к карте и стал водить по ней пальцем): крайний северо-восточный около Люцина, на рубеже Псковской губернии и Эстляндской; затем прямо на восток, около Смоленской границы будут у нас Горки — пункт крайне важный и многообещающий: Горыгорецкий институт почти весь уйдет в леса! Ну и, наконец, крайним юго-западным предположено избрать Киев и даже южнее, то есть леса около Белой Церкви и Таращи, а может еще и далее, хоть до Умани. Таков, господа, первоначальный план движения на восточной нашей границе.

— Не согласен!.. Мало! — хлопнув кулаком по столу, снова вскочил завзятый пан Копец. — Граница 72-го года! Да что это за граница?! Это не граница, а тьфу! С такими границами и жить нельзя!

— А пану пулковнику чего бы хотелось? — прищурился на него задира-посредник.

— А вот чего!

И он подскочил к ландкарте и, вглядываясь в нее бегающими взорами, сбивчиво, торопливо и неуверенно стал водить по ней пальцем.

— Позвольте-с… вот… вот… сейчас… Во-первых, — торжественно и авторитетно начал он, отыскав наконец то, чего ему хотелось, — во-первых, Курляндия была наша?

— Так, под проекторатом нашим, — подтвердил пан Хомчевский.

— Все равно; значит, наша! Значит, без Курляндии нам невозможно. Во-вторых — Псков.

— Псков?!. - удивленно выпучили на Копца глаза свои чуть ли не все присутствующие.

— Псков, непременно Псков! И не иначе! — несмущенно подтвердил он. — В-третьих Смоленск, — и как тот, так и другой со всей их территорией. Далее на юг, по течению Днепра вплоть до Черного моря. Днепр — река польская, а без моря нам невозможно. Словом: от моря и до моря. Вот моя граница и на иную я не согласен!

— Позвольте-с, — снова вмешался посредник, — Псков-то со Смоленском на каком же практическом основании? Там ведь наших и не пахнет, сколько помнится.

— Отвоюем, черт возьми! — снова хлопнул по столу Копец. — Отвоюем и будет наше!

— Но… практическое основание?

— А то, что Смоленск был за нами, а под Псков еще Баторий ходил. Я ведь тоже, черт возьми, историю знаю!

— Этак, пожалуй, Жолкевский когда-то и в Москве сидел!

— А что ж? И Москву отвоюем!.. Москва город хороший!.. Пригодится!

Почти все засмеялись, но не язвительно, а дружелюбно.

— А так! — убедительно и с азартом подтвердил экс-улан, — все, где есть или где были когда-либо наши должно быть нашим!

— Ну, таким-то образом, — опять ввернул слово Селява, — наших слишком достаточно было и есть, да и еще будет, пожалуй, хоть бы в Сибири, например…

— И Сибирь отвоюем! — расходился было пан пулковник, но вдруг словно бы осекся, поперхнулся и плюнул, — и Сибирь! Э, нет!.. Тьфу!!! Сибиру не надо, Панове! Ну его к дзъяблу! Только своих выберем оттуда, а самого не нужно!.. Сибиру не хочу!.. Кэпськи интэрес, муй пане!

Все опять засмеялись.

— Позвольте, господа, — возвысил голос Свитка. — Мысль о Сибири вовсе не столь комична, как кажется! И притом мысль о восстании в Сибири далеко не новая мысль! Еще наш знаменитый деятель тридцать первого года, Петр Высоцкий, первый стал было приводить ее в исполнение, а потом позднее бывший овручский Базыльянский опять Сиероцинский, у которого все уже было готово: самый обширный военный заговор… Сибирь — сторона почтенная: там всяких революционных элементов пропасть! И мы даже теперь имеем свои основания сильно рассчитывать на нее в нашем деле.

Пан пулковник при этом самодовольно и залихватски покрутил сивый ус свой.

— Ох, чересчур уж много с нас будет, панове! — вздохнул, покачав головою, старый Хомчевский. — Не вытянем. Dormit parum possessor divitiarum![29] — прибавил он назидательно.

— Asinus asinorum in secula seculorum![30] — бухнул ему на это приятель его Копец.

Хомчевский вскочил как уязвленный и вспыхнул.

— Примените к себе! — закричал он. И новая ссора готова была уже загореться; паны вцепились бы друг другу в чубы, но пан Котырло поспешил урезонить приятелей и уговорил пана пулковника взять назад свое дерзкое слово. Кончилось тем, что приятели выпили и угомонились без злобы друг на друга.

— Сибирь, конечно, будет сама по себе, — продолжал Свитка; — она, по всей вероятности, составит особую, совершенно самостоятельную республику вроде Соединенных Штатов, но лишь бы она поднялась одновременно с Россией и с нами: тогда они оба помогут нам освободиться. План таков: охватить восстанием всю Россию с двух флангов. Мы и Малороссия с запада; с востока на Волге и на Урале — мужики, казаки, киргизы, татары и всякие инородцы; с севера- архангельские, вологодские и костромские раскольники; с юга Дон и Кавказ, да еще Сибирь в резерве — везде уже тут закинуты сети, повсюду кипит работа и кипит отлично! Мы держим в руках своих хорошие нити; мне поручено сообщить и вам об этом. Сведения наши

вполне достоверны: сомнений быть не может. Но мы все-таки должны подняться первые, а те уж за нами!

— Per me licet![31] Я, пожалуй, и согласен, но как? — вздохнул и беспомощно развел руками старосветский пан.

— А так, что трем-брем и квит!.. "Катай-валяй, стреляй по ребрам, по усам! Шах-мах! Коли-руби! Не поддавайся сам!" — с азартною жестикуляцией и даже прыскаясь слюною, продекламировал из Мицкевича пан-пулковник. "Кропит, лупит, крестит — и весь тут разговор!" заключил он, молодцевато уперев одну руку в бок, а другою хватаясь за ус и выразительно прикусив его зубами.

— Atque iterum![32] — безнадежно махнул на него рукою пан Хомчевский.

— Вы спрашиваете: как? — сказал Свитка, обращаясь преимущественно к обожателю "свентей лацины"... — План есть, обсужденный, выработанный, все как должно!.. Конечно, — продолжал он, — план несколько смелый, но не невозможный, если взять в соображение, что под Россию со всех концов подведены свои же внутренние, но верные мины. План очень осуществимый!

— А именно, — полюбопытствовал посредник.

— А именно, вот что, — приступил Свитка к новым объяснениям. — Изволите видеть, план этот думан и передуман и так, и сяк; по поводу его были даже сношения и с Лондоном, и с Парижем, а думали-то над ним хорошие специалисты: ни более, ни менее, как люди русского генерального штаба-с. План широкий и распадается так сказать на две ветви; внутреннюю и внешнюю!

Все подвинулись ближе к рассказчику и приготовились внимательно выслушать его. Дело, видимо, начинало живо интересовать их.

— Ну, что-то там генеральный штаб придумал на погибель Москвы? — с усмешкой легкого недоверия к силам генерального штаба пробурчал себе под нос пан пулковник.

— Attentissime![33] — подняв руку кверху и втягивая в себя воздух, шипяще как-то прошептана "свента лацина".

— Ветвь внутренняя состоит в том, — продолжал Свитка, — чтобы, во-первых, все население забранного края вовлечь в мятеж.

— Легко сказать, — сомнительно мотнув головою, вздохнул пан Котырло.

— Легко! — с убеждением подтвердил докладчик. — Легко-с! надо только, что называется, роями, тучами целыми напустить на край мелкие банды, так сказать, наводнить его мелкими отрядами, у которых будет особая задача, а именно: первым делом террор!.. Террором, и беспощадным террором, надо заставить хлопа идти в банду, коль не пойдет охотой.

— Ну, тут и новые смазные чоботы не малую роль играть будут, как добрая приманка! — с видом знатока, небрежно уронил слово Селява-Жабчинский.

— Тем лучше! — заметил Свитка. — Но террор, это главное. Затем — единовременно делать повсюду всякие беспорядки: портить дороги, жечь казенные склады, рвать телеграфные проволоки, как можно более утомлять царские войска, не давая им ни дня, ни ночи покою; для этого наши классические леса дадут нам возможность укрываться от преследования, делать

быстрые и неожиданные маневры, одним словом, надо, чтобы пожар охватил весь край сразу, чтобы как гром грянул!

— А то так! так! как гром! и сразу! браво! виват! — опять с восторженными возгласами посрывалось с мест восприимчивое панство, живо увлекшись картиной такой энергической и разносторонней войны.

— Позвольте! Это еще не все, а одна только первая ветвь нашего плана! — предупредил Свитка. — Одни массы будут рассеяны роями, другие же должны быть компактны, сосредоточены в целые военные корпуса, в бригады, в дивизии, и для них предназначается иная роль. Это уже вторая ветвь — внешняя.

Свитка замедлился на минутку, вздохнул, как бы собираясь с мыслями, и принялся за дальнейшее развитие плана.

— Некто, известный нам лично, — заговорил он снова, — человек военный и замечательный, которого однако я не имею права назвать вам по имени, но, пожалуй, объявлю его будущий псевдоним, так как он уже избрал себе псевдоним: он явится под именем «Топора». Топор, — не правда ли, знаменательно и метко?[34]

— Ух!.. Красный?! — сильно поморщась, с недоверчивостью и нескрываемым недовольством вскричал Котырло.

Большая часть присутствующих тоже устроила себе кислые и сомневающиеся физиономии.

— Не красный, а умный, и потому побелеет как настанет для того время нужное! — успокоил Свитка. — Он предназначается для России, а там можно взять только крайнею краснотою, поэтому и Топором назвал он себя; там это имя будет понятно!

Физиономии панов прояснились. Котырло даже сделал вид, что теперь он домекнулся и вполне понял в чем дело, и потому одобряет его от всей души своей.

— Этот Топор откроет военные действия в Горках, на рубеже Смоленской губернии, — продолжал Свитка. — С помощью Горигорецких студентов он возьмет Горки, Борисов, Рогачев и Кричев; добудет в Кричеве целую батарею артиллерии, которая уже столько времени стоит себе без всякого прикрытия; а офицеры там уже и теперь на две трети — все наши! Затем вместе со студентами и поднятым народом явится в Россию, а молва пойдет далече, еще гораздо раньше его, что Топор-де с польскою ратью и с пушками идет освобождать народ от уставных грамот. Маршрут его будет таков: он обязан пройти сквозь губернии: Смоленскую, Тверскую, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую, и поднять весь правый берег Волги, а в это же самое время, другой филяр[35] в Казани подымает пугачевщину на левом берегу. Калужская губерния подхватит бунт от соседки своей, Московской, и уже через Орловскую и Курскую поведет далее на юг, для соединения с нашим повстаньем на юго-западе и в Малороссии. Вот наш план, панове!

— Виват, Топор!.. нех-жие Топор! Это так!.. Это по-нашему!.. Кропить, так кропить, а крестить, так крестить! На все стороны!.. Браво! — поднялся новый гвалт и движение в табачном дыму просторного кабинета.

— Однако, позвольте, панове! И это еще не все! — возвысил голос Василий Свитка. — Нам надо иметь прочный опорный пункт, без него не обойдемся; поэтому нужно взять Динабургскую крепость.

— Ну-у!.. Куда там! Уж и Динабург! — более чем сомнительным тоном, как бы в виду очевидной нелепости, заговорили почти все присутствующие кроме экс-улана, которому весьма понравилась красивая идея взять штурмом русскую крепость.

— Да, именно Динабург, — уверенно подтвердил Свитка. — Конечно, если б я сказал вам, что мы возьмем его посредством правильной осады или штурмом, то это была бы такая нелепость, после которой надо бы было пану Котырло тотчас же послать за доктором и пустить мне кровь, в предупреждение сумасшедшей горячки; но я ни о чем подобном и не заикаюсь. Мы возьмем нашу крепость совершенно спокойно и самым верным путем.

Присутствующие при этих словах выразили знаки самого живого, нетерпеливого любопытства, и еще ближе сплотились около Свитки.

— Мы нападем на крепость не извне, а изнутри.

— То есть как же это?

— А очень просто! — отвечал он. — Под предлогом постройки костела, который уже предположен самим правительством внутри крепости, мы введем туда, в виде рабочих, массу наших людей. Дело, как видите, богоугодное! Кроме того, теперь уже идет сильная и успешная пропаганда в динабургских арестантских ротах, так что в назначенную ночь и час офицеры, между которыми есть очень много наших, откроют тюрьмы, арсеналы, вооружат людей, арестуют коменданта, переколют часовых, и крепость, менее чем в какой-нибудь час времени, будет наша! И все это произойдет так тихо, так гладко, что когда город проснется поутру, так ахнет от изумления пред неожиданностию и чистотою такой работы.

Паны просто плавали в масле восторга. План действительно был превосходен.

— Но и это еще не все! — продолжал Свитка. — Другой из наших деятелей, которому, по всей вероятности, предстоит играть на Литве громадную роль и которого я решусь назвать вам опять-таки не по имени, а по его будущему псевдониму — Доленго,[36] человек весьма уважаемый русским правительством. Этот человек стянет десятитысячный корпус в Ковенскую губернию, соединится с иностранным десантом, потому что к этому времени уже подоспеет обещанная помощь французов и англичан, и с этими соединенными силами он пойдет подымать Остезейский край, а затем двинется на Вильну. В это время, заметьте, восстание уже будет в полном разливе и в Конгресувке, и на Украине. Топор овладеет линией Днепра, а Доленго линией Двины, и таким образом царские войска будут окружены, отрезаны и беспомощны. Мы дадим им полнейший шах и мат.

— То есть шах-мах! — и плюск! — с выразительным размашистым жестом скрепил пан пулковник.

— Certe certissime![37] Вернее верного! — вскочил с места даже и пан Хомчевский, увлеченный столь блестящею и, по-видимому, весьма возможною картиною будущих побед и успехов.

— Все это прекрасно! — после некоторого раздумья вздохнув заметил пан Котырло. — Но я смотрю на дело не увлекаясь. Для таких предприятий нужны руки, нужен народ, а что вы с нашим народом проклятым поделаете!

— Обратите народ в чернь! — возразил Свитка, — и вы всего достигнете!

— Легко сказать: обратите!.. А где возможность?

— Возможность вся в ваших руках, господа помещики, вся в вашей воле, была бы лишь охота да энергия! Во-первых, — стал высчитывать Свитка, — костел, который свое дело делает беспримерно хорошо? во-вторых, ваши школы; в-третьих, институт наших мировых посредников, с помощью которых можно расплодить еще более пролетариата.

— Надо обезземеливать, — промолвил Котырло.

— Совершенно справедливо! Надо обезземеливать, и обезземеливайте! Переводите их в дворовые, в кутники, делайте что хотите, но только увеличивайте пролетариат, усиливайте класс батраков. При участковом владении это в тысячу раз легче, чем при общинном. Но помните: одно из первых условий, чтобы народ поскорее был обращен в чернь! Это ручательство верного успеха!

— Certissime! — с удовольствием потирая руки, возгласил пан Хомчевский. — С этим я вполне согласен, но… (он вздохнул и возвел глаза к потолку) где ручательство, что наши блестящие планы беспрепятственно приведутся в исполнение, что все так и будет, так и случится, как мы предполагаем, что они до времени не станут известны москалю? Кто мне поручится, что все это будет, так сказать, impune — безнаказанно, безопасно?.. Я хоть и верный стрелок, но без верного расчета не желал бы рисковать ни моей головой, ни моим маентком,[38] а ни даже зарядом моей охотничьей двухстволки.

— Ручательство в слепоте москевскей, уж если говорить совсем откровенно! — подхватил Свитка. — Да чего же лучше! Вот вам один образчик: вы знаете ли, например, кем оберегается безопасность нашего тайного комитета в Вильне?

— А ну-те? — с живым любопытством отозвался Хомчевский.

— Да ни более, ни менее, как русским же караулом, русскими штыками!

— То есть это аллегория, конечно?

— Какая там аллегория! Буквально! Вы знаете, где этот комитет собирается? где происходят его секретные совещания.

— А ну-те?

— В генерал-губернаторском кабинете.

Многие выпучили глаза и засмеялись этому сообщению, как фарсу.

— Честное слово! — подтвердил Свитка. — Не только что в генерал-губернаторском доме, но иногда даже в собственном кабинете его высокопревосходительства. Там, в портфелях, между деловыми бумагами, передаются по назначению и наши бумажки, там же во время официальных докладов и приемов происходят и наши доклады и приемы; а это, конечно, самое умное и самое безопасное: Боско все свои фокусы, без всяких аппаратов, делал на глазах всей почтеннейшей публики и оттого его никогда ни поймать, ни разгадать не могли. То-то и хорошо, господа, что несколько наших добрых филяров сидят за большими плечами — и виленскими, и петербургскими.

Паны согласились, что это действительно хорошо.

— Ах, чуть было не забыл! — хлопнул себя по лбу Василий Свитка. — Еще одно интересненькое сообщеньице. Наши очень успешно хлопочут у Ротшильда и Монтефиори, чтобы те

посодействовали понижению русских фондов на всех европейских рынках.

— Ого, ну и что же? — спросил Котырло.

— Содействие обещано почти что наверное, как скоро начнется восстание; а между тем к тому же времени и в Лондон, и в Париж уже заготовляются громадные выпуски русских фальшивых серий и ассигнаций, которыми мы будем в состоянии просто наводнить всю Россию — и кредит ее лопнет. А подделка артистическая!.. Не отличишь, а ни-ни.

— Хм!.. — раздумчиво крутя ус, произнес пан Копец. — Эдак, пожалуй, камуфлетом в самих себя же хватим с этими ассигнациями… Жиды принимать не станут… Средство-то немножко того…

— Средство освященное еще великим Наполеоном, — гордо подняв голову, заметил Свитка. — Дело не в жидах, а в том, чтобы парализовать врага на всех существенных пунктах.

— А, Напольйонем — разводя руками, — почтительно и даже благоговейно произнес экс-улан. — Да!.. Ну, это иное дело!.. Напольйон!.. Пред этим именем я склоняюсь ниц и молчу, я молчу, муй пане!

— Теперь, господа, я желал бы знать, — снова заговорил Свитка, — как вы смотрите, то есть лучше сказать, какова программа ваших современных действий, ваш взгляд на задачу относительно настоящего именно времени? Мое любопытство будет простительно, — принимая деликатно-извиняющийся тон, пояснил он, — если я скажу, что мне поручено собрать об этом сведения для соображений петербургского Центра… Это даже один из пунктов моей инструкции.

— Наш взгляд… да как сказать?.. наш взгляд, то есть…

Паны очевидно пришли в затруднение перед вопросом, поставленным таким образом.

— То есть я разумею программу действий дворянства относительно правительства в настоящее время, — пояснил Свитка. — Весьма бы желательно, — прибавил он, — во всем Западном крае достичь по этому предмету полнейшей гармонии и единообразия.

— А, да-а! — подхватил солидный и рассудительный пан Котырло. — Не знаю, как где, но мы, по крайней мере, держимся политики галицких помощников сороковых годов, то есть все брожение относим к агитациям красных, к волнению умов между хлопами. Когда требуют объяснений, мы даем отзывы, что дескать положением 19-го февраля пользуются какие-то неведомые нам агитаторы и мутят народ, который выйдя из-под власти помещиков, думает себе, что он уже может теперь не повиноваться и власти правительства, и что стало быть местные власти обязаны укрощать крестьян.

— Ну, а что касается самих крестьян, — весело подхватил Селява-Жабчинский, — то тут мы проводим слияние, любовь, братство, равноправность и прочие подобные конфетки. Средство, ничего себе, действует. Ловятся и на эту удочку! Ну, конечно, под рукой постоянно пускаются слухи, что освобождением обязаны они никак не правительству, — это тоже с одной стороны не мешает, помня галицийскую резню 46-го года.

Свитка чуть заметно, но очень коварно улыбнулся про себя и в то же мгновение поспешил принять прежнее спокойное выражение.

— Да, — подтвердил Котырло, — и чтобы подобные сцены не могли повториться, поневоле надо

содействовать распространению братств трезвости, даже себе в убыток, потому что сколько уж винокурень совсем стали, да и моя тоже! — прибавил он с хозяйственно-сокрушенным вздохом.

— Теперь, господа, я подхожу к самой существенной, к самой важной части моего поручения, — опять приняв деловой и как бы официальный тон, сказал Свитка, и снова занял у стола прежнее место и прежнюю позу. — Наше общее дело, на которое смотрит вся Европа, весь мир, должно иметь вид и формы вполне благоустроенного восстания.

— Натуральне! — подал голос Селява.

Прочие выразили минами и жестами полное свое согласие с заявленным мнением Свитки.

— Благоустройства же мы можем достигнуть, — продолжал тот, — единственно посредством организации, то есть нам надобно позаботиться о том, чтобы заблаговременно, гораздо ранее решительного дня и часа, даже чем скорее тем лучше, устроить и ввести повсюду в действие нашу тайную революционную администрацию. Вся организация должна быть строго подчинена одной высшей, так сказать, центральной распорядительной власти — ржонду народовему. Организация должна прочно связать все сословия, собрать и правильно распределить наши народные силы и систематически употребить их для предстоящей борьбы, а без того и наши широкие, наши блестящие планы не удадутся!.. Население должно прямо, незаметно для самого себя и как бы совершенно естественно перейти от русской власти под нашу революционную.

— Мм… это так, конечно, — заметил Котырло; — но… тут есть один весьма существенный вопрос, так сказать, вопрос жизни или смерти.

— То есть? — спросил Свитка.

— То есть, в чьих руках будет находиться эта высшая, центральная власть? Если в руках красной сволочи, то слуга покорный…

Свитка опять улыбнулся про себя тонкой, чуть заметной, но очень коварной улыбкой и опять еще скорее поспешил смаскировать ее строго серьезной миной.

— Мне кажется, что для Литвы об этом не может быть и вопроса, — сказал он. — В Литве и власть, и влияние всегда останутся на стороне белых.

— Хм… А если эта центральная красная власть одним декретом из Варшавы скассует и белых, и всю их организацию, да пойдет террором вводить свои социальные и коммунистические бредни на счет нашей собственности и наших родовых привилегий. Тогда что?

— Тогда?.. Тогда мы можем и отложиться от Варшавы. Какая же надобность непременно идти за нею на привязи? Идем пока нам это нужно и удобно; а неудобно — только они нас и видели! Не Литва в Польше, а Польша в Литве нуждается! — с силой искреннего убеждения прибавил Свитка. — Литва, слава тебе Боже, слишком достаточно сильна, чтобы существовать совершенно самостоятельно и независимо; а Польше одной без нас не вытянуть: мы для нее житница, мы для нее ост-индские колонии. Польша без Литвы — это и географический, и политический абсурд, а если мы сила, так гнись под нас, пляши под нашу музыку или пропадай себе. Варшавские красные сапожники нам нисколько нестрашны.

Эта речь Свитки бодро, освежительно подействовала на присутствующих. Он говорил с такой уверенностью, с такой силой убеждения, и столь ловко умел задеть чувствительную струну "местного патриотизма", что на физиономиях панов заиграли самодовольные улыбки гордого

сознания своей силы и значения. Им даже очень понравилась мысль, что они, коли захотят, то могут и наплевать на Польшу и быть сами по себе, а Польша сама по себе — пускай-де нам кланяется и нашей милости панской выпрашивает. Новая идейка эта очень лестно и приятно щекотала местно-литовское самолюбие шляхты.

— И так, панове, насчет организации, — приступил к делу Свитка. — Местная организация должна состоять из начальников: воеводского, повятоваго, окренговаго и парафияльнаго.[39] Для сбора податей должны быть назначены особые поборцы, а для местных банд особые довудцы, по воеводствам же — военные воеводы; местные довудцы будут пока организаторами местных военных сил. Кроме того, от высшего ржонда в каждое воеводство будет назначен особый комиссар, со значительными полномочиями, для общих наблюдений за исполнительностью членов организации и за течением дела вообще, а своевременно, то есть когда необходимость укажет действовать на инерцию масс террором, предполагается в каждом повете учредить трибунал с немедленной карой за неповиновение.

— От-то так! От-то по-нашему! — обрадовался пан Копец, но пан Котырло далеко не выразил такого же чувства. Он, напротив, поцмокивая, морщась, тужась и разглядывая свои ногти, выжимал из себя заветную мысль.

— Видите ли, мм… оно все, пожалуй, очень стройно придумано, — говорил он, медленно и тягуче, — но… мы бы думали… по-моему, по крайней мере… мне сдается, что этот трибунал, комиссары и прочее, все это пахнет как-то краснотою… А мы бы думали то же самое сделать, да только проще, интимнее…

Свитка нахмурился и закусил губу.

— То есть как же бы, например? — спросил он сквозь зубы и, чтобы не слишком явно выдать свои внутренние ощущения, закурил папироску.

— По крайней мере, наставления Ламберова Отеля, которые нам ни в каком случае нельзя не принимать в соображение, — продолжал Котырло, — именно указывают нам на такое простое, интимное устройство. Мы, видите ли, склонны смотреть на восстание как на свое домашнее дело и рассчитываем иметь по уездам двух-трех человек, которые поведут дело, и конечно в каждом из нас будут иметь послушного и надежного помощника… И такую организацию подготовили бы к тому времени, когда по нашим расчетам, настанет для этого пригодная, безопасная пора… Впрочем красные, коли хотят, пускай начинают дело, а мы поглядим.

Эти мысли пришлись крайне не по вкусу скромному на вид Василию Свитке. Он становились поперек его собственным планам и целям, поперек той двойной и огромной игре, которую он, втайне ото всех, давно уже задумал и сообразил в своем уме, шансы которой рассчитывал и преследовал постоянно, прикидываясь, где нужно, умеренным, былым, чуть не консерватором и, пока до времени, играя второстепенную роль в Петербургском Центре. Выслушав возражение пана Котырло, он собрался с мыслями и начал, по возможности, ровнее и спокойнее.

— Так нельзя, господа, — заговорил он, обращаясь преимущественно к своему оппоненту. — Или мы любим более всего свой комфорт и свою собственность, или же дело своей родины. С такой выжидательной политикой вы рискуете остаться за флагом, рискуете обремизиться при шансах самой верной игры. В таком случае лучше уж прямо, раз навсегда, махнуть рукой на дело и садиться писать верноподданнические адреса. Но этот свой смертный приговор мы еще успеем подписать и после, когда все лопнет… Не торопите же его вашей нерешительностью. Вы пугаетесь красных, а между тем сами хотите выжидать, пока они всю власть захватят в свои

руки; вы сами и власть, и себя головой выдаете им... Ах, господа, господа! — со вздохом воскликнул он, укоризненно покачав головой. — С вашими пустыми страхами вы забываете, что красные на Литве — это нуль. Вся сила у нас в собственниках, в шляхте. В вас весь залог успеха, а вы выпускаете инициативу из своих рук.

— Напротив, мы желаем удержать ее, — возразил Котырло.

— И между тем упустите. И это вернее верного.

— Позвольте-с однако...

— Да так же! Ведь согласитесь, что в настоящую минуту общий ход дела зашел уже слишком далеко, так что сторонись вы или не сторонись, удерживай его или не удерживай — это решительно ничего не значит: вам его не удержать. Дело все-таки идет и пойдет помимо вас своей собственной силой, собственным движением, инерцией. Ведь уж ему столько же толчков было дано! Вы сами давали их чуть не до сего дня. А на полудороге остановиться нельзя. Но пока вы сторонитесь да выжидаете, красные, понятное дело, заберут все в свои руки: роковая сила обстоятельств, логика жизни к нынешнему нулю прибавит одну или даже две единицы, и тогда...

Свитка не окончил, но завершил выразительным и вполне понятным жестом.

Горячий поток его речи, начатой столь спокойно, начинал действовать. Большая часть присутствовавших была на его стороне и даже сам Котырло колеблясь раздумался над его словами. Оратор заметил про себя действие, произведенное его речью.

— Ах, господа! — с жаром воскликнул он, после минутного молчания. — Забудемте на время и красных, и белых, и синих, и всяких, а будемте пока только честными патриотами, честными литвинами. А счеты свои покончим и после. Прежде с москалями покончим.

— Браво, так, верно! О чем тут думать да сомневаться!.. Верно! — загомонила вся "шановна шляхта".

Котырло медленно склонил свою голову и с чувством протянул Свитке руку.

"Фу-у!.. Слава тебе, Господи! Наконец-то!" — облегченно и радостно вздохнул в глубине души своей этот последний, с таким чувством, как будто бы вытянул в гору на собственных плечах великий и богатый груз.

— Господа! — воскликнул он. — Ваше почтенное собрание представляет здесь все наиболее веское, влиятельное и интеллигентное здешнего повета ("ничего, надо маслицем подмазать", подумал он про себя). Зачем вам медлить пред исполнением наиболее существенного дела? Произведите тотчас же между собою выборы начальников повятовых и окренговых, чтобы хоть недаром собрался наш нынешний сеймик.

— Браво!.. Идет!.. Согласны!.. Мы, черт возьми, сила; мы власть из рук упустить не желаем! Мы сами и без красных сумеем быть красными, когда потребуется! Да!.. — гадали восприимчивые паны и, покинув свои места, толкались по всему кабинету.

Но когда начались выборы, когда один стал предлагать того-то, а другой другого, третий же третьего, и т. д., то дело дошло до споров и крупных разговоров. Пан Хомчевский все мирил и ублажал своей "свентой лациной", пан Селява егозил, элегантничал и старался казаться язвительным и тонким политиком (ему очень хотелось быть выбранным во что-нибудь); пан

Копец горячился, прыскался, краснел как рак, крутил ус, кричал "не желаю"!.. И этого не желаю, и того не желаю, "ничего не желаю!" кричал, по старине: "не позвалям! Veto!" так как известно, что без этих двух заветных словечек ни единый панский сейм и сеймик, во все времена и веки, никоим образом и ни в каком случае, обойтись не может, ибо иначе и сейм не в сейм уже будет. Дошло до того, что кому-то и за что-то, но за что именно и сам не понимая толком, пан пулковник опять стал грозиться своей саблей. Тут появились на свет Божий и старые, полузабытые дрязги и сплетни, и взаимные покоры, и фамильные гербы, и шляхетные привилегии; фигурировали и давние права, и родственные связи, и даже степень благонадежности пред российским начальством, — словом, всего было вдосталь и вволю. Паны расходились. Говор, споры, ссоры, толки, уговоры, наконец даже слезы, лобзанья и примиренья и опять взрывы крупных споров, рисовка и своим благородством, шутки, смех, шум и безурядица, все эти длилось более часа. Наконец, кое-как "сгодзили сен".[40] Недоумения разрешились — выборы были сделаны. Должность "нечельни*к*а повятового" предложили было пану Котырло, но тот под разными, более или менее благовидными предлогами уклонился, заявив впрочем, что кроме этой должности, к которой он, по совести, не чувствует достаточно сил, энергии и способности, вся его жизнь и все состояние принадлежит "свентей справе"[41] и «ойчизне». Вместо пана Котырло на повятовые выбрали пана Селяву-Жабчинского. Этот был необыкновенно доволен, словно бы его в генералы произвели и арендой пожаловали, и с нескрываемой радостью, даже с несколько горделивым достоинством и уже отчасти покровительственно пожимал панам руки, благодаря их за то, что почтили его своим шляхетным доверием. Пана Хомчевского выбрали в окренговые, при чем он только развел руками и, подняв глаза к потолку, словно бы выражая тем покорность воле судеб, произнес со вздохом: "Sic astra volunt![42]". Выбрали и еще несколько панов: кого тоже в окренговые, кого в парафияльные, а экс-улану пану Копцу предоставили честь, ради его воинственности, быть местным довудцей и организатором будущих воинских сил. Пан полковник тоже был необыкновенно доволен предстоящей ему ролью.

— Вышколим, черт возьми, вашу братью, панове! — похвалялся он, крутя ус и гоголем похаживая между панами. — Так-то вымуштруем, что целый чварты корпус москевский от одного виду нашего лытки покажет! Шах-мах! Плюск и баста!

В заключение же, поздравляя друг друга, паны лобызались, умилялись, похвалялись, обещались, друг другу клялись и, в силу предложения пана Хомчевского, выраженного по обыкновению в латинской форме: "ergo bibamus![43]" роспили еще несколько бутылок «венгржины» при дружных и бурных возгласах:

— Нех жіе Польска![44] Нех жіе вольносць!.. Пречь за москалями!.. Засмроздили[45] Польскен' москале!.. Убирайтесь к чертям!

Свитка был очень доволен.

"Ну, любезные друзья мои!" думал он, уже поздно ночью возвращаясь в свой флигелек; "вы хотите "красною сволочью" воспользоваться как убойной скотиной, как пушечным мясом, а "красная сволочь" вас к делу приспособила. Посмотрим, кто кого перехитрит!.. Карман-то во всяком случае, а может и лбы, и гербы ваши пригодятся нам".

Придя в свою комнату, когда Хвалынцев уже спал, Свитка тщательно, особо им изобретенными буквами и знаками записал в своей записной книжке все имена и соответственные должности выбранных нынче дворян.

"Теперь вы, голубчики, в моих руках!" с истинным удовольствием подумал он, с наслаждением потягиваясь и расправляя свои члены, как бы после многотрудной работы. "Теперь, чуть что

заартачитесь в решительную минуту, так можно вам и русскими жандармами и следственной тюрьмой пригрозить: имена-то все в книжке, а факты, даст Бог, будут на лицо… Вот вам, белые друзья мои, и красная сволочь!"

И он, потирая ладони, самодовольно рассмеялся веселым, но злорадным смехом.

XV. У отца Сильвестра

Проснувшись после крепкого и безгрешного подутреннего сна, Хвалынцев встал довольно рано, осторожно оделся, чтобы не разбудить спавшего товарища, и пошел на местечко — попытать, нельзя ли где порядить себе лошадей? Жиды однако везти не соглашались, потому что была пятница и, значит, к вечеру у них "шабаш заходить".

День был такой же ясный, сухой безветренный, как и вчера.

Константин, в надежде найти себе какого-нибудь подводчика между крестьянами, пошел бродить по местечку. Свежий, бодрящий утренний воздух, ясное ноябрьское солнце, тишина и легкий моцион как-то утихомирили его вчерашнюю желчность и навели на душу ясное спокойствие. Он, незаметно для себя самого, забрел на самый конец местечка, туда где стояла православная церковь, и проходя мимо начисто выбеленного домика, крытого соломой, услышал стук топора и сквозь незапертые ворота увидал внутри двора отца Сильвестра. Поп, в одном сереньком нанковом подряснике, рубил какую-то доску и вместе с батраком своим трудился над починкой ветхого сарайчика, который они совокупными усилиями приводили в надлежащий вид, прилаживая к нему дощечки и подпирая стены его кольями.

Случайно обернувшись в это самое время, отец Сильвестр заметил Хвалынцева и на его приветствие ответил радушным поклоном.

— Гулять изволите? — окликнул он его, выпустив топор и обеими руками расправляя изнатужившуюся поясницу.

— Лошадей ищу, уезжать хочу отсюда, — объяснил Хвалынцев.

— Так за чем же дело стало? На мызе вам из экономии дадут. Вам самим и трудиться незачем.

— Нет, Господь с ними! — неприятно поморщась, поспешил возразить Константин Семенович. — К чему их еще и этим одолжением стеснять!.. Я не хочу. Но только вот беда в чем…

И он рассказал свое затруднение с жидами по поводу шабаша.

— Ну этому горю можно пособить, — утешил его отец Конотович. — Ежели вам угодно будет обождать у меня малое время, то я зараз пошлю батрака, вот он приведет какого ни есть хозяина, вы и порядитесь.

Хвалынцев поблагодарил и согласился.

Он окинул взглядом двор и дом и все хозяйственные пристройки: все это дышало какой-то мирной домовитостью. Избытка не оказывалось ни в чем никакого, но от всего веяло скромным, нравственным и материальным довольством, тем неприхотливым довольством труда и старания, которого достигает иногда неусыпно-заботящаяся, непрестанно-борящаяся, работящая бедность. На облезлой и засохлой старой сосне приютилось широкое гнездо аистов, которых здесь называют «боцянами» или «черногузами». Ныне оно опустело по осени, но с

будущей весной вновь будет занято той же самой прошлогодней парой крылатых обитателей. Над низенькими небольшими окошками поповского домика сереют, тоже опустелые, ласточьи гнезда, — но Боже избави, чтобы кто осмелился дотронуться и разорить их! То же самое и в отношении аистовых гнезд: ласточка-благовестница есть Божия излюбленная пташка, а аист-змееистребитель человеку на великую пользу живет, и как тот, так и другие дому сему Божье благословение и благодать своим пребыванием приносят.

Соломенная кровля, поросшая от старости густым и плотным ярко-зеленым мхом, вся изрыта чернеющимися норками воробьиных гнезд. По выбеленным стенам на шнурках и дротах взвиваются снизу вверх засохшие побеги хмеля, тыквы, фасоля, павоя и дикого винограда. В маленьком садике, меж огородных грядок, торчат корявые деревца яблонек, раскидистые, высокие груши, поджарые, тонкостволые сливы да вишни. У крылечка две клумбы с незатейливыми поблеклыми цветками, между которыми высоко торчат облетелые стебельки мальв, известных более под именем туберозы, и тут же в разных уголках рассажены кустики сирени, роз, бузины и пахучего Божьего дерева. На дворе, в куче навоза, кудахтая, роются пестрые куры и поросята, утки полощутся во врытом в землю корыте, и гордо похаживает павлин. Баба-работница, с подтыканной высоко за пояс юбкой, обнаруживающей почти по колени ее босые, заскорузлые ноги, тащит звонкие ведра к студеному колодцу — и высокий «журавель» медленно скрыпит и рыпит, погружая бадью в темную глубь криницы, а мохнатый старый пес дворовый лениво и понуро повертелся раза два на месте, обнюхал его и улегся на крылечке, и дремлет себе, грея на солнышке свои старослуживые кости. Пахло слегка дымком, навозом, дегтем и утренним, сухим осенне-холодноватым воздухом. И все это так просто и так ясно говорило про скромный, упорный труд чернорабочий, и еще более навеяло на Хвалынцева мягкое ощущение внутреннего мира, тишины и какого-то кроткого и серьезного спокойствия.

— А хорошо у вас тут! — с невольно полным, облегчающим вздохом сказал он, после минуты раздумчивого созерцания.

Священник как-то грустно и спокойно усмехнулся.

— Ничего себе… живем кое-как с Божьей помощью, — проговорил он. — Вот, працуем,[46] сакеркой[47] постукиваем: хлевушку надо починить, а то зимою, гляди, все развалится, как снегу наверх навалит. Да не прикажете ли до хаты, в горницу? — вдруг спохватился отец Сильвестр, — что на двор-то стоять?.. Милости просим!.. Зайдите пока!

Через темные, но чистенькие сенцы, где пахло мятой и другими целительно-ароматическими травами, сушеные пучки которых висели здесь под потолком, Хвалынцев прошел в смежную горницу, служившую отцу Сильвестру и гостиной, и кабинетом. В горнице чуть-чуть припахивало ладаном. У окошек, на домодельных горках, стояли горшочки цветов: герань, левкои, фуксии, мирты, а по углам в деревянных кадушках произрастали два довольно уже рослые олеандра. Над окнами, между скромных кисейных занавесок, висели две затейливые клетки: в одной канарейка, в другой скворец; а по стенам несколько сбродных картин под стеклом и два-три образа, вероятно, перенесенные из церковной ризницы. В переднем углу перед образом теплилась лампадка на полочке, с которой спускалась небольшая лиловая пелена, отороченная золотым позументом и с позументным же крестом посредине. На столике под образами лежали: Требник в темной коже, засохшая просфора, почернелый небольшой крест из аплике и небольшое же Евангелие в слинялом бархатном переплете с финифтяною живописью по углам верхней доски; а невдалеке от переднего угла были прибиты три полки: верхняя занята книгами, очевидно, духовного содержания, в старинных кожаных переплетах с металлическими застежками, а на двух нижних был всякий печатный сброд: номера "Сына Отечества" и "Виленский Курьер", и растрепанные книжки "Отечественных Записок" да старинной «Библиотеки», "Домашний лечебник" и "Опытный садовод" и прочий подобный

случайный сброд, который обыкновенно, встречается у людей любящих почитать, но не систематизирующих свою библиотеку. Под этими полками, в простенке между двух окошек, помещался простой рабочий стол отца Сильвестра, обтянутый черной клеенкой, а над ясеневым диваном, представлявшим собою как бы часть гостиной, висели две раскрашенные литографии в рамках: на одной был изображен государь в порфире, а на другой императрица в русском наряде. В незатейливой, бесхитростной обстановке этой горенки все было так чистенько и просто, но вместе с тем порядочно, домовито и уютно, что Хвалынцеву невольно, само собою, напросился на сравнение контраст соломенного палаццо пана Котырло. Если правда, что по характеру обстановки жилища можно предугадать и о характере его обитателя, то горница отца Сильвестра сделала на Хвалынцева столь симпатичное впечатление, что симпатию свою он еще более перенес на хозяина этого дома.

Прошло не более пяти минут, как в горницу вошла работница с большим подносом и поставила на преддиванный стол бутылку наливки, графинчик водки, маринованных грибков, еще кое-чего и три тарелочки варенья: малины, вишень и крыжовнику, а вслед за нею появилась в белом чепце и в ковровом платке сама попадья, женщина лет под сорок, низенькая и дородная, с бесхитростно-простоватым, но бесконечно добродушным, располагающим лицом.

— А вот и матушка моя, — отрекомендовал ее отец Сильвестр, — двадцать третий год сожительствуем.

Матушка с неловкими, но очень приветливыми поклонами, захлопотала около поданной закуски, причем все кругленькое лицо ее озарилось такой несходящей с него мягкой и доброй улыбкой, что масленые глазки ее совсем ушли в маленькие щелочки и глядели оттуда с таким выражением, что все лицо ее, вся фигура ее высказывали одно бесконечное стремление чем ни на есть, но только побольше, порадушнее, от всей души угодить гостю.

— Прошен' пана! — залепетала она по-польски своим мягким голосом, подвигая к Константину и варенье, и наливку, и грибки, и колбасу домашнего копченья.

При звуках польского языка, Хвалынцев почти невольно кинул на нее мимолетный взгляд, в котором сказался оттенок удивления.

Отец Сильвестр, казалось, заметил это.

— Господин Хвалынцев — русские, — с некоторым смущением, но внушительно предупредил он свою матушку.

— А, пан з Россіи! — еще приветливее и радушнее залепетала она. — То для мне бардзо припемне!.. Прошен' пана закоштоваць...[48]

— Они по-польски не говорят! — с пущею вразумительностью, но с улыбкой еще большего смущения, обратился к ней отец Конотович.

Матушка поняла, наконец, в чем дело и смутилась сама чуть не более своего мужа.

— Звыните!.. мы так... привыкли... тут усе по-польску, — заговорила она, видимо затрудняясь в приискании слов и выражений.

— Ах, сделайте одолжение!.. Я... розумлю... — поспешил предупредить Константин, почему-то вдруг начав коверкать русскую речь, из желания подделаться в лад матушке, словно его язык стал бы понятнее для нее от этого коверканья на будто бы польскую стать.

— Нет, уж вы, матушка, лучше по-простому, по-хлопскому! — добродушно посоветовал жене отец Конотович. — Все же понятнее будет, и для вас оно за привычку.

Матушка только улыбалась да слегка покланивалась с каким-то извиняющимся видом.

— Вы лучше подите да насчет чайку нам распорядитесь, — указывая ей значительным взглядом на внутреннюю дверь, сказал отец Сильвестр — и жена его сейчас же удалилась, все с той же бесконечно доброй улыбкой и с тем же несколько оторопелым, извиняющимся видом.

Хвалынцеву сделалось даже неловко и совестно как-то при мысли, что он стал причиной такого смущения и стольких хлопот для этих простых и добрых людей.

Минутку спустя по уходе матушки, после небольшого молчания, слегка покашливая да покряхтывая и все еще не оправясь от некоторого затруднительного смущения, отец Сильвестр обратился к Хвалынцеву.

— Вы извините… для вас, конечно, показалось очень странным, — начал он в оправдательно-объяснительном тоне, что вдруг это… матушка православного священника, и вдруг по-польски… но, — прибавил он со вздохом, — что делать!.. Отчасти, это, конечно, наша собственная вина, собственное небрежение, но это здесь — общее… это все он так у нас.

— Да что ж тут?.. Почему ж и не говорить, — пробормотал было Хвалынцев, чтобы как-нибудь сгладить неловкое смущение хозяина.

— Э, нет, не смотрите так! — серьезно перебил его отец Сильвестр. — Мы вот только теперь начинаем чувствовать плоды наших небрежений вообще!.. Оно, казалось бы, пустяки, но из подобных обыденных пустяков ведь и вся жизнь человеческая слагается и свои результаты приносит. Положение-то наше горькое такое в этом крае!.. Вы представьте себе, что у нас не только во всей епархии, но во всем Северо-Западном крае нет ни одной школы, ни одного училища для девиц духовного звания.

— Неужели? — удивленно и как будто с некоторым недоверием воскликнул Хвалынцев.

— Да-с! и нет, и не было, да Бог весть и будет ли еще когда! — с горечью подтвердил отец Конотович. — Ну, а дочерям-то все-таки хочется дать какое ни на есть воспитание; уж это как будто и совесть, и долг родительский обязывают! А где его дашь! Иное дело, конечно, сам призаймешься, научишь, чего сам еще не забыл с семинарской скамейки, да ведь не всякий к этому даже возможности имеет, так что благо и то, когда лишь писать, читать да считать дочку свою обучишь — и то благодарение Господу!.. Потому-то вот многие из нас поневоле дочерей в польские пансионы сдают; русских учительниц нет вовсе, да если б и завелась какая, то господа поляки сразу выкурят каким ни на есть способом! Ну, а ведь наши нынешние матушки — это ведь все еще дочери наших отцов, так сказать, старое поколение; эти-то и совсем на Польше выросли и воспитались! Дома-то между собой говорим конечно все больше по-простому, по-белорусски, а в обществе не принято как-то… совестятся! да и заговори-ка, так каждый шляхтич, каждая шляхтянка засмеют! Положение грустное и дай Бог только силы кое-как бороться с ним!

— Да; здесь, кажись, сколько я замечаю, что-то странное творится, — промолвил Хвалынцев, желая как-нибудь навести разговор на существенно интересовавшие его темы.

Священник многозначительно усмехнулся.

— Хм… странное, говорите вы, — сказал он. — Не странное, а гнусное!.. Да вот, даст Бог, скоро

все станет ясно!.. Авось либо тогда прозрят наши слепорожденные!

Заложив руки в карманы подрясника, он с некоторым оттенком досадливого волнения прошелся по комнате и вдруг остановился пред Хвалынцевым.

— Обман на обмане сидит и обманом погоняет, как говорится! — веско промолвил он. — Везде и повсюду один великий и бесконечный обман! Вот что такое этот край несчастный! И все это для доказательства, что тут исконная Польша!

Хвалынцев посмотрел на него вопросительно, взглядом, безмолвно вызывающим на дальнейшее объяснение.

— Да так! — продолжал священник. — Теперь хоть положение народа возьмите. Дали свободу. Хорошо-с. Казалось бы, какая первая при этом забота дворянства? Разъяснить ему самую суть Положения, да честно разверстаться? А здесь нет! Здесь как бы затемнить поболее. Мужик царю благодарен, а нам это хуже острого ножа; надо убить в нем это чувство, надо заставить его думать, что не царь, а паны с Чарторыйским дали волю, что они вместе с Наполеоном после Крыма заставили дать ее; а сами меж тем и вкривь, и вкось, как кому вздумается, в своих личных видах толкуют Положение. Ну, хлоп ведь темен, безграмотен, забит, на него прикрикни — он и верит. А в это время мы его и обмериваем, и переселяем, и совсем обезземеливаем, а чуть кто вступится за свои человеческие права, мы сейчас "бунт! разбой! коммунизм!" сейчас бумаги, донесения пишем, присылки войск требуем. Ну, конечно, войска являются с поспешностью! сейчас экзекуция и прочее. Хлопы, конечно, взвоют, а им тут под рукой: "а цо, добродзеи, от як вам каже, ваш царь жалуе! От яка его милосць, яка, каже, воля его!"

— Но отчего же вы, например, священники православные, отчего вы не разъясните народу? — воскликнул Хвалынцев.

Отец Конотович усмехнулся.

— Русским священникам, — сказал он, — со стороны администрации крепко-накрепко запрещено вмешиваться в эти дела.

Хвалынцев только плечами пожал.

— Но все ж-таки отступления от закона бывают столь возмутительны и обман столь велик, — продолжал отец Сильвестр, — что наш брат, несмотря на все свое унижение, решается порою взяться за роль разъяснителя и даже заступника; но только Боже ты мой — что ж из этого и происходит!

— А что? — отозвался Хвалынцев.

— Известно что? Сейчас это от помещиков, от посредников, от становых жалобы, что поп народ смущает. Затем начнут тебя тягать на следствия, отрешать от прихода и мало ли что!.. Да впрочем, мы уже с вами еще вчера, во время полеванья, насчет этого предмета разговор имели. Но замечательно, — прибавил он, — что против ксендзов не поступило еще ни единой жалобы! Администрация наша, изволите видеть, почитает их самым верным оплотом порядка и власти, а мы, попы сиволапые, мы — бунтовщики, смутьяны; за нами строгий глаз да и глаз нужен! Вот как!

— Но ведь есть же между помещиками и хорошие люди, с гуманными воззрениями? — сказал Хвалынцев.

— Надо полагать, что свет не без добрых людей, — отозвался отец Сильвестр. — Вот наш посредник, пан Селява-Жабчинский, конечно, изволите знать его?

— Знаю, а что?

— Большим либералом ныне показует себя! А между тем у этого либерала чуть что не до 19-го февраля шлея с хомутом была в повседневном употреблении.

— То есть что это значит? — недоумевая, спросил Константин.

— А, это, изволите видеть, в здешнем крае был изобретен и даже распространен весьма много особый прибор, который в барщинные дни надевался на некоторых хлопов. Он так и называется *хомут со шлеей.* Как наденут, так хлоп поневоле целый день ни голову опустить, ни присесть не может, а все стоит да работает, потому что присесть или голову опустить — сейчас на острые гвозди наткнешься, острия-то и дадут себя знать! Вот какой прибор остроумный!

Хвалынцев просто глаза выпучил от изумления.

— Да-с, — продолжал Конотович. — А вот вы, поди-ка, у себя-то в великой России и не слыхали про такие тонкости? Ну, а у нас это, говорю вам, в большом обыкновении было!.. Но хомут со шлеей не мешает либерализму, и пан Селява-Жабчинский большой даже либерал, хоть и собаками людей травит, — прибавил он с улыбкой. Да впрочем ведь и это либерально: ведь попа травил!

— Да, кстати, — с живостью спохватился Хвалынцев, — неужели этому негодяю так безнаказанно сойдет с рук его вчерашняя мерзость?

Священник только усмехнулся ввиду очевидной наивности подобного вопроса.

— А что же вы хотите? — сказал он.

— Но ведь есть же какой-нибудь закон и управа?

— Ни закона, ни управы никакой здесь нет, — спокойно, просто и утвердительно ответил отец Конотович, — здесь, государь мой, бывают примеры, что не только панская травля, но и панские убийства, панские засекновения насмерть с рук сходят. Один наияснейший пан всю следственную комиссию нагайками перепорол, живых людей по груди в землю на трое суток в наказание закапывал — и то ничего.[49] Начать с ними дело, так уж заранее петлю на шею! А еще тем паче "русскому попу": ведь мы здесь только «терпимы» пока еще; так нам это и некоторые начальственные лица внушают. Только терпимы, поймите вы это!

— Все это очень грустно, — согласился Хвалынцев, — но в то же время, мне кажется, все это доказывает то, что само правительство смотрит на этот край, как на край польский.

— Польский? — нахмурил брови отец Конотович. — А вот каков он польский! Извольте посмотреть на маленький образчик хотя бы исторической польщизны, если уж не желаете принимать во внимание такого аргумента, как живой язык живого народа, то есть я говорю не о панах-пришельцах или перевертнях; я говорю о хлопах. Извольте вот взглянуть сюда.

И он подвел Хвалынцева к одной из висевших на стене картинок. Это была очень древняя, резная на меди гравюра, которая с надписями над изображенными предметами представляла вид какого-то города. Надписи были латинские.

— Это вид города Гродны в 1593 году, — пояснил священник. — Гравюра — собственность еще моего деда, а заимствована она из одной древней географии XVI же века; была у деда такая, да крысы в кладовой поели более чем наполовину, а вот это только и всего, что сохранилось. Но полное издание ее есть, я знаю, в Виленском музее.[50] Тут вот сверху, — пояснил он, указывая на части картинки, — вы видите герб: погонь, орел одноглавый и архангел Михаил, а посредине медведь; тогда еще гродненский герб был не «зубр», а «медведь». Это герб соединенных земель: Литвы, Польши и Руси; стало быть изображение относится к тому времени, как Литва была уже с «короной». Но вот обратите внимание на эту надпись по сторонам герба: тут написано: «Grodna» — заметьте, *а* в окончании, а не о, как теперь пишут поляки «Вильно», "Гродно", «Ковно», чтобы доказать их польский корень. Нет-с, а это есть та же самая русская *Городня,* о которой ее древние акты и записи упоминают. Но это еще все ничего-с, а вот взгляните на эти надписи: "Templum *Russorum* latericium", "Templum *Russorum* muro circumdato", "Templum *Russorum* in urbe",[51] и всех церквей православных в это время было в городе Гродне девять числом, — у меня вот тут выметка сделана. Но вот извольте взглянуть на эту башенку и надпись: "*TemplumPolonorum in urbe*".[52] На девять русских церквей один только Templum polonorum! И это в 1593 году, то есть за 268 лет до нашего времени, до сего текущего 1861 года! Что вы на это скажете-с?

— Доказательство красноречивое, согласился Хвалынцев, — и против него ничего не скажешь.

— Ну, так вот то-то же и есть! А там-то и не один гродненский вид; а находятся виды и Вильны, и Ковны, и других городов литовских и с такими же красноречивыми доказательствами. Но я еще не говорю вам про древние местные акты, которые в последние годы господа поляки стараются всячески истреблять; но в Вильне сохранилось еще достаточно, чтоб убедить неверующего… Мы, государь мой, здешние старожилы, уроженцы здешние, так нам история-то своего края доподлинно известна, а что российские чиновники да ученые некоторые так уж точно что изумляют нас иногда своими взглядами! надо чести их приписать.

— Да, батюшка; это конечно все так, — вздумал возразить Хвалынцев, — но… Чтобы судить о современных нам вещах, надо брать этот край не в его историческом прошлом, а в его настоящем; ну а ведь настоящее, на первый взгляд, по крайней мере, представляет здесь Польшу или уж сильное преобладание «польщизны», как вы называете это.

— Да, *преобладание,* я с вами совершенно согласен! — сказал отец Конотович; — и особенно с того времени, как край этот отошел под власть России. Никто даже лучше не споспешествовал сему в ущерб народу, как русское правительство с русскими генерал-губернаторами!

Хвалынцев засмеялся.

— Вы смеетесь?.. Хм… Я сам смеяться бы стал, если бы не хотелось плакать, горько плакать, государь мой! — покачал головой отец Сильвестр. — За доказательствами ходить не далеко-с! Да вот, к примеру, когда не будет скучно, могу рассказать вам вкратце весьма назидательную историю хотя бы виленской православной святыни — нашей древней святыни! Есть там Митрополитальный собор Пречистыя, то есть *был* во время оно, при польских королях, а ныне в нем еврейские кузницы устроены, а допрежь кузниц ветеринарная конюшня помещалась, и на такое употребление с разрешения правительства отдал храм Пречистыя бывший попечитель Виленского учебного округа, князь Адам Чарторыйский, тот самый, что при блаженные памяти императоре Александре Благословенном был русским министром иностранных дел, а с 31 года бежал за границу и мнил себя "польским крулем" быти, — так и называл себя "Адамом первшим", и паны его тоже так титуловали по самый день кончины, в июне сего года.

Хвалынцев опять засмеялся.

— Не верите? — ухмыльнулся отец Конотович. — Оно и точно! Есть один стих, слыхал я: "свежо предание, а верится с трудом!" ну, а это вовсе даже и не предание, а настоящее, но незнакомый человек не то что с трудом, а совсем не поверит!.. Да-с! Или вот тоже, — продолжал он, после некоторого раздумья, все с той же горькой улыбкой. — Был в Вильне, еще даже и при русском правительстве, храм Святые Параскевы, "первый каменный храм, возведенный Богу Истинному на земле Литовской", как говорит летописец; в этом храме покоятся останки великой княгини Марии Ярославовны, в этом храме император Петр Великий пел благодарственные молебны за одержанные победы и поставил в нем на память потомкам отбитое шведское знамя, а ныне этот храм-то в развалинах, достигнутых почти искусственно, нарочно, насильно почти! Ныне он отдан на домашние потребы разноверцам, и даже... срамно и вымолвить! на месте престола Божия публичные отхожие места отведены! И это все творится на глазах российских генерал-губернаторов, при русском правлении. Ну, конечное дело, как же тут не убедиться каждому, что православие только терпимо, а римская или польская вера есть господствующая, коренная в крае?! И вот так-то на наших глазах и создается историческая ложь, — тысяча неправд исторических.

— Ну, а костелы-то как же? — спросил Хвалынцев.

— То есть что это "как же"? — отозвался отец Сильвестр. — Есть, конечно много и древних, край-то ведь велик! и особенно много по городам; да и как им не быть и не множиться, если сами правительственные лица, чиновники российской службы, говорят нам иногда, что правительство интересуется здесь только костелом и нимало не интересуется православною церковью.[53] Вы изволили видеть, как в нашем же местечке позавчера латинский крыж водружали?

— Как же, имел это удовольствие, — подтвердил Константин Семенович.

— Имели? Ну, так я вам скажу, что в последние годы они особенно стараются понаставить их повсюду как можно больше, а при том еще какие костелы великолепные возводят! Да вот как, — продолжал Конотович. — С 1854 года по настоящее время в одних только шести западных губерниях возведено более трехсот новых костелов,[54] а русские храмы гниют и разрушаются. Да зачастую случается и так, что умрет священник или выбудет куда, храм упраздняется, или хорошо еще, коли только несколько месяцев останется без настоятеля, тогда как в латинских костелах — при каждом живет и работает на *сеянту справу* по три, по четыре ксендза.

— К чему же все эти старания насчет крестов и костелов? — спросил Хвалынцев.

— Как к чему!? — Понятное дело! — возразил священник. — К тому, чтобы придать целому краю как можно более католическую, сиречь, польскую внешность. Ну вот, например, хоть вы, новый, свежий человек приезжаете, смотрите на все это и думаете себе: а и вправду ведь страна-то совсем польская выходит! Но тут не одни проезжие, а нечто поважнее, позначительнее в виду имеется: на этой внешности строятся политико-исторические притязания-с!

— Но если массы народа почти наполовину остаются православными? — возразил Хвалынцев.

— Нет-с, извините, поболее гораздо чем наполовину! — оспорил отец Сильвестр. — Да ведь это в глаза-то никому не кидается, *а крыж*,[55] да костел — он, так сказать, вопиет собою. Ну, и притом, при императоре Александре I, да и в прошлое десятилетие тоже, особенно в глухую пору Крымской войны, здесь по всему краю большие совращения бывали; помещики и ксендзы насильно, истязаниями отрывали народ от церкви: бывало, батожьем, розгами, да не

березовыми, а терном и шиповником к костелу-то прилучили. Поп без панского разрешения не смел даже крестить крестьянского, православного младенца! Бывали примеры, что целый приход, в тысячу душ, подобными путями присоединялся к латинству. Ведь здесь, государь мой, *костел* и *Польша* суть синонимы; стало быть дело понятное!

И священник снова взволнованно заходил по горнице.

— Ну, а школы каково идут здесь? — после некоторого молчания, осведомился Хвалынцев. — Вот вам верное и хорошее средство против пропаганды!

— Казенные школы плохо идут; но панские и ксендзовские школки отлично, — отвечал отец Сильвестр.

— Что ж так?

— А то, что крестьянам с костельных кафедр, не говоря уже о конфессионалах, именем Бога запрещается отдавать ребят в казенные сельские школы. Где православные приходы, там идут еще кое-как, но тоже плохо, потому что и посредники, и помещики, и становые, и старшины иные, все это препятствует, всячески придирается, тормозит все дело. Кое-как боремся однако. Вы думаете, даром что ли паны-то ныне так часто между собою собираются? — продолжал он снова, останавливаясь пред Хвалынцевым. — Вы думаете, что это они и вправду для киермаша или для полеванья понаехали?

— А для чего? — спросил Константин.

— Киермаш или полеванье — это только благовидные предлоги, — пояснил отец Сильвестр, — а дело-то в том, что панство да шляхтянство ныне по всему краю сбирается. Это у них все свои сеймики окренговые,[56] да повятовые[57] идут; все, видите ли, насчет планов о будущем повстании совещаются, как бы действовать дружнее. Это вот что-с!

— Ну, что ж, это понятно, если они общее дело затевают, — возразил Хвалынцев.

— Как же не понятно! — отчасти злобно воскликнул отец Конотович, — слишком даже хорошо понятно! Одни только слепорожденные наши, кажись, ничего не видят и не понимают… Да впрочем что! — махнул он рукой. — Может, и ваша правда, что правительство смотрит на наш край как на Польшу, но… правительство вольно смотреть как ему благоугодно, — сила не в этом.

— А в чем же?

— В том, как народ наш будет смотреть; это главное! — веско и многозначительно проговорил отец Конотович. — Правда, народ забит, народ задавлен, но… пока народ не умер окончательно, пока не разложился духовно, он только не более как прижатая стальная пружина… повстанье отпустит эту пружину и она отпрянет! Отпрянет тем с большей силой, чем больше ее нажимали!

Отец Конотович произносил эти слова голосом твердого и глубокого убеждения. Сжатые брови его нервически дрожали, взор горел, а узловато-костистый указательный палец крепко сжатого кулака угрозливо и выразительно постукивал о край стола. Видно было, что внутри этого человека много и много уже и накипело, и наболело, и теперь, как возмущенная стоячая вода, все поднялось наружу, и, как вода же, крутило и мутило на взволнованной поверхности.

— Не дай Бог, конечно, — продолжал он, — но если и вправду правительство станет

продолжать глядеть на нас как на Польшу, не дай Бог, говорю, но… не поручусь, чтобы здесь не повторилось нечто подобное галицийской резне 46 года!.. Хлоп покорен, но он свиреп бывает!.. И тогда уже сам, помимо правительства, порешит свое дело!

На несколько минут воцарилось полнейшее молчание, только и слышно было, как скворец встряхивался порою крыльями да канарейка, изредка чиликая тихим, коротким высвистом, перепархивала с донца на жердочку, с жердочки на донце, где чистила свой носик и, долбя им, поклевывала конопляное семя. Отец Сильвестр, понуря голову и по-прежнему заложив руки в карманы подрясника, с похмурым лицом, ходил по комнате, а Хвалынцев неподвижно сидел в кресле, облокотись на стол и подперев руками голову. Он почувствовал глубокую искренность и правду во всем, что говорил отец Сильвестр, и глубоко задумался над его словами. Пелена все более и более спадала с глаз его, но вместе с этим все безвыходнее представлялось ему свое собственное положение…

— Словом, все ложь, ложь и ложь! везде и повсюду! — проговорил вдруг, как бы в заключение всего сказанного, отец Сильвестр, остановясь посредине комнаты. — Это даже и не заговор, а просто какая-то мерзкая подпольная интрига; про Польшу — не знаю, но здесь, в этом крае, по крайней мере, одна интрига с самыми неблаговидными целями. С самыми неблаговидными даже во всечеловеческом смысле!

Хвалынцев поднялся с места под впечатлением посетившей его мысли.

— Послушайте, отец Сильвестр, — начал он. — Все, что вы мне говорили, до того для меня ново, что я просто поражен!.. У нас, в России, ведь никто и не подозревает ничего подобного! Мы ведь и понятия об этом крае не имеем!

— Где вам там иметь! Стать ли там, в России, нами заниматься! — с горечью перебил священник.

— Ну, вот то-то же и есть! по пословице, батюшка: дитя не плачет, мать не разумеет.

— Для глухой и слепой матери плачь, не плачь, все едино! — махнул тот рукой.

— Ну, вот оттого-то, что она глуха, — подхватил Хвалынцев, — ей и надо кричать, погромче кричать, чтоб услышала! Кричать всеми силами, пока не услышит наконец. Отчего, например, вы, зная и пережив, и перевидав так много, между тем молчите? Не грех ли это?!

Священник поднял на него удивленный взгляд.

— А что же, по вашему мнению, я должен делать? — глухо спросил он.

— Что? Писать! печатать! во всеуслышанье, на весь грамотный люд! В России есть честные журналы и газеты, — они дадут вам место. Вот что делать!

— Н-да!.. вот оно что! — с горько-злобной иронией ухмыльнулся отец Конотович. — Писать, вы говорите… Хм… А я вам скажу, государь мой, что были у нас эти писатели; одного из них я сам даже некогда лично знавал, но судьба его, по милости писанья, оказалась очень плачевна!.. Из него усердные чиновники сделали якобы шпиона, лжедоносчика, беспокойного человека, смутьяна; тягали, тягали по следствиям, по тюрьмам, да и кончили тем, что административным порядком с жандармами спровадили из края в дальний, глухой монастырь на пожизненное заточение. Вон оно, каково у нас писательство кончается! Да не в этом сила, — прибавил он многозначительно, с сознанием всей важности и серьезности своей мысли. — У нас стоит на череду настоятельное нетерпящее дело поважнее всякого писательства. Нам надо народ

соблюсти, — это главное. Это наша святая задача! Соблюсти его Богу и земле родной верно и честно!.. А кто блюсти-то будет? Все тот же поп сиволапый! Видно уж и в самом деле говорится недаром, что "плебан для пана, а поп для хлопа!" — заключил он уже с мягкою полувеселой улыбкой.

В эту минуту в комнату вошел батрак и остановился у двери.

— Что скажешь, хлопче?

— Нема кони, пане ойче, — объявил он. — Шукау, шукау,[58] аж нихто не вязец...

— Что так? — удивился священник.

— А так! бо байдужо усе спалахнулися. Щей з вечор соцкий хадзиу по хатам та народ на раду[59] у паньский двор сдымау, каб йшли зрану.

— Что там за рада? (Это на сход, — пояснил он Хвалынцеву.)

— А хто е зна штось там тако, — отозвался батрак. — Как я бёг (бежал), так жиды сказували, што бунта якась-то... Аж усе сяло там!..

— Бунт!.. Что за вздор! — нахмурясь, проговорил отец Сильвестр и вопросительно поглядел на Хвалынцева.

— Гаворац, бунта, — подтвердил работник.

— Ну, хорошо! Ступай себе!

Тот неспешно удалился.

Священник поплотнее припер за ним двери.

— Надо, однако, пойти посмотреть, узнать что там такое? — берясь за шапку, сказал Хвалынцев.

— Штука известная! — махнул рукой отец Сильвестр. — Они ведь все теперь стараются бить на бунты! но готов прозакладывать что хотите, сто против одного пойду, — прибавил он с силой глубокого и прочного убеждения, — что никакого бунта нет! Панские штуки-с! И будь я не поп Сильвестр, если все это не кончится воинской экзекуцией. Вот посмотрите! — Только к тому ведь и клонят.

Хвалынцев дружески с ним расстался и пошел в усадьбу с намерением в последний раз, но уже решительно побудить Василия Свитку к скорейшему отъезду — сегодня же.

XVI. Один из тысячи хлопских бунтов того времени

Подстрекаемый понятным любопытством, Хвалынцев спешно вернулся в усадьбу. Пред панской конторой стояла толпа хлопов, состоявшая исключительно из одних «господарей» или хозяев, так как батракам и безземельным тут нечего было делать. В толпе, по обыкновению, галдели и горлопанили, как и на всякой мирской сходке. На крылечке стояли посредник в золотой цепи и пан Котырло; поэтому хлопы все время пребывали с почтительно обнаженными головами. Становой, или «асессор» пан Шпарага, который вчера тотчас же после полеванья уехал по службе в одну из ближних волостей, а ныне утром нарочно возвратился в Червлены, стоял

теперь тоже на крылечке, несколько позади пана Котырло и Селявы, которые хранили его здесь на всякий случай, как бы в виде резерва. У самых ступенек, пред крыльцом, занимали место личности наиболее толковые и влиятельные между крестьянами, и между ними конторский писарь, пан Михал, староста, сотский и десятские, волостной писарь и волостной старшина; все с кнутиками или с посошками, являвшими собою знак данной им власти. Пан Михал избрал свой пост пред ступеньками с особенною целью — подмечать спорщиков и говорунов наиболее несогласных с предложениями пана и посредника. Этим спорщикам, в случае неблагополучного для хлопов исхода всего дела, конечно предстояла весьма печальная перспектива, как зачинщикам и подстрекателям, и хлопы очень хорошо понимали роль пана Михала, а потому косились на него крайне боязливым и недружелюбным образом. Но пан Михал, как истый панский клеврет, чувствовал всю свою силу и «потенцию», особенно в присутствии самого «наияснейшего» пана, а потому изображал полнейшее и даже презрительное равнодушие к недружелюбным взглядам и пошептываниям хлопской "громады".

Посредник уговаривал хлопов покончить с уставною грамотою, подписать ее, согласиться с предложениями пана, который-де вам не желает шкоды, — одним словом, кончить все это скорее, теперь же, без всяких споров и пререканий, за что пан, по своей ласке, жалует им на всю громаду десять ведер водки.

Громада не соглашалась и на все расспросы посредника, заминаясь, ответствовала одно только, что "нам де так, вашо велыкое велычество, не згодно".

И долго Селява-Жабчинский не мог добиться толку, почему именно "не згодно". Громада, очевидно, была себе на уме, но затруднялась высказать свои опасения и все те мысли и думки, что лежали у нее на душе. На все красноречивые и привлекательно соблазнительные уверения посредника в громаде высказывалось одно общее недоверие и сомнение, которое можно было ясно прочесть на каждой хлопской физиономии.

Посредник все добивался, отчего они не хотят подписывать уставную грамоту.

— Та што ж, каже, вашо велыкое велычество, каб мы яну знай якась-то яна, — отозвался наконец один голос из толпы, — а то вашество усё до нас: "пышить, та пышить", а што пысано й што пысать мы й незнаемо.

— Да грамоту ж, — досадливо пояснил Селява.

— Дак покажиц нам яну.

— Та когда ж в нас веры нема?

— Э, не, яснавяльможный, не то, а так, каже… — заминалась и почесывалась громада, не решаясь ответить прямо, что действительно в ней веры нет.

— Вы, панове громада, — ласково ублажал Селява, — вы пану сваму верте як пану Богу… Пан не ошукаец.[60]

— А так; мы й веруймо… Ал еж покажиц тую грамоту.

Селява уверял, что это совершенно излишняя процедура, что он на словах выяснил им все статьи и пункты, и что самую грамоту будут видеть в конторе выборные от громады и все те, которые станут ее подписывать и класть кресты.[61]

— Алеж мы хочемо, каб-то при усёй громадци было, — настаивали хлопы.

Посредник уклонялся от последнего требования, и таким образом дело уже сколько времени не двигалось ни взад, ни вперед.

Вмешался становой и с начальственными покрикиваниями объявил им, что это с их стороны не более как упрямство и явное непокорство власти посредника.

Хлопы приниженно кланялись, но на подпись грамоты, в тех условиях, как им было предлагаемо, согласия своего все-таки не давали.

— Эге, да это бунт, — заголосил пан Шпарага. — Бунтовщики!.. Здрайцы!..[62] В кайданы[63] всех забью!.. В лозы прийму!.. Всех до Сибиру отправлю!.. Вы буновать, канальи!.. Вы власти, вы закона не слушаться, бестии… Вот я вам!..

Хлопы в первую минуту оторопели было при виде поднятых и угрожающих кулаков пана «асессора» и при его неистовых взвизгиваньях и криках, но потом одумались и уже молча выслушивали поток его угроз, покорно склонив свои обнаженные головы.

— Ну, как по вашему бунта, дак нехай бунта, а по нашому ни… Мы сваму Цару не здрадзимо,[64] - послышались голоса в хлопской громаде.

Но одних возгласов пана станового было совершенно достаточно для того, чтоб их подхватил кое-кто из панской дворни, а отсель переняли, по принадлежности, вездесущие, всезнающие жидки — и вот в какие-нибудь четверть часа тревожная весть о хлопском бунте успела уже из конца в конец облететь все местечко.

Дело меж тем ни на шаг не подавалось. Крестьяне смутно чуяли какой-то обман, какую-то неправду, затеянную против них, и потому крепились и настаивали, чтоб им воочию была показана уставная грамота. Решились, наконец, вынести и показать им бумагу. Хлопы вытолкнули вперед какого-то Марцина Осташеню, наиболее бойкого грамотея из своей среды, с тем чтоб он во всеуслышанье прочел им грамоту.

— Я сам буду читать, — возразил посредник.

— А выбачайце,[65] вашо велыкое велычества, нехай вже така ваша ласка паньска, нехай Осташеня читае, бо уся громада Осташеню хоче.

Посредник однако уклонялся от этого требования под разными увертливыми предлогами и никак не хотел вручить грамоту смиренно выпяченному вперед и смиренно стоявшему Осташене. Оно и понятно, потому что словесный уговор с громадой на разверстание угодий и условия выкупа были одни, а в уставной грамоте показаны другие, то есть те же, но с весьма значительными изменениями в пользу помещика сообразно с фальшиво составленным в его пользу имущественным инвентарем, и это-то обстоятельство ни пану Котырло, ни пану Селяве не хотелось обнаруживать пред хлопами. Они оба рассчитывали, что с помощью ласковых уговоров и десяти ведер водки, а в случае крайности и угрозами станового, заставят хло пов зря согласиться на подпись — одним словом, питали сладкие надежды ловким манером обделать тепленькое дельце с патриотической подкладкой, а теперь, благодаря неожиданному упрямству громады, эти надежды начинали колебаться.

Наконец остроумному пану Селяве пришла вдруг одна недурненькая мысль. Он кивнул пану Котырло и становому, и все трое удалились на короткое время в контору для необходимых совещаний. Минут через десять оттуда вышли уже только двое: посредник с помещиком, а пан асессор заблагорассудил лучше пообождать, пока его не потребуют опять на крылечко.

— Ну, что ж, панове-громада? Не упинайтеся! — опять принимая ласковый тон, обратился к миру Селява.

— А то ж, як казали, то так и будзе, — непреклонно, хотя и с обыкновенным покорным видом, ответило несколько голосов.

— Ну, нехай по-вашему… читайте. — И он подал бумагу Марцину Осташене.

Тот небойко, но с видимым старанием придать как можно более вразумительности своему чтению, стал разбирать грамоту. Громада обступила его со всех сторон и внимательно, боясь проронить хоть единое слово, с открытыми ртами, с выпученными глазами и настороженным ухом вслушивалась в слова, внятно произносимые Осташеней. Только время от времени, когда статьи грамоты разногласили со словесным уговором, какой-нибудь сосед исподтишка толкал в бок соседа и делал ему выразительный взгляд, — дескать, смекай-ко! На что другой коротко кивал головою: эге, мол, разумеем!

Когда же чтение было кончено, то вся громада раздумчиво понурила головы.

— Алеж тут у гхрамотци иншей пропысано! — заговорили некоторые, — не так, як мы згодзилисе тодысь!..

— То було пан казау, што Пацюровсько урочисько гля нас адаец, а циперачки аж и заусем нет яго.

— Тай лесу нима а-ни прента, а-ни кавалка, а так самож казау…

— Тай што там лесу! Бо дай Боже й так! А и волы пасвиц нима где; каб кае пастб*и*сько, а и то ни кавалка.

— А йон на то й низважая![66] От што! Яму што?!

— Тако жицье то горей за собаку будзе!

— Дбай, каб не горей! бяри просто торбу та киек, тай хадзи сабе рабовац где — шукай скориночки.[67]

— Отто ж така й прауда паньска!

Но и это еще было не все, что крестьяне лишались тех лугов, леса и выгона, которыми пользовались искони, при помещичьем праве. В силу уставной грамоты, большая часть их поселков окружалась отныне помещичьего землею, а крестьянские пахоты отведены в значительной отдаленности, и даже те несчастные угодья, которые предоставлялись в их пользование, были разбросаны Бог знает где и как и почти все окружены так или иначе панскими владеньями, так что для крестьян (но никак не для помещика) выходила ужаснейщая чересполосица, при которой уж никоим образом нельзя было вести самостоятельного, правильного хозяйства. Потравы при таком порядке должны быть и постоянны, и неизбежны, а за потравы плати беспрестанно *штрафы,* приходи в вечные столкновения с паном, в которых ты всегда останешься виноватым… Но зато подобная несамостоятельность и вообще весь порядок дел такого рода был весьма выгоден для помещика, во-первых тем, что его владения были сконцентрированы, а во-вторых тем, что он приобретает отныне гнет постоянного преобладания над хлопами, которые должны будут очутиться у своего бывшего пана в изрядной таки зависимости, с присоединением для него новой и значительно выгодной статьи дохода от штрафов за потравы.

Сколь ни считали паны этих хлопов тупыми и забитыми, однако же хлопы сразу поняли, что эта уставная грамота затягивает над ними мертвую петлю, что из огня прежней крепостной «панщизны» они вдруг, попадают теперь в полымя новой и уже безысходной зависимости от того же самого пана.

— Не, яснавяльможный, выбачайце, адначож нам гэтаго подпысувац, нияк не можна! — заговорили в громаде. — Мы хочемо, каб нам аддали, што нам сам Цар палажиу, а больше таго нам не треба.

Посредник, казалось, только этого и ждал. С ретивостью, достойною лучшей участи, стал он уверять хлопов, что это то самое и есть все то, что им следует по закону, по царскому Положению, и что самая грамота строго составлена в силу этого лишь царского Положения, а что касается до обещанных угодий: как лес, луга и выгон, то пан, хотя и не обязан по закону отдавать их, но охотно подарит их потом, со временем, из своей панской милости и ласки и если он теперь же не оговаривает их в уставной грамоте, то только потому, что это бы было противузаконно.

— Не!.. не хочемо мы таго! Не треба нам паньских подарунков, — загалдел мир, — а нам што од Цара положено то б нам и дац! То б мы тольки сабе и хацели!.. От што!.. А од паньских подарунков а-ни славы, ни ужитку![68]

И опять идут новые распинанья, что царь именно и велел отдать им только то, что поставлено в уставной грамоте.

— А пакажиц же нам, гдысь то ион пра то одпысау? У якому листу? — отозвались хлопы. — Як даете нам таго листу, за Царскими печатьмы, дак поверуймо, а то нет чаго даремне й балакац ту!

Но пан Селява-Жабчинский, несмотря на всю свою изобретательность, в данную минуту не мог никоим образом изобрести «листу» подобного сорта. Он обратился к Котырле и по-французски, да и то почему-то вполголоса, стал советоваться, что ж, мол, теперь нам остается делать?!

В это самое время из толпы выдвинулось целых двенадцать человек и все они разом бухнулись в ноги пред крылечком. Это были те самые, которые добровольно возжелали перечислиться в дворовые. Бухнувшись в ноги, они слезно стали вымаливать, чтобы Котырло "с ласки"[69] своей панской отпустил их снова на "господарство",[70] что они передумали и желают лучше выплачивать по сорока рублей в год выкупа, чем по двадцати арендной платы, "абы зноу повараццьца на хлопи, бо то наша од веку батьковщизна була".[71]

Но тут пан Котырло и разговаривать не стал, а просто прогнал их вон, сказав им, что они «дурни», своей же выгоды не понимают. Акт добровольного соглашения был ведь уже подписан и хранился в его бюро, стало быть, чего же еще ему и разговаривать? Но все-таки он был недоволен тем, что эти дурни, представлявшие собою целый отдельный выселок, бросились со своими мольбами пред целой громадой, а это обстоятельство могло угрожать тем, что дальнейшие выгодные сделки такого рода, пожалуй, больше у него и не состоятся: охотников не найдется!..

— Я знаю, чьи все это штуки! знаю, кто вас науськал! — погрозил он им пальцем, вспомня ненавистного «схизматыцкего» попа Сильвестра. — Только смотрите, как бы вам с вашим учителем не улететь к чертям, с веревкой на шее!

Затем пан Котырло подозвал к себе своего конторщика, пана Михала, который все время

неослабно наблюдал за хлопской громадой, и шепнул ему что-то на ухо. Тот удалился в контору, и через минуту, в сопровождении его, выпуская дым последней трубочной затяжки, появился оттуда пан асессор.

— Так что ж, панове-громада, — возгласил при этом посредник, — не хочете по царскому Положению сгодиться на грамоту?

— Покажиць нам тое Положене, штоб мы забачили! Хочь зирнуць якось-то яно! А так неможна! — ответили в толпе.

— Так не хочете? — решительно и настойчиво повторил посредник.

— Та што ж, кали не згодна!

— В остатний раз пытаю: не хочете?

— Не хочемо, ваше велыкое велычество, поки не забачимо сами!.. Не хочемо!

— Пане асессорже! — обратился Селява к Шпараге, — прошу прислушать: Высочайшего Положенья не принимают! *Высочайшего* Положенья!.. Царскому слову веры не дают!

— Так не хочете? — повернулся он еще раз к громаде. В толпе понуро молчали.

Селява еще раз повторил свой томительный вопрос.

Но он остался без ответа. Тягостное молчание, еще ниже пригнетая долу и без того уже понурые, беззащитные хлопские головы, всецело царило над громадой.

— Мы ждем остатнего слова! Отвечайте! — крикнул посредник.

Прошло еще одно мгновение колеблющего, мрачно-томительного молчания, и вдруг…

— Не хочемо! — одним, единодушно-отчаянным вздохом и решительным воплем вырвалось последнее слово из груди нескольких десятков хлопской громады.

Даже пан Селява был поражен эффектом этого единодушного вопля. На одно мгновение он даже побледнел и отшатнулся назад; но это продолжалось у него только мгновенье: он в ту ж минуту совладал с собою и, окинув понурую толпу холодным и строгим взглядом, выступил шаг вперед.

— Э-э!.. да тут и точно бунт! — протянул он с какой-то зловещей угрозой. — Так вы не только что пану своему законному не покоряться, не только что не признавать власти моей и пана асессора, но даже и Царскому указу противитесь!?.. Положенния 19-го февраля не признаете… Пане асессорже! — обратился он вдруг к Шпараге, снимая свою цепь, — мое дело кончено. Начинайте! Теперь уже ваше дело, пане асессорже!

Становой не заставил долго просить себя. Внушительно и неторопливо засучив рукава, причем из-под одного из них очень ловко успел выпустить казацкую нагайку, он с яростным визгом, махая в воздухе кулаком и своим страшным снарядом, ринулся на толпу вперед всею дебелою грудью, всем откормленным пузом, локтями, каблуками и коленками — и здоровая нагайка в ту ж минуту пошла гулять по чем ни попадя… Только слышно было частое щелканье ее о хлопские спины, головы, плечи и груди. По нескольким лицам уже струилась кровь, на других накипали полосами сине-бурые и багровые волдыри, а нагайка пана-асесѐора все еще

продолжала свою административную работу. Но хлопы, как стадо баранов, ошалев от страху и боли, все пуще жались в кучу и толклись на месте. Изредка из этой кучи вырывался короткий, болезненный стон, следовавший непосредственно за глухим пляцканьем нагайки, удары которой слышались большей частью в совершенной тишине, так что иной любитель мог бы по ее короткому, отрывистому щелканью, сосчитать число изобильно-щедрых ударов. Раздавался один только запыхавшийся, хрипливо-визжащий голос станового, который в этом случае, быть может вопреки польскому патриотизму, оказался весьма изобретательным любителем крепких выражений чисто российского свойства. Он словно охмелел от удовольствия щелкать нагайкой и видеть кровь. Но как ни надседался своей глоткой, как ни упражнял свои мускулы рук и ног — кроме молчания, нарушаемого изредка все теми же короткими воплями нестерпимой боли, ничего не выходило из этой толпы. Хлопы все так же ошалело, покорно толклись на одном месте и жались в кучу. Только кровяные пятна на земле, на лицах, на одежде свидетельствовали о примерном усердии административной нагайки.

Наконец пан Шпарага устал работать. По его лицу и с широкой лысины градом катился изобильный пот. Было мокро и под мышками и за шиворотом, но моцион всегда приносил ему очень большую пользу, и притом пан асессор был вообще большой любитель рукопашных работ подобного рода, а тем паче теперь, когда этот случай, при свидетельстве посредника и Котырло, заявляя столь красноречиво о его бесстрашии и гражданском мужестве в смысле укротителя бунтов, давал ему право на вящее внимание со стороны высшего начальства и позволял даже рассчитывать как на приятную и лестную награду, так равно и на стократное подтверждение и без того уже упроченной репутации примерного, благонадежного и благонамеренного чиновника. Притом и в глазах прекрасного пола этот пассаж мог поставить его очень высоко в том смысле, что он один — *один,* лишь со своей нагайкой, ни на мгновение не призадумался, когда потребовалось столь мужественно, столь героически-храбро ринуться в «громадную» толпу взбунтовавшихся хлопов; а известно, что ни один родовитый шляхтич, танцующий мазурку, хотя бы даже и в шкуре станового, никак не может не принимать в соображение и мнения о нем прекрасного пола. Одним словом, пан Шпарага вспотел, пан

Шпарага устал, но он чувствовал себя в некотором роде героем, он успел с избытком удовлетворить жадному чувству своей административной исполнительности и потому был "бардзо уконтэнтованы".[72]

Селява-Жабчинский снова надел свою позлащенную цепь и выступил вперед на место удалившегося станового.

— Так что вы, все еще не хочете? — возвысил он к толпе свой голос.

Прошел момент молчания, и вдруг из всей толпы разом вырвался все тот же прежний вопль:

— Нехочемо!!!..

Но только теперь уже в нем слышалась разрывающая грудь, озлобленная, непримиримая, непреклонная и остервенелая решимость.

— Марш до дому, лайдаки! — затопав ногами, закричал посредник. — Не хотели добром соглашаться, все равно царские казаки заставят!.. Москале не паны — шутить не будут!.. Не хочете панов слушать, послушаетесь царских штыков. А то не наша вина, коли нам приказ такой!.. Нам нечего делать!.. Не своя воля! царскую ж волю справляем!.. Пеняйте на себя теперь, а мы не виноваты… Марш, говорю, до дому, шельмы, неблагодарные твари!..

И «свободные» хлопы, все так же понурив в беспомощном раздумьи свои головы, утирая

«юшку»[73] с окровавленных лиц и тихо толкуя о чем-то меж собою, неспешно побрели со двора, затем постояли немного за воротами и, наконец, небольшими группами стали расходиться по хатам.

А в это время под диктовку Селявы и станового, пан Михал уже строчил донесение к разным подлежащим властям, учреждениям и начальствам, о том, якобы крестьяне Червлёнской волости, несмотря на кроткие увещания посредника, не желали подписывать уставную грамоту, на которую еще прежде последовало их согласие, в чем он усматривает зловредные подстрекательства со стороны местного православного священника. Когда же, наконец, был исчерпан весь запас ласковых увещаний и строго законных предъявлений, основанных на прямом смысле «Положения», то крестьяне выказали столь много злостного и закоренелого упорства, что сказали открытое сопротивление власти посредника и станового пристава, позволив себе даже кощунственно сомневаться в подлинности Высочайшего указа и высочайше утвержденных положений. Вследствие чего помещик находится в справедливом опасении не только за собственность, но даже и за жизнь свою и своего семейства. "Во всем этом, к прискорбию, нельзя не усмотреть, добавляло донесение, явных плодов тех зловредных учений коммунизма, социализма и отрицания авторитета всякой власти, распространение которых все сильнее с некоторого времени замечается в крестьянской среде, а потому-де ощущается настоятельнейшая надобность в самоскорейшей присылке воинской экзекуции для ограждения собственности и личности помещика, а равно и для восстановления надлежащего уважения к закону и попранной власти".

Паны, в нужных случаях, подобных настоящему, умели отлично изъясниться и даже весьма красноречиво писать по-русски. Донесения и извещения тотчас же были отправлены с нарочными, которым приказано "лупить во все лопатки".

Когда Хвалынцев, озлобленный еще более вчерашнего, по окончании всей этой истории, которую он видел и слышал только урывками сквозь окно своей комнаты, собрался было предложить Свитке немедленный отъезд из "этого проклятого гнезда", предположив сказать ему, что в случае несогласия, он сам немедленно, хотя бы пешком, уходит отсюда, Свитка вдруг, к его крайнему изумлению, сам сообщил, что они уезжают сегодня же после обеда.

— Ну, вы обедайте! а я с ними ни есть, ни видеться больше не стану! С меня уж слишком довольно! — сказал Хвалынцев, нимало не думая скрывать своего желчного презрения.

— Ну, полноте! — с обычной своей ухмылкой притворно и потому приторно-добродушным тоном начал Свитка. — Смотрите вы на это несколько иначе, как я например... Презрение презрением, а обед обедом!

— Послушайте, — перебил Хвалынцев ухватив его за руку слишком выразительно для того, чтобы тот не понял значения и смысла такого пожатия. — Раз навсегда: оставьте вы этот ваш тон со мною... и вообще не будемте лучше вовсе говорить об этом... по крайней мере, до времени!.. Я надеюсь, вы уважите мою просьбу!

Свитка только с крайним и несколько тревожным изумлением посмотрел ему прямо в лицо, что даже было противу его обыкновения, ибо он избегал вообще прямых взглядов и все более косил вниз и в стороны и, не сказав ни слова, отвернулся и вышел из комнаты.

Константин стал собирать свои дорожные вещи.

Спустя некоторое время, казачок пришел звать его к завтраку. Он приказал благодарить. Казачок удалился, и вскоре вернулся опять, уже с целым подносом закусок и дымящимся

куском ростбифу, но Хвалынцев без всякой церемонии послал его к черту. Тот вылетел еще быстрее, чем прилетел, а злобствующий герой наш был рад, что хоть на ком-нибудь и хоть отчасти успел сорвать кипевшую в нем злобу, сожалея об одном лишь, что мало и не столь крепко, как хотелось, пожал руку своему благоприятелю Свитке.

Часа полтора спустя Свитка возвратился, посвистывая и поковыривая перышком в зубах; весело, как ни в чем не бывало, в одну минуту собрался в дорогу — бричка уже стояла у крыльца — и обратясь к Хвалынцеву, сказал, что можно ехать. Тот не заставил повторять себе этой фразы, так как был уже давно готов. Наскоро, и притом довольно сухо и обоюдно холодно простился он на крыльце, не входя даже в дом, с самим паном Котырло, вовсе не заботясь о том, насколько это вежливо или невежливо, поблагодарил его за гостеприимство, попросил передать свое почтение супруге и всем домашним и, пока Свитка с чувством лобызался с паном, прыгнул в бричку и уже ни на что более усиленно старался не обращать никакого внимания. Поведение его, без всякого сомнения, должно было казаться крайне странным, но он об этом нимало не заботился, напротив, даже испытывал в душе своей, именно по этому самому поводу, какое-то злобное удовольствие.

Бричка тронулась, и он навсегда простился с гостеприимным кровом Червленского пана.

Приятели долго молчали, испытывая каждый то же самое неловкое чувство недовольства друг другом и обоюдного недоверия, которое испытали уже однажды, возвращаясь вместе с панской охоты. Каждый чувствовал меж тем, что надо, необходимо надо говорить много, долго и серьезно, что надо объясниться, наконец, самым решительным образом — и оба, меж тем, молчали, изредка перекидываясь разве какими-нибудь ничтожными фразами, не имевшими ровно никакого отношения к волновавшим их мыслям и чувствам; даже оба притворно старались при этом казаться "как всегда", словно бы между ними ровно ничего не вышло и не прозвучало в их отношениях ни малейшего диссонанса.

В таких натянутых, притворных отношениях прошла вся дорога.

* * *

На другой день, под вечер, остановившись в одном попутном местечке кормить лошадей, они встретили подымавшуюся с привала сотню донских казаков, которые садились уже на своих поджарых коней, готовясь выступить в дальнейший поход.

— Куда Бог несет? — обратился Хвалынцев, вылезая у корчмы из брички, к одному отсталому уряднику, который, запалив себе «носогрейку», грузно перевалился всем корпусом чрез седло, взбираясь на свою добрую клячонку.

— На ахсекуцыю… в Червлены, — отозвался тот, не глядя на вопрошавшего и не выпуская из зубов коротенькую трубку. — Но-о, ты, стерво! — рыкнул он вслед затем на свою нестоявшую смирно лошадь и, влепив ей в бока несколько здоровых нагаек, помчался, раскачиваясь в седле, вдогонку за сотней, которая обыкновенною казачьею «ходой» удалялась из местечка с лихою, разухабистою песнею.

Со донским и молодым и казаком да
Я бы вольной казачкой была!

с высвистом и гарканьем раздавался хор здоровых, дюжих голосов, уже на гребле, за шумящею мельницею, и тонкие подголоски долго еще разливисто звенели и дрожали в чутком, вечереющем, морозно-ясном воздухе и все дальше, все тише уходили, терялись и таяли где-то там, за горою…

Часть вторая

I. Гродна и ея первые сюрпризы

В город Гродну приехали вечером и остановились у Эстерки, на Мостовой улице.

Едва наши усталые и разбитые с дороги путники успели занять нумер — грязноватую и припахивающую не топленою, но сажистою печью комнату с окнами на улицу, едва успели внести туда чемодан Хвалынцева, как уж осторожно приотворилась дверь и в ее щели показался чей-то нос. На обстоятельство это сначала не было обращено внимания, и потому дверь немножко скрипнула, и нос выставился несколько более.

— Кто там? — окликнул Хвалынцев.

— То ми, — с деликатною робостью, но в то же время с нагловатою настойчивостью возвестил голос, принадлежащий очевидно обладателю просунувшегося носа.

— Кто вы?

— Ми… гасшпидин Гершко…

И вслед за сим нос высунулся еще более, за носом показалась кивающая бородка, за бородкой некоторый намек на пейсы и, наконец, в комнату юркнула фигурка поджарого еврейчика и остановилась у дверей, с несколькими лукаво-почтительными, ужимковатыми поклонами.

— Что вам угодно? — спросил Хвалынцев.

При этом вопросе поджарый еврейчик с нескрываемым удивлением и даже недоумело выпучил на него глаза: он совсем не привык к подобным деликатным формам обращения: *вы,* да *еще угодно* — совсем как-то странно и даже смешно выходит.

Константин, уже нахмурясь, внушительнее повторил свой вопрос.

Поджарая фигурка снова стала кланяться с теми же характерными ужимками и плутоватою почтительностью.

— Ми… так… фактор тутейши, гасшпидин Гершко, — отрекомендовался еврейчик. — Мозже гасшпидин бароон сгхоче спасшйлаць куцы, альбо мозже сшто пакупиць — то хэто ми… ми усшё мозжвем.

Хвалынцев объявил, что ему ровно ничего не нужно, но фигурка не удалялась. Она только ответила покорнейшим поклоном и продолжала, как ни в чем не бывало, стоять у двери, высматривая что делают, о чем говорят и какие вещи раскладывают новоприбывшие.

— Что же вы тут стоите еще? — обернулся на фигурку Хвалынцев.

— Ми… так… мозже тен пан цось потребуе?[74] — пронырливо вильнул Гершко носом и глазами на Свитку, словно бы каким-то инстинктивным нюхом угадывая в нем поляка.

— Ниц, муй коханы!

"Гасшпидин" Гершко опять наипочтительнейше поклонился на это, но опять-таки настойчиво, хоть и плутовато-смиренно, продолжал занимать свой пост у двери и высматривать всякую

малейшую мелочь своими хитрыми, внимательными глазами.

Хвалынцев вопросительно-строгим взглядом окинул назойливого еврея.

— Мозже для гасшпидин бароон сшамеваар, то ми мозжем приказаць.

— Уже приказано.

— То ми мозжем изно*в* сшказаць, каб найскорейше.

— Ненужно!

— Н-ну, то хай так.

Фактор не удаляясь выждал подходящую минуту и снова заявил о своем присутствии:

— А мозже пан гербату пие з румем, або с аракем, чи з коньякем, чи то з сокем яким, то усшё хэто мозжем.

Хвалынцев наконец с весьма решительным видом стал наступать на еврея.

Тот чуть заметил этот маневр, как в то же мгновение юркнул за дверь, в последний раз кивнул из-за нее своим носом и спешно захлопнул за собою половинку. Но не прошло и трех-четырех минут, как пытливый нос из-за двери показался снова, а вслед затем и вся поджарая фигурка «гасшпидина» Гершки очутилась на прежнем своем месте.

— Опять вы тут?! — крикнул Хвалынцев, смеясь и досадуя в одно и то же время.

— Зжвините!.. Мы вам одногхо сшлиова гхочем сшказац. Мозже вы льюбите музикум сшлюшит, то ми до вас перведем одногхо какогхо еврей, катори вам и на сшкрипка, и на виоля, и ни флиютка, и на губы як на тромбо он зыграе... И так дазже отчен даволна гхарасшьо-о!.. И мазуречка, и полка, и з оперу, оперу, из увертуру, и усшё сшто ни схочите!.. И па русшьку "па матушку" засшпева, и "ай гевалт Насштасья", и усшё.

— Какую там "по матушку?" — рассмеялся Хвалыицев.

— Н-ну, как зже ж ниет? — с достоинством уверенности возразил еврей. — Гасшпидин баро-он сшам русшьки; а сшам не зжнайт?.. "На низ па матушку", такой есть пиесён... Н-ну, ф-фэ!.. Гасшпидин баро-он усшё изжнайт! — подмигнул он с любезной плутоватостью, — ви так толки из нам сшимиётся, а ви усшё изжнайт!

— Убирайтесь вы с вашей музыкой и с матушкой, и со всем, и с потрохами своими! — крикнул Хвалынцев, широко растворяя ему дверь и комически-церемонным жестом приглашая выйти вон из комнаты.

— Н-ну, как не нада, то хай так! — ужимковато поклонился сын Израилев и с покорным вздохом вышел из нумера.

Но и этим еще не кончилось.

Чрез малый промежуток времени дверь снова приотворилась и во всей последовательности произошло повторение прежней процедуры осторожного появления носа, пейс, мигающей бородки и прочего, пока фигурка Гершки сполна не очутилась на обычном месте.

— Еще что такое?!.. Ведь это уж, наконец, просто ни на что не похоже!

— Зжвините!.. — поспешил предупредить герр фактор. — Ми вам ище одногхо сшлиова имеем сшказац… Отчень вазжный и деликатни закрэт!

И он с плутоватой усмешкой подмигнул Хвалынцеву, приглашая его приблизиться к себе на кратчайшую дистанцию.

— Ну, что за секрет? Говорите!

— Пардон, мусшье! усшлюх не мозжна! — несколько освоившись, и потому уже с известного сорта шутливым заигрыванъем возразил «гасшпидин» Гершко. — Как ми зжнакоми из отчин гхаросши баро-оны и гасшпида, и как нас изнайт гхраф Валицки и гхраф Косаховски, и пан Псшепендовски, и пан Цержиньски, и кхнязь Щеремисов, и усше энгерал и пулковники, и усше гхусшаары и вуляны, и усше гасшпида оффици-ир, и усше паньство…

— Ну, да ладно! без прелюдий… В чем дело-то? — нетерпеливо перебил Хвалынцев.

Гершко лукаво поманил его и пальцем, и глазком, и головой, и даже плечом поближе к себе, и когда Константин приблизился к нему на желанное для герр фактора расстояние, то есть когда он уже слишком ясно ощутил характеристичный запах «цыбульки», чернушки и жидовского поту, — герр фактор с большою таинственностью, улыбаясь и подмигивая, стал сообщать ему свой "деликатни закрэт", на соблазнительность которого он сильно рассчитывал и поэтому все время держал его в запасе к последнему концу, как средство, противу которого, по мнению Гершки, устоять невозможно и которое, стало быть, достойно вознаградит все его факторские труды, предложения и услуги.

— Убирайся ты к черту со своими деликатностями! — вдруг меняя *вы* на *ты*, внушительно топнул на него Хвалынцев. — Ничего не нужно! Слышишь ли? Вон пошел!

Герр фактор вздохнул, покорно пожал плечами: как, мол, вам будет угодно! и быстро метнул на все предметы последний внимательно разбегающийся взгляд, которым в таком совершенстве, кажется, только и умеют владеть одни лишь сыны Израиля.

— Зжвините!.. До сшвиданью вам! — разочарованно и даже с видом обиженного достоинства проговорил он, отвешивая поклон, и с явной неохотой, неторопливо удалился из нумера.

После этого уже никто не нарушал спокойствия наших путников. Печка была им вытоплена, самовар принесен и, напившись чаю, они улеглись с миром. Хвалынцев, с дороги, чувствовал себя достаточно-таки усталым и потому как улегся, так почти тотчас же и захрапел богатырским сном, предоставя в безнаказанную жертву голодным жидовским клопам и блохам свое бренное тело.

Проснувшись поутру от яркого солнца, которое сквозь незавешенное окно до рези в глазах било ему прямо в лицо своим холодным ноябрьским блеском, он морщась и щурясь, протянул руку к столику за папироской и карманными часами. Стрелки показывали уже без десяти минут девять.

— Однако, здорово выспался! Чуть не двенадцать часов сряду!.. Свитка! — громко окликнул он, — вставать пора! Уж девять!

Но, подняв вслед за этим с подушки свою голову, он к удивлению увидел, что Свиткина постель уже пуста, а самого Свитки в комнате и духу не пахло: Бог его знает, когда и как успел

проснуться, потихоньку одеться и еще тише улизнуть из нумера. Хвалынцев только присвистнул: "фи фюю" и закурил папироску. Яркое солнце так весело било в окна, с улицы так суетно доносился давно уже не слышанный гомон и шум городской жизни, а продолжительный покойный сон так бодро и освежительно подействовал на весь молодой, здоровый организм Хвалынцева, что ему ужасно как захотелось поскорее встать, умыться, одеться и весело сбежать вниз на улицу, чтобы без цели потеряться в шуме и движении ее жизни, при этом веселом, хоть и не греющем солнечном блеске.

Закурив папироску, он стал глазами искать сонетку, но таковой нигде не оказалось. В коридоре, между тем, слышалось чье-то поминутное, проворное шмыганье башмаками по полу и мерный, шаркающий звук чищенья сапог. Он крикнул человека. Никто не откликнулся. Он в другой раз посильнее, и вслед за тем в третий еще громче; но результат был столь же безуспешен, как и с первого разу. Тогда, нечего делать, босиком вскочил с постели и приотворил дверь в холодный коридор. Человек, почти тут же, в каких-нибудь пяти шагах, флегматично чистил чьи-то сапоги. Чертыхнувшись с досады на глухую тетерю, Константин кликнул его к себе в нумер и приказал подать умыться. Глухая тетеря, нехотя, процедила сквозь зубы: «зараз» и, как ни в чем не бывало, продолжала свое дело. Продрогший Хвалынцев поспешил юркнуть под теплое одеяло. Но не прошло и двух минут, как словно бы по-вчерашнему, с легким скрипом, осторожно приотворилась дверь и опять показался из ее щели чей-то пронырливый нос и кивающая бородка.

— Дугхи, мидло, вода колоньсшка, щётки, гхребіонки, пемада, сшями как ни нада найлучши, парижски… — скороговоркой пробормотал чей-то гортанный голос, но только не Гершкин, и вслед за этим с тремя коробами неторопливо, но настойчиво вполз горбатенький еврейчик, и покланясь Хвалынцеву, очень серьезно произнес:

— Зждрасштвуйте вам!

— Что тебе? — с нетерпеливо досадливым вопросом поднял тот голову.

— Мидло, пемада, белявки, сшкарпетки, дугхи, вода колоньсшка, антрамент…[75]

— Слыхал, слыхал!.. Убирайся к черту!

Еврейчик только поклонился, но к черту убираться и не подумал, а напротив, систематически, аккуратно принялся развязывать и раскладывать все свои три короба.

— Ничего не куплю! Слышишь ли? Ничего!.. Все это совершенно напрасно!

— Н-ну, хай, ничегхо!.. Хай толки пан так пасшмотриц.

— Лучше убирайся! Напрасный труд!

— Н-ну и сшто з тогхо пану? Хай напрешни! Алезжь мой труд, не паньски! У пана очи не вивалицца, як пан забачиц.

Противу столь философского аргумента Хвалынцев не нашел никакого возражения и, пока не придет человек с водою, решился терпеливо выносить назойливое присутствие горбатенького еврейчика.

— Ни мидло, ни колоньсшки вода, ни дугхи, ни пемады парижски пану не потсшебне?

— Сказано раз не надо.

— А гхаросше мидло!.. и сшкарпетки гхаросши! Французшки! Ну, а мозже плятки батыстови?

— Не надо! — слегка сгримасничал Константин, которого однако начинала несколько развлекать эта болтовня.

— Ну, это мозже пачтова бемагха? щургуч кувэрты? пэрьев сшталной?

Хвалынцев только молча отрицательно мотнул головой.

— Мозже голки, белявки, нитки ангельсшки, — продолжал еврейчик, выкладывая все больше и больше свой бесконечный хлам. — Зжапенки, гудзики, педтяшки, перечинна ноозжик, бисерж?..

— Ну, на какого же дьявола мне твоего бисеру? Ну скажи пожалуйста! — отозвался Константин.

— Н-ну, то мозже вакса ангельсшка?.. Запалки веньски? Перешок в зжубы пану?

— Ничего мне не надо! Понимаешь ли ты?! Русскими словами говорю тебе: ничего ровнёхонько!

— Н-ну, и сшто зж ви гхля мине ни якого гандлу не хочище изжделац?.. Дайце зж мине хоць трошечку тарговаць од вас... Скудова мине зжиц? Я зж бедны еврей!.. Никакой гешефт махен невозможна так!

— Да мне-то какое дело! — рассмеялся Хвалынцев на эти укоризненные притязания.

— Ой-вай! Каму зж и дзяло как не вам?.. Таки гхаросши гасшпида!

Еврейчик в колеблющемся раздумьи замедлился на одну минутку.

— Н-ну, зжвините, гасшпидин! — решительно и вместе с тем торжественно-таинственным тоном заговорил он, снова принимаясь рыться в коробках. — Тераз я гхля вас имею такогхо товар показаць, такогхо товар... ай-вай, какой! Такой сшто ни яким сшпасобем не мозжна не пакупиць!.. Зжволте пасшматрець! Хоць з адним глязком пасшматриць!

И он с заранее торжествующим видом вытащил предосудительного содержания фотографические карточки и еще некоторые, хорошо известные в секретной продаже, предметы.

Очевидно, что эти последние товары, словно как и у Гершки его вчерашний "дэликанти закрэт", составляли для горбунка крайний резерв, долженствовавший действовать неотразимо. Но каково же было его изумление и испуг, когда Хвалынцев, мельком взглянув на все эти прелести, вдруг не шутя закричал ему:

— Убирайся ты к черту с этими мерзостями!.. Вон!

Жид торопливо подобрал кое-как в охапку все свои разбросанные по полу товары и спешно вышмыгнул из комнаты. Но... сердце не камень! Полминуты спустя, еврейский нос опять просунулся в скрипнувшую дверь и гортанный голос снова затараторил скороговоркой:

— А мозже гальсштуки пану? Сшарпечки, ренкав*и*чки, карвательки?.. А?

Но на этот раз с сильного размаху пущенный в дверь сапог заставил спешно ретироваться

иудейский нос — и дверь затворилась.

Но испытание этим не кончилось: почти вслед за горбунком явилась "мадам Сорка" с холстом под мышкой и картонками в пятернях, где у нее были "ман*и*чки, фоколи, чулки, плятки, ленты" и прочий товар подобного рода; явился Янкель-перчаточник с предложением своих услуг; явился часовщик какой-то: — "А мозже пану часи начиниць? — Не надо! — "Ну, то хоць пасшматрець пазжволте!" И едва этот вылетел за дверь, как показался какой-то Ицек и предложил "щигарке контрабандовы", и все приставал, чтобы взять у него хоть "одногхо щигарке на пероба, бо такой щигарке сшто и сам Напольон не куриць и на цалы Гамбурх такой не знайци!" Седой старик прокрался тихохонько, с красноватыми слезящимися глазками и с пожелтелыми от времени пейсами. Этот изображал из себя несчастного — "таки сляби сштарушек" — и со вздохами, назойливейшим образом приставал «пакупиць» у него янтарные мундштуки, янтарные бусы, сережки, брошки, колечки, запонки — все это "янтарове, бурштынове, чи то рогове", и все это ровнёхонько никуда не пригодное дорожному человеку; но "сшляби сштарушек" таким несчастным тоном просил «пакупиць» у негхо хоць сшто-небуць", дать ему "од добры гасшпидин хоць на хлеб заработаць", что Хвалынцев — куда ни шло — купил за рубль серебра дрянной мундштучишко, вся цена которому была тридцать копеек. Но в таковой его щедрости крылось и его наказание, не замедлившее тотчас же проявить свою кару. Как только жиды пронюхали, что "сшляби сштарушек" сделал такой богатый, такой "в*и*годни гешефт", откуда ни возьмись их явилась целая куча: тут был и портной, и сапожник и «щирульник», и еще один старушек «оптык» и мозольный оператор в одно и то же время, который приставал, чтобы «пакупиць» у него «окуляры», или позволить вырезать мозоль, или по крайней мере хоть пластырь наложить; тут были и старые, и малые, и мадам Хайка, и мамзэл Мерка, и Ривка, и Рашка, и Баська и Лейка — "и усшё з насших, с тутейших, с гродненьских, и усшё такой гхароший мадамы!" Нужды нет, что Хвалынцев был в одном нижнем белье: «мадамы» этим не стеснялись нимало, "абы гандель зробиць!" Мадам Сорка — так та даже подошла к нему и на ощупь осмотрела качество холста его «невыразимых» причем заявила, что у нее "найлепш од этогхо!"

— Но этому конца не будет! — взбесился наконец Хвалынцев, потеряв уже остатки последнего терпения. — Вон!.. К черту!.. Все!..

И для пущей вразумительности он ухватил за спинку первый попавшийся стул и размахнулся им в направлении рода Израилева.

Радикальная мера эта подействовала. Гасшпида, мадамы и мамзэли мигом повылетели в коридор, и Константин, захлопнув за ними на ключ свою дверь, избавился наконец от нашествия иудейского.

Умывшись, он присел к столу, наскоро сделать свой туалет, как вдруг в это самое время со звоном и дребезгом посыпались на пол осколки стекол и вместе с этим что-то тяжелое влетело в комнату и ударилось неподалеку от Хвалынцева. Он оглянулся вокруг: пара стекол в двойной раме была выбита камнем, пущенным сюда с улицы, и самый камень, с детский кулак величиною, лежал посреди комнаты.

Первым движением Хвалынцева было подскочить к окну, чтобы посмотреть, кто это изволит заниматься такими милыми шалостями; но на улице все было суетно-спокойно, как и всегда: люди шли — каждый по своему делу, каждый сам по себе, а выбитых стекол, кажись, и не замечал никто: никакой кучки на противоположном тротуаре не стояло, никаких мальчишек не бегало. А между тем камень несомненно пущен с улицы.

Вошел нумерной с вычищенным платьем, — но без особенного удивления взглянул на выбитые

стекла и как-то странно улыбнулся про себя. От Хвалынцева не ускользнула мимолетная игра его физиономии.

— Что ж это наконец такое?!.. То жиды в дверь, то камни в окно! — стал говорить он с чувством понятного негодования.

— А цо ж, сшибу[76] выбили, — равнодушно заметил нумерной, как бы выражая своим тоном, что — что ж тут такого? Ничего, мол особенного не случилось; так, мол, и должно это быть; и ничего удивительного тут нету! — Затем, подняв с полу камень, он с тем же равнодушием и апатичной улыбкой стал его разглядывать и прикидывать на вес:

— А дужы таки… Ого!.. Ценжки!..[77]

— Кто это занимается у вас такими шутками? — спросил Хвалынцев.

— Альбо я вем? — пожал плечами лакей. — То не шутки, а так бывает. На пршешлей недзели то так само ж повибивали… то для того, жебы москалюв не пршимывать до готэлю.

"А, так вот оно что!" подумал себе Хвалынцев. "Это, значит, не простая случайность, что камень попал сюда, а потому-то именно и сюда, что здесь москаль стоит, и непросто уличная мальчишеская шалость, а сознательная мерзость с политической подкладкой… Недурно!" — И глядя на это спокойно-равнодушное и отчасти насмешливо улыбавшееся лицо поляка-лакея, Константину показалось, что пан лакей как будто весьма даже доволен, что произошел такой казус. — "А может быть", подумалось ему, "тут дело и не без того-таки, чтобы ему не было известно, кто именно пускает камни в окна нумеров, занимаемых москалями".

— Что ж теперь делать? — пожал он плечами, глядя на пустой переплет, сквозь который с улицы тянуло весьма чувствительным холодом.

Пан лакей, в ответ, и себе тоже пожал плечами.

— Альбо ж я вем? — процедил он сквозь зубы все с той же полускрытой насмешкой. — То для того же пан есть москаль, — с наглостью было прибавлено им вслед за сим, ради пущего пояснения.

Хвалынцева скребануло за сердце такое чувство, видимым проявлением которого должна бы была быть непосредственная прогулка палки или чего ни попало по нагло-спокойной и как бы вызывающей физиономии пана лакея. Но он сдержал в себе такой "нецивилизованный и антигуманный" порыв и, проглотив пилюльку, решился сделать вид будто не расслышал или не понял того, что было ему сказано, и это, конечно, было самое благоразумное, потому что поднять историю с паном лакеем, который вдобавок, кажись, весьма желал этого, было бы, во всяком случае, весьма некрасиво.

— Есть у вас, по крайней мере, другие нумера, в которые нельзя пускать камня? — спросил он, приметно начиная ощущать резкий холод, сквозь голландскую сорочку.

— Таких нема… ве вшистке можно, — ухмыльнулся лакей.

— Все равно, какой-нибудь другой нумер! — Не сидеть же здесь в холоду!

— Нема… заенты! — коротко и как бы нехотя отвечал тот. Хвалынцев снова ощутил в себе непохвальный, дикий зуд "нецивилизованного и негуманного желания". Он испытывал чувство личного раздражения, личной злости против пана лакея, а в то же время стыдился в душе

этого чувства и отнюдь не желал выказать, что пан лакей может стать с ним как бы на одну доску, может его раздразнить, задеть за живое, подзадорить и вызвать, сообразно своему желанию, на скверную историю; а что у пана лакея было такое желание, Хвалынцев понимал очень хорошо и нимало в том не сомневался.

— Пожалуйста, чтобы стекла были сейчас же вставлены, — сдержанно и, вопреки своим ощущениям, даже мягко сказал он. — По крайней мере, к тому времени, как я вернусь, чтобы это было уже сделано.

Лакей молча повернулся и пошел к двери.

— Вы слышите ли и понимаете ли, что я сказал вам? — возвысил голос Хвалынцев уже до предела внушительной строгости.

Лакей обернулся, кивнул в ответ головой и вышел.

Дрожа от холоду и наскоро одевшись, Константин Семенович в неприятном, раздражительном состоянии духа вышел на улицу.

II. Похороны некоего "почтивего чловека"

Солнце сияло все так же ярко и весело. В воздухе пахло легким морозцем, отчего, казалось, и самое движение на улицах становилось как-то живее, веселее, словно бы это солнце подбодряло и людей, и лошадок извозчичьих, и собак, бегавших стаями, и свиней, разгуливавших по улицам в спокойствии безмятежного созерцания сточных канавок. Со всех сторон слышался гортанный, неугомонный говор евреев; особенно же еврейки, сидя на жаровнях, у дверей своих пестрых и грязно-тесных лавчонок, шумно перекликались и переговаривались с соседками тем особенным, свойственным только еврейским женщинам звуком голоса, который очень напоминает утиное кряканье, когда целое стадо этих птиц сойдется пополоскаться у деревенской лужи. Еврейский говор господствовал здесь везде и повсюду. Жидовки, по большей части, сидели у лавчонок и занимались «гандлиём», а жиды шныряли по всем направлениям, топотались на узеньких тротуарах, сталкивались друг с другом и столкнувшись тотчас же начинали между собой бесконечные разговоры. Казалось, что все они знали друг друга, все были друг с другом знакомы, родственны и друг другу приятны и достолюбезны, и каждый до другого имел какое-либо безотлагательное дело. Но это только так казалось. В сущности же никакого дела не было, а в этих шныряньях, сталкиваньях и разговорах выражалось одно лишь вечное стремление к удовлетворению неодолимой еврейской потребности, которая может быть названа потребностью к непоседливости, к вечному движению и к ненасытному любопытству. Сбив на затылок свои шапки, и непременно не иначе как на затылок, — с тростью в руках, на которую однако ни один из них никогда не опирается, а просто несет ее, ухватившись за середину палки, и помахивает да поигрывает ею; в вечных длинных хламидах, в нанковых серых или черных длиннополых сюртуках, или в таких же пальто, с низкой талией, сыны Израиля целый день шатаются себе по улицам и вынюхивают нельзя ли где, какими-нибудь судьбами, сделать какой-нибудь «гешефт». И нужды нет, что «гешефт» этот, вовсе не сообразно трудам и хлопотам, принесет ему какую-нибудь полушку прибыли: еврей и тем доволен, потому что у него уж такая естественная потребность, как воздух, как пища, чтобы "айн гешефт махен!" Это какая-то страсть, бескорыстная любовь к «гешефту» ради «гешефта», своего рода искусство для искусства.

Хвалынцева развлекало это юркое, пестрое и говорливое движение. Гродна показалась ему городом очень многолюдным и оживленным самою кипучею деятельностью. Оно и немудрено, потому что доселе он присмотрелся к одним лишь великорусским городам, где и в десятую

долю нет такой уличной жизни, и где поэтому кажется все таким сонливым, безмятежно-вялым и мирно-апатичным.

На площади, пред гауптвахтой, стояли возы с дровами и разными сельскими продуктами, а в смежной улице бабы, рассевшись на тротуарах и заняв своими товарами все их пространство, продавали горшки, корыта, капусту, картофель, лук и прочую овощь. В этих двух последних местах к еврейскому говору заметно примешивалось уже и хлопское, белорусское «дзяканье». Тут, по площади, кроме «штучных» продавцов-евреев, носивших на руках кто сапоги, кто гору картузов, кто ворох всякого платья, толклись и бабы, и «хлопы», и мещане, и солдаты, и вообще всякий серый люд, неопределенного с виду городского или подгородного характера.

Хвалынцев прошел мимо рядов и ратуши и вышел на лежавшую перед нею площадку, носящую прозаическое имя «Телятника». Эта площадка со всех сторон была обрамлена аллеей великолепных, вековых пирамидальных тополей и составляла любимейшее место городских прогулок. Налево пред Хвалынцевым, за древнею каменною оградою, приспособленною к помещению в ней торговых рядов, возвышалось высокое белое здание православного собора, отчасти в готическом вкусе, без куполов, — к чему так не привык великорусский глаз, — но зато с высокой остроконечной башней, которую, впрочем, далеко нельзя назвать красивою. Направо же от Константина, из-за высоких тополей, казалось, взлетали на небо две очень изящные башни католической «фары», изукрашенные колонками и разными завитками да орнаментами вроде вазонов, с исходящими из них остроконечными листьями; из-за этих башен виднелась темная масса тяжело насевшего главного купола. Фара на вид казалась довольно изящной и делала приятное впечатление. Рядом с нею виднелось угрюмое грязно-желтое здание по-иезуитского монастыря, похожее более на тюрьму, стены которой впрочем белелись тут же, в ближайшем соседстве. На тополевую площадку, со стороны, противоположной ратуше, выходил ряд разнокалиберных, крытых черепицею домов, стены которых, окрашенные то в голубую, то в зеленую, то в розовую, то в желтую краску, помнили еще времена Стефана Батория, Зигмунда-Августа и Владислава IV. От всего этого на взгляд так и веяло почтенною, седою древностью, городовыми привилегиями, шляхетскою крепостью и магдебургским правом времен "Ржечи Посполитой".

Разбегаясь глазами на весь этот пестрый вид и движение, которые сосредоточились на таком тесном, небольшом пространстве, Хвалынцев поневоле увлекся новостью картины, новостью производимых ею впечатлений, и это помогло ему окончательно стряхнуть с себя то неприятное расположение духа, с которым он вышел полчаса тому назад из своего нумера.

Подойдя поближе к фаре, Константин увидел пред нею довольно большую толпу, состоявшую преимущественно из мужчин, и между ними виднелось несколько «чамарок» бекеш и пальто, которые в силу «краевой» моды, были по большей части, со шнурками, переплетенными на груди вроде как у гусар. Толпа стояла на месте, против главного входа и никуда не двигалась. Тут же ожидали чьего-то гроба запряженные цугом погребальные дроги. В толпе гудел исключительно польский говор. Хвалынцев приблизился к ней с намерением пробраться как-нибудь в костел, но здесь внимание его случайно было остановлено на минуту одной маленькой сценкой, которая показалась ему довольно характеристичною. Близ этой толпы и почти совсем принадлежа к ней, стоял какой-то высокий офицер с великолепными русыми усами и говорил что-то, кажись, касательно служебных дел, какому-то унтеру, который, сняв шапку, стоял пред ним навытяжку и выслушивал начальническое распоряжение. Но главное, что во всем этом заставило Хвалынцева обратить внимание, что показалось ему весьма странным и даже удивительным, так это чистейший польский язык, на котором офицер обращался к своему унтеру, а унтер, в свою очередь, отвечал ему по-польски же, поминутно вставляя в свою речь одно только русское выражение: "ваше благородие".

"Хм... это, как видно, действительное приобретение польщизны", подумалось ему не без некоторой назидательности, по поводу того, что впервые в жизни довелось видеть человека, одетого в русскую солдатскую шинель, который говорит по службе со своим офицером на польском языке. Факт, действительно, был мимолетный и совсем случайный, но тем-то он и казался знаменательным.

Хвалынцев кое-как мимо толпы, меж рядами нищих, осаждавших лестницу и притвор, пробрался вовнутрь костела. Там было полным-полно народа. Что-то яркое, блестящее, лепное, пестрое, и вверху густые гудящие аккорды органа, да столб солнечного света, прорезывавший сверху вниз всю внутренность храма — вот все, что в первый момент поразило здесь глаз и слух не успевшего еще осмотреться Хвалынцева.

У самого входа, где стоит большой крест с грубым резным изображением распятого Христа в терновом венце, с изобильно окровавленным лицом, руками и боком, и где обыкновенно помещаются «хршстельницы» со святой водой, Константин обратил внимание на совершенно особенное явление. По обеим сторонам около двери, молитвенно опершись коленками в подушки стульев, а руками облокотясь на спинки, стояли две замечательно хорошенькие женщины в глубоком, но очень изящном траурном наряде и держали пред собою жестяные кружки, изредка потряхивая ими для привлечения внимания входящих и выходящих. Около этих особ, с боков и позади их стульев, помещалось несколько франтов, из которых на некоторых виднелись чамарки. Эти франты, стараясь казаться изящными и элегантными, наперерыв нашептывали что-то двум хорошеньким патриоткам, с тем особенно приторным выражением лиц, которое составляет неизменную присущую принадлежность полячка, ухаживающего за женщиной. Патриотки выслушивали своих обожателей с кокетливою благосклонностью, стараясь в то же время не потерять выражения благоговейно-молитвенного внимания на своих хорошеньких личиках. Заметив остановившегося рядом Хвалынцева и его взгляд, устремленный на одну из них, патриотка перемигнулась со своею vis-à-vis и выразительно тряхнула кружкой. Другая тотчас же повторила этот маневр, подняв прямо на Константина свои ясные глазки. Но тот, как им казалось, не понимал, в чем дело.

— "Офяра народова",[78] - внятно проговорила патриотка своим тихим, мелодичным голосом, по-видимому не относясь ни к кому, но красноречивым взглядом адресуя эти как будто безразличные слова прямо к Хвалынцеву, и снова вразумительно тряхнула кружкой.

Константин, наконец, догадался, что ему следовало сделать, и стал шарить в кармане; но увы! там не оказалось ни одной копейки мелочи. Покраснев, сам не зная отчего, он с некоторым замешательством вынул бумажник, в надежде отыскать там какой-нибудь рублишко. Но в пачке его денег самою меньшей величиной оказались трехрублевые бумажки. Досадно, а нечего делать: придется три рубля выложить, так как прятать назад свои деньги уже не позволило бы чувство собственного достоинства, и он, краснея еще более, смущенно всунул зеленую бумажку в прорезь жестяной кружки.

Хорошенькая патриотка выразительно приветливым взглядом и очаровательной улыбкой поблагодарила его за эту невольно щедрую жертву, которая была тоже замечена и близ стоявшими франтами. Они переглянулись между собою и оглядели неизвестного им жертвователя, одни, как показалось ему, взглядом далеко не дружелюбным, другие же, напротив, довольно благосклонно.

Теперь только Хвалынцев огляделся и почувствовал внутреннюю возможность наблюдать и рассматривать. Храм был светел и обширен. Прямо пред глазами с двух сторон шли вперед два ряда древних резных скамеек, сплошь набитых молящимся народом, среди которого преобладал черный цвет «жалобы». По бокам этих скамеек, у внутреннего прохода, пестрел

целый ряд разноцветных хоругвей; и по сторонам главного алтаря, над балюстрадой, как бы осеняя вход к нему, склонялись развернутые полотнища таких же костельных стягов, с нашитыми на них белыми, красными и позументными большими крестами. Сочетание цветов этих стягов явно носило на себе национально-польский характер: белый с красным, желтый с синим и амарантовый. Главный алтарь, украшенный цветами, бесчисленными мигающими звездочками зажженных свеч, резьбой и позолотой, был великолепен и производил впечатление чего-то красиво-грандиозного, чему особенно помогали окружающие его на приличной высоте тринадцать колоссальных белых статуй апостолов с Христом посредине.

Лепные ангелы и херувимы, напоминавшие более французских амуров и купидонов, а равно и раскрашенные, раззолоченные статуи святых у множества боковых алтарей были тоже весьма красивы и, по обыкновению, отличались фанатически-сладостно и экстазно-католическим выражением лиц и театральною изысканностью своих поз, в которых сказывалось даже как будто что-то балетное.

Несколько дней тому назад, костел в Червлёнах показался Хвалынцеву очень эффектен, но теперь внутренний эффект гродненской фары превзошел все его ожидания, тем более, что доселе ему вовсе не доводилось видеть католических храмов, ибо, живя в Петербурге и проходя чуть ли не ежедневно мимо костела Св. Екатерины, ему как-то ни разу даже и в голову не забрело зайти и осмотреть его.

Впереди длинного ряда скамеек, посредине храма возвышался черный катафалк с очень высоко вознесенным на него черным же гробом. Катафалк был изобильно декорирован цветами, зеленью растений, коврами, огнями восковых свеч и какими-то четырьмя пирамидами по углам с символическими изображениями страдания и смерти, причем все эти терновые венцы, клещи, гвозди, плетки, крючья, копья и адамовы головы со скрещенными костями очень рельефно выделялись своим белым, серебряным цветом на черном фоне пирамид, служивших тумбами для ветвистых канделябр, горевших там, наверху, целыми клубками огней, которые как-то странно мигали и реяли пред глазами в резком столбе солнечного света.

Орган с высоты хор гудел, вибрируя воздух похоронными, мрачными аккордами, к которым присоединялось несколько людских голосов и струнных инструментов.

"Requiem" был торжественен и великолепен в полном смысле. На многих женских лицах видны были слезы; несколько человеческих фигур, по обыкновению, лежали «кржижем»,[79] распростершись ниц и растопыря ноги и руки на холодном каменном помосте.

— Скажите, пожалуйста, кого это отпевают! — спросил по-русски Константин Семенович у одного из рядом стоявших франтов.

Франт весьма неприязненно и нагло оглядел его с ног до головы и грубо отвернулся. Другие тоже, не выключая и прелестной патриотки, за минуту еще благодарившей нашего героя столь дивной улыбкой, оглядели его крайне враждебно, ненавистно и даже презрительно.

— Шпег москевськи![80] — послышалось в их среде довольно явственно сделанное замечание. Хвалынцев почувствовал себя очень неловко. Его разбирало и смущение, и досада, и тем; сильнее, чем дольше оставался он под дерзкими, вызывающими взглядами кучки патриотов. Но… делать нечего! пришлось нравственно съежиться и скромненько перейти на другую сторону, чтобы затеряться в толпе. Боковым проходом, мимо древних, резных конфессионалов, пробрался он вперед, на правую площадку и стал у стены, подле каких-то двух очень прилично одетых господ, из которых один даже держал в руках форменную фуражку с кокардой. Эти господа тихо говорили между собою по-польски.

На этом, вновь избранном месте, по прошествии нескольких минут, злосчастный герой наш оправился и отчасти успокоился от своих смешанных чувств смущения, неловкости и досады с некоторою примесью злости. Он уразумел, что тут, как видно, ничего не поделаешь, что досадовать и сердиться на такие сюрпризы будет очень глупо, а обижаться на грубость даже невозможно. "Сам же виноват, зачем заговорил по-русски!" малодушно упрекнул он себя и через минуту додумался до будто успокаивающей мысли, что выходка эта никак-де не относится ко мне лично, а ко всем вообще моим соотчичам, и что стало быть... виноваты сами же соотчичи, а я так только, случайно подвернувшийся субъект, имевший неосторожность заявить себя русским.

"Однако же, какая страшная сила ненависти!" подумалось ему. "И неужели же придется прятаться и скрывать, что ты русский?.. Неужели же нужно будет вечно краснеть за это несчастное имя!"

Такая мысль показалась ему горькою и оскорбительною даже до какого-то болезненного, колючего и ноющего чувства. Сколь ни старался он извинять такое отношение поляка к русскому, сколь ни оправдывал его, взваливая всю тяжесть ответственности за него на одну лишь русскую сторону, но какой-то голос высшей внутренней правды и справедливости инстинктивно говорил ему, что это фальшь, что это не так, или по крайней мере не совсем-то так, и что русские в этой вражде вовсе не столь исключительно виноваты.

Меж тем прекрасные, перекатные, торжественно-печальные звуки, эффектно-поставленный катафалк, эффектно служащие ксёндзы и столько разнообразных молящихся лиц и выражений, и между ними столько хорошеньких и зачастую тоже эффектных в своем траурном уборе женских головок, все это, по прошествии еще нескольких минут, успело еще раз настолько развлечь Хвалынцева, рассеять его невеселые мысли и настолько успокоить состояние духа, что ему вновь захотелось удовлетворить своему любопытству, узнать, кто этот знаменитый покойник, удостоившийся такого многолюдного сборища и столь великолепных похорон?

Но на этот раз, дабы не быть снова оплеванным ни за что, ни про что, он решился покривить немножко душою, и потому отнесся к своему соседу с чиновничьей кокардой на французском диалекте.

Кокарда сначала оглядела его недоумевающим и даже сомневающимся взглядом, а потом вопросительно переглянулась со своим соседом, затем опять заглянула в самое лицо вопрошавшего Хвалынцева и наконец решилась заговорить тоном некоторого замечания и даже выговора:

— Чи ж пан не муви по-польску? пан не розуме?[81]

Хвалынцев при этом устроил себе такую физиономию, как будто он слушает, но решительно не понимает того языка, на котором к нему относятся.

— Est ce que monsieur n'est pas Polonais?[82] — вежливо спросил его другой из соседей.

— Non, monsieur[83] — с живостью подхватил Константин Семенович, решившийся до конца уже малодушно кривить душою. — Относительно здешнего края я иностранец. — Je suis un étranger.[84]

И чиновничья кокарда, и ее солидный сосед, казалось, вполне удовлетворились таким ответом, несмотря на его гибкую и несколько уклончивую форму. Они даже с большой охотой вступили с «цудзоземцем»[85] в очень любезные разговоры.

— Вы, сударь, желаете знать кого мы хороним? — начала кокарда, которая казалась гораздо юнее своего солидного соседа, и начала это, конечно, по-французски, с глубоко-грустным вздохом, не забыв устроить себе предварительно печальную физиономию. — Вы видите пред собою гроб еще одной новой жертвы!

Хвалынцев бросил на него удивленно-вопросительный взгляд.

— Да, милостивый государь, — подтвердил чиновник, — вы видите новую жертву из бесчисленного ряда наших жертв… Жертву, конечно, русского варварства и насилия… О, если бы вы знали что они с нами делают!.. Но нет, вы иностранец, вы не можете иметь о том никакого понятия! Никакое воображение, никакая фантазия не в состоянии представить вам этих ужасов!!!..

Чиновник, ради пущей экспрессии, закатил глаза и весь содрогнулся, и притом так сильно, что вместе с ним содрогнулась даже его форменная фуражка с кокардой.

— Кто ж этот мученик, скажите пожалуйста, и что с ним такое сделали? — спросил Хвалынцев.

— Это… это так, простой обыватель, ремесленник… некто Пшездецкий, — несколько замявшись, но нимало не смутясь, ответил чиновник. — Вся его вина в том, что он был добрый патриот и открыто выражал свои мысли, ни для кого впрочем не вредные… Его схватили, посадили в острог, в мрачное подземелье, где у них помещается инквизиция, и там замучили пытками и голодною смертью… На всем теле его видны ужасные глубокие рубцы и раны… Я сам видел!.. *Они* ведь, вы знаете ли, как мучат? — Раскаливают, например, на огне стальные прутья, с заостренными крючками, и секут этим по груди и животу… крючки, как когти впиваются в тело, раздирают и жгут его, а следственная комиссия в это самое время тут же закусывает и пьет водку!.. А чем они кормят? Боже мой!.. Этот несчастный, говорю вам, с голоду умер… Они, например, дают суп из гнилых провиантских крыс! Буквально так! Говядину, видите ли, надо еще покупать, тогда как крысы им даром приходятся. Но под конец, этому несчастному даже и крыс не давали, так что он умер буквально голодною смертью! Бедный был человек… семейство большое в крайней нищете оставил…

— Но эти великолепные похороны?.. Кто ж его хоронит? — спросил Хвалынцев.

— *Мы* народ польский… Мы умеем чтить своих мучеников, — с достоинством благородной гордости отвечал чиновник. — Вы иностранец, и не можете знать того, что делают эти кровопийцы с нашим несчастным краем… Вы едете в Россию или из России?

— В Литву, — сказал Хвалынцев.

— О, не ездите, не ездите!.. Лучше вернитесь в Европу! — с живым участием и даже с выражением испуганного соболезнования заговорил чиновник. — Вы не можете представить себе что тут делается! Пьяные солдаты и казаки бродят шайками по целому краю, жгут целые деревни, секут помещиков, а иногда даже, среди белого дня, нападают на проезжих, грабят, режут и убивают — и все это вполне безнаказанно!.. Я вам говорю это наверное, потому что знаю ближайшим образом: я служу чиновником по особым поручениям при здешнем губернаторе, и потому на точность моих сведений вы можете вполне положиться.

Хвалынцев, наконец, потерял всякое терпение выслушивать эту нахальную ложь и притворяться иностранцем. В нем закипело чувство некоторого злорадного удовольствия, при одной мысли, которую он, по первому порыву, не задумался тотчас же привести в исполнение.

— Послушайте, милостивый государь, — совершенно неожиданно заговорил он вдруг по-

русски, — или вы каждого иностранца считаете за круглого дурака, или уж любовь к отечеству самому вам затмила последний рассудок?! Позвольте же вам теперь откровенно высказать, что я не верю ни единому слову из того, что вы мне рассказывали, и говорю вам прямо в глаза, что вы — лгун, вы, губернаторский чиновник!

Все это было сказано весьма хладнокровно и веско, но настолько тихо, что ни на одну минуту не обратило на Хвалынцева внимания даже ближайших из молившихся, и таким образом видимое, внешнее уважение к храму не было нарушено.

Оба соседа были так поражены этой неожиданной выходкой, что не нашлось у них ни единого слова, ни единого звука, ни даже движения какого-либо, чтобы ответить на нее.

Красноречивый губернаторский чиновник сконфузился и растерялся до последней крайности. Он то бледнел, то краснел и, беспрестанно мигая, смотрел не видя на Хвалынцева бессмысленно-тупыми оловянными глазами. Ошеломляющий удар нанесен был столь внезапно, что вышиб из его головы последние остатки каких-либо мыслей и соображения. Это был своего рода столбняк и как бы морально-бессознательное состояние.

Хвалынцев несмущенно и прямо глядел ему в глаза, выжидая, что из всего этого воспоследует; но кроме хлопанья туманно-бараньими бельмами не воспоследовало ровно ничего. Хвалынцев выждал таким образом несколько секунд, которые — он чувствовал это — были невыносимо-тягостны, просто уничтожающи с лица земли для обоих этих субъектов, но убедясь, наконец, что больше ничего не будет, сколько ни стой перед ними, он молча поклонился обоим иронически-почтительным поклоном и спокойно ровным, неторопливым шагом отошел несколько в сторону.

Между тем гроб сняли с катафалка. Раздался резким диссонансом чей-то истерический вопль, в разных концах храма послышались женские рыдания, и народ повалил из костела. Подхваченный живой и довольно плотной массой, Хвалынцев тоже направился вместе с общим потоком и, не без некоторых затруднений и усилий в общей тесноте и давке, очутился наконец на улице.

Вскоре процессия вытянулась по Бригитской улице и тронулась чрезвычайно медленным шагом по направлению к кладбищу.

Хвалынцев и слыхал, и в газетах читал кое-что о варшавских похоронных демонстрациях. — "Уж и это не демонстрация ль?" — домекнулся он и, в ожидании какой-нибудь вероятно любопытной развязки, решился следовать вместе с процессией.

А процессия была столь же великолепна и торжественна, как и отпеванье. Впереди шел частный пристав с несколькими полицейскими солдатами и, наблюдая за порядком, расчищал дорогу. За ними гусиным шагом выступал костельный сакристиян[86] в белой комже и на черном древке нес высоко поднятое Распятие. За сакристияном следовали попарно члены костельных братств с довольно толстыми зажженными свечами из желтого воску. Сначала шли братчицы, а за ними братчики. За братчиками точно так же выступали попарно францисканские монахи в своих черных хламидах с каптурами и капюшонами — и Боже мой, каких только тут не было физиономий: и фанатически-суровых, и сухощаво-постных, и добродетельно-лисьих, и смиренно-кротких, волчьих, но достолюбезное большинство их все-таки отличалось той лоснящейся, румяно самодовольной полнотой и дородностью, которые служат верным признаком безмятежно-эпикурейской жизни. За монашествующей братьей несли бесчисленное множество костельных хоругвей, а за хоругвями шло приходское духовенство: ксендзы и клерики, а после ксендза-дзекана[87] выступала с печальною

сантиментальностью, склонив несколько в его сторону свою голову, некоторая весьма эксцентричная особа. Это была женщина уже значительно преклонного, хотя молодящегося возраста. На ней был траурный костюм совершенно особого рода: мужская конфедератка с черным плюмажем и длинное, черное драповое пальто, на котором сзади, немного пониже талии, была нашита большая белая "трупья глова" со скрещенными костями. Немало подивясь на эксцентричный костюм этой особы, Хвалынцев хотел было причислить ее к лику какого-нибудь женского монашествующего ордена, но плюмаж и конфедератка, но растрепанная-с кокетливыми претензиями куафюра и слой белил да румян на старушечьем лице — заставили его отказаться от своего первоначального предположения. Так он с тем и остался, что никоим образом не мог определить себе, что это за странная особа с Адамовой головой на бурнусе? За духовенством следовали, тихо покачиваясь, дроги с балдахином, под которым очень эффектно стоял черный гроб, обитый серебряным позументом и такими же гвоздиками. За гробом несли траурную хоругвь, с изображением сломанного креста, в память известного варшавского события,[88] и тут же шли цеховые знамена, так как покойный принадлежал к классу ремесленников. Затем уже, и по сторонам, и сзади, валом валили густые толпы народа. И весь этот народ, все эти братчики и братчицы, ксендзы, францисканы и клерики оглашали улицу раздирательно-завывающим и крайне нестройным пением. Все это сборище, надседаясь во всю грудь, голосами разными вопияло: "свенты Боже! свенты моцны!! свенты несмертельны!!! змилуй сен, над нами!!!".[89]

Уличные мальчишки, гимназисты младшего и старшего возраста, к которым присоединилось несколько чамарковых паничей и даже один какой-то господин весьма солидной и отчасти внушительной наружности, усердно занимались тем, что всем встречным извозчикам орали: "стой! тржимай на бок, пся юха![90] на бок!" — и извозчики должны были съезжать местами даже на тротуар, чтобы дать дорогу величественной процессии. Кроме этого дела, компания мальчишек, гимназистов и чамарковых паничей, купно с солидным паном, занималась еще и тем, что со всякого встречного жида с налету сдирала шапку и швыряла ее наземь, норовя, по возможности так, чтобы каждая жидовская шапка непременно выкупалась в грязной сточной канавке. Но и этим похвальным делом не ограничивалась еще миссия юных патриотов: они точно так же старались сталкивать в сточные канавки зазевавшихся жиденят, жидовок и русских прохожих солдат. Но насколько часто и успешно повторялась эта веселая процедура с еврейками и жиденятами, настолько же редко удавалась она с солдатом. Поэтому относительно солдат деятельная компания юных патриотов ограничилась по большой части тем, что в изобилии плевала им вослед, норовя попасть своими плевками сзади на полы и в спину солдатской шинели. Патриотки в этом отношении были гораздо смелее: они нередко решались плевать прямо в солдатскую физиономию. Хвалынцеву удалось даже быть свидетелем одной довольно типичной сцены этого рода. Одна прехорошенькая, преграциозная патриотка, одетая в очень изящную «жалобу», очень мило и даже не без кокетства плюнула на встречного усача-улана, который, по силе своей физики, мог бы не только что эту субтильную паненку, но и весьма многих из этих дюжих панов, что называется, одним ногтем прищелкнуть. Храбрая паненка норовила попасть прямехонько-таки в усастую уланскую физиономию, но на ходу недостаточно изловчилась, так что плевок вместо физиономии попал на грудь. Здоровенный, ражий уланина, только ухмыляясь, головой покачал; а затем, вытирая обшлагом полновесный плевок, обернулся на грациозную паненку и самым добродушнейшим образом, все с той же бойкой ухмылкой и все так же покачивая усастой мордой, громко и внятно проговорил ей вослед:

— Ай, брат-полечка, нехорошо-о, брат!.. Шинель-ат — вещия казенная, так на што жь ее сваеми плевками марать?!.. Нехорошо-о, право нехорошо!

Хвалынцев не мог не расхохотаться от всей души при этом, по-видимому, наивно-добродушном,

но в сущности довольно-таки бойком и едком замечании, каковое проявление столь неуместной веселости тотчас же вызвало против него несколько грозных взглядов и неприязненных, подозрительных пошептываний со стороны ближайших к нему патриотов обоего пола.

Погребальная процессия приближалась уже к мосту, ведущему за город на Скидельскую дорогу, под которым проложены железнодорожные рельсы, как вдруг в это самое время на мост, направляясь с Татарской улицы, вступала другая духовная процессия. Это были тоже похороны, только очень и очень скромные. Открытый гроб, с крышкой впереди, несли на руках несколько солдатиков, а пред гробом шел православный священник в предшествии большого церковного креста. Хотя эта последняя процессия вступила уже на мост, но гурьба гимназистов разом бросилась наперерез ей, с криками: "Пречь з колеи! Назад! Идзце до дзьябла, пршекленте! Пречь з москалями!".[91] А частный пристав, наблюдавший за благочинием, поспешил туда же, вслед за гурьбою школяров да чамарок, и силою своего полицейского авторитета, при помощи внушительно-властного распорядительного покрикиванья и жестикуляции, "восстановил достодолжный и законный порядок", то есть заставил гроб осадить назад и даже сойти с моста вспять на перекресток всю злосчастную православную процессию, которая, нужды нет что по времени поспела вперед, а все-таки должна была остановиться и смиренно ждать, пока сполна не пройдет длинная и пышная процессия польская. Пан Пшедзецкий во гробе своем под балдахином, с плавно-качающимися кистями, изволил наконец, с подобающим гонором и величием, проследовать мимо простого, тесового гроба, в котором терпеливо дожидалось своей смиренной очереди нешляхетное, бренное тело какого-то усопшего отставного солдата.

Однако и это было еще ничто себе; но Хвалынцева до глубины души возмутило то, что несмотря на присутствие креста, равно общего как для православных, так и для католиков, некоторые патриоты и патриотки — а последние даже по преимуществу — проходя мимо, стали выкидывать кое-какие кощунственные кунстштюки и нахально делать нагло-цинические и неприличные замечания и насмешки над «попем» и «москевским» покойником. Несмотря на свое равнодушие (то есть Хвалынцев привык думать, будто он равнодушен) ко всяким религиозным предметам и темам вообще, он почувствовал, как при этой наглости вся душа его возмутилась. Кровь прилила к вискам и к сердцу, в груди что-то кипучее колесом заходило, колючие слезы подступили к горлу, а кулаки и скулы меж тем судорожно сжимались под давлением чувства сознательно-бессильной злобы и оскорбления. Он понимал, что это оскорбление нарочно наносится этому попу и покойнику единственно потому, что это православный, то есть русский поп, и православный, то есть русский же покойник.

Ему вдруг стало мерзко, противно продолжать путь за паном Пшедзецким, противно от одного сознания, что и он, хотя бы то одним лишь своим пассивным присутствием, принадлежит к этой чуждой и враждебной ему толпе — и он остановился. Нарочно, под влиянием внезапно прихлынувшего чувства, мысли и желания показать пред всею польскою толпою, а главное пред собственною совестью и пред этими убогими солдатиками и попом — буде кто из них заметит его, а хоть и не заметит, так все равно! — показать, что он русский, что он не принадлежит ни духом, ни телом к этой гордо проходящей толпе, — Хвалынцев искренно снял шапку и сознательно трижды осенил себя широким, русским, православным крестом, с невольно благоговейным чувством в душе поклонясь этим безнаказанно оскорбляемым русским: кресту и покойнику.

Затем, дав пройти этой последней процессии, он вскочил на первого попавшегося извозчика и поехал обратно в город.

— Скажи, пожалуйста, кого это хоронят? — спросил он, едучи, у своего извозчика.

— Пшедзецкого, — ответил тот таким удивленным тоном, как будто не допускал ни малейшего сомнения в том, чтобы седок его мог не знать, кто такой Пшедзецкий.

Но Хвалынцев тотчас же сразу и предложил ему этот самый вопрос: кто же, мол, таков этот пан Пшедзецкий?

— А так сабе… абывацель, — ответил возница.

— Чем же замечателен этот обыватель?

— А ничем!.. Чем жа яму быць замячацельному?.. Сказуваюць, рямеслянник — чабатарь быу, швец?

— А ты не знал его?

— Я?.. Не, баринка, не знау.

— Но, конечно, слыхал про него прежде?

— Пра кого-с то? — переспросил извозчик.

— Да про Пшедзецкого ж?

— Пра Пшаздецкаго?.. Не, слыхаць, ничбго не слыхау, баринка.

— Так за что же ему такие почести воздают?

Извозчик подумал несколько и ответил не вдруг. Очевидно, такой вопрос самому ему ни разу еще не приходил в голову.

— А хто е знае! — сказал он наконец. — Гэто усё паны наши… Ани ноничь зачасто так, случаицца хароняць…

— Ну, да хорошо: будь это пан, оно было бы понятно, — возразил Хвалынцев, — но почему же все это великолепие собственно для сапожника Пшедзецкого?

— А так себе, — пожал плечами извозчик, — гля таго, што ион, кажуць, "пачтивы чловек[92] быу"… От што!

"Н-да, так это значит похороны "почтивего чловека", улыбнулся про себя Хвалынцев, и вспомнив, что он как встал еще с постели, до сей поры не хлебнул ни глотка чаю, приказал вести себя в какую-нибудь кофейную или кондитерскую из тех, что получше.

III. Чего иногда могла стоить и чем могла угрожать чашка кофе

Но гродненские кондитерские — они же и кофейные — оказались обе хуже: выбирать было не из чего: у Кантлера то же что у Аданки, а у Аданки то же, что и у Кантлера, то есть та же изобильная грязца, те же спертые кисловатые запахи, те же, как камень ссохшиеся торты и миндальные печенья, те же крахмальные, выкрашенные конфекты да леденцы; та же водка и «гродненьскего» производства разные ликеры, та же жирная «кава» и «чеколяда»[93] и в заключение тот же вылинявший окривелый бильярд в пыльно-дымной табачной атмосфере, с пожелтелыми от времени шарами.

На бильярде звучно щелкали киями какой-то комиссариатский офицер и какой-то панич,

почему-то сильно напоминавший собою канцелярскую службу в губернском правлении. И офицер, и панич, весьма занятые игрой, переговаривались между собою по-польски, делая по большей части те отличающиеся плоским жартом замечания, которые обыкновенно делают игроки дурного тона, когда чувствуют себя в хорошем игрецком настроении духа. Тут же восседало несколько панов, палатских и иных чиновников да два-три пехотных офицера, — кто за стаканом кофе, кто за кружкой пива, кто играя в домино или в шашки, а кто и просто так себе, всухую следя за игрой или углубясь в чтение газет. Газеты же были здесь исключительно польские.

Хвалынцев сел у столика, близ окошка, и спросил себе чашку кофе. Мальчишка в грязном фартучке, с продранными локтями, которого подозвал он к себе, выслушал отданное по-русски приказание и отойдя, как ни в чем не бывало, стал на прежнее свое место, прислонясь к стенке да заложив за спину руки, и начал равнодушно следить за игрой.

Хвалынцев встал и, подойдя к нему, повторил свое требование.

Мальчишка только шмугнул носом, обтирательно проведя под ним рукою, и затем, отойдя шага два-три в сторону и уже не обращая на незнакомого гостя-москаля ни малейшего внимания, продолжал по-прежнему рассеянно следить за игрою.

Такая дерзкая наглость в мальчишке начинала уже снова вводить Хвалынцева в досаду, чувство которой во все эти дни доводилось испытывать ему столь часто и столь много. Он снова подошел к нему, и на сей раз внушительно строгим голосом и даже грубо передал свое требование.

Мальчишка злобно озирнулся на него исподлобья и, пробормотав "зараз, пане!" — неторопливо, с явной неохотой, пошел из комнаты отдавать трижды полученное приказание.

"Что это за испорченный народишко, однако!" подумал себе Хвалынцев. "Говоришь ты ему что ласково, по человечески, он рыло воротит, он чуть не плюет на тебя, а едва прикрикнешь да выругаешься, сейчас и струсит, сейчас и "зараз, пане", хоть и при этом все же свой гонор шляхетный выдерживать старается. Экая гнусность!" досадливо выругался он еще раз, в заключение, и терпеливо стал дожидаться своего кофе.

Но ряд мелочных испытаний далеко еще не окончился для него.

Время от времени в «цукерню» и «кавярню» прибывали разные новые посетители.

Двое из них спросили себе тоже кофе и, несмотря на то, что оба пришли позже Хвалынцева, требование их было удовлетворено почти безотлагательно: сначала принесли одному, потом некоторое время спустя и другому.

— А что же мне-то? — окликнул злосчастный герой наш.

— Зараз! — не глядя на него, обронил слово мальчишка и прошмыгнул в заднюю дверь.

Посетителям, и старым и новым, беспрепятственно подавали кому пиво, кому чай, кому шоколад, смотря по требованию, и только одного Хвалынцева, казалось, хотели заставить изощрять чувство его долготерпения.

Пришел еще какой-то пан и потребовал "шклянку кавы", и кофе через минуту явился к услугам панского аппетита.

Константин ясно увидел, наконец, что вся эта проделка с его долготерпением совершается не иначе, как нарочно, что таким невниманием к его требованию имеется в виду выказать явное пренебрежение к «москалю», для которого нет здесь не то что чашки кофе, но даже стакана простой воды за его собственные деньги, что "добры обывацели" готовы поступиться своими мелочными интересишками, лишь бы сделать какую-либо неприятность незнакомому человеку, который виноват пред ними только тем, что носит ненавистное им имя "москаля".

Не желая, однако, продолжать служить мишенью для подобных выходок, он встал и направился к двери с намерением уйти из патриотической «кавярни», как вдруг, вдогонку ему, из-за прилавка раздался нецеремонный голос господина, стоявшего у конторки:

— Пршепрашам пана! Пан еще не заплацил пенёндзы: злоты и грошы пентць.[94]

Хвалынцев обернулся на него с вопросительным взглядом.

— Пан не заплацил пенёндзы, — еще громче и нахальнее повторил застоечный пан, явно с тем намерением, чтобы его слова были услышаны посторонними посетителями.

— Вы ошибаетесь, — сдержанно проговорил Константин, — мне не за что платить: я ничего не пил и не ел у вас.

— Пан заказал филижанкень[95] кавы, — с безусловным сознанием своей правоты возразил пан из-за прилавка.

— Да; но мне ее не подают, тогда как другим в это время успели подать уже несколько стаканов; а мне ждать некогда.

— Пршепрашам пана!.. Ал ежь для цалего святу од разу не-можно!.. А кеды пан юж заказал, то тршеба заплациць! Пану вольно пиць, чи непиць — для мне то вшистко рувне,[96] - плохо-просящим тоном выговаривал застоечный пан, с "гоноровою шляхетностью" разводя руками и пожимая плечами.

— Цо ту такего?[97] — вполголоса пытливо вопрошали друг у друга в это самое время разные панки, появляясь в дверях из другой комнаты, привлеченные сюда необычно громким голосом застоечного пана, что очевидно предвещало им наклевывающийся скандальчик. — Прошен' пана, цо ту такего?

— Пан москаль нехце плациць пенёндзы, и венцей ниц![98] — пояснил кто-то из этой кучки.

— А, то почтц*и* вы москаль!

— Пфэ, пане! москале нигды не плацон'. Така юж натура!

Подобного сорта милые замечания готовы были излиться целым потоком на злосчастную голову нашего героя. Положение его было одно из самых неприятнейших. Он очень хорошо понимал, что застоечному пану хочется покуражиться над ним, ибо застоечный пан сознавал, что он в изрядном количестве окружен «своими» и что стало быть пан москаль делай что хочешь, хоть "до самого пана губернатора" ступай, а все-таки в конце концов останется с носом; поэтому куражиться можно было вполне безнаказанно. Понимая же это, Хвалынцев сознавал полнейшую необходимость воздержаться теперь от всякого резкого проявления, дабы не наткнуться на скандал, который ему с таким удовольствием готовы были подстроить, а этого удовольствия на свой счет он и не желал им доставлять. Но в то же время ему крайне не хотелось удовлетворить неосновательному и столь нахально выражаемому требованию

застоечного пана. Не в 17 копейках был расчет, а в том, что эта уступка дерзкому нахальству доставить всем этим полячкам мелкое торжество: "что, дескать, заставили-таки дружка сделать по-своему! Ага, мол, струсил, пан москаль! Ничего, брат, плати даже за то, что мы, шляхетные люди, должны были несколько минут выносить твое присутствие среди нашей компании!" Хвалынцев понимал, что и с его стороны это точно такое же мелкое чувство, которое, пожалуй, ни в чем не уступает мелкому торжеству этих полячков; но понимая это, он все-таки никак не мог отрешиться от него, стать выше своего низменного, в данную минуту, самолюбия. "Конечно, лучше бы бросить им эти гроши и уйти", мелькала ему благая мысль, но застоечный пан глядел в упор так нагло, а стоявшие в дверях полячки столь были уверены именно в таком самом исходе всей этой истории и столь бесцеремонно подсмеивались на его счет, что он чувствовал всю окончательную невозможность и уйти, не платя ни полушки, и заплатить ни за что, ни про что. "Ни то, ни другое!" смутно, но решительно мелькало в его голове, тогда как чувство оскорбления и злости начинало просто душить его, отдавалось тяжким стеснением в груди и заволакивало глаза безразличным туманом. "Ни то, ни другое… Но что же? Что?.." А панки между тем глядят и ждут. Он не видя чувствовал на себе их неотводные взгляды. "Хватить разве чем ни попадя? раскроить башку и тем, и этому? молнией мелькнула вдруг ему безумная мысль под гнетущим давлением безысходной злобы.

И Бог весть, чем бы могла кончиться вся эта история — вернее всего, очень бы скверно — если бы в эту самую минуту не вошел замурзанный мальчишка с чашкой кофе на подносе и не поставил ее на столике возле Хвалынцева, промолвив:

— Для пана.

Исход был хоть и вовсе не блистателен, ибо после всего, что случилось, сидеть на глазах у застоечного пана и глотать кофе казалось Хвалынцеву крайне миролюбиво и даже очень жалостно: "что, мол, бедненький сжалились наконец над тобою?" Однако надо было сознаться, что это все же единственный, сколько-нибудь возможный для самолюбия исход из того нелепого положения, в которое был поставлен злосчастный герой наш. Мысль о том, чтобы хватить чем ни попало, была сама по себе безобразна. Оно бы, пожалуй, возможно, и даже пройди еще одна лишь секунда и не выручи этот мальчишка, Хвалынцев чувствовал, что он хватил бы, непременно хватил бы, невольно, помимо рассудка, в силу одних лишь все затмевающих животных инстинктов злости и бешенства, но… эта чашка кофе, подоспевшая так кстати, все-таки хоть мало-мальски выручила: во-первых, нахальное требование буфетчика осталось неудовлетворенным, во-вторых, панки лишились ожидаемого торжества, и, наконец, в-третьих, требование самого Хвалынцева было исполнено, хоть и поздно, а все ж таки исполнено. Теперь он, как следует, совершенно справедливо заплатит деньги и уйдет спокойно порядочным человеком, а не струсившим и оплеванным мальчишкой, над которым покуражились как только хотели. "Кажется, я ни разу не взглянул на этих панов?" задавал он самому себе сомневающийся вопрос. "Но точно ли ни разу?.. Кажется что так!.. Да; помню, действительно ни разу!.. Точно!.. И как это хорошо, в самом деле!.. Полнейшее презрение: будто и не заметил!.. А что если эти какие-то глупые замечания ихние… за которые стоило бы морду побить!" мелькнула ему вдруг как-то сама по себе "как беззаконная комета", побочная мысль "антигуманного свойства". — "Н-да… Но и это еще для них ведь сомнительно, попали ль они в цель: я ведь «москаль» и польского языка не понимаю… Это надо будет как-нибудь заявить им, что я не понимаю!" как бы в скобках сделал он самому себе внутреннюю нотабену.

Но все-таки чашка жирного кофе далеко не показалась ему такой вкусною, какой он наверное нашел бы ее, после прогулки натощак, не случись всей этой неприятной истории, а теперь… теперь он глотает жирную влагу помимо всякого желания. Горячий кофе теперь противен ему, и даже в глотку не лезет, даже вкусу никакого он в нем не чувствует, а все-таки пьет, пьет по необходимости, так сказать, для выдержки, для характеру, для самолюбия, для того, наконец,

чтобы иметь законное право заплатить застоечному нахалу 17 копеек, или, как выражаются здесь, "злоты, гроши пентць". Бедный герой мой! Он пьет, обжигает себе нёбо, а все-таки пьет, с одною лишь мыслию, как бы допить поскорее "и показать… показать им".

Что показать? — Это и сам он сознавал довольно-таки смутно; чувствовал только, что "надо показать… *надо…* и очень много… наказать их, каналий!"

Но как наказать? — Опять-таки представление об этом было самое смутное.

Выпив, наконец, чашку и морщась от боли в обожженном рту, но с таким видом, как будто вовсе не от боли, а от проглоченной мерзости, он неторопливо достал папироску, неторопливо повертел ее с равнодушным, рассеянно-задумчивым видом и неторопливо же подошел к огню закурить ее. И это была нарочная, умышленная неторопливость, будто бы ради выдержки собственного достоинства, тогда как самому хотелось бы поскорее вырваться и убежать отсюда, ибо он чувствовал, как в груди опять начинает колесом ходить что-то жуткое и в горле опять давит что-то так сухо, давит каким-то спазматически-колючим сжатием, так что, чувствуя все это, он делал над собою большое усилие, чтобы глотать и давить в себе эти тяжелые ощущения, которые вот-вот того и гляди прорвутся наружу самым неуместным проявлением и разрешатся озлобленными рыданиями, и тогда… тогда нет ничего мудреного, если прихлынет бешеное затмение и опять явится шальная мысль хватить наповал чем ни попади! Он чувствовал, что внутри его кипит сильное, почти истерическое раздражение, и напрягал всю силу воли, чтобы подавить его.

Закурив наконец папироску, все с той же гримасой, будто бы от проглоченной мерзости, подошел он к стойке и недовольным, но презрительно-спокойным голосом спросил, указывая взором на выпитую чашку:

— Что стоят эти помои?

— Як-то? — устроив себе глупую физиономию, отозвался застоечный пан. Теперь уже он притворялся, будто он не понимает языка русского.

— Я спрашиваю, что стоят эти помои, которые вы подаете под именем кофе? — с вразумительной расстановкой слов и нарочно придав металлическую звучность своему, несколько повышенному голосу, повторил свой вопрос Константин Семенович.

— Не розумем!..[99] — пожал плечами буфетчик и, смотря на него притворно-недоумевающим взглядом, прибавил, помолчав малое время:

— Цо вацьпан потржебуе?[100]

Хвалынцев упорно глядел ему прямо в глаза блестяще-холодным и твердым взглядом, тогда как внутри себя он чувствовал, как там в груди *играет* что-то, играет и ходит, и дрожит всеми жилками, всеми нервами чувство живой, только что вновь народившейся ненависти. И вдруг судьба ему дала на одно мгновение счастливое, злорадное удовольствие: он увидел, как под влиянием его твердого, холодного, смелого взгляда, нахальные глазенки застоечного пана вдруг потупились и смущенно забегали вниз и в стороны, всячески избегая новой встречи с этим неприятно-блестящим, стальным и острым взглядом "пршеклентего[101] москаля". Это неожиданное открытие вдруг как-то нравственно подняло Хвалынцева, подняло дух его и, вместе с пробудившеюся уверенностию в самом себе, придало столь нужное ему теперь не деланное, а настоящее спокойствие — спокойствие сознанной силы и нравственного перевеса.

— Але цож вацьпан потржебуе?.. — продолжал меж тем бормотать, уже заметно поспустивши тон, застоечный шляхтич, все так же бегая глазенками и избегая встречи со взглядом Хвалынцева.

— Если вы не понимаете по-русски, то пришлите вместо себя кого другого, кто бы понял меня, — все тем же ровным, повышенным голосом заговорил последний, — потому что я точно так же не понимаю по-польски.

Эту последнюю фразу он постарался произнести особенно отчетливо и ясно.

— Алежь нема кого, пане! — пожимая плечами, бормотал буфетчик. — А в реши,[102] махнул он рукою, — с пана — злоты, грошы пентць.

"Ага! понял голубчик! заставил-таки понять!" с чувством несколько мелочного самодовольствия подумал себе Хвалынцев. "И все это врут они: все они отлично понимают!.. Одно только притворство!" Он неторопливо раскрыл бумажник, небрежно вынул пачку ассигнаций — ту, что была потолще — оставив две другие несколько на виду в бумажнике; затем как бы нечаянно, мельком дав заметить в ней несколько крупных бумажек, он вытащил зелененькую и небрежно швырнул ее на конторку под самый нос застоечному пану. И все это проделывал умышленно, нарочно, даже с чувством какого-то ребяческого самоуслаждения: вот же, мол, тебе! На, смотри, каналья!.. Смеет думать, полячишко поганый, будто семнадцати копеек нет!

Теперь уже Хвальщеву почему-то вдруг вообразилось, что тот непременно думал это. У него даже образовалась какая-то уверенность в том, совершенно безосновательная, но твердая.

Получив сдачу, которая, к приятному удивлению Хвалынцева, была ему подана довольно вежливо ("что значит, однако выдержка!" самодовольно подумалось ему при этом; "стоило лишь показать решительную и твердую смелость — полячок и струсил!"), он вышел наконец на свежий воздух и только тут вздохнул легко и свободно.

Однако же отголоски внутреннего раздражения, чуть было не разразившегося истерикою злости, давали еще ему чувствовать себя то волнением, то нервным ощущением дрожи в руках и внутри груди, то холодными мурашками за спиною и в верхней части рук от локтя к плечу и лопатке.

Он чувствовал настоятельную потребность хорошенько пройтись, освежиться, успокоиться и хоть сколько-нибудь рассеять себя, и потому тотчас же отправился бродить куда глаза глядят, с целью "осматривать город", или, лучше сказать, просто без всякой определенной цели.

IV. На Коложе

Хвалынцев любил испытывать то, что может быть названо чувством чужого, незнакомого места, чужого города. Если судьба заносила его в совершенно неизвестный ему, никогда не виданный им город, где у него даже нет никого знакомых, он любил пойти без всякой цели бродить по незнакомым улицам, площадям, переулкам, приглядываться к домам, к людям, к характеру нечаянно открывавшейся местности, перспективы, пустыря ли какого, или древнего храма, думать, какие-то здесь люди живут и что-то у них за нужды, что за жизнь, что за борьба, какие стремления, хлопоты, интересы, какие характеры, какие у них домики, и по виду этих домиков дополнять, дорисовывать в воображении картину повседневного быта и жизни их обитателей. Каждый домик как будто свою особую физиономию имеет, свой личный характер оказывает, чему особенно помогают окна, играющие в этом отношении роль глаз

человеческих. Один домишко глядит на улицу весело, словно бы улыбается, другой стоит себе состроивши кислую гримасу, третий своими окнами-глазками словно бы жалуется на что-то, словно бы обидели его, четвертый глядит на все как-то подозрительно скосившись. Хвалынцев очень любил совсем потеряться в этих незнакомых улицах и переулках с этими самыми домиками, любил идти, ни у кого не пытая дороги, а просто так себе наудачу, куда Бог ни выведет. В это время глаз всегда делается как-то внимательнее, приглядчивее, развивается чувство наблюдательности; мысль, не занятая ничем особенным, работает меж тем с какою-то пытливою прихотливостью, а воображение помогает ей изукрашивать эту работу… Как-то впечатлительнее становишься в это время и все стараешься запомнить, усвоить себе характер и вид каких-либо предметов, зданий, перспектив, для того чтобы не забыть их впоследствии — запомнить даже самое впечатление, под которым их видел. — Любил Хвалынцев и это чувство полного, круглого одиночества, среди многолюдья: я, дескать, никого не знаю, и меня никто не знает; броди себе, гляди, мечтай, наблюдай — никому до тебя никакого дела нет, никто не остановит, не развлечет и не побеспокоит тебя. Хорошо! славно так! — И каждый раз, попавши в чужой город, — он с удовольствием переживал это чувство чужого, незнакомого места.

Так точно и теперь вот с ним было. Движение, свежий воздух, яркое солнце и это самое чувство осадили, успокоили окончательно его волнение. Он даже и не старался о том, чтобы не думать о давешней истории: по прошествии некоторого времени оно как-то само собою незаметно перестало думаться; мысли и впечатлительность настроились на другое — и мало-помалу это знакомое, тихое, приятное и немного как будто грустное, но хорошо-щемящее чувство чужого места всецело охватило собою Хвалынцева. Он побродил уже достаточно, но усталости не испытывал ни малейшей. Прошел мимо желтого одноэтажного, построенного покоем здания, с какою-то статуей на куполе крыши, за которой чернели вековые деревья обширного сада, и по присутствию полицейских да казаков догадался, что это — губернаторский дом. Впрочем, губернаторские дома, почти во всех губернских городах, всегда как-то сразу, сами собою узнаются: около них неизменно царит какая-то неуловимая, невесть в чем именно заключающаяся, но тем не менее чувствуемая, словно перемена воздуха, какая-то официальная атмосфера: так вот тут и пахнет тебе губернаторским домом!

Затем, оставя вправо от себя какие-то пустыри, пошел герой наш по пустынной площади, по направлению к видневшемуся прямо впереди какому-то трехэтажному голубому дому, к заднему фасаду которого тоже примыкали обширные сады. По "всевидящему оку", изображенному на фронтоне, да по вышедшему из ворот монаху и двум-трем попавшимся навстречу субъектам в шинелях семинарского покроя с певческими физиономиями, Хвалынцев догадался, что голубое здание должно быть архиерейский дом, и не переходя мостик, спустился налево в глубокий овраг, по крутым, размытым бокам которого кое-где лепились убогие беленые мазанки, сарайчики да садочки, а по одну извивалась речонка Городничанка, через которую местами можно было просто перешагнуть с небольшим напряжением. Место это очень оригинально и довольно красиво, и притом выходит из всякого условно-городского характера. Не заметно для самого себя, бредя все дальше да дальше по этому оврагу — где, подымаясь тропинкой на откосы боков, а где спускаясь на самое дно — он вдруг заметил, как неожиданно впереди сверкнула в глаза ему, словно вороненая сталь в солнечных блестках, полоса реки, и оглянулся вокруг себя. Он был на дне широко раздвинувшегося оврага. И направо, и налево подымались значительные крутизны. У самой вершины левой кручи виднелись какие-то древние развалины: будто остатки башни, выступы стен, углов и даже темное окошко можно было заметить в стене пониже уровня вершины. Это были развалины древних гродненских укреплений, остатки окруженного глубоким рвом замка, от которого поныне уцелел только один из флигелей, и этому флигелю новейшая

цивилизация постаралась придать казенный, строго-казарменный характер. На вершине

правой крутизны, из-за купы древних дерев, тоже виднелись какие-то развалины: колонны и стены, а прямо за рекою вырисовывалась на синем фоне неба красивенькая колокольня над желтыми стенами и черепичными кровлями францисканского «кляштора».[103] По обоим склонам круч бродили козы, тихо пощипывая пожелтелую, прихваченную морозом травку. Черные силуэты этих коз с необыкновенною отчетливостью вырисовывались и на самой вершине левой крутизны, там, где среди развалин, над самым обрывом спокойно расселись, посасывая трубочки, двое каких-то русских солдатиков, тоже ясно обозначавшиеся своими силуэтами на голубом фоне прозрачного воздуха.

"Ах, как хорошо тут!" невольно вздохнулось Хвалынцеву. "Какая прелесть!.."

И ему захотелось побродить среди этих развалин, рассмотреть их поближе и поглядеть, каков-то должен быть вид оттуда, с этих вершин, на город и на широкую даль прилегающих за Неманом окрестностей. Подъем на правую крутизну был несколько отложе, чем на левую, которая зато примыкала к самому городу, и потому Константин решил себе: сначала взобраться направо, а потом уже осмотреть развалины замка, откуда будет гораздо ближе вернуться в город. Так он и сделал. Хватаясь иногда за обнажавшиеся корни дерев, перевесивших свои голые ветви над его головою, по узенькой, извилистой тропинке, которая местами пролегала по самому обрыву, Хвалынцев добрался до вершины, где пред ним открылась ровная площадка, засаженная старыми деревьями, между которыми высокие пирамидальные тополи занимали весьма видное место. Тут же были и развалины.

Над самой кручей, над краю высокого, почти отвесного обрыва, высились полуразрушенные стены, одна часть которых некогда, вместе с глыбою почвы, рухнула в Неман, оставив на вершине, кроме уцелевшей части стен, еще и несколько отдельных, устоявших с того времени колонн, на которые когда-то упирались высокие своды. Это были остатки храма, характер постройки которого свидетельствовал о его глубокой древности. Все стены были выведены из дикого камня, сплоченного между собою надежным цементом. Полукруглая алтарная стена, обращенная на восток, вместе со стеною северною, в которой были пробиты двери и окна, а равно и часть западной сохранились еще очень хорошо. С наружной их стороны можно было видеть мозаичные украшения в виде крестов и звезд, цвета которых и доселе еще очень свежи; внутренняя же стена испещрена была правильно-круглыми отверстиями. Это были *голосники*, то есть кувшины, замурованные в стены для благозвучного резонанса внутри храма. Теперь голосники эти являли собою прочный и безопасный приют для воробьев, которые во множестве посвивали свои гнезда в темной глубине этих акустических кувшинов. Хвалынцев вспомнил, что некогда где-то читал он, что подобного рода кувшины-голосники являлись в церковных постройках X–XII веков; это одно уже указало ему приблизительно на время, к которому можно было отнести сооружение наднеманского храма. На алтарном своде, кое-где местами, сохранились еще остатки фресковой живописи: слабо виднелся очерк головы какого-то святого и расписной, каёмчатый карниз. У ног чернел полузаваленный сход в церковные склепы. Там и сям, и внутри, и вне храма, валялось несколько намогильных плит, и Хвалынцев с величайшим трудом мог разобрать совсем почти стершиеся надписи двух из этих камней. На одном виднелось имя какой-то Голицыной, на другом высеченное по-латыни имя Лизогуба. Разбросанная вокруг и около масса кирпичей, булыжника, гранита, мусора и щебня валялась в особенном изобилии в сохранившейся части восточной и северной стен. Вокруг все было так тихо и глухо. Легкий ветер свистел иногда в оголенных прутьях высоких тополевых вершин. Солнце ласковым светом обливало это картинное место запустения; внизу, глубоко под ногами, сверкала стальная полоса Немана, и было на нем все тоже так пустынно: ни одной лодочки, никакой жизни, кроме быстрого движения вечных волн. Налево город виднелся, скученный в довольно тесном пространстве со своими буро-красными, остроконечными и высокими черепичными кровлями, со своими башнями, куполами и изящно легкими, причудливо

прорезными крестами католических колоколен. Прямо пред глазами, за рекою — широкая даль открывалась, даль, синевшая лесами и туманом; направо убегал Неман и прятался за излучинами своих крутых и лесистых берегов… Неман — старая порубежная река: там, за нею, сейчас же начинается Польша…

Хвалынцев долго любовался на всю эту широкую картину, от которой веяло на душу какою-то тихою, светло-спокойною грустью. Там каждая пядь земли безмолвно свидетельствовала о старой, исторической борьбе, о бурной жизни давно минувших времен… От этой картины он снова перевел взоры свои на окружавшие его развалины. Уцелевшие стены и колонны были исчерчены всевозможными надписями и стихами. Надписи почти исключительно были польские и отчасти русские, но последние довольно-таки безграмотны, и по конструкции речи можно было заключить, что вышли они из-под руки польской. Это были по большей части разные пошлости, плоские изъяснения в любви, и стихами, и прозой, отчасти надписи пасквильного свойства, а отчасти и совсем неприличного, цинического характера. Но одна из них особенно обратила на себя внимание Константина. Она была сделана на алтарной стене, с правой стороны, и по-польски гласила следующее:

"Псе глосы неидон' под небесы![104]»

Грубый цинизм обыкновенного задорного свойства, казалось, был еще как-то сноснее: по крайней мере, можно было думать, что такие надписи чертила неумелая рука едва научившегося писать школьника, который совершенно безразлично чертит то же самое на любом заборе или на стене этих развалин, не ведая и не понимая, какие это стены и какие развалины. Но "псе глосы" своим едким сарказмом свидетельствовали ясно, что эту последнюю надпись начертала сознающая и ненавидящая рука.

"Песьи голоса не возносятся в небеса! — какая эпитафия к этим смертным останкам, к этим развалинам!" с невыразимо-щемящею грустью подумалось Хвалынцеву. — "Песьи голоса!.." Какова же однако сила слепой ненависти, если она не пощадила даже могильных остатков древности, этой святыни христианского храма!"

Чем больше разбирал он подобные надругательства, щеголявшие кощунством патриотической ненависти, тем грустнее и горьче становилось ему на душе. А эта пустынность, эта тишина вокруг, эти голые ветви и перебегающий шум ветра, доносившийся снизу плеск реки, унылость поздней осени и где-то невдалеке однообразное, короткое карканье ворона на вершине березы — все это еще более и более, в соединении с горькими мыслями и сознанием собственного одиночества, собственной отчужденности, навевало на душу щемящее, занываю-щее ощущение грусти — грусти тихой, но саднеющей, колючей и чуть не до слез захватывающей всего человека.

Быть может, долго бы еще простоял Хвалынцев в этом немом оцепенении грусти, если бы до слуха его не достигли отзвуки чьих-то тихо бродивших шагов и невнятного старческого бормотанья где-то тут же, близко за стеною.

Он встряхнулся и вышел посмотреть, кто там бродит.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и прости. Эка грех какой!.. Эка люди нехороше… А-ах!.. Ну, уж только! Ишь ты как!.. — с соболезнованием и досадой шамкал чей-то старческий голос.

Хвалынцев завернул за алтарную стену и увидел древнего, совсем седого старичка, который, сгорбившись от лет, неверными, старческими руками тщательно отметал метлою нечистоты от

церковной стены и сбрасывал их вниз по обрыву.

Заметив постороннего, старик обернулся и, щитком приложив руку к глазам, вглядчиво, незорким оком старался разглядеть, что за человек такой подходит?

— Здравствуй, дедушко! Бог помочь! — приподняв шапку, внятно и громко проговорил Хвалынцев.

Старик дрожащею рукой снял тоже свою шапчонку и поклонился почтительно-степенно, хотя, как показалось Хвалынцеву, словно бы с какою-то недоверчивостью.

— Здравствуйте, — прошамкали его старческие губы.

— Что делаешь, дедушко? — совсем близко подойдя к нему, проговорил Хвалынцев с особенною ласковостью в улыбке и голосе. Услыхав русскую речь, он хотел как-нибудь завязать беседу.

— Да вот, паскудят все место святое… Ишь ты! — проговорил старик с таким видом, в котором чуялось внутреннее возмущенное чувство.

Хвалынцев соболезновательно покачал головою.

— Кто ж это? — спросил он.

— А люди… нехорошие… Злые люди… Нет, вишь, им другого места! Храм Божий для экого дела нашли! Ты вот тут очистишь, а они, гляди, на другой день опять!

— Что ж, неужели это нарочно?

— А то не нарочно?!.. Знаю я их!

— Кто ж это? поляки?

— Известно, поляки! Паничи ихние — вот что учатся… И чему их там только учат, прости Господи!.. Нешто не видно, что место святое?!.. Хоть и завалилось, а все же престол Господен стоял. О-ох, грехи наши тяжкие! — со вздохом покачал он головою, снова принимаясь за свою работу.

— А ты, дедушко, их подкараулил бы да пристыдил хорошенько, — посоветовал Хвалынцев.

— Стыдил! — махнул дед рукою. — Ты их стыдишь, а они в тебя каменьем да грязью швыряют… да насмехаются еще!.. Одно слово: злые люди… нехорошие…

И метла снова зашуркала в его старческих руках.

— Вот тут тоже, я заметил, надписи есть нехорошие по стенам, — сказал Константин, — ты бы стер, аль замазал их, дедушко.

— Где? — озабоченно обернулся старик, — покажи, Христа ради!.. Я уж сколько разов и в кои-то годы все стираю, да все, вишь, пишут… Глазами ноне совсем плох стал — не вижу… так иное дело и не различишь чего… Покажи, сделай милость хрестьянскую!.. Я замажу коё место — глины то есть достатошно, кабы только знать!

Старик кончил, наконец, свое дело и вошел вовнутрь развалин. Хвалынцев указал ему, где были надписи. Тот заметил себе эти места, укоризненно и грустно качая головою.

Константин присел на камень.

— Ты, дедушко, русский, конечно? — спросил он.

— А то какой же? Известно, русский!.. С-под свого, с-под Белого Царя живем! — с движением какого-то нравственного достоинства проговорил старик, тоже присевши рядом.

— Ты из каких же мест? — продолжал расспрашивать Хвалынцев.

— Я-то?.. Я здешний, гродненский; из мещан.

Константин с удивлением вскинулся на него глазами.

— Что воззрился так? — добродушно ухмыльнулся дедко.

— Да удивительно мне то, что так чисто по-русски говоришь, словно бы ты из коренной России.

— Да здесь-то разве не Россея? — возразил старик. — Все же она одна, как есть, везде… Один Царь, один корень, одна граница, и одно звание есть — Империя.

— А поляки говорят, что Польша, и отвоевать хотят, — улыбнулся Константин, думая подстрекнуть его.

— Польща… отвоевать! — недовольно мотнув головою, прошамкал старик. — Вояки тоже!.. Им бы где блудить разве, да место святое паскудить — вот их весь и предел!

— Но в самом деле, ты отлично говоришь по-русски! — снова заметил Хвалынцев, которому, действительно, было и странно, и интересно слышать такой говор из уст местного коренного жителя.

— Я-то? — улыбнулся дедко. — Да как мне не говорить, когда я весь век в солдатах служил?.. Фанагорийского Гарнадерского светлеющего князя Суворова-Рымницкого полку — вот где я служил! — с оттенком некоторой гордости и даже похвальбы проговорил он, вразумительно отделяя каждое слово в титуле своего полка.

— И кавалерии имеешь? — спросил Хвалынцев.

— А то нет? — весь-то век служимши! — гордо мотнул дед головою, — имею святые медали! И за француза, и за туречину, и беспорочную, и хрест тоже за польское укрощение имею — за Аршаву, значит.

— И француза помнишь, — удивился Хвалынцев.

— Как его не помнить! Я с того самого года и в службу пошел, как по небу красная планида с хвостом ходила, а на другой год опосля того и француз с двадесять язык на Россею пришел… Вот я с коих пор! Четырем императорам на своем веку присяги держал, а при двух в службе находился…

— Скажи, пожалуйста, как это место называется? — после короткого молчания спросил Константин, окинув окрест себя глазами.

— Это-та?.. Это Коложа называется; и церковь тоже Коложанская, значит.

— Православная церковь-то была?

— Как же! Известно, православная! Для того ей вот и честь-то такая! — с горькою иронией, грустно усмехнулся старик.

— А древняя, должно быть…

— Хм… как не древняя, коли ей веку всего ее больше как за семьсот годов есть… Самая что ни есть древнеющая церковь во всей гродненской стране… И в эком-то вот запущении!.. Издревле-то вишь ты, — пояснил он, — тут все благочестие было… польской веры еще не было… польская-то уж потом пошла, а допрежь тово — старые люди сказывали, и в книгах быдто тоже есть писано, что все как есть одно благочестие было!.. И-хи-хи!.. Времена-то теперь слезовые! — помолчав немного, вздохнул он и грустно закачал головою.

— А ты, значит, сторожем сюда приставлен? — спросил Хвалынцев.

— Я-то?.. Я сам себя приставил, — усмехнулся дедко. — Как решили меня этта вчистую, так я, значит, в свое место пришел и жил вот… Ну, а потом вижу себе: годы идут мои уже дряхлые; надо, думаю, как ни на есть Богу потрудиться… Вижу, опять же, место святое и такая вдруг пустыня и в эдаком запущении… подумал я себе это да и облюбил его… Ну, и живу вот, поколь Бог смерти не даст.

— А где же живешь? — спросил Константин.

— Кто-ся? — отозвался старик.

— Да ты же, дедко?!

— Я-то?.. А вот тута! — И он указал рукою на груду кирпичей под сохранившимся в целости алтарным сводом.

— Как, то есть, тут? — переспросил удивленный Хвалынцев. — Да где же тут жить?!

— А вот тут и жить! — совершенно просто, как о самом естественном деле, подтвердил старик. — Чем же не место?

— Да разве можно так-то?

— А зачем же не можно?.. Что ж, место Божье, а мне немного надо.

— А спишь-то ты где же?

— А тута и сплю же; вот, за камешками.

Хвалынцев полюбопытствовал взглянуть на стариково ложе и убедиться в точности его слов. Подойдя к груде кирпичей и вскарабкавшись на нее, он действительно увидел своеобразно належанное место, где был брошен небольшой пучок слежалой соломы да старенький продранный кожушок. Убедясь в истине простых, бесхитростных слов дедки, он невольно посмотрел на него со странным, смешанным чувством удивленья и благоговения к этой простой, безвестной, но столь могуче-твердой силе подвижнического духа.

— Но ты, конечно, только летом здесь спишь? — все еще не вполне убедясь, спросил он его.

— Нет, завсегда почти.

— Даже и зимою?

— И зимой когда, тоже… Разве уж дюжой мороз доймет, ну, тогда к соседу в хату постучишься… Добрый человек сосед тут у меня есть неподалечку… привитает тоже когда, грешным делом… приют дает…

— Но ведь тут же, наконец, и холодно, и дождик, и снег к тебе западает? — участливо промолвил Хвалынцев.

— Случается. Да это что ж!.. Дождичек, аль снежок, известно, Божье дело! Тоже ведь и ему нужно же идти — без того нельзя ведь! Ну, а у меня кости-то походные, одно слово, гарнадерские! сызмальства приобыкли!.. Наше дело теперича такое: где прилег тут тебе и постеля, камешек за подушечку, а небушко за положок, а тут коли еще соломки малость да кожушок, — так и очень прекрасно!.. Спокой!.. Ну, а как ежели мороз, тогда уж — слаб человек! — иное дело и не выдержишь, к соседу попросишься.

— И давно так живешь ты?

— Нет недавно…

— А как недавно-то?

— Да так, годов с шестнадцать будет, не боле.

— А кормишься с чего ты? — спросил Хвалынцев.

— Как с чего?!.. Ведь я же государскую пенсию получаю… свою, значит, заслуженную… Ну, и сосед тоже когда прикармливает… Да мне что, мне много ль и нужно-то?.. хлебца в водице размочишь себе, пососешь малость — и сыт!

"Вот она, эта безвестная, темная, но какая же зато великая сила духа!" с невольным благоговением думалось Хвалынцеву. "И вся-то она вот кроется в простом русском человеке… И не требует себе ни похвал громких, ни удивления… Умрет человек, ведь и знать никто не будет… Да ведь и то сказать, не для людей, не для мирской славы, а для Бога ведь и делается… Сила веры какая! Стойкость-то какая! Да и простота же какая великая пои этом!"

Седой дедко глядел таким круглым, непокрытым бедняком в своей потертой шапчонке, в своем заплатанном, тощеньком сукмянце, и так он был худ и бледен с лица и с тела, и так старчески потрясывалась порою его голова и руки (одни глаза только были глубоко и кротко покойны), что Хвалынцеву, по мгновенному и невольному движению сердца, захотелось вдруг чем ни на есть пособить его убогой бедности.

Он достал из бумажника пятирублевую ассигнацию и подошел к старику.

— Дедушка! — сказал он, немного смущаясь, — вот что, голубчик, спасибо тебе, во-первых, за беседу твою… Позволь мне… На вот, тебе пригодится…

Старик с покойным удивлением посмотрел на ассигнацию, а потом на Хвалынцева.

— Это что же?.. Зачем? — спросил он, видимо недоумевая.

— Это я тебе… возьми, дедушко! — проговорил Константин, тщетно суя ему бумажку.

— Мне-е?.. Да зачем же мне-то?

— Возьми… все равно пригодится.

— Хм… Спасибо, добрый человек… Только это напрасно! Я, как есть, всем доволен… И куды же мне такие деньги?.. Нет, ужь ты лучше спрячь их!.. Твое дело молодое, тебе пригодятся, а мне куда же?!..

— Ну, коли себе не хочешь, так отдай соседу! — нашелся Хвалынцев, — сосед-то ведь поди-ка человек бедный.

— Известно, бедный! С чего же богатому быть? — Человек трудящийся.

— Ну, так вот ты и отдай ему от меня.

Старик, колеблясь, призадумался на минутку и принял деньги.

— Разве что для соседа! — сказал он. — Дело бедокурое: семья!.. Спасибо-те, милый человек!.. За это тебе, значит, Господь воздаст…

Хвалынцев почувствовал искреннюю радость и довольство, когда старик согласился, наконец, взять от него деньги; а то ему начинало становиться больно и совестно при мысли, что, может, он нечаянно обидел деда своим предложением. Но мысль об обиде была слишком далека от простого и кроткого сердца этого простого же и непосредственного человека: он потому только и не взял для себя этих денег, что к чему же они ему? И, вдобавок, не заслужил-то он их ничем, подобно своей "государской пенсии"; ну, а для бедного соседа дело другое!

Хвалынцев вдруг почувствовал у себя на душе так легко, светло, так хорошо и спокойно, что снова ему захотелось остаться одному — вполне, совсем как есть одному, наедине с самим собою, с своею собственною утихомиренною и просветленною душою, и потому он поспешил проститься со старым ветераном.

— Постой, добрый человек… Постой-ка малость! — окликнул его старик вдогонку, — тебя как звать-то? Крёстное имя тебе какое?

— А что? — обернулся Хвалынцев.

— Да так; надобно…

— Да зачем тебе?

— Экой ты какой, право! — мотнул головвй дедко, — ну, значит, надобно.

— Ну, а ты скажи зачем? — улыбнулся Константин Семенович.

— Ишь ты!.. Ничего с тобой не поделаешь!.. Ну, затем и надобно, чтобы знать, как помянуть тебя… Богу за тебя помолиться… человек-то ты молодой еще…

— Константином крещен, — сказал егяу Хвалынцев.

— Константином?.. Ладно; будем помнить… Ну, теперь прощай… Дай Бог тебе!..

И старик с тихим степенным поклоном проводил его с площадки.[105]

V. Добрая встреча

Прошатавшись столько времени, Хвалынцев почувствовал наконец голод и легкую усталость. Он зашел домой, где только что кончали вставлять стекла. Комната за все это время сильно

все-таки выстудилась, так что оставаться в ней до новой вытопки было решительно невозможно. Он справился относительно Свитки, но оказалось, что тот до сих пор еще не возвращался. А между тем хотелось есть. Что тут делать? Во избежание каких-либо новых неприятных столкновений с задирчивыми патриотами, Константин намеревался, было, несмотря на холод, пообедать дома, но это оказалось невозможным, потому что "мадам Эстерка" в своем "заездном доме" для постояльцев стола не держала. Приходилось значит как ни на есть, идти отыскивать какого-нибудь трактирного обеда. Эта печальная необходимость вновь повергла нашего героя в несовсем-то приятное расположение духа. Впрочем, как бы то ни было, но он решил себе не терять собственного достоинства и не притворяться более иностранцем, а быть самим собою — русским, таким как и всегда, каким сотворила его природа и выростила родная, русская почва. — "Нечего, и в самом деле, плясать по дудке этих нахалов!.. Что за малодушие!" сказал он самому себе и отправился на поиски обеда. У Эстерки ему сказали, что обед можно найти в «рестаурацыи» и растолковали, как найти ее. Последнее было вовсе не трудно: стоило только дойти до устья Мостовой улицы, к гостиному двору, и тут же, заворотив налево, первая дверь в угловом доме и будет эта самая "рестаурацыя".

Подходя к цели своих исканий, Хвалынцев нагнал двух каких-то офицеров, которые, по-видимому, направлялись туда же. И действительно, он не ошибся в своем предположении: офицеры скрылись как раз за указанною ему дверью. — "Ну, вот и прекрасно!" подумал себе Константин; "ежели опять случится какая-нибудь неприятность, я просто обращусь к ним как проезжий, как русский, наконец, к русским же офицерам, и, в случае надобности, попрошу принять в себе участие... Конечно, ежели порядочные люди, они в этом не откажут... Можно даже будет сообщить им, как-нибудь à propos, что я сам еду в Варшаву в полк", додумал он себе кстати, не без некоторого юного самодовольствия, что дескать "и я тоже почти военный, и как будущий собрат и прочее"... Одним словом, Хвалынцеву, по молодости лет, не неприятно было при мысли о возможности немножечко заявить себя с будущей воинственной стороны, и не только что пред этими офицерами, но отчасти и пред самим собою порисоваться чуточку своим будущим военным званием. За все это время он успел уже настолько свыкнуться с мыслию о предстоящем ему положении, что иногда находил в нем даже свои приятные и красивые стороны, даже не без некоторого самодовольствия думал о том, что гусарский долман, шапка и сабля будут идти к нему, даже перед зеркалом становился иногда в красиво-воинственную позу и на мгновенье воображал себя уже кавалеристом. Но такие удаления в область мечтаний находили на него только мгновеньями, и он тотчас же отрезвлял, осаживал себя, и с насмешливой улыбкой над собственною особой, краснея от сознания в себе какой-то внутренней неловкости пред самим же собою, качал головой и бормотал сквозь зубы: "экое ребячество, однако!.. Вот глупость-то!" Ему уже как будто было стыдно давать столь беззаветно естественную дань своей все еще «белогубой» и потому золотой юности.

Под влиянием надежды на содействие офицеров, "к которым можно обратиться в случае крайней надобности", Хвалынцев вошел в трактир. В первой комнате щелкали бильярдные шары, виднелись нахальные рожи и пахло пивом, табачным дымом, кухонным чадом жареного масла и какой-то комнатной кислятиной. Одним словом, первое впечатление, все равно как и давеча в «цукерне», было неприятное. Во второй комнате за буфетом сидел какой-то громадный, коренастый, плотный пан в галстухе ярко-кровавого цвета, с пивною, одутловатою и лоснящейся физиономией и с неумолчно сопящим богатырским носом, а подле него, с претензиями на кокетливость, вертелась какая-то пани в жалобе, — не дурнушка и не хорошенькая, а так себе, и притом лет уже под тридцать. Около этой пани, не без военной ловкости, небрежно опершись на буфетную стойку, стояли те самые офицеры, на которых рассчитывал юный герой наш, и очень любезно болтали с ней о чем-то, но увы! — опять разочарование для Хвалынцева! — болтали по-польски.

Константин прошел в смежную столовую и сразу занял себе у большого стола свободное место.

— Чего пан потршебуе?[106] — с обычной фразой, очень вежливо подлетел к нему с грязной салфеткой в руке грязно одетый трактирный слуга.

Хвалынцев на минутку замялся, и вдруг;

— Обяд, — проговорил он, скрадывая отчетливость звуков и заменяя в этом слове букву *е*буквою *я,* а ударение ставя на первой гласной и таким образом коверкая русское: *обед* на польское: *обяд.*

— Зараз, пане! едней хвили![107] — очень вежливо и предупредительно поклонился лакей, и обернувшись к другому, возившемуся с чем-то у одного из столиков, вскричал ему:

— Эй, Стан*и*шек! Прошен' картечкен' порцийнен'[108] для пана!

А Хвалынцев, меж тем, вспыхнул багровой краской стыда и досады: "Опять!.. опять смалодушничал!" укорил он себя мысленно.

Стан*и*шек тотчас же принес требуемую картечку. Вежливый лакей выхватил ее у него из рук и предупредительно подал Хвалынцеву.

Тот стал разбирать безграмотно написанный листок:

"Зупа ракова, зупа цытринова, штукаменц, фляки господарски, колдуны, гузарска печень, налесн*и*ки... Черт их разберет что оно такое!" с досадой пожал он плечами и, конфузясь еще более, несмело поднял глаза на вежливо ожидавшего лакея и спросил его:

— А по-русски написанной карточки у вас разве нету?..

— Цо пану? — нахмурился вдруг лакей, будто бы не расслышав.

Константин повторил свой вопрос.

— Пршепрашам пана, не розумем, по якему пан музи... Ниц не розумем![109]

Хвалынцева разбирала досада. — Он чувствовал, что снова начинается притворство, но тем не менее, вопреки самому себе, снова невольно как-то смалодушничал. У него была одна из тех мягких, деликатных натур, которые, как mimosa pudica, инстинктивно как-то ёжатся и подбираются в первую минуту при встрече с каждым нахальством и с какою бы то ни было наглостью.

— Я... прошу... русськ... то есть москевску картечку, — сковеркал он будто бы на польский лад свою фразу, предполагая тем самым подкупить в свою пользу лакея.

Но тот был истинно-граждански неподкупен.

— Цо то за москевски картечки?!. Тутай нима таких![110] — с гордым пренебрежением проговорил он и тотчас же отошел от Хвалынцева с таким видом, как будто на том месте, где тот сидел, никого не сидело, а было просто пустое место.

Константин Семенович вскипел негодованием, но... осадил себя тотчас же. Он ужасно боялся всяких скандальных историй, а особенно здесь, в чужом, незнакомом и столь враждебно

настроенном городе. У него была именно одна из тех натур, которые человеку, значительно превосходящему их общественным положением, в состоянии смело наговорить много резких и даже дерзких вещей, будучи на то вызваны первою дерзостью и пренебрежением; человеку равному им по общественному или нравственному положению эти натуры, после первого смущения, всегда бывают в состоянии дать достойный порядочного человека ответ, показать отпор и при случае даже как следует наказать нахала; но с нахалом на лакейской подкладке, с наглецом, стоящим гораздо ниже на общественной лестнице, эти натуры, — быть может, из привитого им воспитанием щекотливого и деликатного чувства гуманности и сознания человеческого "равноправия", — решительно осекаются, конфузятся, краснеют, и, во имя принципа «равноправия», почему-то вдруг начинают чувствовать себя как будто даже несколько виноватыми пред холуйскою наглостью какого-нибудь лакея. Как в первых двух случаях, так и в последнем это происходит в подобных натурах из одинакового источника: причина тут чересчур деликатная, щекотливая и строго охраняющая высоту собственного самолюбия щепетильность. Только в последнем случае она боится, чтобы как-нибудь не уронить себя, и потому ёжится, подбирается и молчаливо сносит всякое нахальство…

Так было теперь и с Хвалынцевым. Всею раздосадованною душою своею желая строго осадить трактирного патриота-лакея, он между тем осадился сам и молчал, чувствуя, как все более краснеет и хлопает веками.

"К офицерам разве"… мелькнула было ему спасительная мысль, но офицеры с такою игривою любезностью продолжали болтать с вертлявой полькой, что напрасно было бы их и затрагивать. "Да и что, в самом деле, я за младенец такой, что мне непременно нужны чужие помочи!" с досадой на себя подумал Хвалынцев и в нерешительности продолжал сидеть над непонятной "картечкой порцийной", не предпринимая ровно ничего и не зная даже, как теперь поступить ему.

В эту самую минуту, в расстегнутом нараспашку форменном сюртуке, с ухарски-помятой фуражкой на голове, твердою, уверенной походкой вошел в комнату какой-то военный доктор с хлыстом и чудным, волнисто-черным сеттером и посвистывая с громом отодвинул себе стул. Не снимая с головы фуражки и не замечая ровно никого, он непринужденно уселся как раз напротив Хвалынцева и бойко оглянулся вокруг, ища человека.

— Эй, вы!.. Канальи!.. Обедать мне!.. Да живо у меня, чег-р-рт вас возьми! — чистейшим русским языком и звучным приятным баритоном закричал он, несколько картавя, и потому с особенною старательностью налегая на букву *р,* которая в соединении с *г*выходила у него как-то особенно красиво, каким-то придыхательно-рокочущим звуком.

Оба лакея в ту ж минуту живо бросились к нему: один с грязной салфеткой, другой с «картечкой» и оба готовые с подневольной охотой предупредить его малейшее желание.

"Какая славная, симпатичная рожа! Именно рожа!" с особенным удовольствием и с особенною ласковостью, глядя на это лицо, подумалось Хвалынцеву. А между тем лицо вовсе не отличалось изяществом и красотою напротив, на нем, как говорится, черт в свайку играл: все оно было вихрявое, корявое, в оспинах, с ухарски закрученными усами, с взъерошенными волосами, но такое открытое, умное, добродушно-честное, с таким разумным, крутым и выпуклым лбом, с такими светлыми, мужественно-добрыми и смелыми глазами, что, несмотря на рябоватость и вихры, оно стоило лица любого красавца, и даже если бы этого человека поставить рядом с любым патентованным, писаным красавцем пред любою смыслящею женщиною и шепнуть ей: "выбирай, которого хочешь себе в мужья или в любовники?" то нет сомнения, что женщина, указав на корявую рожу, с восторгом увлечения сказала бы: «этого». Это было одно из тех красиво-некрасивых, светло-умных, мужественных лиц, которым дано

свыше в счастливый удел нравиться хорошим женщинам и — вне всякого донжуанизма и сердцеедства — невольно, инстинктивно покорять себе женскую волю, женское чувство. Таким это лицо показалось теперь Хвалынцеву. Он вглядывался урывками в эти привлекательные черты, в эту высокую, мужественно-стройную, коренастосильную фигуру, и вдруг:

"Боже мой, какое знакомое лицо!.. Я где-то видел его, где-то встречался с ним!" мелькнуло в уме Константину. "Да, действительно встречался… Но где?.. Когда?.."

Он напрягал все усилия своей памяти, стараясь припомнить себе, но тщетно; между тем, чем более вглядывался, тем более убеждался, что это лицо знакомо, наверное знакомо ему! — "Ах, ты, черт возьми, неужели же я не вспомню!.. Какая досада!.. А между тем… эти черты… улыбка… взгляд… вихры, все это так знакомо мне, все это я видел где-то и когда-то, и все это так напоминает мне что-то смутное, хорошее"… И действительно, оно напоминает ему *нечто,* подобно тому, как иногда какая-нибудь отрывочная, выхваченная откуда-то музыкальная фраза, стих забытого и неведомо чьего стихотворения, внезапно разлившийся запах духов, употреблявшихся кем-то и когда-то, или вдруг принесенный с ветром откуда-то весенний аромат цветов каких-то, нежданно повеет на вас чем-то знакомым, былым, изжитым, и хорошо изжитым, но давно позабытым… "Чем же это, чем повеяло на тебя? Когда и где, и как все это было?" задаешь самому себе напряженно-мучащие вопросы — и не можешь припомнить!.. Припоминаешь до поразительности ясно запах, звук, то есть изжитое некогда *ощущение,* впечатление факта, а самый факт, словно нарочно и так досадно, как будто дразня тебя, ускользает из твоей памяти!

Доктор, казалось, заметил взгляд Хвалынцева и потому раза два искоса посмотрел на него с мимолетным, равнодушным вниманием.

"К нему разве?.." мелькнуло в сознании Константина — и он тотчас же, что называется с-онику, решился обратиться к доктору:

— Извините, — сказал он, и вдруг почувствовал после этого, что уже начинает смущаться. — Я попрошу вас помочь мне… ("Тьфу, совсем не то!" говорила в это самое время внутренняя мысль, — "не то! не так!"), то есть, оказать некоторое содействие… маленькую услугу…

Доктор смотрел на него взглядом вежливо-холодного внимания.

— К вашим услугам… чем могу-с? — проговорил он невнятной скороговоркой.

— Я русский… проезжий… ("А что, как он вдруг думает, что я у него денежного пособия хочу просить?" с внутренним ужасом и мурашками по спине промелькнуло в уме Хвалынцева — и он окончательно сконфузился. "Какая глупость!.. Нет!.. По внешности должен же видеть, что не то!")

— Ну-с? — поощрительно ласковым взглядом подбодрил его доктор, заметя эту конфузливую застенчивость.

— Я по-польски не говорю и не понимаю ни слова, а меня, кажись, здесь за это наказывают самым наглым невниманием к моим требованиям, а между тем ужасно есть хочется! — поправился наконец Хвалынцев, ободренный взглядом своего vis-à-vis, и когда проговорил всю эту фразу, то вдруг облегченно почувствовал, будто у него целая гора с плеч свалилась.

— Ну, в этом мы вам поможем! — улыбнулся доктор и обернулся к лакею. — Эй, ты! вацьпан! поди-ка сюда!

— Што барыну вгодно? — подлетел к нему и, почтительно сгибаясь, проговорил тот самый лакей, который Хвалынцеву сейчас лишь заявил, что он "нице не розуме".

— Видите?.. понимает! говорит! отлично! — указал на него доктор, — и все они так-то, поверьте! Чтоб у меня сию минуту вот им был подан обед! Слышишь?

— Слушаю, барын.

— Ну, то-то же!.. Марш!.. А карточку я вам переведу по-русски, вы себе и выберете, — прибавил он, обратясь к Хвалынцеву, который самым искренним образом выразил ему тут же свою бесконечную благодарность.

Когда Константину подали (в самом непродолжительном времени) "зупу цытринову", доктор, подперев свои скулы обеими ладонями и пристально вглядываясь в него, сказал вдруг:

— А мне ваше лицо ужасно знакомо!

У Хвалынцева, при этих неожиданных словах, дрогнула внутри какая-то радостная жилка живого удовольствия.

— Представьте, я это же самое думал о вас! — воскликнул он с светлой улыбкой. — Мы с вами где-то и когда-то встречались... только где вот? — хоть убей, не могу припомнить!.. А ужасно знакомо!

— Я вам сейчас припомню, где, — сказал доктор, — мы встречались с вами раза два-три у студента Устинова.

— У Андрея Павлыча? — с живостью перебил Константин.

— У Андрея Павлыча, — подтвердил доктор, — назад тому это уже года три, пожалуй.

— Господи!.. Да ведь это же мой друг большой! — искренно, но с затаенным самодовольством воскликнул Хвалынцев. Он уважал Устинова и, гордясь в душе дружбой и доверием этого человека, рад был и пред общим знакомым намекнуть на свои к нему отношения.

— Ну, и мой тоже "вельки пршіяцёлэк", — отозвался доктор. — Я был тогда еще в Медико-Хирургической Академии на пятом курсе, а он тоже свою физико-математику кончал.

Подобно тому, как часто случается, что повеявший на душу чем-то давно знакомым, но давно забытым, запах или звук — как скоро ты вспомнишь себе, что именно он напоминает — озаряет вдруг, одно мгновенно в твоей памяти самым ярким светом и до малейших мелочей и подробностей всю позабытую картину прошлого, с которым этот звук или запах тесно соединен, и озаряет ее с тем большей ясностью, с теми большими деталями и подробностями, чем более ты не мог припомнить, что именно он напоминает тебе, — так точно и теперь: одно напоминание имени Устинова и того обстоятельства, что напомнивший присовокупил еще о себе, что он был в то время медико-хирургическим студентом, вдруг озарило ярким светом память Хвалынцева. Он с необыкновенною ясностью, живо и подробно, в одно мгновение, воспроизвел в воображении своем всю картину того прошлого времени: маленькую студенческую комнатку на «Острову», с ее табачным дымом и запахом холостого жилья, с ее самоваром и лавочною колбасою, с ее черной доской, на которой мелом были выведены быстрой рукой написанные сложно-математические формулы; вспомнил маленького большеголового математика, вспомнил ясно и эту корявую «рожу» с ее вечно беззаботной, умной улыбкой и с какою-то беззаветною размашистостью удалой русской натуры... Все, все

это до последних мелочей вспомнилось теперь Хвалынцеву, моментально озаренное ярким и теплым солнцем юношеского воспоминания.

— Да вы… позвольте… ваша фамилия Холодец? — вдруг припомнив и это, быстро спросил он.

— Холодец, — подтвердил доктор, — только не польский холодец, то бишь "хлудник", — прибавил он с улыбкой, — а российский. Впрочем, черт его знает какой! Отец был с Хохландии, мать ярославская, а сам я aus Kurland!..[111]

— Ну, так, так!.. Холодец! — со светлой улыбкой удовольствия говорил Константин. — Да Боже мой! еще недавно, несколько месяцев тому назад, он неоднократно, бывало, поминал ваше имя… говорил про вас…

— Где он теперь? — с живостью спросил доктор.

— Теперь может быть в Петербурге, но последнее письмо я получил от него в сентябре еще из Славнобубенска.

— Учительствует там?

— Учительствует.

— Ну, а мы вот тут во древнем граде Городне подвизаемся. Эка судьба-то людей швыряет, подумаешь!.. А вы, сдается мне так, буде не ошибаюсь, — прибавил доктор, — вы кажись ведь Хвалынцев?

— Хвалынцев! — подтвердил Константин, испытывая в душе приятное чувство от сознания того, что и его фамилия была припомнена.

— Ну, так здравствуйте!.. Ведь мы, значит, старые знакомые! — привстав с места и открыто, радушно протягивая чрез стол свою руку, сказал Холодец. — Les amis de nos amis sont nos amis,[112] - как говорят французы.

Они пожали друг другу руки, и Хвалынцев с особенным удовольствием в душе ощутил впечатление правдиво-прямого и честного, именно, *честного* пожатия руки со стороны доктора.

В этих лучисто-светлых глазах, в этой корявой, милой роже, в открытой улыбке, в звучном голосе, во всей этой коренасто-размашистой, смелой и сильной фигуре было нечто влекущее, располагающее, нечто озаряющее теплым, хорошим внутренним светом того, кто открыто и просто приближался к этому человеку. Он был почти непонятно, невольно, но очень, очень симпатичен.

Хвалынцев от души был рад своей неожиданной встрече.

Оба разговорились как-то просто, бесцеремонно, по душе, как действительно старые знакомые. Да впрочем с Холодцом надо было одно из двух: или совсем не говорить, или же говорить по душе, — такой уж человек был.

Константин рассказал ему в несколько комическом тоне все свои затруднения и неприятности, перенесенные в течение нынешнего дня в «цукерне» и в «рестаурацыи» до счастливого столкновения с ним, Холодцом, и спросил его:

— Скажите, пожалуйста, какими судьбами устраиваете вы, например, так, что говорите по-русски, и они вам никаких шиканов не делают, а напротив относятся к вам даже с очень заметным почтением?.. Или уж это оттого, что вы обжились здесь и попривыкли они к вам, а я вот проезжий, так потому это, что ли… уж и не знаю, как объяснить себе!

— Да, батюшка мой, — ответил Холодец, — могу сказать, что я их приучил к своей особе, заставил привыкнуть к себе, а сначала они тоже было и ко мне со своим гонором, все равно как к вам вот… Да я отучил их от этого сразу. Надо вам сказать, — пояснил он, — что мы все приезжаем сюда из России, не имея об этих «тутэйших» панах ни малейшего понятия, и все прилагаем к ним наши школьные общегуманные теории и воззрения, тогда как здесь это все окончательно неприложимо, и они, чем больше вы с ними гуманничаете, тем они нахальнее садятся вам на шею и уничтожают вас, так или иначе. Здесь, батюшка мой, Дарвиновская "борьба за существование" идет: чья возьмет, значит. Дело-то здесь на ножах стоит, а не на гуманных теорийках.

— Сначала, как приехал я этта в полк, — продолжал словоохотливо Холодец, — прямо из Академии (ну, знаете, со всеми этими нашими гуманностями и прочими конфетками), они было и насели на меня, все равно как и на вас же. Да куда! Еще хуже гораздо!.. Ну, обидно стало, наконец… Да вот, в этом же самом кабаке было. Прихожу я, знаете, сюда однажды вечером: поесть захотелось, а сам (пришлось, знаете, как-то так!) порядком был "дрызнувши", — случается!.. Они мне, видя такое мое состояние, вдруг этта очень уж обидную наглость изобразили. Взорвало меня это. "Ах, вы, растак вас!" думаю себе, — ну, и разнес же их! То есть, что называется, в пр-рах разнес!.. Мужик-то я, как сами видите, здоровый, и силу в себе имею большую, а они меня очень уж наглостью своею озлили, — я и разнес… то есть вот как! — вот и эту прилавочную свиную морду тоже!.. Бить не люблю, но тут пришлось! Ну, жаловаться пошли. Конечно, хотя мне из-за них, скотов, сутки на гауптвахте посидеть пришлось, зато уж они меня все, сколько их ни есть в Гродне, с тех самых пор от души уважают; и по-русски ведь понимают со мною! Я — грешный человек — я их в струне содержу. Это им полезно бывает, все равно как oleum ricinum,[113] или как добрая синапизма! ей-Богу! Вы что думаете себе?.. Это, я вам скажу, вот какой народец: чуть ты к кому по-человечески, он, во-первых, норовит сейчас же оседлать и замундштучить тебя, сделать из твоей персоны свою вьючную скотину, а во-вторых, непременно, как ни на есть, напаскудить тебе, да и не просто ведь, не православно напаскудить, а непременно "с гордосцью народовей!" Вот как!.. Но чуть ты ему показал свой кулак да ногти, он сейчас тебе: "падам до ног!.. пршепрашам, пане ясневельможны!" сейчас же, мерзец, пятки твои благоговейно, со вкусом лизать начинает. Вот, батюшка мой, каков народец! И с ним иначе нельзя! — заключил Холодец, и Хвалынцев не мог в душе своей не согласиться, что в его словах заключается очевидная правда.

Он кстати рассказал при этом утреннее столкновение свое в костеле с двумя приличными с виду панами.

— Эге, постойте, батенька!.. — перебил его, выслушав почти всю историю, Холодец. — Вы говорите, что с кокардой-то губернаторским чиновником назвался?

— Губернаторским, — подтвердил Константин Семенович.

— А какой-он с виду-то? Не эдакой ли рыженький, золотушненький, что как посмотришь, так невольно фридрих-гераус хочется сотворить? Одним словом: глисту с красным околышем напоминает? Эдакую, знаете, тоненькую глисту с кокардой?

Определение Холодца хотя было, так сказать, и метафорически-аллегорично, но до такой степени метко, яркообразно и характерно, что Хвалынцев сразу узнал, кого он подразумевает.

— Он! он!.. Как есть, он живой! — невольно воскликнул Константин Семенович.

— Э, да это значит, пан Пршиподхлебный. Знаю я его... Как не знать пана Стася Пршиподхлебнего... Только вы говорите, будто он назвал себя "по особым поручениям"?

— Да, губернаторским чиновником по особым поручениям, подтвердил Хвалынцев.

— Ну, это он врет! — заметил Холодец. — Он точно губернаторский чиновник, только не по особым, а просто для письмоводства, канцелярский первого разряда. Да впрочем, повышение в степенях — это у них общая слабость, постоянная болезнь, все равно, как швейцарский кретинизм или петербургские тифы да холеры. У них, например, ротмистр или майор непременно "пан пулковник", сельский учитель не иначе, как "пан профессор", гимназист — "пан студент", фельдшер — "пан доктор" и т. д... а что эта шляхта, например, дворяне, паны поссесионаты, сиречь помещики, так уж из этих, наверное, кто владел двумястами хлопских душ, того все величают "пан грабя", а не то и "ксионже найяснейши", — сейчас же придадут графский или княжеский титул; а сами эти импровизированные графы да князья нимало этим не оскорбляются; напротив, сами же на ложках своих, на салфетках (буде у кого есть, на фронтонах, на каретах, на конвертах и почтовых бумажках да на печатях своих сейчас "прши своим гэрбу" выставляют свой шифр и графскую или княжескую корону. Таков уже здесь воздух аристократический!.. А этого-то пана Пршиподхлебнего я знаю!.. Он у них то, что называется "ком*и*ссарж оп*и*нш публичней".

— Это что же такое? — изумился Хвалынцев, не понявший такого громкого титула.

— А это, видите, есть у них своя "организация революцыйна народова", — пояснил Холодец, — и это мы стороною знаем про себя доподлинно! Так вот видите ли, в этой организации существуют разные должности, и между прочим должность "комиссаржа оп*и*нш публичней", обязанность которого состоит в том, чтобы быть ходячим телеграфом, ходячей газетой, олицетворенной сплетней политической и распространять как можно более всякие слухи, а наипаче всякую нелепую, но пикантную ложь.

— Да зачем же это? — недоумевая, пожал плечами Хвалынцев.

— Вот вопрос!.. Понятное дело зачем! — сказал доктор, — Затем, батюшка мой, чтобы в темных массах неослабно поддерживать "дух народовы", а проезжих разных, вроде как вы вот, да иностранцев вводить в сердобольный ужас и в негодование на "ржонд москевский". Ну, молва-то ведь бежит, растет, распространяется; а этого нам только и нужно. Тут ведь всякие средства хороши и пригодны!

— Но ведь этот... как его?.. Пши... Пши...

— Пршиподхлебный, — подсказал Холодец.

— Да, пан Пршиподхлебный! Он же ведь состоит на государственной службе, — возразил Хвалынцев.

— Состоит, — подтвердил доктор. — Что ж из этого? Тут, батюшка мой, это никак не помеха, а напротив, одно другому очень помогает

"Да ведь я-то! я-то сам чем же намереваюсь быть? разве не тем же? разве не тоже служить двум богам?" с колючим и горьким ударом в самое сердце вдруг подумал себе Хвалынцев — и ему вдруг стало совестно, стыдно и даже недостойно как-то сидеть и так откровенно, дружески говорить с этою прямою и честною душою, которая так смело, ясно и приветливо глядела на

него из симпатичных, доверчивых глаз доктора.

"Нет! Нет!.. Я не буду таким!.. Я не пойду! не пойду за ними!" вдруг заговорил какой-то сильный, внутренний голос в душе Константина — и, приняв это, по-видимому, твердое решение, он вдруг почувствовал себя как-то честно, легко и спокойно.

— Вот тоже!.. Глядите сюда, налево, вот на этого достопочтенного субъекта, с такою административно-внушительною и джентльменски-аристократическою наружностью! — указав глазами, но нимало не понизив голоса, обратил Холодец внимание Хвалынцева на одного господина, сидевшего за отдельным столиком, в компании двух-трех родовитых панов, тоже весьма джентльменского свойства. — Заметьте, прислушайтесь, — говорил Холодец, — разговор там идет по-польски да по-французски... Бог его знает какой. Это для нас, конечно, совершенно постороннее дело и даже не интересно нисколько; но *по-польски* — вон что заметить надобно! И этот барин хотя и плохо, *но старается* говорить по-польски!

— А кто это такой? — тихо спросил Хвалынцев.

— Это?.. Это, батюшка мой, один из наших высоких губернских тузов, — пояснил доктор. — Это князь***, недавно приехавший из России. Настоящий, а не тутэйший князь, так сказать, прямой Рюрикович, и видите, как тутэйшие-то обрабатывают на свой лад наших российских князей и администраторов.

— Зачем же он обедает в скверном трактире? — удивился Хвалынцев.

— Что ж делать, коли лучшего нету. А князь общество любит, и эти паны наверное пригласили его распить с собою несколько бутылочек шампанского: русский князь любит-таки это! Случилось мне быть с ним как-то раз в одном доме, — продолжал Холодец, — ну и наслушался же я!.. Во-первых, презрение к нам грешным самой высокой, 96-й аристократической пробы; во-вторых, вероятно, в силу этого же презрения, его сиятельство по приезде своем тотчас же постарался дружески сойтись с тутэйшими родовитыми панами и стал, в крутой ущерб хлопу, тянуть во всем панскую руку; а в-третьих, беззастенчиво, при русских, и при таких русских, которые достаточно-таки знают и историю здешнего края, этот барин, не краснея, изволит проповедывать, что "помилуйте, мол, нас надо всех скорее выгнать отсюда! И странное, мол, дело, как это Россия не видит, что в этом крае нет ровнехонько ничего русского, что он составляет с собственно-Польшею как есть одно тело и один нераздельный дух!" — Ну, панам это и на руку: они ему рукоплещут, они его за это шампанским поят. А что? — примолвил он вдруг, — не распить ли уж и нам, кстати, бутылочку холодненького., ради доброй встречи?

Это было предложено так хорошо, так приятельски радушно, что Хвалынцев не почел возможным отказаться. Но не желая остаться в долгу, он и с своей стороны потребовал бутылку, по окончании первой, — и новые приятели, дружески калякая между собою, незаметно усидели две бутылки редереру, что впрочем нимало не подействовало на их головы. Холодец вообще был очень крепок, и мог свободно выпить, что называется, чертову пропасть, так что не только свалить с ног, но просто заставить его охмелеть, было дело далеко не легкое. В холостых, дружеских попойках ему, в конце концов, обыкновенно доставалась хлопотливая роль "сберегателя и развозителя пьяных тел". — Так он уже и знал это свое назначение.

VI. Дома у Холодца

— А знаете что, если вам теперь нечего делать, пойдемте ко мне чай пить, — предложил доктор, когда другая бутылка была кончена.

Хвалынцез с удовольствием согласился, и они отправились.

— А под вечер, как отдохнем, выйдем, пожалуй, прогуляться на Телятник, там тоже иногда любопытные штуки бывают, — сообщил он Константину.

Холодец жил на одной из самых тихих и вечно пустынных улиц, которые, обрамляясь с обеих сторон своих фруктовыми садами, тянутся параллельными линиями между Роскошью и Ржезницкой.[114] Он занимал в глубине закрытого двора отдельный деревянный флигелек, который двумя сторонами своими вдавался в небольшой сад, где весной и летом должно быть просто прелесть как хорошо! Два окошка из кабинета и одно из спальной выходили у Холодца прямо в зелень этого садика.

— Чаю, Ибрагимов! да живее, голубчик! — еще входя в сени, вскричал он своему денщику, из касимовских татар, и вдруг, откуда ни возьмись, с радостным визгом и лаем бросилось к нему тут же несколько собак, между которыми был и бернар, и волкодав, и понтер, и булька, и великолепная, грациозная борзая.

— Ну, вы, благодетели!.. Ладно!.. будет!.. довольно!.. — говорил им доктор, снимая пальто, тогда как собаки визжали и, махая хвостами, вились около него и нежно, ласково кидались ему на грудь. — Ну, ты, Кавур... Эка, подлец, чуть с ног не сбил! — крикнул он на громадного черного бернара, с необыкновенно умною и кротко добродетельною мордою. — Проходите, Хвалынцев, вот сюда, в эту дверь, а то эти скоты, пожалуй, с ног совсем сшибут вас. У меня ведь их целая псарня: шесть душ крепостных имею благоприобретенных.

Хвалынцев прошел в указанную ему дверь и очутился в очень милой, симпатичной комнате.

Эта комната, служившая кабинетом и всем чем угодно, как нельзя более обрисовывала собою и характер самого хозяина. Впрочем и вся его квартира была в том же духе. Прежде всего здесь слегка, но неприятно чувствовался тот особенный «холостой» запах мужчины, который так свойственен некоторым офицерским и студентским квартирам, что составляет по преимуществу их характеристичный запах. Потом здесь с первого взгляда кидался в глаза хаотический, но очень красивый беспорядок во всей обстановке. Бывают разные беспорядки подобных обстановок: бывают иногда очень красивые, но вы чувствуете в них какую-то изысканность, словно бы этот беспорядок придумывался нарочно, словно бы над ним измышляли: как бы это, мол, сделать, устроить его покрасивее, поизящнее! — и тут уже явно сказывается претензия, иногда очень изящная, но все-таки претензия. Здесь же, прежде всего чувствовалось явное отсутствие каких бы то ни было претензий, какой бы то ни было предвзятой, нарочной мысли. Этот хаос и красивый беспорядок здесь являлся как-то сам собою и был вполне естественен, так что казалось, будто доктора Холодца и невозможно вообразить себе без этого хаотического беспорядка. Стены были завешены персидскими и французскими бархатными коврами. Иные из них уже совсем выцвели от ветхости и употребления, другие же, напротив, глядели своими яркими цветами, точно бы сию вот минуту из-под ткацкого станка. Рисунки этих пестрых ковров изображали букеты, арабского коня с бедуином, оленя, преследуемого собаками, отдыхающего льва и задумчивую амазонку. На полу валялись тоже стертые ковры и неотделанные волчьи шкуры, — трофеи неоднократных травль самого доктора. В углу блестел наконечник рогатины, но рогатина эта не отличалась ни малейшим щегольством, а заявляла себя практическою крепостью, которая надежно могла бы выдержать тяжесть медвежьей туши. На одном из стенных ковров висело три охотничьих ружья, пара старинных пистолетов с золотой насечкой, офицерский форменный револьвер, базалаевский кинжал и персидская шашка. Пропасть всевозможных книг в беспорядке валялась везде и повсюду: на столе, на полках, на стульях, на подоконниках, и между ними можно было заметить самые разнообразные издания: "Военно-Медицинский Журнал", "Медицинский

Вестник", истрепанный «Современник», "Записки", "Revue des deux Mondes",[115] "Воинский Устав", Фогт, Дарвин, Четьи-Минеи в древнем корешке и французские компактные иллюстрированные издания Бальзака и Поль-де-Кока, — все это находило себе место в хаотическом беспорядке изобильно разбросанных книг доктора Холодца. На простой тесовой полке виднелись разные химические препараты, реторты, склянки с разноцветными жидкостями, медицинские и хирургические аппараты и инструменты, и оттуда же, осклабляясь, выглядывали два черепа, на одном из которых была ухарски напялена старая уланская фуражка, вероятно, позабытый и оставленный в таком же положении плод веселого настроения которого-нибудь из военных приятелей доктора. Папиросные окурки и табачная зола разбросаны были повсюду.

По одной стене чернелись скрещенные рапиры с эспадронами и две маски. Чья-то маленькая, лиловая женская перчатка очень лукаво выглядывала на свет Божий, нечаянно высунувшись из-под книг, на письменном столе, где и самое существование ее, очевидно, было позабыто и хозяином этой комнаты, и той шалуньей, которая ее здесь ненароком оставила. На письменном столе, между бумагами, лежали две подковы, несколько раковин да минералов, разбросанных тоже и на подоконниках и на полке, и на шкафчике, а подле подков стоял микроскоп, стетоскоп, стереоскоп и два женские акварельные портрета: на одном была изображена очень почтенная старушка, по всем вероятиям — мать доктора; на другом какая-то очень красивая женщина — надо так думать, отмеченная чем-нибудь особенным в его цыгански-бесшабашном сердце… Тут же пылился и холодал с утра недопитый стакан чая с лимоном, забытый точно так же, как и все остальное, и денщиком, и барином. На дверях была прибита картонная мишень с этикеткой Пражского Лебеды, очень метко пробитая маленькими пистолетными пульками комнатного монтекристо. У окон, на простых деревянных стойках, зеленели цветы и кое-какие экзотические растения, а по стенам развешано было несколько гравюр и две масляные картины без рам, — обе старой, хорошей работы: на одной какой-то сельский вид, на другой очень зкспрессивная голова страдающего Христа.

Когда Хвалынцев мельком заглянул в смежную комнату, где помещалась спальня доктора, то заметил над железною походною кроватью, рядом с бархатным надпостельным ковром, древнего письма образ в древней же кованой и позолоченной ризе. Он не утерпел, чтобы по минутному, необдуманному побуждению не осведомиться на этот счет у доктора.

— Что это у вас за образ? — спросил он, никак не ожидая в спальне «современного» человека и притом еще «медика» встретить вдруг православную святыню.

— Это предсмертное благословение моей матери, — ответил доктор серьезно, просто и совершенно спокойно.

Хвалынцеву, после такого несмущенного и столь естественного ответа, стало несколько стыдно в душе за то чувство, которое вызвало его на нескромный вопрос, и потому, отвернувшись к стене, он стал рассматривать висевшие там гравюры под стеклом, в простых, черных узеньких рамках. Между этими произведениями искусства сказывалось тоже нечто беспорядочное: тут были очень красивые эскизы лошадиных голов, хромолитографический портрет бульдога в гороховом сюртуке, с сигарою в зубах, фотография с группы Лаокоона, портреты доктора Пирогова и Гоголя, фотографии Венеры Медицейской, Сикстинская Мадонна и две-три шикарные гравюры, изображавшие полуобнаженных женщин и парижских гризеток в изысканно-пикантных костюмах и в изломанно-изящных и тоже весьма пикантных позах.

— Что это вы рассматриваете? — мимоходом спросил Холодец, руки в карманы и посвистывая расхаживавший по комнате.

— Да вот, на это сочетание гляжу, — ответил Константин, указав глазами на Мадонну и гризеток.

— Э, батюшка! — улыбнувшись, махнул рукою доктор. — Оно и точно, странно немного. Но... ведь я отчасти то, что называется *киник.* У меня все это ужасно нелепо, но как-то органически совмещается во мне: идеализм с материализмом, святой Августин и Молешотт, Гегель и Фейербах, Сикстинская Мадонна и гризетки, арапники и хирургические инструменты, Шекспир и Поль-де-Кок, Добролюбов с Чернышевским и Фет с Полонским. Черт его знает! это какая-то ерунда выходит, но ведь и сам-то я в сущности не что иное, как олицетворенная ерунда и безалаберность! Да что вы стоите все? Садитесь-ка! — обернулся он вдруг к Хвалынцеву и, бросив кожаную подушку, указал ему покойное место на диване. — Э, да тут страх какая пыль!.. Ибрагимов!.. Сотри-ка, братец!.. просто сесть нельзя! Извините, пожалуйста!

Ибрагимов явился с тряпкой и стал стирать обильную пыль с дивана и кресел. Хвалынцев заметил при этом, что пыли достаточно-таки лежало на всех без исключения вещах и предметах докторской комнаты.

— Что это у вас такое? — вдруг спросил он, усмотрев в углу пудовые гири и круто изогнутую кочергу. — Кто это занимается?

— Да все я же! — ответил доктор, ходючи из угла в угол.

— Как!.. неужто сами гнете так?!

— Бывает, по малости!.. Черт его знает!.. Иногда, я вам скажу, чувствуешь в себе такой избыток этой беспричинной силищи, что, кажись, не только кочергу, а и самого черта все хотелось бы гнуть да ломать!.. Время такое на меня находит каторжное!

— Но это любопытно! — невольно и как бы про себя, заметил Хвалынцев.

— Да что тут любопытного!.. Такие пустяки!

— Покажите, пожалуйста, если не в труд! — пристал Константин Семенович.

— Извольте, пожалуй, — усмехнулся доктор и, взяв из угла на одну ладонь два связанные веревкой пудовика, на отвесе вытянутой рукой поднял их в воздух пред собой, не выше лица и, словно не с пудовиками, а с каким-нибудь десятифунтовиком, проделал пред Хвалынцевым, легко и свободно, несколько таких мудреных штук, которые самым наглядным образом показывали страшную его физическую силу. После этого становилось вполне понятно, что он один мог, как нельзя легче, разнести целую "рестаурацыю".

"Эка силища-то!" любуясь на его статную фигуру, подумал про себя Хвалынцев. "Экой молодчина, право!.. Ему бы, ей-Богу, не то что доктором, а разве бы в уланах служить, да и только!.."

Ибрагимов внес кипящий самовар и поставил его на столик.

— А!.. Вот и пан Чаиньский, то бишь Гербатовьский пршиехал до нас! — швырнув в угол свои гири, воскликнул Холодец. — У меня, знаете, из всех нигилистических добродетелей осталась только одна — любовь к чаю, но и то я не люблю, когда чай денщики где-то там, на кухне, разливают; а я люблю эдак, знаете, чтобы самоварчик передо мною пошипел себе маленько!.. Ужасно люблю это шипенье!.. Детство, знаете, как-то напоминает... Да что вы не курите?

Хотите сигару?

— Есть у меня; благодарю вас.

Константин закурил и спокойно раскинулся на кожаном диване.

Ибрагимов принес два стакана в мельхиоровых подстаканниках, ром, лимон, сливки и каких-то сухариков.

— Я и это все люблю, чтобы, так сказать, матримониально было, — заметил Холодец, распоряжаясь у чайного столика.

В это время откуда ни возьмись набежало вдруг полдюжины собак, как видно, издавна приученных приходить к своему хозяину в положенные часы закуски и чая, в сладкой надежде на подачку какого-нибудь лакомого кусочка, и вместе с этим из другой комнаты послышался громкий клёкот и хлопанье сильных крыльев.

— Ибрагимов! отвяжи-ка, брат, кречета! — крикнул Холодец.

— У вас и этот есть? — удивился Хвалынцев.

— Мало ли какой дряни нет у меня! — усмехнулся доктор. — Сидит там себе на цепочке, в спальне, и жердочка ему прилажена такая.

— Что же это вы, охотитесь?

— Да, я всякую охоту люблю. А более того, знаете, просто люблю приручать ихняго брата. У меня вон в темной комнате и волчонок на привязи сидит; тоже оцивилизовать стараюсь... Не знаю только, что выйдет из этого... может и удастся. Ну, ты, Ксендз! Куда лезешь со своим рылом! Жди! — крикнул он на прекрасную узкомордую, поджарую собаку чистокровной борзой породы.

— Как? как он у вас называется? — смеясь, подхватил Хвалынцев.

— Ксендз, — обернулся на него доктор. — Вы только взгляните вот на эту морду анафемскую — ну, вот просто как есть характерная польско-ксендзовская морда! Так иезуитом и смотрит, каналья, да от ксендза же щенком и добыт, потому и кличка такая; только вот боюсь все, как бы его, сердечного, за это не убили.

— А что так! — спросил Хвалынцев.

— Да так; паненки наши все обижаются, как когда ежели на улице покличешь его. Я уж и то Ибрагимову говорю, чтобы пуще глазу берег.

— Бережем, ваше благородие, — отозвался денщик. — Ничего, будьте благонадежны! Что ему, псу экому, делается!

— Ну то-то! Ты гляди у меня!

— Слушаю-с; как есть, не извольте беспокоиться. Он сам зубаст, обидеть себя не дозволит.

"По барину и собаки", подумал про себя Хвалынцев; но в это самое мгновение, случайно взглянув близ себя на пол, он вдруг припрыгнул на диване, вздрогнув от ужаса, и поспешил поджать под себя обе ноги.

— Чего вы? — выпучил на него глаза свои доктор.

Константин, с выражением испуга, без слов указал ему пальцем на пол: из-под дивана, медленно и красиво сгибая иссера-стальную спину, выползало что-то длинное, тонкое, пресмыкающееся.

— А!.. И Василиск Иванович тут! И ты, брат, выполз! Знать, сливочки почуял! — ласкательно улыбнулся Холодец. — Не бойтесь, — обратился он к Хвалынцеву, — это у меня простой уж. Они ведь не опасны, а Василиск Иваныч и совсем ручной к тому же.

— Откуда же и этот-то у вас, наконец? — спросил Хвалынцев, все-таки не решась спустить свои ноги.

— А я его еще прошлым летом, так сказать, в младенческом возрасте поймал и на воспитание к себе принял, — сообщил доктор. — Ничего себе, удалось приручить, как не надо лучше!

— У их благородия всякая гадина водится, — любезно и дружелюбно ухмыляясь, заметил Ибрагимов. — Вон там тоже и черепаха есть… тоже на содержании.

— Где ж она? — спросил Хвалынцев.

— А там вон, в кухне; шуршит себе за печкой… И пречудной зверь, надо так доложить. Иное время забьется себе в угол, под печку, и по скольку недель не вылазит! Ты ей хлебца, коренья какого, аль говядинки сырой там что ли покрошишь, а она и не дотронется! И по месяцу случается ведь ничего не трескает, ей-Богу-с! С чего только живет, подумаешь? Совсем как есть неядущий зверь! Вот Василиск Иваныч, тот у нас жадён-таки, а та нисколько!

Уж между тем дополз до стула, на котором сидел Холодец, приготовивший ему тем часом блюдцо сливок с моченым сухариком да с сахаром, и остановился, растянувшись на полу, и пытливо приподнял, поводя в стороны, свою довольно красивую головку.

— Ну, ну, ступай сюда! Ползи, ползи! — проговорил доктор, нагнувшись со стула и подставив ему свою ладонь, на которую уж, поводя головкой, тотчас же вполз самым дружелюбным, безбоязненным образом.

— Он ведь у нас ученый тоже, цивилизованный! — ласково говорил Холодец. — Ну, видишь, брат, свою порцию?.. а?.. видишь?.. чувствуешь?.. Ну, проси, проси и кланяйся, как следует благоприличному джентльмену!.. Проси!..

И уж, очевидно приученный к пониманию некоторых движений и слов своего хозяина, расположившись очень удобно и цепко на руке и обшлаге сюртука, вдруг приподнялся вверх, почти до половины своей длины, и, раскрыв свою пасть, зашипел и, очень красиво, очень грациозно изгибаясь своим телом, сделал два раза движение, которое действительно весьма комично напоминало поклон.

— Ну, вот так! Молодец, молодец! — хвалил его доктор; но вдруг, заметив, что Хвалынцеву как будто нервно-неприятно видеть это животное, обратился к своему денщику. — Ибрагимов, возьми-ка, брат, Василиска Иваныча, покорми там его.

— Ну, ты, Божья гадина, ходи сюда, ходи, брат! — промолвил денщик, принимая из бариновых рук ужа и блюдце со сливками. — Пойдем-ка, покормимся!

И он унес его из комнаты, причем уж, не выказав ни малейшего беспокойства, привычным

образом обвился вокруг руки Ибрагимова.

"Вот человек-то: и люди, и животные любят его. Всем-то он симпатичен!" добродушно подумал себе Хвалынцев, и под влиянием этой последней мысли, вдруг сказал ему:

— Послушайте, Холодец, а ведь вас должно быть дети очень любят.

— Почему же вы так думаете? — с улыбкой удивления отозвался доктор.

— Н-не знаю, но мне так кажется.

— Да, — подумав несколько, ответил тот, — меня действительно любят дети и собаки. Да только они одни и любят.

— А люди? — спросил Константин.

— Люди?.. Как вам сказать? Всяко случается: одни любят, а другие и куда как не жалуют! Да это, впрочем, что же? По-моему это уж значит совсем плохой человечишко, которого будто бы любят все без исключения. Это значит, что в сущности его никто не любит.

— А пожалуй, что и правда! — подумав, согласился Хвалынцев.

— Скажите-ка мне лучше, — перевел разговор доктор на другой предмет, — какими судьбами вы это вдруг у нас в Гродне очутились?

— Да так вот, проездом в Варшаву… Захотелось поглядеть, что это за города в здешнем крае?

— За границу верно едете?

— Нет, я в самую Варшаву… на службу еду.

— О? Это дело хорошее! Русским людям хоть и плохо там теперь, но они нужны. Место имеете, что ли?

— Н-нет, я… я ведь в военную, — сказал Хвалынцев, и вдруг почему-то почел нужным сконфузиться.

— Да?! — отозвался доктор с некоторым удивлением. — Что ж, это дело хорошее!

— Вы находите? — с какою-то безразличной и гибко-понимаемой улыбкой заметил Константин Семенович.

— Я-то? Да я что ж?.. Я нахожу, что всякая вообще честная служба есть хорошее и полезное дело, — пожал Холодец плечами.

— Н-ну, знаете, не все так смотрят на военную собственно…

— То есть в каком же это отношении? — остановился против него доктор.

— Да так; ведь существует мнение, что военная служба это так сказать "агентура грубой силы кулака", "поддержка деспотизма" и пр.

— Ну-у! — махнул рукою Холодец. — Знаем мы, слыхали когда-то эти песни! Дескать, полезнее и гуманнее сабли и штыки перековать и перелить на скоропечатные машины. Оно, конечно,

слова нет, что гораздо полезнее, да ведь для этого надо подождать, когда прекратится Дарвиновский закон борьбы за существование и когда, значит, на земле алюминиевый век настанет.

— Какой, какой? — с живостью переспросил Хвалынцев.

— Алюминиевый, говорю. Были ведь, как знаете, века: золотой и медный, ныне стоит, как молвят мудрецы, железный, а в будущем грядет "самый цымис", говоря по-жидовски, то есть алюминиевый.

— Это что ж такое? — усмехнулся Константин.

— А это значит, когда люди станут жить в алюминиевых дворцах, ровно как теперь солдаты в казармах, и когда потекут молочные реки в берегах кисельных, а с неба станет медовый дождик капать и вместо снега повалят клочья американского хлопка. Да неужто же вы не знаете этого двенадцатого члена нигилистического символа веры?

— Как не знать! Но что же, это одно из самых светлых упований! — решился мягко возразить Константин Семенович.

— Кто говорит! Да только вот беда: жить-то в этих алюминиевых казармах по заведенным часам невыносимо будет для живых людей! Ведь это отсутствие увлечений, эта безошибочность, размеренность, эти положенные часы приливам и отливам, они ведь всякую самостоятельность, всю независимую, свободную личность человеческую в прах стирают. Ведь это все равно, что сказать себе: "я свободный раб", — ну, что это выйдет? Полнейший абсурд! Ведь жить таким образом, это все равно, что весь век маршировать по ровно укатанному плацу или твердить таблицу умножения. Куда как весело! Не знаю, как вы, а я от такого удовольствия, ради столь прелестной жизни, на первой же осине удавился бы!

— Стало быть, вы нисколько не верите в наши, так называемые, "нигилистические теории"? — спросил Хвалынцев.

— Каюсь! грешный человек! даже ни одной минуточки не верил! — с покаянным видом развел руками Холодец. — Я слишком практически положителен; даже… даже слишком материалист для того, чтобы веровать в такую ерунду! Ведь новейший нигилизм — он, в сущности, очень сродни средневековому фанатическому мистицизму. Все эти алюминиевые казармы, вся эта нетерпимость — разве это не пахнет тем же мистицизмом? Идолы только как будто переменились, а подкладка, реальная сущность дела все та же осталась.

— Стало быть, отчуждаясь от них, вы их презираете? — немножко некстати спросил Хвалынцев.

— Я! — расширив на него глаза, остановился Холодец. — Я?! Боже меня избави! Я слишком толерантен для этого! Есть, конечно, между ними много мерзавцев, которым, по-настоящему, прямое бы место в остроге между негодяями и мошенниками, но есть и много честных, высокочестных идеалистов! И за что же их презирать или ненавидеть?.. Разве можно, например, презирать нам Савонаролу — этого фанатического мистика и католика — за то, что он за свои убеждения бесстрашно взошел на костер!.. Да Боже меня избави от этого!.. А между *этими* есть тоже своего рода маленькие Савонаролы. Это ведь — все то же вечное стремление человеческой души к отвлеченному идеализму, и если они теперь клянутся не иначе как Льюисом, Бюхнером и Молешоттом, так это значит только, что они вместо Николы-Святителя молятся Симеону Столпнику, а еще больше оттого, что они добренькие дурачки и не понимают

того, чем клянутся. И знаете: как те, мистики, наделали много зла людям в свое время, так и эти могли бы его наделать, дай лишь волю! — Трезвый человек никогда не пойдет вместе с ними!

— А с кем же? — спросил несмело, удивленный этими речами, Константин Семенович.

— С кем? — С своим живым народом, к которому он принадлежит плотью и кровью и всем своим нравственным складом; а если уж нет под ним этой *своей* прирожденной почвы, так трезвый человек уж лучше ни с кем не пойдет, а сам по себе будет.

— И ничего с него не будет! — улыбнувшись, заметил Хвалынцев.

— Ну, и ничего с него не будет!.. Это хоть и плохо, а по-моему, все же лучше, чем распинаться за метафизику такого рода, как, например, отчего вместо снега не сыплется хлопок, который пригрел бы бедняка-рабочего? распинаться, когда под рукою есть насущное дело, и тем только портить его.

Хвалынцева в то время поразил подобный взгляд на людей, к которым не без некоторого гордого самодовольства он и себя причислял отчасти, и если не причислял совсем, то только потому, что, ставя их очень высоко в своем мнении, где у него были намечены яркие имена некоторых передовых двигателей этого направления, — он считал себя пока еще недостойным развязать даже ремня от сандалии их, — и вдруг такой неожиданный взгляд встречает он на этих людей у человека, которому, казалось бы, самому, уже только как медику и потому материалисту, следовало принадлежать к их лику! Но этот человек вдруг обвиняет в крайнем идеализме людей, распинающихся, по-видимому, за материалистические теории, и попросту, без церемонии титулует их жалкими глупцами и невеждами. А между тем, не принимая уж в соображение Ардальона Полоярова, Анцыфрика, Лидиньку Затц и им подобных, но останавливаясь только на лучших, на светлых экземплярах этого направления, он не мог не сознаться, что в беспощадном взгляде доктора Холодца лежит очень много неотразимой правды.

— Но, сами вы что же? реалист, конечно? — спросил Хвалынцев.

— Я-то? — подумав, сказал Холодец, — да как вам сказать?.. Если уж непременно нужны какие-нибудь ярлыки, то, конечно, реалист, и полагаю, поосновательнее, чем все эти господа.

— Ну, а образа и Мадонны? — улыбнулся Константин.

— Что ж такое? — возразил доктор. — Образ — предсмертная память моей матери, а Мадонна — гениальное произведение человеческого духа. Неужели ж вы думаете, что научный реализм и разумно-практическое, правдивое отношение к жизни исключают из человеческой сущности такие теплые и хорошие стороны, как любовь к тому, что дорого, что естественно для сердца и что прекрасно, как любовь к отцу и матери, например, любовь к искусству, любовь к своей родине? Да если так, то это не реализм, а, извините, какое-то абсолютное свинство.

— Но ведь в них все же есть хорошие стороны, — заступился Хвалынцев, думая тем самым вызвать доктора на исповедь еще более подробную.

— Да, например, дон-кихотство; но и то далеко не во всех, а в лучших, идеальнейших субъектах этой породы; пожалуй, я согласен, это хорошая, хотя и праздная, совсем бесполезная сторона, — согласился Холодец. — Вот в том-то и беда, — дополнил он, — что лучшие из них заслуживают одного только сожаления. Сожаление — это есть единственное человеческое к ним отношение, а ведь если не это, то остается одно лишь презрение. Но, согласитесь, это

было бы очень уж грустно.

— Есть и кроме дон-кихотства кое-что, — возразил Константин Семенович.

— Например? — улыбнулся доктор.

— Например демократический закал.

— Согласен; но демократического закала вы и у нас не отымете. А затем-с?

— Затем, например, гуманность.

— Позвольте-с, — с живостью перебил доктор. — Вы говорите гуманность; да в чем же она, коли эти господа весь мир делят на *мы* и *подлецы,* и что *не мы,* то *подлецы,* а против подлецов все средства хороши и позволительны? А я вам скажу, что в каждом из них сидит свой маленький Аракчеев, граф Алексей Андреевич, который "без лести предан", и вся их гуманность не простирается далее идеального устройства аракчеевских военных поселений; они весь мир готовы бы обратить в социально-коммунистическое военное поселение, над которым каждый из них был бы графом Алексеем Андреевичем. Гуманность!.. Хм!.. — продолжал Холодец, снова начиная оживленно расхаживать по своей комнате. — Эти все громкие слова потому-то им и любы, что ровно ничего не выражают собою. Вы мне укажите, на чем это в практическом-то, житейском применении отразилась эта ихняя гуманность?

— Ну, а например сочувствие к Польше, к польскому делу? — проговорил Хвалынцев, имея про себя свою заднюю мысль пощупать на этот счет доктора.

Но доктор только расхохотался.

— Чему вы? — спросил его Константин.

— Как чему, батюшка вы мой!.. Очень уж смешно!.. Сочувствие к тому, о чем они ни малейшего понятия не имеют. Это-то самое сочувствие и представляет самое смешное, самое уродливое и невежественное явление у наших нигилистов.

Хвалынцев попросил разъяснить ему, что именно находит доктор здесь смешным и уродливым.

— Да как же, — возразил Холодец, — они ведь, прежде всего, отвергают всякую религию, а Польша вся в католицизме и им только и держится. Эта есть самая католичественнейшая дщерь римского престола; затем они ярые демократы и красные, а истинная Польша — все белая, вся шляхетная, магнатски-аристократическая; они стоят за разрушение общества даже в его современных, американских началах, а Польша вся в своих средневековых, магнатски-феодальных тенденциях и привилегиях; они, наконец, желали бы раздробить и вконец отвергнуть не только Россию, но и всякое государство, а Польша всеми силами стремится восстановить свое дряблое, гнилое, *панское* государство, в самой государственной форме польской Ржечи Посполитой, да еще при этом основывает его на господстве над пятнадцатью миллионами русского народа, чуждого ей и по происхождению, и по языку, да даже и по вере больше чем наполовину, и вдобавок еще, этот народ должен быть лишен всякого права на человеческое свободно-гражданское существование, а превратиться в *быдло,* каким он был и до сегодня. Ну, согласитесь сами, разве это сочувствие не верх невежества и безобразия?

— И вы ни в каком случае не протянули бы этой Польше руку помощи? — вскричал задетый за живое Хвалынцев.

— Я! — сделав строго изумленные глаза, повернулся к нему доктор. — Что вы называете рукою помощи? Если эта помощь коснулась бы моей специальности, то, конечно, как медик, я обязан был бы подать ее каждому человеку, кто бы он ни был; но что касается до помощи политической, то извините! Я на двух стульях сидеть не умею, а сижу уж всегда на каком-нибудь одном. Достаточно того, что я до мозга костей чувствую себя русским. Да кроме того у меня есть еще и свои родовые, традиционные причины не якшаться с ними: мой прадед был замучен в Варшаве вместе с тридцатью гайдамаками Гонты и Железняка, у моего деда пан Потоцкий выкроил из спины два ремня на бритвы своему «служонцему», мой отец ранен в бедро навылет польскою пулею в 31 году при штурме Варшавы. В трех поколениях, батюшка мой, в трех поколениях моего рода повторяется все одна и та же кровавая история по милости поляков; так как же вы хотите, чтоб я якшался вдруг с ними против своих же?

С жутким, щемящим чувством в душе слушал Хвалынцев этого человека. "Как счастлив он!" думалось ему, "как счастлив он этою твердостью, этою безбоязненною прямотою своих отношений к *нашему* делу!.. Как ясно и спокойно должно быть у него на душе!.. Как открыто и честно он должен всегда себя чувствовать!.. Счастливый человек!.. А я?..

"Боже мой, какое гнусное, какое рабское положение!.. Я уже не свободен, я закрепощен, закрепощен делу, которого не знаю, людям, которым не сочувствую…

"Господи! как бы хотелось сбросить с себя весь этот груз! Как бы хотелось чувствовать и сознавать себя в свободном независимом положении этого славного Холодца!.. О, как бы дорого я дал теперь за эту возможность!..

"А что? не попытаться ли?.. сегодня же? сразу?" мелькнула вдруг ему соблазнительная мысль.

"А слово?.. честное слово, сознательно данное однажды?" заговорил вдруг на это какой-то другой голос, поднявшийся в его душе с какой-то темной, беспросветной тучей, — а месть? а наказание?..

"Что наказание!.. Это не страшно!.. Пусть!

"А измена?.. Изменником назовут… Иудой!

"А русские, *свои-то,* разве не назовут тем же Иудой и изменником?.. Да вот он, этот самый честный, прямой Холодец, — он разве не назовет меня тем же? не станет презирать меня?

"О, Боже мой!.. Какое страшное, фальшивое положение!.. Идти на дело, чуть не ненавидя, чуть не проклиная его!.. Идти против своих за чужими!.. И разве эти чужие в душе не станут презирать меня точно так же?..

"Нет! Нет!.. Не пойду я с ними!" чуть было не вскрикнул Хвалынцев, глубоко и всецело отдавшись своим, всю душу раздирающим мыслям — и выражение глубокого, душевного страдания, борьбы и мучительного волнения вдруг отразилось на побледневшем лице его.

"А Цезарина?" встал вдруг перед ним роковой вопрос и — увы! опять затмил собою все другие вопросы и сомнения…

Константин грустно и бессильно поник головою.

— Что это с вами? Не дурно ли? — быстро и озабоченно спросил вдруг доктор, заметя в нем это печальное состояние.

— Н-нет… ничего… это так, пройдет! — через силу отвечал Хвалынцев, — со мной иногда бывает это… так, находит, знаете… Просто раздумался себе, и немножко как-то грустно стало.

— О чем? — ласково улыбнулся Холодец и сочувственно взял его за руку.

— Так… Мало ль о чем! — И о прошлом, и о будущем…

— Уж не военная ль служба пугает? — шутливо заметил доктор.

— А что вы думаете? — ухватился за эту мысль Константин. — Едешь почти в чужую землю, ни родных, ни знакомых, то есть буквально никого!.. А там, позади себя брошено много хорошего… Да и Бог весть, с какими людьми придется служить? Сойдусь ли?

— Вона о чем!.. Словно бы желтоносый птенчик впервые из-под крылышка матушки!.. Есть о чем думать! — дружески подтрунил доктор. — Об этом, сударь мой, не беспокойтесь. Военная служба, как и всякая другая честная служба, дело хорошее, и буде не трус вы, то пугаться ее нечего! С полячьем, конечно, возжаться не станете, да и они с вами не станут!

При этих словах Константин невольно как-то с нервным содроганием сжал руку доктора, которую тот во все время не выпускал из его руки. Эти слова больно кольнули его под сердце, словно бы укор неумытной и строгой совести, так что вдруг захотелось взять да и высказать пред этим человеком всю правду, все свои муки и сомнения. Одно мгновение Константина так и подмывало на этот порыв, но… духу как-то не хватило, страшно стало сделать вдруг, сразу такой решительный шаг; образ Цезарины снова молниеносным лучом сверкнул в его воображении и пронизал собою всю душу — и он осекся, остановился и сдержал в себе свой беззаветно-стремительный, честный порыв, совсем уже было готовый вырваться наружу,

— И притом же, — спокойно продолжал доктор досказывать ему свою мысль, — притом же вы в каждом полку наверное встретите двух-трех вполне развитых, даже очень образованных людей, из университетских тоже, с которыми, при доброй воле, вам не трудно будет сойтись по-человечески и как следует; кроме того, можно держать сто против одного, что вы попадете в простую, но честную среду добрых и хороших людей, которые вас примут как доброго товарища. Поверьте мне в этом! — Я ведь уже знаю несколько наши русские армейские полки; и плюньте вы тем в глаза, кто станет уверять вас, что там все одни мордобойцы да стекловышибатели, бурбоны да солдафоны, — право так! Ведь и полки наши стараются заплевать теперь, как и многое другое хорошее на Руси, а вы не верьте и ступайте себе с Богом своею дорогою!.. Дорога честная!

Хвалынцеву было и грустно, и отрадно как-то слушать эти искренние, добрые речи.

"О, как бы я на самом деле мог быть счастлив", думалось ему, "если бы только мог войти в эту полковую среду совсем честным человеком, без всяких революционных заговоров и целей, без сидения на двух стульях; если бы мог каждому товарищу прямо и честно посмотреть в глаза, зная, что я имею право смотреть так. А теперь уж, быть может, и поздно…

"Нет, нет! почем знать, может, и не поздно еще!.. может еще все, все хорошее вернется ко мне?!" вперебой предыдущей мысли, каким-то светлым, детским упованием подымался вдруг в душе его новый, желанный голос, и он жарко, всей душой, напряженно хотел внимать и веровать этому доброму, утешительному голосу.

— Однако теперь уже самое время, — сказал Холодец, посмотрев на часы. — Если желаете прогуляться да взглянуть еще кое на что, так отправимтесь!

И они пошли на Телятник.

VII. На Телятнике

Хвалынцев с доктором раза два прошлись по тополевой аллее и уселись на одной из деревянных скамеек. На Телятнике было довольно-таки гуляющей публики; но что наиболее кидалось в глаза, так это постоянное присутствие в этом месте каких-то темных личностей, о которых никто из старожилых городских обывателей, пожалуй, не сумел бы сказать кто и что это за люди, чем занимаются, к какому классу принадлежат: не то ремесленники, не то лакеи, не то мелкие чиновники, так, что-то такое, не подходящее ни под какую категорию, ни под одно определение. Между ними были очень молодые, почти ребята, были и юноши, были и люди средних лет, одетые кто показистее, то есть относительно показистее, а кто и совсем глядел обшарпанцем. Они целые дни проводили на улицах и преимущественно на этом Телятнике; по крайней мере Хвалынцев, бывши здесь еще утром, потом проходя мимо с Холодцом из трактира, и теперь вот, под вечер, замечал все тех же неопределенного качества господ, которые гуляли, шатались, шлялись, сидели на скамейках, курили папироски, сходились иногда кучками и толковали между собой, толковали так, как толкуют люди, которым ровнехонько-таки нечего делать. Первое, что кидалось в глаза у всех этих господ, как отличительный, характеристичный признак, это их постоянная и полнейшая праздность: вечно на улице и вечно праздны. Иногда, сходясь между собою, они говорили очень тихо, как будто рассуждая об очень серьезных и чуть не таинственных вещах, иногда же галдели о чем-то очень громко, с шуточками и задирочками, сопровождая те и другие хохотом. На прохожих и гуляющих посматривали они с какою-то независимою наглостью, отпуская иногда и на их счет какую-нибудь плоскую и часто циническую шуточку, а иных так, пожалуй, не прочь были бы и задеть; по крайней мере нагло вызывающие взгляды, кидаемые ими на некоторых, по преимуществу солидных, степенных и хорошо одетых людей, явно вызывали охоту задирчиво задеть человека, лишь бы только был мало-мальски подходящий повод.

Этот бездельно шатающийся люд сделал на Хвалынцева, как на свежего человека, впечатление неприятное.

— Скажите, пожалуйста, что это за шатуны?.. И вечно торчат здесь! — отнесся он к доктору.

— Черт их знает, кто они и откуда! — пожал тот плечами. — Это явление наблюдается в Гродне, относительно, с недавнего еще времени, так, с лета или с весны, а прежде никогда ничего подобного не бывало. Но то же самое, говорят, замечают и в других городах, — прибавил он, — в Вильне, в Ковне, в Варшаве, да везде почти!

— Должна же быть какая причина? — заметил Хвалынцев.

— Не без того!.. Уж конечно не даром! — согласился доктор, — да коли хотите, профессия-то их ясна: вот, например, чуть какая демонстрация, вроде сегодняшних похорон — они тут первые; окна ли выбивать в квартирах "москевских чинувни*к*ов" и у "злых поляков", опять они же; "коцью[116] музыку" устроить, цветной шлейф оборвать, серной кислотой облить — это все их специальность. И замечательно, что полиция, зная их отлично, ни одного, меж тем, не хватает!

— Глядят какими-то пролетариями, — заметил Хвалынцев, издали глядя на одну из собравшихся кучек.

— Да, вообще трущобными джентльменами, — отозвался доктор.

— Но чем же они существуют, если этак весь день на площади?.. На какие средства? —

удивленно спросил Константин.

— Это-то вот и есть загадка! — ответил доктор. — Меня самого, признаюсь, интересует-таки этот вопрос. Стало быть, кто-нибудь да уж заботится о их желудках и даже о прихотях, потому что и сыты, и одеты кое-как, и папироски покуривают, и пьяны иногда бывают; но кто содержит всю эту сволочь — вопрос темный!

Кроме этих подозрительных джентльменов по Телятнику рыскало еще множество оборвышей, нищенствовавших уличных мальчишек и гимназистов всех возрастов, в их форменных фуражках.

— Вот и эти тоже, — обратил доктор на последних внимание Хвалынцева. — Загляните в гимназию, в классы — пусто! Целые дни, с утра до ночи, вот все так по городу и шныряют, тоже скандальчики, где можно, устраивают, а чтобы учиться, — вот год уж скоро, как и помину нет!

— Скажите пожалуйста, что это за эксцентричная особа — вон-вон там, видите, с адамовой головой на спине? — любопытно спросил Хвалынцев, заметив вдруг давешнюю прецессионную барыню, которая теперь быстрыми шагами разгуливала посередине Телятника, окруженная гимназистами, и очень оживленно, очень весело разговаривала с ними. Гимназисты не то подтрунивали над этой странной женщиной, не то дружили с нею.

— О, адамову-то голову! Как не знать!.. ее вся Гродна знает! — улыбнулся доктор. — Это, батюшка мой, жена чиновника русской коронной службы. Сейчас как только какая-нибудь костельная процессия — сейчас эту головку сантиментально на бочок и марш на самом видном месте! Так и щеголяет!

— Я думал, монахиня какая, что ли…

— Нет, это наша крайняя патриотка с крайним демократическим закалом, — красная. Вот все эти «лобузы»[117] большие с нею приятели.

— А мертвая голова-то зачем?

— А это, так сказать, *кричащий* патриотизм. Она, сказывают, губернатора здешнего за ногу укусила.

— Что такое? — рассмеялся Хвалынцев. — Как это за ногу?

— Так-таки просто зубами, то есть самым натуральным способом. Полюбилось это им всем гуртом к губернатору шататься, — начал рассказывать доктор, — соберутся все эти жалобницы да лобузы и — вали валом! Ломят в приемную залу, будто с какой-нибудь просьбой общественной, а в сущности скандала ради. Вот этак-то приперли однажды целым кагалом, а она пред губернатором бац в ноги, будто с просьбой, знаете, колени отца и благодетеля обнять желает, да вдруг и цап его за икру!.. Так ведь и впилась зубами, словно бульдог какой! Тот визжит и ежится, потеет и прыгает, а она его как захватила обеими челюстями и баста! не пущает и шабаш! А кагал надрывается с хохоту. Так ведь что? Насилу вырвался, да как задаст стрекача в огороды да потом все пустырями, пустырями — так и из города удрал!.. Ей-Богу! От конфузии да от страху в бегство обратился. Вот они, батюшка, каковы здесь милые дети! А еще слабый и нежный пол, так сказать!

В эту самую минуту пред новыми нашими приятелями прошли какие-то миловидные паненки в кокетливой жалобе и подле них три или четыре офицера, которые очень любезно, как добрые

знакомые, болтали с этими паненками по-польски.

— Скажите, пожалуйста, вот это еще очень удивляет меня, — заметил Константин Семенович. — В третий раз встречаю офицеров, и все они по-польски да по-польски; что это значит?

И он кстати рассказал про то, как утром у костела видел офицера, говорившего по-польски с унтером.

— Что ж мудреного, — сказал Холодец, — коли одни и те же войска стоят здесь в этом крае чуть не тридцать лет. Придет из России дивизия чистенькая, русская, а здесь сейчас же начинают набираться в нее юнкера из тутэйших панов; ну, их, конечно, в офицеры, а они сейчас в полку постараются занять все штабные должности, а там и места ротных, эскадронных, батальонных командиров: своя от своих, что называется, за уши в гору тянут, так что даже должности нижних чинов — все эти там фельдфебеля, вахмистры, унтера, каптенармусы — все это почти что на две трети из поляков, а там, глядишь, через несколько лет в полку из русских осталось вдруг каких-нибудь два-три офицера, два-три татарина, два-три немца, а остальное все как есть одни поляки! Тут, батюшка, иногда до того доходит, что на домашних ученьях чуть не командуют по-польски; а что ежели ротный унтерам распеканцию дает или какие интимно-хозяйственные разговоры с фельдфебелем ведет, так уж это из десяти случаев пять наверное будет по-польски; так что ж мудреного, если эти офицерики, ухаживая за полечками и желая быть галантными кавалерами, болтают себе на языке Мицкевича? Этим-то уж, так сказать, и Бог велел. Здесь иногда и русский человек, особенно в недавнее прошлое время, ужасно как быстро ополячивался! — добавил Холодец. — Да и теперь-то зачастую случается.

Гуляющие пары и группы меж тем проходили мимо наших собеседников.

Русской речи почти вовсе не было слышно, разве долетало какое-нибудь слово, но и то как исключительная редкость. Даже евреи со своими супругами, если только не по-своему, то уж наверное говорили по-польски. Здесь прогуливались евреи, причислявшие себя к «цивилизованным», а признаком цивилизации у супруга служил цилиндр на голове, отсутствие пейс, аккуратно подстриженная бородка и пальто-пальмерстон с неимоверно длинной талией и с полами до пят, а у супруги кринолин, шиньон и модная шляпка; девицы же еврейские, несмотря ка поздне-осеннее, прохладное время, щеголяли с непокрытыми головами. Ни на одной из женщин нельзя было заметить цветного платья: все черное да черное, все та же характерная, повальная жалоба, зачастую с покрытым крепом широким белым плерезом на подоле.

— Неужели здесь и еврейки даже носят траур? — удивился Хвалынцев.

— А как же! Патриоты ведь уверяют их, что они "братья поляки Мойжешовего вызнанья";[118] ну да и из экономии: что за охота вернуться домой с подолом, прожженным серной кислотой?

— А русские барыни?

— О, эти еще более, чем кто-либо! Им и в жалобе-то рискованное дело показываться на улице одним без мужчины: не только что кислоты, а и оскорблений не оберешься! Да впрочем их ведь и немного у нас; а из тех, что официально только называются русскими, то есть те, которые от смешанного брака, так эти зачастую еще полячистее самих полек; нужды нет, что православные, а бегают все по костелам, в процессиях этих, в демонстрациях разных всегда чуть не на первом месте, вечно с польскими молитвенниками, и не иначе, как с гордостию

говорят о себе, что они "польки русскей вяры чили всходнего вызнаня". Это самые заядлыя!

В эту самую минуту внимание Хвалынцева было отвлечено мальчишескими криками, уськаньем и поддразниваньем, раздававшимися посередине Телятника. Через площадку проходил православный священник, в обычной городской священнической одежде. Толпа гимназистов, держась тесною кучею и следуя за ним в несколько осторожном отдалении, кричала ему сзади:

— Поп! поп! Черт твою душу хоп! черт твою душу хоп!.. Схизматык!.. Поп пршекленты![119]

— Что это за безобразие! — невольно возмутясь этою сценой, пожал плечами Хвалынцев. — За что же это, наконец, такие наглые оскорбления?

— Э, еще и не то бывает! Это что! — возразил Холодец, — это вот вам легенький образчик польской веротерпимости. А это еще какой поп-то, надо заметить: он, как говорят по крайней мере, совсем поляк в православной рясе; говорит не иначе, как по-польски, дружит с ксендзами, даже некоторых прихожан и исповедует-то на польском языке, а у себя в алтаре к пономарю обращается например: "Пане Яне! Прендзей кадзидло, прошен' пана!"[120] Вот это поп-то какой! Так им бы, казалось, лелеять бы только эдакого-то человека золотого, а вот нет же!.. Поди-ка ты! До такой степени сильна фанатическая ненависть к православной рясе, что даже польские его добродетели забываются!

— Чего же, наконец, полиция-то смотрит? — воскликнул вдруг наш революционер, и... увы! нимало не почувствовал в душе угрызения совести за столь ретроградное восклицание. — Ведь этак просто по улицам ходить невозможно!

— Полиция-то? — усмехнулся доктор. — А вон она!.. Видите, вон тут же на углу "пан стойковый" торчит себе для порядку да мило улыбается на милых шалунов. Тут, батюшка, и полиция-то вся, от старших до младших, все это полячки, из "добрых обывацелей"; полиция-то им и есть самый лучший друг и пособник.

Хвалынцев только плечами пожал от печально-досадного изумления.

— Послушайте! — сказал он после некоторого раздумья. — Ведь все эти штуки, это уж чисто социальная сторона дела, а в социальных вопросах правительство зачастую бывает бессильно; противодействовать этой пропаганде и вообще всем безобразиям, на мой взгляд, по крайней мере, должно бы было само здешнее русское общество. Это ведь уже чисто его вина.

Доктор в ответ на это засмеялся.

— Русское общество!.. "Здешнее русское общество", говорите вы? — воскликнул он. — Да где же оно прежде всего? У нас есть здесь польское и еврейское общество и, знаете ли, очень и очень-таки хорошо, плотно организованное; но русского общества нет да никогда не бывало.

— Как! позвольте! — возразил Хвалынцев, — а великорусские чиновники, например? А православные белоруссы из городских обывателей? А попы православные? Конечно ведь не все же таковы, как вот этот, что пошел сейчас. Разве все это не составляет элементов для общества?

— А вот посмотрим! — начал ему на это Холодец. — Возьмите сначала хоть последних, то есть попов. Между ними, я вам скажу, всякие бывают. Я не говорю об одной Гродне, но о целом крае, насколько я его знаю. Между ними очень многие искренно сожалеют, например, об унии и мечтают, "кабы она знов навроцилася"; эти все почти сочувствуют полякам. Да оно и

понятно: правительство их «воссоединило» и затем бросило на произвол судьбы, а "найяснейшее панство", которое допрежь сего и почет униятскому попу оказывало, и поддержку, и пособие, и все, что хотите, — панство вдруг от него круто отвернулось, как от малодушного человека, который принял «схизму» — и несчастный поп волею российской власти вдруг очутился на самом критическом распутьи. Что делать? Есть-то да пить все ж таки хочется: правительство ничем не помогает, пан прекратил свои подачки — ну, вот тут-то и пошли такие явления, что поп ради гарнца овса стал подлизываться к ксендзу, заискивать его дружбы и покровительства у пана, "абы жиц с чего было!" Худшие, то есть малодушнейшие, из ихняго брата бывают просто домашними шутами у пана; кто же поумнее, тот покорнейший слуга того же пана, а кто почестнее, тот окончательно ушел в «хлопство», в «быдло» своего прихода; и хоть панство делает ему на каждом шагу всевозможные мерзости, но он все-таки твердо держится своего; это из них, конечно, люди самые честные и достойные всякого уважения, да и слава Богу еще, что в них нет недостатка; благодаря им-то и простой сельский народ остается пока еще самим собою, несмотря на долю религиозного индифферентизма, который вы иногда заметите здесь в православном собственно населении. Это все я говорю о попах сельских, — продолжал Холодец, — а что касается до городских, ну… то они все большею частию отменные практики и политики; держатся того берега, где течение сильнее, поэтому при настоящем положении дел, они, можно сказать, не составляют ровно никакого пригодного элемента для русского общества: течение-то ведь неизмеримо сильнее с польской стороны.

Сведение это было для Хвалынцева совсем ново, но он все-таки не хотел оставить своей первоначальной мысли, подавшей повод к этому спору.

— Ну, хорошо-с; а великорусские чиновники, которые есть же тут? — сказал он.

Доктор только рукою махнул.

— Об этих лучше и не говорить! — презрительно проронил он сквозь зубы. — Высший экземпляр этого рода вы изволили давеча за обедом видеть в трактире, в лице его сиятельства князя ***. Ну-с, хорош?

— Жалостен! — усмехнулся Хвалынцев.

— Жалостен? А это еще чуть ли не лучший! Во-первых, — продолжал Холодец, — все мы приезжаем сюда с убеждением, что здесь Польша, и редко кто из нас задает себе труд вглядеться, точно ли здесь Польша? А иной хоть и раскусит, но как же не тянуть панскую руку? Это ведь будет так нелиберально, так отстало, так — с позволения сказать — русски-патриотично! За это ведь, пожалуй, чего доброго, еще и в *Колоколе* отшлепают, и всю карьеру свою тогда потеряешь! А ведь мы, прежде всего, стараемся, как бы не подумали о нас, что мы не либералы. Ты хоть скажи мне пожалуй, что я подлец, но только либеральный подлец — и я тебя за это в умилении расцелую! Это вот один сорт наших русских чиновников. Затем другой сорт — это просто взяточники и честолюбцы, которые потому тянут за панов, что те им в руку за это изрядно суют и всячески стараются для них темными путями о крестах, чинах и отличиях. Третий сорт, наконец, знай себе строчит только входящие да исходящие, рапорты да отношения и ни до чего больше ему и дела нет; он и не слыхал даже, что это, мол, за зверь такой польская пропаганда? Ему лишь бы к празднику наградные да месячное жалованье получить, а затем… а затем — "как начальство-с прикажет!" И будь тут для него Россия ли, Польша ли, Турция или даже Патагония — "Гудок ли, гусли — Литва ли, Русь ли" — это ему решительно все равно! Вот вам три типа наших великорусских чиновников, а все вместе, в совокупности, мы дичимся друг друга и сидим по своим берлогам, вразброд, в одиночку, особняком, и почти не знаем друг друга, а все оттого, что русский чиновник прежде всего *чиновник,* и кроме рапортов да исходящих, да жалованья, да еще либерализма ни до каких

социальных, больных и щемящих вопросов ему и дела нет! Итак, вот вам и второй общественный элемент у нас круглым нулем оказывается.

— Да неужели же все такие? — недоверчиво воскликнул Хвалынцев.

— Нет, попадаются иногда счастливые исключения, — сказал доктор, — но… одна ласточка еще весны не делает и к тому же еще один в поле не воин, как сами, поди-ка, чай, знаете!

— Но объясните же, Бога ради, — воскликнул Константин, — откуда это, отчего это в русских людях вдруг является такая паскудная уступчивость всем этим наглым притязаниям, это подлизыванье, уклончивость эта?

— Э! а вы ни во что не берете наше мелкое самолюбьице да чванство! — возразил доктор. — Во-первых, мы либералы, — не забывайте! Во-вторых, мы начальства и *Колокола* боимся, а в-третьих, нас хлебом не корми, лишь бы только поляки сказали про нас: "А, то хоць и москаль, алежь поржондны москаль и таки добржемыслёнцы!".[121] Ведь подобный отзыв это для нас в некотором роде праздник сердца, именины души! Пропадай там пропадом «мать-Рассей» — лишь бы «чужие» сказали, что мы «либералы». О, для этого мы готовы под эту сиволапую «Рассей» даже собственноручно втихомолку огоньку подложить и лягнуть еще ее вдобавок во всю свою мочь ослиную!.. Это ведь так либерально!

— Но… возвращаясь к прежнему вопросу, — продолжал Хвалынцев, — а третий же элемент? Православные и образованные белоруссы! Эти-то что же?

— Эти тоже бывают двоякого рода, — начал было Холодец, как вдруг…

В эту самую минуту приблизились двое каких-то господ, довольно прилично, хоть и скромно одетых, и опустились на туже самую скамейку, где сидели наши приятели. Один из новопришедших курил папироску.

Хвалынцеву вдруг тоже захотелось покурить. Он вынул портсигар, достал одну сигару себе, другую предложил доктору, и затем очень вежливо обратился к своему курившему соседу, сказав ему по-русски:

— Позвольте, пожалуйста, попросить у вас огня?

Но сосед в ответ на это оглядел его с ног до головы и потом обратно с головы до ног нагло-удивленным взглядом, потом передернул плечами, пересмехнулся о чем-то со своим приятелем и вдруг с дерзким нахальством бросил свою почти только-то закуренную папиросу на землю, как раз перед Хвалынцевым, затоптал ее и поднялся со скамейки вместе с товарищем в намерении удалиться.

— Экой невежа! — нарочно громко сказал ему вслед Константин, возмущенный этой беспричинной дерзостью.

— Как нельзя более кстати! — воскликнул Холодец. — Не беспокойтесь, у меня с собой воздушные спички… Нате вам; закуривайте. Но это, говорю, как нельзя более кстати! — продолжал он. — Я хотя и незнаком, но знаю этого барина. Это вам один из образчиков православного белоруса-горожанина. Их у нас, как я сказал уже, две категории; одни — это чиновники, вышедшие из поповичей, из мещан, одним словом, не из шляхетного сословия; это почти все народ честный, скромный, преданный своей русской национальности, но народ бедный, маленький и потому забитый. Притом же они почти все и всегда и повсюду состоят под начальством поляков, которые всегда занимают здесь наиболее видные, влиятельные и

доходные места, а от этих начальников зависит их единственный трудовой кусок хлеба; стало быть, подумайте сами, уж до борьбы ли тут с какою бы то ни было пропагандой, когда дай Бог только кое-как поддерживать борьбу за собственное свое злосчастное существование. Эти, значит, сами по себе опять же таки не сила для общества; они лишь *могли бы быть* силой при хорошей нравственной поддержке со стороны русских.

— Затем, вторая категория, к которой принадлежит вот только что ушедший "невежа", — продолжал доктор. — Это, как есть, те же самые поляки "всходнего вызванья",[122] потому что это потомки древней шляхты, некогда буянившей на сеймах, или приписаны к гербу милостью какого-нибудь магната и из холуев панской дворни возведены панской милостью во дворянское Российской империи достоинство. Эти за стыд почитают говорить по-русски и в православную церковь ходить, потому что она русская; бредят Мицкевичем и Польшей, а о Пушкине да о России и понятия никакого не имеют, и подымись только восстание, они одни из первых схватятся за оружие! Какого же вы хотите тут русского общества, когда здесь все почти, за исключением хлопов да наполовину попов и горсточки чиновников — все это, как есть, заражено явно или тайно политическим польским сифилисом.

Хвалынцев долго и грустно раздумался над словами доктора.

— Господи! А тут еще всякую попытку к отпору наши же публицисты "национальной бестактностью" клеймят! — проговорил он горько, качая головой.

— "Национальная бестактность!" — иронически усмехнулся Холодец. — Да, действительно, эта пресловутая статья есть "национальная бестактность" и притом величайшая бестактность... со стороны автора! Ведь тут ненависть и борьба не против правительства, а против всего русского народа, против русского смысла, против русского православия, против всего социального и государственного склада жизни русской. Это историческая ненависть; а философы-то наши этого не понимают! Эх, да что! Легко им говорить-то там сидючи у себя по своим петербургским кабинетам! — досадливо и горячо продолжал он. — Слышно вот тоже, что ссылают этих господ Полонофилов-то в Вятку, под надзор, а то еще куда и подальше; только это совсем напрасно. Их бы не в Вятку, а вот сюда бы высылать на свободное жительство. Пускай бы пожили маленько да поглядели, да на собственной своей шкуре все это примерили бы; небойсь, тогда как раз другую песенку запоют!.. И это было бы для них, может быть, лучшее наказание и лучшее исправление!

Хвалынцев на это ничего не ответил, но собственная его совесть тихо и укорливо подшепнула ему, что доктор прав, и прав безусловно.

Он уже в один лишь день пребывания своего в Гродне успел достаточно примерить на себе и переиспытать на собственной шкуре малую толику от сладости этих польских прелестей, воздвизающихся за "братство, любовь и свободу *вашу и нашу!*"

Начинало все более и более смеркаться. Скудные фонари имеют обыкновение гореть в Гродне только две недели в месяц, притом зажигаются довольно поздно, поэтому во мгле сереющих сумерек и, так сказать, под ее покровительством, перед фарой, не сходя однако с телятника, стали собираться сначала отдельные кучки гимназистов, а к ним присоединялись группы тех подозрительных джентльменов, которых специальность состояла в повседневном торчании на площадке. Таким образом из этих групп и кучек мало-помалу собралась довольно-таки порядочная толпа, которая казалась еще значительнее, чем на самом деле, оттого что кучи жиденят и жидков, держась от нее в некотором, весьма небольшом, впрочем, отдалении, стояли, глазели и любопытно выжидали, что-то сейчас будет?

Толпа сначала было погалдела, пожужжала между собою, но вскоре из среды ее раздалось несколько детских нестройных голосов, к которым не дружно присоединялись понемногу и голоса взрослых. Неспевшаяся предварительно толпа желала исполнить перед фарой "гымн народовы", то есть все ту же знаменитую "Боже, цось Польскен'", но из желания этого ровно ничего не выходило, кроме какого-то дикого, нестройного оранья, которое драло ухо своими нестерпимыми диссонансами и в котором преобладали мальчишеские выкрики и надседанья во всю грудь.

Пение всех этих гимнов к тому времени было уже формально запрещено правительством, и потому как только раздалось это козлогласованье, от городской гауптвахты направился казачий и пехотный патруль, человек шесть, не более, но не успел он еще пройти и половины площади, как жидки, которые первые усмотрели его, тотчас же сообщили певунам о приближении «москаля», и толпа в тот же миг рассыпалась во все стороны, оглашая воздух гиком, визгом, ревом и победными криками: "ура!.. виват!.. Пречь з москалями!.. Нех жие Польска![123]"

Но чуть лишь патруль, обойдя площадку, возвращался к гауптвахте, как кучки мало-помалу начинали снова сходиться; перед фарой снова образовывалась толпа, и через минуту какой-нибудь дребезжащий мальчишеский голос неуверенно начинал уже выводить: "Бо-оже цось По-ольскен'"... Толпа подхватывала. Казаки появлялись снова, и снова все рассыпалось как горох, и снова воздух оглашался тем же гиком, визгом и криками *ура!* и прочего...

Такая проделка повторялась раза три, а может быть и больше, но Хвалынцеву надоело уже наблюдать все одну и ту же школьническую штуку, да к тому же, после столь разнообразных впечатлений и физической деятельности нынешнего дня, он чувствовал потребность отдохнуть, тем более, что завтра утром надо было торопиться на железную дорогу, чтобы ехать в дальнейший путь — в Варшаву.

Он расстался с доктором, который обещался прийти завтра на бангоф проводить его, и пошел на Мостовую, к нумерам Эстерки. Но едва сошел он с Телятника, как вдруг сзади кто-то мимоходом так толкнул его в бок, что Константин оступился с края тротуара, по которому шел, и выше чем по щиколотку бултыхнулся в грязную лужу сточной канавки. Он оглянулся: мимо его, руки в карманы, спешной походкой прошмыгнули два джентльмена, по характеру своей наружности — насколько можно было различить — смахивавшие на присяжных завсегдатаев Телятника.

— Ф-фэ! засмродзили польскен' москале! — с наглым смехом воскликнул один из них, тогда как другой продолжал напевать себе вполголоса:

Еще Полська не згинзла
Поки мы жиемы!

"Однако как они все это следят и быстро подмечают!" думал себе Константин, после первой минуты испуга и злобной досады, возвращаясь домой, но держась уже поближе к стенке. "Это, вероятно, наказание за русскую речь на Телятнике".

Злополучный герой наш, думая так, и не воображал, что в ту минуту над ним уже было совершено еще и другое наказание, поубыточнее какого-нибудь толчка в грязную канавку.

VIII. Панна Ванда

Под утро Василию Свитке спалось плохо. Он часто пробуждался, боясь не проспать нужного

ему часа. В окнах только еще брезжился серый полусумрак рассвета. "Нет, еще рано", думал себе Свитка и поворачивался на другой бок, и снова засыпал тревожным и как бы бдительным сном, чтобы через какие-нибудь полчаса снова на одну секунду проснуться. Наконец, в половине восьмого он совсем уже пробудился, взглянул на часы и тихо, осторожно стал одеваться, боясь не потревожить сладкий утренний сон своего усталого с дороги товарища. Свитка располагал вернуться в общий их нумер часам к одиннадцати и рассчитывал, что таким образом он еще захватит Хвалынцева дома; но обстоятельства выдались совсем вопреки последнему предположению, что и послужило начальной и невольной причиной всех мелочных передряг, которые в течение гродненского дня довелось переиспытать Константину и которые уже достаточно известны читателю.

Одевшись и выйдя тихо из комнаты, Свитка умылся уже в коридоре и спешно сбежал вниз по лестнице. Быстрым и легким шагом, весело напевая себе что-то под нос и улыбаясь широкой, светлой улыбкой, он шел по улице и вскоре, мимо большого деревянного креста, поднялся на парапет, застроенный плохенькими жидовскими домишками и ведущий в ограду Бернардынского монастыря. Это был час, когда в монастырском костеле совершается ранняя «мша». Он вошел в храм, под громадными и высокими сводами которого его обдало сыроватым холодом. Там было совсем почти пусто. Прекрасный орган тихо играл в вышине какую-то тихую и сладостную мелодию. Ксендз в простом облачении тихо совершал евхаристию. Две-три коленопреклоненные, черные фигуры женщин виднелись у боковых алтарей, а одна, склонившись к решетке древнего дубового конфессионала, украшенного изящной резьбой, горячо и грустно шептала свою исповедь. Два-три нищих старика ежились и горбились у входных «кршстелениц» и вполголоса бормотали какие-то молитвы, медленно ударяя себя в грудь озябшими кулаками. Медленные шаги Василия Свитки гулко раздались под чуткими сводами. Он искал кого-то глазами и шел налево к одному из боковых алтарей, как бы уже к заранее известному, условному месту. Пройдя еще несколько шагов, он вздрогнул и, сдерживая закушенной губой лукаво-радостную светлую улыбку, затаился у одной из массивных колонн и ждал, и трепетал внутренним легким трепетом, и глядел неотводным взором…

Перед ним в пяти шагах, спиной к нему, стояла коленопреклоненная женщина. Густая, темно-каштановая коса ее, небрежно свернутая и упрятанная под тонкую сетку, выбивалась из-под белой кокетливой конфедератки и тяжело падала на спину, несколько ниже прекрасно очерченного изгиба молодой белой шеи. Женщина эта, уронив на колени сложенные руки и прислонясь головкой к балюстраде алтаря, задумчиво остановила взор свой на изваянии какого-то святого и, казалось, отдыхала после горячей молитвы в каком-то благоговейном полузабытьи, под обаянием тихих аккордов той сладостной мелодии, что звучала и зыбко струилась по храму с высоты хор.

— Магдалина… совсем Магдалина у подножья креста! — восторженно шептал Свитка, пожирая жадно-блестящими глазами стройно склоненную фигуру этой женщины. Ему и хотелось бы, чтобы она обернулась и вдруг нечаянно увидела его, а вместе с тем и не хотелось, потому что хотелось еще и еще глядеть, затаясь трепетно в своем чувстве и все бы любоваться на этот стройный очерк…

Но вдруг, вероятно каким-то инстинктом почуяв устремленный на себя сзади взгляд, она, восклонясь от балюстрады, оглянулась и даже вздрогнула вся, отшатнувшись назад с широко раскрытыми, радостно изумленными глазами.

Еще мгновение — и она, легче и гибче молодой серны, была уже подле него.

— Константы!..[124] милый!.. восторженно шептала она, сжимая его руки в своих маленьких,

изящно-длинных ручках и, точно так же как и он, пожирая радостным взором все лицо его. — Константы!.. да неужто это ты!.. здесь! Да как же?.. когда?.. каким образом?..

— Здравствуй… здравствуй, моя прелесть! — шептал он ей в ответ, чувствуя, как все усиливается в нем внутренняя дрожь радостного волнения. — Я знал, я чувствовал, что найду тебя здесь… на обычном месте… ведь это же твой час… а ты, моя радость, ты — ведь я знаю! — ты постоянна в своих привычках и симпатиях… Ну, здравствуй же!.. здравствуй!.. Боже мой, так и хочется поцеловать ее!.. Так и зацеловал бы всю!..

— Тсс!.. — внимательно и быстро озираясь по сторонам, приложила она пальчик к смеющимся губкам. — Постой, погоди!.. Ах какой ты!.. Не здесь… успеешь еще…

— Знаю, что успею, да ждать-то нет терпения!..

— Ага!.. терпения нет! а зачем так долго не ехал?.. Твоя бедная Ванда просто изныла вся!.. Зачем не ехал? зачем мучил меня? так мучься сам же теперь!.. Даже и не писал сколько времени… Ы! противный! гадкий!.. Пошел!.. не люблю! терпеть не могу! вот же тебе!

А между тем глаза говорили совсем другое, и тонкие пальчики в лайковой черной перчатке все так же нервно и крепко сжимали его руки.

— Ну, пойдем… — мотнув головкой к выходу, шепнула она и, в последний раз преклонив перед алтарем колени да перекрестясь как истая католичка, она быстро и весело, какою-то радостно порхающей, легкой походкой пошла на несколько шагов впереди своего друга и, проходя мимо немногих прихожан, нарочно, но неудачно старалась все придать своему лицу серьезное и даже строгое выражение, и все это затем, чтобы те не подумали про себя, будто это она обрадовалась так и бежит из костела на свидание с молодым человеком.

Выйдя из храма, она было направилась прямой дорогой, но он круто повернул тотчас же вправо.

— Куда же ты? — подняла она изумленные глазки.

— Иди, моя радость! Не спрашивай!

— Да куда же?

— Ах, да иди уж!

Она только пожала плечами и, как-то по-птичьи, осторожно переступая своими ножонками, изящно обутыми в высокие венгерские сапожки на кривых высоких каблучках, с лукавой усмешкой качая головой, пошла за своим другом.

Он вел ее вдоль костельной стены на пустынный монастырский двор, в заросший кустами палисадник, туда где за задним фасом костела возвышались стройные тополи, длинные тени которых причудливо бежали косяками вверх по белой стене, ярко залитой холодным солнечным блеском.

Здесь он остановился, прислонясь к углу, между стеной и выступом контрафорса, и зорко прислушиваясь, огляделся вокруг себя. Она, став напротив его, выжидательно глядела ва него пытающими глазами.

Все было тихо и глухо. На дворе ни души. Из костела слабо доносятся звуки органа, да воробьи

трещат в тополевых прутьях, весело разыгравшись на солнышке.

— Ну, ступай сюда… ближе… ближе, голубка моя!.. Ну, давай же теперь губки свои! Наконец-то!..

— Господи! только за тем-то?! — смеясь, прошептала она и в то ж мгновение невольно потянулась к нему, привлеченная объятием рук, сильно и страстно обхвативших весь ее гибкий стан.

Свитка в каком-то забытьи восторга покрывал бесчисленными поцелуями ее губы, глазки, щеки, все румяно-похолодевшее лицо ее, обвеянное этим легким, приятным на ощущение холодком свежего утреннего воздуха.

— Ну, будет!.. будет!.. довольно! — стонущим шепотом говорила она из-под его поцелуев. — Тсс!.. Идут… ей-Богу, идут… идет кто-то… ах, да оставь же!

И она с силой вырвалась из его ошалелых объятий.

— Ну, что это право! — тоном шутливого неудовольствия говорила она, оправляя свою прическу, платье и шапочку. — Стыда нет у сорванца!.. Ведь грех-то какой!.. У самого костела!.. Нашел место хорошее… вот теперь по вашей милости и ступай завтра на исповедь, и кайся у конфессионала! Очень приятно!.. Что я ксендзу теперь говорить-то буду!

— Так и скажи, что со мной целовалась, — смеялся Свитка. — По крайней мере, хоть позавидует.

— Ну, теперь куда же?.. Конечно, к нам надеюсь? — спросила она, совершенно уж оправясь.

— Нечего и спрашивать! Разумеется к вам.

— "Разумеется! разумеется!" — передразнила она его с уморительной гримасой, — а как по четыре месяца ни строчки не отвечать на письма, так это тоже "разумеется"?.. Стоило бы тебя за это… знаешь ли?.. Ну, да уж хорошо же! Теперь я тебя не выпущу!.. Пойдем блазень противный!

И подхватив его под руку, она весело пошла со двора своей легкой, несколько раскачивающейся походкой.

Спустясь под руку с Мостовой, они направились по Подольной улице к той высокой арке, по которой пролетают гремя и клубясь поезда железной дороги и которая пересекает эту скромную и тихую гродненскую улицу на половине ее протяжения, предшествуя тому громадному длинному мосту, что необыкновенно смело, легко и грациозно переброшен на значительной высоте через Неман, покоясь над ним на четырех высоких и стройных колоннах, по две в ряд, что придает этому мосту вместе с дальними перспективами крутых лесистых берегов и с древним городом, раскинувшимся уступами по горе со своими башнями и колокольнями и высокими острыми кровлями, красоту, действительно замечательную, особенно если взглянуть на всю эту картину с середины реки, с другой: городского моста.

— Ну, рассказывай, что брат, что матушка? — пытал свою подругу Свитка.

— Да что рассказывать! Увидишь!.. Матушка совсем почти ослепла, — говорила она. — Все спиритизмом занимается, духов каких-то будто чует, все допытывается у них про дело наше, про Польшу, а если не это, то либо все молится, либо ворчит на сестренку да на братишку на

малого. Впрочем, я ее нынче в руках немного держу, чтобы на меня по крайней мере не ворчала.

— Ну, и что же духи ей рассказывают? — иронически спросил Свитка.

— Да ты чего? — строго посмотрела на него панна Ванда. — Почем мы знаем, может и правда… нынче у нас многие этим занимаются… Стало быть, есть же что-нибудь.

— Брата найду ли я дома? — серьезно, помолчав немного, спросил Свитка. — Мне нужно о многом и об очень важном переговорить с ним.

— Увидишь, как вернется… Теперь он в должности.

— А что, как сборы?.. На какую сумму теперь?

— Ну-с, а как ваша милость изволит думать? — бойко поддразнила его Ванда.

— Да почем я знаю! — пожал он плечами.

— А ты догадайся!

— Не мастер на отгадки.

— А я не скажу! Догадайся, коли можешь!

— Скажешь, мой друг, как представлю тебе номинацию.[125]

— Так не скажу же вот!

— Ну, полно! Говори, в самом деле! Ведь это вещь серьезная.

— Пятнадцать тысяч злотых! — помолчав немного, с торжествующим и полновесным видом объявила Ванда. — Пятнадцать тысяч, моя гадкая прелесть!.. И это с одних только обывательских сборов за последние два месяца! Каково?

— Н-недурно? — процедил сквозь зубы Свитка, — но надобно бы больше…

— С одного-то Гродна?

— Город не маленький.

— Да, но тут я не считаю эти аристократические костельные кружечные сборы да складки помещиков; до меня это не касается, а от *наших* собственно побурцов податковых[126] — это, как хочешь, отлично.

— Отчеты еще не представлены? — после нового раздумчивого молчания, озабоченно и серьезно спросил Свитка.

— У брата все в порядке, все приготовлено… Можно сдать хоть сегодня.

— Деньги у тебя еще?

— По обыкновению, в моей шкатулке.

— Ты… вот что… замялся несколько Свитка. — Ты мне выдай пять тысяч… мне нужно.

— Дашь квитанцию, выдам, — подумав, согласилась Ванда.

Свитка помолчал и слегка поморщился.

— А ты без квитанции… — улыбнулся он как-то деликатно и робко.

— А ты стоишь того? — укорливо стала она выговаривать.

— Стою, голубка! ей-Богу стою!.. Денег у меня совсем мало остается.

— Константы! ведь это же не мои… Подумай! — серьезно предупредила она.

— Ах, Боже мой, знаю, что народовы!.. Что за напоминание?!

— Он же еще и сердится!.. Это мне нравится! — подтрунивая над ним, рассмеялась Ванда. — А ну, покажите, покажите вашу надутую мордочку!

— Ах, Ванда! право мне не до шуток! — досадливо чмокнул он губами. — Ты добрая девушка, ты должна понять это!.. Кому же тебе и дать, как не мне?!

— Послушай!.. бессовестный ты! — укорила она, приостановясь на минутку и заглянув ему в глаза. — "Кому же как не мне"!.. Да уж если я тебе себя отдала, если я себя не пожалела, так что говорить о деньгах!.. Но… ведь не мои, говорю тебе! Ксендз Эйсмонт на днях встретился с братом, так и то уж напоминал, что пора бы, мол, сдать к нему в общую кассу…

— К черту всех этих ксендзов Эйсмонтов! — вспылил Свитка. — Очень нужно сдавать ему!.. Единство кассы, подумаешь, выдумали!.. Нет, господа, погодите, дайте маленький срок, я все это уничтожу и в бараний рог согну всех этих непрошеных контролеров!.. Ксендз Эйсмонт!.. А кто этого ксендза уполномочивал?

— Как кто?!.. Он же ведь выбран был, — возразила Ванда.

— Вот я его выберу, дай только в Вильну добраться!.. — грозил вспыльчивый Свитка. — Очень нужно в одних руках такие громадные суммы оставлять; а он возьмет да потихоньку и удерет с денежками за границу. Вот ты и ищи его там и взыскивай фундуш народовый, а он тебе фигу покажет!.. Не отдавать ему денег!.. Слышишь ли? Не сметь отдавать больше, и кончено!

— Если бы моя власть, Константы… — заговорила было девушка, но Свитка круто перебил ее.

— Не твоя власть, а моя!.. Я знаю, что говорю и что делаю!.. Я говорю тебе, — продолжал он через минуту, уже успокоясь, — я говорю тебе, дай только мне до Вильны добраться, и я устрою, что «выдзял»[127] тотчас же вышлет полную номинацию на твое имя. Тогда не ксендз Эйсмонт, а ты у меня будешь главной казначейшей. Нам еще, Ванда, нужны, очень нужны будут деньги, — внушительно и веско добавил он. — Погоди, вот я переговорю с тобой и с братом, так ты сама увидишь и согласишься… Нам надо, Ванда, как можно крепче сплотить и расширить свою собственную партию… У меня уже есть план… хороший, выработанный план!.. И люди найдутся!.. Так что же, моя прелесть, даешь что ли мне пять тысяч? — заключил он нежно-ласковым, заигрывающим тоном.

Девушка помолчала и поглядела на него пристально и нежно.

— Разве твоя Ванда может отказать тебе в чем-либо? — улыбнулась она своей светлой улыбкой.

— Молодец девочка!.. Люблю! — воскликнул Свитка, крепко сжав под своим локтем ее руку. — Не будь здесь народу на улице, так бы и расцеловал тебя за это!

— А без того и не подумал бы? — лукаво усмехнулась она.

— Я-то?.. А вот погоди, дай время, лишь одну минутку удобную: я тебе напомню старину!.. Твой Константы — твой по-прежнему! Твой безраздельно! — проговорил он со страстным увлечением, судорожно сжимая ее ручонку, которая грациозно покоилась у него под рукой.

В это время они приблизились к воротам, прорезанным в высоком деревянном заборе, и вошли в калитку.

В глубине поросшего травой двора стоял старенький покрившийся от времени, но чистенько выбеленный деревянный домишко с гонтовой кровлей, с крытым, выдающимся на столбиках крылечком посередине переднего фасада и с небольшим садиком позади, который спускался почти к самому Неману.

Этот домишко принадлежал матери панны Ванды, вдове надворного советника Влодко, который во время оно занимал недурненькое местечко в губернской иерархии, и плодом этого местечка — впрочем, плодом весьма скромным — оказался у него домишко на Подольной улице, где теперь помещалась его вдова, старая пани Влодкова, с дочерью панной Влодкувной и сыном Юзефом, которого еще покойный отец успел довольно выгодно пристроить на коронную службу. Остальные дети пани Влодковой, дочка Анця и сын Стасик, как малолетки, в особенный расчет еще не принимались.

Панна Ванда вошла сама и ввела с собою в этот домик своего гостя, как полная и самовластная хозяйка. Анця с визгом, вприпрыжку бросилась к ней навстречу со своими подстриженными волосами, угловатыми плечиками, красными, худощаво-длинными ручонками и гусиными плоскими ногами, Анця вступала в ту пору, когда девочки физически «тянутся» вверх и потому становятся некрасивы.

Стасик, мальчонка лет десяти, не ходящий в гимназию гимназист, как до сестрина прихода, так и теперь продолжал с увлечением заниматься своим делом: повесив на стену портрет князя Паскевича-Варшавского, он усердно расстреливая его острой деревянной стрелкой из самодельного самострела — и портрет весь был истыкан и изъязвлен до того, что на нем уже просто места живого не оставалось.

— А, старый приятель! — воскликнул Свитка, входя в маленькую, скромно убранную зальцу. — Чем это заниматься изволишь? А?

— Графа Паскевича расстреливаю, — бойко отвечал мальчонка. — Я уж много москевских генералов перестрелял.

— Молодец, брацишку! Практикуйся, — потрепав его по плечу и щеке похвалил Свитка. — Практикуйся. Это пригодится. А за каждого забитого москаля семьдесят три греха тебе простится.

— Э! Я один их две дюжины положу. Четырех застрелю, шестерых заколю пикой, шестерых штыком проткну, а остальным всем саблею головы прочь, — похвалялся бойкий мальчонка.

— А латинскую грамматику учишь?.. Ну-тка, просклоняй мне *mensa*.[128]

- Какая там *mensa*, — махнул тот рукой. — Теперь у нас никто ничего не учит… И в гимназию

больше не ходим… Хорошо так! Славно!..

— Ну, а матулька где?

— А там, — кивнул мальчонка на запертую дверь. — Богу все молится. Ну, граф Паскевич, теперь я тебе в нос! — снова обратился он к прерванному на минуту занятию, и стал очень старательно прицеливаться в нос ненавистного покорителя Варшавы.

— Пойдем ко мне, — мимоходом кивнула Свитке панна Ванда, успевшая уже скинуть свою шубку, и провела его в свою комнатку, затворив за собою двери.

— Ну, теперь ты мой!.. Совсем мой, — говорила она, сама вдруг первая кинувшись ему на шею, но через минуту по прошествии этого внезапного порыва, она уже спокойно сидела перед зеркалом туалетного столика и высвободив из-под сетки свою волнистую косу, мягко и плавно стала проводить по ней черепаховым гребнем, и когда расчесала наконец вполне, то закинула ее всю одним размашистым движением за спину, следуя общепольской моде того времени, когда расчесанная и распущенная коса служила вместе с жалобой видимым символом глубокой скорби по отчизне.

Эта маленькая комнатка, убранная чрезвычайно просто, казалась очень мила, если не брать в расчет ее юбок и прочего. Ситцевые занавески и зелень на окнах; на стенах несколько картинок в «бордюрных» рамочках под стеклом, изображавших какие-то римские да константинопольские виды и несколько военных подвигов Наполеона I; как те, так и другие были отчетливо гравированы на стали и очевидно заимствованы из каких-то изданий. Затем фотографические карточки в рамочках, из которых выглядывали физиономии разных родных и знакомых, и между прочим физиономия красивого ксендза и Василия Свитки, в чамарке и конфедератке, молодецки заломленной набекрень. В переднем углу, где висел образ Остробрамской мадонны, был прилажен столик, покрытый белою вязаною салфеткою, и на нем устроен маленький «олтаржик»: металлическое Распятие, перед ним Библия и молитвенник, а по бокам два «вазончика» с искусственными цветами. Над «олтаржиком» в углу красовался целый ряд миниатюрных раскрашенных гравюр в рамочках, все с католическими священными сюжетами, и разрисованные молитвы "до найсвентшей панны Марии" и "до сердца Иезусовего". А с другой стороны, у стены, завешанной бархатным ковром или, как называют здесь, «дываном», стояла девическая кровать панны Ванды, за которой далее на стене висели ничем не прикрытые плоенные чистые и грязные юбки, кофты и капоты. У окна стоял письменный (он же и рабочий) столик, а на столике красовались два фотографические портрета в ореховых рамках: один, поменьше и попроще, представлял того же самого ксендза, карточка которого висела на стене, а на другом, на роскошном, был изображен солидных лет офицер в жандармском мундире с эксельбантом на левом плече.

— Этот зачем у тебя здесь? — ткнув на него пальцем, с неудовольствием пробормотал Свитка.

— Подарил, — пожав плечами, вскинула на него глаза свои

Ванда, словно бы желая выразить этим движением, что вот, мол, вопрос, как будто не понимает! Самое естественное дело.

— Скажите, пожалуйста, какие нежности еще, — насмешливо и брюзгливо выдвинув нижнюю губу, проворчал Свитка.

— Какой ты странный, Константы, — отозвалась девушка, — будто не знаешь, что это необходимо.

— Хм… Как не знать!.. К сожалению, очень хорошо знаю!.. Разве у вас все еще продолжается? — подозрительно и глухо спросил он после некоторого раздумчивого молчания.

Ванда, в маленьком смущении закуривая папироску и не глядя на приятеля серьезно и озабоченно-прищуренными глазками, вместо ответа словом, только утвердительно кивнула головой.

— Бывает у тебя? — с каким-то мрачным удовольствием самоугрызения продолжал допытывать ее Свитка.

Девушка, опять не глядя на него, повторила свой ответный кивок.

— Каждый день бывает?

Та отрицательно покачала головкой.

— Но часто?

Кивок утвердительный.

— Ну, а ты у него?

— Ах, да конечно бываю! — с маленькой досадой проговорила наконец она, отвернувшись к стенке, и стала что-то очень уж усердно копошиться в своих разнообразных юбках. — И что спрашивает человек! Как будто не знает! И будто не понимает, что это необходимо ради собственной же пользы, ради общего дела?! Вот еще на днях я его убаюкала после обеда, а сама — к столу его к письменному! И очень важные бумажки успела подсмотреть… Что делать, мой друг, — печальная необходимость!

— Надеюсь, ни ты к нему, ни он к тебе сегодня не пожалует? — все с тем же злобным удовольствием продолжал Свитка.

— Ну, разумеется! Я пошлю сказать ему, что не могу, занята, что дома нет и так далее! — проговорила она, грациозно на одном каблуке поворачиваясь к своему другу.

— Ты, пожалуйста, спрячь куда-нибудь эту жандармскую морду, чтоб она мне глаз не мозолила, да и этого быка тоже убери! — ткнул он пальцем на красивую рожу дородного ксендза.

Ванда, всплеснув руками, одним ловким пируэтом, с смеющимся лицом подлетела к нему и ласково обхватила своими слегка надушенными ладонями его щеки.

— Да ты что это?.. Уж не ревновать ли меня вздумал?.. А? Этого только не доставало! — защебетала она. — Жандарма изволь, пожалуй, уберу, а милого моего ксендза Винтора ни за что!.. И не приставай!.. это мой друг, приятель, не такой как ты, гадкий!

— То-то! Он, кажись, у всех у вас тут в Гродно приятель, — оттого быком таким и смотрит.

— Эй, Константы!.. Перестань! — пригрозила она пальчиком, опускаясь на его колено. — Лучше перестань, говорю! А не то уши выдеру! И больно ведь выдеру! Целый день гореть будут!.. И что это за глупость вдруг: ревновать! — продолжала она капризно-кошачьим тоном. — И какое ты имеешь право ревновать меня к Винтору? Если бы даже у меня и было что… ведь я тебя не допытываю, как ты там в Петербурге у себя живешь!

Свитка с грустно-мягкой улыбкой поглядел на ее грациозную фигурку и тихо покачал головой.

— Ах, ты моя милая, трижды милая, но трижды ветреная Ванда! — со вздохом примирительно произнес он.

— Ну, не хмуриться! И кончено! — повелительно топнув ножкой, приказала она. — Пожалуй, уж так и быть, зашвырну обоих, пока ты в Гродно! Только чтоб об этом у нас никаких более разговоров! Понимаете-с?.. И что за вздоры, право! Кто бы там ни был, но сегодня — я твоя… вся твоя… И ты мой! — горячо лепетала она, стремительно отдаваясь опять своему беззаветному, нервно-страстному порыву. — Ну, чего тебе еще надо?.. Чего, шальная голова?!.. Ну, целуй меня!.. Целуй, пока позволяю!.. Кто бы ты там ни был, но знай, отвратительный, гадкий человек, что сердцем моим, душой моей я люблю только тебя и никого более!.. Первый ты был, кого я полюбила, и навсегда ты у меня первым останешься!

Ванда была права. Она говорила искренно. Жандарма она любила не любя, но ради патриотического долга, ради пользы общего дела. Не было той административной тайны, которая, неведомо для ее усатого немилого друга, не была бы ей вполне известна, а через нее и всем друзьям Свиткиной партии. Ксендза она любила как истая католичка-полька, которая, сколько известно, никак не может обойтись без того, чтобы хоть раз в своей жизни не облюбить какого-нибудь ксендза или монаха; но зато истинного «коханка» своего пана Константего любила она всей душой, всем сердцем, всеми нервами своими, настоящей, неподдельной любовью. Одно только странно: каким образом все эти три лица могли совмещаться в ее сердце? Но… они совмещались.

— Сколько, ты говоришь, тебе нужно? — спросила она, выдвинув верхний ящик комода и достав оттуда изящно инкрустированную шкатулку, — пять тысяч что ли?

— Пять, моя радость!

Ванда открыла шкатулку ключиком, висевшим у нее на шее вместе с крестиком и образком, надавила какую-то искусно маскированную пружину — и вдруг внутренность ящика, заключавшая в себе, на бархатном подбое, весь женский несессер с некоторыми туалетными принадлежностями, поднялась и остановилась на полвершка выше верхнего края шкатулки. Ванда осторожно сняла ее прочь и, надавив другую пружинку, открыла фальшивый пол шкатулки, за которым помещался потайной ящик, туго наполненный кредитными билетами и некоторыми бумагами политически-секретного свойства. Надо сознаться, что лучшего и наиболее секретного хранилища для народовой кассы трудно было и желать: даже опытный полицейский сыщик ни на минуту не усомнился бы в полной невинности этого несессера, даже опытный механик призадумался бы несколько над его остроумно-простым, но двойным секретом.

Ванда тщательно, аккуратно отсчитала требуемую сумму и подала Свитке пачку ассигнаций.

Тот благодарно пожал и поцеловал ее щедрую ароматную ручку.

— Однако, как же ты сделаешься насчет этих денег с отчетами-то? — озабоченно спросил он ее через минуту, когда шкатулка была снова уже спрятана в комод.

— Ну, это уж не твое дело! — ласково, но круто обрезала Ванда. — Получил сколько хотелось и молчи! Будь доволен!

Свитка глядел на нее возлюбленно-улыбающимися глазами.

— Экая ты прелесть в самом деле! — воскликнул он, одним порывистым движением стиснув себе руки столь сильно, что даже суставы пальцев хрустнули. — Совсем прелесть!.. Мадонна моя!.. Королева моя!

— Ах, мой друг… увы! Только твоя! — с шутливым вздохом покачала она головкой.

Друг на это лишь загадочно улыбнулся.

— Почем ты знаешь! — значительно подернул он бровью и плечами. — А вдруг ты и в самом деле будешь чем-нибудь вроде королевы?.. а?.. Что тогда?

— Тогда?.. тогда я тебя первым же указом моим в Сибирь отправлю, потому что иначе ты тотчас же заговор против нашего королевского величества составишь.

Свитка рассмеялся и, припав перед нею на колени, обнял ее стан и глядел ей в глаза восторженно-нежным молящимся взором.

— Нет, а что ежели?.. а?.. Подумай-ка!?

— Я уж тебе сказала "что", — ответила Ванда, перебирая своими пальчиками его волосы.

— Прелесть моя! — не спуская с нее глаз, выразительно шептал он. — Мадонна!.. Крулева… Ванда!.. Ванда!.. крулева Литвы!

— А кто же крулем будет? — улыбнулась она.

— Крулем?.. Хм…

Свитка не ответил, кто.

— У нас уже есть один круль Друзгеницкий, — засмеялась девушка; — так и называется Друзгеницким крулем! Уж не он ли?

— Хм… Нет, не он, моя радость!

— Так кто же?.. Уж не ты ли?..

— Хм… А хоть бы и я, например?

— Ах, вот оно кто!.. Честь имею поздравить ваше будущее величество!.. Ах ты, рожа, рожа!.. Крулем быть захотел! Скажите пожалуйста! — хохотала она, всплеснув руками, и вдруг вскочив с места, притащила Свитку к своему туалету.

— Поди-ка, поди сюда! — щебетала она, заливаясь смехом, — смотрись в зеркало!.. Ну, смотрись же, коли приказываю!

— Да зачем же это?

— Хочу примерить к тебе будущую корону… Поглядеть хочу, насколько она будет к тебе идти… Ну, смотреться!

И поставив Свитку перед зеркалом, она с лукаво-шаловливой улыбкой завела сзади его свою руку и приставила ему над макушкой головы в виде рогов два свои пальчика.

— В самый раз!.. Как не надо лучше!.. Удивительно как идет к тебе! — восклицала она, кивая над ним своими пальцами-рожками. — Ах, как хорош!.. Просто прелесть!

И вдруг стремительно охватив той же рукой его шею, она неожиданно придвинула к нему свое личико и звучно поцеловала в самые губы веселым, полным вкусным поцелуем.

— Экая школьница! — пробормотал он, любуясь на свою шаловливую подругу.

— Так как же? Так-таки и круль? а? смеялась Ванда. — Константы первшы, круль Литвы!

— Н-ну, круль, не круль, а… диктатор, пожалуй! — не то шутя, не то серьезно заметил Свитка.

Девушка вдруг перестала смеяться, поглядела ему в лицо серьезным, пытающим взглядом.

— Да ты это что же задумал себе, а? — спросила она, взяв его за руку. — Ну-ка, брат, кайся!

— Молчи… Умей молчать; когда-нибудь узнаешь! — значительно, внушающим тоном проговорил ей Свитка.

— Я хочу знать теперь… сейчас же, сию минуту! — топнула она ножкой.

— Н… насколько можно, быть может, и сегодня узнаешь.

— Да нет, ты это в самом деле серьезно?

— Я ж тебе говорю, что дело не шуточное и очень серьезное. Надо только уметь молчать: от этого *все* зависит.

— Ну, я-то, где нужно, молчать умею! — с сознанием своей собственной силы и характера тихо заметила Ванда и вышла вскричать служанке, чтобы та подала ей спиртовой кофейник и приготовила бы все как следует: и сметанку, и сухаречки, и две филижанки, да несла бы все это поскорее сюда, к ней в комнату.

— Ну, мой будущий круль и повелитель! — снова уже веселая шаловливая вернулась Ванда к своему другу, — пока там что будет, то Бог весть, а сегодня я знаю наверное только то, что целый день тебя не выпущу от себя: сегодня ты — мой безраздельно! И потому сейчас же пошлю Зоську за двумя бутылками шампанского… в честь редкого посещения вашего будущего величества… Уж куда ни шло! Кутить, так кутить, разоряться, так уж разоряться!.. Вы как об этом думаете, моя мерзкая прелесть?

— Умные речи приятно и слышать, говорят москали, — заметил ей на это Свитка.

— А брату к тому же ксендз Винтор прислал на днях одну бутылку превосходной старки, просто на редкость! — соблазнительно похваливала Ванда. — А к обеду прикажу сделать ваш любимый бигос и колдуны. Я ведь хозяйка хорошая и знаю к тому же, что у вашей милости губа не дура! Да кстати, не хочешь ли пока закусить теперь же?

И не дожидаясь даже ответа, она быстро побежала на кухню, чтобы самолично, как истая, домовитая полька-хозяйка, распорядиться насчет закуски для своего друга и собственными ручками нарезать и наложить ему разных печений, копчений, варений и солений.

IX. Ржонд противу ржонда, справа противу справы

Вечером, в приятном и теплом настроении духа, после обеда с шампанским, Свитка сидел все в

той же комнатке панны Ванды вместе с нею и с братом ее Юзефом Влодко. На столе кипел самовар. Дверь была тщательно притворена и самый разговор шел тихо, почти вполголоса. Весьма важная сущность этого разговора обусловливала собой необходимость этих двух предосторожностей, даже относительно собственных домашних.

Юзеф Влодко, очень скромный на вид человек лет двадцати восьми, с наружностью старательно-исполнительного чиновника, — весь находился под влиянием своей сестры, а стало быть и Свитки. Он был весьма не глуп, но в высшей степени скромного мнения о самом себе, о своем значении, о своих способностях и характере. Будь он предоставлен самому себе, из него никогда не вышло бы не только революционера, но даже и чиновника, до такой степени простиралось его недоверие к собственным силам. Над ним всегда были необходимы близость и влияние более сильной, более самоуверенной натуры, в которой он находил бы нравственную поддержку, и такой натурой была для него сестра Ванда. Безусловная точность и исполнительность, безусловная верность однажды усвоенному плану и стремлению — конечно, не иначе, как при влиянии более сильной натуры — составляли главные добродетели характера Юзефа Влодко. Сам по себе это был человек очень мягкий и даже, можно сказать, женственно-деликатный. Умение держать свое слово и хранить чужую тайну также относились к числу его достоинств, что показывает в нем уже присутствие нравственно-стойких качеств. Эти-то качества вместе с его величайшей скромностью и послужили для ксендза Эйемонта достаточной гарантией к тому назначению, которое Юзеф Влодко, по настоянию сестры, занял в организации народовой: он служил передаточной и контрольной инстанцией между сборщиками "податков народовых" и ксендзом Эйсмонтом, личность, значение и деятельность которого, по неизменным принципам организации, должны были оставаться под мраком глубокой тайны для всех ниже стоящих членов "свентей справы". Но скромный Юзеф был наделен от природы особого рода энергией в настойчивом преследовании и преодолении раз заданных ему целей и планов, хотя эта неуклонная энергия была точно так же скромна, как и все прочее в этом человеке. У него было только полнейшее отсутствие собственной инициативы. По природе своей это был идеальнейший исполнитель. Эта способность к слепому повиновению, к безусловной исполнительности целей и приказаний человека, в которого он верил, могла бы, при случае, сделать из него даже нечто вроде Равальяка. Если бы такой обворованный им человек дал ему в руки кинжал и сказал: "ad majorem Dei et Patriae gloriam[129] и ради пользы общего дела ступай и убей такого-то общего нашего врага" — скромный, женственно-мягкий и даже сантиментально-чувствительный Юзеф, вопреки всем добрым инстинктам своей натуры, подавив в себе нравственное отвращение, взял бы кинжал вместе с благословением — и рука его не дрогнула бы заколоть намеченную жертву, как потом и сам он не дрогнул бы пред эшафотом, а напротив взошел бы на него и умер со своею обычной скромностью, без фарсов, без картинно-героической рисовки, но с сознанием безусловно и верно исполненного долга и с молитвой в душе, да отпущено ему будет преступление убийства, искупаемое собственной казнью. Такие люди, как Юзеф Влодко, — золотые, неоцененные, незаменимые люди для вожаков всяких заговоров и таинственно-политических партий. Свитка очень хорошо понимал это и потому глубоко ценил в душе Юзефа Влодко и дорожил им, приберегая его для нужной и решительной минуты. Ванда и Юзеф — лучших сотрудников, помощников и исполнителей было бы невозможно и желать ему! Ванда любила этого таинственного, хотя и столь *обыденного* на вид "пана Константего". Она верила в него, — этого было достаточно, чтобы и Юзеф точно так же любил и не верил, а веровал в него, ибо в Юзефе любовь способна переходить в обожание, а вера в верование. Он глубоко уважал в своей скромной душе этого пана Константего за его ум, за его университетское образование, которого совсем не было у самого Юзефа, за его обширно-деятельную и — насколько Юзеф догадывался своим чутьем — очень и очень немаловажную, хотя на вид тоже довольно скромную роль в патриотической организации, а главное за то, что сестра Ванда любила и тоже уважала этого человека. "Сестра Ванда" — этого уже было довольно для брата Юзефа.

Беседа за чайными стаканами, над которыми носился аромат лимона и хорошего рома, шла хотя и вполголоса, но очень оживленно, с большим участием, интересом и вниманием со стороны Ванды и Юзефа, под легкий шумок шипящего самовара.

— Был я между ними, видел и наблюдал опять всю эту шляхетную гниль! — говорил Свитка. — Ничего себе, под шумок пошаливают да делишки свои обделывают. Им вот — совсем по русской пословице: — "и хочется, и колется, и маменька не велит".

— А что так? — с живостью спросил Юзеф.

— Да то, что восстание им хотелось бы сделать как бы своим частным, домашним делом, а нашего брата, которого они "красной сволочью" величают, желалось бы им очень пустить под первый огонь, в качестве пушечного мяса; инициативу власти удержать меж тем за собой, загребя жар нашими руками, и оставить с носом, а в случае неудачи дела свернуть все на хлопов да на "красную сволочь".

— План не дурен! — улыбнулся Юзеф.

— Еще б тебе дурен!.. Но штука-то в том, что желая добыть себе все эти лакомства, они в то же время побаиваются и шибко побаиваются красной-то сволочи. Нюхом чуют, откуда грозит им настоящая опасность.

— А ты, поди-ка, побелел в этой компании? — заметила Ванда.

— О, еще как!.. Таким белым барашком прикинулся, что просто прелесть! — похвалился Свитка. — Да ведь нельзя же иначе. Наша программа, друзья мои, — продолжал он, — должна заключаться в том, чтобы до времени, до решительной минуты, слиться с белыми и с варшавским ржондом в самый тесный и замкнутый круг, притворяться самыми наибелейшими, из белых белыми, а между тем добиться у Варшавы утверждения на местах организации сюих собственных креатур, людей нашей партии. Пусть белые составляют свою собственную организацию и мечтают себе, что вся она замещена здесь "своими людьми". Чем они более будут убеждены в этом, тем лучше для нас. Только, чур, не дремать, а осторожно, исподволь, подводить под белых нашу собственную тайную организацию. Пригодные люди для этого найдутся в мелкой шляхте, в чиновниках, в официалистах, в батраках безземельных, и в данную минуту мы всех этих ясновельможных прихлопнем, так что и ве опомнятся! Террором и страшным террором надо будет действовать! Земля, конечно, вся сполна крестьянам и каждому, кто захочет быть земледельцем. Ничего, галицийская резня была дело хорошее, и повторение этого бенефиса может и нам пригодиться. Этого они ужасно боятся и потому все торопятся с этими обществами трезвости. Для нас-то оно неудобно; но зато милые белые друзья как нельзя более стараются в нашу пользу тем, что обезземеливают хлопа да экзекуции наводят на него. В конце концов хлоп озлобится уже непримиримо и против них, и против Москвы, а этого-то нам и надо. Тогда только террор, атака — и хлопе!.. Но до времени все-таки нам надо солидарными трудами, взаимною помощью и поддержкою укреплять свое собственное дело, — заключил Свитка. — Без панов, к несчастью, на Литве ничего не поделаешь: и сила, и средства все в их руках; поэтому надо как можно тише и ловче подвести и провести их!

— Все это прекрасно, — заметила Ванда, — но… что скажет Варшава? Центральный Комитет?

— Что? — сдвинул брови Свитка. — Да неужто же ты думаешь, что такой бестолковой башке, как Варшава, можно вверять будущую судьбу Литвы? Да будь я проклят, если когда-нибудь соглашусь на это! Как равный с равным, как свободный с свободным, это, пожалуй, извольте!

На основании вольной федерации, но не иначе! А позволить им тут у нас хозяйничать и распоряжаться — да никогда! Литва должна быть вполне самостоятельна и будет! Она, слава Богу, достаточно еще сильна для того, чтобы быть вполне независимою и от Москвы, и от Варшавы.

— Но ведь варшавский ржонд это сила, настоящая сила! — заметила Ванда. — Нужна будет борьба; даром они ведь власти не уступят, а как ты одолеешь их? Ведь с ними и паны наши соединятся.

— Есть у меня, мой друг, и на тех и на других порошок персидский! — улыбнулся Свитка. — Против ржонда я уже завязываю узелок с мерославчиками, заклятыми его врагами, а против наших ясновельможных у меня всегда есть действительная угроза, которая их заставит неметь и дрожать предо мной: мне известна вся их организация, — я ведь сам теперь белый, прошу не забывать этого, — в случае неповиновения можно будет пригрозиться опубликовать все их имена, должности и действия в газетах. Через это что выходит? С одной стороны, ответственность пред наяздовым правительством, конфискации, ссылки, казни, а с другой — компрометация пред лицом Польши: дескать, тормозы и изменники делу свободы. Им-то ведь состав нашей особой организации не будет известен, поэтому и бороться против нас тем же оружием нельзя!

— Фортель хороший! — с выражением удовольствия подхватил Юзеф. — Действительно, это в своем роде порошок персидский! Но ведь потом с мерославчиками придется рассчитываться?

— О, эти нам не опасны! — пренебрежительно махнул рукой Свитка. — Они сильны, пожалуй, настолько, чтобы вредить своему заклятому врагу, варшавскому ржонду, подвести под него интригу, подкопать его; но сами из себя они никогда не составят прочной организации; в них ведь только красный задор да фанатизм, пожалуй, но ни на каплю здравого смысла и политического такта. Они годятся для уличной резни, но не для административной организации. Мы им всегда успеем потом дать камуфлет! И наконец, пускай себе, что хотят, то и творят в Варшаве, а в Литву, чур, не мешаться! Я имею основание думать, что они на эту сделку пойдут, если объявить им, что в интриге против варшавского ржонда литовский комитет с ними солидарен.

— Какие же собственно должности нам надо будет заместить своими, — спросил Юзеф, — если вся организация в руках белых?

— А вот в том-то и штука! — хитрецки усмехнулся Свитка. — Главное дело, чтобы воеводские комиссары были из наших.[130] Для этого-то я и думаю вскоре отправиться в Варшаву и выхлопотать у комитета назначения наших кандидатов. Этого-то я сумею добиться во что бы то ни стало!

— Да, тогда-то, конечно, уже легко будет подтасовать всю организацию из наших! — согласился Юзеф.

— А трибуналы учредим уже мы сами, без ихней помощи, — продолжал Свитка. — Трибунал будет в непосредственном ведении воеводского комиссара, стало быть в наших руках! И трибунал должен быть неумолим, террористичен, с немедленной смертной карой за малейшее неповиновение! С населением должно будет обращаться несравненно суровее, чем московские власти, — это первый залог успеха!

Ванда в эту минуту любовалась своим другом. Когда он говорил, все лицо его как-то преображалось: брови сурово сдвигались, губы сжимались выражением непреклонной воли и

силы, взор горел решимостью и верой в себя и в «дело», а в лице, — в щеках и скулах, — так энергически ходили как бы железные мускулы… Он действительно сделался хорош в эти минуты, хорош до вдохновения, до фанатизма.

Юзеф меж тем сосредоточенно задумался, глядя неподвижными глазами на серый пепел своей дешевенькой сигарки.

На несколько минут воцарилось глубокое молчание.

Свитка, тоже погрузясь в свои думы, все с тем же медленным энергическим движением скул, твердыми шагами ходил по комнате. Ванда тихо следила за ним своим любящим, светлым взором. Наконец он встряхнул волосами, словно бы сбрасывая с себя весь груз тяжелых размышлений, и вздохнув с просветленной улыбкой подошел к глубоко задумавшемуся Юзефу.

— Ну, встряхнись!.. О чем ты? — дружески положил он ему руки на плечи.

Влодко вздрогнул и, как бы пробуждаясь от своего состояния, в котором только что находился, произнес своим скромным, несмелым голосом:

— Удастся ли!

— Что за сомнения, мой милый! — ободрительно воскликнул Свитка. — Верь, что удастся, и удастся!.. "Имейте веру с горчичное зерно, и вы будете двигать горами!.. — Толцыте, и отверзится!" Изо всех евангельских истин я уважаю только зту! Поверь, мой друг, что в нужную минуту я сумею захватить в свои руки безусловную диктатуру над всей Литвой!.. Да и черта ли нам тянуться в хвосте петербургского или варшавского центра, когда гораздо удобнее стать самим во главе своего самостоятельного дела? И выгоднее, и почетнее, и все что хочешь!.. От этого, поверь, ни мы, ни наша партия, ни демократия, ни Литва, никто не будет внакладе, кроме Москвы, да ясновельможных!

— Хм!.. Черта ли мне в самом деле, — продолжал он через минуту, снова заходив по комнате. — Черта ли мне быть каким-то рассыльным при петербургском центре, вертеться пятой спицей в колеснице, когда я чувствую в себе силы быть осью и рычагом всего дела… А если уж гибнуть, так уж лучше гибнуть за себя самого, за свою собственную идею, чем пропадать в качестве прихвостня каких-то там ясновельможных и чиновных вожаков, которых я вот в эту самую ежовую рукавицу могу сжать и вышвырнуть куда мне угодно!

Ванда в каком-то экзальтированном экстазе, возбужденном в ней этой гордой и энергическою речью, этим смелым замыслом (Константы как будто еще более вырос в ее глазах), этими надеждами и верой в дело и в собственные силы этого милого ей человека, подошла к нему, подвела его к брату и соединила их руки.

— Он пойдет за тобой! — произнесла она уверенным, твердым голосом. — И он, и я — мы твои!.. Вместе победить или гибнуть, все равно!.. Но зато вместе!

Свитка обоим крепко пожал руки.

— Да, друзья мои! — заговорил он в каком-то светлом волнении, — наша святая задача: вместе с политической революцией произвести и социальную; а без этого все та же панская, старопольская гниль выйдет! Помните же программу: глубокая тайна, во-первых! Лотом собственная организация и террор… А девиз наш: "Ржонд против ржонда и справа против справы!"

Крепкий и дружеский союз на новое, отчаянно-смелое предприятие был заключен.

Затем Свитка уже стал развивать Юзефу некоторые частности и подробности своего плана в тех частях, для которых собственно ему было необходимо содействие Влодка в его отсутствие. Он знал, что это помощник лучший из лучших, лишь бы только его увлечь да разъяснить, что собственно нужно делать, а уж исполнит он тихо и скромно, но образцово-точно!

Юзеф внимал и запечатлевал в сердце и в памяти слова своего предприимчивого друга.

— Ах! однако мне пора! — посмотрев на часы, воскликнул Свитка, когда все инструкции и наставления были уже сообщены. — Ведь меня там мой белогубый пижон дожидается!..

Он еще за обедом сообщил, что странствовал доселе с Хвалынцевым.

— Скажи на милость, зачем ты еще этот привесок за собой таскаешь?! — пожала плечами Ванда.

Свитка улыбнулся.

— Он нужен мне… Со временем еще пригодится: приспособим.

— Да; но он — ты говоришь — как-то чересчур уже *по-москевску* оппозирует во всем…

— Это ничего! Вытанцуется!.. Это в нем все от излишнего гуманизма да от "демократического закала", как говорит он, — пояснил Свитка. — В панах, вишь, разочаровался. Но это, в сущности, еще не большая беда: тем лучше его к своей своре приспособим!

— А коли не удастся?

— Ну, а не удастся, так ведь и сбыть его легко! — порешил он. — К тому же их брат, русачок, нам и для европейской декорации нужен… Мне, признаться, отчасти некогда было все эти дни призаняться им как следует; ну да еще время не ушло! И в Варшаве успею!

И Свитка простился со своими друзьями, пообещавшись на завтра снова прийти к ним потолковать и пообедать.

Ванда, накинув платок, выбежала проводить его в холодные сени и на крылечке наградила на прощанье своим горячим, свободным, ничьим посторонним присутствием невозмущенным поцелуем.

Свитка ушел довольный, и счастлизый, и любящий, чувствуя в себе избыток какой-то долго сдержанной внутри, но кипучей, неугомонной жизни и жажды деятельности и громкой, блистательной славы.

Ванда… дело… свой замысел… весь стройный, обдуманный ход его… любовь… успех… Хвалынцев… диктатура… пять тысяч злотых… Литва… слава… все это вместе и разом как-то перемешалось и радужно-блестящим колесом ходило в закружившейся голове его.

Он слишком долгое время вынашивал и таил в себе все свои мысли и планы — и сегодня только в первый раз в жизни довелось ему их высказать пред посторонними.

Поэтому он чувствовал себя и жутко, и легко…

И все хотелось жизни, жизни, — больше, как можно больше простору и жизни, которая в нем,

словно вновь пробившийся родник, бурлила, кипела и рвалась наружу — разлиться широким потоком по вольному белому свету…

X. "Опять сомнения и муки"

"Что же мне делать, однако, и как быть?" задавал себе мучительный вопрос Хвалынцев, идучи с Телятника в свой нумер, после того, как пришлось неожиданно принять ножную ванну в сточной канавке. "Что же мне делать, в самом деле, и на что, наконец, решиться? — Ведь так же нельзя!.. Невозможно!

"Бросить разве все это да ехать обратно в Питер… в Славнобубенск… засесть себе в деревне, хозяйничать, приглядываться к быту, а там — искать потом должности посредника… у себя же, в своем участке… в Славнобубенске наезжать буду… там Устинов, Лубянский старик… Стрешнева… Таня Стрешнева… А ведь она милая!.. И нравилась же мне!.. Вот, может опять будем собираться маленьким своим кружком… толковать… жить… вечер, сад, красный закат и искры солнца на крестах за широкой рекой… соловьи и сирень… Ах, как тогда хорошо было! И давно ли, подумаешь! — всего лишь несколько месяцев назад… Хорошо так!.. Славно! Уютно и тепло так было!..

"Махнуть разве в Славнобубенск?.. а?.. К черту всю эту "свенту справу" и прочее!.. Ну, какой я революционер, и в самом деле? Курам на смех!

…"Таня… А ведь славная она девушка!.. И как это я мог так скоро разлюбить ее!.. А может еще… может еще и опять все вернется, все по-старому будет… может, я ее опять… опять полюблю?.. а?.. Почем знать?"

Но нет!.. рядом с милой головкой этой маленькой Тани, всегда так просто умной, так просто милой, так просто любящей, подымался и обдавал каким-то сверкающим, неотразимым обаянием царственный образ графини Цезарины… он магнетически зачаровывал и рабски притягивал к себе, к своим ногам — этим странным обаянием красоты и силы, прелестью таинственности, атмосферой какого-то непроницаемого, неведомого, но великого заговора и какой-то захватывающей дух прелестью ощущений человека, которого подхватили сзади под локти и держат в воздухе, над глубокой, темной, зияющей бездной… Этот образ приковывал к себе чем-то загадочно-демоническим и горячей, упоительной поэзией чувственных, сладострастных грез… Это было какое-то могущественное и злобное обаяние царицы Клеопатры, заговорщицы-польки, демона-баядерки и очковой змеи вместе и в одно и то же время.

Он чувствовал, как становится ничтожен пред нею, как падает вся его решимость, вся отрезвляющая сила воли и рассудка, даже… даже чести перед соблазном и хмелем этого обольстительного, прекрасного дьявола-женщины.

"Вернуться в Питер…" думал Хвалынцев, "но там ведь теперь и *она*, и Таня, и тетка ея, и Устинов… Вернуться, а *что скажут!..* Что подумают обо мне?.. Да и одни ли они? А Свитка? А Бейгуш? а Колтышко? а Чарыковский?.. А главное, что оно-то скажет, что она подумает?.. Какими глазами я встречусь и с ней, и с Таней, и со всеми этими людьми?.. Ведь это срам будет, малодушие… даже больше: это будет глупо и смешно, дурацки смешно!.. Поехал вдруг человек в военную службу вступать и вдруг на тебе! чрез две недели вернулся: "Здравствуйте! я к вам обратно…" Что ж так? Значит струсил, любезный? аль мужества и силенки не хватило? али мальчишка еще?.. Ведь это срам, позор! Это всеобщее презрение будет, смех, сарказм, насмешки… Положим, хоть и не выскажут мне этого в лицо, но я сам, я в глазах читать все это буду, я буду чувствовать это!.. Даже хуже: мне вечно *казаться* будет это!

"Нет, вернуться окончательно невозможно!" твердо порешил себе Хвалынцев. "Надо идти вперед, дальше, выше... Куда? — Бог весть куда!.. Иди с завязанными глазами, куда ведут тебя!.. Ты ведь раб теперь — раб собственного честного слова и... этой женщины!.."

И он на несколько минут, по-видимому, бесповоротно, беспомощно, без всякой попытки на борьбу, отдался этому течению.

Но воспоминания гродненского дня и всей этой литовско-панской недели как-то невольно, сами собой пришли опять ему в голову.

"Как же, однако, идти мне и с ними, с людьми, с которыми у меня нет да, как видно, и не может быть ничего общего, и никогда не будет?" снова задал он себе мучительный вопрос. "Ведь не выдержу! Чувствую, что не выдержу, не вынесу я их и всей этой их ненависти, узкости, мелкости, и всей их жизни и характера, которые мне так глубоко противны...

..."Фу! Боже мой!.. Подумаешь: в какое я болото залез, в какую безвыходную ловушку попался!.."

При этом он даже остановился посредине улицы.

..."Ах ты, жалкий, жалкий, ничтожный бесхарактерный ты человечишко!.."

Это самоугрызение, самобичевание было невыносимо тяжело и в то же время как-то жутко, болезненно-приятно, словно бы давно уже ноющий больной зуб, который все ноет, ноет, потом как будто начинает затихать, замирать понемногу, все тише и тише, все легче и легче, и вот совсем затих, замер... и так приятно, так хорошо это утомленно-нервное забытье... И вдруг опять его схватило, задергало! Опять заныл, еще пуще, еще больнее прежнего... И так повторяется все это дальше и дальше, каждый час, каждую ночь, недели и месяцы, бесконечно, беспрерывно, безнадежно и беспредельно...

"Фу! какое проклятое существование!

..."Но как же быть, однако, и что делать?" опять встает все тот же роковой, неотразимый вопрос.

..."Надо решиться.

"Да, надо. Но на что решиться?

..."Ехать в Варшаву и...

"Служить?

..."Да, служить в военной службе, коли уж решился раз и нарочно поехал за тем. Служить... Конечно! И непременно служить!

"И как?.. Пожалуй, "верой и правдой"? — насмешливо подшептывает какой-то внутренний, беспощадно язвящий, иронический голос.

..."Да!.. И верой и правдой, как служит Холодец, Устинов, например, как все порядочные и честные люди..." "Я на двух стульях сидеть не умею" — ах, какое это у него убийственное колючее, беспощадное, прожигающее слово вырвалось сегодня!..

"А вы, милостивый государь, небойсь, и на двух как-нибудь усидите, сбалансируете? ась?

..."Нет, черт возьми... Врешь!.. Врешь, подлец!" — с нервным скрежетом зубов и с подергиваньем личных мускулов, говорит какой-то внутренний возмутившийся честный голос: "Не стану! Не усижу! Не хочу, не буду сидеть!"

"А Цезарина?"

И опять наплывет темное, беспомощное, беззащитное бессилье, которое как-то сковывает и душу, и мысль, и руки, опущенные, повисшие как плети...

..."Итак! опять-таки на что же решиться?

"Ехать и служить... служить просто, ничего не предпринимая по *этому* делу, не ходить к Палянице, не предъявлять ему своего условного числа... то есть ровно-таки ни шагу не делать в этом направлении самому и ждать, пока что-нибудь не случится особенное.

..."Да что же именно?

"Что? Не знаю... Что-нибудь!.. Как судьба укажет..."

Он в эту минуту был похож на того голодного фаталиста-дервиша, который подставил свою голову под страшную грозовую тучу и, ничего вперед не загадывая точного и определенного, ждал что будет? ждал *безнадежно,* что может из этой тучи убьет его громом небесным, а может она же пошлет ему и небесную манну.

Между тем, несмотря на все сомнения, на всю нерешительность, на все бессилие воли пред всепокоряющей мыслью о Цезарине, несмотря даже на недавно зародившееся злобное отвращение к панам полякам и их панскому делу, его все словно бы тянуло перегнуться через тоненькую жердь, зыбко обрамлявшую этот колодезь, и пытливо заглянуть в его темную, мглисто-черную глубину. Это в Хвалынцеве было несколько похоже на давешное чувство при виде ужа: его и тянуло любоваться на красиво изгибающуюся змею, и почему-то неприятно, нервно тяжело было смотреть на нее, как она обвивалась вокруг руки доктора и проделывала свои уморительно смешные, но в то же время грациозные курбеты.

Это также похоже было и на "чувство темноты", на то особенно знакомое детям чувство темной комнаты, когда они, в темнеющие сумерки, забившись в уголок около печки и тесно прижавшись друг к дружке, рассказывают себе страшные, морозом подирающие сказки о мертвецах и привидениях, а густая, таинственная тьма смежной пустой комнаты, меж тем, глядит на них сквозь открытую дверь... Итак жутко становится на душе, так боязно, а между тем что-то так и подмывает, чтобы — нет-нет да и бросить косящийся взгляд в эту немую и почему-то страшную, пугающую тьму... и все думаешь, слушаешь, ежишься и ждешь, что вот-вот сейчас оттуда покажется из темноты и заглянет слегка в дверь что-то белое, страшное, неведомое... и боишься его, и хочешь, чтоб оно показалось, — и потому снова и снова невольно, с каким-то жутким, замирающим наслаждением ужаса косишься на страшную темноту, глядящую в дверь этой смежной комнаты.

Нечто подобное, напоминающее ощущение детства, только вызванное более серьезной причиной, испытывал теперь Хвалынцев, шагая по значительно опустевшей, темной улице незнакомого города.

Он, наконец, оглянулся, пришел в себя и заметил, что зашел не туда, куда следовало, и очутился около ворот Борисоглебского монастыря... Лампада тускло мерцала пред образом, в глубине надворотной часовни... Вокруг все так пусто, тихо, безлюдно... Вдалеке кое-где огоньки виднеются в окнах убогих деревянных домишек... Собака где-то завывает так жалобно

и протяжно. Хвалынцеву вдруг стало еще жутче как-то. Он быстро повернулся и спешными шагами пошел назад к нумерам Эстерки.

"Итак, на чем же мы остановились?" задал он себе опять пытающий вопрос. "Да!.. Ехать, служить, ничего не предпринимая и... ждать что будет".

И — странное дело! — остановясь на таком почти неопределенном решении, он вдруг почувствовал себя как-то легче и спокойнее.

Это опять-таки было чувство страуса, в минуту опасности, в минуту преследования врагом, прячущего свою голову в колючий куст иссохшего терновника и воображающего, что если он не видит, то значит, уже укрыт и безопасен.

Страус, конечно, жестоко ошибается; но страусу все-таки становится от этого и легче, и спокойнее.

XI. Опять неприятности

Придя в свой номер, Хвалынцев узнал, что Свитка все еще не возвращался.

"Ну, как бы то ни было, придет он, или не придет, а завтра утром я еду", решил себе Константин, скидая и передавая человеку свое пальто.

Тот вздел его на вешалку и вдруг с удивлением и улыбкой в голосе процедил себе сквозь зубы:

— Э-э!.. От-то штука!.. а-га!.. Бардзо[131] чисто!.. Ось як!.. И-и!.. и тут!

— Что там такое? — обернулся на него Хвалынцев.

— Прошен' пана!.. Нех пан сам зобачи!

И он развернул обе полы. Вся спина пальто как бы не существовала: на ней в нескольких местах виднелись пятнистые дыры различных величин, словно бы вещь была облита сзади какой-либо едкой жидкостью.

— Что это!? — в недоумении спросил Хвалынцев.

— Витриоля![132] — с обычной своей плюхопросящей, равнодушно-подсмеивающеюся ухмылочкой пояснил ему нумерной.

— Ах ты черт возьми!.. Где это угораздило так!?

— Альбож я вем? — пожал плечами лакей, — а пенкне таки пан убралсен!..

— Экие мерзавцы! — с досадой выбранился Хвалынцев. — Хорошая вещь — и теперь хоть к черту бросай!.. Какие негодяи, однако!

— Ктось то? — с наглою, притворно-непонимающею и как бы дразнящею миной, уставился на него лакей глазами.

— Кто?.. Ваши братья полячишки поганые!.. Вот кто!

— Пршепрашам пана! Нигды! — поднял лакей свою голову с тою характерной "гордостью народовей", по выражению Холодца, которая способна еще более раздражать и без того уже

раздраженного человека. — Нигды, муй пане! Поляцы то завше сон' наипоржонднейшы люд у свеци! То шляхетны люд, муй пане, а не таки, як пан муви!.. А може для тэго так сробили пану, — пояснил он, помолчав немного, — же пан есть москаль... може пан, на улицы размавиал з ким по-москевську?

— Так по-каковски же мне говорить, черт вас возьми!

— А, ну — то так есть!

— В полицию бы за это за решетку! чтобы поморили хорошенько! — досадливо бормотал себе под нос наш революционер, возмущавшийся бывало при самом слове «полиция» — и увы! опять-таки не почувствовал теперь за столь преступную мысль ни малейших угрызений совести.

— А! до полиции? — Можно и так! Алежь впршуд налёжы бым злапац,[133] а пан не злапал... Хе, хе, хе-ее!

— Ну, жаль, что не заметил, а уж избил бы хоть, по крайней мере! — ходючи по комнате говорил Хвалынцев, срывая свою бессильную досаду этим бесплодным бормотаньем, хотя сам в душе своей и знал, что ведь никак бы не избил; но теперь ему хотелось так думать, что избил бы непременно.

Лакей опять ухмыльнулся с выводящей из пределов терпения "гордосцью народовей".

— А-а, бицьсен'! — расставил он руки, пожимая плечами. — Пршепрашам пана! бицьсен' ту не вольне!.. Може в России то вольне — невем тэго, а в Польскей — то кэпьски интэрес, муй пане... О-ой, бардзо кэпьски!

Хвалынцеву стало, наконец, казаться, что пан лакей не то издевается над ним, не то нотации ему читает. Это его взорвало.

— Что?! — крикнул он, сдвинув сердито брови и быстро подступая к пану лакею.

Но сей нимало не испугался. Напротив, все лицо его так и вызывало на историю, так и говорило: голубчик, сделай одолжение, хвати меня! Лучшей услуги ты мне и оказать не можешь! Только хвати, а уж я тебя сейчас же «злапаю», и впутаешься ты у меня в скандал, и поделишься со мною в заключение своим карманом на самом легальном основании, и потому пан лакей, в ответ на его грозное "что!?" вылупя глаза и близко подставив ему свою физиономию, с невыразимо шляхетным нахальством ответил:

— А то! — да так и остался перед ним с нагло-вылупленными бельмами и с плюхо-вызывательно подставленной мордой.

В первое мгновение у Хвалыниева уже застучало было в висках, в глазах зарябило и от макушки головы побежали, стекая и прыгая вниз по всему телу, зловещие мураши бешенства, но к счастью, он как бы сквозь тяжелый сон опомнился и понял, что его *вызывают* на крайность, что именно этого-то и хочется...

А лакей меж тем продолжал еще стоять в своей дразнящей позе, которая безмолвно как бы говорила все то же: "а то"!

Эта выдержка лакейской наглости, как только Хвалынцев опомнился и сдержал себя, во второе мгновение уже заставила его, как мимозу, по обыкновению съежиться.

— Счет мне подать! — резко сказал он, отходя от нумерного. — Утром я еду. Только чтобы счет был по-русски, я ваших польских не понимаю.

Лакей, изменив вызывающую позу на прежнюю равнодушно-спокойную, продолжал стоять и рассматривать дыры на пальто.

— Счет, говорю! И убирайся к черту! — вспыльчиво топнул Константин ногой, в досаде уже на самого себя за то, что вот опять-таки, невольно съёжился и уступил польско-лакейской наглости.

Лакей, очевидно, разочарованный в своих приятных ожиданиях плюхи, скандала и вознаграждения, повернулся и угрюмо, но неспешно вышел за двери.

— О, Господи!.. Когда же, наконец, это кончится! — схватясь за голову, с отчаянным вздохом проговорил себе Хвалынцев.

Через несколько минут лакей вернулся и подал счет.

— Но ведь это по-польски, — сказал Константин, взглянув на бумажку.

— А так, — подтвердил тот.

— Ступай и принеси по-русски.

— А, муй пане! — досадливо дернулся лакей. — Кеды ж ту нема никого, кто-бым розумел и писал по-русську! альбож для пана не вшйстко то рувне?!

Хвалынцев в нарочном спокойствии поднялся с места.

— Если мне через пять минут не будет принесено русского счета, — сказал он решительно и твердо, — то я с этим вот самым счетом пойду в полицию и попрошу, чтобы мне там перевели его по-русски; в таком случае и деньги будут там же уплачены. Но не иначе! Ступай!

Минут через десять нумерной явился с русским счетом. Последняя угроза возымела надлежащее действие, потому что хотя гродненская полиция и была переполнена добрыми патриотами, но составители счета очень хорошо чувствовали и понимали, что ни один из этих полицейских патриотов не упустит приятного случая слупить с них лишний рублишко "за беспокойство". Хвалынцев принял из рук лакея длинноватую бумажку и не без некоторого усилия стал разбирать ее:

Рахунек

За выпис двоих паспорты — 40 гроши

За нумеру дви сутку — 3 рубля

Самоварек еден — 40 гроши

Дви свицы — 2 злоты 10 гроши

Дви постелю з билизней — 1 рубель

Дви порции дрова — 3 злоты 10 гроши

Шкло выбите и друге шкло — 1 рубель

Огулем — 6 рубли гроши 50

— Да это разбой! — невольно вскричал Хвалынцев, дойдя до итога. — Шесть рублей за скверную комнату! за клоповник!.. И наконец, с какой же стати мне еще и за стекла платить?

— А кто ж бым мусял заплациць?! Може пан мнема собе, иж-то я повинен плациц? то пршепрашам: естем не коштовны, не пенензы чловек!

— Это вы что же, со всех так дерете? Или только с меня за то, что я "москаль"? — с раздражительно-злобной усмешкой спросил Хвалынцев.

— Тэго невем, муй пане! алеж таки есть рахунек, — развел руками лакей.

— Позови мне хозяина! — додумался Константин Семенович.

— Его нема в дому, муй пане! — доложил нумерной.

— Ну, так конторщика там, что ли!

— Так само, муй пане.

— Что такое?!

— Так само, муй пане.

— Да что такое "так само", черт возьми?!. Тоже дома нету, что ли?

— Так само, муй пане.

— Тьфу, ты черт, — досадливо плюнул Хвалынцев. — Наладил себе "так само"... Ну, уж народец, нечего сказать!.. Да на вашего брата не «москевский», а разве татарский бы «ржонд» только впору!.. Ах, вы анафемы эдакие!

— Не разумем, по пан кржичи... Ниц не розумем!

— Ну, если нет и конторщика, так есть же кто-нибудь, наконец? — спросил Константин.

— Нема никого, муй пане.

— Да ведь "рахунек"-то этот писал же кто-нибудь?

— Так есть, муй пане.

— Ну, так кто же писал его?

— Чловек, муй пане.

— Так позови же ты мне этого "чловека".

— Так само ж, муй пане.

— Что такое опять "так само"?!

— Пршедставьям пану, иж так само.

— Фу, ты, Господи!.. Да с ними, наконец, каменное терпение, и то лопнет!.. Я тебя спрашиваю: что такое "так само"?.. Тоже дома нету, что ли?!

— Так есть, муй пане.

— Врешь, каналья! — крикнул выведенный из себя Хвалынцев, стукнув кулаком по столу.

Лакей тотчас же принял позу «гонорову», исполненную великого собственного достоинства.

— Прошен' пана не уронгацьсен' бо естем шляхциц родовиты од потопу! пршинаймней бедны, алеж родовиты, правздзивы шляхциц! — Так само як и пан, и може й еще венцей[134] од пана! Алеж бедны и тыле для тэго на служебн*и*цкем урождованью![135]

— Позвать мне того, кто писал! — еще настойчивее крикнул Хвалынцев.

— Мам гонор доложиц пану, же нема в дому! — вразумительно ответил с поклоном лакей.

— Кто же есть, наконец?

— Естем сам до услуги панськой! — снова поклонился нумерной.

— Так это ты писал, значит?

— Я-а?! — гордо отклонился он назад, все тем же благородно-польским жестом указывая себе на грудь. — Пршепрашам пана, по москевьску не имем ни мувиц, а-ни ч*и*тац, а-ни п*и*сац: естем кревны поляк, муй пане!

Хвалынцев все более и более убеждался, что над ним издеваются самым наглым, самым непозволительным образом. И хуже всего, что (он понимал), раз начавши историю из-за разбойничьего счета, взять теперь и уплатить значило бы признать себя побежденным, а в таком случае из чего же было и подымать всю историю? Сказать, что заплачу, мол, после — не значит ли подать им повод думать, что это с его стороны тоже косвенное признание себя побежденным, или же пустой, вздорный каприз, или же наконец, что хуже всего, подать им подозрение, будто у него и денег-то нет ни копейки, и что он думает подождать возвращения товарища, который за него заплатит?

Одним словом, Хвалынцев понимал, что с своею ребяческою запальчивостью он попал в самое нелепое, в глупейшее положение, из которого просто не знаешь, как и выпутаться хотя бы с каким-нибудь достоинством.

"Какой же я жалкий, бессильный младенец", думалось ему с досадой и едкой горечью над самим собою. "Какое же я, должно быть, ничтожество, если всякий лакей, первый попавшийся прохвост может безнаказанно куражиться и издеваться надо мною!.. И наконец... наконец, как низко, как презрительно втоптано здесь в грязь русское имя... Ведь это все за то, что я русский... О, Боже! — "Естем родовиты поляк, муй пане", еще как будто бы звучали, меж тем, в его ушах полные шляхетной гордости и достоинства последние слова нахального пана-лакея.

— Мне нет дела до того, какого сорта ты прохвост, польский или жидовский! — все более выходя из себя, ругался и кричал Хвалынцев. — Если ко мне тотчас же не придет тот, кто писал этот счет, то я сию же минуту поеду хоть к губернатору и найду на вас, скотов эдаких, управу! Слышишь ли ты, мерзавец?

— Прошен' пана не кржичец, бо я й сам закржичен' еще й глосней и грозней! — с дерзкой угрозой возвысил голос лакей, и вызывающе подняв свою голову, сделал кулаком угрожающий жест своему противнику.

Хвалынцев просто задыхался от бешенства. Это было похоже на тяжкое, сковывающее все члены, язык и волю ощущение сонного кошмара.

— Вон, негодяй!.. Или убью на месте! — с невероятным усилием высвобождая голос из онемевшей гортани и груди, дико завопил он и, схватив за спинку первый попавшийся довольно тяжелый стул, как перышко, с неестественной, необычайной нервной силой, угрозливо взмахнул им над головою. Лакей попятился и закричал словно бы его режут:

— Ратуйце, Панове!.. Гвалт!.. Варта!.. ой-ой-ой, варта, Панове!!.[136]

В это самое мгновение внезапно распахнулась дверь, и на пороге — весь бледный, недоумевающий появился Василий Свитка.

Хвалынцев чуть-чуть лишь мимо головы лакея с размаху с громом и треском швырнул свой стул в пустой угол. Нумерной едва-едва успел уклониться от страшного удара.

— Что это?.. Боже мой, что тут такое?! — взволнованно забормотал Свитка и вдруг, заметив лакея, повелительно крикнул ему: "вон!" — но не довольствуясь еще и этим, ухватил его за шиворот и вышвырнул за двери.

XII. После бури

— Что с вами?.. Константин Семенович... батюшка!.. Голубчик, что с вами? — перепуганно бормотал, весь бледный, Свитка, ухватив его за руку и заглядывая в лицо. — Успокойтесь, Бога ради... В чем дело-то?.. а?.. голубчик!..

Но Хвалынцев не мог говорить. У него потерялся голос и, кажись, самая возможность, самая способность произнести хотя бы то одно какое-нибудь слово. Он только хрипло, тяжело и медленно дышал широко раскрытым пересохшим ртом, как-то захлебываясь вдыхаемым воздухом, словно бы ему мало было этого воздуха или бы что-нибудь не пускало его проникнуть в легкие. Кровь до такой степени прихлынула к груди, что он все еще задыхался и был бледен, как синеватое полотно. Все тело дрожало конвульсивно-лихорадочною дрожью, и одни лишь глаза горели тусклым зловещим огнем бешеной собаки. Он пока еще не помнил себя: *человек* исчез в нем окончательно, осталась одна физическая, животная сторона бешенства, свойственная лишь сумасшедшему или же дикому зверю. Грудь с каким-то истерическим заиканьем рыданий глухо клокотала внутри и то подымалась, то опускалась высоко и медленно. Он был страшен. Состояние его было близко к нервному удару.

Свитка испугался не на шутку и, не говоря уже ни слова, тихо, на цыпочках отошел в сторону и робко поглядывал из угла на своего приятеля, сомнительно ожидая, чем-то все это кончится и немало-таки струхнувши в душе за свою собственную безопасность.

Так прошло минуты три.

Вдруг Хвалынцев повалился на кровать, около которой стоял, и разразился глухими, истерическими рыданьями.

В них теперь было его единственное спасение. А если бы не они, то нервный удар не замедлил бы.

"Эге, брат, так вот ты каков дикий гусь", подумал себе Свитка, все еще не осмеливаясь снова подойти к нему. — Да с тобою, как видно, шутки-то иногда и плохи бывают!..

"Это и хорошо, и дурно", продолжал он думать; "с одной стороны хорошо, даже очень хорошо, а с другой очень дурно"...

Хвалынцев продолжал рыдать, но конвульсивные вздрагивания становились уже реже и тише. У него наконец-то выжались слезы, и уже они теперь начинали одерживать внутреннюю победу над потрясенным организмом. Со слезами понемногу возвращалось и нравственное сознание.

Заметив этот благополучный перелом, Свитка с некоторою осторожностию решился наконец приблизиться к приятелю.

— Константин Семенович, — робко и тихо заговорил он, — а, Константин Семенович!.. Да очнитесь же хоть чуточку!.. Ну, успокойтесь... придите в себя... Да вот что, выпейте-ка воды, это лучше будет... успокоит вас... Ну, хоть один глоточек...

И он, поспешно налив стакан, подвес его к Хвалынцеву и в эластичной позе, готовый тотчас же отпрыгнуть назад при малейшем угрожающем движении, решился осторожно приподнять с подушки его голову.

— Ну, голубчик... ну, миленький... ну, хлебните же... хоть глоточек-то! — дружески, умоляющим голосом лепетал он.

Константин жадно прильнул губами к краю стакана и из рук Свитки опорожнил его большими, тяжелыми булькающими в груди глотками.

— Еще! — просипел он невнятным шепотом, вздыхая при этом содрогающимся, перерывчатым вздохом, каким обыкновенно вздыхается людям, а особенно детям, после тяжелых слез, натомивших и обессиливших грудь конвульсиями рыданий.

Свитка поспешил налить и подать ему второй стакан и даже взял в руки графин на случай, если бы понадобилось наливать третий, или защищаться от бешеного нападения: он все еще не вполне был уверен в наступившей безопасности.

Хвалынцев и этот стакан хватил столь же жадно и залпом.

— Что это с вами, друг мой?.. Скажите, Бога ради, как? что? почему? — успокоительно и участливо приступил к нему Свитка.

— Н-н-не мо-гу... п-потом, — через силу произнес Константин.

— Ну, ну, не надо, не надо теперь... после... а теперь вы, главное, успокойтесь... Да не надо ли лавровишневых капель?.. а?.. Я пошлю сейчас!

Тот отрицательно и с нервной гримасой покачал головою.

— Ну, хорошо, хорошо... только успокойтесь... Воды еще не хотите?

И он предупредительно налил третий стакан, от которого тоже не последовало отказу, и после этого, едва лишь через полчаса с лишком, Хвалынцев настолько успокоился и пришел в себя, что мог думать, соображать и беспрепятственно владеть языком, одним словом, разговаривать.

— Боже мой, ведь я чуть не убил его! — медленно, от глаз к затылку проводя по голове рукою, проговорил он.

— Н-да-с… вон стулище-то и то лежит в углу разломанный, — заметил Свитка.

Хвалынцев покачал головою.

— Счастливый случай, — прошептал он.

— Что это, счастливый случай? — недоумевая, переспросил его приятель.

— Да то, что Бог уберег… ведь чуточку правее, да не увернись он вовремя — и насмерть бы!.. на месте!..

— Да… это ужасно! — раздумчиво согласился Свитка. — Но расскажите же теперь, — присовокупил он, дружески взяв его за руку, — что вас так взволновало?

— Да многое-с!.. Это с самого утра еще началось.

И он, насколько позволяло ему теперь настоящее его состояние, рассказал своему ментору и посвятителю историю с камнем, с кондитером, с лакеем трактирным, казус ножной ванны в сточной канавке, казус с пальто и наконец всю возмутительную проделку плюхо-просившего лакея, который, наконец, дошел не только что до крику, но до наступательной угрозы замахивающимися кулаками.

— Вон, полюбуйтеся на мое пальто да и на этот счетец! — заключил Хвалынцев.

Свитка, взглянув на первое, только головой помотал огорченно да сделал вид, будто эта проделка до глубины души возмущает его.

— А что до счета, — сказал он, беря бумажку, — то позвольте, это что-нибудь да не так: либо недоразумение какое, либо же просто сами лакеи думали сорвать с вас лишку… Позвольте, я сейчас же пойду сам и все это разузнаю.

И он поспешно вышел из комнаты.

— Ну, так и есть, — возвестил он, возвращаясь минут через десять, в течение которых Хвалынцев, особенно после облегчения души рассказом, почти совершенно успокоился, — так и есть! И вышло по-моему, что жидок-конторщик, то есть не конторщик собственно, а помощник конторщика, который наваракса л эти каракули, хотел попользоваться малою толикою и — врет бестия! — отговаривается тем, что перепутал нечаянно запись нашу с соседним нумером, да еще тем, что плохо понимает русский язык, — последнее-то, конечно, справедливо.

— Ну, уж это как водится!.. Знаем мы! — недоверчиво пробормотал Хвалынцев.

— А черт их знает! может, и правда, а может, и врут! — сказал на это Свитка. — Но дело в том, что с нас всего-то навсего, как оказалось теперь, приходится только два рубля семь гривен, и ни за какие стекла ничего этого не нужно: значит, на вашу долю рубль тридцать пять.

— Что там за доли!.. Стоит ли о таких пустяках! — махнул рукой Константин. — Позвольте уж мне одному… ведь все равно?!. Вы же на дороге платили…

— Н-ну, как хотите! — как бы нехотя согласился приятель.

— Только позвольте попросить вас… будьте так добры, кликните этого мерзавца нумерного.

— Да-а… Зачем он вам?.. Лучше потом уж.

— Чего вы? — с доброй улыбкой поднял на него глаза Хвалынцев, — не бойтесь, не убью… теперь уж прошло.

Свитка исполнил его желание — и нумерной явился вдруг как шелковый, — словно бы совсем в другого человека переродился.

Хвалынцев заметил про себя столь резкую и столь быструю метаморфозу, причем не без основания подумал, что ею он обязан все тому же своему ментору и посвятителю, который, вероятно, задал там этому лакею добрую и патриотически-внушительную головомойку. Оно так и было действительно: Свитка даже припугнул всех этих панов-лакеев и конторщиков великим и таинственно-важным значением Хвалынцева, что это, мол, такой человек, который, коли захочет, то всех их завтра же, если даже не в ночь, может хоть бы в следственную политическую комиссию отправить и в тюрьму засадить, и что этим человеком даже сами патриоты и наивельможнейшие паны дорожат и стараются заслужить его благоволение, и что с ним было поступлено очень, очень опрометчиво и глупо.

Свитка врал, но сумел соврать все это столь серьезно, веско и внушительно, и притом с таким чувством доброжелательной, патриотической и польски-родственной приязни к опрометчивому лакею, что и шляхтич-лакей, и конторщик поверили ему, пожалуй, более даже чем наполовину.

Пан-лакей весьма вежливо и почтительно принял от Хвалынцева следуемые деньги и еще почтительнее преподнес ему на блюдечке причитавшуюся сдачу. Когда же Константин пренебрежительно отодвинул эту сдачу несколько в сторону, ясно дав понять нумерному, что он может взять ее в собственную свою пользу, то "родовиты шляхциц од потопу" как-то преподленько и прегнусненько изогнувшись, с заискивающей улыбочкой припал было к локтю Хвалынцева, но тот быстро и с пренебрежением отдернул свою руку. — Отпотопный шляхтич, слегка клюнувшись носом, чмокнул целующими губами один лишь воздух и с глубоким поклоном, в почтительнейшем согбении, на цыпочках удалился из нумера.

XIII. Свитка слегка показывает свою настоящую шкуру и когти

— Ну вот вы теперь, кажись, и в самом деле, совсем успокоились!.. Я так рад, право! — приветливо и даже весело заговорил Свитка. — Простите меня, Бога ради, что я вас так неделикатно бросил сегодня на произвол судьбы!.. Я никак не рассчитывал!.. Предполагал вернуться домой еще утром, часам к одиннадцати, но… вышел такой непредвиденный казус… дела, обстоятельства разные задержали… И знаете ли, очень и очень таки важные дела!.. Ей-Богу!.. Уж я было порывался к вам — и совесть-то мучит, и беспокоюсь, но… вот только что теперь успел отделаться и покончить!.. Бога ради, вы уж извините меня!..

— Да полноте! — перебил его Хвалынцев протягивая руку, — я нимало не думаю претендовать на вас! Нужное дело прежде всего!.. Об этом что ж, и говорить нечего!

— Так вы не сердитесь?! — весело схватил его руку Василий Свитка.

— Да нет же, говорю вам! Воистинно нет!

— Ну, вот, благодарю вас, голубчик!..

— Ах, знаете, я так рад, так доволен нынешним днем! — с каким-то трудно-сдержанным внутренним увлечением говорил через минуту Свитка, быстро и легко расхаживая по комнате и весело, светло улыбаясь. — Так доволен, что просто и сказать не умею!.. Дела идут отлично! Планы удаются превосходно!.. в некотором роде "и солнце, и любовь", и все, что угодно! — так ведь это, кажется, в каком-то романсе поется?.. Но это все пустяки, так себе, бирюльки, привески, а всего главнее то, что дело — *дело-с,* батюшка мой, удается!

— Знаете ли что? — быстрым поворотом остановился он вдруг пред Хвалынцевым. — Я сегодня в таком исключительном настроении, что ужасно как хочется выпить!.. Я уж пил сегодня порядочно; но все-таки хочется еще… "паки и паки!.." Выпьемте-ка бутылочку! Тем более, что завтра мы расстаемся, так уж на прощанье!.. а?..

Хвалынцев после всей этой последней передряги чувствовал какую-то внутреннюю жажду, так что и сам не прочь был бы чего-нибудь выпить, и потому он не отказался от сделанного ему предложения.

Свитка вприпрыжку вылетел в коридор и заказал бутылку шампанского, которое очень скоро явилось к его услугам, так как у "мадам Эстерки" имелся свой собственный погреб.

Когда шелковый шляхтич-лакей, откупорив бутылку, налил вино и удалился, Свитка поднял свой стакан.

— Ну, за успех нашего общего дела! — предложил он тост, изъявляя намерение чокнуться с приятелем.

Но последний, к крайнему его удивлению, стакана не поднял и не чокнулся.

— Константин Семенович!.. Что же это вы, батюшка? — вытаращил на него ментор свои глаза. — Или не слышали моего тоста?

— Нет, слышал очень хорошо-с!

— Так что ж не пьете-то?

— Я, любезный друг мой, не имею обыкновения пить за то, чего не знаю и даже не понимаю вовсе, — сказал он тихо, размеренно и внятно.

Свитка чуть даже стакана не выронил. Его словно бы так и отшатнуло назад.

— То есть как же это?.. Объяснитесь, Бога ради! — пробормотал он.

— Да, нам, действительно, надо объясниться; и хорошенько, окончательно переговорить между собой! — все тем же ровным и спокойно-решительным тоном согласился Хвалынцев.

— Извольте, я готов… Я вас слушаю, — промолвил Свитка и, выпив залпом свой стакан, придвинул себе кресло и уселся поближе к столу и к Хвалынцеву.

— Прежде всего я должен вам сказать, — собравшись с духом, начал Хвалынцев, — что я поступил крайне опрометчиво, крайне малодушно и даже… даже *недобросовестно,* давши вам слово на такое дело, которое для меня была тьма непроницаем мая. Но извините меня, Свитка: я буду вполне откровенен и, может быть, даже резок.

— Я вас слушаю, — слегка склонив в знак согласия свою голову, промолвил ментор. — В чем

же-с "но"?

— Хм... "*Но*" мое в том, как я думаю, — продолжал Хвалынцев, — что и вы поступили недобросовестно, взявши с меня слово. И тем более, вы ведь очень хорошо знали, что слово-то я, совсем как дурак какой, даю вам, а о деле сам-то понятия ни малейшего не имею!

— Вы ошибаетесь: вы знаете столько, сколько вам *нужно* знать... Вы знаете даже несколько более! — внушительно и веско заметил Свитка.

— О, да! — подтвердил Хвалынцев. — Теперь-то я действительно узнал его гораздо более, чем бы вам хотелось, может быть! Вы совершенно правы. Поэтому-то я и говорю теперь с вами... Я буду продолжать.

— Слушаю-с.

— В то время, как я имел непростительную глупость дать вам мое слово, у меня, признаюсь вам, были *свои* воззрения на это дело, собственные прелестные иллюзии, основанные отчасти Бог весть на чем, на своей фантазии что ли, а отчасти на уверениях ваших и... *той* женщины... Вы знаете ее. Эти-то вот мои иллюзии и заблуждающиеся взгляды могут отчасти, если не извинить, то хотя бы объяснить вам мою опрометчивость. Чем извинять прикажете вас — я не знаю.

Свитка сделал нетерпеливое движение.

— Постойте, не перебивайте меня... благо уж так меня прорвало! — слегка дотронулся до него Константин. — Я разочаровался в вашем деле. Я узнал его, конечно, еще слишком мало; но уже слишком много и горько разочарован даже и тем, что узнал, — а что же будет далее?.. Помните ли, Свитка, вы мне постоянно толковали, что у нас с вами один общий враг, это — наше русское правительство?

Ментор утвердительно кивнул головою.

— Ну-с, а я теперь с болью, но воочию убедился, что враг ваш не правительство, а русский народ, русский смысл, весь склад русской народной, земской и государственной жизни (Хвалынцев повторял теперь давешнюю мысль Холодца, как бы за свою собственную). А с правительством с таким-то вы бы еще ужились, да пожалуй и преудобно, отлично ужились бы!

Свитка только улыбнулся себе под нос очень иронической и горькой усмешкой.

— Затем-с, — продолжал Константин Семенович, — и вы неоднократно, и графиня Цезарина уверяли меня, что это дело идет "за свободу вашу и нашу".

— Да, да! За свободу!.. За свободу вашу и нашу! — с энтузиазмом перебил ментор и налил себе новый стакан.

— Хороша же свобода, нечего сказать! — теперь уже в свою очередь с горечью усмехнулся Хвалынцев. — В чем она и где она, эта *ваша,* но не наша хваленая свобода? Вы толкуете о свободе и братстве, и о любви всечеловеческой; а это братство и любовь — уж не в травле ль православного попа? не в обирании ль темного, забитого хлопа? не в лишении ль его последнего куска хлеба? не в этих ли импровизованных бунтах, нагайках и казацких экзекуциях, где этот "ржонд московский" является вдруг — на смех и горе здравому смыслу — вашим лучшим, усерднейшим и бескорыстным пособником? В этом что ли ваша свобода-с?.. И почему, позвольте вас спросить, например, почему ваши милые, «либеральные»,

"интеллигентные" паны травили попа? Нут-ка, почему-с?

— Н. да так! просто глупая скверная шутка!

— Нет-с, извините! А я так думаю — потому, что это православный, то есть *русский* поп. Ксендза, небойсь, не травите! Ксендз у вас в почете! Потом, почему в таком загоне, в таком жалком виде православные церкви? — Опять-таки потому же, что это русские церкви! Почему в таком ужасном угнетении народ, который вашим панам желалось бы и вовсе пустить с сумою по миру? — Опять же таки потому, любезный друг мой, что это племя чуждое вам по крови даже; потому-то оно у вас и не народ, а *быдло,* потому-то вы его и в "шлею с хомутом" заковываете в рабочие дни!.. И это, по-вашему, свобода "ваша и наша", общее братство и любовь?!. Нет-с, это традиционная, историческая, племенная... да, к несчастию, племенная ненависть! Ну, да и народ же этот тоже и вас-то не меньше ненавидит!.. Слыхал я кой-какие тепленькие речи его! Да и вы сами — вспомните-ка хотя бы в корчме, на киермаше, ту песенку, в которой хлоп-то этот, захожий человек, молит Бога "кабы сгинули ляхи" — я ее по век мой не забуду! Она мне — спасибо ей — чуть не впервые глаза раскрыла!

— Эта вражда ничего не значит, — возразил Свитка. — Она делу не помеха, а скорее подспорье.

— Как подспорье! — вскинулся на него Хвалынцев. — Да что же вы, в смешки со мною играете, что ли!.. Не помеха!.. Хороша не помеха, если уж — да хоть бы я, например — человек, отдавшийся вашему делу, человек, имеющий некоторую претензию на цивилизацию, на умственное и нравственное развитие; человек, который эту вражду и так, и сяк старается, до известной степени, оправдывать, извинять, и при всем этом я не могу ее выдержать! В течение этих нескольких дней, а особенно сегодня, я почти на каждом шагу встречал такую страшную ненависть, подвергался таким оскорблениям, что — простите за откровенность — но я чувствую, как во мне самом начинает зарождаться и пускать корни такая же ненависть и к польскому делу вашему, и ко всей вашей Польше. А этой ненависти во мне и тени не было! Напротив, было самое теплое, братское, искреннее сочувствие! И за что же, наконец, вся эта злоба, вся эта ненависть? — Смешно и дико сказать! — За то лишь, единственное за то лишь, что *я русский!..* Боже мой! да скажите по совести, что же после этого может быть между нами общего? И как же это я-то пойду за ваше «общее» дело?

Свитка некоторое время молчал, в глубоком раздумьи понуря свою голову.

— Друг мой! — поднял он ее наконец с грустным вздохом. — Одно вам скажу на это: *смирение...* Смирение пред страдалицей, распятой на кресте человечества на Голгофе свободы вашими русскими палачами!.. Смирение, говорю, потому что вы, русские, слишком долго и безнаказанно мучили, терзали и оскорбляли ее!

— Фраза, фраза. И еще раз фраза! — тоже помолчав несколько, отчеканил ему на это Хвалынцев. — Если, во-первых, заглянуть в историю, то эта распятая страдалица и нас немало оскорбляла и распинала, а белорусса — так вот по сей день преотменно распинает. Это первое-с. А во-вторых, вы говорите: «смирение». Хорошо-с. Я поглядел бы, как бы это *вы* смирились, если бы вам, например, как мне сегодня, приходилось чуть не на каждом шагу натыкаться на мелкие, положим, но нестерпимые оскорбления. Что бы вы тут заговорили? И не вправе ли вы были бы подумать, что французский рецепт смирения что-то больно пахнет неуместной насмешкой и подбавляет только еще более горечи и отравы?.. *Смирение...* Ха-ха!.. И это еще один лишь день, а что же будет дальше?.. Или, может быть, вы посоветуете еще мне, ради избежания столкновений с вашими, наклеить печатную этикетку на свою шапку, где было бы изображено, что я, мол, член ржонда народоваго, да с этой вывеской в щеголять по

варшавским улицам? Это бы что ли еще? а? Как вы полагаете?.. Я так думаю, что это вполне стоит вашего *смирения.*

— Ну-с, итак, что же? — вновь поднял на него глаза свои Свитка.

— Что же? А вот что-с! — категорически ответил Хвалынцев. — Так как я к такому смирению нимало не чувствую себя способным, — а вон, чуть было не убил человека, — и так как на шапку свою предохранительного ярлыка наклеивать тоже не намерен, то долгом своим поставляю предупредить вас, чтоб от сей минуты вы более не считали меня принадлежащим к вашей организации.

Свитка сделал какое-то странное, порывистое движение, словно бы Хвалынцев падал в пропасть, и он хотел удержать его.

— Позвольте-с! — несколько отстранил его слегка рукою Хвалынцев. — Дайте мне кончить. На мой счет вы можете быть совершенно покойны: вы видели, что я не задумался вполне искренно и честно высказать вам все то, что лежало у меня на сердце; поэтому поверьте точно так же моей искренности и чести еще раз, если я вам скажу, что я не Иуда и не продам, не выдам — даже и под пыткой не выдам ни вас, и никого из ваших, и ни дела вашего, которого подробности для меня — terra incognita. Опасаться меня вам нечего, можете просто лишь вычеркнуть меня из ваших списков.

— Что же вы намерены делать? — с плохо скрываемой тревогой спросил Василий Свитка.

— Ехать в Варшаву и служить в военной службе.

— И только?

— И только-с.

— Но… послушайте, Хвалынцев!.. Подумайте: ваше честное слово, клятва ваша?

— Я вам сказал уже: я не Иуда и Иудой не буду.

— Не в том сила: Иуды — вы знаете — нам не страшны. От них очень удобно и легко мы отделываемся, в случае надобности; но… но я вас должен предупредить, что наше общество не прощает произвольного нарушения раз данного слова.

— Хм… Помнится, прежде вы не то говорили, — полунасмешливо улыбнулся Хвалынцев. — Склоняя меня вступить в ваше общество, вы уверяли, что если не сойдемся, то разойдемся просто и спокойно, как честные, порядочные люди, а теперь… ветры, вероятно, изменились?.. а?.. Но, все-таки любопытно бы знать, что делает ваше общество с нарушителями обманом взятого слова?

— Что-с? *Ка-ра-ет* их! — выразительно проговорил Свитка.

— Ах, вот оно что!.. *Карает!* презрительно усмехнулся Хвалынцев. — Что ж, это впрочем совершенно естественно, и вы во всякое время, даже хотя бы сегодня ночью можете вполне свободно «покарать» меня — заколоть, зарезать, застрелить, Удушить — смотря по тому, что более по душе придется. Я, со своей стороны, даже настолько не попрепятствую вам, что не потружусь перейти и в другую комнату, а чтобы не заставлять вас долго томиться ожиданием, то сейчас же раздеваюсь и ложусь спать. Покойной ночи желаю вам! — презрительно поклонился в заключение Хвалынцев.

— Послушайте, Константин Семенович, за что же вы меня-то собственно оскорбляете теперь! — с чувством дружеского упрека заговорил Свитка. — Бог с вами!.. Не ожидал я этого!.. Я понимаю, вы сегодня слишком раздражены, расстроены… и потому я не сержусь… я не могу и не хочу принять этих слов так, как, может быть, принял бы в другое время… Но… надо же кончить наш разговор.

— Я уже кончил, — возразил Хвалынцев. — Прибавлю в заключение одно разве, что за дело народное, за принцип демократический я мог еще идти вместе с вами. Но за дело в пользу дворян и ксендзов ваших, за революцию кастовую, шляхетскую и ксендзовскую я — «барич» и «дворянин» по происхождению, — я не пойду, несмотря на все ваши «кары» и прочее, и потому я беру назад, я возвращаю себе мое, обманом взятое у меня, честное слово. Довольно ли с вас этого?

— Пока совершенно довольно! — вежливо, но без малейшей злобы или иронии поклонился Свитка. — Ну-с, вы сказали уже *все,* что хотелось?

— Как видите!

— Прекрасно-с. Я вас слушал; теперь же прошу вас, выслушайте в свою очередь и вы меня.

— К вашим услугам! — слегка поклонился Хвалынцев и сел на прежнее место.

— Я у вас к тому прошу внимания, — пояснил ментор, — что, выслушав меня, вы может быть одумаетесь и возвратите мне обратно, с полным доверием, ваше отнятое теперь слово.

Все это было произнесено столь уверенно, столь, по-видимому, разумно-сознательно, что Константин невольно окинул Свитку изумленно-любопытным взором.

— Все, что говорили вы о панах и о народе, и о их взаимных отношениях, — начал последний спокойно, сосредоточенно, словно бы какую лекцию, — все это, говорю я, вполне верно, и я, относительно панов и народа, безусловно разделяю ваш взгляд.

Хвалынцев даже с места вскочил, пораженный такою неожиданностью.

— Действительно, Константин Семеныч, вы глубоко правы! — продолжал ментор. — Великорусский ваш крестьянин и в сотую долю не имеет понятия о том, что вынес на своей несчастной спине от панских милостей наш литовский хлоп… Об этом, если писать, то писать целые томы, и то пером разве Виктора Гюго!.. Наша магнатерия, наше панство — все это гниль и мерзость, которую надо с корнем вырвать. Я вас, знакомя с Литвой, нарочно повез к моему добродею пану Котырло, чтобы вы сами пригляделись ко всей этой белой сволочи. Я заранее был почти уверен, я знал, какого рода впечатления должны вы унести из такой панской трущобы, и — как видите — я не ошибся. У меня ведь в этом своя цель была, добрейший мой Константин Семенович!.. Все эти нумерные лакеи, кондитеры, трактирщики, все это панская сволочь, такая же, как и паны, из той же самой панской дворни, и все это та же самая порча, гниль и зараза, которую точно так же прочь! свести *на нет,* и разом!..

Хвалынцев глядел на своего ментора все более и более недоумевающим взглядом.

— Позвольте! — перебил он. — Да не вы ли же сами говорили мне постоянно в их защиту, и уверяли, что это все прекраснейшие люди, сок и соль земли вашей? И что же!

— Да-с, говорил, говорил, почтеннейший Константин Семенович и уверял вас в этом, — беспрекословно согласился Свитка. — Я *нарочно* становился на панскую, на белую точку

зрения, нарочно эдак мягонько противоречил вам, — продолжал он, — а ведь вы-то от этих противоречий, поди-ка, еще более мозгами сами в себе шевелили, еще более критический взгляд себе усваивали. Ну, признайтесь-ка, не так ли? Ну, говорите откровенно, по совести, прав я или не прав?

— М… может быть, — подумав, согласился Хвалынцев.

— Хе, хе, хе. Вот то-то же и есть, голубчик вы мой!.. В этом-то и штука-с — постучал пальцем об стол Свитка. — Итак повторяю вам, все это панство, шляхетство, магнатерия — все это гнилые корни, которые надо скорее прочь и печку подтопить ими. Они теперь испугались царской воли, да и повторения галицийской резни тоже побаиваются и потому, во-первых, совсем сбились с панталыку, не знают как быть им теперь с хлопом: то они с ним братаются, заигрывают, визиты, вишь, делают, а то нагайками лупят да казаков наводят; а во-вторых, схватились за заговор и думают сыграть выгодную партийку в политическую революцию, в *политическую,* заметьте, а не в *социальную.* "Как Можно! Боже избави, мол, нас от такого смертного греха". Ну, и пусть себе тешатся пока еще не пришел час их!.. Одним словом, — продолжал Свитка, — эта шляхетная панская и наполовину ксендзовская Польша, это один лишь видимый, верхний слой; это навоз, который должен покрыть и удобрить нам почву. Он удобряет ее своими материальными средствами, которые должны стать нашими. Итак, это *видимая* Польша и *видимая* революция. Но есть еще Польша и революция другая, невидимая, тайная, подземная, о которой паны-то, может быть, едва ли и догадываются. Эта другая Польша есть литовско-польско-славяно-русская социально-демократическая и конечно, республиканская федерация, а революция эта подземная, то есть наша-то, не просто политическая, а политическо-социальная-с, революция "земли и воли". Наше дело может лопнуть: меня, может быть, повесят со временем во граде Гродно или Вильно, все это легко может случиться… Но попомните мое слово: не пройдет и десяти лет, как ваше русское и славянское общество, а может быть даже и ваше правительство, почувствуют, сознают всю животворность, всю великую будущность идеи всеславянского вольного союза, под гегемонией кого-нибудь старшаго — нас или вас. И это будет! Будет непременно, необходимо, неизбежно! Это естественный порядок вещей. Простая историческая логика событий и жизни незаметно приведет к этому. Россия с Польшей в данную минуту — это две борющиеся противоположные силы, но ни та, ни другая, без вольной всеславянской федерации, настоящей силы не составляют. Настоящая великая сила будет только во всеславянстве, потому что на западе, по соседству, под боком зреет другая сила, и буде не сплотимся в крепкий союз — она вас приготовит под немецким соусом и съест, скушает себе на здоровье, как скушала уже лужичан, поморян-поруссов да и нашу Познань на придачу. Вот попомните мое слово! И знаете ли, ей-Богу я не шучу, когда говорю, что даже ваше правительство скоро поймет это: оно только с республикой не помирится, а с демократическим принципом, судя по началу, пожалуй, охотно пойдет рука об руку. Но… одни только наши польские паны, шляхетство и магнатерия наша никогда не поймут этой простой штуки — и потому ее к черту!.. Вот попомните мое слово, говорю вам: меня, вероятно, повесят или расстреляют там, что ли (это ведь у них как-то там одно благороднее другого почитается), но это все равно; а вот идея-то наша — это, сударь мой, живучая идея, и она одолевает! Да это, впрочем, первоначально-то еще идея чехов да ваших московских славянофилов, а мы только социально-республиканскую подкладку дополнили к ней, не более. Вне славянства несть спасения, — заключил Свитка, — ни нам, ни вам. Так вы это и знайте.

И он залпом выпил третий стакан шампанского.

Хвалынцев с каким-то странным, смешанным чувством удивления, недоверия и анализа глядел теперь на своего ментора. Пред ним вдруг раскрывался теперь совсем другой, совсем новый человек, о присутствии которого, и вдобавок о таком страстном присутствии, в этом скромном,

тихоньком Василии Свитке он и не подозревал до сей минуты. И, странное дело! Хвалынцев невольно должен был сознаться себе, что в некоторых идеях и как-то пророчески вдохновенных речах этого нового, совсем нового человека было много такого, что казалось ему в высшей степени симпатичным, чем-то таким, за что можно было бы, пожалуй, пойти и рискнуть своей головой, если бы только не эта проклятая, племенная вражда и злоба.

— Вы говорите об экзекуциях да об обезземеливании, — продолжал меж тем Свитка. — Это ничего. Пусть белая сволочь потешается. На свою же ведь голову. Поверьте. Мы этому не должны препятствовать, потому что земля вместе с волей все равно будет же таки принадлежать сполна всем свободным земледельцам, кто бы они ни были. Пускай их тешатся, говорю вам, пока еще не пришел роковой час их!.. Пускай! пускай все так и будет!.. А он придет, этот час... мы, подземные, мы приведем его на их голову и... и тогда... — Свитка поднялся с места. Ноздри его расширились, глаза горели, и во всем этом вдруг преобразившемся человеке засияло, как молния из черной тучи, что-то грозное, энергически-мощное, фанатически-вдохновенное. — И тогда, — говорил он, твердо опершись кулаком о стол, — наш святой мужицкий топор и честный рабочий нож не должны остановиться даже... даже и над колыбелью панского ребенка![137]

Хвалынцев наконец пришел даже в какой-то ужас.

— Позвольте, Свитка! — вскричал он, тоже подымаясь с места. — Позвольте!.. Я помню, вы еще недавно соглашались с вашим Котырлом, что хлопы — это не более, как мертвый, сырой экономический материал, а что истинный народ в Литве — это все то, что мыслит, живет, цивилизует, то есть, значит, шляхта и магнаты!

— Да, соглашался, Хвалынцев! — подтвердил ментор. — Соглашался и даже сам говорил тоже! Я нарочно становился пред вами на точку зрения наших белых, старался даже гораздо сильнее предупреждать все то, что вы могли бы услышать и возмутиться еще более, чем теперь, среди этой гнусной среды!.. Да, я говорил все это!

— А теперь! теперь-то что же вы говорите!.. И чему же, наконец, я должен верить: тому, или этому?.. Ведь вы и тогда казались столь же искренни! И... и кто же, наконец, вы сами-то, после этого?! Кто вы?

— Я?.. Я — Василий Свитка! — спокойно-насмешливым и загадочно-испытующим взором глядя на Хвалынцева, неторопливо произнес ментор. — А впрочем, я и не Василий Свитка, а Францишек Пожондковский...

Хвалынцев с новым необычайным изумлением восклонился от стола и в упор пытливо оглядел своего собеседника.

— А впрочем, коли хотите, — тем же тоном продолжал тот, — я и не Францишек Пожондковский, а "иной, еще неведомый избранник"... Одним словом, я — Конрад Валенрод в плебейской волчьей шкуре. Теперь понимаете-с *кто* я?.. Я вам показал отчасти мою шкуру и мои когти.

Хвалынцев, не произнося ни единого слова, продолжал глядеть на него все с тем же чувством возрастающего изумления.

— Да-с, — продолжал меж тем Свитка. — И вот этот самый плебей Валенрод предлагает вам, славнобубенскому Российской империи, столбовому дворянину Константину Семенову сыну Хвалынцеву: угодно вам будет честно разделить с ним одно из двух: или громкую славу и

счастливую будущность при осуществлении великой идеи, или же за ту же самую великую идею двенадцать штуцерных пуль, а может и петлю гицеля. Впрочем, последнее есть уже изящный вариант второго. Итак, угодно вам, Хвалынцев?

И Свитка выжидательно протянул ему руку. Константин глубоко раздумался и наконец медленно, отрицательно покачал головою.

— Нет! — сказал он, подымая на Свитку прямой и открытый взгляд. — Все, что я могу сказать вам вполне искренно в настоящую минуту, так это мое решение, на котором я остановился, идучи вечером сюда, вот в этот самый нумер: я еду служить и *только* служить... а там... как угодно будет случаю... Что будет, то и будет!.. Вот вам! И больше ничего вы от меня не требуйте!

Лицо Свитки окончательно прояснилось.

— Ну, и прекрасно! — заключил он, схватив в свою ладонь руку Хвалынцева. — На этом, значит, пока и помиримтесь. Вы успокоитесь, поживете в Варшаве, поразмыслите, а тем временем, может, и я туда понаеду — мы, конечно, свидимся, откровенно, по душе потолкуем и, авось, на чем-нибудь и порешим: так дак так, а нет — как хотите... неволить не будем. А пока, докончимте-ка, уже без всяких тостов, наше шампанское.

Приятели выпили и угомонились.

XIV. Последнее пожеланье

На другой день утром, торопясь не опоздать, Хвалынцев вместе со Свиткой приехали на дебаркадер железной дороги.

Константин, выгрузив с извозчика свои вещи, тотчас же направился к кассе брать билет, но так как он спросил его по-русски, то патриот-кассир, пустив мимо ушей его просьбу, усердно раздавал билеты всевозможным жидам и полякам. Хвалынцев принужден был, наконец, обратиться к жандарму, предварительно дав ему на водку вместе с суммой на добычу второклассного билета. — "И тут у меня не обошлось-таки без власти предержащей, да еще какой! жандармской!" с грустною иронией над самим собою подумалось ему.

Свитка обещал опять, может быть скоро, приехать к нему в Варшаву, но Хвалынцев выслушал это хотя, по-видимому, и очень любезно, однако же вполне равнодушно.

Не так бы он слушал его две недели тому назад!..

Раздался звонок. Подходил виленский поезд. Пассажиры, толпясь и толкаясь, бросились к вагонам, поспешая занять себе места поудобнее. Хвалынцев тоже последовал примеру всей почтеннейшей, хотя и толкающейся публики, и ему удалось добыть себе хорошее местечко, в отдельном купе, у окна, которое он и не замедлил открыть сию же минуту.

Свитка стоял на платформе пред его окошком и заботливо осведомлялся, хорошо ли и "выгодно ли" поместился его приятель.

Ударили второй звонок. Кондукторы спешно стали захлопывать дверцы вагонов. Служащие при станции в своих форменных фуражках, с официально-форменными и нарочно, ради прибывшего поезда, начальнически устроенными физиономиями, без всякой видимой цели и надобности стояли на платформе и глазели на готовый отойти поезд.

Вдруг хлопнула стеклянная дверь и показался Холодец. Он спешно шагал по платформе, отыскивая кого-то глазами.

Хвалынцев домекнулся, что это его он ищет.

— Я здесь, доктор! здесь! — закричал он, высунувшись из окошка.

— А!.. вот вы где!.. Здравствуйте! — поднявшись на вагонную ступеньку, протянул он ему через окошко руку. — А уж я-то торопился!.. Проклятого Шлюмку-извозчика всю дорогу кулаками во все лопатки подбодрял… думал, что опоздаю!.. Фу, ты Господи! А все эта служба задержала — что делать!.. Уж не взыщите! И то слава Богу, что поспел-таки!

Свитка недоумевающим, вопросительным взглядом посматривал то на незнакомого ему Холодца, то на Хвалынцева, как бы говоря тем самым: "Что же, мол, сей сон означает?"

Раздался третий звонок, вслед за которым с заднего конца поезда послышался резкий, дрожащий свисток обер-кондуктора. Паровоз тоже гукнул в ответ и медленно запыхал черным дымом.

— Ну, прощайте! — говорил Холодец. — Дай вам Бог всего там хорошего! Одно только паче всего помните: прямо и честно! по-русски! И все пойдет прекрасно!.. Прощайте!

— До свиданья! — крикнул Хвалынцев.

— А и то правда! Что за "прощайте!" Лучше до свиданья… подхватил доктор. — Говорят, только гора с горой не того… а человек с человеком всегда. Авось еще раз судьба столкнет где-нибудь, почем знать!.. Ну, до свиданья, голубчик! и да хранят вас все святые угодники!.. До свиданья!

Поезд в это время уже тронулся. Хвалынцев глядел из окошка, приветливо улыбаясь доктору. Наконец клубы густого, белого дыма застлали ему собою платформу и в свою очередь скрыли и его от глаз провожающих.

Они остались вдвоем друг пред другом — Свитка и Холодец — и почти невольно, почти машинально, но внимательно смерили один другого пытающим взглядом и разошлись.

И тот, и другой, в своем роде были тоже — "две силы".

Часть третья

I. В Варшаве

Октября 5-го[138] 1861 года, умер высокочтимый польскими патриотами варшавский архиепископ Фиалковский.

Революционный тайный комитет по поводу его смерти издал следующее печальное воззвание:

"Соотечественники!

"Богу угодно было поразить скорбью сердца наши, воззвав к своей славе покойного архиепископа Фиалковского. Дабы почтить заслуги и память его, просим возложить на себя знаки глубокого траура и носить их в продолжение восьми дней".

Днем торжественных похорон его было назначено 10-е октября.

А на этот же самый день в маленьком городишке Городов, Люблинской губернии, где за 448 лет, в 1413 году, совершился акт унии восточной церкви с западною, собралось для празднования годовщины этого события великое множество польской шляхты со всех владений и земель бывшего Польского королевства. Здесь, как гласит протест "против нарушения наших вольностей и против невольнического образа правления", составленный там же и того же числа, участвовали: воеводство Познанское, земля Веховская, герцогство Силезское, воеводства: Калишское, Гнезненское Серадское, земля Велюнская, воеводства: Лэнчицкое, Брест-Куякское, Иноврацлавское, земля Добржинская, воеводства: Плоцкое, Мазовецкое, земли: Черская, Варшавская, Визская, Вышеградская, Закрочимская, Цыновская, Ломжинская, Рожанская, Ливская, Нивская, воеводство Равское, земли: Сохачевская, Гостынская, воеводства: Хелмское, Мальборгское, Вармия, Краковское, Сандомирское, Киевское, Русское, земли: Львовская, Перемышелъская, Санская, Галицкая, Хелмская, воеводства: Волынское, Подольское, Люблинское, земля Луковская, воеводства: Белзское, Подлясское, земли: Дрибицкая, Мельницкая, Вельская, воеводства: Брацлавское, Черниговское, Виленское, Трокское, княжество Жмудское, воеводства: Смоленское, Полоцкое, Новгородское, княжество Слуцкое, воеводства: Витебское, Брестское, Мстиславское, Минское, Лифляндское и Курляндское.

Варшавский митропольный капитул, обязавшийся честным словом не допускать никаких демонстраций при похоронах своего архиепископа, избрал именно этот знаменательный день для его торжественного погребения. Все приготовления к похоронам были облечены глубокою таинственностью; только накануне громогласно вступили в Варшаву вытребованные распоряжением тайного комитета партии крестьян, долженствовавшие изображать собою "скорбь народа польского" при торжественных проводах. Эти партии, под предводительством своих помещиков и гминных войтов, встречались на заставах депутациями "Варшавских братий" и вступали в город с пением гимнов.

В три часа пополудни печальное шествие двинулось из Медовой улицы; но вмегг 1 кратчайшей дороги, избрало длиннейший путь по самым многолюдным улицам, с которых вся городская полиция была предупредительно убрана прочь, дабы видом своим не раздражать страстей народных, и заменена обывательскими констаблями. Процессия этих похорон превосходила великолепием своим все остальные процессии демонстрационного периода и даже далеко оставляла за собою знаменитое торжество погребения "пяти жертв", из которых впрочем одна оказалась живою и здоровою, а роль «жертвы» изображал собою пустой гроб, наполненный для соответственной тяжести камнями и, конечно, плотно закупоренный крышкой. Нечего уже говорить о тех бесчисленных рядах духовенства и монашеских орденов, которые со свечами, кржижами и хоронгвами предшествовали гробу; но непосредственно за траурной колесницей несли огромное знамя с изображением белого орла и погони, а за ним на бархатных подушках с кистями следовали короны: польская королевская и литовская великокняжеская. Затем шли чиновники всех гражданских управлений по ведомствам и разрядам, члены магистрата, цехи со своими знаменами, воспитанники всевозможных учебных заведений с польскими значками, под предводительством своих директоров, инспекторов и наставников, а за этими уже двигались отряды крестьян под предводительством помещиков, одетых в национальные костюмы. Крестьяне шли тоже со значками, а различались отряд от отряда по цвету одежды и конфедераток. Тротуары, окна, балконы, крыши, трубы — все это было покрыто бесчисленными массами народа. Гроб архиепископа опустили в подалтарный епископский склеп Свенто-Янского кафедрального собора, под сенью знамен и корон, с обычным пением патриотических гимнов и с горячими патриотическими речами.

В тот же день, в великолепной столовой Европейского отеля, отделанной в помпейском вкусе, было устроено публичное угощение и чествование роскошным обедом всех крестьян,

прибывших на архиепископские похороны, причем вне всяких сословных различий, поселянам старались оказывать всяческий почет, уважение и заискивающую ласку. Как каждому из них нарочно придали ассистента из членов делегации и бывшего агрономического общества, которым было поручено, не щадя усилий, всячески настраивать хлопов на революционный, но братски дружелюбный панам и патриотический лад. Тут, при обильных возлияниях, не было недостатка в восторженных речах, где выставлялось в самых ярких образах оскорбление народа и римской веры сынами дьявола — москалями, стоны Польши под кровавым игом Москвы и наконец было сделано приглашение всем верным сынам ойчизны восстать поголовно и передушить, пережечь, перерезать врагов святой Польши. Затем шли объятия, поцелуи, клятвы братской любви, клятвы биться на жизнь или смерть с москалями, и наконец все это заключилось проводами еще более торжественными чем вчерашняя встреча: тысячи экипажей и пеших масс тянулись с приветственными кликами и гимнами в разных направлениях к заставам и к станции железной дороги, чтобы еще раз братски проститься и, по возможности, еще более задобрить будущих ратников и бойцов за свободу отчизны.

Правительство колебалось, не зная что делать, на что решиться. Вновь хотели действовать то войском, то благодушной терпимостью, то либерализмом, то полумерами, и, в конце концов, не действовали никак. Авторитет власти падал с каждым днем, с каждым часом. Наконец варшавский генерал-губернатор, генерал-адъютант Герштенцвейг, побуждаемый двумя столь крупными демонстрациями, как Городельекий сейм и похороны Фиалковского, происшедшими в один и тот же день, настоял на мере, по-видимому, резкой и энергической.

Утром 14-го октября на всех площадях и перекрестках Варшавы появились войска, занявшие определенные посты и пункты, а на углах улиц варшавяки прочли афиши, объяснившие о введении военного положения. Высшая власть при этом нашла нужным обратиться к «полякам» с особой прокламацией, в которой сетовала, что несмотря на ее надежды восстановить нарушенное в крае спокойствие мерами кротости, "враги общественного порядка, приписывая снисходительность правительства не благим его намерениям, а вероятно бессилию, с каждым днем становятся дерзновеннее. Толпы уличной черни", гласила далее эта сетующая прокламация, "насильственно врываются в жилища мирных граждан, разбивают лавки и мастерские, грабят в особенности оседлых здесь иностранцев и, стараясь посредством внушенного ими страха овладеть волей всех сословий, не остановились даже нанести бесчестие священному для народа сану епископа. Полиция не только не уважается, но ежедневно подвергается обидам. Войско, призываемое для водворения порядка, встречается оскорблениями. Повсеместно распространяются самые возмутительные объявления и воззвания к народу. Под видом религиозных обрядов совершаются политические демонстрации... Потворство и преступное содействие некоторых лиц римско-католического духовенства превратили католические храмы в места враждебных правительству изъявлений. Священники проповедуют ненависть и неуважение к верховной власти. В костелах и вне оных поют воспрещенные правительством гимны, производят сборы денег и вещей на революционные цели и, наконец, в некоторых местах совершаемые в высокоторжественные дни молебствия за Государя Императора были заглушены пением тех же гимнов". Законная власть сознавала в той прокламации, что "все это составляет ряд таких преступлений, которые не могли быть терпимы, но предстоящие выборы в уездные и городские советы побуждали-де ее воздержаться от принятия решительных мер, дабы не нарушить общественного спокойствия. Между тем ход выборов не оправдал ожиданий", жаловалась далее все та же прокламация. "Во многих местах они совершились под влиянием нравственного насилия и сопровождались теми же враждебными правительству намерениями!.. Подобные действия, угрожающие ниспровержением законной власти и водворившие во крае анархию, вынуждают правительство прибегнуть к мерам, более действительным". Таким образом, как бы извиняясь пред поляками за введение военного положения, эта прокламация, достопримечательная по

своему откровенно сетующему тону и смыслу, обращалась к тем же полякам с просьбой от лица власти приблизить своим добрым поведением то время, когда можно будет снять военное положение и снова приступить к правильному развитию дарованных Царству Польскому либеральных учреждений.

Первые минуты по прочтении этой прокламации были отмечены общественным недоумением, некоторым раздумьем ввиду неожиданного препятствия, что и было принято властью за признак устрашения, но потом, и весьма скоро, недоумение и раздумье разрешились презрительным смехом. Варшава слишком хорошо уже знала и слишком привыкла к этой "политике мягкой, благодушной кротости и воздержания", которая была в сущности политикой конфуза и недоумевающего бессилия. Военное положение и не удивило, и не остановило Варшаву: она, напротив, желала даже вызвать новое кровавое столкновение народа с войском.

Несколько ранее правительственной прокламации было выставлено во множестве экземпляров украшенное портретом Костюшки объявление тайного комитета. Теперь же оно разными таинственными путями стало распространяться еще более. Оно гласило к народу:

"15-го октября — годовщина смерти покойного Фаддея Костюшки. В день этот постановлено почтить память вождя, ниспосланного Богом для возрождения и избавления Польши от ига, — вождя, который выполнил свою жертву пред Богом и отчизной, хранив непоколебимо до последней минуты своей жизни пречистое польское и христианское знамя. Будем же далее нести с самопожертвованием это знамя истины и свободы, дабы оно соделалось триумфом, радостью и основой величия и счастия великого по мысли Божией народа!"

Итак, на другой день после объявления военного положения, с утра еще все лавки в городе были заперты и ни одна из них не открылась при наступлении обычного часа. Хотя 15-е октября было днем будничным, однако же народ густыми толпами, как словно в великий праздник, валил в костелы, а по преимуществу к фаре, к бернардынам и к массионаржам,[139] которых костел Свентего Кржижа[140] с 60-го года сделался самым модным в Варшаве, так что громадная церковь не могла вместить в себе желающих молиться и петь в ней гимны, а потому отцы миссионаржи стали продавать места в своем храме, и таким образом за привилегированное место на хорах модные аристократические клерикалки платили святым отцам по 100 и по 150 руб. годовой платы. Приготовления к торжественной панихиде делались во всех вообще варшавских костелах, но в этих трех они должны были поразить своим великолепием: пышные катафалки, цветы, знамена, эмблематические знаки и изображения, декорации — все это должно было напоминать народу старого вождя и кричать о страданиях ойчизны.

По окончании панихиды, едва началось пение гимнов, как тотчас же ко входам этих трех костелов были придвинуты войска, для того чтобы при выходе арестовать певших мужчин. Но народ не выходил из храмов, и дело таким образом дотянулось до одиннадцати часов вечера. У Свентего Кржижа одураченное войско давно уже впрочем сторожило пустой костел, потому что весь народ выбрался из него неизвестным начальству потайным ходом во двор, в сад и незаметно спасался через недоступные для глаз заборы и крыши домов, прилегавших сзади и со стороны к монастырю миссионаржей. В одиннадцать часов вечера приказали солдатам составить ружья в козлы, снять шапки и войти в костел, чтобы понудить народ к выходу. Поднялся вой, крик, вопли, слезы, однако же мужчины, которых в обоих костелах оказалось до 3,500 человек, без сопротивления очистили костелы и в тот же вечер были отведены в цитадель. Но замечательно, что между коноводами этой костельной истории, кроме ксендзов, ретивейшими деятелями оказались евреи.

Разбирая беспристрастно все обстоятельства этого происшествия, невольно приходишь к

заключению, что власть, кажись, едва ли сама себе уяснила надлежащим образом цель, ради которой устроила эту облаву, потому что на следующее же утро почти все забранные люди были выпущены из цитадели. Их опрашивали только кто к какому сословию принадлежит, словно бы это нужно было для каких-либо статистических сведений. Поэтому множество лиц шляхетных нарочно пачкали себе лицо сажей, терлись одеждой об выбеленные стены и при опросе называли себя ремесленниками, изобретая вымышленные фамилии. Таким образом все важнейшие вожаки и запевалы ускользнули, а в конце концов власть была поднята на смех при убеждении, что она как ни грозись, а ничего сделать не может и не смеет.

Наутро 16-го числа разыгрался скандал великий.

По смерти Фиалковского на должность архиепископа был избран капитулом, но еще не утвержден правительством, некто прелат Бялобржеский.

Это был человек довольно ограниченный и даже не особенный фанатик, но как нельзя более пригодный к делу под руководством мужей искусившихся и мудрых, какими был полон капитул варшавский. Бялобржеский в ту же ночь собрал капитул на экстренное совещание, к которому было приглашено несколько светских лиц, и вот, плодом их ночного совета явилось то, что Варшава наутро, к удивлению своему, проснулась без обычного костельного звона и народ нашел церкви запертыми. Совещание признало, что костелы Свенто-Кржижский и Бервардинский осквернены появлением в них войска москевского и потому должны быть запечатаны впредь до нового освящения, а все прочие костелы, в предупреждение подобного осквернения, надлежит закрыть на неопределенное время и вообще прекратить везде всякое богослужение. Мера эта была приведена в исполнение немедленно. Но замечательно при этом одно не лишенное известной доли комизма обстоятельство, заключавшееся в том, что еврейский божничий надзор вдруг с своей стороны нашел нужным закрыть тоже и еврейскую синагогу на Налевках, которой однако никто и ничто не угрожало и не «оскверняло». Власть обратилась к Бялобржескому с требованием об отмене столь невероятного распоряжения капитула. Руководимый же и наставляемый столь премудрыми мужами, прелат с резкостью отозвался, что исполнит это в таком только случае, если солдатам и полиции будет окончательно воспрещен вход в костелы, и все арестованные как во храмах, так и на улицах, немедленно освобождены, ибо арест их, как лиц принадлежащих римско-католической церкви, нарушает ее священные права. Вслед за тем, по обыкновению, потянулись бесплодные и длинные переговоры, а между тем по городу и в обществе как русском, так и польском пошли темные слухи о какой-то американской дуэли между наместником Царства и генералом Герштенцвейгом, и будто бы последний, в силу вынутого жребия, должен был застрелиться… Толков и сплетен ходило много, одна другой нелепее, одна другой причудливее и таинственнее. Среди бесплодных переговоров с администратором архиепархии и варшавским капитулом высший представитель законной власти, граф Ламберт, заболел и выехал за границу; на место его был назначен генерал-адъютант Лидере, а до его прибытия в управление Царством вступил вторично военный министр Сухозанет. Вообще с 18-го (30-го) мая 1861 года, то есть со дня смерти весьма престарелого и благодушного наместника, князя Горчакова, и до прибытия генерала Лидерса, в течение каких-нибудь пяти месяцев, сменилось четыре временных представителя наместничьей власти. Генерал Лидерс был пятым. В этих частых переменах представителей высшего правительства; в этих резких, крутых переходах от благодушия к стреляниям, от бездействия к ублажениям и жалобам, от увещаний к новым стреляниям и опять к благодушию, к выжиданию, к воздержанию, к либеральным мероприятиям, к угрозам и стращаниям к новым сетованиям и укорам и наконец к невнушающему достодолжного страха военному положению, — во всем этом поляки, самодовольно покручивая ус, да ухарски заломив набекрень «рогатывку» и вызывательно посматривая на «зайца-москаля», видели одни лишь колебания, сконфуженность, неумелость,

робость и отсутствие всякой системы у русского правительства и уже нетерпеливо высчитывали месяцы и дни, когда они окончательно, вооруженной рукой должны будут победоносно "выпендзиць[141] пана заенца-москаля"[142] из пределов земли польской за Двину, за Днепр и даже за Волгу — в Туранские степи.

Один только человек держался доселе, казалось бы, и прочно и крепко, и этот один был граф Виелепольский, маркиз Гонзаго-Мышковский, сначала весьма непопулярный, но потом мало-помалу, вследствие своего постоянного антагонизма представителям военного элемента, сделавшийся достолюбезным для добрых белых патриотов своей партии. Но и этот один наконец повихнулся; правда, весьма не надолго, но повихнулся.

В конце октября прибыл в Варшаву генерал Лидерс, а в начале ноября граф Виелепольский был вытребован в Петербург и вслед за тем всемилостивейше уволен от должности главного директора (то есть министра) духовных дел и народного просвещения. Произошло это по настояниям генерала Сухозанета о необходимости удалить его из Царства Польского. Впрочем, партия его не унывала и твердо верила в его скорое возвращение в величии и сиянии новой славы и могущества. Одни только красные продолжали ненавидеть как орудие русских целей и не понимать этого тонкого, новейшего Конрада Валенрода земли польской.

Таково-то было положение дел в Варшаве в то время, когда юный герой наш, надрессированный графиней Маржецкой, и после своего путешествия по Литве, и после гродненских разочарований, на всех парах летел в этот мудреный город.

II. В первые минуты по приезде

Поезд тихо подошел к громадному дебаркадеру Варшавской станции. Множество жидков, факторов, комиссионеров от разных отелей, с бляхами на шапках, дружкарей[143] в гороховых ливреях с пелеринами, толклись в большой зале, где выдают билеты и багаж.

— Отель Эуропэйски, — прошен' пана! — приподнимая фуражку с бляхою, выразительно проговорил комиссионер почтя над самым ухом Хвалынцева. — Пан ма багаж прши собе?[144]

Константин, проученный уже гродненским днем, решил изображать собою иностранца, хотя бы на первые минуты, пока не осядется в какой-нибудь гостинице; поэтому он молча вынул багажный билет и передал его комиссионеру, который очень предупредительно проводил нового своего клиента к экипажу. Дружкарь щелкнул бичом, и пара длинноухих, длинношеих польских коней тронулась бойкою рысью. Варшава не показалась особенно привлекательною Хвалынцеву: сначала — длинные, желтые заборы, длинные бараки, а далее разнокалиберные белые домишки; жиды, жиденята, бабы с повязками на головах, бублики, яблоки, солдаты, дозорца полицейский на углу, пригородные обыватели и опять жиды да жидовки, а на вывесках: "пиво марцове", "пиво овсяне", "заклад вина", "фляки господарске", «Дыстрыбуция». Но вот местность расширилась, река мелькнула в глазах, за рекою что-то красивое, оригинальное...

Висла катит свои мутно-желтые воды меж песчаных отмелей... несколько «берлинок» виднеются на ней у пристани...

А по ту сторону реки, действительно, прелесть что за картина!.. Вдали направо виднеются желтые и красно-кирпичные стены цитадели, валы, эспланада, силуэты пирамидальных тополей. Вдали налево, по сю сторону неотчетливо вырисовываются в мягком тумане округлыми, крупными лиловатыми очерками купы деревьев и раины "Сасской Кэмпы", а по ту сторону реки, еще левее и совсем уже вдали — еще более смутными, мягкими абрисами

выступают сады и парк Лазенковский. Прямо пред глазами — съезд и опять-таки тополи, кучи острых, черепичных кровель, разнокалиберные, там и сям разбросанные башенки. Правее съезда выступают темно-коричневые стены королевского замка с его террасами и пристройками, с его двумя башнями и причудливыми куполами, с прихотливыми шпицами: левее от съезда видна, как-то плотно осевшая, темно-серая масса Бернардинского костела и его четырехугольная, простая, но тоже плотная башня. За королевским замком выдается так называемая "Гноёва гура", по которой словно бы каскадами прядают вниз хвостообразные, длинные свесившиеся прутья каких-то густых кустарников, над коими амфитеатром возвышаются узенькие, высокие, многоэтажные каменные домики, в одно, два, или много в три окошечка по фасаду. Эти домики — очень древней постройки — пестреют разными цветами: желтым, голубым, грязно-розовым, белым, серым, а над ними легко и как будто прозрачно стремятся вверх, в небеса, невысокая, но очень изящная, прихотливо прорезанная колоколенка и готические колонки со статуей Христа над самым верхним фронтоном фары. Еще далее за "Гноёвой гурой", над кучами черепичных кровель, уже сквозь легкий туман, прорезываются в воздух купола Сакраменток на Фрете, башенки и шпицы реформатов, францишканов и высокая, четырехугольная, самого простого романского стиля, башня "Панны Марии". А кинуть взгляд налево, за темно-серых бернардынов, под которыми внизу лепятся домишки «Марienштадта» и Броварной улицы — там, вдалеке, над каменными массами домов "Нового Свята", стройно уходят в небо два темные шпиля с петухами над знаменитым Свентым Кржижем… Хвалынцев, съезжая к мосту, невольно залюбовался на эту широко раскинувшуюся за рекой картину. В ней было для него много чего-то нового, невиданного еще доселе, много своеобразного, совсем не похожего на *наше,* русское. Какою-то новою, неизведанною еще жизнью пахнуло на него от этих стен и башенок, к которым он теперь приближался с та-ким любопытством, с таким ожиданием чего-то…

Вот переехал он через мост; вот, похлопывая бичом, дружка поднялась в гору мимо замка и бернардынув — вот площадь Зигмунда, обставленная древними домами, и на ней колонна с фонтанами и с изображением короля Сигизмунда-Августа, нанесшего удар своею саблею. Свернули налево в знаменитое "Краковске пршедмесце":[145] налево гауптвахта, приютившаяся под тенью четырех красивых каштанов, а впереди, прямо пред глазами, каменное изваяние Богородицы, на пьедестал которой подвешены шкалики, фонарики, лампадки, зажигающиеся по вечерам, а на ступенях повержены венки, букеты, несколько коленопреклоненных фигур мелькнуло в глаза пред этою статуей — больше все женщины, в черном… Вот улица сузилась до такой степени, что два экипажа с трудом могут разъехаться. "Славное местечко для устройства баррикад", подумал с улыбкою Хвалынцев. По обеим сторонам этого узенького пространства высятся каменные, многоэтажные старые дома, большею частью с зелеными ставенками во всех этажах; на тротуарах снует народ, черные женские тени, конфедератки… говор, гомон и шум городской жизни… много движенья и езды… в окнах бесчисленных магазинов мелькают разные товары и безделушки, фрукты и бутылки, фотография, ружья, бронзы, перчатки, материи, шляпки, табак, конфекты и пр. Яркие вывески бьют в глаза своими французскими и польскими надписями. Все это мелькает пред глазами так быстро, что Хвалынцев, напрягая все любопытное внимание, мог только схватывать общее мимолетное впечатление.

Но вот и знаменитый "Отель Эуропейски". Толстый швейцар с нахально-шляхетскою, т. е. польски-приличною физиономию встретил Хвалынцева в дверях, причем быстро оглядел его с ног до головы и, вероятно решив про себя, что птица, мол, должно быть неважная, не удостоил его никакими знаками своего шляхетно-швейцарского внимания. Помощник этого пана-швейцара повел Константина по довольно широкой каменной лестнице наверх, в четвертый этаж, предполагая по виду новоприбывшего постояльца, что ему требуется один из самых дешевых нумеров — ив этом отношении он нимало не разошелся с Хвалынцевым, предугадав

его желание занять комнату попроще и подешевле. Впрочем комната, хотя и маленькая, хотя и под небесами, однако ж оказалась довольно приличною. Хвалынцев, решившийся изображать собою иностранца, обратился к человеку по-немецки — и вследствие этого к нему был тотчас же доставлен немец-лакей, очень предупредительно исполнявший его приказания. Но роль иностранца продолжалась недолго: помощник швейцара спросил для прописки его вид — и национальность нового постояльца была немедленно открыта. Впрочем, это обстоятельство, хотя и поселило тотчас же некоторую сухость, холодность и сдержанность в отношении к нему лакея, за минуту еще столь предупредительного; однако же нимало не нарушило его вежливости и исполнительности. Видно было, что прислуга здесь, несмотря на разлитую в самом воздухе патриотическую ненависть к москалям, была выдрессирована изрядно. "И за то спасибо!" смиренно подумал себе Хвалынцев, достаточно уже проученный городом Гродной и его лакейско-патриотическими прелестями.

III. За ужином в Помпейской зале

Вечером, сойдя в столовую, в ту самую знаменитую столовую в помпейском вкусе, где после похорон Фиалковского паны угощали хлопов — Константин спросил себе закусить. Зала была ярко освещена газом. Группы партикулярных мужчин и несколько скромных траурных женщин сидели за разными отдельными столиками и за большим табльдотным столом, к которому присел и Хвалынцев. В зале было довольно говорно, но вдруг послышался легкий лязг сабель, возвестивший приход в столовую трех-четырех офицеров. При виде их в один миг все смолкло — и одни только враждебные, вызывающие и нахальные взгляды со всех сторон впивались в русские мундиры, которые однако весьма скромно заняли себе места за большим столом, почти рядом с Хвалынцевым, и к прислуге адресовались не иначе как по-польски. Прошло не более какой-нибудь минуты, в течение которой партикулярная публика, сидевшая за тем же столом, оставалась в каком-то безмолвном недоумении или замешательстве, как вдруг вся она почти разом поднялась и, забрав свои приборы и бутылки, переселилась — кто куда — на другие боковые столики, причем люди совершенно незнакомые весьма радушно делились там своими местами. В одну минуту большой стол опустел, словно бы за ним поместилась чумная зараза. Остались одни офицеры да Хвалынцев. — "Однако, нечего сказать, милое положение!" подумал себе последний. Офицеры, быть может, поневоле делали вид, будто не замечают этой демонстрации, и старались держать себя как можно скромнее, хотя между собою и говорили по-русски. Партикулярная публика впрочем ограничилась оставлением большого стола да враждебно вызывающими взглядами, и более ничего не предпринимала противу русских мундиров.

Пришло еще несколько офицеров и, видя мундиры, заняли места за тем же столом.

Очевидно, военные, чувствуя всю тягость, всю отчужденность своего общественного положения среди поляков, невольно и почти инстинктивно жались в общую кучу, ближе друг к другу, ближе к собрату по эполетам. Почти сейчас же вслед за появлением последней офицерской компании, какая-то темная, глубоко-траурная фигура молодой и очень красивой женщины с очень бледным лицом и фосфорически светящимся взглядом больших глаз отделилась от одного стола и медленно проходя по зале мимо столиков, занятых партикулярными группами, у каждого мимоходом шептала что-то — и партикулярные группы одна за другой спешили доедать свои куски, допивать стаканы, расплачиваться с прислугой и удалялись из залы, так что спустя каких-нибудь семь-восемь минут столовая совсем почти опустела. Оставалась одна только офицерская группа за главным столом.

— Скажите пожалуйста, что все это значит? — спросил один из офицеров в адъютантском сюртуке, очевидно, человек новоприбывший, свежий и потому совсем незнакомый с обстоятельствами и условиями местной современной жизни. — Для чего все эти господа, во-

первых, повскакали из-за нашего стола, а потом все поудирали отсюда?

— Это значит, — пояснил ему товарищ, — что они не желают дышать воздухом, зараженным присутствием москалей.

— Ну что за вздор, мой милый!

— Ничуть не вздор, а сущая правда. Загляните в любую цукерню: чуть покажется русский мундир — ему сейчас неприятный скандал устроят. Мы потому уже и не ходим поодиночке, а всегда компанией! Ну, а придешь компанией, они сейчас либо со стола долой, либо и совсем вон из комнаты.

— Но ведь это же невыносимо, такое положение, — пожал адъютант плечами.

— Ничего; нас приучают к кротости и терпению! — улыбнулся один из офицеров. — Несколько месяцев назад было не в пример хуже, да и то — велено было терпеть — и терпели! А теперь-то что! — теперь еще сносно!

— Но ведь это уже, господа, оскорбление не лицам (потому что они нас не знают), а явное оскорбление мундиру.

— Э, помилуйте! — горько усмехнулся собеседник. — Что уж тут говорить об оскорблениях мундиру, если мы сносили оскорбления знаменам!

— Как знаменам?!.. Что вы говорите! — воскликнул адъютант, сделав большие, удивленные глаза.

— Да так-с, очень просто: бывало, проходит со знаменем караул к наместнику в замок, а с тротуаров разные лобусы да панки швыряют в знамя и камнями, и грязью! А идет караул вот этим узким местом Краковского предместья, так на него, бывало, с верхних этажей льют из горшков всякую мерзость!

— Да! — подтвердил один из офицеров. — Грустно, а правда!.. Или вот тоже, — продолжал он, — выходит, например, от бернардинов духовная процессия, а гауптвахта тут же, как знаете, под каштанами. Ну, сейчас "караул вон!" воинскую почесть отдавать процессии. Так что ж вы думаете! Каждый "добры обыватель", каждая пани и панна священным долгом своим считает, проходя мимо часового и мимо взвода, плюнуть им в лицо, так что, бывало, пока проходит процессия — фронт стоит весь заплеванный и держит на "караул!"

— Как! И офицеры это дозволяли?

— А что ж бы они сделали, позвольте вас спросить?

— Да я не знаю что бы тут сделал, но не стоять же и не терпеть!

— Устав о гарнизонной службе предписывает отдавать воинскую почесть духовным процессиям.

— Да за такое оскорбление как это, или как швырянье грязью в знамя... я бы, кажется... в штыки бы принял того, кто осмелился бы сделать это, и, по совести, считал бы себя совершенно правым!

— В штыки-с? — усмехнулся офицер. — А вот вам маленький пример, в ответ на это. Как оно

вам понравится? Проходит однажды по Краковскому предместью один офицер; вдруг навстречу ему выходят из цукерни трое панов в чамарках и конфедератках, с толстыми дубинами в руках, стали у дверей, избоченились и усы покручивают... Тот, не обращая на них ни малейшего внимания, проходит себе мимо, как вдруг один из панов, ни с того ни с сего, развернулся да и трах его в физиономию!.. Тот ошалел и по первому, весьма понятному, движению, выхватил саблю и полоснул ею пана по башке. Ну, сейчас гвалт: "Ратуйце, панове! Здрайца! Москале биен!".[146] Набежала в минуту толпа, офицера сшибли с ног, избили чуть ли не до полусмерти, да благо наскочили польские полицианты: отняли! Ну, и чем же кончилось: офицер был предан суду за обнажение оружия против мирных граждан и угодил туда, куда Макар телят гоняет! Потому-то мы и не ходим уже в одиночку...

— И это вы все, господа, выносили! — с горькой укоризной, в раздумье покачал адъютант головою.

— Выносили-с!.. Помилуйте: вступиться за себя, за мундир, за знамя, — а что Европа, а что «Колокол», что "либеральная пресса" скажет!.. Варварами, татарами назовут!.. Как можно! Мы этого так боимся! Я вам говорю: к долготерпению, кротости и смирению приучают!.. Но серьезно говоря, — продолжал офицер, — вы знаете ли, здесь было одно время, что мы не на шутку опасались, как бы вместо польского восстания да не разыгралось бы вдруг восстание русских солдат против здешних властей за допущение всех этих безнаказанных оскорблений! Солдатики уже сильно-таки и грозно роптали и злобились, так что продолжись еще немного эта система смирения, — Бог весть, что бы могло в наших полках разыграться и чем бы кончилось, да хорошо, что вовремя хоть чуточку спохватились!

При Хвалынцеве незнакомые офицеры говорили не стесняясь, так как по опыту уже оставались уверены, что он или русский, пред которым, значит, нечего скрываться, как пред своим, или же иностранец, и стало быть не понимает по-русски; но уж ни в каком случае не поляк, потому что поляк, кто бы он ни был, ни за что не осмелился бы остаться за одним столом с офицерами, коль скоро все другие оставили самую залу.

— А между тем вы знаете ли, господа, — заметил адъютант, — какое общее и громадное сочувствие к этому "польскому делу" там у нас, в России! Я вам могу поручиться за две трети гвардейских офицеров, которые во всех салонах открыто говорят, что в случае польского восстания, они ни за что не пойдут драться против поляков.

При этом сообщении большинство офицеров нахмурилось с видом неудовольствия.

— Ну, мы на этот счет думаем несколько иначе, — заметил капитан, рассказывавший про скандалы со знаменем. — Мы, во-первых, видите ли, глубокая армия, и потому полагаем, что смотреть на польское дело петербургским образом может только какой-нибудь моншер с Невского проспекта; а пустить бы этого моншера сюда, в Варшаву, в нашу среду, так небойсь, чрез неделю другое бы запел, голубчик, как пришлось бы на собственной шкуре примерить, что такое эти вацьпаны!

"Опять! опять и здесь вот наши русские люди повторяют то же самое!" подумал Хвалынцев, вспомня при этом подобные же мысли и замечания доктора Холодца. "И это слышишь с первого шага! с первой встречи!.. Неужели же все мы там, в Петербурге и в России, так жестоко заблуждаемся?!.."

— Но разве и у нас нету подобных? — заметил капитану один из его однополчан-товарищей.

— У нас-то?.. Хм!.. То есть, найдется, пожалуй в каждом полку два-три дурачка, сбитых с толку

Искандером, да несколько полячков, которые все смотрят наутёк, но уж это ведь "своя от своих", так что оно и неудивительно.

— Как! а такой-то и такой-то, и вот такие-то? (офицер назвал несколько чисто русских фамилий).

— Так разве это *наши!* — огрызнулся на него капитан. — Ведь это же все это «моменты»,[147] друг мой! Да и то не все, а только разве те, что приезжают сюда прямо из Петербурга да и хвастаются, что я, мол, все время в кружке «Современника» находился, и сам Чернышевский мне руку тряс! — Эко счастье какое!.. Так ведь «момент» разве это человек? Он только и умеет как заведенная машинка — трррррр... на каждую заданную тему. Да и то мы еще посмотрим, какую песенку запоют все эти господа генеральные либералы, как дело-то до их собственной шкуры коснется!.. А я, по крайней мере, так полагаю, что все это у них одна модная болтовня пустая и больше ничего, а чуть до настоящего дела дойдет, поверьте мне, другое выйдет! — заключил капитан, допивая свою бутылку пива.

— Но тут вот ведь еще в чем роковая-то штука! — ввернул свое слово другой офицер. — Главный вопрос вовсе не в том, пойдут ли против поляков *все* офицеры без исключения, или не пойдут; вся сила в том, что *солдаты* пойдут поголовно и с величайшей, с адской охотой, потому что они оскорблены и озлоблены уже донельзя, и горе тому офицеру, который не пойдет или в решительную минуту не поведет своих солдат в дело! Уж и теперь тех из наших, которые проповедуют деликатность и смирение, солдатики промеж себя обзывают изменниками.

— Это плохо рекомендует вашу дисциплину, господа, — заметил адъютант.

— Что-с? Нет-с, извините! — горячо вступились несколько офицеров. — Дисциплина-то у нас значит в порядке, если мы, несмотря на весь град невыносимых оскорблений, и чисто военных, и человеческих, сумели однако до сих пор сдерживать солдат от взрыва!

— Ну, какая же тут однако измена! — как о явной нелепости отнесся адъютант.

— Да для нас-то с вами, — возразили ему, — оно дело совсем ясное, что тут просто политическая неумелость, конфуз какой-то, а солдат политических тонкостей не понимает, а что для нас с вами конфуз и неумелость, то для него «измена». Ведь солдат когда-то и Барклая, и Дибича изменниками называл, а это во всяком случае плохо!

Хвалынцеву было крайне интересно и поучительно слушать все эти разговоры; но давно уже окончив свою закуску и не находя более никаких удобных предлогов оставаться без всякой надобности в столовой, он счел дальнейшее свое присутствие среди посторонней компании не совсем-то ловким и потому удалился в свой нумер.

"Фу, ты, Господи"! с тяжелым и полным вздохом сказал он самому себе, оставшись один в своей комнате. — "Скоро ли все это со мною кончится?.. Уж хоть бы приткнуться поскорей к какой-нибудь стороне, к какому-нибудь делу, хоть к службе, что ли, лишь бы только с плеч долой весь этот груз фальши и сомнений!"

IV. Нечаянные гости

Наутро, едва он встал с постели, едва успел наскоро сделать свой туалет и приказать человеку подать себе чаю, как в дверь его нумера осторожно постучались.

— Entrez! — крикнул Хвалынцев.

Дверь растворилась, и в комнату вошли двое совершенно незнакомых господ. И тот, и другой были одеты вполне прилично. Константин успел мельком заметить, что за дверью в коридоре остался еще третий, как будто настороже. Один из вошедших остановился у порога, а другой, вынимая из кармана записную книжку, подошел к Хвалынцеву и отчетливым голосом произнес по-русски, но с сильным польским акцентом.

— № 97-й, дворанин Хвалынцов. Двадцать пьять рублей.

— Что вам угодно, господа? — обратился к ним Константин, сильно изумленный этим странным и неожиданным визитом.

— № 97-й, дворанин Хвалынцов. Двадцать пьять рублей! — настойчиво, но вежливо и притом каким-то официальным тоном повторил господин с записной книжкой.

— Какие двадцать пять рублей?.. Кому? Зачем и за что?.. Я не понимаю!.. Объяснитесь пожалуйста! — нахмурился Константин Семенович, кидая недоумелые взгляды на того и на другого посетителя, и вдруг в эту самую минуту заметил, что господин, стоявший у двери, быстро вынул из бокового кармана маленький револьвер и, как бы приготовляясь к выстрелу, наложил большой палец правой руки на курок, а указательный на собачку.

— Я не понимаю, чего вы от меня хотите? — несколько смешавшись от таковой неожиданности, проговорил Хвалынцев.

— Двадцать пьять рублей народовых податкув, — очень вежливо пояснил ему господин с записной книжкой! — Потрудиться, пожалуста, заплатить поскорейш, бо нам некогда.

Хвалынцев пожал плечами и видя, что с такими милыми гостями ничего не поделаешь, пошел из бумажника доставать деньги.

— Благодару вам! — проговорил господин, принимая двадцатипятирублевую бумажку и пряча ее в карман вместе с записной книжкой. — Теперь позвольте вам выдать квитанцыю в полученью.

И он из какой-то тетрадочки вырвал один листочек, на котором было что-то написано, стояла синяя печать и значилась чья-то подпись, и очень любезно подал ее Хвалынцеву.

— Теперь вы можете жить совершенно спокойно в вашем нумеру: вас болей никто не потревожить, а ежели и придут за податками, то покажить им только этую картечку. Прощайте!

И оба таинственные гостя очень вежливо откланялись и удалились из нумера.

Хвалынцеву стало ужасно досадно и за свое несколько трусливое поведение — "ведь не посмел же бы выстрелить, черт возьми!" — и за эту вежливо-нахальную бесцеремонность, и даже за двадцать пять рублей, брошенных черт знает кому и черт знает на что! "Сборщики… а может быть вовсе и не сборщики, а какие-нибудь мазурики!" Но… досадуй, не досадуй, а уж ничего не поделаешь, видно, это здесь в порядке вещей, если Бог весть что за люди средь бела дня могут свободно входить в нумера многолюдной и лучшей гостиницы и нагло требовать с заряженным револьвером каких-то "податков народовых".

Однако, на всякий случай, он спрятал в свой бумажник полученную квитанцию, и сделал это собственно для опыта, что, мол, из этого выйдет, в случае нового появления каких-либо сборщиков? Затем, одевшись и не дождавшись чаю, он спустился на улицу и зашел в

находящуюся в том же доме известную кондитерскую Конти, с целью выпить стакан кофе. Расписной плафон, колонны под яшму и мрамор, фрески по стенам, статуи в нишах, мозаичный пол, мраморные столы, прекрасная, мягкая, бархатная мебель и значительное число партикулярных посетителей, между которыми были целые семейства с траурными дамами и детьми, являющиеся сюда пить свою утреннюю «каву» — вот каковою представилась Хвалынцеву эта известная в Варшаве «цукерня». Большинство мужчин и даже некоторые женщины сидели совсем углубясь в чтение политических газет — и это составляло здесь (как и во всех, впрочем, варшавских цукернях того времени) явление довольно характеристическое: все это траурное, волнующееся, непоседливое население жаждало политических новостей и жадно накидывалось на газеты. Значительные взгляды, таинственное перешептыванье, шушуканье, тихие, вечно серьезные разговоры, подозрительное поглядыванье на незнакомых лиц, глубокий траур и эти женские бледные лица с горящими, блуждающими, злыми, или задумчивыми, или же тревожно-фанатическими глазами — все это так и пахло каким-то заговором, чем-то зловещим, роковым и враждебным, что, казалось, было разлито в самом воздухе, как то удушливое электричество, которое является предвестником страшной грозы… Хвалынцеву поневоле стало как-то жутко одному-одинешеньку, русскому и чужому, среди всех этих враждебных, страдающих и ненавидящих лиц. Он, под влиянием этого тягостного впечатления, поспешил допить свою «шклянку» и, по своему обыкновению, пошел без цели бродить по незнакомому, чужому городу, или так сказать, «знакомиться» с ним.

V. Впечатление Варшавы

Он шел по Краковскому предместью, в направлении к площади Зигмунда, к той исторически-знаменитой площади, которая была ареной большей части варшавских революционных демонстраций. День был сухой и яркий с чуть заметным морозцем, и потому Краковское предместье кишело народом и било в глаза своим траурным цветом; все та же черная жалоба на изящных по-своему варшавянках, черные чамарки, показывавшиеся на улицах, несмотря на правительственное запрещение, и все то же выражение лиц, которое за минуту назад, равно как и вчера вечером, поражало Константина в кондитерской и за табльдотом. В окнах магазинов виднелись роскошно драпированные уборы, наряды и материи, но эти уборы и эти материи были все исключительно черного цвета с разными траурными оттенками. Всевозможные «богательки»[148] и украшения, вроде серег, брошек, браслетов, бус, цепочек, поясных пряжек, все это было точно так же темное, черное, траурное, с белыми каемками и патриотическими надписями; булавки и пряжки с белым польским орлом, брошки с венцом терновым и сломанным крестом, стальные цепочки к часам, исключительно в виде каторжных цепей с ядром и мертвою головою. В эстампных магазинах были выставлены портреты разных польских знаменитостей: Мицкевича, Костюшки, Каминского, Красицкого, Сырокомли, Крашевского, Понятовского, Эмилии Плятер, раввина Йошелеса, который являл собою современную патриотическую известность, и какого-то еврея в гусарском мундире, по прозванию, кажется, Берко, который отличался своею храбростию и патриотизмом в восстании 30-го года; тут же виднелась и типическая фигура старика Гарибальди, и прекрасная литография с знаменитой картины Юзефа Зиммлера "Смерть крулевы Барбары Радзивиллувны". Между фотографическими выставками красовались разные красивые пани и панны, то с грустными и страдающими, то с фанатически-вызывающими, гордыми лицами и непременно с непричесанными, распущенными волосами; рядом с ними выставлялись портреты разных лихих панов и паничей с польскими усами, в чамарках и кунтушах, портреты и карточки все тех же артистических, литературных и патриотических знаменитостей, между которыми особенно кидалась в глаза курчавая голова в натуральную величину, с крайне-нахальной, самоуверенной физиономией. Это был сам пан Гишпаньский — знаменитый пан Гишпаньский, сапожник с Длутой улицы, отличавшийся в недавно уничтоженной «делегации» варшавских обывателей, возникшей по слабости местной власти вслед за убиением "пяти

жертв". Карточки этого пана Гишпаньского с сапожной колодкой в руках, торчали на каждом почти шагу рядом с карточками башмачника Килинского, еще более знаменитого в известную под именем "Варшавской заутрени" резню 1794 года. На углах улиц пестреют разные объявления и афиши, гласящие, что на театре «Розмаитосьци» идет комедия "Пан Гельдхаб" с Жолкевским в главной роли, а на "Велькем театру"[149] балет «Моднярки»[150] или "Орфеуш в пекле"[151] с паннами: Дылевской, Олевинской, Квицинской, с панами Квятковским, Тарновским, Попелем и Филиборном, и вечно здесь какая-нибудь праздная кучка стоит и читает. Такие же кучки глазеют и в окна магазинов и лавчонок. А вон в окне одного чайного магазина какими-то судьбами прилепился вдруг "спев гисторичны о Болеславе Хробрым". Зачем здесь этот патриотический и "гисторичны спев"[152] вместе с чаем? про то уж один Бог знает: но это здесь тоже "в порядке вещей". Но вот Зигмундова площадь со своим наикатоличнейшим крулем Зигмундом, сверху своей колонны якобы посекающим "глувы неверных — ad majorem Dei gloriam", а там вон и замок Зигмундов, оцепленный мрачно и тихо расхаживающими часовыми с заряженными ружьями. Сквозь ворота этого замка виднеются во дворе и медные орудия на зеленых лафетах, совсем готовые к действию.

Вот, в углу площади, словно узкий и темный коридор открывается Свенто-Янская улица, одна из самых древних в Варшаве. Грязь, вонь, кочни капусты, виноград, фрукты, груши-сапежанки, морковь, бабы и жиды, повозки с мусором, повозки с овощью, грязные, замурзанные жиденята, собаки, цыбулька, жидовки в дверях лавчонок, наполненных всяким хламом, с подвешенным над входом красным зонтиком, который, заменяя собою вывеску, раскачивается по воле ветра; древние, высокие дома без ворот, но с одною лишь массивною, окованною в железо дверью, с гербами, с надписями на чугунных досках, с разными изваяниями и аллегорическими изображениями над каждым почти входом, и тут же великолепный фасад древнего кафедрального собора, или так называемой «фары»; но этого фасада не разглядишь, благодаря узости самой улицы, а за ним, почти сейчас же, через несколько домов, знаменитое "Старе място", небольшая четырехугольная и безобразно грязная площадка, сплошь обставленная древнейшими разноцветными домами, узкими, высокими, с черепичными острыми кровлями, с балкончиками, фонариками, вышками, С бесчисленным множеством зеленых ставень, с разными фигурками и изваяниями на крышах, а посреди этой площадки, на которой некогда казнили Остапа Бульбу, Гонту, Железняка и многих иных борцов за дело православия и вольной казачины, возвышается круглая цистерна, с прекрасной бронзовой статуей, изображающей роскошную женщину с рыбьим хвостом, которая, подставив щит, смело и широко замахнулась на кого-то в воздухе польскою саблею. Это — муниципальный герб города Варшавы. "Сирена… прекрасная, поющая и разящая; как много в этом поэтического смысла и политического, рокового значения", подумалось Хвалынцеву, глядя на это художественное изваяние.

Но все это: "Старе място", Свенто-Янская улица, фара, узкие дома, барельефы, надписи, гербы, евреи, монахи, нищие, торговки, пестрые лавчонки и какая-то наивность грязной уличной, обыденной жизни, не скрывающей никаких своих отправлений, — все это веяло историческим прошлым, отзывалось средними веками и являло какую-то особую, своеобразную и в высшей степени характерную жизнь. Хвалынцев, между прочим, обратил некоторое внимание и на оригинальные старинные вывески, которые красовались над входами в разные кабачки, ядальни, дыстрыбуции, мелочные и хламные лавчонки: на одной, например, изображена звезда, на другой олень, на третьей всевидящее око и *страшенный* лев, или крутогрудый лебедь, или же белый орел, и сообразно этим изображениям находятся надписи: "под гвяздон", "под эленем", "под свентым окем", "под львем", "под лабендзем", "под бялым оржлем", — все это относилось по крайней мере к прошлому XVIII веку, да так с тех пор и осталось здесь нерушимо над дверьми тех же самых кабачков и дыстрыбуции, которые в своих стенах видывали еще прапредков нынешних варшавяков.

Бродя по кривым, извилистым и узким улицам "старого города", Хвалынцев незаметно вышел в более чистую часть и очутился близ Саксонского сада. Он вошел под сень этих роскошных, величественных каштанов, которые помнят еще времена Зигмунда-Августа; на многих деревьях держались еще листья, хотя уже прихваченные морозом, но все еще зеленые. Идет он по аллее, но и здесь все те же черные, траурные тени с бледными лицами бродят по дорожкам, те же чамарки, то же шушуканье на скамейках, с которых мигом исчезает партикулярная публика, чуть только присядет туда офицер или заведомо русский; те же пытливо, и тревожно пронзающие вас взгляды, а иногда и нахально-самоуверенные, вызывающие улыбки; всматриванье, поглядыванье, подслушиванье, искание скандала, будет только является мало-мальская возможность устроить его какому-нибудь одинокому москалю... Все точно так же и здесь, как и в столовой, в цукериях, на улицах, пахнет разлитою в воздухе враждой и таинственным заговором. Траурные тени движутся тихо, медленно, словно бы составляют собою какую-то бесконечную и зловещую похоронную процессию. В одних только детских группах заметна говорливая, быстро движущаяся жизнь: вот две партии мальчуганов разделились между собою и играют "в москалей и поляков"; поляки храбро атакуют москалей, бьют их и всегда остаются победителями, вследствие чего охотников принимать на себя роль ненавистных москалей становится все меньше и меньше. Траурные девочки возят в черных повозках одетых в траур кукол и катают по дорожкам траурные, черные с белой каемкой обручи. Какою-то невыразимою, захватывающею дух и щемящею грустью повеяло на Хвалынцева при виде этих тихо блуждающих черных теней и этих траурных игр, дышащих скорбью и ненавистью, и он поспешил уйти из этого «похоронного» сада.

Возвращаясь из него по Саксонской площади, мимо обелиска, воздвигнутого в память польским генералам и офицерам, сохранившим верность своему Царю в восстание тридцатого года, памятника, нарочно служившего в настоящее время общественным местом некоторых естественных отправлений публики, — Хвалынцев еще раз наглядно мог убедиться в страшной силе той непримиримой, глубокой ненависти, которая чрез тридцать лет не прощает даже мертвым, искупившим собственною мученическою смертью то, что они считали за истину и святой долг и что в глазах польских революционеров было изменой делу отчизны. Но перебирая в уме своем впечатления нынешнего дня, вспоминая все эти памятники многовековой и если не народной, то во всяком случае городовой и шляхетной жизни; восстанавляя пред собой все эти древние здания замка, бернардинов, Зигмундовой колонны, фары, Старого места, все многолетние дома, покрытые еще доселе средневековой плесенью и историческими воспоминаниями целых столетий бурно и славно прожитой жизни, Хвалынцев, как честный человек, не мог не прийти к одному достопримечательному сознанию, которое он в тот же день, под свежим, неизгладившимся впечатлением, занес в свою записную книжку.

"Да! здесь есть за что встать и за что побороться!" с глубоким убеждением писал он там. "Все эти монастыри, костелы и колонны, исторические площади, места и улицы, исторические дома и здания, — со всем этим соединено здесь столько славных, светлых и столько горьких воспоминаний, что они не скоро изгладятся из памяти народного сердца!.. Это такой же славянский центр, как наша Москва, как чешская Прага; здесь, веками прошла целая жизнь своеобразная, богатая и характерная. Здесь лег в основание быта совсем особый, нимало не похожий на наш, культ жизни, понятий, верований, стремлений, политики, государства, что нет ничего мудреного, если и до сих пор невозможно забыть этого культа! Все эти места для поляка то же самое, что для нас московский Кремль с его святынями. От этого всего нелегко... даже нельзя, невозможно отказаться, потому что все эти памятники стародавней жизни просто мозолят глаза собою: они кричат, они вопиют о прошлом и требуют его возвращения! Надо одно из двух: либо сполна отдать их полякам, либо уничтожить их в три часа грозными пушками Александровской цитадели! Иначе же, пока существуют на глазах у всех эти исторические памятники прошлой независимости и славы — здесь никогда не будет ни

полного мира, ни полного покоя, ни полного счастья! Или же все это надо перевоспитать, сделать нашим русским, во имя светлого *настоящего* заставить забыть историческое *прошлое,* а это делается если не веками, то долгими и долгими годами неуклонной, твердой и честной *русской* политики!.. Но с нашими вечными колебаниями придем ли мы к этому? А если и придем, то скоро ли?.. Для нас, как кажется, остается теперь одно открытое поле — это *хлопская Польша.* Сумеем ли мы мирно взять ее и слить с собою — вот в чем вопрос! И все-таки, в конце концов, надо сознаться, что здесь родовитому ляху есть за что встать и побороться до последней возможности, до последнего издыхания исторических воспоминаний! Но... все-таки для меня, а вместе со мною, кажись, и для каждого русского — вся эта историческая, славная, шляхетская жизнь, все эти мозолящие глаза памятники — увы! — остаются чуждыми и не говорят моему сердцу того, что говорит ему московский Кремль и Киевские святыни... Итак за что же здесь я встану и буду бороться против своих, против русских?.. Вот он, роковой вопрос!.. И неужели же, в конце концов; для меня во всем этом деле остается одна лишь блестяще-обаятельная польская женщина, одна Цезарина?"

Это была для Хвалынцева невыносимо тяжкая минута размышлений и нравственного сознания. Ему тяжело было записывать на память себе эти роковые строки.

VI. Уже на службе

1861 год отошел в вечность, оставя в наследие шестьдесят второму смутное время в Москве и Петербурге и еще более смутное, натянутое и тягостное положение в Варшаве.

Прошло несколько месяцев со дня прибытия Хвалынцева в этот последний город. В это время он давным-давно успел уже определиться в полк и надеть кавалерийский мундир, что произошло еще на первых порах его прибытия в Варшаву. В полку его полюбили; начальство тоже взирало на него довольно благосклонно, и таким образом, новая, военная жизнь, за-хватя его в свое русло, показалась ему доброю, простою и хорошею жизнью. Он попал в честную армейскую среду, *честную,* конечно, не в том смысле, как понимается этот эластический эпитет в полояровских кружках Москвы и Санкт-Петербурга, но честную по-солдатски и вместе с тем по-человечески; в среду, не умеющую сидеть на двух стульях, не задающуюся выспренними социально-политическими вопросами, но зато свято и неуклонно исполняющую свой долг (как бы он ни был иногда мал и скромен); в среду, всегда умеющую безропотно подставить свой лоб и свою грудь, где потребуют интересы того (для иных быть может и странного) принципа, который называется "русским государством", "русскою землею"; в среду, умеющую и всегда готовую, в то же время, протянуть и братскую руку помощи и участия каждому несчастному, кто только в них нуждается. В те годы, о которых идет наше повествование, на эту скромную среду со всех концов российской и отчасти польской литературы и из многих кружков русского общества сыпались тысячи насмешек, оскорблений и обвинений, дышавших сатирой, если только не крайнею ненавистью, и каждый борзописец вменял себе в особенную заслугу лягнуть так или иначе человека, носящего военный мундир и верного известным принципам, забывая, что этот самый оплевываемый и лягаемый человек еще так недавно отстоял грудью своею импровизированную, фиктивную крепость, которая называлась Севастополем; но это ему не вменялось в заслугу и обходилось молчанием, а на вид выставлялись исключительно темные личности и темные проявления тогдашнего военного быта. Но наша заграничная революционная печать, понимая то значение, какое имеет военный элемент и во внутренней и во внешней жизни государства, старалась, время от времени, заигрывать и кокетничать с ним, высылала к нему свои вопиющие и, взывающие прокламации и только тогда разразилась против него «анафемой» и «подлыми», когда ясно и осязательно убедилась на деле, что никакие кокетливые заигрыванья ни приведут к ее желанной цели.

Эта добрая среда открыто и просто, по-солдатски, приняла Хвалынцева в свое лоно и облюбила его как славного, хорошего юношу, который по всему обещал быть хорошим кавалеристом и хорошим товарищем, и ни на единую минуту не заподозрила в нем принадлежности к тем враждебным для нее элементам, которыми кишела тогда Польша и которые, как накипь, всплывали время от времени на широкую поверхность нашей русской жизни.

Да впрочем, и сам Хвалынцев за все это время никому не подавал ни малейшего повода заподозрить себя в тех целях и намерениях, ради которых он вступал в военную службу. Определяясь на службу, он не пошел к офицеру Палянице, обратиться к которому, как к главному агенту "варшавского отдела русского общества земли и воли", ему было рекомендовано еще в Петербурге, а вместо того занялся просто службой, и был совершенно доволен своим положением, в какое прихотливой судьбе угодно было забросить его так случайно и так неожиданно.

Одно только мучило, грызло и терзало его в иные долгие и бессонные ночи, — это странная, почти необъяснимая, почти роковая страсть к графине Цезарине. Она не была для него тем добрым, простым, хорошим женщиной-человеком, женщиной-другом, каким во время оно являлась ему Татьяна Стрешнева; в графине Цезарине Маржецкой он видел прелестную, коварно-грациозную, обаятельную, влекущую к себе женщину-самку, окруженную таким блестящим и поэтическим ореолом женственности, таинственности и революционизма. Он не встречал еще в жизни своей подобных женщин, и Цезарина влияла и действовала на него как новость, как нечто невиданное, как нечто такое, что хочется постичь и разгадать во что бы то ни стало. Она была для него тем ярким и манящим пламенем лампы, на которое доверчиво и беззаветно летит в открытое окно из мирной и темной глубины тихого сада глупый мотылек, для того лишь, чтобы обжечь свои крылья, если только не поплатиться на этом предательском пламени всею своею бедною жизнью.

Хвалынцев жил в среде своих полковых товарищей и исподволь очень порядочно научился польскому языку. Русским людям знание этого близкого к нам языка достается не трудно в том городе, где польские звуки, так сказать, носятся, звучат и перекрещиваются между собою в самом воздухе. Не последнею также практической школой языка для молодых военных служат Варшавский театр «Розмаитосьци»[153] и «кобеты», то есть те вечно игривые, вечно болтливые и веселые варшавянки-гризетки, что, несмотря ни на какую жалобу, ни на какие декреты грозных подземных комитетов и трибуналов, во вся времена и веки, никоим образом не могут отказаться от своей женской слабости к «москалям», которых они всегда по душе предпочитали своим варшавским «элегантам». А эти милые и веселые «кобеты» всегда водятся явно или под сурдинку в каждой среде полковой молодежи, так что Хвалынцев поневоле сталкивался с ними у некоторых из своих полковых товарищей, и таким образом варшавский театр и варшавские женщины даже и в ту политически-тяжкую годину невольно служили для него лучшею практическою школою польского языка, которым иногда, в свободные часы, занимался он еще и теоретически, посредством чтения и иных упражнений. В относительно короткое время он довольно основательно овладел этим языком, в сущности вовсе нетрудным.

Итак, он жил и служил себе, как живется и служится вообще обыденным порядком, то есть довольно сносно, а в это самое время на горизонте варшавской политической жизни совершались события, относительное значение которых уже отмечено историей того смутного времени.

VII. Террор и паника, и еще нечто

Костелы были закрыты. Прелат Бялобржеский, бывший орудием других, а сам по себе явивший пред судом в своей особе немощного и довольно бесхарактерного, довольно трусливого

старикашку, был приговорен к годовому заключению в крепости, без лишения сана и ордена, хотя капитулу и красным очень хотелось, чтобы его расстреляли, дабы этою новою казнью увеличить в глазах Европы число польских мучеников. Военное положение, как детское пугало, все еще висело над Варшавой, тяготя собою одних лишь русских властей, но нимало никого не пугая и не вразумляя; авторитет законной власти вследствие этого печти с каждым днем падал все более и более, а вместе с его падением прогрессивно разыгрывались революционные страсти, везде, где только можно: и на школьной скамейке, и у семейного очага и пред домашней исповедальней ксендза и монаха, и в местах общественных собраний. Положение становилось все более натянутым, и хотя не было резких публичных проявлений демонстративного характера, тем не менее все, что могло подняться, в грозной тишине готовилось к страшному взрыву, к вооруженному восстанию, какими бы то ни было путями, с единою мыслью: выйти полными победителями.

Военное положение между прочим вызывало беспрестанные аресты; брали и за дело, и без дела, но как в том, так и в другом случае эти аресты кончались сущими пустяками: несколько дней заключения в полицейской «козе» или в цитадели и только, так что в варшавяках разыгралась наконец своего рода модная страсть к арестам: множество лиц сами добивались ареста и просто-таки навязывались на него, как на особое отличие, потому что этим пустяком приобреталась в общественном мнении репутация доброго патриота. Кому ни разу не довелось побывать если не в цитадели, то хоть в «козе», того зачастую начинали подозревать в шпионстве и вообще в патриотической неблагонадежности. Евреи тоже, словно бы особой милости, добивались ареста в качестве польских возмутителей, и комические факты, как например тот, что один известный варшавский еврей-купец считал себя серьезно обиженным, громко жалуясь, что сын его, никому не уступающий в чувствах хорошего поляка, не был еще ни разу арестован, — такие факты случались сплошь и рядом. Многие господа приобрели даже особенную ловкость и опытность в искусстве быть многократно арестованными и каждый раз выпутываться без серьезных последствий; а между тем эта проделка упрочивала за ними громкую репутацию отличнейших патриотов. Таким образом, рядом с серьезными и тихими подготовлениями к грозной развязке шла об руку и эта мелочно-суетная, комически-шутовская сторона дела.

9-го февраля 1862 года, прибыл в Варшаву на архиепископскую кафедру ксендз Феликс Фелинский. Еще до его прибытия общественное мнение было уже предубеждено в дурную сторону относительно нового архиепископа: уже одно то, что он назначен указом прямо из Петербурга, помимо капитула, и что до сей поры состоял профессором в Петербургской Духовной Академии, делало его весьма непопулярным. В лице его хотелось бы прославить нового мученика за дело ойчизны, новую жертву московского гнета, а он меж тем с первого же шага открыл все костелы для богослужения, не одобрил политически бестактное поведение ксендзов и пение гимнов, да вдобавок заговорил в духе примирения о либеральных намерениях правительства, лично ему известных. Это подняло против него целую бурю толков, пасквилей, карикатур, а один реформатский монах даже в публичной проповеди отделывал его самым беспощадным и оскорбительным образом. Буря эта наконец разыгралась тем, что 10-го апреля, едва лишь Фелинский взошел на кафедру в фаре, как речь его была заглушена свистками, шиканьем, криком — и многочисленные коноводы почти силою принудили весь народ выйти из храма. Для поддержания собственного авторитета, молодой и элегантный Фелинский задумал было составить себе особую партию в среде модных аристократических клерикалок. Сам он носил постоянно сутану фиолетового цвета; модные девотки по его увещаниям решились к своей жалобе примешивать какой-нибудь бантик или ленточку того же самого цвета, но это послужило к тому лишь, что всех этих барынь окрестили сатирическим прозвищем "фиалок Фелинского", а то еще обзывали и "коханками Фелинского". Таким образом, архиепископ потерпел полное и решительное фиаско. Поляки в этом случае оказались и относительно

Феликса Фелинского такими же непроницательными и политически-бестактными слепцами, как относительно маркиза Виелепольского; и напрасно "Gazeta Polska" красноречиво старалась вразумить их, указывая в нем будущего деятеля и героя польского дела — никакое красноречие, никакие вразумления не помогали: идеи «примирения» были нетерпимы, хотя весьма значительное большинство, так сказать, на собственной шкуре чувствовало всю крайнюю необходимость этого примирения, потому что за последнее время торговля пришла в страшный упадок, в промышленности господствовал окончательный застой, заводы, фабрики, ремесленные мастерские беднели и пустели с каждым днем все более, около двух третей мелких ремесленных заведений в целом крае закрылись за положительным отсутствием рабочих рук; кредит падал, множество капиталов лопалось, круглое банкротство заглядывало во все промышленные и торговые щели — стране грозил окончательный экономический кризис. Массы рабочего, ремесленного люда шатались без дела по улицам и дорогам, нищенствовали и до последней нитки пропивались в кабаках и бавариях. Труд был заброшен в ожидании *чего-то* — и вся эта полуголодная, полупьяная масса, в каком-то тревожном, возбужденном состоянии, готовая на всякую демонстрацию, равно как и на всякую легкую наживу, глухо волновалась и нетерпеливо ожидала близкой развязки. Какая будет развязка? — это было для названной массы дело темное, гадательное и почти неведомое: но труд все-таки стал, а кровожадные инстинкты вызывались наружу. Умеренное большинство очень хорошо видело все это и понимало страшное, критическое положение своего края, но... у этого большинства не хватало духу возвысить свой голос: оно трусило и глухо молчало пред грозною и темною силою революционных трибуналов. Грабежи, с объявлением военного положения, не прекратились, а усилились: разбивали среди бела дня лавки, мастерские, разрушали целые склады и заводы, и это все безнаказанно творилось и в Варшаве, и в городах, и вообще в губерниях Царства. Редкий день проходил без того, чтобы на улицах, в домах, в костелах и на дорогах не истязали самым бесчеловечным образом "дурных поляков"; их забивали часто до смерти. Достаточно было кому-нибудь, по личной злобе, пришпилить к заду платья своего недруга или кредитора бумажку с надписью «Szpieg» — и этот шпег[154] избивался яростною толпою, где ни попало: на улице или в костеле. Полиция пряталась, не смея и носа показать, или появлялась только затем, чтобы подобрать изувеченное тело. Целые толпы с кастрюлями, сковородниками, свистками и трещотками собирались под окнами какого-нибудь "дурного поляка" или «москаля» и задавали ему "коцью музыку", финалом которой обыкновенно являлось огульное выбивание стекол уличными камнями, — и это еще была из самых легких мера наказания. По варшавским улицам гордо разгуливали мальчишки, лет 16-ти — 18-ти, одетые в черные блузы и подпоясанные пеньковыми веревками, петлею продетыми в железное кольцо. Эта веревка служила символом висельной петли, а самое появление милых юношей на улицах долженствовало служить к устрашению "робких патриотов". Это был как бы первообраз будущих жандармов-вешателей, будущие их кадры.

Еще в январе 1862 года пошли и по Варшаве, и по провинции самые положительные слухи о вооружениях нации: назывались даже лица, у которых сосредоточиваются денежные складки на закупку оружия, делались заказы на бельгийских оружейных фабриках, в самой Варшаве устраивались тайные экзерциргаузы, в которые стекалась молодежь обучаться военному делу по уставу Мерославского, экземпляры которого в десятках тысяч были распространены по Польше и всему Западному краю. Игра шла почти уже в открытую.

С одной стороны грозный террор, с другой немая паника; над тем и над другою — страшный экономический кризис целой страны, а под ними, как слабый — и надо сознаться — печально-комический аккомпанемент всей этой трагикомедии, беспрестанные и никого не уверяющие уверения местного начальства, что оно при военном положении имеет в руках своих достаточно сильную власть для сохранения общественного спокойствия...

VIII. Hymn narodovyy[155]

3-го мая — день знаменательный для *белых* польских патриотов. Это день знаменитой "конституции 3-го мая", составленной Чарторыйским. Вечером, накануне этого дня, за вечерней службой и в самый день конституционной годовщины, во время обедни, по варшавским костелам вновь раздались революционные гимны, замолкнувшие было на некоторое время. Пение этих гимнов, конечно, сопровождалось обильными арестами при выходе из храмов. 3-го мая во время «мши»[156] многочисленная публика собралась по преимуществу к Свентему Кржижу, как в самый модный храм того времени. На улице, пред костелом стояло много экипажей и толпы людей, между которыми замечались многочисленные группы гимназистов и студентов.

Хвалынцев как раз в это самое время проходил по Новому Свету вместе с одним из своих полковых товарищей и поневоле замешался в толпу, которая стояла пред статуей Христа в терновом венце, упавшего под тяжестью креста и указующего на небо.

— А это ведь неспроста, — заметил он своему однополчанину. — Должно быть у Кржижа опять что-нибудь творится.

— Да разве ты не знаешь? — отозвался тот; — ведь со вчерашнего дня опять запели. Наверное и теперь поют.

— О?.. в самом деле? — отозвался тот. — Ведь это крайне любопытно!

— Что там любопытного! Орут себе во все горло да и только.

— Но я в самой Варшаве никогда еще не слыхал этих гимнов; зайдем, пожалуйста!

— Зайдем, пожалуй!

И оба товарища поднялись на ступени костельной паперти.

С трудом, чрез плотную массу народа, пробрались они во внутренность храма, но и то принуждены были остановиться почти в самых дверях, за невозможностью двинуться далее. Здесь оци столкнулись нос к носу с жандармским офицером, бывшим своим однополчанином. Хвалынцев на первых порах своего вступления в службу еще застал его на короткое время в полку, и потому был знаком с ним. Жандармский офицер был полячок по происхождению и потому для пущего заявления пред начальством своей благонадежности и благонамеренности, а равно и ради выгод служебных и экономических, заблагорассудил перейти в полицейские жандармы. В полку нимало не пожалели об утрате сего товарища.

— А!.. господа!.. Милые, старые товарищи! — заговорил жандарм, с какой-то торопливой, заискивающей любезно стью, крепко и чисто по-польски пожимая обоим руки. — Вы сюда какими судьбами!?

— А вы-то какими? — спросил его товарищ Хвалынцева.

— Я?.. Э, я по необходимости, по службе!.. Такая неприятная служба, и совсем я к ней, как вижу, неспособен... То ли дело в полку-то было!..

— Да впрочем вы ведь, кажись, и все к этой службе не совсем-то тово...

— Э, нет, не скажите!.. Есть, напротив, очень способные; но я-то собственно... Но что же

делать!.. Представьте, это полячье безмозглое вздумало снова эти… гимны свои дурацкие… Ну, вот и послали, чтоб арестовать их… Удивительно глупый народ, я вам скажу!.. Удивительно-с глупый!..

— Что же вы так бранитесь, ведь вы сами…

— Нет-с, то есть, — торопливо и предупредительно перебил жандарм, — то есть я сам собственно только католик, но что эти все господа… это что же, помилуйте!.. Но что вас-то собственно, господа, привлекло сюда?

— А вот Хвалынцеву любопытно послушать, что это за гимны… никогда не слыхал еще.

— Э, помилуйте, есть тут что слушать!.. Ничего поучительного!.. так, просто дикая глупость одна…

— Но все же любопытно, — ввернул слово Константин Семенович.

— Да, ну, если любопытно, то конечно… отчего ж и не посмеяться!

Но Хвалынцев не нашел, над чем бы тут можно было смеяться. Сцена, открывшаяся пред ним, не заключала в себе ничего смешного. Пред глазами его был высокий, светлый храм, битком наполненный народом, и весь этот народ стоял на коленях; но пред алтарем не было заметно ни одного священнодействующего лица. Впереди виднелась группа черных, коленопреклоненных женщин. На всех лицах лежала печать выразительной, озлобленной скорби, взоры горели молитвой, фанатизмом, отчаянием, религиозным экстазом и ненавистью… Вверху гудел орган, но аккомпанирующие звуки его почти заглушались: вся эта плотная, коленопреклоненная масса, как один человек, полною грудью, во весь голос издавала страшные, морозом подирающие вопли, которые были мрачным гимном отчаяния, ропота и укоризны, обращенных к Богу.

Гимн только что начинался. Хвалынцев с напряженным вниманием прислушивался к выразительным стихам его.

"Когда ж Ты, о, Господи! нашу услышишь мольбу!" в один голос гремела эта сила мужских и женских голосов, — и от мрачных аккордов всей этой тысячегрудой взывающей массы, казалось, сотрясались самые стены древнего храма:

Когда ж Ты, о, Господи! нашу услышишь мольбу
И дашь воскресенье из гроба неволи?!
Уж мера страданий исполнилась в нашем гробу,
И жертвы, и смерть уж не страшны нам боле!
Мы пойдем на штыки, на ножи палачей, —
Но только свободу, отдай нам свободу!
Ведь наши отцы в багрянице из крови своей
Твой крест защищали в былую невзгоду;
В крылатых доспехах летели с врагами на бой,
На саблях несли Твое имя святое, —
За что же теперь их сыны позабыты Тобой?!
За что присудил им мучение злое?!
Зачем же, о, Господи! взор всеблагой Твой и слух
От нас отвращен и стенаний не чует,
И предал тому своих верных Ты слуг,
Кто крест Твой нещадно уж дважды бичует.

Хвалынцев весь находился под страшно гнетущим и потрясающим впечатлением этих как бы исстрадавшихся, отчаянно-решительных и могильно-грозных звуков: ни единой светлой, умиляющей ноты — одна только скорбь, одно лишь отчаяние и горький, исступленный упрек да сетующая жалоба звучали в этих аккордах. И действительно, пение — или скорее стоны и вопли, чем пение — всей этой массы голос, слитых в одно фанатически-исступленное чувство, в одну мысль укоризны и отчаяния, и вместе с тем самый вид этой тысячеглавой толпы, плотно слитой и поверженной на колени, то с согбенными спинами, то с дерзко и вызывающе поднятыми к алтарю взорами, производили впечатление сильное, глубокое, потрясающее и мрачно-поэтическое. Он — человек, чуждый этому миру, человек иной национальности, — в эту минуту живо и глубоко почувствовал и познал ту страшную силу, которая может и должна электризовать и фанатически вздымать целые массы народа, настроенного подобным образом. Он понял, что достаточно одной такой поэтической и эффектной минуты, чтоб она увлекла собою эти массы и на площадь, и под пули, и на баррикады. Он понял теперь, *что именно* сковывает воедино волю и силу этих столь разнообразно поставленных в жизни людей, и что действительно может возбуждать в них, хотя бы минутную, но глубоко-искреннюю готовность "идти на штыки и ножи палачей". Эта минута, заключающая в себе это роковое *нечто,* вздымающее людей на подобную высоту духа, есть именно сила исступленного, религиозно-католического экстаза — сила польского костела.

Подавленный своим поражающим впечатлением, он только слушал и глядел машинально, из чувства некоторой вежливости улыбаясь полячку-жандарму, который в это самое время что-то и о чем-то говорил ему, должно быть что-то очень любезное и, по его мнению, вероятно остроумное, но что именно, Хвалынцев не слушал, не понимал, да и не желал и не мог понимать и слышать.

Взгляд его был прикован к одному месту, у правой стены, где за несколько мгновений пред этим он вдруг нечаянно встретился с другим, устремленным на него взглядом.

У Хвалынцева закружилась голова от какого-то угарного, сладко-опьяняющего чувства. Сердце вдруг упало, застыло на одно мгновение, но тотчас же взыграло каким-то смешанным ощущением страха, смущения и радости.

Да, нет сомнения, взгляд устремлен именно на него, но отчего ж, при всей его пристальности, в нем ни на единый миг не мелькнул луч привета? Отчего эти глаза глядят так холодно, так строго, с оттенком какого-то удивления?.. Но сомнения быть не может: это она, графиня Цезарина… Это взгляд ее столь хорошо ему знакомых глаз, ее лицо, ее выражение, рост и весь склад фигуры — именно ее! Он узнал ее окончательно! Идти к ней не хотелось бы, но… не хватало решимости.

Меж тем затихли последние, финальные аккорды гимна. Народ повалил было из костела, но тут начались аресты. Против полячка-жандарма, между полицейскими солдатами, якобы в качестве арестованного, поместился полячок-обыватель, из природы варшавских «элегантов» с двойным, очень тщательно расчесанным пробором, с усиками, вытянутыми в струнку и с парижской люишкой. «Элегант», хотя и сам принадлежал к ярым певунам-патриотам, но находил не безвыгодным для себя, как и многие «элеганты» и неэлеганты того времени, служить и нашим, и вашим. Он посредством незаметного и непонятного для непосвященных глаз условного знака, вроде поигрывания цепочкой при приближении какой-либо личности, давал этим жандарму знать, что такого-то или такую-то арестовать, мол, следует, — и полячок-жандарм, со всею официальною и притом со всею польскою «гржечносцью» немедленно арестовывал указанного субъекта. Впрочем, элегант свое дело делал с разбором, и очевидно, не без задней мысли патриотического свойства: указывая одних, он пропускал других, по своим соображениям, в расчет которых входила большая или меньшая пригодность данного

субъекта к делу "свентей справы", либо принадлежность его к той или другой политической партии.

Сцена арестования была из самых неприятных: одним (впрочем не очень многим) хотелось как-нибудь улизнуть, и они довольно комически старались исполнить этот маневр разными стратегическими хитростями; другие очень жалостно и униженно просили отпустить их, но этих и еще было меньше, большинство же позволяло себя арестовывать довольно равнодушно, чтобы не сказать вполне охотно. Одни из этого большинства принимали гордо спокойный вид "страдальцев за ойчизну", другие, шедшие под арест с видимым удовольствием, трунили и подшучивали над собой, над товарищами, над полицией — вполне безразлично, а третьи так даже сами с просительным видом обращались к офицеру, "нех пан бендзе так ласкав арестоваць мень! Нех пан позвали и мне исць до козы, бо и я спевалэм, муй пане!" и жандарм не отказывал ни единой из этих последних просьб. Было очевидно, что всей этой комедией ареста "добре обывацели" радёхоньки воспользоваться ради легкого и притом столь модного способа попасть в герои, в страдальцы, в мученики за Польшу. Но несмотря на то, что каждый отлично понимал значение этой комедии, она сопровождалась другой комедией слез, воплей, вздохов и проклятий на «утеснителей», расточавшихся из толпы зрителей, между которыми точно так же было пропасть желающих попасть в модные герои и героини, а между тем слезы и вопли раздавались с таким отчаянным видом, как будто всех этих арестантов сейчас же поведут на виселицу. Контраст между этой дешевенькой сценой и тем грандиозным впечатлением, которое за минуту еще делал гимн коленопреклоненного народа, был слишком быстр и потому противно гадок. Тут от великого до смешного явилось теперь даже менее одного шага.

Оставаясь почти невольным свидетелем этой печально смешной комедии, Хвалынцев сквозь толпу обступившего народа устремлял внимательно разглядывающий взгляд вовнутрь костела — туда, в ту сторону, где встретился со взором Цезарины. Она все еще стояла на своем месте, как будто в каком-то раздумьи, в какой-то нерешительности и совсем безучастно относилась к сцене арестации, разыгрывавшейся у входа. Между тем костел пустел все более и более: полиция приглашала удаляться всех избавлявшихся от ареста. Оставалась уже небольшая лишь кучка самых упорных или же самых любопытных патриотов. Вдруг, Хвалынцев заметил, что графиня Маржецкая, после минутного колебания, прямо направилась к выходу очень твердой, уверенной и смелой поступью.

Элегант, заметив ее, с самым невинным видом предупредительно схватился за свою цепочку.

— Пршепрашам, муя пани! — вежливо загородил ей дорог жандарм.

Но графиня вдруг, совершенно неожиданно для всех, круто повернулась к Хвалынцеву, как бы вовсе не заметив обращенных к ней слов и движения жандарма и, к крайнему изумлению самого Константина, заговорила с ним по-русски!

— Здравствуйте, господин Хвалынцев! — приветливо, как добрая, старая знакомая, сказала она, протянув к нему руку. — Какая неожиданная встреча!.. Очень рада видеть вас!

Герой наш отчасти растерялся от неожиданности такого подхода и от прихлынувшей радости. Но и жандарм просто ошалел, услыхав русскую речь в костеле, со стороны женщины, одетой в очень изящное черное шелковое платье, на которую его vis-à-vis[157] элегант даже и в это мгновение делал свои предупредительные знаки. Эта русская речь в данном случае казалась явлением столь странным, что, несмотря на упорное поигрывание цепочки, жандарм, предположив здесь какое-нибудь недоразумение, не сомневался в ошибке со стороны предупредительного элегант.

— Давно вы здесь, графиня? — спросил наконец Хвалынцев, собравшись кое-как с мыслями.

— Я?.. только вчера из Петербурга! — солгала она, и солгала очень искусно, то есть с безукоризненным видом правды, простоты и невинности. — Я еду за границу, — продолжала Цезарина как ни в чем не бывало, — но устала с дороги и думала хоть один день отдохну в Варшаве… Между прочим, мне было бы любопытно посмотреть что это здесь делается… В гостинице, где я остановилась, горничная девушка болтала что-то про какие-то гимны… Мне захотелось посмотреть, послушать… Я нахожу, что это довольно оригинально, эти гимны — vraiment.

Жандарм, уже не глядя на элеганта, был вполне убежден, что созерцает какую-нибудь русскую, петербургскую барыню. Хвалынцев тоже почти рот разинул от изумления, услыхав русскую речь из уст женщины, которая — насколько он знал ее — всегда тщательно избегала употребления этого ненавистного ей языка, так что он даже искренно был убежден до сей минуты, будто она очень плохо знает и понимает русскую речь.

— Однако, здесь такая толпа… — с легкой гримаской окинув взором паперть и улицу, заговорила Цезарина. — Будьте так любезны, дайте мне вашу руку и проводите меня до моего экипажа.

Константин не заставил ее повторить себе просьбу. Почти вне себя от восторга, возбужденного всей этой неожиданной встречей и любезностью, он подставил ей руку и — мимо жандарма, который даже слегка взял ей под козырек, словно бы извиняясь и давая дорогу — провел ее вдоль толпы арестантов и зрителей, занимавших ступени паперти.

— Вот моя карета, — сказала графиня, указывая глазами на очень изящный экипаж с английскою упряжью, который стоял тут же пред тротуаром.

Хвалынцев поспешил открыть ей дверцу.

— Благодарю вас! — протянула она еще раз ему руку. — Я могла быть арестована, но вы меня избавили от всех этих полицейских неприятностей, а мне, по некоторым очень важным для меня соображениям, было бы вовсе некстати теперь быть арестованною… Еще раз благодаря, вас!.. До свиданья!

И она легко порхнула в свою карету. Дверца захлопнулась. Кучер тронул вожжи — и экипаж помчался по Новому Свету.

Константин не успел еще опомниться. Все это произошла столь быстро, столь неожиданно и даже столь странно, что казалось ему каким-то тяжело-сладким сном, мимолетной грезой: сейчас вот была здесь, говорила… он слышал этот знакомый, милый сердцу, мелодический голос, он как будто еще чувствовал всеми нервами прикосновение ее руки, мягкое, легкое пожатие этих пальцев — все это было, и точно ведь *было* сейчас, сию минуту, и все это вдруг исчезло куда-то, почти мгновенно и без следа… куда? зачем? — Бог весть! И когда-то снова придется встретиться, да и встретишься ль еще? — тоже Бог весть! — "Однако же она сказала "до свиданья", а не «прощайте», смутно и радостно подумалось ему, — "до свиданья"… Значит, не всему еще конец; значит, еще увидимся…"

Вдруг, в эту минуту на улице раздались громкие дружные крики, перешедшие даже в какой-то свирепый рев громадной толпы…

Хвалынцев как бы очнулся и оглядел, что вокруг него происходит.

Полицейский конвой сводил с паперти арестованных, и это-то шествие было встречено ревом со стороны толпы, наполнявшей площадку пред Свентым Кржижем и памятником Копернику. В передних рядах этой толпы виднелось множество гимназистов, студентов Главной Школы и агрономов с Маримонта. Вдруг в полицию полетели камни. Полицейские обнажили сабли, и дело уже готово было тотчас же дойти до нового кровавого столкновения, но к счастию, показались штыки… подоспел сильный военный патруль — и массы народа вдруг смолкли… С тихим гомоном ропота и ругательств они тотчас же разбрелись в стороны. Патруль мерным шагом, в грозном молчании, спокойно и твердо прошел мимо площади, за минуту еще столь шумно волновавшейся.

IX. Слабая струна

Хвалынцев все еще под обаянием встречи с Цезариной, словно в чаду, медленно и почти бессознательно двигался вслед за толпою расходившегося народа по Новому Свету. Вдруг кто-то сзади ласково взял его под руку. Он оглянулся и вдруг:

— Здравствуйте, Константин Семенович!.. ха, ха, ха!.. Здравствуйте, батенька! Что, небойсь, не ожидали такой встречи? а?..

Пред изумленными глазами Хвалынцева предстоял и улыбался Василий Свитка.

— Какой встречи? — сухо и недоуменно проговорил Константин, не успевший сразу отрешиться от своей мысли о встрече с графиней. — О какой встрече вы говорите? с вами, что ли?

— Ну, да хоть бы и со мной, и… и еще кое с кем… ха, ха, ха!.. — шутил Василий Свитка. — Ну, дайте же пожать вашу лапку!.. Так не ожидали-с?

— С вами, признаться, не ожидал…

— А не со мной?

— Я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Хе-хе… Полноте, дружище!.. А кого вы сейчас в карету-то подсаживали? ну-ка? — лукаво подмигнул Свитка. — Все, батюшка мой, видел, все-с!.. От нашего внимания ничто не ускользает!

Хвалынцев несколько смутился.

— Н-да, наблюдательные способности у вас таки развиты изрядно, — процедил он сквозь зубы.

— У меня-то? Еще бы!.. Мне бы только и быть шефом полиции! Ха, ха, ха!.. Да чего это вы точно бы дуетесь на меня? — спросил вдруг Свитка. — Расстались мы с вами, кажись, по-дружески.

Хвалынцеву был крайне неприятен этот фамилиарно-дружеский, лукаво-добродушный тон, которым непрошеный приятель нахально забирался к нему в душу. "Как бы отделаться от этого барина?" подумалось ему, но отделаться от Свитки вообще было не так-то легко, если сам он не желал этого.

— Быть не в духе, кажись, вам неотчего, — продолжал меж тем Свитка, — потому что встреча с графиней… это не должно действовать на вас дурно…

— Оставьте вы, пожалуйста, мои встречи! Они до вас нимало не касаются! — без всякой церемонии огрызнулся Хвалынцев, высвобождая свою руку из-под руки приятеля.

— Уй, какой сердитый! — шутливо и как ни в чем не бывало воскликнул Свитка. — Да что это с вами, голубчик?! Или вы и в самом деле на меня дуетесь?

— И на вас я нимало не дуюсь, будьте покойны!

— Да я-то не беспокоюсь; но… этот тон, эта сухость… вы: ъ точно и говорить не хотите со старым приятелем.

— Да говорить-то нам не о чем.

— Как! — изумился Свитка. — У нас с вами было столько общих интересов…

— Да, *было,* но теперь их *нет,* — подчеркнул Хвалынцев.

Приятель на мгновенье нахмурился и закусил губы. Он быстро сообразил нечто в уме своем.

— Послушайте, Константин Семенович, — начал он тихо и кротко, но вместе с тем очень серьезно. — Если у нас уже нет общих интересов по известному делу, то все-таки остается личное знакомство… Против меня, как частного человека, надеюсь, вы ничего иметь не можете? Мы можем не говорить и даже, пожалуй, совсем забыть про общее дело, как про дело не состоявшееся с вашей стороны по каким бы то ни было причинам… вас к нему никто тянуть и насиловать больше не станет; но за всем тем пред вами остается ваш старый знакомец, как частное лицо. Неужели и в этом разе вы имеете против меня что-либо?

— Господь с вами, ничего я против вас не имею! — успокоительно произнес Хвалынцев, думая посредством такого маневра поскорее отделаться и от докучного объяснения, и от самого Свитки.

— Ну, а если ничего, так что же это за тон такой со старым приятелем?

— Э, Боже мой, да мало-ли что может в иной час быть на душе у человека! Нельзя же вечно быть ровным!

— Да, ну, это другое дело!.. В таком случае я нимало не в претензии! — успокоился Свитка, возвращаясь к своему веселому настроению. — Вы куда теперь направляетесь?

— Прямо по Новому Свету.

— Ну, вот, стало быть, нам и по дороге!

Хвалынцев ничего не сказал на это.

— А в самом деле, что за прелесть эта графиня Маржецкая! — заболтал вдруг Свитка, после некоторого молчания, идя все рядом с Константином. — Вы были у нее здесь в Варшаве?

— Нет, не был, — вскользь сказал Хвалынцев.

— О? в самом деле? — удивился Свитка. — Она живет на Уяздовской аллее… у нее премаленький палаццо! Просто игрушка!.. Она ведь, впрочем, уже недель около трех как приехала в Варшаву, но живет очень замкнуто… хлопоты по имению, знаете… у наместника хочет просить освобождения из-под секвестра мужнина майората… Только не знаю, удастся ли

ей...

Свитка, по-видимому случайно, а в сущности далеко не спроста заболтал о графине Маржецкой: он с умыслом распространился вскользь о ее делах, желая показать Хвалынцеву, что ему кое-что известно о женщине, составляющей самую слабую и отзывчивую струну в сердце его приятеля.

— Вы разве знакомы с ней? — спросил Хвалынцев.

Маневр, очевидно, стал удаваться. "Средство, как кажется, действует!"

— Отчасти, да! — подтвердил Свитка. — Раза два я был по делу, но у нас с ней есть один дом общих знакомых, где и она, и я очень коротки, так что могу сказать, знаю и ее, и про нее достаточно.

— То есть что же это "про нее"? — подозрительно спросил Хвалынцев.

— Да так, разное... То есть, конечно, ничего дурного или предосудительного, — поспешил заметить Свитка, — но собственно и о ее жизни, быте, привычках, симпатиях и антипатиях...

— Ого! даже и о симпатиях с антипатиями! — недоверчиво улыбнулся Константин. — Это заставляет предполагать очень короткое, хорошее знакомство.

— Да что ж, мудреного нет! — стал оправдываться Свитка. — У нас же, говорю вам, есть общие короткие знакомые, а Варшава относительно подноготной своего ближнего — город совсем провинциальный и благодушный.

Сердце не камень — и маневр подействовал: Хвалынцев поддался на удочку. Под влиянием недавней встречи, он плохо маскировал тот живейший интерес, который невольно пробивался у него в расспросах о Цезарине. Затронув же его слабую струну, Свитка, исподволь, понемножку удовлетворял его жгучему любопытству, отвлекаясь поминутно в своей болтовне к посторонним предметам и таким образом заставляя приятеля предлагать себе все новые и новые вопросы о Цезарине, то есть заставляя его самого первым возвращаться все к одной и той же интересной теме. Такое положение заставляло Хвалынцева в свою очередь все мягче и дружелюбнее относиться к приятелю, так что когда они незаметно подошли к воротам того дома, где обитал Константин Семенович, то Свитка получил от него очень радушное предложение зайди к нему хоть на минутку, от чего он, конечно, не отказался. На первый раз только этого и было нужно Василию Свитке. Через полчаса он дружески простился с Константином, оставя ему, во-первых, свой адрес (то есть вернее сказать, один из своих адресов), а во вторых — обещание заглядывать к приятелю почаще.

X. Свитка предлагает сыграть в кошку и мышку

Выйдя от Хвалынцева, Свитка тотчас же кликнул «дружку» и приказал ему ехать в Уяздовскую аллею. Впадая в площада "Трех Крестов" (название, которое по-польски надо выговорить, точно чихнуть два раза: "трши кржижи"), эта аллея является как бы продолжением "Нового Света" и служит местом жительства отборной, наиболее элегантной и наиболее родовитой части варшавских обывателей. Уяздовская аллея, ведущая от "Тршех Кржижув" к Лазенкам и Бельведеру, служит также и любимым местом предвечерних прогулок в экипажах. По прекрасному шоссе, между рядами роскошных, раскидистых каштанов, часов около шести пополудни, и особенно в праздничные дни, здесь снуют самые разнообразные экипажи, начиная от коляски обыкновенного, биржевого «дружкаря» и кончая самыми причудливыми

тюльбюри, фаэтонами и одноколками. Одни лишь российские «линейки» являются редким, исключением. Статские наездники, редко обладающие красивой и правильной посадкой, грациозные наездницы галопируют то порознь, то целой «кальвакадой», предоставляя в удел скромным пешеходам любоваться и завидовать…

Из-за рядов каштановых деревьев выглядывают небольшие, но очень изящные домики самых разнообразных и часто весьма причудливых архитектурных стилей. Один уже внешний вид этих домиков, обрамленных изящными решетками и пестрыми палисадниками, показывает, что они предназначены для обитания избранных, счастливых смертных, не заботящихся о меркантильно-промышленных целях, без чего не обходится ни один дом в центре города, но стремящихся к удовлетворению своего уютно-семейного комфорта. Все эти домишки слишком миниатюрны, чтоб иметь право назваться «палаццами», но они очень напоминают собою прелестные дачки, так что попавши в Уяздовскую аллею, вам вдруг начинает казаться, что вы совсем уже за городом.

Пред чугунною решеткой одного из таких домов Свитка; остановил своего "дружку".

На ступеньки подъезда вышел к нему человек в штиблетах и темно-коричневом фраке с эксельбантом и графскими гербами.

— Графиня не принимает, — объявил он самым категорическим образом.

Свитка, не удостаивая его излишним разговором, вынул свою карточку и, написав на ней "по крайне важному *общему* делу", приказал немедленно передать ее графине.

Минуты через две лакей снова вышел на подъезд и вежлнво проводил посетителя через две-три комнаты на внутреннюю террасу, выходившую в небольшой, но очень изящный садик. Под навесом холщовой маркизы, в зелени цветущих гортензий, роз и жасминов, встретила своего гостя траурная графиня. Взгляд ее скользил по нему с видом равнодушного вопроса, как по совершенно незнакомому человеку.

— Позвольте напомнить, — начал Свитка с не совсем-то ловким поклоном, смутясь отчасти под этим равнодушно-вопросительным взглядом, — имел честь в Петербурге… у Колтышко… у вас в доме тоже…

— А, помню! — благосклонно кивнула головой Цезарина и, не протягивая руки, указала ему на легкий плетеный стул, а сама плавно опустилась в покойную качалку.

— Я к вам по поручению комитета, — впадая в официальный тон, начал Свитка. — Вы сегодня встретили Хвалынцева, и он проводил вас до кареты.

Маржецкая при этих словах вскинула на него нахмуренно-вопросительный взгляд.

— Что ж из этого? — сухо и недовольно спросила она.

— Комитет имеет до вас великую и покорнейшую просьбу.

— А именно?

— А именно: заняться еще немножко этим юношей.

Графиня еще пуще нахмурила свои выразительные брови.

— Я в этом не вижу более надобности, — сказала она подумав.

— Но комитет видит ее, — вежливо возразил Свитка, — и притом очень большую и настоятельную… Комитет усерднейше просит вас оказать эту услугу общему делу.

— Я полагаю, что она уже оказана мною слишком достаточно.

— К сожалению, нет! — пожав плечами вздохнул Свитка; — это растение нуждается еще в некотором уходе и возделывании… Оно оказывается не слишком-то податливым и трудно климатизируется.

— В таком случае, я нахожу, прежде всего, что это растение не стоит вовсе никакого ухода, — улыбнулась графиня; — оно вполне бесполезно.

— Я позволяю себе не согласиться с этим мнением, — мягко возразил гость. — Он нам положительно нужен; а потому комитет и обращается к вашему великодушию.

Графиня подумала.

— Если это так необходимо, то… в крайнем случае… конечно, — промолвила она с не совсем-то большой охотой, — хотя признаюсь вам, мне вовсе не улыбается эта миссия: он мне и тогда еще надоел уже; а теперь опять!.. Это ведь ужасно! И главное, так скучно! — поморщилась Цезарина и сделала очень милую гримаску. — И наконец, я все-таки остаюсь пря прежнем моем мнении: вы слишком много обращаете на него внимания, слишком много возитесь с ним, тогда как он нипочему не заслуживает этого.

- Что ж делать! — снова пожал плечами Свитка, — можете первоначально это и была ошибка с нашей стороны; но… мы, к сожалению, слишком уж далеко зашли с ним, он слишком много знает уже, посвящен несколько более, чем бы следовало и потому нельзя бросить его на полудороге… Надо продолжать, надо по необходимости вести до конца его.

— Хм… Но к чему же!.. Не лучше ли вам найти случай как-нибудь от него совсем отделаться?

— То есть? — внимательно вперил в нее пытливый взгляд Свитка.

— То есть так, чтоб он был для вас безопасен.

— Но если он может быть еще полезен? Отделаться, конечно, всегда в нашей власти, но мы хотим попытаться прежде, обратить его на путь истины, а отделаться — это уже крайнее средство, и мы будем иметь его в запасе.

— Но неужели ж моего влияния было еще недостаточно? ведь он тогда совсем уже было решился! — спросила Цезарина с несколько тщеславным и легкомысленным сознанием своего женского всесильного могущества.

— К удивлению и к сожалению — недостаточно! — с улыбкой вздохнул Свитка.

Эти слова отчасти задели за живое женское самолюбие графини.

— Что же он, передумал? — спросила она, пренебрежительно двинув губою.

— Увы!..

— Значит он трус!

— Напротив! — с убеждением возразил ей Свитка.

— Так что ж это за колебания? что за малодушная нерешительность?.. Он струсил, — говорю вам.

— Нет, *он разочаровался.*

— В ком и в чем?

— О, только не в вас!.. Никак не в вас, графиня! — с живостью подхватил собеседник.

Цезарина презрительно и свысока усмехнулась.

— Много чести! — проговорила она. — Так в ком же, если не во мне?

— Мм… Как вам сказать!.. Отчасти в некоторых деятелях, а отчасти и в самом деле.

— Ну, и бросьте его с Богом, когда так!

— Нельзя; слишком далеко зашло, говорю вам! А вы одна только можете *очаровать* его снова… Ваша власть над ним беспредельна, насколько я понимаю… А он нам еще пригодится.

— Не понимаю, на что это он может годиться вам! — пожала она плечами. — Человек самый дюжинный и в герои вовсе не годится.

— О, Боже мой! Да из нас никто и не смотрит на него, как на феникса, — с живостию подхватил Свитка. — Человек-то он, конечно, самый обыкновенный, но… ведь не богам же горшки обжигать, в самом деле! А в нем есть некоторые очень пригодные качества.

— Например? — недоверчиво прищурилась графиня.

— Например, он человек далеко не глупый, — это раз.

— Но не положительно умный, — оспорила она.

— Пожалуй! Но положительного ума от него и не требуется. Во-вторых, он крайне молод душою. Это и его недостаток, и его достоинство. В-третьих, он способен на увлечение: в нем есть страсть, и вы, графиня, конечно знаете эту сторону его характера.

— В-четвертых! — перебив Свитку, стала она высчитывать, — человек он ужасно легкий, поверхностный, без малейшей основательности.

— Отчасти может быть вы и правы, — согласился Свитка, — но эти качества в нем опять-таки от его молодости. Это для дела еще не помеха, а в иных случаях, пожалуй, и достоинство. Но в нем есть энергия, есть упрямство, если не сила воли; я даже знаю случай, когда во время студенческой истории он обратился к толпе товарищей с очень разумною и одушевленною речью — толпа его послушалась; стало быть, этот человек в иных случаях может даже и влияние свое оказывать, увлекать за собою. Ведь эта-то собственно черта и заставила нас тогда обратить на него внимание.

— Ну, хорошо, — согласилась Цезарина, — в Петербурге, между русскою молодежью он, пожалуй, мог быть нам полезен; но здесь-то что вы с ним намерены делать?

— Как что! Помилуйте! — горячо вступился Свитка. — У него есть уже свое назначение в

здешнем отделе "Земли и Воли" — это первое! А затем — пропаганда в войске, между солдатами, между офицерами, и наконец, если он и попадется, если его сошлют или расстреляют, то подумайте, какая это прекрасная декорация для Европы!.. Для пользы, для более очевидной правоты нашего правого дела даже необходимо, чтобы в нашем лагере были настоящие, кровные русские. Их борьба за нас еще более санкционирует наше дело! Подумайте!.. Это раз решено, и оно, говорю вам, необходимо, безусловно необходимо нам!

Графиня ничего не ответила, но видимо раздумалась над словами своего гостя.

— И потом, — продолжал он, — в сущности что вам это стоит!.. А между тем услуга общему делу, которому вы уже приносили столько добрых, незабвенных услуг. Вы, говорю вам, всесильны над этим юношей: он любит вас беспредельно и страстно; вам это будет так легко: немножко ласки, немножко кокетства, немножко горячих фраз о деле, да чуточку надежды в его пользу — вот и все!.. Принесите, графиня, эту маленькую жертву, позаймитесь им еще немножко!

— Ах, я готова бы, но... это, право, так скучно! — поморщилась она, как балованный капризный ребенок.

— Ну, и поскучайте немножко для благой цели! — с улыбкою упрашивал Свитка. — Ведь приходится же вам скучать иногда в заседаниях «Доброчинности»,[158] это будет маленькая игра в кошку и мышку, значит, несколько веселее. Итак, — поднялся он с места, — какой ответ прикажете мне передать от вас комитету?

— Передайте, что я, пожалуй, согласна, — равнодушно сказала она, тоже подымаясь из своей качалки. — Хоть и скучно, но... нечего делать! роль свою постараюсь исполнить исправно; только попросите пожалуйста ваших друзей вперед не навязывать мне более подобных ролей.

Свитка глубоко и почтительно поклонился.

— О, графиня! — проговорил он с чувством, — поверьте, что мы глубоко ценим ваше истинно патриотическое самопожертвование!.. Простите великодушно! Но... что же делать! обстоятельства вынуждают просить у вас этой новой жертвы... Принесите же ее ради воскресающей Польши!

— Я уже сказала! — приветливо улыбнулась она, польщенная последними фразами гостя. — Только когда же вы доставите мне случай как-нибудь кстати встретиться с этим Хвалынцевым?

— Я вас уведомлю, графиня. Этот случай вероятно будет на днях же.

И он вторично откланялся ей глубокопочтительным и благодарным поклоном.

XI. На волоске

Свитка стал иногда захаживать к Хвалынцеву. Посещения его никогда не бывали продолжительны: он, что называется, «забегал» между делом и вечно торопясь опять по делу, выкуривал одну другую папироску, выпивал рюмку водки, закусив ее чем попало, и в этот промежуток времени выбалтывал целый короб городских ходячих новостей, слухов и сплетен, в которых тогда, более чем когда-либо, не было недостатка. Кроме того, посещения его не были ежедневны: он всегда делал промежуток между ними дня в два, в три, но каждый раз как бы вскользь и мимоходом сообщал Хвалынцеву что-нибудь насчет графини Маржецкой: то расскажет, бывало, что вчера она каталась по Уяздовской аллее или гуляла с сыном своим в Лазейках; то вдруг, что нынче встретил он ее у Свентего Кржижа, а третьего дня видел в

модном магазине, как она покупала себе прелестную траурную шляпку, которая к ней удивительно как идет! Или же сообщал о ходе ее дела и хлопот по мужнину майорату — словом, ни один визит не обходился без того, чтобы как-нибудь кстати не было упомянуто имя Цезарины или не сообщена о ней какая-нибудь, хотя бы-то самая пустячная новость; и эти сообщения, как водится, почти незаметно, исподволь и вполне естественно сводились на разговор о графине. Мало-помалу в душе Хвалынцева образовался род потребности слышать и узнавать от Свитки новости о своем идоле и говорить о нем. А Свитка меж тем вливал в него этот сладкий яд медленно, капля по капле, с хорошим и верным расчетом на последовательность действия своего яда. Так, однажды он сообщил Константину, что вчера встретился с *нею* в доме общих знакомых и что она, выбрав нарочно удобную минуту, разговорилась с ним, вспоминала о том, как он захаживал к ней в дом в Петербурге, в то время, когда у нее скрывался Хвалынцев, и кстати спросила, что с Хвалынцевым и где он теперь находится, и что делает, упомянула о своей неожиданной встрече с ним в костеле и вообще явно интересовалась его личностью. Свитка вообще умел врать искусно и правдоподобно, так что Хвалынцев вполне верил ему, тем более, что всегда охотно верится тому, чему хочется верить. Радужные мечты и надежды целым фантастическим роем снова закружились в голове Константина. После этого сообщения Свитка пропал и не показывался целую неделю. Хвалынцев уже и раньше начинал чувствовать некоторую нравственную потребность в беседах с ним о Цезарине, в узнавании тех маленьких и ничтожных, но в высшей степени интересных и приятных для влюбленной головы новостей и сообщений о любимой женщине, которые всегда оказывались в запасе у Василия Свитки. Когда, бывало, Свитка не приходит дня два — Хвалынцев начинает уже ощущать, что ему как будто недостает чего-то, как будто какая-то неудовлетворенность, какое-то пустое место остается в душе, которое восполнялось только с новым приходом приятеля. Не является Свитка и на третий день — Хвалынцев уже чувствует как бы нравственную потребность видеть его и узнать что-нибудь о Цезарине, или по крайней мере хоть поговорить о ней. Наконец появляется этот несносный своим отсутствием Свитка — и Константин встречает его с искренней, своекорыстной и плохо скрываемой радостью и дружески корит за продолжительную проволочку его «забежек». Ему бы хотелось уже, чтоб Свитка каждый день забегал к нему, даже два раза в день, даже больше — лишь бы слушать и говорить на тему, столь раздражительно действующую на его влюбленную мысль и молодое, околдованное сердце.

Порою на него находили минуты грустных сомнений и тяжелого раздумья, и это были те минуты, когда логика рассудка заявляла свой голос.

"К чему все это!" думалось тогда Хвалынцеву. "Раз, что я уже по убеждению, по совести, твердо решил себе не быть более *с ними;* если я честно воротился назад к своим, какое дело мне до Цезарины?!. И возможны ли, наконец, эти безумные надежды на нее, возможна ли эта любовь, если эта женщина отдает мне ее только под условием моей измены, самой низкой, самой черной измены из всех, какие лишь бывают на свете?!

О, если бы ты верил в это дело, если бы для тебя теперь еще были возможны, как в первую минуту, хотя бы твои собственные, личные иллюзии, если бы ты мог заблуждаться в этом *деле,* считая его действительно *общим,* близким и кровным всем нам — о, тогда бы… какое счастие! Я мог бы честно любить, любить не против совести, не против чести, не против долга… Тогда бы было, по крайней мере, хоть какое-нибудь оправдание этому чувству, этой несчастной, проклятой страсти. А теперь… теперь между мной и ею целая бездна — непроходимая, бесконечная бездна!.. Раз, что ты не с *ними* — эта любовь невозможна, бесцельна, бесплодна! — К чему же она?.. бросить ее! вырвать ее вон из сердца, заглушить, задушить ее в себе — это будет единственное умное и честное дело; это все, что остается мне теперь!

"…Вырвать, задушить — легко сказать!.. Ну, и вырывай ее вместе с сердцем, души вместе с

самим собою!.. И разве иначе возможно сделать это?.."

И действительно, наперекор рассудку, наперекор даже самой совести и чувству чести, Хвалынцев с ужасом чувствовал, что в нем нет сил отрешиться от этого проклятого, слепого чувства, которое после новой встречи с Цезариной, во все эти последние дни обуяло его с новою, еще не испытанною доселе и неотразимою мощью.

Он, действительно, страдал, изнемогая в бессильной борьбе с самим собою, сознавал все свое нравственное ничтожество, всю свою немощь — и был истинно несчастлив.

Все товарищи ясно видели в нем какую-то странную перемену, но никто из них, кроме Свитки, не подозревал, что именно творится в глубине его сердца и совести.

Он сознавал, что его вторичное сближение со Свиткой, и все эти сообщения, новости, известия и разговоры о *ней* — совершенно напрасны и бесцельны и просто глупы, наконец, что всего этого, по-настоящему, вовсе бы не следовало ему делать, но...

И как скоро возникало в душе это всесильное *но,* он чувствовал, что с него-то и начинается его собственное бессилие воли, его "нравственное падение". В эти минуты он был похож на запойного пьяницу, который мучительно сознает весь вред, все безобразие своей несчастной слабости и все-таки тянется к рюмке. И как для пьяницы эта рюмка несет с собою одуряющий туман забвенья и как бы некое облегченье, так и для Хвалынцева в этих Свиткиных известиях и разговорах заключался подобный же туман сладкой одури. Он не шутя признавал в себе эти минуты — минутами "нравственного падения и немощи", но как скоро под раздражающим интересом хоть знать о *ней* что-либо, если уж не видеть ее самоё, под обаянием разговоров о любимой женщине, под впечатлением ее чудного образа, который весь так вот и рисуется при этом в его воображении со всеми своими благоухающими, яркими красками, — как скоро под влиянием всего этого забывалось сознание собственного падения и немощи, Константину становилось вдруг легко и отрадно. Таким образом, собственно самое это «падение» приносило ему с собою счастливые и ничем незаменимые минуты облегчения и беззаветного забытья. Но уходил от него Свитка — и с его уходом исчезали вскоре и счастливые минуты, оставляя по себе только раздражение возбужденного и неудовлетворяемого чувства да новый груз старых сомнений, укоров и печального сознания собственного презренного ничтожества.

Что ж оставалось ему после этого, при сознании полной невозможности побороть и убить в себе свое несчастное, слепое чувство, — ему, который просто изнемогал, уставал и нравственно, и даже физически под гнетом непрестанной борьбы с самим собою? — Оставалось — почти невольно, почти боясь признаться в том самому себе — искать тех сладких, облегчающих и беззаветно счастливых минут одури и забвения, которые он сам же заклеймил именем своего падения нравственного. И он поэтому желал и ждал со всем нетерпением влюбленной юности кратковременных посещений Василия Свитки, досадуя лишь на то, что зачем они так краткосрочны и не столь часты, как бы хотелось.

Свитка меж тем хорошо понимал все, что происходит в душе Хвалынцева. Болтая в первые свои забежки о разных городских новостях и лишь упоминая вскользь о Цезарине, он мало-помалу довел Константина до того, что в последующих посещениях графиня Маржецкая сделалась почти исключительной темой их разговоров. И сделалось это как-то так незаметно, исподволь, как будто само собою, что впрочем и было вполне естественно при известном уже исключительном настроении Хвалынцева. Но посвящая свои беседы графине Цезарине, Свитка тщательно избегал малейшего напоминания о "*деле*" и прикосновенности к нему самого Хвалынцева, словно бы между ними никогда ничего не существовало, кроме самого простого *личного* приятельства и знакомства, словно бы Константин, действительно, был совсем

освобожден от всякого нравственного обязательства, от всякой прежней связи своей с «делом». И на подобную тактику у Свитки были свои довольно верные расчеты: поступая так, он знал, что тем самым как бы устраняет от глаз Хвалынцева грозный призрак, как бы успокаивает и мало-помалу баюкает его совесть; знал еще и то, что переводя своего друга на поле его чувства и страсти и исключив из своих отношений с ним самый призрак «дела», он исподволь восстанавливает подорвавшееся было доверие к нему Хвалынцева. Восстановить же вполне это доверие и на время убаюкать Константина — составляло для Свитки, в отношении его, пока самое важное дело.

И вот, сообщив ему импровизованное известие о том, что Цезарина очень им интересовалась, Свитка вдруг исчез на целую неделю, давши впрочем на прощанье слово забежать на другой же день. Но прошел другой, и третий день, а приятель не показывается. В тщетном ожидании его Хвалынцев впал наконец в какое-то напряженно-нервное возбуждение. Он вздрагивал при каждом звонке в его прихожей, и появление вместо ожидаемого лица кого-нибудь постороннего раздражало его просто до нервической злости, маскировать и скрывать которую стоило ему труда не малого. Последнее Свиткино сообщение окрылило и подняло его, как птицу, взлетевшую в ясную высь, так что нравственная потребность видеть доброго приятеля достигла в нем до какой-то пламенной Sehnsucht, — и вот, напрасно прождав его три дня, Хвалынцев решился наконец сам идти и отыскивать Свитку. Последний имел свои основательные причины как на то, чтоб избрать себе несколько, более или менее секретных и даже таинственных мест для жительства, так равно и на то, чтобы в этих квартирах как можно менее посещали его посторонние лица, и просил Хвалынцева, оставляя ему еще в первый визит один из своих адресов, не стесняться отдачей визита, а посетить его разве только в случае самой крайней и настоятельной надобности. "Уж лучше к вам, без всяких церемоний, я сам почаще забегать стану!" сказал он тогда на прощанье, — и Константин Семенович, вследствие таковой просьбы, до сей поры ни разу еще не потревожил приятеля своим посещением. Но теперь он решился идти к нему. Отыскав на Электоральной улице показанный в адресе дом, он через грязный дворишко забрался по грязной деревянной лестнице на верхний этаж грязного же каменного флигеля, но пожилая женщина, отворявшая ему дверь, увидя военный мундир и саблю, оглядела незнакомого посетителя крайне подозрительно и коротко ответила на его вопрос, что Свитка здесь хоть и жил, но теперь более не живет, потому что два дня как выехал неизвестно куда из Варшавы и неизвестно когда воротится.

Итак, надежда лопнула в самом начале, да и впереди не теплится даже ни единого луча ее. Хвалынцев впал в какую-то мрачно-тоскливую и несколько злобную хандру. Мысль о Цезарине, разожженная этим неожиданным препятствием, овладела им окончательно, до того, что, подавленный ею, он даже забыл свои служебные обязанности, за что и скушал он весьма вежливый, но весьма неприятный выговор, на который впрочем, будучи всецело поглощен все тою же неотступною и проклятою мыслью, не обратил ни малейшего, даже самого равнодушного внимания. Все свое свободное время он стал шататься по городу, припоминая те места, где, по словам Свитки, тот встречался с Цезариной и таким образом проводил целые часы то на Уяздовской аллее, то в Лазенковском парке, то около модных магазинов, в сладкой надежде встретить еще раз своего идола, но идол столь часто встречаемый Свиткой, для Хвалынцева как будто накрылся шапкой-невидимкой. Порою находили на него прежние, но теперь еще более жуткие минуты раздумья и самогрызения, — он злобно хохотал над собою, как над глупцом и мальчишкой, за эти сантиментальные и нелепые шатанья по заветным местам и с полною решимостью бросить свою дурь бежал домой, но через несколько времени тоскливая хандра снова выгоняла его на улицу.

В таком-то состоянии духа только что вышел он однажды из дому, как вдруг внизу под воротами неожиданно столкнулся со Свиткой. Хвалынцев вдруг стал и рад ему, и зол на него

каким-то смешанным чувством ребяческой светлой радости и ребяческой досадливой злости.

— А я к вам! — по обыкновению весело заболтал приятель. — Вы куда? по делу или гулять? Если гулять, то пойдемте, пожалуй, вместе.

Они отправились, и в ответ на горячие укоризны Хвалынцева, Свитка шутя оправдывался тем, что ему, мол, была крайняя необходимость отлучиться на целую неделю, что дело, мол, прежде всего и прочее, в подобном роде, и по обыкновению у него нельзя было разобрать, врет ли он все это, или же говорит правду сущую.

Разговор, само собою, обратился вскоре к известной излюбленной теме.

Свитка с усмешкой слушал печально-комическую историю сантиментальных шатаний своего юного приятеля.

— Господи Боже мой! Я просто не надивлюсь на вас! — всплеснул он руками. — Вместо того, чтобы бродить по городу рыцарем печального образа или торчать таинственным испанцем у нее под окнами, не лучше ли и не проще ли гораздо было бы взять да и отправиться прямо к ней в дом с визитом?! И тем более, вы ведь знали, что она до некоторой степени даже интересуется вашей особой!.. Какой же вы птенец еще батенька!

Хвалынцеву не понравилось в душе последнее определение откровенного приятеля — не понравилось быть может потому, что во многом и многом он был еще птенцом в действительности. Однако же он не выразил ничем своего маленького неудовольствия.

— К ней?! — изумленно возразил он, вскинув глазами на Свитку. — Да разве я могу идти к ней?!

— А почему же бы и нет? Ведь вы же знакомы с ней, и даже проживали в ее квартире.

— Вот потому-то и не могу, — похмуро проговорил Хвалынцев.

— Как! только поэтому?! Извините, я не понимаю, что вы этим хотите сказать. Поясните мне, буде возможно.

— Извольте: с чем я приду туда?

— Как с чем? — со своею любезностью, с своею любовью, с чем угодно наконец!

— Послушайте, Свитка, это вовсе не шутки!

— А я, напротив думаю, что вы это все шутите! Право же шутите! Ей-Богу шутите! "С чем приду я" — ха, ха, ха!

Хвалынцеву было крайне тяжело высказать ему те мысли и чувства, которые в ряде долгих и мучительных сомнений удерживали его не только что от шага за порог Цезарины, но и заставляли голосом совести и рассудка заглушать в себе самую любовь к этой женщине. Но сколь ни тягостно было ему решиться, он все-таки высказался пред Свиткой вполне откровенно.

— Хвалынцев *ваш* мог бы и быть у нее, и любить ее, — заключил он свое признание, — но Хвалынцеву *не вашему* там нечего делать, да и нет ему там места!

— Ну, в таком разе это уж ваше дело! — пробурчал Свитка, к крайнему своему удивлению, не

заметив в Константине во все время его исповеди ни раскаяния в его повороте назад от «дела», ни даже сожаления о невозможности переступить порог графини Маржецкой. Хвалынцев просто поставил перед ним только факт, каковым обнажали его в собственных глазах не страсть, не любовь, а строгая логика собственного рассудка.

— Н-да-с, это уж ваше дело! — тем же тоном повторил Свитка. — И я уж тут помочь вам ничем не могу.

— Да я и не хочу, и не ищу ничьей помощи! — заметил Хвалынцев.

— Ой ли?.. Значит, на собственные свои силы полагаемся?

— Да, то есть на силу рассудка и на силу долга.

— Хм… фраза, мой друг, не дурна! Одобряю!

— Я говорю не фразу, а то, что должен чувствовать.

— "Должен"! — вот в этом-то и сила!.. А всегда ли вы это чувствуете?

— По крайней мере, так велит и рассудок, и долг.

— А сердце как велит вам, позвольте полюбопытствовать?

— Оставимте сердце; его нечего огушать, где есть вещи поважнее.

— И это недурно сказано. Одобряю!.. Но *всегда ли* вы покоряетесь рассудку и смиряете сердце, или только *иногда?*

— Оставимте этот разговор! — махнул рукою Хвалынцев. — Знаете пословицу: что с возу упало, то пропало.

— Да, у того разини мужика, который не доглядел или не поднял, а поднять-то ведь всегда можно! — добавил Свитка. — Так стало быть никогда не решитесь переступить порог графини Цезарины?

— Так думаю.

— Только *думаете!*

— Уверен.

— О?!.. Хвалю за твердость характера! — сделал ему ручку приятель.

Они шли в это время по Краковскому предместью. На углу Трембацкой улицы, к стене каменного дома прибита была уличная витрина, где за проволочной решеткой красовалась большая розовая афиша. Приятели остановились и стали читать ее.

— А знаете ли что, друг любезный, — заговорил Свитка, прервав свое чтение, — я нахожу, что вы чересчур уже застоялись, как ваша кавалерийская лошадь, то есть засиделись дома и захандрились, — вам необходимо развлечься!.. Поглядите на себя — ведь это просто срам! От хандры да от ваших конюшен с манежами скоро совсем плесенью покроетесь, и то вон борода-то уж сколько времени не брита!.. Сходите-ка вы лучше к Квицинскому да побрейтесь, а потом в театр, да возьмите себе в кассе билет на нынешний спектакль. Взгляните, ведь прелесть что

за спектаклик! — Два акта из "Орфеуша в пекле", и притом самые веселые акты, а затем "Веселье в Ойцове" — опера и балет. Оффенбах и Тарновский! Это вас хоть рассеет несколько.

— А что ж, пожалуй! — равнодушно согласился Хвалынцев.

И Свитка непосредственно вслед за этим решением проводил его в кассу "Велькего Театра", причем заботливость свою о приятеле простер даже до того, что осведомился в каком ряду и какой именно нумер взял он, после чего лично предоставил его в парикмахерскую Квицинского и здесь простился.

— До Уяздовской аллеи! — бойко и весело скомандовал он гороховому дружке, прыгнув в его развалистую четырехместную коляску.

XII. В театре

В начале седьмого часа Хвалынцев вошел в партер "Велькего Театра". Со введением в Варшаве военного положения, спектакли начинались ровно в шесть часов и кончались в десять. На сцене шел уже пресловутый «Орфеуш», и партер был почти полон. При взгляде на этот партер, Константин вдруг почувствовал себя совсем как будто в России, как будто в Петербурге: все ряды пестрели военными мундирами: уланы, гусары, пехотинцы, штабные наполняли все места и являлись преобладающей публикой театра. В антрактах слышался повсюду русский говор. В первом ряду кресел заметно виднелась характерная седоусая фигура баш-Кадыкларского героя, князя Бебутова, который был в то время комендантом Варшавы. Статский костюм являлся редким исключением в этой массе военных мундиров. Впрочем, в средних и, преимущественно, в задних рядах было несколько «цывильных», очевидно, поляков из которых большинство придавали своим лицам такое постное, строго-холодное выражение, как будто желали дать почувствовать кому-то, что они находятся здесь вовсе не для собственного развлечения, а скорее по обязанностям какой-либо особой «народовой» службы. Они держались особняком, не хлопали, не вызывали и не соприкасались ни с кем из «москалей». Дам было очень мало, большею частию в скромных ложах верхних ярусов или в задних местах партера; но и эти напускали на себя постный вид и все без исключения были одеты в черное. Сцена блистала яркими и пестрыми костюмами. Оркестр был недурен, но голоса по большей части плохи; зато артистки, как женщины, были прелестны и, благодаря своим красивым бюстам и лицам, вызывали порою оглушительный гром рукоплесканий со стороны военной публики. Панна Квицинская одна только пела хорошо и, изображая *Купидо* — стало быть мальчика — получила на свою долю наибольшую дань аплодисментов.

По окончании «Орфея», когда еще большинство публики неистово гремело и хлопало, вызывая весь Оффенбаховский Олимп и все царство Плутона, к Хвалынцеву, которого кресло было как раз на проходе, приблизился какой-то скромный и совершенно неизвестный ему молодой человек из «цывильных» и, прежде всего вежливо извинившись, обратился к нему на французском языке с вопросом:

— Вы видите вон ту литерную ложу с левой стороны с закрытой ширмой?

Константин, несколько озадаченный этим неожиданным подходом и еще более неожиданным вопросом, отвечал утвердительно.

— Вас там ждут, — с каким-то особым, несколько таинственным и значительным выражением сообщил "цывильный".

— Меня?! — удивился Хвалынцев.

— Да, именно *вас;* и мне препоручили передать вам приглашение... Вас ждут там в этом антракте.

И вежливо поклонившись, молодой человек скромно отошел от Хвалынцева. "Это что еще за приключение!" — пожав плечами, подумал Константин Семенович. Подход и сообщение неизвестного молодого человека — сообщение, выраженное столь таинственно и неопределенно, хоть кому бы могло показаться странным и загадочным, тем более, что в типе лица, в манере и в акценте таинственный вестник явно обнаружил свое польское происхождение. "Идти, или не ходить?" думалось Константину, которого невольно брало некоторое сомнение ввиду исключительных обстоятельств той эпохи. Конечно, остаться в партере было бы благоразумнее, но удалая молодость и любопытство, подстрекаемое таинственностью вызова, манили его в закрытую ложу. Он подошел к балюстраде, отделяющей партер от оркестра, и старался засмотреть снизу вверх, не увидит ли что в указанной ложе; но там царил полусвет, в котором ничего и никого не было видно. Кинув взгляд вдоль по партеру, он заметил вдали своего известителя, который стоял против него и смотрел на него пристальным взглядом. — "Черт возьми! подумает еще пожалуй, что я трушу!" мелькнуло в голове Хвалынцева, и от этой мысли легкая краска стыда и досады выступила на его щеки. Он вспомнил впрочем, что бояться нечего, так как в кармане его лежит маленький заряженный револьвер, — оружие, без которого в то время не выходили из дому русские в Варшаве, и окончательно увлеченный заманчивой стороной таинственного приглашения, твердым и спокойным шагом направился к указанной ложе. Однако же, сердце его забилось несколько сильнее обыкновенного, когда он подходил к ней по коридору. Остановясь пред дверью ложи, Константин осторожно постучал в нее, и дверь приотворилась.

Хвалынцев невольно отступил на шаг и смешался.

Пред ним стояла Цезарина.

— Войдите! — ласково кивнула она ему головой, — здесь никого нет, я одна, входите смело!

Он переступил порог, и дверь за ним была захлопнута рукою графини.

Чувство, которое всегда овладевает искренно влюбленным и несамонадеянным человеком при внезапной встрече с любимой, но малодоступной женщиной, всецело охватило Хвалынцева. Это чувство было смущение и радость. Цезарина своей улыбкой и дружеским тоном своего разговора видимо старалась ободрить его. Это были добрые, ласково-приветливые, но ничего не значащие фразы, на которые он отвечал, по большей части, односложными словами. Одни только глаза его выражали восторг и беспредельную радость, наполнявшие в эту минуту его душу. Но мало-помалу он совладал со своим смущением и оправился.

— Скажите, зачем вы как будто избегаете меня? — прямо спросила его, наконец, Маржецкая. — Ведь вы знали, что я в Варшаве!

— Почему же я мог знать это? — возразил он, как бы оправдываясь.

— Неправда, вы хорошо это знали: вам Свитка про меня говорил и вы часто с ним обо мне разговаривали... Видите, я все знаю и знаю потому, что я сама с ним часто о вас говорила... Я интересовалась вами, и говорю вам это не скрываясь! — Мне хотелось знать, как вы и что вы?.. Ведь мы — помните — в Петербурге расстались с вами как добрые друзья, а у полек есть то, что называется памятью сердца. Отчего вы не приезжали ко мне после того, как мы встретились с вами в костеле? — А я ждала вас. Ведь я недаром же сказала вам тогда "до свиданья!"

Хвалынцев не совсем-то ловко и не совсем-то кстати стал оправдываться обилием занятий по службе и тем, что не считал себя вправе, не смел явиться к ней, зная общее настроение здесь против "москалей".

— Все это вздор, — перебила графиня. — Вы для меня не москаль, а просто мой старый добрый знакомый.

Хвалынцев в ответ на это обещал посетить ее в непродолжительном времени.

— Откладывать нечего, — весело возразила ему Цезарина. — Раз, что мы встретились, благодаря счастливому случаю, я хочу провести этот вечер с вами.

Тот чуть не вспрыгнул от счастия.

— Вы свободны? — продолжала она.

— Совершенно.

— В таком случае вот что: вы знаете мой адрес? — Приезжайте ко мне после спектакля, мы вспомним с вами наши петербургские вечера и скромные ужины! Но... — прибавила она, раздумчиво и серьезно помолчав минутку. — О вашем посещении никто не должен знать, т. е. я разумею моих домашних, мою прислугу. Вы знаете, какое время теперь!.. Поэтому мы с вами устроимся вот каким образом: вы берите дружку и доезжайте до "Трех Крестов", а оттуда в Уяздов ступайте уже пешком. Из моего сада на аллею выходит чугунная решетка и в ней калитка есть; она будет открыта — ключ у меня, и я уже сама, помимо прислуги, распоряжусь об этом. Вы можете войти совершенно свободно в мой сад и подождите меня там — я к вам выйду, а к тому времени мой холодный ужин будет уже на столе и я распоряжусь заблаговременно удалить прислугу, так что мы будем совершенно одни и вне всякой опасности от чьих бы то ни было глаз! Согласны?

Хвалынцев не помнил себя от восторга и горячо поцеловал протянутую ему руку.

— Теперь ступайте в партер, — продолжала Цезарина, не выпуская из его ладони своих пальцев. — Досидите там до конца спектакля, а я меж тем сейчас отправляюсь домой, чтоб успеть всем распорядиться до вашего приезда.

И она направилась из ложи. Хвалынцев хотел было последовать за нею, чтобы проводить до подъезда, но Цезарина отклонила его услуги. Закутавшись в шаль, накинутую ей на плечи ливрейным гайдуком, она спешно пошла по коридору и, как легкая тень, скрылась внизу на повороте лестницы.

Хвалынцев, просидев некоторое время в театральной цукерне Люрса, вернулся в театр, когда в оркестре гремела уже мазурка и на сцене мелькала целая вереница длинноусых хватов, в ярких кунтушах с «вылетами», в «рогатывках», заломленных набекрень, и с низко спущенными золотыми «пасами». Подхватив каждый по красивой женщине, они лихо, с громом, стуком и звоном отхватывали с ними старопольскую мазурку, изображая пресловутове "Веселье в Ойцове". Тут мелькали теперь все знаменитости варшавского балета: Менье, Квятковский, Тарновский, Пухальский, Попель, и его «дрцука» белокурая Попелювна, и панна Оливинская, и панна Дылевская, как самые красивые представительницы женского персонала, а за ними прыгали уже все эти панны Холевиские, Пиотровские, Брандты, Сраусы и прочие известные под общим именем "балетни*ч*ек варшавских". Русский партер то и дело гремел взрывами рукоплесканий и делал это по обыкновению с таким искренним добродушием, которое, казалось, ни на единый миг не допускало в нем и тени сомнения, что все эти поневоле

прыгающие Квятковские, Пиотровские и Брандты, быть может, в эти самые минуты шлют в душе самые искренние и тяжкие проклятия аплодирующим "москалям".

Но Хвалынцеву было уже не до мазурки. Он весь был преисполнен такой восторженной радости, по поводу столь неожиданно назначенного ему свидания, что готов бы был броситься на шею первому встречному и весь мир заключить в свои объятия. Это была светлая, свежая, беззаветно молодая радость. Он был как в чаду, как в дурмане: пестрота партера и театральных орнаментов, блеск огней и блеск сценических костюмов, звуки оркестра, стук и звяк и мелькание мазурки, красивые лица и плечи, и гром рукоплесканий — все это сливалось для него в одну какую-то смутную, неопределенную, но яркую и пеструю грезу. Он сидел в партере совершенно безучастно к тому, что делается вокруг и что происходит на сцене, сидел потому только, что *она* велела ему досидеть до конца спектакля, а сам меж тем нетерпеливо, неудержимо рвался душою в каштановые аллеи Уяздова, — туда, за чугунную решетку, в таинственную глубину темного, уединенного сада. Никакое сомнение, никакая темная мысль ни на единое мгновение не омрачали его душу: он был убежден в искренности назначенного ему свидания, он безусловно веровал в Цезарину и в свое молодое, нежданно прихлынувшее счастие.

Еще не было 10-ти часов, как спектакль уже окончился. Торопливо продравшись сквозь суету и движение расходящейся публики на освещенный газом подъезд, мимо топочущих лошадей, мимо экипажных колес и жандармских касок, Хвалынцев вышел на площадь и, кликнув дружку, покатил в Уяздовскую аллею.

Странный вид представляла Варшава того времени в этот час вечера. В городе все уже было тихо и глухо, ставни закрыты, сторы спущены, лавки и магазины заперты, в одном лишь театре раздавались еще пока веселые звуки, на одной лишь театральной площади было еще яркое освещение и замечалась жизнь, движение, суета, говор, крик жандармов и «дружкарей»; но от остального города, погруженного в мрак и молчание, веяло чем-то могильным, зловещим, каким-то холодом и общим заговором против кого-то и чего-то. По тротуарам виднелись ряды движущихся огоньков и около каждого из них темная тень прохожего. Эти огоньки напоминали собою не то блестящие звездочки светляков, когда они расползаются по ветвям дерева, не то какую-то странную, фантастическую процессию темных теней со светящимися точками. Это были последние, запоздалые пешеходы из «цывильных», которые торопились поскорее добраться до дому из театра, из гостей, из «баварий» и «огрудков», так как после 10-ти часов вечера появление на улице «цивильного» человека, хотя бы даже и с «латаркой», т. е. с фонариком, неизбежно влекло за собою, в силу военного положения, отправку "до цыркула", т. е. в полицейскую часть, осмотр, расспрос и ночевку в этом неприглядном приюте. С 7-ми часов вечера обыватели обязаны были появляться на улицах не иначе, как с «латарками», а в 10 часов всякое движение в городе окончательно уже прекращалось. Чтобы показаться на улице после этого урочного часа «цывильному» человеку, необходимо было иметь особый разрешительный билет из полиции, а это делалось с большим трудом и то не для поляков, а почти исключительно для коренных русских людей из купцов и чиновников. Одни офицеры имели право ходить по городу без фонаря, и потому после 10-ти часов можно было услышать иногда на опустелой улице лязг двух-трех сабель, так как наши военные, во избежание неприятных столкновений, а иногда и встречи с кинжалом заговорщика, из-под какой-нибудь подворотни, предпочитали ходить по двое или по трое. Но чем более удалялся Хвалынцев от городского центра, чем далее катил он по "Новому Свету", тем глуше и безлюднее становились улицы. Одни только тени полицейских торчали кое-где на углах да на перекрестках, да один за другим двигались пехотные патрули, которые в свое время были очень остроумно сравнены одним русским корреспондентом с известными «уточками», бесконечно выплывающими одна за другой из трень-бренькающей детской игрушки. Вот мерно звуча коваными копытами,

проследовал шагом кавалерийский разъезд, — сабли наголо и пики наперевес чрез седла; за ним через некоторое время, — другой подобный же разъезд, который скрылся за поворотом в смежную улицу, — и снова молчаливые тени полицейских, снова мерный шаг пехотных патрулей, снова немая тишина и пустыня меж темных каменных громад лучшей улицы города... Вот в который именно час Варшава ясно давала чувствовать свое ненормальное, исключительное положение; вот когда в ее немом воздухе начинало пахнуть каким-то зловещим заговором! В обычные же часы дня поверхностный наблюдатель нашел бы, что она — ничего себе, город как город, мирно живущий своей обыденной жизнью, ибо днем не видать было на улицах даже солдат и полицейских в количестве свыше обыкновенного; напротив, их было тут даже гораздо менее чем, например, в Москве или в Петербурге; но с наступлением ночи, при виде этих немых патрулей, двигающихся в немой тишине, каждый невольно начинал чувствовать себя в положении человека, сидящего на бочке пороха или двигающегося по направлению какой-то подземной мины, которую вот-вот взорвет со страшным треском, — и все полетит к черту!

XIII. "Carpe diem!"[159]

Но Хвалынцеву в настоящую минуту ничто подобное не приходило в голову. Он весь был — ожидание скорого свидания со своим идолом и, то и дело, ежеминутно погонял своего «дружкаря» нетерпеливыми возгласами: "прендзей! прендзей рушай! скорее!" — Но тот, пощелкивая бичом, и без того уже гнал во всю рысь свою длинноухую пару. На площади Трех Крестов Константин расплатился с дружкарем и, с замиранием сердца, вступил в густые, темные сени уяздовских каштанов. Вот и знакомый палац графини Маржецкой. Там, внутри, казалось, все уже давно покоится глубоким сном, и ни единая полоска света не пробивается сквозь щели наглухо захлопнутых ставень. И внутри, и снаружи, повсюду мрак и тишина глубокая. Вот и чугунная решетка. Константин нащупал калитку, подавил ручку запора, которая тотчас же подалась на его легкое усилие — и калитка открылась пред ним свободно и без шума. Бережно подобрав свою саблю, чтобы неуместный лязг ее не нарушил окрестной тишины, он осторожными шагами пошел мимо стены дома, по песку садовой дорожки. В воздухе тихого сада разливался запах резеды и левкоя. Таинственные кудрявые кущи, в глубину которых убегали садовые дорожки, как-то сторожко и чутко глядели на необычного посетителя своими темными впадинами, словно бы и маня, и остерегая его в одно и то же время. Константин завернул за угол и очутился пред задним фасадом палаца, около садовой террасы, заставленной цветами и растениями. На эту террасу выходила стеклянная дверь и два раскрытых окна, которые были слабо освещены матовым светом лампы, разливавшимся из-под нахлобученного на нее абажура. Сердце Константина сильно и мерно стучало. Он осторожно, неслышными шагами поднялся на ступени и заглянул в окна: в комнате никого не было; в одном углу он разглядел круглый стол, сервированный на два прибора. По-видимому, здесь уже было готово к скромному ужину, обещанному графиней. Но где же сама она? где эта фея — обитательница этого палаца и этого сада, которые казались теперь Константину словно заколдованными, — где она?

Он, еще тише чем поднялся, сошел теперь со ступеней террасы и, мимо дикого винограда и абрикосовых деревьев, лепившихся по переплету решетки вдоль домовой стены, пошел далее. Вот еще одно освещенное окно в боковой комнате, которое тоже выходит в сад и в эту минуту стоит открытым настежь. Мягкий и теплый воздух ночи вливается в него струею до того плавною и тихою, что даже не колеблет пламени свечи, поставленной на столике близ окошка, которое было прорезано настолько низко, что человеку, стоящему на дорожке, в двух шагах от него, можно было без всякого затруднения видеть все, что происходит в комнате. И Константин, в чаянии увидеть там Цезарину, пожираемый нетерпением и ожиданием скорого свидания, не удержался пред искушением и заглянул в окошко.

Вдруг сердце его упало на мгновение, и он остановился как зачарованный, приковавшись взором в глубину освещенной комнаты. Там была она. Он увидел ее в том же черном платье, в каком была она за час пред этим в театре. Только густые, пепельные косы были распущены, по-домашнему, в силу местного революционного обычая, и, рассыпаясь волнистыми прядями, падали на спину и плечи.

Она стояла почти в профиль к окну, опустясь на колени позади своего раздетого и тоже коленопреклоненного ребенка пред образом Ченстоховской Богородицы, висевшим над его кроваткой. Молитвенно сложив своему мальчику руки, она заставляла его повторять за собой, на сон грядущий, слова польской молитвы. Звучный, контральтовый голос ее дышал фанатическим упованием, и каждое слово отчетливо и ясно доносилось до Хвалынцева. После обычного "Ойче наш, ктуры есть в небе", она заставила ребенка повторять за собою известную "Литанию пилигрима" — эти фанатизирующие и суровомощные, как бы из железа выкованные слова молитвы, вылившейся из-под поэтического пера Адама Мицкевича.

— "Cyre elejson, Christe elejson!"[160] внятно и плавно звучал голос Цезарины, сопровождаемый детским лепетом ее ребенка. — "Христе, услыши нас! Христе, выслушай нас! Боже Отче, изведший люди Твоя из земли Египетской и возвративший их в землю Святую, — возврати нас в отчизну нашу!

"Сыне Избавителю, Ты — замученный и распятый, воскрес из мертвых и царствуешь во славе, — воскреси из мертвых отчизну нашу!

"Матерь Божья, Ты, которую отцы наши "Царицей Польши и Литвы" называли — избави Польшу и Литву!

"Святый Станиславе, защитник Польши, молись за нас!

"Святый Казимир, защитник Литвы, молись за нас!

"Святый Иосиф, защитник Руси, молись за нас!

"Вси Святые, защитники Речи Посполитой нашей, молитесь за нас!

"От неволи московской, австрияцкой и прусской избави нас, Господи!

"Ради мученичества юношей литовских, палками забитых, в рудниках и в изгнании погибших, избави нас, Господи!

"Ради мученичества обывателей ошмянских, в храмах Твоих и в домах вырезанных избави нас, Господи!

"Ради мученичества воинов, в Кронштадте убиенных, избави нас, Господи!

"За раны, слезы и терпение всех узников, изгнанников и странников польских, избави их, Господи!

"Тебя молим и просим: услыши нас, Господи!

"О брани всеобщей за вольность народов просим мы, Господи!

"Об оружии и орлах народных наших просим мы, Господи!

"О гробе костям нашим на земле нашей просим мы, Господи!

"Господу помолимся!

"Господи Боже всемогущий! Сыны народа воинского возносят к Тебе руки безоружные и взывают к Тебе из чуждых стран: из глубины рудников сибирских, из степей Алжира, из снегов камчатских и из чужой земли французской, зане в отчизне нашей, Польше — поверь, о Господи! — не вольно есть взывать к Тебе. Старцы наши, жены и дети молятся тебе лишь втайне: мыслью и слезами…

"Боже Ягеллонов, Боже Собиесских, Боже Костюшков, умилосердися над нами и над отчизной нашей! Позволь нам вновь молиться Тебе обычаем предков, на поле битвы, с оружием в руках, пред алтарем, сложенным из литавр и пушек, под балдахином орлов и знамен наших! В отчизне же нашей дозволь молиться нам в храмах городов и весей наших. Amen! Amen! Amen!"

Молитва давно уже была кончена, и мальчик, перекрещенный трижды своею матерью, давно уложен в постель, и окно было захлопнуто и стора спущена, и свет свечи заменился слабым мерцанием лампады, а Хвалынцев все еще неподвижно стоял на своем месте, изумленный и пораженный сильным и совершенно новым впечатлением только что услышанной молитвы. — "Так вот он, этот глубокий и вечно живой родник польской ненависти к нам!" думалось ему. "Вот откуда бьют его неиссякаемые струи! Еще из пеленок, с молоком матери, с первым лепетом молитвы ребенок всасывает вражду и привыкает к ненависти!.. Борьба против мятежа понятна; но чем станешь бороться против детской молитвы?!."

* * *

Тихо стукнула стеклянная дверь на террасе — и по ступеням лестницы плавно заколебался темный силуэт сходящей женщины. Хвалынцев бросился к ней навстречу, но она легким движением руки предупредительно остановила его не в меру порывистое и страстное движение.

— Давно вы здесь? — заговорила она полушепотом. — Вас никто не заметил? Никто не видал, когда вы входили в калитку?

Хвалынцев успокоил ее насчет полнейшего своего incognito.

— Мы останемся с вами в саду, пока в доме все улягутся и заснут, — продолжала Цезарина. — Моя девушка не спит еще. Дайте мне вашу руку и пойдемте подальше, в глубину — там нас не услышат, там можно говорить свободно.

И она повела его в отдаленный угол сада, к беседке, устроенной из кустов сирени и жасмина и осененной сверху сплетавшимися ветвями белых акаций. Там стояла чугунная садовая скамейка.

Тихая ночь, благоухание цветов и свежей травы, темнота сада, таинственность свидания и близость любимой женщины, идущей рядом, рука об руку, что позволяло ее спутнику осязательно чувствовать эту руку, по которой пробегала мгновеньями легкая нервическая дрожь — все это слишком сильно электризовало Хвалынцева, все это раздражительно действовало и на душу, и на молодую кровь, погружая его в дурман какого-то страстного опьянения. Ради этой женщины, он чувствовал теперь в себе решимость на все, за одно ее слово, за единую ласку.

Они сели рядом; близко друг к другу. Цезарина взяла его руку.

— Я недаром позвала вас сегодня; я хотела предложить вам один серьезный вопрос, — начала

она после некоторого молчания, как бы собравшись с мыслями для предстоящего объяснения. — Помните ли вы тот вечер в Петербурге, когда я, только что окончив мое польское знамя, вам первому показала его?

Хвалынцев отвечал утвердительно.

— Помните ли, — продолжала Цезарина, — вызванная вами, я сказала тогда, что буду принадлежать вся, отдамся с гордостью, открыто, пред целым светом, тому человеку, который смело возьмет это знамя и поднимет его "за свободу вашу и нашу"? Помните ли вопрос, который вы мне сделали при этом?

— Да; я спросил, что будет, если таким человеком окажется вдруг русский?

— Правда, и на это вам было отвечено, что все равно, кто б ни был он, лишь бы шел за свободу моей родины, лишь бы точно был героем! Тогда вы вызвались сами; вы сказали, что этим героем будете вы. Я не звала вас, вы сами вызвались на подвиг. Скажите, что побудило вас тогда на это?

— Мое чувство и ваше обещание, — открыто ответил Хвалынцев.

— Стало быть, вы любили меня?

— Вы это видели… Вы это знаете.

— А теперь, Хвалынцев? — спросила она с полузастенчивой и полукокетливой улыбкой.

— Теперь, как тогда… Нет! — с жаром перебил он самого себя. — Теперь более! более чем тогда!.. Время не охладило, — напротив, усилило это чувство!

Цезарина замолкла на минуту и раздумчиво потупилась.

— Если я вызвала вас сюда, в такую пору, — начала она наконец с таким выражением, которое заставляло думать, что ей стоит некоторого усилия делать дальнейшее признание. — Если я подняла с вами этот разговор, то верьте, это потому… потому что… я помню прошлое… Одним словом, что тут таиться!.. Ну, да, потому что я сама люблю вас! Я полюбила вас еще тогда, в Петербурге… Но я полька, не забывайте этого, Хвалынцев! Я полька, и потому моя любовь может принадлежать только тому человеку, который душу свою положит за Польшу! Вспомните, когда вы сказали, что *вы* будете тем москалем, который подымет мое польское знамя, я вам отвечала, что еели это будет так, я ваша, *но только тогда, а не раньше!* Таков был мой ответ, и вы мне обещали… С тех пор прошло восемь месяцев. Теперь… теперь, Хвалынцев, я готова быть вашей: я люблю вас, но… отвечайте мне прямо и честно: что вы сделали в течение всего этого времени для нашего общего дела?

Что было отвечать ему?! С одной стороны — эта лихорадка опьяняющей страсти, эта женщина, признающаяся в готовности любить его, эта близкая возможность полного, безграничного счастия, которое само говорит ему: "протяни только руку и бери меня!" а с другой стороны — этот роковой и столь определенно поставленный вопрос: "что вы сделали для общего дела?"

— Я ничего не сделал! — смутно, с усилием прошептал он, безнадежно понурив свою голову.

— Отчего? — с живостью спросила Цезарина, схватив его за руку. — Значит, вы не настолько любили меня? Значит, вы передумали, раскаялись, разочаровались?

В ее тоне, в ее взгляде и жесте, которыми сопровождался этот вопрос, заключалось нечто ободряющее, нечто такое, что долженствовало нравственно поддержать человека и поднять его снова на высоту тех требований, которые предъявлялись ему ценою чувства этой женщины, ценою полного обладания ею.

— Вы правы: я разочаровался в деле! — признался наконец Хвалынцев. — *Ваше* дело не *наше!* Из ряда случайных столкновений я, как мне кажется, достаточно узнал его и — воля ваша — я не могу идти с вами! *Ваше* дело требует прежде всего, чтоб я сделался изменником *своему* народу. Ведь вы не пошли бы на такую сделку, графиня? Так не требуйте ж ее и от меня!

— От вас не требуют измены! — сурово-холодно и строго заговорила Цезарина. — Напротив, вас зовут во имя вашего же народа; вам говорят: ступайте за свободу *вашу* и *нашу!* Дело идет о взаимной помощи против общего врага, а не об измене! Вас зовут на дело ваших святых мучеников, на дело ваших декабристов, на дело Герцена, на то дело, за которое сидят теперь в казематах лучшие, благороднейшие представители вашего молодого поколения, за которое на днях еще погибли такие же военные как вы, Аргольд и Сливицкий! Вы ехали сюда членом не польского комитета, а русского отдела "Земли и Воли", стало быть ради вашего же народного дела! Нет, Хвалынцев! — заключала она с одушевлением, — или вы трус, или вы любить не умеете!

Константин вскочил словно ужаленный. Эти слова, как двойной удар ножа, вдвойне поразили его самолюбие. И услышать их из уст женщины, ради которой он всем был готов пожертвовать! Услышать в такую минуту, когда она, казалось, совсем была готова отдаться ему!.. Это было уже слишком. Удар ножа рассчитан был верно. Будь Хвалынцеву не двадцать с небольшим лет, этому удару можно было бы наверное предсказать промах, но его юность, его пыл, его молодое, чуткое самолюбие и его шальная страсть к этой женщине сделали то, что удар, направленный ею, попал ему прямо в сердце и врезался в него глубоко колючим острием ядовитого слова.

— Я ваш! — решительно протянул он руку Цезарине. — Не ради идеи, не ради дела, в которое я и теперь не верую, но ради вас, единственно только ради вас и ради любви моей к вам отдаюсь я в вашу волю!.. Делайте теперь со мной что хотите; если я вам нужен, распоряжайтесь, приказывайте — я все исполню... Я не трус и любить я умею!.. Вы увидите... я докажу вам это! — с жаром задетого юного самолюбия закончил Хвалынцев, проговорив последние фразы таким надтреснутым голосом, в котором невольно прорвались горькие, жгучие слезы.

Цезарине даже стало жаль его. Все-таки как женщина, она не могла, хотя бы и мимолетно, не сжалиться над этою свежестью и чистотою чувства, над этим мальчиком — врагом, москалем, который за одну ее ласку готов теперь хоть завтра же сложить пред палачем свою бедную голову. Женщина — как она ни называйся, к какому народу ни принадлежи, какой вражды ни чувствуй, племенной или политической, все-таки останется женщиной, всегда и прежде всего женщиной, у которой есть своя женская сторона чисто женского самолюбия, и этой-то женщине прежде всего нравится суетно-гордое сознание, что ее любят, что она безо всякого старания, безо всяких усилий с своей стороны, одним лишь обаянием своей красоты и внутренней силы, даже и племенному врагу своему сумела внушить такую сильную любовь, такую слепую, восторженную страсть, что может послать его под пули, под виселицу, под топор, может заставить забыть ради нее и долг, и честь, и все на свете! В польской же женщине эта сторона женского самолюбия развита в особенности сильно и чутко, быть может потому, что сами же польские мужчины своею извечною, традиционною податливостью привили к ней это свойство. В Польше мужчина только орудие; но властвует, царит и управляет там женщина. Так было издревле, так есть и ныне, и вся-то жизнь, вся цивилизация польская вполне наглядно выражается тою характерною фигурою мазурки, в которой мужчина стоит, преклонив колено, а женщина вьется и кружится вокруг него легкой и властительной

сильфидой!

— Если так, — заключила Цезарина, — то вы завтра же отправитесь к этому… как его? к поручику Палянице; вы этим исполните только то, что вам было указано еще в Петербурге. Вы ему представите ваш нумер и номинацию, а там — он уж укажет, что должно вам делать. И тогда… тогда, — проговорила Цезарина глубоко убежденным тоном, — если вы честно исполните все, чего потребует дело, приходите ко мне, я сдержу мое слово! Не сомневайтесь и не бойтесь за себя и за дело: нас много, у нас целые легионы, мы не можем не быть победителями — и мы победим! Мы победим, если каждый будет веровать в дело. Веруйте же в меня, по крайней мере, и ради меня делайте то, что укажут!

И хватив руками виски Хвалынцева, она приблизила к себе его голову и приникла к его лбу беззвучным поцелуем.

— Вот вам мое благословение! — смутно прошептал ее голос. — Теперь пойдемте; в доме спят уже и нас давно ждет ужин.

Хотя неожиданный переход к столь прозаическому мотиву был, по-видимому, слишком крут и резок, но Цезарина как-то вдруг сумела придать ему ту немножко пикантную и изящную легкость, с которой, среди самых патетических минут, могут и умеют говорить об ужине истые француженки и польки. С этой минуты в графине Маржецкой исчезла возвышенная и пламенная патриотка, а осталась одна только милая, веселая и, на взгляд, не совсем-то уж недоступная женщина.

Но это только так казалось. Графиня Маржецкая продолжала ту же игру и ту же комедию, только уже в новой роли, и этот переход от суровой спартанки к чему-то очень милому, увлекательному и легкому, не выходя впрочем из границ достодолжной сдержанности, совершился в ней, не шокируя глаз и чувство, как-то вдруг, сам собой, вполне естественно и, так сказать, органически. Все дело в том, что она умела и *казаться и стать* всем чем угодно, не переставая в то же время быть полькой и графиней Маржецкой.

Час, проведенный за ужином, прошел легко, свободно, весело и потому незаметно. Цезарина задалась мыслию не давать ни на единый миг опомниться Хвалынцеву, помешать ему погрузиться в себя, раздуматься и поразмыслить над своим положением и решимостию на предпринятое дело; поэтому она все время держала его под страстным обаянием своей красоты, кокетства, грации, маня и дразня, но не удовлетворяя его чувства и тем самым укрепляя в нем юношескую, беззаветную решимость добиться-таки торжества над нею, когда бы то ни было и во что бы то ни стало.

"Carpe diem"! эгоистически припомнилось ему старое Горацианское правило, когда, простясь с Цезариной, он шел один, глухой ночью, по Уяздовской аллее, одурманенный своею страстью, надеждой и всеми впечатлениями этого вечера: "Лови мгновенье!.. Хоть день да мой, но уж зато он будет моим вполне, безраздельно!.. И в самом деле, одна минута безумства, счастия и потом… в расплату за нее пулю в лоб себе!.. И лучше! Жалеть не стоит, да и незачем!"

XIV. Поручик Паляница

Поручик Паляница обитал на улице Фрете, неподалеку от того места, где уже кончаются городские строения и начинается пустынное, ровное поле цитадельной эспланады. Эта часть города и бедна, и тоже довольно пустынна. Она служит местом обиталища для работников и евреев самого бедного класса, которые кучатся и лепятся, словно какая грибчатая поросль, по убогим деревянным лачугам да по старым полуразрушенным «каменицам»,[161] на которых

дырявые крыши с провалившимися черепицами наглядно свидетельствуют как о ветхости построек, так равно и о скудости средств домовладельцев. Поручик Паляница нарочно избрал себе для жительства эту пустынную и довольно отдаленную часть города, потому что она представляла ему двоякие выгоды: и от казарм не далеко, да и опасности менее от посторонних глаз и чужого внимания: что за интерес этим соседям-евреям и мещанам-работникам наблюдать и знать, чем занимается в тиши своего кабинета какой-то поручик, когда у них и своего-то собственного дела да и насущных нужд по горло!

Когда по темной, грязной и вонючей деревянной лестнице Хвалынцев подымался в квартиру Паляницы, сердце его в последний раз смутно ёкнуло под новым гнетом раздумья, укора и сомнения. Он нарочно замедлил шаг. "*Подлость!*" шептал ему какой-то внутренний голос. "Не вернуться ли?"

А между тем, почти машинально, он все-таки подымался вверх по ступенькам.

Вот и площадка пред дверью. Тут же какая-то еврейка стирала в корыте что-то вроде пелёнок и вопросительно посмотрела на Хвалынцева.

Константин остановился в замешательстве. Ему казалось, будто и эта еврейка, и те ребятишки, что играют на дворе, и тот дворник, что внизу указал ему лестницу и растолковал как пройти в "мешканье пана Паляницы" — будто все они знают и догадываются о цели его посещения. Рассудком он постигал, что такое предположение нелепо как нельзя более, но оно почему-то копошилось в его душе и было причиной его смущения. "Не хорошее, не честное дело"… снова шепнул ему внутренний голос и, после минутного колебания, Константин уже повернулся было с намерением уйти, как вдруг его окликнула еврейка:

— А чего пан шука?..[162] Може, до пана Паляницы?

Хвалынцев, как школьник, пойманный на месте преступления, смутился еще больше и, уж и сам не постигая как и для чего, ответил ей утвердительным кивком головы.

Предупредительная еврейка указала ему на дверь и даже сама дернула за шнурок звонка.

"Судьба… видно судьба!" мелькнуло в уме Хзалынцева! "Но… дай Господи, чтоб его не было дома!"

Дверь приотворилась, и из нее наполовину выглянула чья-то физиономия.

Еврейка поспешила объяснить, что пришедшему пану нужно пана Паляницу.

— Ваше имя? — отнесся к Хвалынцеву субъект, выглядывавший из-за двери.

Тот назвал себя.

— Прошу! — буркнул сквозь зубы вопрошавший и раскрыл пред ним настежь всю половинку.

Волей-неволей пришлось войти.

Константин очутился в тесной и грязной прихожей — она же и кухня — где на первом плане кидался в глаза закоптелый очаг или, так называемый здесь, «комин», у окна на ларе лежал врастяжку и храпел денщик.

— Прошу! — снова буркнул ему отворявший субъект и пропустил его в следующую комнату,

неприглядная обстановка которой напоминала скорее нумер скверной гостиницы, чем жилую квартиру оседлого человека, и отличалась всеми излишествами холостого неряшества.

Хвалынцев не знал за кого следует принимать стоявшего пред ним человека, который в свой черед, остановясь посередине комнате, молча и вопросительно глядел на нежданного гостя.

Это был мужчина лет двадцати семи, длинного роста и жидкой комплекции, к которому как нельзя более подходило бы прозвище «дылды». Он был смуглый и сильный брюнет, с очень низким лбом и коротко остриженными волосами, которые торчали на голове его как жесткая щетка; в круто сведенных густых бровях его присутствовало характерное выражение неуклонности и упорства, но серые глаза уставлялись из-под этих бровей как-то тупо и неподвижно, напоминая своим выражением взгляд сонного окуня. Одет он был тоже довольно оригинально: на нем красовалась малороссийская сорочка с узорчато вышитым воротником и пазухой; сорочка эта запускалась в широкие нанковые шаровары, которые тоже были запущены в красные сафьянные чоботы не то малороссийского, не то бухарского покроя. Малороссийский широкий пояс, где перемешивались красный и зеленый цвета, стягивал его талию и с обоих боков спускался к коленам своими длинными концами. Недоставало только бараньей шапки, чтобы сейчас же поставить этого господина в "живые картины" изображать «парубка» на каком-нибудь спектакле любителей.

Хвалынцеву было очень неловко стоять под упорно-неподвижным взглядом неизвестного субъекта, и потому, чтобы прервать такое положение, он решился еще раз заявить, что ему нужно поручика Паляницу.

— Я Паляница, — глухим грудным голосом ответил на это дылда, все-таки продолжая глядеть на него своим рыбьим взглядом.

— В таком случае, позвольте…

И порывшись в бумажнике, Константин отыскал там заветный клочок бумажки, данный ему Бейгушем еще в Петербурге накануне отъезда в Варшаву, с наставлением предъявить его по приезде поручику Палянице, как председателю варшавского отдела "Земли и Воли".

Этот клочок, оторванный с одной стороны зигзагами и заключавший в себе недоконченное слово "*заслужив*", долженствовал служить Хвалынцеву его нравственным аттестатом, так как другая половина бумажки, пересланная своевременно "Петербургским Центром" к Палянице, заключала в окончании фразы ту степень доверия, которую председатель мог оказать новому члену отдела "Земли и Воли", а сверка зигзага служила для него гарантией, что предъявитель первой половины бумажки есть действительно то самое лицо, которое аккредитовано "Петербургским Центром".

Константин молча подал этот клочок Палянице.

— Сейчас. Подождите тут, — взяв бумажку, буркнул ему дылда и, мешковато повернувшись, вышел в другую комнату, причем не забыл плотно затворить за собою двери.

Оставшись один, Хвалынцев принялся разглядывать комнату. На стене висели портреты Шевченки и философа Сковороды, да еще старинный малороссийский торбан, наполовину с оборванными струнами, и этим ограничивалось все убранство по эстетической части, на окнах — зола от папирос, на столе — папиросные гильзы, вата и рассыпанный табак. Тут же лежало несколько книжек, на заглавие которых Константин не преминул обратить внимание. То были «Кобзарь» Шевченка, либретто "Наталки Полтавки", "Москаля Чаривника", да два или три разрозненные нумера "Основы".

Прошло минут около пяти, прежде чем Паляница опять вернулся в комнату, неся в руке два клочка бумажки.

— Ваш нумер? — спросил он Константина.

— Он у меня записан… Кажется, что 7,342.

— Так точно, — подтвердил Паляница. — Вы не ошиблись; действительно, вы записаны под этим нумером.

И он показал ему оба клочка бумажки, сложив их по зигзагу разрыва, так что Хвалынцев мог теперь свободно прочесть всю фразу, "*заслуживает на полное доверие* № 7,342. В. О. Р. Об. З. и В."[163] Сбоку была приложена посредством пресса синяя печать, где изображены две руки, пожимающие одна другую, а вокруг их кольцом шла надпись:

"Wolnosc, Rovnosc, Niepodleglosc Wydàal Petersburgski".[164]

— Отчего так долго не являлись? — спросил Паляница своим отрывистым тоном, не выговаривая, а скорее как-то глухо бурча слова сквозь зубы.

— Не мог раньше, — пожал плечами Хвалынцев.

— Что ж так? Могу знать причины?

— Да так, разные… служба, то да се, не огляделся пока, — мало ли что!

— Это не резон. Должны были тотчас явиться.

Хвалынцеву не понравился такой резкий тон, напоминавший нечто вроде начальнического выговора, поэтому он решился отбросить в сторону всякую уклончивость и объявил напрямик, что коли, мол, вы так уже хотите знать, то я скажу вам прямо, что сомнения одолевали, веры не было в дело, потому и не шел.

— Отчего же веры не было? — спросил Паляница. — Это странно: не было веры, а тут прописано, что заслуживаете полного доверия, — как же так?

— А очень просто, — усмехнулся Хвалынцев. — В Петербурге многое казалось так, а здесь на деле показалось иначе.

— Гм… От этого и сомнения?

— Разумеется.

— Гм… А теперь вера есть?

— Стало быть есть, ежели я к вам явился.

— Откуда же вера вдруг взялась?

— Ну, на этот вопрос отвечать вам довольно трудно, так как тут дело начинает уже касаться для меня довольно тонких психических сторон, — возразил ему Хвалынцев. — Да и притом, — продолжал он, — раз, что я здесь, у вас, то это одно уже, кажется, может служить доказательством моей готовности к делу. А впрочем, если вы во мне сомневаетесь, или я вам не нужен более, то честь имею кланяться.

И он направился к прихожей.

— Постойте, постойте! куда же вы? — торопливо остановил его вдогонку Паляница. — Останьтесь, пожалуйста!.. Так ведь нельзя!.. Разве я сказал, что сомневаюсь, или что не нужно?.. Я этого не сказал!.. Вы напрасно обиделись. Я хотел только сказать, что долго ждал вас, много времени даром потеряно, без пользы для дела — вот что хотел я, а не то, что вы думаете… Я рад, очень рад познакомиться… будем как товарищи.

И он, быстро протянув свою руку, не то что пожал, а скорее как-то резко дернул книзу и давнул руку Хвалынцева.

— Ну, вот и прекрасно… Садитесь. Прошу… Вы что пьете? водку или вино?

— Что случится… Впрочем благодарю вас, теперь я не хочу ни того, ни другого.

— Ну, как знаете… А то можно послать? а?.. Вы без церемонии! Я сам ничего не пью… никогда. Но товарищи приходят, те пьют. Так как же? послать что ли?

Хвалынцев еще раз поблагодарил и отказался.

— Впрочем, теперь мудрено бы и послать, — продолжал Паляница, — потому денщик пьян, как стелька… Видели? лежит там… со вчерашнего дня лежит… Идиот совсем. Замечательный идиот! Да!.. Я нарочно взял такого.

— Для чего же? ведь это очень неудобно, — отозвался Хвалынцев.

— Напротив. Самое удобное! Умный понимал бы все и… черт его знает, мог бы выдать или сболтнуть. А этот и видит да ничего не понимает… Так-то лучше! Спокойнее!.. А вчера какой случай был, — продолжал Паляница. — Вы знаете, почему он пьян.

— Откуда ж мне! — пожал Константин плечами.

— Я вам расскажу. Курьез!.. Он со мною зуб за зуб, особенно как выпьет… Я ему позволяю — зуб за зуб-то… позволяю и ничего… мне нравится, и потом — принцип. Но вчера я дал ему в зубы… Ух, как! здорово дан!.. А он, что вы думаете?.. а? Он меня наотмашь да в грудь кулаком!.. Ей-Богу!

Хвалынцев невольно вытаращил глаза от крайнего изумления.

— А?.. что? — продолжал невозмутимый Паляница, — вы не верите!.. Поверьте! Прямо в грудь… Хорошо что не в глаз, фонарь бы подставил. Каков!.. а?

— Но как же вы его держите еще? — воскликнул Хвалынцев, почти не веря ушам и не зная, что заключить, по спокойному тону рассказа: врет ли человек на смех или правду говорит.

— А что ж бы, по-вашему? — возразил Паляница. — По-моему прекрасно!.. Я после этого на шею ему кинулся… в объятия принял… расцеловался… Да!.. И дал рубль на водку… Поощрять надо! Вот он и пьянствует.

Хвалынцев ничего не возразил более, но беспокойно-пытливый взгляд его, пробегавший по лицу и по всей длинной фигуре Паляницы, ясно выражал сомнение, уж не сумасшедший ли полно пред ним?

— Да; я рад за него, — говорил меж тем Паляница, — рад в его лице за русского солдата!.. Он

хоть идиот, денщик-то, но я тем более рад, потому это показывает, что в нем сознание проснулось... Понимаете, принцип!.. Я нарочно дал на водку, для того чтобы в кабак пошел; в кабаке спьяну, поди-ка, наверное товарищам сболтнул, а те себе на уме, да другим шепнули, а в результате, понимаете что? Сознание, что не все же начальство нас по зубам, а можем и мы начальство в зубы!.. Так ли?.. а?..

— Пожалуй и так, — согласился Хвалынцев, — но только что же из этого выйдет, если дело пойдет таким образом?

— А! Это-то нам и нужно!.. "Что выйдет?" Выйдет-то, что дисциплина фю-ить! Не станут уважать начальство, слушать не станут, не пойдут драться против поляков... Начальство будет бессильно и... ничего с ними не поделает. А затем они за поляков пойдут... освободиться помогут... Вот что!

— Это почему же вы думаете?

— Потому что сознание усвоят... сознание прав каждого человека на свободу... Мой поступок в этом случае есть самоотвержение... высшее самоотвержение... во имя идеи... Да-с!.. Я так и понимаю!.. Пусть каждый офицер поступит так же, и мы живо тиранию свалим! "Свобода воцарится!" Да!

— Хорошо-с, но кто же поведет их за поляков, и почему опять-таки вы так уверены, что солдаты пойдут за них? — спросил Хвалынцев, которого заинтересовал ход логники курьезного субъекта.

— Кто поведет? мы!.. — с уверенностью промолвил Паляница. — Мы и сами же поляки!.. Вот кто! А пойдут во имя идеи... А кто за идею не пойдет, тот за водку пойдет, деньгами купим!.. У поляков есть деньги... Много денег! Всю европейскую дипломатию купили, вот что!

— Да ведь по вашей системе дисциплина-то — фю-ить!

— Ну, фю-ить!.. Так что же?

— Каким же образом после этого вы будете вести их в дело и заставите себе повиноваться?

— А!.. мы, это совсем особь статья!.. Нам надо подорвать дисциплину только в русском войске... поймите это... А там мы ее снова восстановим!

— Какими же судьбами?

— Очень просто-с... Во-первых развитием гражданского долга... ну и мужества... социальные идеи тоже... а во-вторых, террором... Где идея не поможет, там казнить, расстреливать... вешать будем... Несколько жертв, и кончено... Страху нагоним, и дисциплина восстановится... сама собою!

— А если начальство предупредит вас подобными мерами? да если вы же первый и поплатитесь своей головой?

— Помилуйте, где ему! — махнул рукой Паляница, — не догадается!.. А если и догадается, так что же?.. Пусть!.. Я рад буду... с удовольствием!.. Я сумею умереть... благой пример собой покажу... прочим... Последователи будут... История, Герцен свое слово скажет. Разве этого мало?.. Для этого можно умереть!.. Смерть — что, пустяки! Тьфу! и только!.. Что человек, что плевок, в сущности, разве не одно и то же?.. Одно! Ей-Богу одно!

"Тьфу, ты! какой непроходимый сумбур, однако!" с жалостью и досадой подумалось Хвалынцеву. "Очевидно, у человека зайчик какой-то в голове бегает".

— Скажите пожалуйста, где вы воспитывались? — без дальних околичностей спросил он Паляницу, вовсе не принимая в соображение насколько такой вопрос может показаться тому уместным и пристойным.

— В кадетском корпусе, — без запинки буркнул длинный офицер.

"То-то ты и выглядишь таким закалом-кадетом!" подумал про себя Хвалынцев.

— Впрочем, я остался очень недоволен корпусным образованием, — пояснил Паляница, — и потому уже на службе постарался сам доразвить себя... Нарочно в Лондон ездил... С Герценом познакомился Обедал у него... Впрочем, Бакунин мне больше нравится... Радикальнее, знаете, и... того... глубже понимает... настоящую суть... в корень!.. С ним мы больше сошлись... Впрочем, знаете, у меня всегда... то есть с детства еще страсть к механике была... все хотел технологом сделаться, и мне удалось!.. Я самоучка... И теперь вот... тоже все... машинки разные делаю... изобретаю...

— Какого же рода машинки? — спросил Хвалынцев.

— Радикальные... То есть, знаете... больше все в революционном смысле и духе. Самые радикальные!

Константин снова выпучил глаза от изумления.

— Что вы на меня так уставились? — невозмутимо и серьезно спросил Паляница.

— Как это "радикальные"?.. Объясните, пожалуйста, я не понимаю, — попросил Хвалынцев.

— Очень просто... Я вам могу показать модельки... Все... как есть, все сам, своими руками делал... собственными-с!.. И сам изобретал... самоучкой... Да вот, коли интересуетесь, пожалуйте в эту комнату!.. Прошу!

И он отворил дверь в смежную комнату, где помещался его кабинет и спальня.

Эта маленькая горница сделала на Хвалынцева еще более странное впечатление, так что в нем окончательно утвердилась мысль, будто в голове поручика далеко не все обстоит благополучно.

Стены этой комнаты были выкрашены черной клеевой краской, потолок и пол тоже, а карнизы, углы и ободки вокруг двери и окна обведены белыми каёмками. Все это поражало глаз чем-то траурным, погребальным, и это мрачное впечатление усиливалось еще тем, что по стенам кое-где были намалеваны белой краской "Адамовы головы" со скрещенными костями. У одной из стен стояла железная кровать, покрытая черным солдатским сукном, окаймленным белой полотняной полоской; наволочки на подушках были тоже черные, кашемировые. С двух сторон над кроватью, на боковой стене и в головах, нарисованы большие белые кресты, какие обыкновенно нашиваются на траурных аналоях и престоликах. На стенах развешана странная коллекция, а именно: три человеческих, несколько собачьих, кошачьих, конских и бычачьих черепов, челюсти, ребра, рога и разные кости. Две-три гравюры изображали сцены из испанской инквизиции: на одной сжигание на костре, на другой пытка на дыбе, на третьей что-то еще более скверное. Словом, ничто в этой странной комнате не напоминало офицера: вся обстановка ее, приличная более суровой келии изувера-аскета, служила явным обличением

мономании ее обитателя.

Хвалынцев был настолько поражен, что с нескрываемым изумлением оглядывал и стены, и хозяина.

— Все сам устроивал… по секрету… на свои деньги, своими руками… и по своему вкусу! — похвалился пред ним Паляница. — Сюда я никого не пускаю, кроме идиота и… самых близких людей… Но… вы — свой, про вас писано, что заслуживаете доверия, поэтому вам тоже можно… вы, конечно, как товарищ… понимаете?.. Коль скоро велено полное доверие, я не скрываюсь… Вы не шпион?.. Ведь нет? Не шпион?.. а?.. Посмотрите, я вам покажу мок модельки… Прехорошенькие вещицы!.. Как вам понравится?..

И он снял со стола простыню, покрывавшую какие-то вещи.

Хвалынцев увидел, действительно, «прехорошенькие», то есть очень искусно и щеголевато сделанные, но престранные игрушки.

— Что же это такое? — недоумело спросил он изобретателя.

— Это вот, например, — начал Паляница, взяв в руки одну вещицу, — это усовершенствованная гильотина! Обратите внимание, как быстро и спокойно опускается резак!.. А? И ни малейшего звука — тихо, плавно!.. Если *эта* отрубит голову, то гораздо лучше чем нынешние… гораздо гуманнее… Кабы во Франции, то привилегию дали бы… а? Как вы думаете?.. А это вот виселица… и тоже усовершенствованная, — продолжал Паляница, показывая другую модель.

Но Хвалынцеву стало противно рассматривать дальнейшие продукты изобретательности механика-самоучки, и потому он поспешил обратиться к нему с вопросом делового свойства.

— Объясните, пожалуйста, — сказал он, — в чем будут заключаться мои обязанности по «комитету» и какого рода работа для меня предполагается?

Этот вопрос видимо затруднил Паляницу.

— То есть, как вам сказать! — пожал он плечами. — Пока еще никакой особой работы… Я пока и сам не знаю… но… подумаем… Там, впоследствии, увидим… А обязанности… Какие же обязанности? Повиноваться, конечно; делать что укажут; обсуждать предметы разные, если потребуется. Ну, вот и все пока!

— Позвольте, однако, — возразил Хвалынцев. — В таком случае, что же такое этот "Варшавский Отдел Земли и Воли"? Мистификация что ли?

Паляница даже обиделся несколько.

— Как мистификация!?.. Почему вы так заключаете?

— По вашим же собственным словам. Откровенно говоря, я, идучи к вам, воображал себе нечто гораздо более серьезное, а тут вдруг оказывается, что у вас и делать-то нечего!..

— Хм… Какой вы прыткий!.. Погодите, дело найдется… Всему свой черед… Дело будет, не беспокойтесь. Когда придет время, скажу. Ну, а пока приходите ко мне почаще… познакомимтесь, потолкуем, у меня вы кое-кого встретите. Приходите сегодня веером… а? Придете? да?

Хвалынцев дал обещание и поспешил проститься с Паляницей.

Смутное и тяжелое впечатление вынес он в душе после этого визита. "Где же эта русская революция? Где ее сила, если представителем ее является вдруг какой-то полупомешанный кадет, который и сам не знает что нужно делать?.. Неужели они все такие же, как этот маньяк?" думалось ему. "Коли так, то хорошая компания, нечего сказать! И что я стану с ними делать?"

Но он постарался убаюкать себя мыслию, что не следует поддаваться первому впечатлению, что надо наперед осмотреться, освоиться с новым делом, ознакомиться ближе с людьми, и тогда... тогда, смотря по обстоятельствам, либо самому стать головой и принять все дело в свои руки, либо идти за другими, если только в этом будет хоть какой-нибудь серьезный смысл и польза. "А если ни того, ни другого?" все-таки вставал в голове назойливый скептический вопрос. Но могучим и всепокоряющим ответом на него являлся образ Цезарины и яркое, живое, обстоятельное воспоминание о вчерашнем свидании с нею в темном саду, о ее обещании, о слове, взятом ею... И тут уже в горячей голове Хвалынцева все рассудочные соображения, все сомнения разлетались как дым, тут же в его душе возникал целый рой блестящих радужных надежд, порождаемых слепою страстью, центром которых была она — Цезарина, и все чувство, все помыслы стремились только к тому, чтобы добиться наконец ее полной любви, хотя бы в расплату пришлось отдать и честь, и голову.

XV. Варшавский отдел "Земли и Воли"

Вечером он снова приехал к Палянице и застал уже там двух-трех офицеров. Один из них, коротенький человечек, с одутловатым и лоснящимся от поту лицом, был однополчанином Паляницы. Лицо его, не выражая ровно ничего, служило вывеской полнейшего внутреннего ничтожества. Он вообще говорил мало, а больше все отдувался, немилосердно пыхтел папироской и налегал преимущественно на бутылки стоявшего пред ним пива. Это был поручик Евгений Добровольский, выдававший себя, смотря по обстоятельствам, то за поляка, то за малоросса, хотя в акценте его явно сказывалось никак не малорусское, а чисто польское происхождение. Другой офицер, капитан Велерт, в расстегнутом сюртуке, с ученым кантом, то и дело прнмммал изломанно-небрежные позы, закидывался в кресло, задирал ногу на ногу и все это ломанье поминутно сопровождал зевотой и какой-то кислой, брюзгливой миной, которая не сходила с его болезненно-бледного, желчного и апатично-утомленного лица. Эта мина силилась изобразить презрение к кому-то и чему-то, дескать: все мне надоело, потому что все на свете, кроме меня, дураки ужасные, пошляки непроходимые, один я только и умен, и учен, и честен. Он, очевидно, играл здесь роль оракула и, обладая способностью без умолку трещать с авторитетной наглостию о чем угодно и сколько угодно, сыпля при этом именами и мудрыми словечками, приковывал к себе подобострастное внимание остальных членов кружка. Третий собеседник — саперный прапорщик Нарцис Кошкадамов, походил более на семинариста в военном платье, чем на действительного офицера. На его небритом лице более всего кидались в глаза выдающиеся скулы и острый подбородок. Выражения глаз нельзя было видеть, потому что взгляд их прикрывался синими стеклами очков. Он то и дело пощипывал у себя волосики жиденьких усиков и все старался придать своей улыбке проницающую язвительность. Говорил мало, безусловно соглашаясь во всем с капитаном Велертом и, видимо, раболепствуя как верный сеид пред его особой. Можно было сразу же заметить, что Велерт — идеал для Нарциса Кошкадамова, что Нарцис смотрит его глазами, мыслит его умом, чувствует его сердцем и неудачно стремится во всем подражать брюзгливому капитану. Его жидкие и масляные волосы каштанового цвета вились в мелкие колечки и были неопрятно и неприлично длинны, вследствие чего узенький воротник его сюртука был сильно залоснен, несмотря на то, что голова Нарциса сидела на длинной и как бы гусиной шее. Эта голова то и дело

упражнялась в гимнастике поддакивающих кивков, чуть только капитан Велерт раскрывал рот, чтобы изрещи какую-нибудь "великую истину". Во всем его складе, в покрое сюртука и во всей неопрятной наружности сказывался тот неприличный «шик», которым по преимуществу любят отличаться писаря, фельдшера и инженерные кондукторы семинарско-нигилистического пошиба.

Нельзя сказать, чтобы вся эта компания произвела на Хвалынцева впечатление благоприятного свойства; к капитану же Велерту он с первой минуты почувствовал какую-то безотчетную антипатию, нечто отталкивающее. В особенности это претенциозное ломанье и эта кисло-брюзгливая улыбка больно уж стали ему противны.

Хотя Хвалынцеву и не выказали сухости или недоверия, но встретили его совершенно равнодушно. Он застал все общество за чтением. Паляница, в своем quasi-малорусском костюме, сидел на диване, поджав под себя ноги, и вслух читал своим гостям листок Герценовского «Колокола», несколько нумеров которого было разбросано на столе.

— Свеженькие получили! Садитесь и слушайте! — пригласил он Хвалынцева, отрекомендовав его предварительно по чину и фамилии всем собеседникам. — Господа! внимание! — прибавил он вслед за тем, возвысив голос. — Ответ на известное вам письмо… Слушайте!

И начал читать:

"Мы получили на днях письмо из Польши от одного русского офицера, писанное от имени нескольких товарищей его. Много тяжелых минут, много устали и горя стирают такие строки. Если больше будет таких офицеров, они легко очистят русское оружие от ржавчины, которой его покрыла запекшаяся на нем польская и и крестьянская кровь. Вот что он пишет между прочим: "Едва поляки заметили наши слабые усилия сблизиться с ними и смыть позорное пятно, лежащее на нас, как братски подали нам руку; им обязаны мы тем, что получаем «Колокол», им, что можем переслать это письмо. К сожалению, они имеют много прав не доверять нам, потому что офицеры часто принимают на себя роль шпионов… (Следует небольшой перечень шпионствующих офицеров, состоящих при варшавском ордонанс-гаузе.) Мы просим корреспондента еще раз проверить имена, и тогда мы охотно их отпечатаем, в поощрение другим".

— Надо проверить, — заметил кислый Велерт.

— Непременно надо! непременно! — тотчас же подхватил сеидствующий Кошкадамов.

— Да уж не бойтесь: верно! И проверять нечего! — порешил Паляница. — Надо написать, чтобы поскорее пропечатал, не сомневаясь.

— А у вас в списке есть такой-то? (Кошкадамов назвал фамилию одного плац-адъютанта).

— Нет, этого не поместили.

— Почему так?

— Мм… да о нем не слыхать ничего такого.

— Это ровно ничего не значит, а он все-таки свинья! Представьте себе, как-то раз в театре подходит ко мне и вдруг делает замечание, что у меня волосы чересчур длинны, что комендант заметил-де и послал его напомнить мне о парикмахере. Каково-с!?

— Ну, это не есть доказательство шпионства, — решился скромно заметить Хвалынцев.

— Как кому-с! — фертом повернулся к нему прапорщик, не совсем-то довольный мнением Константина. — А по-моему уже один этот оранжевый воротник есть патент на шпионство! И притом, господа, надо было слышать тон, которым он позволил себе передавать замечание… Знаете, эдакая сухая полицейская вежливость… Я, конечно, промолчал, потому что не стоит же черт знает с кем затевать историю и подвергаться неприятностям, но тем не менее этого господина непременно следует внести в список и пропечатать! Непременно!

— Ну, ну, не горячись! внесу, внесу, будь покоен, — ублажил Нарциса Паляница.

— Мое мнение, вовсе не следует имена печатать, — заметил коротыш Добровольский, пружась и созерцая свой стакан пива, — бо этим мы для них только одолженье сделаем, потому что начальство за это их же скорейше на повышение и к награде представит.

— Совершенно основательно! — согласился Велерт.

Физиономия Нарциса вытянулась в недовольную мину, а шея, кажись, стала еще длиннее, но, как верный сеид, он не посмел ни единым словом поперечить своему повелителю и, с прискорбием в душе, должен был отказаться от сладкой надежды насолить посредством «Колокола» лично для него неприятному офицеру.

— И то правда! Значит, написать, чтобы не печатал вовсе, — порешил Паляница и снова взялся за "Колокол".

"…Мы думаем, что с нашей стороны необходима искупительная жертва", продолжал он чтение. "Мы готовы на нее, и только ждем случая принести ее с возможно большей пользой".

— А теперь, господа, слушайте слова самого Герцена! — и Паляница не без торжественности и даже с декламацией прочел возвышенным голосом следующее:

"…С этим сознанием прошлого греха, с этой готовностью пасть жертвой искупления, с этим смирением, можно наделать чудеса! Вашу руку, будущие герои, будущие мученики, будущие воины русского земства!".[165]

— Ура!! — егозливо сорвался с места Кошкадамов, желая изобразить «неподдельный» восторг и увлечение.

— Вы понимаете… как много значит… это слово, господа! — растроганным и взволнованным голосом заговорил Паляница. — Да!.. это слово… ведь это… это благословение, господа!.. Шутка сказать!.. Герцен… и вдруг такое приветствие… Этим гордиться надо, господа!..

— Ничего себе, статейка бойкая! — процедил сквозь зубы Велерт, небрежно покачиваясь на кресле.

— Нет! не говорите так! Не кощунствуйте! — возопил на него Паляница даже с каким-то глухим завываньем в голосе. — Вера нужна, господа!.. вера и увлечение!

— Да что он вам дался? Папа римский, что ли?!

— Да! папа!.. больше, чем папа! — Монарх русской революции! Бог! вот кто!.. Я только и свет узнал, как его увидел! Прозрел!.. А без него что я? Прохвост был и только! Я душу за него отдам! — стукнул себя в грудь кулаком Паляница, — и при мне… никому не позволю… никому!

Никто не смеет!.. Да!

— Послушайте, поручик, — лениво заговорил Велерт. — Вы, как известный матрос, умираете за генерала Джаксона. Я Герцена уважаю не менее вас, но мне кажется, что вера и решимость на дело должны составлять продукт нашего собственного мышления и чувства; мы ближе видим, ближе чувствуем и понимаем дело, чем он "с того берега", и нам вовсе не нужно никаких санкционирований; мы и без них пойдем себе сами! А вы его рядите в роль какого-то банщика и хотите, чтоб он вам поддавал пару веры и увлечения.

— Велерт!.. Молчите! — завопил побледневший Паляница, нервно потрясая опущенными кулаками. — Молчите, капитан!.. Я хорошо понимаю вас... У вас везде только свое «я» на первом плане... Вы слишком самолюбивы... Вам кажется, что правительство не достаточно вас оценило... поэтому вы и злы на правительство... только поэтому!.. Поэтому вы и с нами... Вы рассчитываете, что здесь скорее добудете известность и славу... Вот почему вы тут, а не по призванию!

Слова Паляницы, по-видимому, попали в самую чувствительную жилку. Велерт закусил губу и встал с видом оскорбленного человека, который на дерзость платит презрением, взял свою кепи и удалился, отдав общий поклон, но не протянув руки хозяину.

Заметавшийся Нарцис Кошкадамов поспешил за своим идолом.

— И лучше!.. Провалитесь к черту! — буркнул вослед им Паляница. — Вот так-то и все у нас! Чуть сойдемся, и поругаемся!.. Никакого единства! — обретясь к Хвалынцеву, промолви; он как бы в назидание. — А впрочем, черт с ними!.. Кума с возу — куму легче!

— Теперь они свой особливый «Отдел» зачнут основывать, — насмешливо заметил Добровольский.

— Ну и пусть!.. Надо будет писнуть к Герцену... Ошельмуем так, что никто веры не даст... Пусть тогда основываются!

— Это хорошо! — согласился коротыш. — Але ж когда писать, то надо как на*и*скорейш, а то они и сами могут написать, и предупредить могут.

— Не боюсь! — с созианием собственного достоинства заявил Паляница. — Не боюсь!.. *Он* знает кто я, и мне больше поверят... можно сообщить в форме протокола... я за печатью.

Этой быстро разыгравшейся сцены и последующего разговора было совершенно достаточно, чтобы Хвалынцев понял, что тут, в этом крохотном кружке, в этом громком "Отделе Земли и Воли", царствует полнейшая разладица и мелкая интрига, основанная на личных болезненных самолюбиях. Он однако имел терпенье досидеть до конца вечера, в расчете, что не все же будут одни только чтения да разговоры, что коснется же наконец Паляница и самой сути их «общего» дела, но увы! ожидание это было вовсе неосновательно. Поручик, поуспокоившись, снова принялся за «Колокол» и громко прочел весь нумер от доски до доски. Добровольский, ни разу не привстав с места, все время слушал его с истинно воловьим терпением, тупо погрузив свой взгляд в донце пивного стакана. Хвалынцеву стало наконец скучно, так что он исподтишка раза два скромно зевнул себе в руку. Но это не укрылось от зоркого Паляницы. Приостановив на минуту свое чтение, он заметил ему дружески внушительным тоном:

— Нет, однако, вы слушайте, а не зевайте!.. Вы слушайте, говорю, потому что... здесь каждое слово — откровение... каждая строка — Евангелие!

Но наконец была дочитана и последняя строка последнего нумера, возвещавшая, что следующий лист «Колокола» выйдет такого-то числа, и Паляница бережно сложил и спрятал листок с таким вздохом, как будто ему сердечно и глубоко жаль, что нет у него еще, еще и еще бесконечного продолжения этой "духовной пищи".

Разговор шел довольно вяло, потому что Паляница был вообще не мастер на краснобайство, а Добровольский и тем более: он по большей части отделывался односложными словами, редко выдавливая из себя две-три какие-нибудь недлинные фразы, и только все отдувался да обтирал потный лоб над своим пивом. Паляница снял со стены общипанный торбан.

— Давайте я вам "писню чи то думку заспиваю!", — сказал он.

И усевшись в свою любимую позу — «по-турецки» или «по-запорожски», поджав под себя ноги и подстроив инструмент, он задумчиво забренчал по далеко неполным струнам.

"Мовчит море, мовчат горы,
Могилы сумуют,
А над дитьми казацькими
Москали панують!"

чувствительно пел или, лучше сказать, ныл Паляница своим глухим баритоном, воображая себя в эту минуту запорожским казаком или бандуристом. Хвалынцев в душе должен был сознаться, что это «нытье» вовсе не усладительно и далеко не мелодично.

— Вы малоросс? — спросил он, когда Паляница кончил.

— Я? Эге! С пит самого Пирятина! — похвалился поручик, заговорив вдруг малороссийским жаргоном. — Батьки уси пильтавськи та черныговськи!.. А ось мои боги! — указал он на портреты Сковороды и Шевченка.

— И, как кажется, вы большой патриот малорусский? — спросил Константин Семенович.

— Я?.. Хиба ж вы не бачите?!.. Плоть од плоти и кость од кости!.. И костюма дома иного не ношу, как только «оцэй-ось»... А что я вам покажу еще! — сорвался он вдруг с места, с необычайно довольной улыбкой, и бросился к платяному шкапу. Очевидно, Паляница попал на самого любимого своего конька, и потому весь претворился как-то из сурового буркающего заговорщика в наивно благодушного, расплывчатого хохла. Он вытащил из шкапа сермяжную свитку с каптуром и широкие чумские шаровары, насквозь пропитанные дегтем.

— Ось вам! дывитесь бо! — торжественно возгласил он, распяливая пред Хвалынцевым эти чумацкие доспехи и объясняя, что сам добыл их под Чигирином у чумака! Як пахнуть!.. а?!.. Понюхайтэ!

И поднеся к своему носу шаровары, он с истинным наслаждением потянул в себя их дегтярное благовоние. Хвалынцев не мог удержаться от невольной улыбки. Паляница заметил и обиделся.

— Вы улыбаетесь... Напрасно!.. Улыбаться нечему! — заговорил он, косясь и морщась и притом сразу взяв свой обыкновенный буркающий тон. — Смеяться вообще легко-с... да!.. к сожалению, очень легко-с... Но надо наперед почувствовать... проникнуться... Для иного это — штаны и только, а для иного — святыня... потому что это народное... это народ... это труженик носит... это запах пота и крови труженика!.. Да-с!.. А смеяться можно над чем угодно... Смехом нас не удивишь!..

И он бережно запер в шкап свои чумацкие «святыни». Хвалынцев из вежливости начал было, впрочем довольно умеренно, заверять его, что он, Паляница, ошибается, принимая его улыбку в такую сторону.

— Так чему же вы улыбнулись... позвольте допытаться!? — покосился на него поручик. — Согласитесь, это довольно глупо.

Хвалынцеву стало наконец досадно.

— Да хотя бы тому, что нахожу в вас громадное противоречие с самим собою! — решился он высказаться напрямик. — Вы, извините за откровенность, называете себя малорусским патриотом, и в то же время за поляков горой стоите, всем войском помогать им собираетесь... Как это в вас одно с другим совмещается?

— А что ж такое?

— Да вспомните немножко историю вашей родины, коли вы ее знаете!

— Помню и знаю-с!.. Так что же?

— А то, что будь жив хотя бы Тарас Шевченко, не говоря уже о Гонтах и Железняках, так ведь он, поди-ка, не благословил бы вас на такое дело.

Паляница понуро задумался.

— Хм! — сказал он наконец. — Вы, может полагаете, что Тарас назвал бы меня "нэ дорoбленым"?.. была у покойника привычка такая... любил это словцо!.. Хм... Так что ли?

— Пожалуй, вы и не ошибаетесь, — согласился Хвалынцев.

— Да-с... Я не ошибаюсь!.. Но вы ошибаетесь!.. Я вам объясню... Поляк с малороссом, положим, злые враги... Но у меня и у поляка есть общий злейший враг — правительство!.. Я помогу поляку свалить прежде всего этого общего врага... а уж потом... там мы сами промеж себя разберемся... И Герцен говорил мне то же, когда я в Лондоне был... Это идея... Да-с!.. И выходит все ж таки, что смеяться нечему!

"Кадет!.. Непроходимый кадет!.. И обломина-то какая!" мысленно повторял Хвалынцев, уходя от поручика Паляницы.

XVI. Политика и жизнь накануне взрыва

Меж тем, пока Хвалынцев, поглощенный своею страстью к Цезарине, жил исключительно в мире своего внутреннего чувства, своей борьбы и страданий, события мира политического и жизни общественной шли своим чередом и близились к роковой и грозной развязке. Тайный комитет святой справы польской, готовясь к открытому восстанию с оружием в руках, спешил заручиться сочувствием европейской прессы. Чарторыйские и Замойский не жалели денег на подкупы журналистов. Герцену не платили денег, но зато Герцен был поддет на самолюбие и куплен обманом: партия магнатов, через некоторых своих агентов, притворявшихся красными демократами, успела убедить его, что будто бы Центральный Комитет до такой степени преисполнен благоговения к его доктринам, что объявил своим принципом "право крестьян на землю" и "право всякого народа располагать своей судьбой". По этому поводу было даже подтасовано письмо к нему в Лондон. Герцен поспешил объявить, что это письмо "отмечает новую эпоху в великой эпопее польской борьбы за независимость", потому что начала

восстания так широки-де, так современны и так ясно высказаны, что мы-де "не сомневаемся в глубоком деятельном сочувствии, которое возбудят ваши слова во всех русских", а потому-де "с радостью передали ваши слова нашим соотечественникам, и благодаря вас от всего сердца за то, что вы избрали нас посредниками вашего сближения с русскими, мы не можем ничем достойнее отвечать вам, как печатая письмо к русским офицерам, стоящим в Польше". Это письмо издателей «Колокола», начинавшееся словами: "Друзья и Братья!" всемерно старалось убедить русских офицеров, что поддерживать правительство им невозможно, "не совершив сознательно преступления или не унизившись до степени бессознательных палачей", что "время слепого повиновения миновало" и что "дисциплина не обязательна там, где она зовет на злодейство". — "Не верьте этой религии рабства (т. е. дисциплине)", восклицали издатели «Колокола»; "на ней основаны величайшие бедствия народов! Не подымать орудия против поляков заставляет вас совесть, уважение к правоте их дела, к достоинству человека и наконец уважение к нашему русскому земскому делу". Они "с чистой совестью, со страхом истины", советовали им "идти под суд, в арестантские роты, быть расстрелянными, быть поднятыми на штыки, но не подымать оружия против поляков"; они учили, каким образом следует организовать в полках тайные кружки с целью заговора и революции, как "делать пропаганду" между солдатами и уверяли, что ежели офицеры бросятся с русскими и польскими солдатами в Литву и Малороссию, то им откликнутся "Волга и Днепр, Дон и Урал"![166]

Герцен в этом случае, по отзывам самих же поляков, играл в их руках "роль лимона, из которого следует выжать последние капли соку, для того чтобы потом выбросить его за окно" — и Герцен, ничтоже сумняшеся, действительно разыграл роль выжатого лимона. Но в то время слово его значило еще много. Между тем, Центральный Комитет в Варшаве, еще гораздо ранее Герценовского послания к "друзьям и братьям", т. е. со времени объявления военного положения, уже сам по себе стал заботиться, чтобы приобрести сочувствие войск, расположенных в крае, для чего и начал распространять между войсками возмутительные прокламации на русском языке, обращенные непосредственно к солдатам. Но все эти попытки оказались тщетными: с одной стороны, солдат оставался неколебимо верен своему долгу, а с другой — ненависть и раздражение шляхты и мещан, фанатизированных ксендзами, были до такой степени велики, что их уже не могли сдержать никакие советы, увещания и предписания Центрального Комитета: при каждом мало-мальски удобном случае, где можно было рассчитывать на безнаказанность, солдаты и офицеры постоянно подвергались оскорблениям. А этих случаев, несмотря на военное положение, было-таки достаточно много... Весь результат, какого успели добиться в этом отношении члены Центрального Комитета, заключался в том лишь, что несколько офицеров, между которыми на две трети были поляки, увлеклись их комитетской и Герценовской пропагандой и поплатились за это жестоко. Поручики: Иван Арнгольд, Василий Каплинский, Станислав Абрамович, подпоручик Петр Сливицкий, унтер-офицер Франц Ростковский и рядовой Леон Щур сделались жертвами этой пропаганды. Арнгольд, Сливицкий и Ростковский оказались виновными в распространении между своими подчиненными возмутительных сочинений и вредных идей, имевших целью колебать в них дух верности, и в возбуждении нижних чинов к явному неповиновению начальству и к открытому бунту. За эти преступления Арнгольд, Сливицкий и Ростковский, 16-го июня 1862 года, по конфирмации графа Лидерса, были расстреляны во рву Новогеоргиевской крепости, а остальные сосланы на каторгу или подвержены срочному заключению в казематах. Герцен по поводу их смерти разразился следующей иеремиадой:

"16-го июня 1862 г. совершилось великое преступление... Черный день этот будет памятен и вам, поляки, за которых умерли три русских (?) мученика, и их товарищам, которым они завещали великий пример, и нам всем, которым они указали — не только, как это правительство, наделенное прогрессом, легко убивает, но как проснувшиеся к сознанию офицеры наши геройски умирают!"[167]

"Колокол", не взирая на обличающую явность имен и фамилий, силился убедить, что преступники как эти, так и другие "все *русские*", а потому-де "всех перестрелять неловко", и с замечательной наивностью возвещал, что "жертва эта была необходима", так как "она произвела наилучшее впечатление на поляков и войско".[168] В повонзковском лагере, под Варшавой, была устроена ничтожная демонстрация. Поляк-офицер, поручик Готский-Данилович, в сообществе с поручиками Зейном и Огородниковым, обманным образом успели склонить священника, чтобы тот отслужил им панихиду по рабам Божиим Иоанне, Петре и Феодоре, и это, само по себе мизерное обстоятельство дало «Колоколу» повод пышно благовестить "о наилучшем впечатлении на войско"!

В отмщение за казнь трех преступников, Центральный Комитет постановил казнить несколько русских и решил начать с исправляющего должность наместника Царства, графа Лидерса, в качестве лица, конфирмовавшего смертный приговор. В Саксонском саду есть особое отделение, где устроен ресторан и заведение минеральных вод. Летом, с шести часов утра, там уже пилит на скрипицах плохенький оркестрик, прогуливаются варшавянки, как павы, в полном туалете, фланируют некоторые «элеганты», делают свой моцион разные дряхлые «эмериты», пьющие воды, и сидят за особыми столиками целые семейства со чады и домочадцы, являющиеся сюда пить «млеко» и утреннюю "каву зо сметанкей". В лето 1862 года, тут же можно было встречать и генерал-адъютанта Лидерса, который тоже пользовался минеральными водами. 15-го (27-го) июня, в 7 1/2 часов утра, неизвестный человек подошел к графу сзади и почти в упор направил в него дуло пистолета. Раздался выстрел, прожегший воротник пальто. Граф был ранен. Убийца хладнокровно продул пистолет, положил его в карман и, посреди гуляющей публики, преспокойно, неторопливым шагом, вышел из сада чрез «цукерню» на Граничную улицу. И между всей этой публикой не нашлось человека, который бросился бы за убийцей: никто не решался или не желал преследовать, не исключая даже и полицейских агентов. Таким образом убийца остался неоткрытым, а «Колокол», возвещая об этом происшествии, заявлял, что несмотря на полное его равнодушие к тому, жив ли Лидерс или нет, "все-таки досадно, что его подняли до выстрела и реабилитировали до раны", и распространял уверения, будто в Варшаве общественное мнение и даже сама полиция приписывают выстрел русскому, но никак не поляку.[169] «Колоколу» не хотелось, чтобы в глазах Европы пятно первого убийства пало на негодяя польской национальности.

Еще до этого выстрела, а именно в конце мая месяца, по Варшаве пошли слухи, что в Царство назначается новый наместник. Слухи эти не замедлили оправдаться на деле. 29-го мая (10-го июня) граф Лидерс, при открытии заседаний Государственного Совета, объявил, что он получил от Государя Императора телеграмму, которая извещает о назначении великого князя Константина Николаевича наместником Царства, а маркиза Велепольского начальником гражданского управления.

Торжество этого магната после недавнего падения было теперь несомненное, и ввиду такого торжества, все партии замолкли против него на некоторое время: дескать "наша взяла! Поглядим, что будет далее!" Перемену в главном управлении Края все приписывали исключительно влиянию маркиза, и он сам не только не отрицал, но даже положительно заявил о том при первом удобном случае.

Маркиз Велепольский приехал в Варшаву за две с половиной недели до прибытия великого князя, уже в роли главного начальника по гражданскому управлению, то есть в роли «премьера», как называли тогда в Варшаве, и на другой же день, 5-го (17-го) июня, при приеме представителей всех подведомственных ему мест и учреждений, обратился к ним с речью, из которой все ясно увидели, что политическая программа его заключается в автономии, строго ограниченной пределами Царства. Эти пределы удовлетворили весьма немногих; большинство

же и слышать не хотело о какой-нибудь «Конгрессувке»: "подавай всю Польшу", в пределах, по крайней мере, 1772 года — Польшу "вольную и неподлеглую", с сеймом, армией и «флётой». Красная партия решила "заявить *неудовольствие* нации ввиду нового порядка" — убийством великого князя. Некто Игнатий Хмеленский, сын польского помещика, со своим подручным, портняжным подмастерьем Радовичем, подыскали "нужного человека", тоже портняжного подмастерья, двадцатидвухлетнего парня Людвига Ярошинского, который взялся выполнить убийство.

На другой же день по прибытии великого князя злодеи с утра следили за ним в то время, когда он был в православном соборе, но не дождавшись его выхода оттуда, отправились к фаре, где нашли, что им точно так же будет не безопасно совершить свое намерение, которое однако же Ярошинский успел выполнить в тот же день вечером, при выходе великого князя из театра. К счастью, как известно, пуля причинила только легкую рану. Ярошинский был схвачен на месте. Сообщник же его, какой-то молодой человек, имя которого Ярошинскому не было известно, успел скрыться. Радовичу с Хмеленским тоже удалось бежать за границу.

Маркиз Велепольский, по поводу этого преступного покушения, выступил в заседании Государственного Совета с пышной речью (вообще, маркиз очень любил произносить "руководящие речи"), где заявлял о скорби и негодовании, проникнувших народ польский, когда "после светлых дней, ночь из скрытой пещеры своей изринула это новое покушение, исполнившее весь Край ужаса". Но увы! — заявление о скорби и негодовании поляков как нельзя более расходилось с истиной. Все очевидцы и беспристрастные свидетели того времени очень живо еще помнят, что чувства эти выразились только в русском варшавском кружке, да в русском военном сословии; у поляков же выразилась одна только *сконфуженность,* которою руководили страх и опасение, что теперь-то вот вероятно будут приняты против них самые крупные и крутые меры. Но как скоро они увидели, что никаких крутых мер не предпринимается, то сконфуженность и страх тотчас же уступили место прежнему нахальству и удвоенной наглости. Ярошинский, судившийся гласным судом при польском защитнике, был приговорен к повешению, и это общество, питавшее, по уверениям маркиза, такое сильное негодование к убийствам, не затруднилось тотчас же признать в Ярошинском святого мученика, покланяться трупу его на виселице и даже открыть особое небесное знамение, по поводу его смерти. Во время его казни случилось весьма обыкновенное при летних жарах явление туманного кольца вокруг солнца. Это тотчас же было разъяснено как чрезвычайное небесное знамение, в виде благословения свыше, ниспосланное мученику. Труп оставался на виселице до вечера, и во все это время толпы варшавских обывателей, множество лиц высшего класса и в особенности множество дам в глубоком трауре приходили воздать «мученику» последний долг патриотического благоговения и, стоя на коленях, молились ему, как святому. Гицеля по червонцу и даже более продавали потом кусочки веревки, на которой он был повешен, и модные патриотки оправляли эти кусочки в золото, и как «реликвии» вставляли к себе в медальоны, в крестики, в брошки, браслеты и кольца. А некий ловкий портной из евреев сделал даже очень выгодный «гешефт», в течение целого месяца все продавая по секрету сюртук Ярошинского, и таким образом напродавал этих сюртуков значительное количество и на очень солидную сумму. Наконец, 28-го августа во всех варшавских костелах открыто была отправлена панихида, "за душу нового мученика свободы Людвига Ярошинского", как извещало о том объявление, которое заблаговременно в изобилии разбрасывалось на улицах.

Маркиз — надо отдать ему справедливость — очень энергически принялся за дела управления и за свои реформы, стараясь развить как можно шире основы польской автономии. Он ускорил введение на выборном начале губернских уездных и городских советов и открытие их действий. Для этой-то будто бы цели, под предлогом, что военное положение, на котором находился Край, препятствует скорейшему введению в жизнь новых институций, маркиз Велепольский

настоял на снятии этого военного положения почти со всей территории Царства, за исключением лишь десяти городов, наиболее резко проявлявших в себе революционную смуту. Но главнейшим образом принялся маркиз «очищать» Край "от лишнего сора". Это «очищение» заключалось в немедленном и быстром замещении всех должностей, как высшей, так и низшей администрации, исключительно поляками. С этой целью он удалил от должностей и из службы не только всех русских чиновников, но даже и тех из поляков, которые в общественном мнении не пользовались репутацией хороших и вполне надежных патриотов.

Между тем русское правительство, все еще не теряя надежды на успокоение Края мирным путем, не охладело в своих уступчивых намерениях даже и после применения системы революционных убийств и террора, которые, по плану заговорщиков, должны были «упростить» и «ускорить» дело восстановления Польши. В это время появилось первое воззвание великого князя наместника к полякам, которое тоном своей глубокой и доброжелательной искренности наверное сделало бы самое светлое, отрадное и миротворное впечатление на всякое другое общество; но для общества польского оно осталось вполне бесплодным. Великий князь между прочим исчислял в этом воззвании все реформы, уже утвержденные Высочайшею властью, и удовлетворение действительных потребностей Края, как-то: учреждение Государственного Совета, организация университета и училищ, очиншевание крестьян, эмансипация евреев, учреждение выборных земских советов, преобразование администрации и проч.

И что же? — Первым ответом на воззвание великого князя со стороны не «красных», а самых «умеренных» и «белых» патриотов была дерзкая выходка, которая заключалась в том, что эти господа подали графу Андрею Замойскому адрес, где они гордо заявляли, что, как поляки, они тогда только станут с доверием подкреплять правительство, "когда это правительство будет *нашим польским,* когда, при свободных институциях, будут *соединены все области,* составляющие нашу отчизну", и в заключение удостоверяли, что они не умеют "делить любви к отечеству" и любят *всю* свою отчизну, "в тех пределах, которые начертаны ей Богом и завещаны народными преданиями".

Следствием этой выходки была высылка графа Замойского в Петербург, где ему и предложено выехать за границу. Но падение популярного Замойского, как сильного соперника непопулярного маркиза Велепольского, уже окончательно раздражило и озлобило против последнего все польское общество, которое в ослепленной злобе своей не понимало сокровенного смысла и истинного значения всех его действий и мероприятий... Не вполне еще понимали его в то время и русские. Между тем, события быстро шли вперед. Реформы Велепольского не удовлетворили никого. Умеренные решили, что надо возможно шире пользоваться даруемыми льготами, чтобы посредством их принести как можно более пользы польскому делу и как можно более вреда причинить России. Красные же шли напролом и, в конце концов, посредством террора, тиранически подчинили своей невидимой силе общественную волю. Против самого Велепольского было сделано два покушения. Подметные письма ежедневно грозили ему, но маркиз обезопасил себя тем, что на улицах показывался не иначе как в глухой железной карете, окруженной десятком жандармов, которые с грохотом и пылью во всю прыть эскортировали его во время проездов.

Подземная революционная организация не только не ослабела, но росла и крепла. В начале октября она дополнена учреждением "народного революционного союза", задача которого заключалась в прямом вооруженном восстании не против местной администрации, но против России, против русского Царя и русского народа, с целью восстановления Польши во всех тех ее пределах, которыми исторически она когда-либо владела. Во главе этого союза стоял, помимо "ржонда народоваго", еще "комитет народовы революцыйны", под председательством Мерославского, причем однако "ржонд народовы" оставался в полной своей силе. Интриги,

происки, подкопы и козни между тем и другим учреждением не замедлили обнаружиться с первого же дня их существования. Подпольные газеты: «Рух», "Стражница" и другие, тотчас же опубликовали "Устав народного революционного союза", "Устав народного революционного комитета" и "Инструкции для уездных комитетов", а "Центральный Народный Комитет", или так называемый "ржонд народовы", в свою очередь опубликовал в тех же газетах свое постановление, в силу которого "каждый гражданин, любящий отчизну и желающий восстановить ее самостоятельность", должен был уплатить единовременно «надзвычайную» народную подать, основою которой служил капитал каждого из граждан, считая в полпроцента от ста с недвижимых имуществ и капиталов. Срок уплаты этой подати назначался к 10-му ноября 1862 года. В Польше находится весьма значительное число иностранных колонистов, ремесленников, фабрикантов и заводчиков, из которых очень и очень многие живут там, не принимая русского подданства. Все эти лица, а также большинство евреев и крестьян, уже много раз обираемые и до этого времени ксендзами и разными пройдохами, чувствуя всю тягость последней «надзвычайной» подати, отказались было платить ее. Тогда "ржонд народовый" пустил в дело поджоги. Города и села запылали по целому Краю; пожары охватили Литву, Белоруссию, Украину, Волынь, Подолию, Познань и Галицию. Впоследствии раскрылось самым положительным образом, что первыми жертвами пламени делались исключительно неисправные плательщики "податка надзвычайнего", а от них уже огонь сам собою переходил и на жилища исправных и добрых «обывацелей». Но замечательно вот что: террористы до такой степени успели на все пылавшие края и области нагнать панический страх, что, несмотря на единоличные появления многих сборщиков, несмотря на явные их угрозы "спалить все дотла за отказ в платеже" — не было ни единого примера, чтобы хоть кто-нибудь из недовольных обывателей решился задержать и представить законным властям подобного сборщика! Огонь подействовал живо: обыватели, волей-неволей, спешили вносить требуемую подать.

Но эта мера была еще из числа «снисходительных». Таковою охарактеризовали ее сами же поляки. Со 2-го ноября стала применяться уже мера иного свойства: по всему Краю пошли ежедневно совершаться политические убийства, по приговору "тайного трибунала", а часто и вовсе без всякого приговора. Решено было убивать всех вообще «несочувствующих», всех "сомнительных патриотов и чиновников правительства, почему-либо признанных вредными для народного дела", и приговоры им объявлять печатно в подземных газетах, где однако приговоры эти, для пущей верности, печатались уже по исполнении убийства. Таким образом, между прочим, в Варшаве, средь белого дня, был заколот кинжалами чиновник Фелькнер. Убийство это совершилось в пятом часу дня, а главный убийца еще в семь часов вечера свободно разгуливал по всему городу в окровавленной белой чамарке, и когда его спрашивали что значит эта кровь, то он с самохвальством и преспокойно отвечал всем и каждому, что заколол свинью и вследствие этого одним-де скверным человеком стало меньше на свете. Полицейские видели его окровавленную чамарку, встречали, его на многих пунктах города, но схватить убийцу ни один из этих "добрых польских полициантов" не хотел или не решился.

В Варшаве было жутко. Так, по крайней мере, чувствовали себя в ней русские люди. В ожидании взрыва, целые семейства русских сходились на ночь в чью-нибудь более надежную квартиру, обыкновенно к кому-нибудь из военных, имевших помещение в казармах, занятых войсками, и там кое-как проводили свои беспокойные ночи. Поляки сулили русским повторение знаменитой "варшавской заутрени" и грозились вырезать всех поголовно, не щадя ни старости, ни женщин, ни младенцев. Гимнов, кошачьих концертов или иных каких-либо демонстраций более не было: их считали уже не нужными, но в варшавском воздухе, более даже чем в самый разгар демонстративного периода, чувствовалась теперь гнетущая, роковая тяжесть, предвещавшая с минуты на минуту разражение грозы. Ремесленные заведения вконец уже опустели; по улицам, «бавариям» и «кнейпам» с утра и до ночи шаталась

бездельная молодежь низших слоев населения, небывалым образом сорила деньгами, появлявшимися в ее дырявых карманах Бог весть откуда, и бесшабашно предавалась необузданному разгулу: невидимые благодетели неусыпно старались как можно более и скорее развратить и споить ее с кругу. По городу ходили рассказы, что каждую ночь в катакомбы "Свентего Кржижа" и Капуцинского «кляштора» проводят чрез стародавние подземные ходы множество людей, по очередному призыву, и там ксендзы и монахи приводят их к присяге на верность «ржонду», снабжают оружием и благословляют особо избранных на тайные убийства. Молва несколько раз назначала уже день и час всеобщего взрыва.

А в то же время столбцы европейских газет наполнялись варшавскими статейками и корреспонденциями, в которых авторы, в расчете на увеличение пламенных европейских симпатий, иезуитски-униженным, сладеньким и притворно-святошеским тоном стонали и жаловались на варварское бессердечие «утеснителей», на изобилие новых и новых жертв угнетенной отчизны, на раны, язвы и страдания распятого народа и на все лады причитали: "мученики! мученики! несчастные, бедные, высоко-христианские, святые мученики!" Это стереотипное выражение повторялось чуть не в каждой строке, и не было того поляка, который при этом тотчас же не принял бы на себя физиономию Св. Бонифация.

XVII. Жертва всесожжения

Хвалынцеву хотелось, чтобы Цезарина знала, что он уже был у Паляницы и что таким образом воля ее исполнена. Это был впрочем только предлог, а в сущности ему просто хотелось, как влюбленному человеку, еще раз быть у нее, видеться с нею, снова услышать из ее уст слово надежды и ободрения, потому что он сильно нуждался в нем: проклятые сомнения и внутренний голос, так ясно назвавший ему поступок его подлостью, опять поднялись в душе. Ему нужно было или с твердостью порвать все сразу, или поскорее найти себе внутреннюю поддержку, которую только одна Цезарина и могла оказать ему. На первое у него не хватало твердости, потому что его сковывала несчастная страсть к этой женщине. Оставалось только второе: подле Цезарины, под обаянием ее ласки, ее взгляда, улыбки и голоса замирали все сомнения, засыпала совесть, и он чувствовал в себе наркотическую решимость очертя голову броситься в пропасть. Нужды нет, что страсть его остается не удовлетворенною, — у него все же есть пока животворящая надежда, что рано или поздно он возьмет свое, — но ему просто нужно было видеть Цезарину, хотя несколько минут "быть с нею", ощущать ее присутствие для того только, чтобы наркотизировать себя снова, чтобы заглушать в себе на некоторое время этот изобличающий, неугомонный внутренний голос. Он поехал к Цезарине, но неудачно выбрал время своего визита: поехал он днем — его не приняли. С досадой и смущением в душе решил он поневоле отложить свое посещение до вечера. Поехал вечером — опять не приняли. Хвалынцев все-таки настоял, чтобы человек еще раз доложил графине, что он имеет сообщить ей нечто весьма важное и потому просит назначить ему время приема. Ответ на это был таков, что "ясневельможна пани грабина" очень извиняется, что она подумает, известит, но теперь никак, ни под каким видом, принять пана не может. Пришлось отъехать ни с чем, и лишь одна досада и болезненное ощущение тоски снова подступили к сердцу Хвалынцева. На другой день он несколько раз подолгу прохаживался по аллее мимо ее окон, все поджидая не выйдет ли она на прогулку, не поедет ли в город или кататься. "Хоть бы одно мгновение взглянуть на нее! хоть бы мимолетным взором перемолвиться с нею!" Но увы! неудачные ли часы выбрал Константин для сторожевых прогулок, или же графиня целый день не выходила из дому, только он не видал ее и даже ее тени в окошке не удалось ему подметить.

Но он имел терпение и еще один день провести подобным же глупым образом, и все с таким же печальным результатом, так что даже "ревировый дозорца" заметил наконец его странное шатание все по одному и тому же определенному пространству Уяздовской аллеи и стал

следить за ним подозрительным взглядом.

На следующий день к нему совершенно неожиданно забежал Василий Свитка и с серьезным видом подал ему наглухо заклеенный конвертик.

— Был в костеле, — пояснил он, — и там просили меня передать.

— Письмо!.. От кого это? — взволнованно и как бы с некоторым предчувствием воскликнул Хвалынцев.

— Прочтите и отгадаете! — улыбнулся Свитка.

Константин вскрыл конверт, взглянул на почерк — рука незнакомая, подписи никакой, писано по-французски. Вот что прочел он:

"Я знаю, что вы были у П. Но это только еще начало, не более. Я жду продолжения. Не домогайтесь видеть меня. *Теперь* я нигде и ни в какую пору не могу принять вас, ни видеться с вами. На это — верьте мне — есть свои, очень серьезные и вполне уважительные причины... Не обвиняйте меня за это! Не ходите тоже мимо моих окон: это до известной степени может меня компрометировать: вспомните, теперь время какое... Да и к вам вовсе не идет роль мечтательного испанца, в то время, когда у вас на руках такое серьезное дело. Займитесь лучше им поприлежнее и простите тон моего замечания, который однако же внушен мне чувством истинной к вам дружбы. Верьте одному: я все тот же добрый друг ваш и твердо помню мое слово. Сдержите ли ваше?.. Письмо это уничтожьте немедленно".

Хвалынцев прочитал это письмо раз, другой, третий... Оно и уязвляло его слегка, и дарило ласковой надеждой. Эти строки писала ее рука, и их нужно уничтожить. Возможно ли! Ведь это *все,* что остается ему пока от Цезарины, которая Бог весть еще когда позволит видеться с собою. Он чувствовал, что уничтожить письмо у него не хватит ни силы, ни воли, потому что все сердце настойчиво просит сохранить эти строки, как святыню, как лучшую и единственную память о любимой женщине — и он спрятал его в свой боковой карман.

— Позвольте, — остановил его Свитка, — мне известно, что это письмо должно быть уничтожено тотчас же.

Хвалынцев не сказал ни слова, но хмуро вскинул на него вопросительный взгляд.

— Я не знаю и не имею права знать содержание письма, — продолжал Свитка, — но когда мне вручали его для передачи вам, то пояснили, что оно должно, быть истреблено тут же, в моем присутствии; поэтому, дорогой мой Константин Семенович, вот вам и свеча, и спички! Позвольте прислужиться: уж я заодно и зажгу ее!

— Что за недоверие! — в досадливом недоумении пожав плечами, воскликнул Хвалынцев.

— Отнюдь не недоверие! — предупредительно возразил ему Свитка. — К чему оно вам? "вещественный знак невещественных отношений", что ли? Вы забываете, что у каждого из нас в любую минуту может быть обыск... Ну, найдут, захватят у вас это письмо? Хорошо разве?! Женщина будет скромпрометирована, а главное запутана... Пойдут все эти неприятности, обыски, аресты, допросы — и все из-за пустого клочка бумажки!

Константин должен был сознаться себе, что в словах приятеля есть значительная доля правды, и потому с затаенною грустью достал письмо из кармана, с напряженным вниманием перечел его глазами еще и еще раз, словно бы желая, чтоб этот почерк, эти слова и строки потверже и

навсегда запечатлелись в памяти его сердца и, все-таки с тайной неохотой и сожалением, медленно поднес бумажку к зажженной свече. Через минуту от письма осталась только черная искоробленная пластинка легкого пепла.

Константин невольно вздохнул и задумался.

— Жертва всесожжения! — пошутил над ним приятель.

XVIII. Адрес и разрыв

Хвалынцев стал иногда захаживать к поручику Палянице. Сколь ни противен был ему в душе сам Паляница, на которого он принуждал себя смотреть снисходительно, как на полупомешанного чудака, сколь ни противна с первого же раза показалась и вся остальная компания, тем не менее он не прерывал с этим кружком своих отношений, единственно во имя Цезарины, во имя того, что на это была ее воля, ее непременное условие, поставленное ценою любви ее в будущем.

Но ни Велерт, ни Кошкадамов не бывали более у Паляницы с того самого вечера, как произошла между ними ссора из-за Герцена. Они отделились от «кружка», в котором теперь Хвалынцев ни разу не встретил никого, кроме неизменного Добровольского с пивом, да самого хозяина с его торбаном и модельками.

Как ни придет, бывало, Хвалынцев, непременно застанет Паляницу на одном из любимых его коньков: либо новую «радикальную» модельку сочиняет, либо на торбане брянчит.

"Когда же, наконец, настоящее-то серьезное дело у них начнется?" думает себе Хвалынцев. Но о «деле» идут только либеральные споры да разговоры, а самого «дела» все еще пока ни на. волос незаметно. Все только «Колокол» почитывается да изобретаются разные способы пропаганды в войсках и разные стратегические планы уничтожения России, всеобщего восстания и т. п., но ни способы, ни планы ни на йоту не прилагаются к действительности. "Неужели же и здесь все та же самая всероссийская говорильня, что в Москве и в Питере? Неужели ничего нового, серьезного, «заправского»? думается Хвалынцеву, и начинает ему сдаваться, что и точно ничего тут нет и не будет, кроме пустой болтовни. "Кто же кого, однако, тут надувает? И ради чего все эти пышные заголовки «отделов», все эти рекламы в «Колоколе», и что же наконец самый отдел-то составляет? Кто его члены и много ли их?"

Сколько раз ни пытался Хвалынцев задавать подобные вопросы Палянице, тот либо отмалчивался, глубокомысленно и загадочно устремляя куда-то в пространство свой неподвижный, тупой взгляд сонного окуня, либо же отделывался короткими фразами, вроде: "погодите!" «узнаете» "будет время; теперь не время еще".

— Да когда ж оно придет, это время-то ваше!.. Поглядите, у поляков все кипит ведь!

— Ну, и пусть их!.. У нас свои задачи…

— Какие?

— Ну, там… узнаете потом…

— Когда же?

— Когда время будет… Придет время, тогда все пойдем… вместе… Тогда узнаете…

— Да вы-то сами знаете хоть что-нибудь?

— Я знаю.

— Извините, сомневаюсь!

— Сомневайтесь, пожалуй... Во всяком случае, это не *ваше* дело, а мое... Я руководитель, я глава отдела — мне и знать!

На этом обыкновенно и прекращались все разговоры о деле.

Хвалынцев самым искренним образом все более и более утверждался в убеждении, что весь этот пресловутый "Отдел Земли и Воли" есть не что иное, как пустейший пуф и мистификация, либо же невиннейшая забава «недоробленного» Паляницы, за которую однако же он может при случае поплатиться серьезным образом, "и пропадет человек ни за грош, да мы-то, как дураки, туда же лезем!"

Но это заключение, во всяком случае, было слишком преждевременно.

Однажды, в сентябре месяце, он получил от Паляницы лаконическую записку следующего содержания:

"Приходите сегодня вечером. Непременно. Очень важное дело".

Константин отправился.

— Ну, вот, вы все пытались про дело... убивались по нем, — встретил его Паляница. — Вот вам и дело приспело... Садитесь и слушайте... Прошу!

И взяв в обе руки начисто переписанный лист хорошей писчей бумаги, он, стоя, начал глухим голосом, со свойственной ему торжественной декламацией, читать: "От русских офицеров, стоящих в Польше".

— Это что ж такое? — в недоумении спросил Хвалынцев.

— Адрес! — с гордым самодовольствием пояснил Паляница, — торжественный адрес от всех русских офицеров, стоящих в Польше... Наше, так сказать, profession de foi... От *всех* офицеров — понимаете! Шик, черт возьми!.. Европа заговорит, батюшка!.. Слушайте!

И он приступил к дальнейшему чтению:

"Русское войско в Польше поставлено в странное, невыносимое положение. Ему приходится быть палачом польского народа или отказаться от повиновения начальству".

— Ну, кто же отказывается, однако, из массы-то? — заметил Хвалынцев.

— Не в этом дело! — с легким неудовольствием возразил Паляница. — Все равно, отказывается ли, нет ли, но... так нужно!.. Прошу слушать далее.

"...Солдаты и офицеры устали быть палачами. Эта должность сделалась для войска ненавистною. Бить безоружных, преследовать молящихся по церквам, хватать прохожих на улицах, держать в осадном положении поляков за то, что любят Польшу — с каждым днем все больше и больше становится в глазах войска делом бесчеловечным и потому преступным. Проникнутое недоверием к начальству и отвращением от своей бесчеловечной службы, войско

спрашивает себя: ради чего оно будет палачом польского народа и какая в том польза для народа русского!"

— Позвольте! — перебил Хвалынцев, — недоверие к начальству, отвращение, да где же все это? И кто же, скажите по совести, слышал от солдата подобные вопросы?

— Не в том сила! Так должно! — слегка, но нетерпеливо топнул ногой Паляница и стал читать про то, как до солдат доходят вести, что внутри России войску приказывают быть палачом народа русского и что войска в Польше смотрят на это с омерзением. "...Недавнее расстреливание в Польше русских офицеров и унтер-офицеров, любимых и уважаемых товарищами, исполнило войско трудно укротимым негодованием. Еще шаг в подобных действиях правительства, и мы не отвечаем за спокойствие в войске".

— Да кто это писал, скажите, Бога ради! — воскликнул Хвалынцев. — Послушайте, поручик, ведь мы с вами не на луне живем, а в той же Польше, и принадлежим к тому же войску, ну, скажите же по чести, есть ли тут хоть слово правды? Где же это "трудно укротимое негодование", когда сами мы с вами не раз слышали, как солдаты говорили про Аргольдта и Ростковского: "собаке собачья смерть. Так, мол, им и надо, изменникам!" Вы сами же скорбели о подобном отношении к ним. И наконец, какие же они русские, когда и мы, и все войско очень хорошо знаем, что это были поляки.

— Герцен говорит русские, и притом на них русский мундир — значит русские! — сухо и холодно заметил Паляница и стал читать далее про то, что постоянное дразнение поляков полицейским гнетом додразнит их до восстания. "...Что станет тогда делать войско в настоящем его настроении? Оно не только не остановит поляков, но *пристанет к ним* и может быть никакая сила не удержит его. Офицеры удержать его не в силах и не захотят".

— Таких офицеров, однако, раз, два, да и обчелся, — заметил Хвалынцев, — а вы возьмите общую массу их! Эта масса, как сами знаете, подвергается слишком многим и тяжелым оскорблениям... В ней уже образовалась, к несчастию, непримиримая ненависть к полякам... Эту массу только пусти!

Паляница сделал нетерпеливое движение и гримасу, но на сей раз промолчал, очевидно подавляя в себе какую-то резкую выходку против Хвалынцева, которая уже готова была вырваться.

— Но... продолжайте, пожалуйста! — пригласил его Константин Семенович. — Любопытно знать, к чему в конце концов все это клонит?

— Я, наконец, не для вас читаю... я это единственно для себя и для Добровольского, — буркнул покосясь Паляница и снова, взявшись за бумагу, воскликнул патетическим голосом.

"...Спасти войско только одно средство — перестать дразнить и угнетать поляков, не доводить их до взрыва, снять позорное осадное положение и дать Польше свободно учредиться по понятиям и желаниям польского народа".

— То есть, значит, просто взять и уйти из Польши, — не утерпел Хвалынцев.

— Да-с, взять и уйти.

— Согласен, пожалуй: но насчет осадного положения, ведь оно уж и без того снимается; скоро и совсем его не будет.

— Ну и пущай!

— Стало быть и просить об этом нечего.

— Где просить? Кого?..

— Да в адресе же, Господи!

— В адресе?.. Ну нет-с! Извините!.. В адресе — это другое дело! Адрес в Европу пойдет!

— Как в Европу? Ведь его же предполагается подать…

— Это зачем?

— Да ведь адрес писан, чтобы его подать.

— Это все равно! Но только мы его подавать не станем.

— Так что же это в таком случае, — выпучил Хвалынцев изумленные глаза, — упражнение в литературном стиле на заданную тему? На кой же прах он писан, коли не подавать!

— Подавать не нужно… Вы слушайте далее! Здесь сказано вот что:

"…Мы обратились к вам через посредство печати и гласности, а не по начальству; начальство никогда не передало бы вам нашего голоса — голоса правды". Ловко?.. а?!.. Что вы на это скажете?

"…Мы скрыли наши имена; искреннее слово честного человека начальством считается за бунт, и назвавшись мы только подверглись бы незаслуженной каре".

Адрес кончался словами: "Примите уверение в нашей искренности".[170]

— Что вы на это скажете? Каково написано-с?.. А? — похвалился пред Константином Паляница.

— Что же, относительно стиля — искусно изложено; жаль только, что с истиной расходится.

Паляница вспыхнул и насупился.

— Что вы хотите этим сказать?

— Да не более как то, что если б этот адрес был написан от имени какого-нибудь известного кружка, даже хотя бы от нашего «Отдела», или от нескольких единомысленных офицеров, он имел бы свой raison d'ktre,[171] но он пишется от имени *всех русских офицеров в Польше,* — позвольте спросить, но чресчур ли уж это хвачено? Кто уполномочивал составителя говорить за всех и уверять, что это profession de foi каждого?

— Так я лжец, по-вашему?! — резко вскрикнул Паляница.

— А разве *вы* автор адреса?

— Положим, хоть бы и я.

— В таком случае вы очень самонадеянно расходитесь с истиной.

— Однако, милостивый государь… вы, кажется, забываете, что… говорите не дерзости…

— Вам *лично* я не имел бы никакой причины говорить их; я высказал только свой взгляд на адрес, и полагаю, что собственно за этим и был приглашен сюда. Но, — перебил самого себя Хвалынцев, — оставимте наши личные препирательства! Это самая бесплодная почва… Скажите лучше, что предполагается сделать с этим адресом?

— Напечатать, — ответил за Паляницу Добровольский.

— Где? в "Колоколе"?

— Ну, конечно!

— И так-таки от имени *всех!*

— Н-да… потому что… Одним словом, то так вже предположено.

— Но берете ли вы в расчет, что и Герцен в свою очередь может спросить вас: точно ли это profession de foi всех офицеров?

— Мы вже думали об этом, — сказал Добровольский.

— Думали? тем лучше! Чем же вы ему удостоверите общность адреса?

— Подписями.

— Какими?

— Офицерскими.

— Я вас не понимаю, Добровольский. Кто ж будут эти офицеры и много ль их будет?

— Много.

— Да нет, полноте играть в жмурки!.. Ну и чего мы, в самом деле, в своем-то собственном кружке станем еще сами себя обманывать? Разве мы не знаем настоящего положения дела? Разве мы не знаем настроения офицеров?

— Не у том сила, а подписы будуть!

— Чьи? ваша, моя, да поручика Паляницы?

— И наши будуть, конечне, тоже.

— А затем?

— А затем и другие будуть.

— Каким же путем вы их добудете?

— Есть тут один человечек такой — писаром Минаевым прозываетсе — он и сдобудеть.[172]

— Да полноте! Что за мистификация! — говорите проще и понятнее! говорите прямо!

— Я буду прямо! — вмешался наконец молчавший доселе Паляница. — Говорю как начальник.

Я — глава «Отдела» и потому я начальник, которому обязаны повиновением… Мои слова будут приказанием… Предупреждаю об этом… Мне нет дела, сочувствует кто или не сочувствует; но раз принадлежит к нашей организации — должен исполнять беспрекословно, если приказывают… Я предупреждаю об этом… Нарочно и заблаговременно… Поворотов нет у нас и быть не должно!

Хвалынцев очень хорошо понял, что вся эта выходка направлена исключительно в его сторону. Это царапнуло его самолюбие и озлило.

— Адрес должен быть послан с подписями, — продолжал меж тем Паляница. — Дело не в том, какие это будут подписи, лишь бы были! Это нужно для Европы!.. Интерес дела требует, чтобы подобный адрес был напечатан — и будет! Напечатают без подписей, но Герцен должен удостоверить, что подписи у него есть… Поэтому должны быть подписи… Минаев добудет из штаба списки… Он сам составит список офицерских фамилий и принесет завтра. Вы умеете писать разнообразными почерками? — без дальнейших обиняков, напрямик, обратился Паляница к Хвалынцеву.

— Уж не хотите ли вы заставить меня подписываться под чужие руки? — спросил этот последний, сухо и с нескрываемым презрением.

— Я вас спрашиваю, умеете ли? — настойчиво повторил Паляница.

— Нет, не умею.

— Да вы, может, не пробовали?

— И пробовать не стану.

— Ведь это, в сущности, такой пустяк!

— Может быть.

— У меня уже припасены разнообразные чернила: и черные, и ржавые, и бледные, и синие — всякие! Будем писать вперемежку, втроем, а затем… у вас есть знакомый, Константин Калиновский… Хороши вы с ним?

— Никакого Калиновского не знаю.

— Ну, как не знаете!.. Наверно знаете!.. Может под другой фамилией?.. Как он там, Францишек Пожондковський, что ли?

— Так, Пожондковський, — подтвердил Добровольский.

В уме Хвалынцева мелькнуло что-то смутно знакомое, как будто он слышал где и когда-то эту фамилию, да только вспомнить не может.

— Не припомню, — сказал он наконец.

— Он еще тоже Василием Свиткой прозывается, — подсказал Добровольский.

— Свитку знаете? — спросил Паляница. Хвалынцев ответил утвердительно.

— Ну, так вот что… Втроем нам всех подписей не обварганить, а их нужно штук пятьсот или четыреста по крайней мере. Вы возьмите с собою часть Минаевского списка с подписным

листом и передайте его Свитке… Объясните ему, конечно, в чем дело… Попросите содействия "Русскому Отделу Земли и Воли", он уж все остальное дело живо обварганит! Пойдет лист по рукам у поляков, — а они в один день покроют его подписями! У них много найдется, которые пишут по-русски!.. Они это живо!

Хвалынцев побледнел и, тяжело поднявшись с места, выпрямился во весь рост. Сухие губы его нервно дрожали.

— Я… этого… не сделаю, — с усилием и медленно проговорил он задыхающимся голосом.

— Нет, вы это сделаете! — твердо и уверенно возразил ему Паляница. — Вы обязаны повиноваться, и… не ваше дело разбирать, пригодно ли то или это средство… Здесь средства хороши! Нам не оставляют иного выбора!.. Вы должны под страхом смерти сделать то, что вам приказывается, а иначе…

— Смерти не боюсь и мерзости делать все-таки не стану… Довольно!.. Будет с меня! — закричал Хвалынцев.

— Во имя данной мне власти, объявляю… — начал было Паляница торжественным тоном, как вдруг:

— Молчать! — повелительно крикнул ему Константин. — Какая власть?.. Где она?.. Где этот ваш пресловутый "Отдел"?.. Он пуф, мыльный пузырь! Он только в рекламах «Колокола» существует! Вы все обманщики, фигляры! Я мог поддаться, мог идти открыто за дело, которое считал делом свободы, я не отступил бы пред открытой борьбой, как бы безумна она ни была — ну, что ж! я рисковал только своей жизнью, своей головой, и я бы положил ее… Но вы зовете меня на грязный подлог… Вы предлагаете шулерскую передержку с тем, чтобы поднадуть и правительство, и общественное мнение… Нет, милостивый государь!.. Стоп!.. Я не пойду за вами, и с этой минуты я не член вашего мифического "Отдела"!

И, не поклонившись, Константин удалился из квартиры поручика.

— Подлец!.. Изменник! — глухим и бешено-злобным голосом крикнул ему вослед Паляница.

XIX. Трибунал народовый

В той части Варшавы, которая находится по соседству с замком Зигмунда, фарой, Старым Местом и «Подвалом», и вообще известна под именем Старого Города, есть один замечательный дом. Он выходит на две улицы: Кршиве-Коло и Бржозовую, пролегающую гораздо ниже первой, под горою, так что дом, о котором мы говорим, занимает собой весь скат горы, и если посмотреть на него с улицы Кршиве-Коло, то он представится вам в виде весьма скромного и даже приличного трехэтажного домика. Но спуститесь на Бржозову и взгляните на него оттуда, снизу — и вы увидите потемневшую от времени, древнюю каменную громаду в шесть этажей под черепичной кровлей. Всевозможные галерейки, коридоры, лестницы, проходы и выходы во дворы и дворики, лежащие на различных пунктах горного ската, один выше другого, придают этому дому какой-то лабиринтный и притом сквозной характер, как нельзя более удобный для проскальзывания разных темных личностей и для притона воровских шаек. И действительно, дом Грабовского в Варшаве почти то же самое, что дом Вяземского в Петербурге, только, конечно, не в таких громадных размерах. Тут вечный притон бродячих женщин, беглых людей и разного рода беспаспортных бродяг; поэтому для обитателей дома Грабовского в Варшаве существовало даже особое название: "legia nadwislinska", то есть надвислинский легион. Еще в 1830 и 1831 годах этот дом, как

вспоминают старожилы, играл некоторую роль в революционном движении, хотя он же послужил однажды и средством к укрытию и бегству нескольких варшавских обывателей, преданных законному правительству, которые чрез мудреные проходы и закоулки этого дома успели избежать смерти от преследовавшей их по улицам толпы революционеров.

На шестом этаже этого дома есть небольшая квартирка, всего лишь в две комнаты, которая приходится вровень с чердаками, под черепичной кровлей. Одно окно этой квартиры выходит на Бржозовую улицу, два окна с правой стороны на мощеный двор, и два с левой тоже во двор, поросший травой и кустарником. К каждому из боковых окон ведет отдельная ниша, длиною до сажени; в каждой из этих ниш проделана вровень с полом небольшая форточка, в которую однако свободно может пролезть человек, даже весьма изрядной комплекции. Эти форточки выкрашены совершенно под цвет стены, так что с первого взгляда трудно их и приметить и на вопрос о их назначении можно было бы отвечать, что служат они дверцами для чего-нибудь вроде шкафиков, где хранят домашнюю посуду, дрова или иной какой-либо хлам. Казалось бы и в самом деле, что можно предполагать особенного в этой квартире, за ее толстыми наружными стенами, какими вообще отличаются старые варшавские постройки? А между тем стоило лишь открыть любую из форточек, и «особенное» тотчас же выступило бы на сцену. За этими форточками, внутри капитальной стены, были устроены три темные каморки, с очень хорошо настланным деревянным полом, каждая аршина в два с небольшим в квадрате, так что в этих каморках можно бы и стать очень удобно, а еще удобнее сидеть, и человека три, четыре легко могли бы устроиться на время в этом потайном помещении. Из первой каморки существует проходец в другую, а из этой в третью, из которой особая лазейка, в виде треугольного отверстия, выводит на чердак, а там уже есть и слуховые окна на крышу, и дверь на лестницу в сени, и еще одна потайная лазейка, в одном из самых темных чердачных углов, которая ведет на смежный, но уже потайной чердак с плоской кровлей. Если смотреть снаружи, со двора, то вам представится кровля, совершенно плотно прилегающая к стенам и к балкам потолка, вроде того, как бывает это у восточных саклей, так что под этой кровлей никак невозможно заподозрить присутствие чердака, а между тем он существует, будучи устроен несколько исключительным образом, не так, как обыкновенно устраиваются вообще все чердаки на свете. Пол его, представляющий очень прочную деревянную настилку, лежит не в уровень с верхним краем стен, а аршина на два ниже его, что и делает из этого чердака отличный и преудобный тайник, где можно спрятать множество вещей, вроде оружия, пороху и платья, и вообще контрабанды, а в случае надобности, там же могут укрыться на время более двадцати человек, которым было бы неудобно только стоять, но сидеть и лежать они могли бы наилучшим образом. В прежние времена, когда этим домом исключительно распоряжалась "легия надвисляньска", ловкие контрабандисты постоянно пользовались этим потайным чердаком для сокрытия своих запрещенных товаров, и это было им тем удобнее, что Висла и коммерческая пристань находятся почти тут же, что называется, под боком.

В то время, к которому относятся события нашего рассказа, в описанной квартире с тайниками обитал одинокий старик, лет шестидесяти, совершенно лысый, седобородый, в очках, и довольно еще красивый собой. Это был чиновник совета управления, что на Красинской площади, по имени Владислав Крушинский. Прошлая жизнь, полная увлечений, оставила свои следы на его лице, при взгляде на которое вы могли бы сказать, что, судя по физиономии, натура у этого человека широкая, добрая и размашистая, но вам и в голову отнюдь бы не пришло, что этот почтенный старец, в качестве члена подземного ржонда, исполняет должность "начальника операторув" и вместе с двумя своими сотоварищами и помощниками держит в своих руках всю "операторную часть ржонда народоваго". Операторской частью называлась в ржонде организация вещателей и кинжальщиков, которым уже впоследствии было присвоено более громкое название "мстителей народовых".

Двое ближайших помощников Крушинского были еще молодые люди. Один из них, Штейнгребер, студент Варшавской Главной Школы, происходил из местных «цивилизованных» жидков, другой — Игнатий Трущинский, сын жандармского подполковника русской службы, собственноручно приговоривший к смертной казни даже своего родного отца, что и было вменено ему ржондом в особую, римско-гражданскуго доблесть. Этот Трущинский был поставлен в исключительно благоприятные обстоятельства для подпольной деятельности. Он жил вместе с отцом своим в Мировских кошарах[173] на Броварне, где квартируют все варшавские жандармы и жандармские офицеры. Эта часть города, обитаемая исключительно военным населением, почти совершенно отделена от остальной Варшавы стеной и заставой, где постоянно стоит на часах жандарм, обязанность которого, между прочим, состояла и в том, чтобы не пропускать в район казарм никого из статских в экипажах. Проживая в таком привилегированном месте, исключенном из-под всякого надзора городской полиции, Игнатий Трущинский мог совершенно спокойно и безопасно заниматься своими революционными делами по части "операторной".

Четвертый сотоварищ названных героев был ксендз Кароль Микошевский, добившийся в данное время немалой популярности между варшавскою молодежью. До 1861 года он был бедным викарием одной из варшавских парафий (приходов), как вдруг судьба ему улыбнулась: знакомая старушка, умирая, оставила ему 10,000 злотых, и ксендз Кароль почувствовал себя счастливым. Он тотчас же напечатал свои проповеди "об опасностях невоздержания" и открыл свой маленький «салон». Оставаться раз в неделю дома, потчевать гостей чашкой чая, стаканом воды с сахаром и флердоранжем, бутербродами с ветчиной и сладкими пирожками или так называемым «тястечкем» — это называется "иметь салон", а ксендз Кароль, собирая к себе праздную молодежь, фельетонистов, хроникеров и весь задний двор варшавской печати, кормил весь этот сброд отменными ужинами — и в воздаяние за свое гостеприимство, был избран в члены Центрального Комитета. Сделавшись членом комитета, ксендз Кароль, успевший около того же времени из викариев стать пробощем и получить пробство на Желязной, для пущей безопасности, переменил себе имя и назвался Сикстом. По ночам Сикст заседал в комитете или в трибунале, подписывал смертные приговоры, писал памфлеты против правительства и варшавского архиепископа, а днем терся в прихожей директора комиссии внутренних и духовных дел, которому изъявлял свое благородное негодование на революцию, ходил к архиепископу на лобызание руки его преосвященства, и когда ему говорили там о революционных крамолах и убийствах, он помахивал главою, вздыхал, закатывал глаза и приговаривал с набожным сокрушением: "O tempora! o mores![174]"

В сентябре 1862 года, около семи часов вечера, в чердачной квартирке Владислава Крушинского собрались его сотоварищи: жидок Штейнгребер, Игнатий Трущинский, ксендз Сикст, в качестве наблюдающего члена от Центрального Комитета, и Василий Свитка, в качестве обвинителя. Эти пять человек изображали собою соединенное присутствие народного трибунала. На столе пред ними стояло цинковое распятие и у подножия креста был положен обнаженный кинжал. Эти два предмета изображали собою эмблему суда, и хотя подобные атрибуты, в сущности, были совершенно не нужны, так как могли бы представить собой только лишнюю улику или лишнее затруднение в том случае, если бы членам грозного трибунала, при лязге жандармской сабли за запертой дверью, пришлось ползком пробираться в форточки тайников, тем не менее атрибуты эти присутствовали на судейском столе, в силу распространенной между поляками страсти к мистическим, романтическим и страшным декорациям. В той же комнате на другом столе находились атрибуты иного рода, в виде бутылки с водкой, закуски и полудюжины «марцового» пива.

Компания трибунала сидела за судейским столом, курила, закусывала, прихлебывала пиво, но к суду еще не приступала. Ксендз Сикст, в расстегнутой сутане, небрежно закинувшись на

спинку стула, повествовал о некоторых планах и намерениях ржонда, и хотя, в сущности, по силе ржондовых постановлений, ему вовсе не следовало бы болтать о том, что не относилось прямым образом к ведению членов трибунала и составляло в некотором роде "государственную тайну" ржонда, но настойка и пиво в совокупности с душевной компанией развязали болтливый язык Сикста, а между его собеседниками не нашлось ни одного, кто напомнил бы ему про обет молчания, по той простой и естественной причине, что каждому было крайне любопытно узнать о высших и таинственнейших намерениях Центрального Комитета.

— Не жить! не жить москалю, а ни-ни! — с уверенностью доказывал Сикст, высчитывая по пальцам. — Во-первых, решено уже подорвать финансовый кредит России. Во-вторых…

— Шутка сказать, подорвать кредит! — сомнительно усмехнулся старик Крушинский. — Как вы его подорвете у такого государства?

— Что за государство!.. Колосс на глиняных ногах, и только!.. А подорвать — это пустяки! Решено выпустить огромное количество фальшивых кредитных билетов… В Лондоне уже работаются, а наш Игнатий Хмелинский — помогай ему Боже! — заблаговременно уже условился о заготовлении и о привозе в Край… Все либеральные правительства, вся Европа нам в этом деле помогают, потому… потому и для Европы важно, чтобы подорвать… Понимаете?

— А хорошо ли подделаны? — не без алчного любопытства осведомился Штейнгребер.

— Подделаны-то?.. О, мой польский брат мойжешового вызнанья! Подделаны так, что твой татуле а ни на момент не задумался бы принять и разменять любую сторублевку! Вот как подделаны!.. Но это что! — продолжал Сикст, — я говорю не жить, потому что кредитки кредитками, а мы еще несколько блистательных фейерверков устроим! Вот так штука будет!

— В чем же дело? — спросил юный и ретивый Трущинский.

— А в том, что решено взорвать и сжечь все казармы и бомбардировать цитадель конгревовыми ракетами!

— Ну-у! — недоверчиво махнул рукою старец.

— Чего «ну»! Не нукай, брацишку! Почекай трошечку!.. Я знаю, что говорю! Потому… мы уже вошли в условие с двумя французами-специалистами… Один, как его?.. Ганье д'Альбен, а другой Маньян… берутся сжечь и бомбардировать; только два миллиона злотых, шельмы, требуют за это!

— И вы дадите? — с опасением спросил еврейчик.

— И мы дадим!.. Пятьсот тысяч уже выдали в задаток… Поехали во Францию делать приготовления.

— Да они надуют! — всплеснул руками Штейнгребер. — Я б и сам надул, ей-Богу, кабы такие деньги!

— О, мой брат мойжешового вызнанья!.. Надул бы во имя ойчизны вольной и неподлегой!.. Хе, хе, хе!.. Что говоришь ты и что слышу я!?.. Gloria in excelsis!..[175] Ты надул бы, а они не надуют… Им Наполеон не позволит, да и мы им в Париже целый процесс сделаем, иск предъявим, пускай-ко попробуют!.. Нет, благородная нация не надует!.. ни-ни!.. а ни Боже мой! Не допускаю!.. Н-не допускаю!

— Два миллиона! — покачал головой многоопытный старец, — Где их взять, два миллиона! Легко сказать, да где достать?

— Т-сс!.. Не богохульствуй! Смири в себе дух строптивости и противоречия… Ты говоришь, где достать? Хм!.. Я тебе скажу где! Во-первых, при первой возможности мы воспользуемся казначейством, и мы имеем на это право, потому в казначействе чьи деньги? а?.. Польские, не так ли? А если польские, то им и подобает быть в руках истинного польского правительства… Поэтому, при удобном случае, сделаем простую транспортацию!.. Понимаешь? то есть из одной кассы в другую… Это раз. А во-вторых, уже решено выпустить в несметном количестве народовые облигации и заставить каждого обязательно принимать их… Понимаешь, тут уже не двумя миллионишками какими-нибудь пахнет!.. Подымай выше!

— Н-ну, а если брать не станут? — усомнился Штейнгребер.

— Что-о? — насупился на него Сикст. — Не станут?.. Кто это не станет?.. Твой татуле, что ли?.. Я тебе скажу на это, что ежели твой татуле не станет брать, то ты же первый подпишешь ему смертный приговор и сам же вздернешь его на осиновый сук! И я благословлю тебя на подвиг! И когда твой татуле запляшет в воздухе мазурку, то твой онкель охотно примет все сполна и за себя, и за братца, да еще прибавки попросит? Так ли я говорю? Верно?.. Ну, значит, и не спорь со мной!

— Однако, Панове, время уходить! — взглянув на часы, заметил Свитка. — Не пора ли за дело, а то как раз рискуем вместо дома переночевать в козе: десятый час в начале…

— Да что, много там у вас на сегодня? — деловым тоном спросил старик Крушинский.

— Нет, пустяки! Всего только два человека.

— Пхе!.. Стоило из-за такой дряни трибунал собирать! — заметил Сикст. — Я думал, двадцать по крайней мере, а у него только двое!

— Господа!.. Именем ржонда народового я открываю трибунал! — поднявшись с места, торжественно-официальным тоном возгласил Крушинский. — Прошу занять свои места. Благословите, отче!

И по слову председателя, вся компания стала при своих стульях, с серьезным видом молитвенного благоговения сложив руки и преклонив головы, а ксендз Микошевский, оборотись к распятию, забормотал вполголоса "молитву о помощи Духа Святаго пред началом добраго дела".

Наконец, получив от него общее пастырское благословение, все расселись на свои места и приняли натянутый официально-серьезный, вид, приготовляясь к слушанию доклада Свитки, который вынул из своего портмоне тоненькую бумажку, свернутую в самый маленький шарик, тщательно расправил ее и, пододвинув к себе поближе свечку, стал читать через лупу микроскопически написанные строки. Первым обвинялся какой-то еврей-ростовщик Шмуль Путкамер, по доносу сборщика Юзефа Чауке, в нежелании платить народовую подать, в непочтительном отзыве о ржонде, высказанном будто бы в глаза самому Чауке, при требовании им уплаты подати, и, наконец, в знакомстве его, Путкамера, с частным приставом Дроздовичем, что уже само по себе служит доказательством его шпионской профессии, а потому-де сей жид Шмуль Путкамер, недостойный называться именем поляка Моисеева закона, приговаривается, как зловредный гражданин, к смертной казни чрез отравление, ибо расправа посредством кинжала, как более благородная казнь, сочтена для него слишком высокою, и он признан недостойным подобной милости.

— Позвольте, господа, — вмешался Штейнгребер, — я немножко знаю этого Путкамера, но сильно сомневаюсь, чтоб он был шпионом. Знакомство с Дроздовичем ничего еще не доказывает. Это бы надо расследовать более обстоятельным образом.

— Вздор! — закричал Микошевский. — Стоит еще задавать себе труд расследовать!.. Из-за какого-нибудь подлого жидюги!..

— Но ведь обвинение голословно! На чем этот Чауке основывает его?

— На внутреннем убеждении и на знакомстве с Дроздовичем, этого совершенно достаточно! — авторитетно порешил Сикст, осушив свой куфель пива.

— А что, ежели этот Чауке должен Путкамеру по векселю и путем доноса думает избавиться от долга? — пустил загвоздку Штейнгребер, явно желавший отстоять своего соплеменника.

— Ну, и помогай ему Боже, — ответил на это ксендз Микошевский. — Во всяком случае, — прибавил он, — Чауке *наш*, Чауке нам известен, а Путкамер нет; Чауке принадлежит к организации и служит сборщиком, и вдобавок очень хороший, усердный сборщик и благонамеренный поляк — уже по одному этому мы должны уважить его донос… Какое же доверие после этого мы будем оказывать своим, если станем еще проверять их показания!.. Mortus est!..[176] Мой голос за казнь. Кто со мной, господа, и кто против?

Все безусловно согласились с Сикстом, и даже еврей Штейнгребер, при всем своем тайном нежелании, должен был присоединиться к общему решению и подписать свое имя на протоколе.

— Ну, кончайте скорей! кто еще там у вас? Я уж спать хочу! — нетерпеливо обратился к Свитке ксендз Микошевский.

Обвинитель снова склонился над своей микроскопически исписанной бумажкой, но медлил над нею в какой-то странной нерешительности, нарочно стараясь показать вид, будто он не может разобрать написанного.

— Да читайте же! Чего вы мямлите? — еще нетерпеливее отнесся к нему Сикст.

— Позвольте, сейчас…

И он начал медленно, оттягивая слог за слогом, будто и в самом деле трудно разбирает буквы:

"По… по… по пред-ставлению… по представлению… пред… пред-седа… седа-те-ля…"

— Да что вы, читать разучились, что ли?

— Мм… позвольте, сейчас… "По представлению председателя"…

И Свитка снова замолк над бумажкой, но на этот раз уже не показывая вида, будто не может разобрать ее.

— Далее! — досадливо топнул ногой Микошевский.

Свитка молчал, будто и не слышал этого возгласа. Микошевский пристально взглянул ему в лицо и невольно удивился. Это лицо было бледно, с глазами, заволокнутыми каким-то туманом, и отпечатлевало в себе все признаки расстройства и смущения.

— Да что это с вами?.. Вы на себя не похожи! Вам дурно, что ли? — воскликнул Микошевский.

— Да, мне нехорошо. Я не могу этого читать… то есть прочесть не могу, — поспешил он поправить свою обмолвку. — Пусть кто-нибудь другой читает.

— А обязанность обвинения? — поднял на него очки старик Крушинский.

— Я не могу… Извините, господа… Я передаю мою обязанность… Читайте за меня сами… Я не могу, говорю вам… Обвиняйте сами кто знает…

И проведя рукой по волосам, Свитка с усилием поднялся с места и, почти шатаясь, в каком-то странном волнении, весь бледный вышел в другую комнату.

Все члены трибунала в недоумении вопросительно переглянулись между собою.

На минуту настало какое-то странное, нерешительное молчание. Ксендз Кароль пожал плечами и, взяв со стола бумажку и лупу, стал читать по записке:

"По представлению председателя варшавского отдела русского общества "Земля и Воля", член означенного общества Константин Хвалынцев, принадлежащий к составу русских войск, за измену общему делу предается суду народного трибунала. Председатель, признавая его крайне опасным для целей и преуспеяния дальнейшей деятельности общества, покорнейше просит Центральный Комитет озаботиться, чтобы приговор высокочтимого трибунала был положен и приведен в исполнение в возможно скорейшем времени".

— Повинен есть! — окончив чтение, сразу произнес Микошевский. — Ваше мнение, господа? — обратился он к членам.

— Смерть! — почти в один голос ответили остальные.

— Гей, пане прокуратору! — крикнул Сикст в другую комнату, — ваше мнение? С большинством согласны? а?

Свитка молчал.

— Э, да что это с ним такое? Никак заболел и в самом деле? — процедил сквозь зубы ксендз и направился к Свитке, который сидел, отвернувшись к окну и облокотясь на подоконник. — Что с вами, друг мой? — тихо произнес Микошевский, с нежностию склонясь над ним и участливо засматривая ему в лицо. Но каково же было удивление подгулявшего Сикста, когда в глазах сотоварища он заметил нечто похожее на слезы.

— Вы плачете?.. Друг мой, что это?.. Нервы? — произнес он тише, чем вполголоса.

— Если можно, спасите его! — крепко схватив руку Микошевского, порывисто прошептал Свитка.

— Кого? — недоуменно спросил ксендз.

— Его… Хвалынцева… Это я запутал его в дело… Я один виноват… Поверьте! Клянусь вам! Я хорошо знаю этого человека и знаю, что он человек честный. Вся вина его только в несходстве убеждений с Паляницей. Примените к нему статью кодекса об изгнании… Можно устроить так, что само начальство вытурит его из службы, и пусть убирается к себе в Россию. Спасите, если можете!

— Милостивый государь, я вижу, что вы действительно больны, потому что говорите нелепости, — сухо возразил ему Микошевский.

— Но я люблю этого человека, мне жаль его! И мне больно, что я ни за грош погубил его!.. Тут совесть говорит, поймите вы это!.. Я должен был по приказанию комитета обвинять его, а между тем… эта казнь против моего убеждения.

— О вашем убеждении никто не спрашивает, — серьезно перебил его ксендз, — и если бы вы имели неосторожность гласно и формально отказаться в той комнате от обвинения, вы сами подлежали бы суду трибунала. Но я щажу вас, я промолчу об этом. Стыдитесь! Вы, поляк, за москаля!.. Ну, добро, жид за жида стоял — это понятно; но поляк за москаля… Фи! Я не узнаю вас! Опомнитесь и берегитесь!

И войдя в комнату заседания, Сикст произнес громко и уверенно:

— Пан прокуратор болен, но он согласен с общим мнением.

Услышав эти слова, Свитка бессильно и покорно склонился головой на подоконник. В Варшаве он был не то, что в Литве: в Варшаве он был не свободен: он должен был слепо подчиняться грозной и карающей власти комитета и как можно тщательнее таить от всех свои замыслы о самостоятельной роли, о сепарации Литвы и о диктатуре над нею. Боже избави, если бы здесь на него пала хоть малейшая тень подозрения, и тем более, что здесь все, даже самая малейшая безделица могла легко навлекать всякие подозрения. Он и то уже поступил слишком неосторожно, увлекшись человеческим порывом своего сердца и так откровенно высказавшись пред Сикстом о Хвалынцеве. Надо было по необходимости подчиниться беспощадному решению Сикста, который, помимо номинального председателя, вертел как хотел целым трибуналом, и Свитка подчинился.

— Итак, решение единогласно! — продолжал меж тем Микошевский. — Но теперь еще вопрос, господа: род казни для последнего субъекта?

— Кинжал! — единогласно ответили члены.

— Да будет! Пишите приговор, пане Трущинский, — заключил ксендз.

Забота об исполнении последнего приговора возложена была Крушевским на Штейнгребера, который убедительно просил уволить его от устройства казни над единоплеменником, и взамен освобождения своего от убийства еврея обещал казнить чрез своих подчиненных кинжальщиков трех русских или трех дурных поляков. Ксендз Сикст великодушно разрешил ему это, — и через четверть часа вся компания, позажигав свои латарки, простилась с хозяином, торопясь добраться домой до урочного часа, после которого цивильным людям воспрещалась ходьба по городу. И глядя на эти спокойные лица да прислушавшись к невинной болтовне, никому и в голову не могло бы прийти, что эти люди всего лишь несколько минут назад подписали смертный приговор двум человекам. Один только Свитка хранил угрюмое и грустное молчание и поспешил проститься с товарищами.

— Помните же мои слова и берегитесь… выкиньте дурь из головы, дружески говорю вам! — шепнул ему ксендз на прощанье, выразительно пожимая руку.

XX. Варшавские трущобы

Броварная улица в Варшаве идет под горою, вдоль берега Вислы, и не более как шагах в двухстах расстояния от него. Это улица весьма интересная. Тут вы встретите оборванную бабу,

которая с метлой в руке, стоя посредине мостовой, исправляет должность дворника, а вдоль стен убогих низеньких лачужек сидят старухи жидовки, похожие скорее на каких-то гномов, чем на существа, носящие образ человеческий: сидят они подле своего товара — лотка с вялыми вишнями или гнилыми грушами, штопают какую-то ветошь да парят на солнышке свои древние кости, в те дни, когда оно блещет над Варшавой. Жиденята, собаки, оборванцы, шарманки, подозрительные «лобусы» и еще более подозрительные торгаши то и дело снуют взад и вперед по этой улице, на которой от раннего утра до урочного часа вечера непрестанно проявляется самое бойкое движение. Это улица деятельная, торговая, с сильно преобладающим еврейским элементом. Но это элемент, так сказать, наружный, показной, который кидается вам в глаза на самой улице, в окнах, у порогов входных дверей, за стойками лавчонок и т. д. А попробуйте заглянуть во двор любого из подобных домишек, особенно (если это будет будний день) вечером, около девяти-десяти часов, и вы совершенно неожиданно натолкнетесь на такое население, которого в течение дня совсем не приметишь — по очень простой, впрочем, причине: днем его там нет. Надо заметить, что самый род торговли на Броварной довольно исключителен: наружная сторона улицы, по преимуществу, шинкует. Нет того скверного домишки, в котором не помещалось бы что-нибудь вроде кабака, кнейпы, баварии, харчевни, кофейни или съестной лавки; преимущественно же благоденствуют шинки. Шинок — почти необходимая принадлежность чуть ли не каждого дома на Броварной. И познакомясь с характером жизни «надворных» непоказных обитателей этой улицы, перестанешь удивляться такому изобилию этих увеселительных заведений и поймешь, что иначе и быть нельзя, что шинок тут является отцом-защитником и матерью-кормилицей этого непоказного народа. Но распивочная торговля опять-таки составляет принадлежность внешнего вида улицы и ее внешней жизни. Эта торговля, вместе с большею частью домишек, принадлежит хозяевам-евреям. Каждый почти домовладелец непременно держит шинок, и этот шинок служит тут чем-то вроде круговой поруки: с ним тесно связана *возможность* самого существования «надворных» обитателей; он же является и поддержкой хозяина-еврея, ибо в противном случае последнему пришлось бы лишиться своих непоказных жильцов. Торговля Броварной улицы, как и самая жизнь ее, делится на две резко раздельные категории: наружную и надворную.

Если бы кто решился войти в любой из этих домишек, то первое, что представилось бы ему в проходном коридоре, это — баба-дворник. Тут почти совсем нет мужчин, исправляющих дворничью должность. Баба-дворник это обыкновенно растрепанная женщина, со сбитой на сторону головной покрышкой, в виде какого-то тряпья, в ветхих лохмотьях вместо одежды, босая, старая, грязная, с метлой в руках и в то же время часто с грудным ребенком, подвязанным у нее как-то через плечо, с помощью полотняного снаряда, напоминающего своим устройством нечто вроде матросской койки. Среди томящего летнего зноя, как и в зимний холод почти в одном и том же неизменном костюме, разве только с прибавлением рваных сапог, эта женщина-дворник все свои дни проводит в вечной работе: она и во дворе всякий хлам убирает в сторонку, и коридор подметает, когда об этом распорядится «ревировый»,[177] и улицу метет, и дрова носит на общую печь, у которой, между прочим, отогревает порою свои закоченелые члены. Да и ночью-то не всегда ей бывает покойно: в узкой, тесной каморке, где с трудом только можно повернуться и где едва найдется местечко, чтобы прилечь от усталости, ее часто пронимает холод и сырость, так как далеко не все подобные каморки бывают снабжены печами. Намаявшись в течение дня от постоянной своей работы, она ложится спать все-таки позже других обитателей дома, да и то, по стуку в дверь, придется не один раз вскочить от сна и отомкнуть дверную защелку у входа. А просыпается баба-дворник, по обязанности, раньше всех — и опять за ту же работу!.. Таким образом, эта вечная труженица является крайне забитым, робким существом: ей и от ревирового за непорядок достается, а от хозяев и подавно. Ей дается приют, в виде известной уже каморки, да вдобавок еще какой-нибудь рублишко, или около того, в месяц жалованья. На эти средства

она должна существовать часто с ребятами, часто с мужем, или приходящим к ней «коханком», которые в непременную свою обязанность поставляют пропивать заработанные ею гроши. И на таковую обязанность мужа или коханка никогда не слышится почти ни малейшего ропота со стороны бабы-дворника. Такая уж любящая натура! Чуть только переступает за порог охраняемой ею двери какой-нибудь господин, одетый приличным образом (что впрочем в этих местах случается редко), баба-дворник первым делом подвертывается к нему под руку и старается уничиженно облобызать в плечо, что на свежего человека действует особенно неприятным образом, тем более, что на первых порах ничего подобного никак не ожидаешь. И если отдернешь от нее свою руку, баба-дворник останется очень удивлена и растеряна — до того уже стали ей привычны подобные лобызанья.

Поблизости общей для всех обитателей печи (обыкновенно закоптелый камин в проходном коридоре) висит где-нибудь на стене расписание жильцов дома, по числу занимаемых ими квартир. Это расписание, если вы не знакомы с условиями быта и жизни Броварной улицы, тоже немало изумит вас. Домишко ветхий, маленький, тесный, в котором два-то семейства — еще куда бы ни шло — поместятся как-нибудь, а три — уже с некоторым трудом и стеснением, и вдруг, роспись жильцов такого домишки гласит вам, что в нем имеется тридцать квартир, иногда немного больше, так что цифра тридцать может служить среднею для всех подобных обиталищ этой улицы. Вы невольно изумляетесь, как это, мол, тридцать квартир? да откуда их столько наберется? Да где ж они все, наконец, помещаются, если тут хватит места всего-то только на две, на три квартиры? И вы не ошиблись: в самом домишке их, действительно, не более двух, трех. Но стоит вслед за бабой-дворником пройти по клавишеподобным гнилым и грязным доскам коридора вовнутрь двора, принадлежащего этому домишке — тут, среди разного хлама и мусора, тянутся по краям дощатые клетушки, вроде чуланчиков или дрянных сараюшек для дров и ненужной рухляди. Вы так и думаете, что это не более, как складочные чуланы, имеющие свое обыкновенное назначение. Ничуть не бывало: это — квартиры, в которых живут люди и платят за наем их хозяину. Мало того, тут есть еще свои аристократы и свои плебеи. Чтоб убедиться, стоит войти в любую из берлог той и другой категории, и вы будете иметь довольно наглядное понятие о том, что такое аристократия и что такое парии в среде надворных обитателей Броварной. Евреи-хозяева, конечно, в этот расчет уже не входят, ибо они баснословные Крезы в сравнении со своими жильцами.

Вот целый ряд чуланчиков, в которые ведут кое-как прикрепленные на ржавых петлях двери. Толкнуть хорошенько ногою любую из них, сразу же и рассыплется да еще, пожалуй, и всему зданию ущерб нанесет. На внутренней стороне двери прилеплена, посредством хлебного мякиша, Матка-Бозка — обыкновенное изображение Ченстоховской Богородицы, какое вы найдете в тысячах варшавских квартир, на дверях чуть ли не каждой польки и религиозного поляка.

В этой конуре заметны кое-какие признаки скудной оседлости. У стен помещаются два, три подобия постелей — обыкновенно несколько досок, положенных на обрубки деревянных колод и прикрытых всевозможным тряпьем грязнейшего свойства и неопределимого цвета. У противоположной стены вкопана в землю точно такая же колода, и к ней, в горизонтальном положении, прибита гвоздем доска. Эта последняя мебель имеет назначение обыкновенного стола, к которому, впрочем, никакого соответственного седалища не полагается. Окошек тоже не полагается: их с успехом заменяют пространные щели и дыры в крыше и стенах, сквозь которые может свободно продувать ветер, капать дождь, сыпаться снег и вообще представляется полная возможность заглядывать сюда всем воздушным проявлениям погоды. О печах нечего и думать: их заменяет природная теплота человеческого тела и кой-какие лохмотья. Но все-таки и здесь является своего рода претензия на некоторый комфорт и эстетическую сторону жизни: на стенах развешаны грубые малеванья разных католических

святых, обрывки модных картинок, вырезки политипажей из разных иллюстрированных изданий, и, наконец, бутылочные этикеты. Правда, все эти изображения загрязнены следами мутных потеков, так как во время дождя в эти людские жилища стекает с крыш вся грязная вода, а через несколько часов, глядишь, пол, которым служит просто голая земля, является чем-то вроде сплошной густой и вонючей лужи. Претензия на эстетическую сторону жизни сказывается в летнюю пору и еще в одной принадлежности большей части аристократических помещений. Принадлежность эта — всякие травы, цветы и зеленые ветви, которыми посыпают пол и унизывают потолок, благо щелей достаточно. Таким образом у некоторых из броварных аристократов является нечто вроде своего собственного домашнего сада. Эти ветви и цветы все-таки хоть немного помогают очистке и освежению воздуха, который без этого спасительного средства спирается в таких жилищах до крайне удушливого зловония.

Таково помещение аристократов.

Парии селятся несравненно хуже, так что, наконец, приходишь в сильное сомнение: точно ли уж возможно какое-либо существование при такой обстановке, при таких условиях жизни? А между тем, возможно; между тем люди живут тут целыми годами, зиму и лето, и даже им весьма тяжело бывает расстаться со своим жилищем, до того уж они свыкаются с ним!

Блудный сын, с которым знакомит нас евангельская притча, без всякого сомнения, сравнительно пользовался большими удобствами, во время жизни своей со свиньями, чем эти злосчастные парии Броварной улицы. Да что уж тут говорить о блудном сыне! Самые свиньи, собаки и прочие домашние животные, в том положении, в каком находятся они у всех почти фермеров, помещиков и многих крестьян, пользуются несравненно большими удобствами, чем эти жалкие люди. Едва ли можно даже вообразить себе что-либо подобное. Углы и трущобы московские и петербургские, поставленные в самые невыгодные условия для человеческого существования, все-таки ничто в сравнении с безобразием варшавских трущоб Броварной улицы. В тех видно, по крайней мере, что так или иначе они предназначаются для жизни человека; здесь же и невзыскательному животному, кажись, трудно бы было поместиться с тем, чтобы постоянно дышать этим воздухом и вечно подвергаться всяческим влияниям стихий в летнюю и особенно в зимнюю пору. Впрочем, иные из обывателей выговаривают себе на зиму особенное право: приходить в шинок во время сильного холода и там отогреваться в теплом воздухе. Большая часть хозяев соглашается на это условие с великодушною благосклонностью. Но устроить подобные конуры и отдать их под жилье, внаймы людям, могла единственно лишь жидовская изобретательность, умудряющаяся вытягивать свою долю выгоды из последней, брошенной и, казалось бы, ровно ни к чему непригодной дряни.

Представьте себе самый тесный хлев, кое-как сколоченный из гнилых барочных досок, с кое-как прилаженной дверкой, похожей более на форточку, а иногда и просто с дырой для входа, в которую нечего и думать, чтобы пройти, как обыкновенно ходят люди, то есть вытянувшись в рост человеческий, а надо пробираться либо ползком, либо согнувшись, что называется, в три погибели. В этой яме уже нет никаких признаков оседлости: просто голые дырявые стены, дырявая дощатая настилка вместо крыши (она же и потолок), а пол — земля, устланная грязной, навозной соломой. На этой самой соломе люди сидят, едят, спят, я бы прибавил и *ходят,* если бы тут была хоть какая-нибудь возможность ходить: остается одно средство — ползать. Так обыкновенно и делается. Случается, что эти хлевы сдаются хозяевами внаем с условием не выводить из них домашнюю скотину, и тогда люди, уже буквально, живут вместе со свиньями. Рядом с таким жилищем, а иногда и прямо в самой свинярне помещается зловонный склад товара, сбыт которого дает средства для поддержания существования этих варшавских парий. Но об этом после.

Обыкновенная цена за подобное помещение — десять злотых, или полтора рубля серебром в

месяц, значит, 18 рублей в год, сумма весьма-таки не малая для чернорабочей поденщицы. И вот одни только свинярни, принадлежащие подобному домишке, приносят хозяину еврею 540 рублей годового дохода, если взять среднюю норму в 30 квартир. Доходы с шинка еще впятеро превышают эту цифру, но о них мы говорить не станем.

В одной конурке обыкновенно помещается от двух до шести человеческих пар, а иногда случается и больше того. Дети при этом в расчет не идут, мы берем одних взрослых. Эти пары нанимают сообща свое логовище, значит, при совместном житье четырех человек, на долю одной пары приходится месячной платы 75 копеек, а при шести — по четвертаку. Такая выгода, естественно, заставляет их группироваться в возможно большее число пар, насколько лишь дозволят тесные пределы такой человеческой берлоги.

Все эти пары соединены, каждая между собой, узами свободной любви, или, что одно и то же, свободного сожительства. Но при таком устройстве их быта, вся гнетущая сторона жизни, весь производительный труд выпадает исключительно на долю женщины, — совершенное подобие африканских кафров и полинезийских дикарей. Женщина здесь полная, безусловная раба своего мужа или коханка. Она, от раннего утра до позднего вечера, несет тяжелый поденный труд, а самец ее в это время заседает безвыходно в шинке, из которого выходит вечером единственно затем, чтобы попробовать крепость своих кулаков на выносливом теле самки, отобрать от нее дневной заработок, который завтра же будет им пропит, и затем, в ожидании утра и предстоящего пьянства, завалиться спать, как попало и где попало. Между этими парами зачастую происходят самые отчаянные драки, где пускается в ход и дреколье, и топор, буде под руку как-нибудь попадется, — драки, составляющие вечный предмет разбирательств в XI циркуле и доводящие мужчин до тюрьмы, а случается и до каторжной работы.

Но что всего замечательнее, эти женщины, по большей части все старые и сильно безобразные, искренно привязаны к своим сожителям, почти всегда добровольно отдают им заработанные деньги, не ропщут на страшные побои и увечья, заставляющие их иногда по неделям отлеживаться в грязном углу, почти без пищи, если из жалости кто-нибудь не кинет больной, как собаке, какой-нибудь огрызок хлеба, и наконец, избитые, ободранные, ограбленные, они еще идут вместе с мужем, которого за буйство забрала полиция, и с энтузиазмом и горькими слезами, на коленях выпрашивают ему в циркуле помилования.

И эти пары, кроме свободного сожительства, часто бывают еще связаны своими детьми. В этой ужасной обстановке, иногда среди зимней стужи, в оледенелых стенах и на оледенелой земле, женщина, без малейшей посторонней помощи, без малейшего участия к себе со стороны своего паразита-мужа и остальных сожителей, производит на свете живое существо, которое зачастую тут же и умирает вместе с матерью. Это последнее приключение служит паразиту источником великой досады и горя: кто ж теперь будет зарабатывать деньги, которые он беспрепятственно мог бы относить к шинкарю?! И паразит с горя напивается пуще обыкновенного, отдавая в шинок последние лохмотья покойницы, которую меж тем квартирные хозяева с помощью полицейского комиссара торопятся свезти на кладбище, чтобы поскорей опростать место в берлоге под нового жильца или жилицу.

Атмосфера в этих берлогах убийственная. Да и немудрено: такова профессия, таков промысел этих парий. С самого раннего утра женщины, запасшись мешками и корзинами, выходят на работу, вразброд по всему городу, особенно же по торговым и грязным кварталам. Здесь они занимаются подбираньем всевозможных уличных нечистот, которые после уже, у себя на квартире, группируют в разные отделы. Мужчины в это время еще спят, а проснувшись, непосредственно отправляются в шинок и начинают свое обыденное заседание в этом злачном и прохладном месте. Таким образом в течение целого дня квартиры их остаются почти совершенно пустыми. Изредка разве попадется какая-нибудь женщина за домашней работой,

то есть за складкой и сортировкой подобранных продуктов своей торговли, да мертвецки спящий вповалку пьяный мужчина. Трезвых и тем более деятельных мужчин совсем не видать между населением этих берлог.

Между тем вот какие предметы составляют искомый товар тружениц-женщин: песий помет, который покупают у них жиды, от 30 до 40 коп. за корзинку, и потом перепродают его перчаточникам, битое стекло на пуды (по 20 коп. за пуд) через тех же евреев сбывается стеклянным заводам на переливку; тряпье и оборвыши бумаги (по 20 коп. за два пуда) идут на бумажные фабрики, и наконец кости (по грошу фунт) на сахарные заводы.

Все эти предметы зачастую сваливаются в том же самом жилище, заражая собою воздух до невозможной степени. Тут гнездо тифа и холеры. Но привычка — дело великое. Эти люди не только не смущаются присутствием собранных продуктов, а еще умудряются иногда устраивать себе на них временные постели и спят на ложе из костей, покрытых грудою рваных и грязных тряпок и бумажек. Выбором костей вообще не затрудняются. Чаще всего, конечно, попадают к ним кости убойного скота, но если попадется собачий или лошадиный остов, то и тем не пренебрегают. Местные старожилы говорят — не знаю, впрочем, насколько этому можно верить — будто в прежнее время, когда еще был совершенно свободен пропуск за черту города, иные женщины этого класса пробирались на кладбища, особенно в те ночи, когда продолжительным и сильным дождем поразмывает могилы, из которых часто в таких случаях торчат человеческие кости. Эти кости будто бы также служили им добычей и в числе других сбывались на заводы. Вообще же вся торговля этого народа происходит не иначе, как через посредство жидов-шинкарей, которые уже сами по себе имеют дело с фабриками и заводами.

Теперь надо посмотреть, из каких классов общего населения слагается этот особенный изолированный класс трущобных обитателей Броварной улицы. Мужчины — всякий сброд: мещане, солдаты отставные, дворовые люди, прислуга, пропойцы-чиновники, выгнанные из службы, пропойцы-ремесленники, прогнанные от хозяев, замотыги-крестьяне и тому подобный люд, из которого обыкновенно формируется паразитный нарост общества и который преимущественно пред прочими классами, под влиянием невыгодных условий подобной жизни, поставляет наибольшее число кандидатов в тюрьмы, исправительные заведения, арестантские роты и каторжную работу в сибирских рудниках. Женщины по большей части принадлежат к пришлому в город крестьянскому сословию, но есть между ними и мещанки, попадаются даже личности и из выше поставленных слоев общества. Женщины эти, за весьма немногими исключениями, начиная с развратной жизни, проходят мало-помалу все ее степени и под старость оканчивают существование в берлогах Броварной улицы. Многие из них тут и родились, и выросли, и даже состарились; но кто был отец, кто мать — про то одному Богу известно.

И таким образом тянется не жизнь, а прозябание этих жалких людей, один вид которых вместе с видом их жилья не на шутку покоробит нервы и сожмет жалостью сердце человека, которому впервые доведется все это увидеть.

Броварная улица в период революционного террора преимущественно поставляла контингент простых работников, заурядных исполнителей "по части операторной". Здесь уже были готовые кинжальщики и вешатели, для которых своя голова была не дорога, а дороги только те пятьдесят копеек, что получали они в сутки от агентов ржонда, и те полтора рубля, что, по положению, выплачивались им за каждую удачно совершенную "операцию".

XXI. Оператор

На другой день после заседания тайного трибунала, добрый поляк Моисеева закона, пан

Штейнгребер, с самым невинным видом пробирался вниз по Беднарской улице на Броварную. Он всегда принимал самый беззаботный, самый невинный и благонамеренный вид, когда шел с каким-нибудь рискованным поручением по своей специальности. Баба-дворник пропустила его в темный коридор одного из двадцатиквартирных домишек.

— А что, дома пан Биртус? — спросил пан Штейнгребер, предварительно изогнувшись для того, чтобы заглянуть во входную дыру одной надворной берлоги.

— В огрудке! — нехотя и раздраженно ответила ему оттуда женщина с синяками на лице, возившаяся в берлоге над сортировкой костей и бумаги.

Пан Штейнгребер знал уже, в каком именно «огрудке» может заседать пан Биртус, и потому, не расспрашивая более, вышел опять на улицу и пошел в известном ему направлении.

В пределах "Старого Города", который скучился около площади "Старе Място" лабиринтом своих узких, шумных и грязных переулков, с высокими, узкими и пестрыми домами, где каждый изгиб улицы, каждый камень, наконец, отзывается чем-то средневековым и именно католически-средневековым, — одною из наиболее оригинальных особенностей являются приютившиеся там и сям, за высокими стенами и каменными заборами, «огрудки», которые также называются «кнейпами». В прежние времена, когда еще в Варшаве и не слышно было о революционном терроре, стоило пройтись иногда хотя бы по Подвальной улице, летом, часов около восьми вечера — до слуха вашего непременно донеслись бы из нескольких мест веселые звуки музыки. С одной стороны, бывало, зудит вам в ухо разбитая, хриплая шарманка, с другой — рассекает воздух резкий тромбон, с третьей — турецкий барабан с металлическими тарелками размеренно бухает свои воинственные такты, там скрипка, здесь — кларнет; повсюду, бывало, видишь и слышишь, что жизнь тут ключом кипит, что Варшава — город веселый, беззаботный, что она звуки любит, движение любит. Но в то время, к которому относятся события нашего рассказа, над этой искони веселой частью города царила тягостная тишина, мертвенность, отсутствие какого бы то ни было намека на веселый звук веселой жизни: все смотрело мрачно, злобно, подозрительно… Но огрудки, за исключением звуков, не переставали жить по старине своей обычной жизнью.

Через очень старую, толстую, окованную железом дверь, пан Штейнгребер вошел в коридор еще более старого дома. Фонарь, постоянно вывешенный в этом коридоре и тускло мигающий днем и ночью, указал ему проход во двор и оттуда в «огрудек», известный под фирмою «Эдем». Но чтобы попасть в этот «Эдем» обитателей Броварной, надо было пройти все пункты Дантовой «Комедии» в миниатюре. Роль ада в этом случае играл мрачный, узкий и сырой коридор, выводящий в чистилище, то есть на двор, пространством в три-четыре квадратных сажени, словно глубокий ящик, загороженный со всех сторон высокими стенами. Здесь ощущается уже некоторое присутствие света. Я бы сказал "и воздуха", если бы не побоялся сделать местную погрешность, так как еврейские дворы вообще чистотою воздуха не изобилуют. На то, впрочем, этот двор и служит чистилищем, сквозь которое, по неуклюжим острым камням да ветхозаветной грязи ведет путь в «Эдем», где в доповстанские времена раздавались райские звуки хромого оркестрика, составленного из шести или семи убогих артистов еврейского происхождения, и где, как прежде, так и теперь, предлагается каждому посетителю за пять грошей куфель варшавского пива, которое, неизвестно почему, носит титул баварского, "самого баварского, какого даже и в Баварии не найдете", по остроумному объяснению краснощекой Гебы.

На каких-нибудь десяти квадратных саженях растут себе пять-шесть тощих кустиков сирени да акации, вдоль стен идут кой-как сколоченные навесы и животрепещущие беседочки; в глубине — буфет с разносортными водками; со стороны — запах жарящегося масла, верный признак

огрудковой кухни, где местный Карем являет алкающей публике свое искусство во всевозможных польских снедях. По всем направлениям огрудка то и дело шныряют, либо с тарелками, либо с куфелями и бутылками, Гебы — «служонцы», из которых иные весьма миловидны и своими бойкими глазами очевидно пронзают сердца многих «завсегдатаев» огрудка.

В самом заднем уголке садика, в решетчатой беседочке, под покровом сиреневых кустов, постоянно с утра до ночи ютилась некая компания крайне подозрительного свойства. Эта компания, обратившаяся в завсегдатаев «Эдема» с того самого времени, как начались первые уличные демонстрации в Варшаве, основала в укромной беседочке нечто вроде своего клуба. При взгляде на эти обшарпанные, рваные костюмы самого разнообразного цвета, покроя и характера, начиная с фрака и кончая женской кофтой, а в особенности, при взгляде на полупьяные, наглые и подлые физиономии членов этой компании, которые каждого незнакомого человека окидывали подозрительными, нахальными и дерзко вызывающими взорами, вы не усомнились бы отнести эту компанию к категории уличных мазуриков, которые собрались сюда запивать магарычи после удачной ночной работы. И действительно, в доповстанское время эти молодцы, близко знакомые с полицейскими камерами, были сполна известны полиции в качестве любителей чужой собственности, но в Варшаве описываемой минуты, в Варшаве, управляемой подземным ржондом, они с гордостью называли себя патриотами. Ни одна уличная демонстрация, ни один крупный скандал, ни одно костельное сборище не обходились без их ближайшего участия, и к их посредству обыкновенно обращались все таинственные антрепренеры демонстраций, устроители кошачьих концертов и т. п. Подозрительная компания, называвшая себя черным братством, близко знала всю паразитную сволочь мужского населения Броварной, Кршивего-кола и других трущобных закоулков, могла и умела в нужную минуту кликнуть клич и собрать толпы праздного, полупьяного люда, рассеяться в этих толпах и, каждый в одиночку, настраивать их известным образом на то или другое дело и направлять в ту или другую сторону.

Члены "черного братства" если и знали взаимно имена друг друга, то избегали употреблять их. В «Эдеме» они обращались один к другому не иначе, как под литерами или нумерами: пан А, пан В, пан С, пан Нумер Тршидесенты и, под этими же литерами были известны и тайным антрепренерам ржонда.

К этой-то компании и направился теперь пан Штейнгребер.

— Пан D, на одну минуту... дело есть, — обратился он к одному завсегдатаю, вежливо приподнимая свою шапку.

Сапожный подмастерье Биртус, известный здесь под кличкой пана D и видимо пользовавшийся авторитетом между своими компаньонами, неторопливо, с достоинством поднялся с места и вышел из беседки.

— Что такое? в чем дело? — через плечо спросил он Штейнгребера, отойдя с ним на приличное расстояние и садясь за уединенно торчавший столик.

— Заказ есть, — любезно сообщил ему цивилизованный еврейчик.

— Хм... резницкая работа? кабаны колоть а?

— Так, верно, муй коханы! У тебя есть смекалка!

— Хм... догадаться не трудно! — ухмыльнулся Биртус, расправляя усы. Он хоть и считался подчиненным пана Штейнгребера, как начальника одного из операторских отделов, но

старался держать себя пред ним с "республиканскою независимостью", дескать, ровность, черт возьми, так уж полная ровность, и на начальство, значит, наплевать! Штейнгребер же, не производивший лично «операций», а только руководивший ими, постоянно чувствовал нужду в услугах пана Биртуса и потому в сношениях с ним благоразумно прятал в карман свою начальственность и относился к своему подчиненному не иначе, как с несколько искательною любезностью.

— Так как же? — помолчав с минутку, спросил он размышлявшего о чем-то Биртуса.

— То есть, чего это "как же"? — рассеянно повернул тот голову.

— Да насчет заказа?

— Да что насчет заказа? Плохо вы платите, пан*о*ве, не стоит с вами и дела иметь, вот что я скажу вам! — небрежно зевнул Биртус. — Обещали аккуратно выплачивать нашему брату по пятнадцати злотых в сутки, а вот уж одиннадцатый день, что от вас и десёнтки[178] не видать на пиво! Так ведь нельзя! На вас таким манером никто и работать не станет!

— Что же делать! времена теперь тугие! — сокрушенно вздохнул еврейчик. — Дай срок, вытурим москаля, все сполна уплатим...

— Эге!.. Уплатим!.. Нет, не бойсь, сам ты из комитета на нашу работу крупными кушами получаешь, да только куши-то эти в твоем кармане остаются! Я ведь знаю! Меня не проведешь!

— Ай, убей же меня Бог!

— Ну, ну, не клянись, а то ведь и взаправду убьет, пожалуй! С Богом, брат, не шути! Это не свой брат!

— Ну, хорошо, я доложу... комитет рассмотрит и уплатит, тут сомнений быть не может!

— Нет, это что! Это мы уже слыхали не раз!.. А ты, брат, деньги на стол, а тогда и разговаривать будем!

— Но подумай же, муй коханы, войди в наше положение!.. вспомни только, ведь это дело ойчизны — святое дело! ведь это над подлым москалем надо совершить справедливую кару!

— Да что ты мне про москаля поешь!.. Москаль ли, поляк ли — это нам все равно! Ты мне заплати только, так я и тебя придушу, пожалуй, коли хочешь!

— Много чести, коханку, много чести!.. Ты очень любезен, но... все же...

— Ну, брат, некогда мне толковать тут с тобой всухую! — Решительно поднялся Биртус. — Ты вот и пива не догадался поставить доброму человеку, а хочешь, чтоб я тебе шинку[179] из москаля готовил!

— Одну минутку! — умоляя, остановил его за рукав Штейнгребер.

— Чего еще?.. Ведь все уже сказано!

— Я прикажу пива подать.

— Приказывай, коли охота есть, а я к своим пойду, там разговор интересный...

— Но подумай, ведь это комитет! ведь это ржонд народовый!.. Ведь это же все его декретом!.. Ведь с комитетом шутить нельзя!

— Ах ты, шут полосатый! — нагло, руки в боки, расхохотался в глаза ему Биртус. — Боимся мы вас, что ли, со всеми вашими комитетами?! Плевать я хочу на весь ваш комитет! Не мы в нем, а он в нас нуждается! А хотите, чтобы мы на вас работали, так держите уговор по чести, чтобы все это было благородно, как между порядочными людьми!.. Условились платить — ну, и платите, а тогда и требуйте! А то выходит, что прощелыги, и нас, простых, добрых людей, ремесленников, только под знакомство с Дитвальдом[180] подводите! Это уже не честно!

— Одну минутку, душечко!.. одну минутку! — снова схватил еврейчик уходящего Биртуса. — Большой секрет есть, и до тебя лично касается.

Тот недоверчиво и неохотно остановился.

— Слушай, брацишку… я велю пива подать?.. А?

— Тьфу ты, проклятый!.. От-то лайдак!.. Ай, Боже ж мой, Боже!

— Ну, говорю ж, одну только секундочку!.. Ну, слушай… Деньги, так и быть, я тебе выплачу сполна… сейчас же, сию минуту… только выслушай.

— Плати деньги.

— Ну, ну, сейчас же, говорю, сейчас… Вот видишь ли…

— Плати деньги или проваливай! — настойчиво и круто повторил Биртус.

— Ну, ну, хорошо… только заслони меня, — согласился жидок, запуская руку в боковой карман, — или нет лучше зайдем куда-нибудь в такой уголок, где бы нас не видели, а то неравно и другие пристанут, а у нас насчет денег очень круто, говорю тебе!

И они прошли в одну из незанятых беседок.

— Ну, заслони ж меня, дружочек…

— Да не видать, будь покоен…

— Нет, все же заслонивши-то понадежнее будет… а то, ей-Богу, увидят!.. Я тебе скажу по секрету, что это я одному только тебе выплачиваю, и то не из казенных, а из своих собственных, из карманных, — як Бога кохам и як пана кохам!

Биртус только выразительно подсвистнул на это — дескать: нечего зубы-то заговаривать, "из собственных", так я тебе и поверил!

Штейнгребер присел за столик и, сторожко озираясь по сторонам через драночную зеленую решетку, нерешительно вынул из кармана бумажник.

— Да заслони ж меня, прошу тебя, от входа!

Биртус, спиной к входу, стал, облокотясь на стол, против своего начальника и ожидательно устремил на бумажник плотоядные взоры.

— Слушай, мопанку, — заговорил он веско и решительно, — ты заодно уж давай мне и на долю

товарищей… я расплачусь с ними, а то так неловко…

— Ай не можно! как Бог свят на небе, не возможно! Только одному тебе, и то по дружбе!

— Ну, ну, ладно! только доставай поскорее!

Штейнгребер раскрыл свой бумажник и стал уже отсчитывать ассигнации, как вдруг Биртус, словно ловкая кошка, мгновенно цапнул его за руку и выдернул из нее деньги.

— Гевалт! — коротко выкрикнул было перепуганный еврейчик.

— Тсс!.. услышат! — шепотом предостерег его Биртус. — Чего ты? Успокойся!.. я только пересчитать хочу, сам лично удостовериться желаю, а ты *гевалт* орешь!

И он неторопливо стал отсчитывать мелкие бумажки. Оказалось, что у Штейнгребера в наличности было шестьдесят рублей. Биртус отсчитал ровно половину.

— Ну, вот это мне, а остальное тебе! — сказал он безапелляционно-решающим тоном. — Так как ты говоришь, что это не казенные, а твои, то я и поделился с тобой по-братски, а ты с казны получи что мне следует и за прошлое, и в счет будущего, да гляди, не проговорись моим товарищам, а то они остальное от тебя выудят — ребята ведь ловкие!

— Но ты же должен поделиться с ними! — невольно кислым тоном пролепетал Штейнгребер.

— Нет, мопанку, уж это ты делись, коли хочешь, а я не стану! Мне ведь этакая благодать не часто приходит! — заметил Биртус, пряча деньги в боковой карман и застегиваясь, для пущей верности, на все пуговицы. — Ну, а теперь, мой почтенный шеф, давайте и о деле потолкуем, — прибавил он, быстро переменив прежний грубоватый тон на самый вежливый и любезный. — Вам угодно, чтобы мы кабаны покололи и чтобы вам добрая шинка была? Это можно с удовольствием!

Штейнгребер, которому пришлось так внезапно и неожиданно расстаться с половиною ржондовых денег, тогда как он совсем был расположен считать их своей собственностью, остался крайне огорчен поступком негодяя Биртуса, но — делать нечего! — Биртус был ему нужен, и потому, скрепя сердце, он решил покориться силе данного случая и расчел, что теперь ему лучше всего остается вступить в свою «законную» роль начальника пана Биртуса.

— Трибунал ржонда народоваго, — начал он в несколько холодном и официальном тоне, — в заседании своем от вчерашнего числа приговорил к смертной казни за измену москаля Хвалынцева. Это лицо будет указано. Именем трибунала повелеваю тебе исполнить над ним приговор.

— Кому это? Мне? — прищурился Биртус.

— Тебе, именем трибунала! — подтвердил Штейнгребер.

— Ну, уж это дудки!

— Как дудки?! — вскочил встревоженный еврейчик.

— Дудки, мопанку, дудки! Я вам и то уже самолично два приговора исполнил, а потому имею право рассчитывать на некоторое повышение в организации! Что я вам, простой работник, поденщик дался, что ли?.. Меня все мои товарищи уважают, а вы хотите, чтоб я вам свиней

колол, как простой резник! Нет, черт возьми, позвольте тоже и мне теперь распоряжаться, я сам хочу быть паном и начальником!

— Но, коханку, подумай, ведь это уж сопротивление власти трибунала…

— Ну, и сопротивление! так что же?

— Как что же?.. Ведь это, в некотором роде, с твоей стороны бунт выходит?..

— Ну, да!.. Ну, и бунт!.. Конечно, бунт, на то и революция! А вы что себе думали?

Смешавшийся Штейнгребер, не находя уже более никаких возражений и чувствуя, что он не власть, а простая пешка перед этим «революционером», стоял пред ним, смущенно и недоумело растопырив пальцы.

— Вот что я скажу тебе, мопанку! — хлопнув его по плечу, продолжал меж тем Биртус. — Самому мне из-за вас больно уж рисковать своей башкой не приходится! Довольно с вас и тех двух моих «крестников»! Те заказы я исполнил вам честно, и баста! А то зарвешься и влопаешься… Это ведь риск! А я, коли хотите, заподряжу вам человека, который возьмется… Новичок еще, но это ничего! Обработаем! Угодно?

Штейнгребер согласился.

— Где ж этот человечек? — спросил он.

— А вон, сидит с моей компанией… Совсем еще мальчишка, но это и лучше: по крайней мере, легче уломаем, да и дешевле обойдется.

— А как зовут его?

— Зовут-то?.. А зовут его пан Нумер Тршидесенты.

— И скоро можно обработать?

— К завтрашнему дню будет готов, ручаюсь.

— Но как же мне-то узнать про то?

— А я вас извещу, вы уж распорядитесь только, чтобы ксендз привел его к присяге, так как он человек очень набожный и добрый католик, а об остальном, кроме платы, и не заботьтесь: я все беру на себя; вы мне только наперед кабана укажите, которого колоть, чтобы мы твердо в лицо его знали, а то неравно можно ошибиться, ну, а это уже не хорошо, потому что вам тогда в «Рухе» опять извиняться придется, что закололи-де по ошибке.

Условившись таким образом с паном Биртусом, пан Штейнгребер не побрезгал пожать ему грязную руку и ушел из «Эдема», хотя и обнадеженный насчет «заказа», но сильно огорченный и раздосадованный в душе по поводу дележа, столь бесцеремонно произведенного его прямым подчиненным.

"Ты у меня еще за это поплатишься! Я тебе этого не подарю!.. Надо будет при первом же случае найти надежного человека и приколоть, во что бы то ни стало, это животное, а то иначе никакого уважения, никакой дисциплины не будет", решил про себя пан Штейнгребер, еще не успев даже выйти на улицу.

XXII. В катакомбах

Через день после этого свидания, пан Биртус очень набожно слушал вечернее «набоженство» в Кармелитском костеле, что на Краковском предместьи. Обок с ним стоял молодой и тщедушный парнишка, лет восемнадцати, с виду похожий на забулдыжного мастерового. Это был пан Нумер Тршидесенты. Выражение ожидания в его испитом лице порою сменялось легкою тенью тоскливого раздумья и нерешительности. По этой тени можно было бы заметить, что в юноше происходит какая-то внутренняя борьба с самим собой. Иногда эта тоскливость в его лице выступала до того ясно, что даже пан Биртус замечал ее, и своим взглядом и своей миной старался подбодрить юношу. В половине костельной службы мимо этой пары прошел Штейнгребер с ксендзом Микошевским и кивнул Биртусу, который последовал за ним в другой конец костела. Нумер Тршидесенты, оставшийся на своем месте, оборотясь в ту сторону, видел, что пан D пошептался о чем-то с цивилизованным еврейчиком, а тот, в свою очередь, отпустив от себя пана D, стал шептаться с ксендзом, после чего ксендз пробрался в сакристию, не забыв, по обычаю, идучи мимо главного алтаря, «пршиклянчить»[181] и слегка ударить себя кулаком в перси. Скрывшись в сакристии, ксендз Кароль уже не показывался более в храме. По окончании набожества, к Биртусу подошел мягкой, неслышной и вкрадчивой походкой монах-кармелит и, беззвучно пошевелив губами, более взглядом, чем словом пригласил Биртуса вместе с его спутником следовать за собой. Он провел их в сакристию и попросил обождать, пока все посторонние удалятся из костела. Минут десять спустя, когда массивный ключ звонко повернулся в массивном замке главных дверей, монах зажег потайной фонарик и, захватив с собой связку больших ключей, снова пригласил Биртуса с парнишкой следовать за собой. Через боковую узенькую и низкую дверку он вывел их на обширный монастырский двор и, ради предосторожности спрятав фонарь под полой своей широкой власяницы, повел вдоль костельной стены к другой низкой, но широкой двери, которая вела в костельные подвалы. Здесь он передал фонарь Биртусу, попросив подержать его на минутку и заслонить свет фуражкой. Визгнул ключ в ржавом затворе, открылась одна половинка дверей — и на путников из глубины мрачного подвала пахнуло сыростью и запахом плесени. Монах, придерживая дверь, пригласил их спуститься туда первыми. Нумер Тршидесенты услышал за собой стук захлопнувшейся грузной половинки и уже невольно вздрогнул, подумав, что его оставили здесь одного с паном D, как в ту ж минуту мимо его беззвучно скользнула темная тень, и монах, взяв фонарь от Биртуса, пошел впереди их, освещая и указывая дорогу.

Кармелитский кляштор особенно замечателен своими длинными подземельями, которые занимают весьма большое пространство и образуют такое сцепление различных закоулков и разветвлений, что надо быть очень хорошо знакомым с ними, чтобы не спутаться и не заблудиться в этом подземном лабиринте. Подземелья эти, вырытые довольно глубоко в твердом грунте и облицованные древними большими кирпичами, почти все имеют вид высоких и широких зал, с полукруглыми сводами, которые покоятся на массивных колоннах. В прежнее время, до отвода местности на Повонзках, катакомбы эти, имея назначения усыпальниц, были одним из самых обширных кладбищ Варшавы. Но отцам-кармелитам представилась выгодная возможность отдать свои катакомбы под обширный винный склад купцу Зейделю и вследствие этого часть гробов они посвозили по ночам на Повонзки, а с остальной частью распорядились самым бесцеремонным образом: отвели одно подземелье, находящееся под главным входом в костел, и доверху завалили его костями и трупами, выброшенными из гробов, как попало, и накиданными в груды, один на другой; гробовыми же досками целую зиму отопляли монастырские помещения. Самое смелое воображение едва ли могло бы представить себе более ужасную и отвратительную картину, чем та, которую являют собой эти безобразные груды человеческих трупов. Здесь неуважение к смертным останкам дошло до крайних пределов, и это кощунство оказывалось монахами единственно ради тех 15000 злотых, которые ежегодно получали они от купца Зейделя. Впрочем, всех мертвецов невозможно было упрятать

и в эту набитую доверху катакомбу, а потому в некоторых боковых камерах и коридорах, которые не заняты винными бочками, валяются еще куски истлевшей одежды, черепа и ребра и кое-где попадаются полуразвалившиеся гробы, из которых торчат человеческие кости. Крысы и летучие мыши нашли себе привольное обиталище в этих подземельях: последние целыми рядами унизывают сырые стены, поросшие грибчатой порослью, цепляясь одной из задних лапок за кирпичные скважины и вися вниз головой.

Жуткое чувство безотчетного страха обуяло не только юношу, но и пана Биртуса, когда они, следуя за тенью монаха, углублялись все дальше и дальше в закоулки, коридоры и залы этого мрачного лабиринта, и особенно когда, бывало, хрустнет под ступней сломавшееся ребро, или череп, нечаянно тронутый носком сапога, шурша откатится в сторону. Иногда крыса перебегала им дорогу, а летучие мыши, испуганные светом фонаря, целыми вереницами со слабым писком тревожно летали над головой, и широкие тени от их неуклюжих крыльев, смутно колеблясь на стенах и на потолке, казались какими-то призраками, которые трепетно поднимаются из этих полуразрушенных гробов и возмущенно сопровождают таинственное шествие трех спутников.

Наконец, в одном из боковых закоулков мелькнула полоса света. Монах-путеводитель, подняв повыше фонарь, остановился в проходе и сделал пригласительный жест юноше, а Биртусу приказал остаться на месте.

Пан Тршидесенты боязливо покосился на своего ментора и замялся: он не решался следовать далее в одиночку.

— Ступай, ступай! не бойся! — ободрил ментор и почти насильно втолкнул его в смежную катакомбу.

Монах в эту самую минуту скрыл фонарь у себя под полой. Юноша обернулся назад, но там уже был мрак непроницаемый. Он глянул вперед и остановился, пораженный невольным страхом, шепча какую-то молитву и торопливо крестя свою грудь трепещущей рукой.

Здесь все было рассчитано, на эффект, все клонилось к тому, чтобы сразу произвести подавляющее и фанатическое впечатление на неопытного и малоразвитого неофита.

Да и в самом деле, какому-нибудь юноше мастеровому можно было смутиться не на шутку, когда увидел он перед собой, в каких-нибудь пяти шагах расстояния, старый черный гроб, на крышке которого посередине было поставлено Распятие, а по бокам его горели две желтые восковые свечи в оловянных шандалах. Перед пьедесталом Распятия, как требовала обычная польско-революционная формальность, блестели два скрещенные кинжала, а по ту сторону гроба стояла черная фигура ксендза, лицо которого было покрыто остроконечным капюшоном с двумя дырами для глаз. Этот капюшон, употребляемый монахами некоторых орденов, надевался польскими ксендзами в подобных случаях нарочно, для большей безопасности: неофит не мог видеть черты лица приводящего его к революционной присяге и через то лишался возможности выдать его при случае законному правительству. За ксендзом, в некотором отдалении, уже полускрываясь во мраке, неподвижно стояли два монаха, в точно таких же нахлобученных капюшонах, которые своей странной остроконечной формой придавали этим трем фигурам нечеловеческий, страшный и зловещий характер.

— Приблизься, сын мой!.. Не бойся, ты между друзьями, — мягким и кротким голосом проговорил ксендз, заметив смущение юноши, но звук этого голоса, глухо выходивший из-под материи капюшона, казался странным и неестественным.

Мастеровой не двигался с места и все еще машинально продолжал креститься.

— Да ступай же ты, быдло!.. От-то дурень, право! — досадливо буркнул ему сзади из мрака пан Биртус и, для пущей убедительности, пихнул его вперед обеими пятернями.

Пан Тршидесенты, убедясь, что ментор его здесь, что он не покинут, уже несколько спокойнее приблизился ко гробу.

— Преклони голову и колени, сын мой, — продолжал тот же кроткий и неестественный голос из-под капюшона.

Тршидесенты беспрекословно исполнил это требование.

— Добровольно ли ты пришел сюда, сын мой, и знаешь ли зачем приходишь?

— Добровольно… знаю, — прошептал юноша. — Добрый ли ты поляк и добрый ли католик?

— Добрый… — вымолвил он уже несколько внятнее.

— Любишь ли свою отчизну, нашу многострадательную и на кресте распятую Польшу?

— Люблю, пане ойче!

— Желаешь ли ее восстания из мертвых и освобождения из-под ига немцев и москалей?

— Желаю, ойче!

— Желаешь ли служить ей и всего себя принести в жертву, как добрый и верный сын, ради счастья и свободы нашей общей матери — Польши?

— Желаю, ойче!

— Ненавидишь ли утеснителей народа нашего всем сердцем, всем духом и всем помышлением твоим.

— Ненавижу.

— Желаешь ли мстить беспощадной и святой местью всем врагам народа нашего?

— Желаю, пане ойче!

— Ты не присягал еще на верность ржонду народовому?

— Нет еще, ойче!

— В таком случае подыми руку, коснись ею края знамени и повторяй за мной то, что я буду говорить тебе.

При этих словах один из монахов выступил из темноты, взял церковную хоругвь, прислоненную к углу стены, и, развернув ее, наклонил несколько древко над присягающим юношей, а ксендз, вынув из-за пазухи лист бумаги, приблизил его к свече и начал читать, отчетливо и медленно отделяя фразы.

Юноша повторял за ним каждое слово, невольно поддаваясь волнению религиозного страха, к

которому так располагала вся исключительная обстановка этого таинственного обряда.

"Клянусь всемогущему Богу, — говорил он вслед за ксендзом, — клянусь Пресвятой Его Матери и всем святым, что отныне принадлежу к народной организации, и что все силы, имущество мое и жизнь я готов посвятить для освобождения отчизны. Клянусь, что всегда и везде буду слепо и безусловно повиноваться повелениям Центрального Народового Комитета, как единственной законной власти и начальникам от него установленным. Клянусь, что свято буду исполнять обязанности на меня возложенные, что готов буду по первому требованию стать на указанное место с оружием, которое мне будет дано, и начать сражаться с врагом отчизны и пролить последнюю каплю крови за ее освобождение. Клянусь свято сохранить тайну, как на свободе, так и в темнице, несмотря на мучения и истязания. Ежели бы я нарушил сию клятву и сделался изменником отечества или не исполнил своих обязанностей, то да не минует меня заслуженная казнь от Бога и людей в настоящей жизни и в загробной. В этом да поможет мне Господь Бог, Пресвятая Его Матерь и все святые. Amen".

— Теперь, сын мой, наложи правую руку твою на эти кинжалы, — обратился ксендз к юноше, указав ему на скрещенные клинки, — и повторяй за мною особую присягу мстителей народовых.

И он снова стал читать своим размеренным голосом: "Присягаю Богом всемогущим на слепое повиновение ржонду народовому; клянусь беспрекословно и твердой рукой исполнять те казни, которые будут мне поручены, и принимаю на себя всю ответственность пред трибуналом народовым за промедление, а тем паче за неисполнение убийства, возложенного на меня ржондом народовым. Amen".

— Целуй крест на своей клятве, сын мой, — внушительно заговорил ксендз, окончив присягу, — целуй раны и язвы Распятого и проси Бога, да поможет тебе, во имя этих ран и язв, твердо владеть вручаемым тебе оружием. Теперь ты выше, чем простой ратник-повстанец, ты принял двойную присягу и потому назначение твое неизмеримо важнее и почетнее: ты ангел-мститель твоего народа. Наноси смело и верно смертельный удар твоим освященным оружием и знай, что сам Бог направляет твою разящую руку. Не ты разишь — сам Бог разит; ты же только избранный сосуд, избранное орудие разящего Бога и Его святой воли. Бог сохранит тебя здрава и невредима во всех путях твоих; поэтому не бойся ничего. Святая церковь будет за тебя молиться неустанно, и каждый подвиг твой на поприще мстителя народного — в книге живота зачтен тебе будет в такое доброе дело, за которое все твои грехи простятся. Если же Бог похотел бы, — продолжал ксендз со вздохом, — чтобы ты попался в когти москалю, то да не смущается сердце твое и этим испытанием, ибо ангел Господен сохранит тебя и, незримо для врага, изведет из темницы. Но ежели бы тебе предстояла и самая смерть от руки московской, то не смущайся и виждь в этом всеблагий перст Божий, ибо это будет служить тебе видимым знамением, что ты угоден Господу, что Бог еще при земной твоей жизни уготовал тебе райский венец и возвел в сан святых своих великомучеников.

Продекламировав весьма гладко и не без патетизма всю эту тираду, ксендз подошел к коленопреклоненному юноше и, наложив свои руки на его голову, произнес разрешительную молитву и дал ему «отпуст», т. е. прощение всех грехов его.

— Завтра утром приходи к обедне в этот же костел: тебе дадут причастие, — сообщил он ему в заключение.

Вслед за тем из глубины катакомбы выступил другой монах с белым металлическим подносом, на котором помещались церковное кропило и сосуд со святой водой.

С почтительным поклоном и молча приблизился он к ксендзу, приводившему к присяге. Тогда ксендз прочитал молитву над кинжалами, благословил их, окропил святой водой и, поцеловав один из клинков, подобно тому как целуется напрестольный крест, с благоговением подал его пану Тршидесентему, окропя и благословя заодно уж и его вместе с кинжалами.

— Во имя святой Польши и пролитой крови братий твоих, вручается тебе это освященное оружие, — заговорил он снова в том же патетическом тоне. — Храни его до времени у сердца, на груди, под одеждой твоей и употребляй с честью, во славу Бога и отчизны. Теперь можешь встать, добрый сын мой. Приветствую и поздравляю тебя, как нового бойца за вольность, ровность и неподлеглость нашу.

Пан нумер Тршидесенты вложил кинжал в поданные ему ножны и спрятал его под жилеткой. Затем ксендз указал ему на выход, где ожидали его пан Биртус и кармелит с фонариком. Юноша удалился.

Оставшиеся в катакомбе сняли с голов капюшоны — и ксендз Кароль Микошевский обнаружил свою смиренно-мудрую физиономию.

— А что, пане ксенже, не зайти ли теперь ко мне в келью да не потребовать ли нам старой венгржины? — лукаво и добродушно подмигивая, предложил ему один из монахов, — у нас ведь добрая, заповедная!.. Одно слово: монастырская!

— Что ж, нынче ведь разрешение вина и елея, а после трудов таких и подавно подобает! — шутливо согласился Микошевский.

— А у него, кстати, какие карточки фотографические есть! — присовокупил другой монашек, — недавно из-за границы тайно привезли нам… Прелесть, что за позы и что за фигуры! И больше все, знаешь, эдак, наш брат монах смиренный фигурирует, ну и святые матери тоже; но есть и от мирского кое-что… Одним словом, очень, любопытно и завлекательно!

И смиренные служители церкви, припрятав в уголок атрибуты только что оконченной присяги, беспечно и весело болтая, покинули мрачные катакомбы и отправились мирно наслаждаться постным венгерским вином и скоромными карточками.

XXXIII. Узелок

В минуту окончательного разрыва, когда Хвалынцев, сопровождаемый словом «изменник», вышел от поручика Паляницы, он был почти вне себя. Голова его горела, нервы были возбуждены, и в мозгу роились бессвязные отрывки каких-то мыслей. Одно только сознание, одно убеждение выступало ясно и определенно из этого хаоса мыслей и ощущений, это то, что он поступил честно, разрывая с компанией революционных шулеров и плутов, что иначе и поступить нельзя, если не делаться сознательно самому таким же революционным мошенником. И в то же время в груди его ныло и щемило чувство, близко похожее на отчаяние. Он сознавал, что разрывая с Паляницей, он разрывает в то же время не с одной "Землей и Волей", а со всею польской организацией, в которой помимо "Земли и Воли" для него не было, да и не могло быть места и назначения. Разрыв же с поляками был разрывом и с Цезариной. Он знал, что тут нет выбора и нет иного исхода. Но чувство чести превозмогло над страстью. В эту минуту ему приходилось хоронить навеки и свою страстную любовь, и свои радужные мечты и надежды. Вот в чем крылась причина близкого к отчаянью чувства. Но как уйти от «дела», когда *она* ничего еще не знает, когда она ждет и надеется, и полна убеждением, что ради ее он весь принадлежит этому "делу"! — "Уйти так, как теперь уходишь, это значит скрыться, убежать, словно бы я испугался и струсил; это значит дать ей право

презирать меня", думалось Хвалынцеву. "Нет я уйду открыто! Пусть знает, пусть знает все, и если она честный человек, если в душе ее таится хоть искра справедливости, она не должна, не может осудить меня… Все же я унесу если не любовь, так уважение этой женщины".

И он решился идти к Цезарине и высказать ей все, с откровенной прямотой.

Но сегодня было уже поздно приводить в исполнение это намерение, так как часовая стрелка показывала двенадцатый час ночи в исходе. Хвалынцев, погруженный исключительно в хаос своих мыслей и тревожных чувств, решительно не заметил, как пробродил столько времени по улицам. Но он не чувствовал ни малейшей физической усталости; напротив, внутри его как будто что подмывало идти и идти все дальше и дальше, не останавливаясь, не отдыхая и не отдавая себе отчета куда и зачем идет. Ему казалось только, будто он стремится куда-то и к чему-то, и в этом безвестном, но неодолимом стремлении заключается в данный момент вся цель его существования. Он скинул фуражку, обтер свой лоб — и ночная прохлада освежительно подействовала на его пылавшую голову. Это помогло ему несколько прийти в себя. Константин остановился на минуту, чтоб осмотреться, куда занесло его, и узнал вокруг себя окрестности Лазенок и Бельведера. "Надо назад, домой надо", подсказал ему проснувшийся рассудок, и он поворотил в Уяздовскую аллею. "А завтра к Цезарине, и все сказать ей!" решил он сам с собой.

Но вот, идучи по пустынной аллее, подходит он уже близко к дому графини Маржецкой. Вокруг господствует фантастический сумрак, борясь сквозь ветви деревьев с огнями газовых фонарей; безлюдье и тишина глубокая, только листья каштанов таинственно шепчутся между собой. Вот и знакомая чугунная решетка вокруг столь же знакомого дома; вот и стена, мимо которой с таким замиранием сердца, весь радостный и счастливый, пробирался он раз на назначенное ему свидание… В окнах темно, как и тогда же. Вот и калитка… Но что это?!.. Хвалынцев остановился в недоумении. Решетчатая калитка, вопреки обыкновению, была не заперта; ее даже как будто нарочно оставили слегка открытой. "Что ж это значит?" подумал озадаченный Хвалынцев. Сколько раз, после того свидания, приходилось ему в такую же позднюю пору проходить мимо этой самой решетки — и калитка всегда была заперта на ключ. Он это знал наверное, потому что иногда, поддаваясь почти безотчетному и чисто юношескому влечению, мимоходом толкал ее рукой, думая про себя: "авось, на счастье отперто, и что, если отперто вдруг для меня?" Но эти опыты привели его к убеждению, что калитка всегда и для всех без исключения, кроме того раза, остается запертой. "Кто ж, помимо самой Цезарины, мог отворить ее теперь? И для чего, или… для *кого* она может быть отперта?"

И не взвешивая своего намерения, не задав себе даже вопроса: хорошо ли и уместно ли, зачем и по какому праву он это делает, Хвалынцев перешагнул порог и пошел мимо стены, знакомым путем, в сад графини Цезарины. Вот он завернул за Угол. Полосы света падали из окон на террасу и слабо освещали ветви ближайших сиреней. Хвалынцев поднялся на ступени и вдруг отшатнулся, не веря глазам своим.

Сквозь стеклянную раму двери, он в первое же мгновение и как нельзя более ясно увидел, что в той самой комнате, где и его принимали, близ того же самого накрытого для ужина стола, на котором и теперь, как тогда, в серебряном холодильнике стояло вино, в хрустальной плоской вазе красиво рисовались разные фрукты, на том же самом роскошном диване, где и он сидел, графиня Цезарина полулежала теперь в объятиях какого-то статного молодого красавца, одетого в изящную чамарку, закинув на его плечи свои обнаженные красивые руки и, с восторженно страстной влюбленной улыбкой глядя ему в глаза, ласково и небрежно играла его роскошными кудрями.

Хотелось бы считать все это за сон и наваждение, хотелось бы не верить глазам, но увы! —

невозможно было не верить. Действительность этой нежданной картины чужого счастья слишком ясно и так сказать осязательно предстала теперь перед Хвалынцевым. Пелена спала с глаз его. Он только тут понял, что эта женщина никогда его не любила, что он все время был в ее руках жертвой какого-то темного и злого обмана.

Вся кровь прихлынула ему к голове. Оскорбление этого сознанного обмана, мучительное чувство обиды, ревности и поруганной любви — все это разом заколесило в груди его до ощущения физической дурноты. Стиснув до боли свои зубы и неотводно глядя сквозь стекла широко раскрытыми, почти безумными глазами, он вдруг рванул ручку замка; но дверь оказалась запертой. Зачем и для чего он это сделал, Константин и сам себе не Мог хорошенько дать отчета.

Дребезжанье рванутой двери заставило между тем испуганно вздрогнуть и смутиться счастливую пару. Цезарина отшатнулась в сторону.

Хвалынцев рванул вторично ручку, и вся дверь задребезжала еще сильнее под его напором.

Красавец поднялся, плохо оправляясь от смущения, подошел наконец к двери и, приложив щитком руку к бровям, старался разглядеть, что это творится там, за темными стеклами?

— Кто там? — нетвердо спросил он, по-польски.

— Мне надо видеть графиню Цезарину. Отворите! — не помня себя, отвечал по-русски Хвалынцев.

Звуки русского языка и призрак военного мундира еще более повергли поляка в смущение.

— Кажись, полиция, — пробормотал он упавшим голосом, оборотясь к Цезарине.

— Полиция?.. Отворите! — приказала она вслед за мгновеньем внутреннего колебания.

Но каково же было ее изумление, когда вместо ожидаемого жандарма пред ней очутился Хвалынцев.

Гордо закинув голову, со всей массой своих роскошных пепельных волос, она смело ступила шаг вперед, и все побледневшее лицо ее одушевилось негодованием, а карие глаза из-под энергично сдвинувшихся бровей загорелись фосфорическим блеском.

— Это вы!?.. — глухим, но твердым и сдержанным голосом проговорила она, измеряя взглядом вошедшего. — По какому праву… и как вы осмелились нахально врываться ночью в мою квартиру?

Хвалынцев собрал все усилия, чтобы по возможности овладеть собой.

— Я пришел возвратить вам ваше слово, и взять назад мое обещание, — проговорил он голосом, прерывавшимся от волнения.

— Обещание?.. Слово?.. Какое слово?.. Я никаких вам слов не давала!

— Избавьте от необходимости повторять ваше обещание, графиня!.. Вы понимаете, о чем говорю я… Тем более, что едва ли вам будет по сердцу, если я стану распространяться в присутствии этого свидетеля, — сказал Хвалынцев, указав глазами на красавца, который стоял в замешательстве и ровно ничего не понимая.

— Жозеф! — обратилась к нему негодующая Цезарина, — меня оскорбляют в вашем присутствии, а вы стоите и слушаете!

Красавец шагнул было вперед, но Хвалынцев остановил его взглядом.

— Позвольте, — сказал он ему, — через минуту, если угодно, я буду вполне к вашим услугам. А теперь, графиня, — продолжал он, — мне остается только сказать вам, что я не желаю более быть игрушкой политических плутов и интриганов… Я понял вполне ваше пресловутое *дело* и с нынешнего дня окончательно разрываю с ним мои связи… Полагаю, что ввиду наших обоюдных обещаний, вам было необходимо знать об этом. Вот цель моего дерзкого и неуместного прихода, за который, если этому господину угодно (он снова показал глазами на красавца), я готов дать ему удовлетворение.

— Да, милостивый государь, мне это угодно, — с вежливо-сухим поклоном отозвался красавец. — Но только дело вот в чем, — продолжал он с иронической улыбкой, — наши шансы в этом случае не равны; вы относительно меня в привилегированном положении: вы русский и военный, а я поляк. Если вы цбьете меня, вам ничего не сделают, а убей я вас, меня сошлют в Сибирь, а может быть и повесят. Поэтому позвольте, если вы джентльмен и понимаете, что такое обязанности чести, позвольте предложить вам иной способ дуэли — на узелок. Не выходя отсюда, мы с вами вынем жребий, и кому достанется, тот к утру обязан покончить с собой каким угодно способом. Это и вернее, и шансы уравнивает. Угодно в таком виде принять мой вызов?

— Принимаю! — не подумав, решительно и сразу согласился Хвалынцев. В том нравственном положении, в каком находился он в данные минуты, оскорбленный и обманутый в самом сильном и заветном своем чувстве, подавляемый затаенным презрением к самому себе за измену не польскому, а русскому делу, и за ту глупую, жалкую роль, которую он так слепо разыгрывал столько времени, Константин с радостью ухватился за мысль о смерти, которая представилась ему теперь единственным и самым светлым, самым желанным исходом из его запутанного и безвыходного положения. В эту минуту он не только желал, чтобы роковой узелок достался ему, но был убежден и даже веровал как-то, что он непременно ему достанется.

— Потрудитесь сейчас же приготовить жребий, — нетерпеливо отнесся он к противнику. Тот вынул из кармана батистовый платок, завязал один конец его в узел и почтительно подал Цезарине.

— Вы, графиня, единственный секундант при этой дуэли, — сказал он ей с рыцарской любезностью. — Позвольте же из ваших рук принять нам наши жеребьи.

Цезарина взяла платок, затем, отвернувшись несколько в сторону, перемешала в пальцах два жеребьевые угла его и, расправив в виде ушков оба маленькие кончика, торчавшие из ее сжатого кулака, протянула к противникам свою руку. Те одновременно взялись и одновременно выдернули жребий.

Роковой узелок достался не Хвалынцеву.

— Досадно! — проворчал он сквозь зубы, оглядывая свой жребий и как бы все еще не вполне убеждаясь, точно ли он гладкий.

Между тем, легкая смутная тень чуть заметно пробежала на мгновенье в побледневшем слегка лице молодого красавца, который с выражением какого-то странного недоумения оглядел узелок, словно бы тоже не веря, что он мог достаться на его долю. Но эта невольная игра лица

и взгляда продолжалась не более одной секунды. Затем молодой человек тотчас же поспешил оправиться и овладеть собой.

— Судьба! — с несколько принужденной улыбкой сказал он Цезарине, пряча в карман свой платок, тотчас же спокойно и с достоинством обратился к Хвалынцеву.

— Милостивый государь, — слегка, но вполне джентельменски поклонился он ему, — можете вполне быть уверены, что к утру будет исполнено.

— Не сомневаюсь, — ответил в свой черед подобным же поклоном Хвалынцев. "А жаль, что не мне!" искренно подумалось ему при этом.

— Затем, графиня, — прибавил он, обратись к Цезарине, — позвольте просить извинения, что я так некстати и так грубо побеспокоил вас… Честь имею кланяться!

И он удалился из ее дома.

Где и как был проведен им остаток ночи, Хвалынцев и сам не помнил. Равно не помнил и того, какие мысли бродили в голове, какие чувства теснились и бушевали в сердце. Под утро он вернулся к себе домой словно бы в каком-то одурманенном и окаменелом состоянии. Чувствительность и способность воспринимать какие бы то ни было впечатления, казалось, совершенно притупились в нем к этому времени. Не раздеваясь, бросился он в постель, но спал ли, нет ли, в том не мог дать себе никакого отчета. К полудню слуга его догадался, что дело, кажись, плохо и бросился за полковым доктором. Врач осмотрел больного и открыл в нем все признаки нервной горячки. Он сообщил об этом товарищам Канстантина; те посетили больного, лежавшего в полном беспамятстве, и, так как уход за ним одного лишь слуги не мог почесться достаточным и надежным, то на общем совете с доктором было порешено перенести его в Уяздовский госпиталь. К вечеру явились, санитарные служители с крытыми носилками, — и наступившую ночь Хвалынцев провел уже в особой камере, под надежной госпитальной кровлей.

XXIV. После болезни

Он пролежал около двух месяцев. Сначала болезнь туго поддавалась усилиям врачей, но наконец наступил благодетельный кризис и с того самого дня в благополучном исходе горячки уже не могло быть сомнений. Молодая натура взяла свое, жизнь пересилила в этой борьбе со смертью, и здоровье стало быстро поправляться, организм деятельно пополнялся новыми силами, так что в первых числах ноября Константин выписался из госпиталя уже совершенно бодрым, сильным и здоровым по-прежнему.

А в это время пан Нумер Тршидесенты давно уже принял свою присягу и ждал…

За Хвалынцевым исподволь и незаметно следили надежные глаза и уши, которые умели приникать повсюду, оставаясь в глубочайшей тайне. С тех пор, как трибунал народовый произнес над ним свои заочный приговор, председателю операторской части, старцу Крушинскому, очень хорошо и подробно был известен, так сказать, каждый шаг Хвалынцева; этот старец день за днем следил и знал весь ход его болезни, благодаря зоркому своему помощнику, Игнатию Трущинскому, который, в качестве сына жандармского подполковника русской службы, имел возможность, под самыми невинными и законными предлогами, узнавать стороной все, что делается в военных и вообще в русских сферах Варшавы. В госпитале ему даже легче было следить за Хвалынцевым, чем в городе, когда он после болезни снова попал на свою квартиру. Тут мешали к служба и товарищи, с обществом которых

Константин теперь почти не расставался. Покончив с Паляницей, он встряхнуло и почувствовал душевную потребность честно и добросовестна заняться своим военным делом, своей службой, и как можно ближе и сердечнее опять сойтись с товарищами, от которых одно время совсем было отшатнулся. И то, и другое вполне удалось ему, потому что натура у него была деятельная, подвижная, а душа отзывчивая и открытая. Теперь он уже "не сидел на двух стульях" как прежде, но все-таки далеко еще не знал душевного покоя. Его тяготило прошлое, укоряло и грызло сознание своей виновности, и как часто, бывало, щеки его невольно вспыхивали краской жгучего стыда при воспоминайънии о своей жалкой роли у Цезарины и у Свитки, или при мысли о том, что он мог, во имя страсти к чуждой и мало знаемой женщине, идти заодно с врагами своего народа, которых не уважал в душе, против *своих,* которым, по самой природе естественно и законно принадлежали все симпатии, вся родственность и любовь его. "Это подлость, больше которой нет на свете!" говорил ему неумолимый голос совести, и вот все чаще и все настоятельнее стала теперь приходить ему мысль об очищении себя полным покаянием, о том, чтобы понести свою заслуженную кару, сколь бы она ни была тяжела и сурова, и воспрянуть из этой кары другим, совсем новым человеком, с обновленным и просветленным духом, со спокойною, чистой и примиренною совестью. Он всей душой стремился к этому заветному желанию, и, будь он *один,* его ни на минуту не остановил бы страх заслуженной кары; но в том-то и сила, что в этом отношении судьба его спутана с другими лицами, участие которых в общем «деле» невольно обнаружилось бы из его откровенного признания. Хотя некоторых из этих людей и не навидел он в душе своей, считая их виновниками своего падения, а других презирал за их тупое, самонадеянное ничтожество, но все-таки нравственное чувство его содрогалось пред словом «донос». Это слово тяжко и жестоко страшило его. Он был бы воистину рад и счастлив возможностью поплатиться за прошлое, если бы только дело раскрылось иным путем помимо его, если бы, например, кто-нибудь из сотоварищей по заговору выдал его с головой. О тогда бы все, все, что касается самого себя, одной лишь своей головы, все это чистосердечно положил бы он на весы правосудия и смиренно принял бы очистительную кару! Но самому выдавать других, хотя и презираемых и ненавидимых, самому брать на свою совесть вечный и тяжкий укор за чужую судьбу и свободу, за чужое несчастие, а может и самую жизнь — нет, это невозможно! И он чувствовал, что на такой поступок никогда бы не хватило его. Хотя вся его преступность ограничивалась только знакомством с загадочным Свиткой да вступлением в тайный союз Паляницы, где более болтали, чем делали; хотя он и был убежден, что сам этот маньяк Паляница, по глупости своей, едва ли может кому и чему-либо нанести какой-нибудь вред, и хотя, наконец, виновность Хвалынцева заключалась только в неясных намерениях, от которых, впрочем, он отшатнулся при первом же шулерски-нечестном предложении, но тем не менее тяжело ему было самое сознание, что он, как тряпка, мог допустить себя барахтаться в грязи всего этого ничтожества, возжаться со всеми этими проходимцами, называться их единомышленником и сотоварищем, нося честный русский мундир и имея у себя настоящих и действительно честных товарищей, — вот что грызло его душу и палило стыдом его щеки, и вот почему вопияла в нем потребность гласного, открытого покаяния, которое очистило бы и возродило его к новой жизни и дало бы право снова открыто и прямо глядеть в глаза всем честным людям.

Ему казалось, будто теперь он понял Цезарину. И это, пожалуй, было так, но только отчасти: польской сущности этой женщины он все-таки не понимал, да и не мог бы понять в то время. Но ему стало понятно, что она не ради своего чувства к нему, а ради какой-то другой, совсем посторонней цели завлекла его в опасное и чуждое ему дело, что в отношениях к нему у нее была какая-то фальшь, притворство, какой-то посторонний расчет, а вовсе не искреннее чувство. Это все стало теперь понятно для Хвалынцева, и были минуты, когда, вспоминая все, чем она с первой встречи завлекала его, и все, что обнаружилось для него только в последнюю ночь пред болезнью, вспоминая рассчитанное коварство, ложь, притворство, он начинал

ненавидеть эту женщину, и ненавидел тем сильнее, чем более ощущал боль своего разбитого, поруганного чувства к ней и чем более сознавал, в какие жалкие шуты вышучивала его для чего-то эта обаятельная графиня Цезарина. Тут уже уязвленное молодое и чуткое самолюбие питало в нем эту ненависть. — Но странное дело! — среди столь сильной ненависти, вдруг иногда почему-то невольно приходило на память, все неотразимое обаяние Цезарины, вся красота ее, весь чувственный соблазн ее, и даже с особенной яркостью вставала в воображении именно та минута, когда в образе разъяренной тигрицы, гордо закинув голову, с этим грозным фосфорическим светом глаз, она опрокинулась на него всем негодованием и всею яростью оскорбленной женщины, во время его последнего ночного посещения. Он вспоминал все впечатление этой минуты, от которого дух захватывало, вспоминал всю грозную прелесть и сверкающую красоту ее, в какой величаво предстала она в те мгновения, и увы! с негодованием на самого себя чувствовал, что, к несчастию, не все еще кончено, не все еще умерло в его сердце относительно этой проклятой женщины. Наперекор самолюбию, наперекор чести и рассудку проявлялись-таки порою мгновения, когда Константин сознавал, что все еще любит ее, любит в самой ненависти, в самом презрении к ней, и любит не душу, а только красоту, только это дивное, чувственное тело. Он боролся с самим собой и превозмогал себя, но тем не менее подобные минуты страсти, как шквалы, налетали еще порой на его душу, и Константин предчувствовал, что не мало борьбы, не мало самых строгих и крутых усилий над собой предстоит еще ему впереди, пока не одолеет и не убьет окончательно своего непокорного, болезненного чувства, пока не воцарится в душе его мирное и светлое затишье.

XXV. "По декрету трибунала"

Игнатий Трущинский, знавший Хвалынцева в лицо, однажды, при случайной встрече в кондитерской Конти, где Константин играл с товарищами на бильярде, указал на него своему собрату Штейнгреберу. Цивилизованный еврейчик, заметив себе хорошенько черты лица и наружность Хвалынцева, стал выслеживать, где и в какие часы он больше и чаще бывает. Оказалось, что он довольно часто приезжает с товарищами обедать в ресторан Европейского отеля, — откуда обыкновенно они переходят к Конти сыграть партию-другую на бильярде. Узнав это, Штейнгреберу уже не трудно было указать на него в бильярдной зале пану Биртусу, которому нарочно, ради этого случая, был даже пожертвован скромный, но приличный костюм, без чего его не пустили бы сидеть и пить пиво в аристократической цукерне. После этого, пан Биртус принял на себя обязанность уже специально следить за Константином, и на следующий же день, захватив с собой пана Тршидесентего, стал в обеденный час прогуливаться с ним по Краковскому предместью, мимо Европейского отеля, поджидая, когда подъедет Хвалынцев и наказывая своему ученику как можно лучше и вернее заприметить себе этого «ладайка-москаля», чтобы потом, борони Боже, не вышло бы какой ошибки. В урочный час Константин подъехал к отелю и, пока расплачивался с дружкарем, оба молодца Броварной улицы успели подойти как раз к самому подъезду, так что Хвалынцев прошел мимо их в каком-нибудь шаге расстояния. Пан Нумер Тршидесенты в это время достаточно успел схватить себе общее впечатление его наружности, так что на другой день, когда пан Биртус захотел сделать ему поверку, Нумер Тршидесенты уже сам первый указал ему подъехавшего Константина. Биртус остался очень доволен его наблюдательностью и доложил Штейнгреберу, что теперь можно быть насчет «шинки» в полной уверенности и что ошибки произойти уже не может.

Все это было делом четырех-пяти дней, не более.

Но как ни зорко следили эти господа за Хвалынцевым, как ни подстерегали его по разным закоулкам и подворотням вблизи его квартиры, обстоятельства случайным образом складывались так, что мальчонке-мастеровому крайне рискованно было бы приводить в исполнение приговор трибунала: то постороннего народа много на улице, то полицейский

дозорца напротив торчит и смотрит, то русские солдаты проходят, то сам Хвалынцев идет, но не один, а с товарищами — все это неловко, неудобно, опасно и не позволяет рассчитывать на удачу дела и на верность удара. Словом сказать, дело не выгорало. Время проходит, приговор подписан и дан к исполнению уже давным-давно, а намеченная жертва меж тем преспокойно еще гуляет по варшавским улицам. Ксендз Кароль Микошевский начал даже находить, что такое промедление наносит ущерб достоинству и авторитету трибунала. В центральном комитете, по этому поводу, были недовольны частию операторной, и через Микошевского сделали формальное и строгое замечание шефу операторов, достопочтенному старцу Крушинскому, который в свою очередь объявил выговор помощнику своему Штейнгреберу. Надо заметить, что ржонд народовый вообще чрезвычайно любил подражать всем формальным канцелярским порядкам настоящих правительств и не скупился на циркуляры, указания, предписания и выговоры по всем своим нисходящим инстанциям. Вся эта комическая пародия проделывалась с большою аккуратностью и замечательным постоянством.

Жидок Штейнгребер, в свою очередь, приналег на пана Биртуса и объявил, что если дело пойдет и далее таким образом, то им перестанут выплачивать жалованье.

Нумер Тршидесенты со дня своей присяги начал получать жалованье по три злотых и десять грошей в день.[182] На эту сумму он мог быть и сыт и пьян ежедневно. Теперь ему убавили; содержание ровно наполовину, так что мальчонка должен был делать выбор: или быть сытым, или быть пьяным, но совместно и то и другое стало уже для него недоступно. Это огорчающее обстоятельство должно было возбудить его энергию и решимость; потому-то подобные меры и принимались всегда против недостаточно-энергичных кинжальщиков. Прошло еще дня три, исправительная мера не подействовала: Хвалынцев был жив и преспокойно продолжал показываться на улицах. Нумеру Тршидесентему совсем перестали платить жалованье. Это обстоятельство обрекало его на действительный и безвыходный голод. А тут еще пан Биртус объявил, по приказанию шефа операторов, что если Нумер Тршидесенты через три дня после настоящего объявления не исполнит порученного ему приговора, то над ним самим будет исполнена смертная казнь, как над ослушником священной воли народного трибунала. Поставленный в безвыходное положение, с одной стороны, крайним голодом, а с другой — этой нешуточной угрозой, Нумер Тршидесенты увидел, что как ни кинь, все клин выходит: убьешь Хвалынцева — повесят, не убьешь его — задушат, и в последнем случае даже вернее, чем в первом, потому что там еще есть надежда скрыться да и *свои* помогут, а тут уж никуда не скроешься и никто не окажет помощи. Ему не оставалось никакого выбора, а при этом еще Биртус соблазняет что если, мол, исполнишь казнь, то получишь пятнадцать злотых в награду за работу и снова жалованье выдавать станут. И вот, побуждаемый голодом и страхом наказания, мальчонка решается действовать наудалую.

Под вечер забрался он на лестницу, которая вела в квартиру Хвалынцева, и решился действовать на авось: если накроют его прежде, чем он успеет исполнить свою «работу», значит, уж так ему на роду написано пропадать. Он забился в самый темный уголок под лестницей и, присев на корточки, ждал появлния своей жертвы. По его предположению, Хвалынцев после обеда должен будет вернуться домой, так, по крайней мере, уже несколько раз случалось во время его наблюдений. Но вот беда, если вернется не один, а с кем-нибудь из товарищей… У бедного мальчонки от этого предположения даже мураши по спине побежали, и он начал горячо молиться, чтобы дело его обошлось удачно, чтобы все устроилось так, как следует. Время ожидания было мучительно. Несколько раз по лестнице подымались и спускались какие-то люди, жильцы этого дома, и несчастный мальчонка жался глубже в свой угол, крестясь и трепеща, чтобы его как-нибудь не открыли.

Но вот послышались чьи-то твердые шаги и лязг сабли. Сердце кинжальщика забилось чаще и

сильнее. Он прислушался: судя по звуку, это шаги одиночные. Притаившийся мальчонка дал вошедшему подняться на несколько ступеней, и затем, торопливо крестясь, как кошка, неслышно выскочил из-под лестницы и на цыпочках побежал вдогонку за подымавшимся человеком. В сенях настолько уже господствовал сумрак, что издали разглядеть черты лица было невозможно.

— Пршепрашам пане![183] — робко произнес кинжальщик, остановив того на первой площадке и стараясь разглядеть физиономию.

— Что такое? — едва успел проговорить остановленный, как вдруг:

— По декрету трибунала! — воскликнул узнавший его кинжальщик, с размаху вонзя свое оружие в стоявшего пред ним человека и опрометью, чуть не кубарем, кинулся с лестницы.

Дверь подъезда хлопнула, и убийца скрылся из виду.

— Держи!.. лови! — что есть мочи закричал Хвалынцев и бросился вдогонку. Выбежав на тротуар, он успел еще заметить, как какой-то человек бежал в левую сторону, но в ту ж минуту Константину показалось, что убегавший не то юркнул в какие-то ворота, не то просто провалился сквозь землю. Одним словом, кинжальщик в ту ж минуту исчез у него из глаз. Константин, продолжая бежать, вдруг почувствовал у себя в левом плече, около ключицы, какую-то острую боль, до того сильную, что в глазах у него помутилось. Он сделал над собой последнее усилие, но успел только выкрикнуть еще раз что-то неясное, зашатался и грохнулся почти без чувств на мостовую.

Люди проходили мимо, но не останавливались. Обыватели варшавские в то время очень хорошо уже знали, что такое значит, если на улице лежит человек, истекающий кровью. Иные из них только косились на то место, где лежал он, и торопились уйти подальше, другие же, на мгновенье приостановясь около тела, плевали в его сторону и, проворчав что-нибудь вроде "пся крев" или "пся юха", с выражением ненависти, проходили мимо. Никто не нагнулся, чтобы подать помощь, никто не кинулся на розыски убийцы.

Поляк-полицейский, которого прохожие оповестили, что в нескольких шагах лежит какой-то раненый, неторопливо приблизился к Хвалынцеву, осмотрел его со всех сторон и подал призывный свисток соседнему дозорцу. Через минуту подошел другой полицейский, посоветовался с товарищем как быть и что делать, подумал, покачал головой и догадался, что надо бы позвать доктора. Поговорили, стоит ли еще ходить за доктором; но решили, что неравно начальство спросит зачем не исполнили этого, и потому в ограждение себя "с легальной стороны", один из полицейских стукнулся в дверь врача, проживавшего в нескольких шагах по соседству. Врач-поляк, узнав, что помощь его нужна раненному кинжальщиком, отказался под предлогом собственной болезни, другой же польский врач, к которому после этого поспешил полицейский сказал просто, что ему нет дела и нет времени для этого. Пришлось бежать в казармы и отыскивать русского военного доктора.

Полуобморочное состояние Хвалынцева продолжалось не долго. Оно было более следствием внезапного испуга и потряч сения, чем опасности самой раны. Через две-три минуты Константин уже пришел в себя и, с помощью дозорца, поднялся на ноги. Подошли двое солдат, случайно проходивших мимо. Один из них оказался однополчанином Хвалынцева и узнал его. Он тотчас же кинулся оповестить двух товарищей Константина, живших по соседству, и побежал за полковым доктором. Между тем полицейский, с помощью другого прохожего солдата, внес раненого в помещение ближайшей еврейской лавочки, чтоб оградить его от праздного любопытства толпы, которая стала собираться тотчас же, чуть лишь заметила

присутствие дозорца на месте происшествия. В числе любопытных между прочим присутствовал и пан Биртус, поджидавший одной из ближайших *баварий* результатов «работы» Нумер Тршидесентего. Теперь он стоял с самым невинным и даже сострадающим видом, покачивая головою и как бы про сев приговаривал вполголоса: "Ай, Иезус-Мария! оттожь лайдак! Яка шкода, ай-ай-ай!.. От-то пршекленты"…

Через несколько минут прибежали двое товарищей Хвалынцева, а за ними, спустя малое время, появились один за другим и двое военных врачей, привезенных из разных мест солдатом и полицейским. Немедленно обмыли кровь и осмотрели рану, которая оказалась хотя опасной, но далеко не смертельной. Рука убийцы была не верна, да и толстая шинель Хвалынцева тоже оказала и которую защиту. Поражено было плечо от ключицы к лопатке, но, к счастию, легкое осталось не задето. Больному наскоро сделали первую перевязку и, осторожно положив в наемный экипаж, перевезли его в Уяздовский госпиталь, с которым он еще так недавно расстался.

* * *

В местных кружках русского общества все были возмущены и изумлены этим покушением. Никто не понимал, что за цель могла быть у убийц в этом случае, и чем мог Хвалынцев навлечь на себя такую кару народового ржонда. Толковали разно: одни говорили, что это была не более как простая проба кинжала, который надо же было испытать на ком-нибудь, а Хвалынцев случайно подвернулся под руку, и только; другие передавали слухи, будто Центральный Комитет решил нападать подобным образом на всех военных и русских без разбора и без исключения; третьи уверяли, что удар был направлен в Хвалынцева по ошибке, а предназначался совсем для другого лица; словом, толков и разговоров в первое время было множество.

Ожидали чем-то и как разъяснится смысл этого нападения революционным "начальником мяста" в подпольном «Рухе»; но официальный орган подземного ржонда о случае с Хвалынцевым хранил упорное и глубокое молчание.

У ржонда были на это свои основательные причины.

Пан Биртус, тершийся в толпе и присутствовавший у дверей еврейской лавчонки все время, пока доктора производили там осмотр раны, наблюдал и слушал, что говорится вокруг по этому поводу. Слух о том, что рана вовсе не смертельна, не замедлил тотчас же распространиться в ожидавшей толпе через хозяев лавчонки и через того же полицейского дозорца, который присутствовал при осмотре. С донесением об этом прискорбном обстоятельстве, Биртус, как только повезли Хвалынцева в госпиталь, сейчас же отправился к Штейнгреберу. Тот доложил шефу, и на другое утро последовало экстренное заседание трибунала для того, чтобы проверить и обсудить это обстоятельство. Игнатий Трущинский поехал навести справку и привез известие, что действительно рана сама по себе отнюдь не угрожает смертию, если таковая не последует от какой-нибудь побочной причины. Достопочтенный Крушинский по этому поводу приказал Штейнгреберу, чтобы неловкому кинжальщику непременно было дано двадцать горячих бизунов, для науки, дабы на будущее время работал чище. А между тем поднялся вопрос: каким образом объявить в «Рухе» о не вполне удавшейся экзекуции? Ржонд народовый имел обыкновение опубликовывать приговоры своего трибунала уже после их исполнения. Это делалось для пущей верности и безопасности, чтобы не попасть впросак, напечатав: человек казнен, тогда как он еще здравствует. Ржонд понимал, что такие промахи вели бы к ослаблению его террорического авторитета. Шеф операторов в данном случае был того мнения, что следует напечатать полный приговор, в том виде, как он постановлен трибуналом, с примечанием, что казнь исполнена тогда-то, и не

вдаваться в объяснения о неполной удаче кинжального удара. Но Василий Свитка с этим мнением не соглашался из опасеню за свою шкуру. Он знал, что раз это будет напечатано, русское правительство тотчас же схватится за Хвалынцева, подымется новое следствие, и как знать, быть может Хвалынцев, озлобленный ударом кинжала, выдаст и самого Свитку, и Паляницу, и многих других из лиц, прикосновенных к делу, а это уже грозит серьезной опасностью центральной организации, тогда как теперь, из чувства самосохранения, он, понятное деле молчит о том, что сам принадлежал к заговору. Остальные члены нашли мнение Свитки вполне основательным.

— В таком случае можно извиниться и сообщить, что удар нанесен по ошибке, — предложил Трущинский.

— Нет, уж по-моему лучше вовсе промолчать, чем извиняться и признавать свои ошибки! — порешил ксендз Микошевский — и все безусловно согласились с его мнением.

Таким-то образом «Рух» и не обмолвился ни единым словом о казни Хвалынцева.

Но хотя «Рух» и молчал, а толки о происшествии все-таки продолжались, и ввиду этих толков, Паляница с Добровольским да и сам Свитка чувствовали себя не совсем-то хорошо. Их одолевало опасение: а что, как вдруг Хвалынцев добровольно принесет признание в своей вине, рассчитывая на то, что правительство примет во внимание его разрыв с революцией и его рану, и потому положит ему легкое наказание, да и схватится за всех его соучастников, скрывать которых теперь Хвалынцеву нет никакогорасчета, а напротив, есть полный расчет выдать их всех головою? Это предположение казалось им очень основательным и потому напугало не на шутку. Хоть пан Нумер Тршидесенты и получил свои двадцать бизунов, но от этого было не легче ни Свитке, ни Палянице, ни Добровольскому. Через день, Василий Свитка, с одним из своих фальшивых, но вполне «законных» паспортов, катил уже по железной дороге в Литву, а еще через день о Палянице с Добровольском в полковом приказе было объявлено, что они исключаются из списков, как пропавшие без вести. Оба на время бежали из Варшавы.

Часть четвертая

I. "Do broni!"[184]

Смутно и мрачно истекали последние дни 1862 года. Поляки торопились разыграть последний акт своей нескончаемой драмы, а мера, предложенная маркизом Велепольским только помогла им ускорить это кровавое окончание. В видах «умиротворения» края, он придумал административную меру, которая, в сущности, не могла принести правительству никакой пользы, но зато до крайности раздражила городское население и, можно сказать, поторопилась додразнить его до взрыва, который и без того был неизбежен. Этой мерой явился рекрутский набор, произведенный не обычным порядком, а по выбору полиции, которая забирала в солдаты личностей "подозрительных и неблагонадежных в политическом отношении". Крестьяне-собственники и вообще хлебопашцы были избавлены от рекрутчины, зато разные челядинцы, мелкая шляхта, ремесленники, городские пролетарии сделались главною целью набора. Цель же была та, чтоб изъятием из общественной среды "беспокойных личностей" не допустить Край до восстания. Мера была и не легальна, и бесполезна уже потому, что одна, сама по себе, она никоим образом не могла ни предотвратить восстания, ни изменить его характер. Если бы у маркиза было желание «ускорить» взрыв, с тем, чтобы поскорее задушить революцию, то это одно могло бы еще, пожалуй, хоть на сколько-нибудь служить — не говорю «оправданием», но- достаточным объяснением придуманной меры. Как бы то ни было, в результате он навлек на нас один только лишний и тяжелый упрек со стороны

общественного мнения Европы. А на нашу голову и без того сыпался тогда град упреков…

По Варшаве, да и по всему Царству Польскому, уже в декабре ходил слух, что лиц, отмеченных в набор, будут забирать по целому Краю в ночь с 14 на 15-е января 1863 года. Панический страх обуял на первое время значительную часть молодежи. Одни торопились распродать что было поценнее из вещей и бежать за границу, в Галицию, где уже были сделаны во приготовления к формированию банд, другие кинулись к «довудцам» и «организаторам» за советом и покровительством. Но те и сами на первые дни потеряли головы, тем более, что в самом «ржонде» в это время господствовали сильные раздоры и несогласия между комитетами: центральным, белым и красным. Общие фразы: "Мы вас не выдадим, мы защитим вас"! заключали в себе мало утешительного: завербованные в "бойцы свободы" требовали более положительных указаний, но на их домогательства довудцы давали двусмысленный ответ: "Сидите дома, это москали все только врут, ничего не будет! А если бы вас и забрали, то Комитет выручит!" Ввиду такой неопределенности, все, кто чувствовал себя так или иначе скомпрометированным, порешили: в ночь с 14-го на 15-е января не оставаться дома, чтобы таким образом спрятаться хоть на первое время, а там — что Бог даст и что ржонд укажет!

В минуту этой паники Центральный Комитет почувствовал, что влияние его на массы начинает колебаться, и потому решился немедленно же вызвать вооруженное восстание, не дожидаясь пока совершится набор, и именно с целью предупредить эту меру. Ввиду такой опасности, ему удалось, наконец, покорить себе и белых, и красных, после чего была выпущена пламенно написанная прокламация, призывавшая всех поляков "do broni", то есть к оружию, внушая, что тот, кто хочет истинно служить Богу и отечеству, должен отныне действовать огнем и мечом. В то же время под рукой было пущено в «десятки» секретное приказание уходить тайком "до лясу", а сборными пунктами для варшавских выходцев назначены ближние леса Кампиносские, Сероцкие и Насельские. В этих лесах безоружные выходцы, получившие при отправлении по две, по три злотувки на дорогу, должны были ожидать дальнейших распоряжений. Выходить назначено было через Петербургскую заставу или чрез Шмулёвскую к Радзимину. Лозунг при этом был следующий:

— Нех бендзе похвалены Езус Христус![185]

— И на веки векув. Амен. А куда Бог несет?

— На добре праце.[186]

Уходили обыкновенно под вечер, в сумерки, отправляясь из домов поодиночке, или под руку с «коханкой» и таща на палке узелок с колбасами, булками и водкой. Но за «рогатками» скоплялась уже целая толпа этих выходцев. «Коханки» провожали их за заставу, где, разделив последнюю закуску с друзьями, возвращались в город уже одинокие, а друзья целыми партиями, целыми толпами ежедневно направлялись по дороге к Сероцку. Полицейские чиновники из поляков, приставленные у «рогаток», никогда не останавливали и не задерживали этих путешественников. Да и вообще, законные власти, благодаря все тому же маркизу Велепольскому, не препятствовали им уходить, потому что — как говорили — маркиз уверял, будто зимний холод и голод заставят этих господ вскоре возвратиться в Варшаву.

Ровно в полночь с 10-го на 11-е января (22–23), по многим городам и местечкам целого Края вдруг раздался роковой удар призывного колокола. Это был заранее условленный сигнал, по которому везде и повсюду одновременно должно было вспыхнуть всеобщее восстание. Из этой полночи ржонд задумал сделать новую Варфоломеевскую ночь для русских. И едва раздались удары призывного колокола, как в разные города и местечки ворвались вооруженные банды. Инсургенты вламывались в дома, где поодиночке жили на постое русские солдаты, и убивали

их сонных, в постели. С некоторыми же из захваченных в плен поступали варварски: выкалывали глаза, вырезывали язык, обрубали уши, а в селении Сток, близ Седлеца, где несколько солдат Костромского пехотного полка заперлись в жилье и защищались оттуда с редкой отвагой, повстанцы, не имевшие мужества одолеть их открытой силой, подожгли жилье и живьем сожгли не сдававшихся русских. Ряд подобных жестокостей и это коварство ночного нападения на сонных и безоружных сразу же поселили в солдатах непримиримую злобу к полякам.

Через несколько дней телеграф повсюду разнес весть о новой Варфоломеевской ночи, и вся Россия, все, что было в ней честного и русского, дрогнуло от негодования. Один только «Колокол» наперекор фактам, не переставал цинически-настойчиво уверять, будто "самое замечательное состоит в том, что этой Варфоломеевской ночи не было, и не только не было, но само собою разумеется, что о ней никогда никто, кроме полицейских композиторов, и не думал".[187]

Мрачно и жалко было начало восстания в дни, предшествовавшие этой роковой полночи. Еще с 10-х чисел декабря варшавские выходцы стали наполнять Кампиносские и Насельские леса. Последние были в особенности удобны для побродяжества, потому что они очень обширны, трущобисты, и, занимая пространство более чем во сто верст, тянутся к самой прусской границе. В эти-то глухие дебри и уходили по преимуществу варшавяки. Без теплой одежды и обуви, без денег, без провианта и без оружия, жалкие, голодные и холодные партии ютились кое-как на снегу, или в слякоти под кустами да под корчами лесного бурелома, пугаясь каждого шороха, каждого лесного звука, в которых им все чудилось приближение москалей, казаков или «черкесов».[188] К этим несчастным партиям наезжали иногда на короткое время из Варшавы "делегаты ржонда" и будущие «довудцы», и тогда к приезжим со всех сторон сыпались бесконечные жалобы: такой-то не получил водки при раздаче, тот колбасы требовал, тот хлеба и сапог, этот просил теплую фуфайку, и все вообще обвиняли отрядного «ржондцу» и интенданта в покраже нескольких рублей с копейками, так как пан интендант купил только водки, колбасы и хлеба, а пива не покупал. Гости укоряли «ржондцу» в недостатке патриотизма, и утешали толпу тем, что в свое время предадут его военному суду, а голодных и босых увещевали подождать терпеливо до вечера или до завтра. Во избежание казачьих поисков, партии эти не залеживались подолгу в одних и тех же берлогах, а перекочевывали ежедневно на новые логовища. Эти перекочевки исполнены были всяческих тревог: в каждом пне напуганное воображение видело казака, и потому сторожевые ведеты то и дело полошили двигающуюся партию ложными известиями о появлении москалей. При каждом подобном известии, происходил переполох ужасный: одни кидались ломать сучья и вооружались ими, другие прятались в кусты, третьи спешили удирать куда глаза глядят, и все вообще отказывались от всякого повиновения, да и повиноваться-то, по большей части, было некому, так как импровизованные офицеры спешили первые удрать и спрятаться подальше, при вести о москале. Таким образом, эти безоружные и голодные банды таяли более чем наполовину еще до встречи с противником, который и не думал пока двигаться на поиски. Наконец, ропот на голод, холод и безоружность достиг до Центрального Комитета, где нашли, что необходимо поддержать мужество и бодрость "бойцов свободы", и потому снова направили в леса комитетских делегатов, на сей раз «уполномоченных» объявить, что хотя пока еще и нет оружия, но оно хранится в Плонске, Плоцке, Невикле и в других местах в большом количестве, где и померяемся с противником; о маршрутах, мол, уже позаботились, проводники уже готовы, и на каждом привале будет вдоволь водки, пива, хлеба и мяса. Бойцы свободы кричали: "vivat!" и шли скитаться в новые дебри, где однако не оказывалось ни проводников, ни водки, ни хлеба. В это время у Центрального Комитета не было еще составлено никакого военного плана: точно так же как и в лесах, там еще шла пока невообразимая бестолочь и безурядица; время тратилось в борьбе с белыми, которые умоляли отложить несколько восстание, и с

красными, которые настаивали на том, чтобы направить безоружные банды на Модлин и приказать им взять во что бы то ни стало Новогеоргиевскую крепость. Но наконец Комитет одолел, и тогда-то были присланы в банды довудцы, но увы! — многие из них, одолеваемые жалобами своих подчиненных и в страхе за собственную свою шкуру, тайком удирали от вверенных им отрядов, оставляя людей на произвол судьбы, и скрывались у соседних помещиков, где вдосталь предавались упоению толков о будущих победах и ухаживанию за паненками. Нередко случалось, что, среди такого времяпровождения, покинутые банды, случайно набредя на какой-нибудь панский фольварк, отыскивали там своего беглого довудцу, который при этом воспламенялся патриотическим жаром, говорил им пламенные спичи, поил их на даровщину панской водкой и, при первой же удобной минуте, спешил вновь задать тайком «драпака» от своего докучного воинства.

Но вот в Комитете, одолевшем своих противников, нравственно занял первое место энергичный и необычайно деятельный Стефан Бобровский, а в леса "варшавского отдела" отправился офицер русских войск Сигизмунд Падлевский, приятель Бобровского, не менее его деятельный и энергичный, человек несомненного мужества, отчаянный, решительный, с сильной волей и деспотически-диктаторскими замашками. Эти два лица мигом перевернули по-своему все дело: явились и «довудцы», явилось и оружие, хотя и не в таком количестве, как обещалось, и вот, первым и довольно быстрым последствием свершившегося переворота было нападение на сонных москалей, под звуки полуночного набата.

Но эта первая попытка, несмотря на всю ее внезапность, повсюду почти была отбита с уроном для поляков; роты русских солдат успели в порядке отступить в места своих полковых штабов, поплатясь, конечно, каждая несколькими людьми, которых инсургентам удалось прирезать в постели или захватить и изуродовать. После этого повстанцы рассеялись по всему Краю во множестве мелких партизанских банд, которые портили железные дороги, рвали телеграфные проволоки, грабили почтовые мальпосты и убивали проезжих, если те имели на себе русскую военную форму. Едва приближались русские войска, которые небольшими подвижными колоннами по всем направлениям искрещивали Край, повстанские банды рассыпались, не дожидаясь боевой встречи, с тем чтобы тотчас же собраться вновь в тылу прошедшей колонны. Если русские случайно натыкались на подобную банду, то какая-нибудь двадцатиминутная перестрелка решала дело, и поляки врассыпную искали себе спасения в бегстве. Хотя зима в этом году стояла теплая, так что, например, 15-го января в Варшаве доходило до десяти градусов тепла, да и Висла всю зиму не замерзала, тем не менее городские обыватели, составлявшие главную силу банд, были далеко не привычны к трудам и лишениям бивуачной скитальческой жизни. Поэтому до начала марта партизанские действия шли вообще очень вяло и бессвязно. Главная задача состояла не в том, чтобы драться, а в том лишь, чтоб утомлять русские войска бесплодными поисками и демонстрировать пред Европой газетными известиями, что банды, мол, есть и держатся, и дерутся, и уничтожить их невозможно. Но вот пахнули первые дни весны — и восстание оживилось.

II. Генерал-довудца и его штаб в прадедовском замке

В одной из лесистых местностей Августовского уезда, на крутом и обрывистом берегу Немана, изрытом извилистыми и глубокими оврагами, поросшими кудрявою растительностью, возвышается в пустынном уединении старинный родовой замок графов Маржецких. Толстые кирпичные стены этого дома, воздвигнутые еще в XVII веке, не раз подвергались потом по частям наружной реставрации: вот башня, сохранившая еще и доселе свой первоначальный старопольский стиль, а рядом с ней какая-то пристройка совершенно в голландском роде, далее — главный фасад с большим крыльцом во вкусе «Рококо», возобновленный в прошлом столетии; тут же и домашняя капелла, греческий фронтон, который явно указывает на время

ее реставрации в начале нынешнего XIX века; домашние службы и хозяйственные постройки, разбросанные вокруг, но несколько поодаль от замка, строены уже без всякого стиля, а просто себе так, как обыкновенно строятся они на Литве и в Польше. Длинная аллея вековых пирамидальных тополей ведет к каменным воротам, за которыми раскинулся широкий двор, примыкающий к главному лицевому фасаду. Противоположная сторона замка, обращенная к реке, вся прячется в купах лип, и вязов, и кленов старинного сада, который по двум оврагам красиво сбегает к самому Неману. Это уединенное место исполнено дикой прелести. Противный берег, и вправо, и влево, и в глубину, на необразимое пространство величаво порос вековечной дремучей пущей, которая темной тенью угрюмо опрокинулась в Неман и кажется издали темно-синей зубчатой стеной, — такой характер контуров придают ей остроконечные верхушки высоких сосен и елей.

Графиня Цезарина весну этого года проводила в родовом замке своего сосланного супруга.

Был девятый час вечера. Заходящее солнце обливало розовым золотом старую бело-серую башню и заречные лесные вершины. На Немане легкий, прозрачный туман подымался. В это время стояли уже ясные, чудные дни мая месяца.

На половине графини только что начинали зажигать лампы. В старинной, но очень красивой и комфортабельной гостиной, украшенной портретами прабабушек и старопольских дедов сгруппировалось вокруг хозяйки небольшое общество. Все сидели у раскрытых окон, выходивших в сад, откуда в ярких раскатах доносилась перекличка принеманских соловьев, мелодические высвисты черного дрозда и нежные стоны иволги.

Графиня Цезарина, придвинув к себе рабочий столик, собственноручно прилаживала ярко-пунцовый плюмаж из страусовых перьев в красивой белой конфедератке. Пред нею лежала металлическая кокарда, которая долженствовала красоваться на той же конфедератке у основания плюмажа. Это была кокарда польских «несмертельных», то есть бессмертных улан, и потому изображала собой рельефную *Адамову голову* над двумя скрещенными костями. За креслом графини, немного сбоку и чуть-чуть облокотясь на его спинку, сидел высокий, статный и очень красивый молодой человек, в какой-то предупредительной позе, будто «начеку», будто весь готовый кинуться куда угодно по первому слову, по первому взгляду прелестной женщины, — сидел и, просто, впивался в нее восторженно-влюбленными глазами. Против Цезарины, покойно и бесцеремонно погрузясь в глубокое кресло и смакуя с ложечки кусок мороженого, восседал несколько тучный мужчина, хотя и пожилого возраста, но необыкновенно представительного вида, с характерным аристократически-польским лицом, выражение которого дышало гордо-самоуверенным достоинством и в тоже время благоволивой снисходительностью к тем из окружавших, которых он считал ниже себя по общественному положению. Впрочем, эта благоволивая снисходительность отнюдь не относилась у него к самой хозяйке, на которую он поглядывал таким взором, что в нем сказывалась и легкая родственная фамильярность, и легкая лакомость жирного кота, с какою обыкновенно глядят на молодых женщин самоуверенные и бывалые, но уже отставные ловеласы. "О! я все знаю, меня не проведешь! И если я уже сам не могу завоевать тебя, так хоть погляжу как счастлив тобою этот влюбленный юноша", казалось, говорил самодовольный взгляд бывшего ловеласа. Это был двоюродный брат мужа Цезарины, тоже граф и тоже Маржецкий — известный Сченсный (Феликс) Маржецкий, на которого в сороковых годах заглядывались женщины и в Петербурге, и в Варшаве, и в Париже. Всю жизнь свою проведя в сфере идеального поклонения искусству и реального поклонения красоте женщин, он под конец своей фланерской жизни растратил все свое состояние и сделался самым аристократическим демократом, аристократическим красным... Он рисовался, он бравировал этой ролью графа-радикала, хотя в сущности не поступился бы ни единою из своих родовых привилегий, и относился в душе, а иногда и на словах, с величайшим почтением к *своему* древнему роду. По его мнению, одни только

Маржецкие были настоящие, родовитые магнаты — ну, да пожалуй еще Чарторыйские с Замойскими, а прочее все — так себе, заурядная аристократия, немножко поболее обыкновенной шляхты. И потому, будучи в душе заклятой "белой костью", он, как "европейски образованный человек своего века", считал, что вполне имеет право быть демократом, если это ему нравится, а тем более, если это его "позирует известным образом". Проигравшись окончательно в рулетку, он приехал теперь на родину, с целью "спасать отечество". Это был истинный дилетант во всем, эпикуреец, немножко атеист, немножко артист и поэт, и потому не захотел он, подобно другим родовитым собратам своим, копаться во тьме подпольной конспирации и дипломатической интриги. Нет, как истый рыцарь, граф Сченсный Маржецкий приехал в Польшу с тем, чтобы выступить против врага на борьбу с открытым забралом, лицом к лицу, во главе своего отряда и с громким титулом довудцы-генерала, в роли достойной рода Маржецких, которые умели некогда драться рядом с Баторием и Собиеским.

Третье лицо, державшееся около графа не то чтобы рядом и не то чтобы сзади, был старый наш знакомец, экс-улан, пан Копец. Здесь очутился он случайно: организованная им маленькая банда была разбита в первой же стычке, а пан Копец при первых выстрелах чуть ли не первым пустился наутек с поля битвы, успел кое-как скрыться в лесах и, благополучно переправясь через Неман, явился искать прибежища в замок Маржецких. Граф Сченсный, как генерал будущих "регулярных сил" Августовского воеводства, великодушно предложил у себя пану Копцу должность начальника "всей кавалерии" и место своего ближайшего помощника по хозяйственной части в «обозе»[189] и в "военном совете", а пока, в ожидании новых военных подвигов, экс-улан беззаботно проживал себе "на ласкавем хлебе" у графини Цезарины. Остальные трое мужчин, которых Маржецкий называл своим штабом, были: "пан адъютант" Поль Секерко — очень молоденький, розовый и бойкий мальчик из хорошей дворянской фамилии; "пан капитан" — черномазый, угрюмый мужчина, лет уже под сорок, избравший себе псевдонимом прозвище «Сыч», что как нельзя более подходило к его характеру, и наконец третий, "пан поручик", небогатый и потому скромно державшийся парень из местных шляхтичей-чиновников, который на вид являл собой совершенно бесцветную личность. Он обходился не только что без псевдонима, но даже и без собственного имени, а называл себя просто "паном поручн*и*ком", и все другие тоже так его называли. Все они красовались теперь в своих щегольских чамарках, позвякивали шпорами, и, без всякой надобности, сидели при саблях, очевидно необыкновенно гордые и счастливые тем, что находятся в высоком обществе родовитых и богатых магнатов. Если прибавить к этим лицам еще фигуру капеллана и траурную фигуру пожилой компаньонки, то общество, заседавшее в гостиной графини, будет вполне очерчено в надлежащей рамке.

— О, это будет очень красиво, очень эффектно! — с увлечением говорил статный юноша, сидевший за креслом Цезарины. — Вдруг целый эскадрон — "*эскадрон смерти*"*:* черные с белым значки на пиках, черные чамарки с белым крестом на груди, белые конфедератки с красным плюмажем и эта "трупья глува"!..

— А кабы к этому да еще красные плащи!.. Хорошо бы! — решился скромно заметить пан поручик, не вполне уверенный, как будет принято его замечание.

— О, тогда бы это была "адская колонна"! — восторженно заметил адъютант-мальчик. — А хорошо бы, в самом деле, назвать эскадрон "адской колонной", или "красными чертями"... а?.. "Красные черти" — ей-Богу не дурно! В одном названии уже какая сила и выразительность!

— Нет, "эскадрон бессмертных" или "легион смерти" гораздо поэтичнее: оно и мрачнее, и грознее, и внушительнее! — возражал статный поклонник Цезарины.

— Хорошо, — охотно согласился адъютантик, — но тогда отчего же бы не сделать так: одну

часть назвать "эскадроном бессмертных", другую "легионом смерти", третью "адской колонной", а четвертую "красными чертями"; разве у нас не хватит людей на все четыре части?

— Пан ма рацие,[190] - заметил граф Сченсный, сделав адъютанту благосклонное движение рукою. — Ваша идея мне нравится! Пожалуйста, заготовьте приказ об этом и, поскорее, на завтра же!

Адъютант поднялся с места и слегка щелкнул шпорами, явно желая сделать поклон совсем "по-военному".

— Но... вот что, — в покровительственно-начальственном тоне отнесся к нему через плечо граф Маржецкий, — скажите, мой милый, отчего я на вас не вижу аксельбантов?.. Вы, кажется, адъютант, а аксельбанты, сколько мне известно, есть необходимая принадлежность адъютантской формы.

— Мне бы и самому очень хотелось, — с легкой застенчивостью залепетал вспыхнувший юноша, — но... я не смел... я не знал, можно ли это...

— Не можно, мой милый, а должно! И вообще, прошу вас всех, господа, строжайше соблюдать принятую форму, потому что... это вообще очень важно... Не забывайте, что мы будем "партизаны регулярные", это не то что всякий сброд... А вы, мой милый помощник и интендант, — обратился граф к пану Копцу, — пожалуйста распорядитесь, чтобы мой фактор Шмуль завтра же съездил в Августов, и — как знает, как хочет, но чтобы непременно привез две пары аксельбантов... Я желаю, чтобы мой штаб вообще носил аксельбанты. О, красивый мундир... это вообще очень, очень много значит и многое придает человеку!.. Не так ли, графиня? Вы, как женщина, конечно, вполне понимаете это?

— Мундир хорош на параде, а мы готовимся к бою, — мягко заметила Цезарина.

— О, конечно так! Но неужели вы думаете, что ваш старый поклонник решился бы уйти из родового замка графов Маржецких, не сделав парада в честь такой прелестной хозяйки и такой патриотки?! Вы будете царицей нашего военного торжества, и я сам проведу пред вами мои войска церемониальным маршем, сам буду парадировать во главе и отсалютую вам моей дедовской саблей... И тем более, что как генерал целого военного отдела, я даже обязан — понимаете ли — *обязан,* по долгу службы, сделать смотр всем моим силам, прежде чем поведу их против неприятеля... Мы должны взаимно познакомиться, они должны узнать и полюбить своего начальника. Не так ли, господа?

Генеральский штаб вполне согласился с мнением своего принципала, потому что, более или менее, каждому улыбалась приятная идея попарадировать красиво на конях пред графиней и соседними паннами, которые, под предлогом воскресной «мши» в костеле, непременно съедутся посмотреть на "волков народовых".

— Но жаль, что музыки не будет! Парад хорош при звуках воинственной музыки, — опять решился вставить свое скромное слово пан поручик из бедных шляхтичей.

— Успокойтесь, милейший! Ваш генерал уже все предусмотрел и обо всем позаботился! — с благосклонной улыбкой через плечо заметил граф своему поручику. — Мой Шмуль сообщил как-то, что здесь по Августовскому повету, шатаются какие-то чехи-трубадуры, семь человек, просто себе странствующие музыканты, и я приказал ему порядить их за хорошую плату в мой корпус... Надо только придумать этим чехам соответственную форму... Я займусь этим вопросом. Мне иногда, после хорошего обеда, за доброй сигарой, за рюмкой ликера приходят

хорошие идеи… будьте спокойны, я непременно займусь этим вопросом, и наверное изобрету и придумаю.

Цезарина приладила наконец красный плюмаж, прикрепила кокарду и, любуясь на свою работу, подала конфедератку статному красавцу.

— Жозеф, наденьте на себя, примерьте, — сказала она. — Я хочу посмотреть, как к вам идет.

Молодой человек исполнил ее просьбу и стал пред ней в непринужденной, но красивой позе, искоса поглядывая на свое изображение в зеркале. Самодовольная улыбка невольно скользила слегка по его губам: он чувствовал, что красивая шапка необыкновенно идет к нему, что он очень хорош, что на него невольно любуются все и прежде всех и более всех любуется *она,* его королева. Но почувствовав, что нельзя же долго и без нужды оставаться в шапке, он, не без внутреннего сожаления, снял, наконец, свою конфедератку и благодарно поцеловал руку Цезарины.

— Ну-с, милостивый государь, а вы как же? — шутливо и ласково обратился к нему Маржецкий, — так-таки и не желаете у меня командовать эскадроном?

— Оставьте меня, генерал, при моей скромной роли, — вежливо уклонился молодой красавец; — все равно я, по обязанности, буду впереди всех: я понесу знамя, которое дарит нам графиня, и этой завидной доли мне бы никому не хотелось уступить.

— В таком случае, я ничего не имею против, оставайтесь нашим «хорунжим»[191] и… я уверен, что знамя графини поведет нас к победам… Оно будет вдохновлять нас воспоминанием о лучшей женщине, какую я только знаю на свете, а этого одного уже достаточно, чтобы разбить хоть сорок, хоть пятьдесят тысяч дрянных москалей. Не так ли, господа? вы согласны?

Лица штаба щелканьем шпор и легкими кивками изъявили и на сей раз полное свое согласие с принципалом.

— Трем-брем! Плюск! и готово! — выпалил вдруг пан Копец, одной рукой расправляя усы, а другой описав разящее движение по воздуху.

— Браво, мой интендант, мой кавалерист! браво! — слегка похлопал его по колену Маржецкий. — Что мне в вас необыкновенно нравится, так это ваша прямая старопольская удаль.

— Всегда был, есть и останусь кавалеристом! — снова выпалил экс-улан, с немалым самохвальством, которое в нем однако все признавали за откровенную прямоту и простоту натуры, свойственную старому рубаке.

— Разделяю вашу страсть к кавалерии, — благосклонно похвалил его граф Сченсный! — Поляк по натуре своей рыцарь, человек благорожденный, и потому он кавалерист… Я понимаю, что у нас никто из порядочных людей не хочет идти в пехоту: пехота это войско рабов, войско немцев и москалей, а нам, полякам, нам прирожденно чувство шляхетности, и потому каждый из нас стремится быть кавалеристом. Не так ли?

— А я слыхал, — начал вдруг адъютантик, очевидно стараясь опять навести разговор на любимую свою тему, — я слыхал, что в корпусе Чаховского все лица штаба носят очень красивые мундиры, аксельбанты, плюмажи и кроме того красные панталоны, как у французов.

— Красные панталоны? В самом деле? — осведомился граф. — А это действительно должно

быть очень красиво… И притом красный цвет — традиционный цвет демократизма и революции, цвет либеральной Франции… Parbleu! мне это нравится… в этом есть идея… хорошая демократическая идея!.. Как вы думаете об этом, мой милый интендант? Не послать ли нам заодно Шмуля, чтоб он купил в Августове и красного сукна для меня и для штаба? Распорядитесь-ка об этом завтра же. А вы, господин адъютант, составьте приказ, что для лиц отрядного штаба, в дополнение установленной формы, учреждаются красные панталоны; и хорошо бы было, если бы вы постарались при этом как-нибудь, отчасти, провести идею… идею — вы понимаете?

— Будет исполнено! — с сияющим лицом поспешил заверить Поль Секерко, вне себя от радости, что отныне будет щеголять в красных панталонах.

В эту самую минуту вошел ливрейный гайдук и доложил, что приехали двое каких-то господ, которые спрашивают ясневельможнего пана грабего.[192]

— Меня? — нахмурив бровь, повернулся к нему Маржецкий. — И сколько раз еще повторять мне вам, чтобы не смели величать меня ясневельможным графом?.. На свете много графов есть, а генерал августовского военного отдела только один… Я — генерал, и не сметь меня величать иначе!.. Кто такие?

— Не знаю… Один цивильный, а другой войсковый.

— Войсковый?.. Польского войска?

— Н-нет… Сдается так, будто бы москаль.

— Москаль? — невольно вырвалось у присутствующих, и все в тревожном недоумении переглянулись друг с другом.

— Господа, что ж это значит? — пробормотал Маржецкий, не умея скрыть внутреннего беспокойства.

— Э, чего там, что еще значит! — похрабрился экс-улан, — просто, плюск! и баста!

— Тс… постойте, не кричите так! — досадливо остановил его за руку граф Сченсный и поспешно обратился к остальным мужчинам. — Господа, вы в шпорах и при саблях… Бога ради, снимите ваши сабли, спрячьте их… да и сами-то лучше уходите, скройтесь на время…

— От-то еще! Чего бояться?! — похрабрился Копец, однако уже не совсем-то уверенным тоном.

— Позвольте, — нетерпеливо перебил его Маржецкий. — Надеюсь, господа, вы понимаете, конечно, что не трусость говорит моими устами, но благоразумие… спасительное благоразумие… — торопливо заговорил он, перебегая взором с одного на другого.

— Погодите, — спокойно перебила графиня. — Ты видел их? — обратилась она к лакею. — Сколько их? Только двое или есть еще с ними какие-нибудь солдаты, жандармы, казаки там, что ли?

— Э, нет! только двое, дали Буг, как есть двое, и никого больше нету, — заверил гайдук. — Я видел, как они еще по аллее подъезжали: только двое и было.

— В таком случае, господа, позвольте мне, как хозяйке, принять их; а вы все, не исключая даже и вас, мой милый граф, удалитесь на время… Вы выйдете потом, когда я разъясню в чем

дело… Вас позовут тогда.

И компания добрых вояков беспрекословно поспешила исполнить благоразумный совет графини, удалясь на цыпочках во внутренние покои. Статный красавец хотел было остаться, но Цезарина безмолвным жестом и взглядом отправила и его вслед за другими. С ней остались только ксендз да компаньонка.

— Проси! — приказала она лакею.

Чрез минуту в гостиную вошли двое запыленных путников. Одетый в партикулярный костюм шел впереди. Цезарина вгляделась в него — и невольно вырвалось у нее восклицание удивления. Она узнала в нем Василия Свитку.

— Позвольте представить вам, графиня, моего спутника, — проговорил он, указывая на товарища. — Он *наш* вполне, хотя и носит пока военный мундир, но это только для большей безопасности: в дороге, знаете, казаки, пикеты и всякая сволочь попадается; это не лишнее: все ж таки гарантия…

— С кем имею удовольствие?.. — невнятно пролепетала Цезарина, с вопросительной и сдержанно-приветливой улыбкой приподнимаясь с места.

— Поручик Бейгуш, — назвал себя товарищ Свитки, раскланиваясь по привычке кратким военным поклоном. — Помнится, раз я имел честь встретить вас в Петербурге, у нашего общего приятеля, у Колтышко… Но не в этом дело. Я имею назначение в военно-народный отдел Августовского воеводства и потому мне надо видеть генерала… Могу я видеть его?

— Сию минуту!

И Цезарина сама пошла звать своего храброго, но благоразумного кузена.

Успокоенный генерал вышел к новоприбывшим уже совсем по-генеральски.

— Что вам угодно?

Последовала новая рекомендация и взаимное представление.

— Очень приятно! — процедил сквозь зубы Маржецкий, не протягивая однако руку, а ограничась одним лишь благоволивым жестом. — Кто вас прислал ко мне?

— Тот, кто имел на это единственное право: ржонд народовый.

— Склоняюсь пред волею ржонда. Но зачем собственно вы присланы?

— В ваше распоряжение, в качестве офицера генерального штаба.

— А я, — поспешил вставить Свитка, — я в качестве гражданского делегата, на случай движения в Литву, так как я собственно принадлежу к организации Литовского Отдела. Впрочем, я еду завтра же и постараюсь снова побывать у вас уже в лесах литовских.

Маржецкий кивнул ему на это вскользь головой.

— В качестве генерального штаба? — прищурясь, обратился он к Бейгушу.

— *Офицера* генерального штаба, — поправил его бравый поручик.

— Ну да, конечно, офицера… А имеете вы достаточные познания для этого?.. Сколько я знаю, должность офицера генерального штаба имеет свои особенные обязанности и требует, так сказать… одним словом…

— Я кончил курс в академии, — поспешил заявить ему Бейгуш, видя, что генерал начинает несколько путаться.

— О, в таком случае я склоняюсь пред авторитетом науки!.. Я слишком проникнут священным уважением к науке и потому склоняюсь! — слегка покачиваясь и раскланиваясь, сделал граф новое благоволивое движение рукой.

Увидя пред собою не лесового, не импровизованного, а настоящего офицера, да узнав еще вдобавок, что офицер этот кончил курс в военной академии, граф Маржецкий в душе необычайно обрадовался. В сущности, он не имел ровно никакого понятия о военном деле, а уж о таких, по мнению его «мелочах», как организование части, ее вооружение, снабжение, обучение — нечего и говорить. Граф полагал, что это вовсе не его дело заниматься подобными пустяками, что это все предметы низшего порядка, для которых нужны чернорабочие руки, а он, благосклонно согласившийся принять на себя звание начальника и генерала, ради вящего прославления фамилии Маржецких, он призван только направлять, воодушевлять, подавать доблестный пример в бою и вообще вести ко славе своих соотчичей. Поэтому сведущий военный человек пришелся ему теперь как нельзя более кстати, по соседним лесным фольваркам уже более недели скрывались собранные люди, готовые идти в банду, но с ними ровно ничего не делали, а только кормили да поили на счет патриотки-графини. Хотя пан Копец и уверял все, что он «учит» и «приготовляет», но результаты этого приготовления сказывались пока только в том, что разношерстная сволочь, собранная из городской и «мястечковой» черни, пьянствовала без просыпу, бездельничала, ссорилась и дралась между собой и начинала уже дебоширить по соседним деревням, что вызывало ропот и озлобление со стороны безучастных хлопов. Время меж тем уходило, и граф очень хорошо начинал понимать, что в среде его штаба никто не умеет и не знает как должно приступиться к делу: все хотят только командовать, властвовать, начальствовать, а поучить и потрудиться никто не желает. Важнейшая забота графа, как и каждого, впрочем, генерала этого восстания, состояла в том, чтоб изобрести костюм, *форменное платье* для своей банды и найти *хорошего майора*, который делал бы все дело по строевой части, а генерал тем временем спокойно бы жуировал и пожинал себе лавры. Лица свиты и штаба предназначались не для дела, а более для внешней обстановки, для эффектного «антуража», для красивого вида да для того еще, чтобы генералу было с кем позабавиться приятной болтовней, пображничать и поиграть в карты; вся же часть действительной работы и настоящего дела, насколько оно исполнялось и существовало в бесшабашных бандах, исключительно возлагалась на плечи чернорабочего *майора*. «Майор» польской банды — это обыкновенно итальянец, венгерец, француз, иногда поляк, который кое-что и кое-как смыслит в военном деле. Он мог командовать от имени главного вождя, но так, чтобы все думали, будто это вовсе не он, а сам генерал командует и распоряжается; поэтому ему предоставлялась известная свобода действий, но с тем условием, чтоб он не слишком выставлял свое честолюбие, не вдавался бы в польскую политику, повиновался без рассуждений непогрешимому ржонду, не делал дурных внушений крестьянам против помещиков и почитал бы польское духовенство.

Эти условия граф Маржецкий предложил и Бейгушу, уведя его предварительно в особую комнату, чтоб избежать посторонних свидетелей, а так как Бейгуш был ему очень и очень-таки нужен, то условия были предложены в самой мягкой и деликатной форме, причем граф не поскупился на самую очаровательную любезность.

Бейгуш сразу понял, с кем имеет дело, но его привела сюда не собственная, а иная воля,

которой он обязан был слепо повиноваться, в силу добровольной присяги и чтоб окончательно очистить себя от черных подозрений, возбужденных против него еще в Петербурге по поводу нежелания ехать в Литву. Петербургскому Центру, конечно, не могла быть известна та нравственная метаморфоза, которая заставила бравого поручика искренно и честно полюбить свою «москевку-жену», после нечестной проделки с нею. Да и что было за дело этому Центру до каких бы то ни было метаморфоз, раз, что человек связал себя добровольно клятвой патриота. Поэтому тогдашнее колебание этого человека показалось членам "военного кружка" крайне подозрительным. Бейгуш должен был поневоле уступить грозному напору общественного мнения своих товарищей-поляков и исполнить то, что от него требовалось, но тем не менее тень сомнений и подозрения сопровождала его с тех пор повсюду, и в Вильне и в Варшаве. Надо было снять с себя эту тень, и для того надо было повиноваться слепо и беспрекословно.

— Я солдат, мое дело исполнить то, что приказывают, — коротко ответил он графу Маржецкому на все его предложения и условия.

— В таком случае, завтра же будет отдан приказ о назначении вас майором моего штаба! — крепко пожимая ему обе руки, с самою тонкою любезностью заключил граф, почувствовавший, что теперь тяжкая гиря забот перекатилась с его барских плеч на шею сговорчивого поручика.

"Форма придумана, майор найден — чего же более?! Остается только пожинать мирты Эрота и лавры победы", самодовольно подумал себе граф-довудца, вводя вновь пожалованного майора в гостиную, чтобы представить его членам своего штаба, которые успели уже пронюхать, что опасности нет никакой, что прибыли-де *свои,* и потому смело повысыпали в гостиную, где вволю могли теперь щеголять и рисоваться своими воинственными позами и речами, своими «штыфлями»,[193] шпорами и саблями пред "*цивильным* делегатом" Свиткой.

III. На сборном пункте

Прошло двенадцать дней со времени прибытия Бейгуша в замок Маржецких. В это время было окончательно решено на военном совете вторгнуться в пределы Гродненской губернии, где и держаться в лесах, делая по временам партизанские налеты в ту или в другую сторону. В это же время Бейгуш наскоро занялся кое-какой подготовкой людей и распределением их в уланы, в *тиральеры* и в косиньеры, а организатор Августовского воеводства успел окончить доставку в замок разных принадлежностей боевого снаряжения, которые с помощью жидков подвозились по частям, то в товарных ящиках, то в бочках, то в возах, наполненных для виду сеном и соломой, а кое-что доставлено даже и водой, в неманских «берлинках». На ближайших фольварках графини по стодолам и сараям уже несколько дней стояло более двух сотен коней, скупленных и пожертвованных в банду окрестными помещиками. Соседняя шляхта вся стремилась в кавалерию, не желая мозолить свои благородные ноги в службе пехотной наряду со всяким «быдлом». Поэтому многие из будущих кавалеристов, чтобы не тратиться на фураж, заблаговременно доставили своих Росинантов на фольварк*о*вое довольствие графини. Наконец Бейгуш успел кое-как сладиться с «генералом» насчет времени сбора и оповестить будущих воинов о месте, дне и часе. «Генералу» не особенно хотелось расставаться с комфортабельной жизнью у гостеприимной кузины, где можно было так безопасно щеголять в импровизованном военном костюме, со всеми этими «бутами», шпорами, аксельбантами и еще безопаснее разглагольствовать пред почтительным штабом об «ойчизне» и свободе, о Гарибальди и Мадзини, изобретать новые дополнения к мундирной форме, отдавать приказы, говорить комплименты, мечтать о смотрах, парадах, фестивалях и заранее торжествовать будущие победы. Поэтому граф Сченсный, под разными благовидными предлогами, старался, по возможности, оттягивать время выступления в леса, и в душе остался даже не совсем-то

доволен своим «майором» за его излишнюю расторопность.

— Зачем так скоро? Спешите медленно: это, на мой взгляд, самая лучшая тактика и самое верное средство побеждать врага! — с любезно-кисловатой миной и тоном дружеского выговора внушал он Бейгушу.

Но вот прибыл курьер народового ржонда, которым на этот раз явилась какая-то барыня, привезшая в шиньоне своем две официальные записки. Одна была от воеводского организатора, извещавшего, что оружие и все прочее доставленное уже снаряжение находится в самом исправном виде и в полном комплекте, а потому-де не угодно ли генералу дать квитанцию в получении, что генерал и не замедлил исполнить, не полюбопытствовав даже взглянуть, что это за оружие и что за снаряжение: для подобной "мелочной работы" у него был отдувавшийся за все "майор генерального штаба". Но на этот раз даже и ему не догадался граф поручить предварительный осмотр запакованного оружия. Другая же записка от лица Центрального Комитета формально и настойчиво предлагала немедленно же начать военные действия и прежде всего сделать попытку военной демонстрации в направлении на Ковно или Гродно, смотря по тому, куда будет удобнее.

После этого у генерала уже не оставалось благовидных предлогов для дальнейшей медлительности, и однако ж он все-таки думал было немножко помедлить под предлогом маленького насморка, который от лесной сырости может обратиться в злокачественный.

Цезарина, со всей женской деликатностью, старалась ему внушить, что дальнейшее промедление будет не совсем-то удобно для его воинской репутации в глазах общественного мнения.

— Берегитесь, милый генерал, — заметила она с легкой усмешкой. — Хотя мне и очень приятно ваше общество, но вы рискуете найти здесь вашу Капую, вы, который так пламенно стремились на поле битвы…

— Да, стремился, видит Бог, стремился! — сахарно вздохнул старый ловелас, — но увы!.. я встретил вас, очаровательная графиня!.. А видя вас, какой же Цезарь, какой Александр или Ганнибал не сделался бы капуанцем?!.

— Ну, это вовсе не лестный комплимент для польки в настоящую годину, — заметила графиня.

— Увы! что ж делать, но я чувствую, что я ваш капуанец! — отшучивался граф, но вдруг остановился, встретив презрительный взгляд Бейгуша, который присутствовал при этом разговоре. С этой минуты ясновельможный довудца глубоко и жестоко возненавидел в душе своего расторопного майора.

— Надеюсь, впрочем, графиня, вы понимаете, что это с моей стороны не более как шутка? — догадался он не совсем ловко поправиться в глазах Цезарины, после минуты внутреннего смущения.

* * *

Время близилось к полуночи. На уединенной лесной поляне, у одинокой избушки «кутника», нетерпеливыми шагами прохаживался человек, закутанный в кавказскую бурку. В нескольких саженях от него стояло десятка два тяжело нагруженных возов, около которых там и сям тихо разговаривали между собою хлопы-подводчики. Возы только что прибыли, а человек в бурке уже более часа шагал взад и вперед, поджидая кого-то, и с каждой минутой досадливое нетерпение его становилось все сильнее и заметнее. Он останавливался, вглядывался в темную

даль, прислушивался, слегка потаптывая ногой, иногда бормотал про себя далеко не лестные эпитеты, адресованные к кому-то отсутствующему, и снова принимался шагать по поляне. Это был Бейгуш, одиноко приехавший верхом на сборный пункт в заранее назначенное время. Из будущих вояк никого еще не было.

Но вот наконец-то, уже во втором часу ночи, с разных сторон стали выходить из чащи леса люди по десятку, по два и более. Иные из них вели в поводу незаседланных коней. Молчаливо, с таинственным видом и поникшей головой приближались оттуда и отсюда новые партии. Соседние паничи приезжали в бричках и нетычанках, а за ними ехали фуры и телеги с разной поклажей этих паничей, надеявшихся устроить свою "лесовую жизнь" как можно удобнее и приятнее. С каждой минугой лесная поляна около хатки оживлялась все более и более, людской гомон и говор становился вольнее и громче, хотя и сохранял еще пока в себе характер какой-то сдержанности и таинственности, под впечатлением ночи и таинственной обстановки предприятия. Там и сям мигали красные огненные точки запаленных «фаек»[194] и папирос. Но вот вместе с запахом табака и махорки, потянуло в воздухе едким дымком: в двух местах накидали хворосту, еловых ветвей да соломы и развели костры. Послышался говор и смех нескольких женских молодых голосов, хотя и не заметно было ни одной юбки, ни одного обычного женского костюма. Это понаехавшие паничи попривозили с собою своих героинь, переодетых в буты и в чамарки. Без таких героинь-патриоток не могла обойтись ни одна сколько-нибудь «порядочная» шляхетная банда.

— А где же генерал? — осведомился у Бейгуша один из подошедших паничей. — Или еще не приехал?

— Он и не приедет, — неохотно отвечал Бейгуш.

— Вероятно важные занятия, совет военный или что-нибудь такое?

— Нет, скорее просто в карты режется, — заметил на это другой из подошедших.

— В карты! — подхватил третий. — От-то штука! Пенкна штука, дали Буг, Панове. А что, не перекинуться ли и нам в маленький штоссик.

И восприимчивые паничи сейчас же постлали у костра два-три плаща, расселись на них в тесный кружок; один достал из чемодана две новые колоды карт, другой притащил водку, третий закуску, и все, кажись, тотчас же позабыли о цели, с какой приехали на эту поляну.

На душе у Бейгуша было смутно и досадно. Он подошел к кучке игроков и напомнив, что в данную минуту такая забава вовсе неуместна, просил прекратить игру.

— Лучше бы, господа, помогли мне сделать расчет людям: они еще не сосчитаны.

— Это до нас не касается. Надеемся, мы не урядники, а офицеры, — отвечали из кучки.

— Потому-то я и прошу вас.

— Э, полноте! Садитесь-ка лучше с нами.

— Господа, вы добровольно записались в отряд, стало быть знаете, что такое военная дисциплина. Я пока еще не приказываю, а прошу вас как старший товарищ.

— А почему это вы "старший товарищ"? Разве вы довудца? У нас *генерал* старший, а других мы пока еще не знаем, — опрокинулись на Бейгуша несколько голосов разом. — И что это такое за

различия *старший и младший!* Как шляхта, как офицеры, полагаю, мы все равны в обществе.

Бейгуш тоскливо огляделся вокруг. Положение его было крайне затруднительно и неприятно: опереться было не на кого, и он живо почувствовал теперь, что один в поле не воин, что в данную минуту он совершенно одинок и беспомощен против нескольких нахалов, которые, пользуясь своим числом, не задумаются затеять с ним самую скандальную историю, а пожалуй и драку. Что тут делать? Как выйти из такого положения?

— Господа, я еще раз прошу вас вспомнить, что дело, для которого вы здесь, слишком серьезно и свято, — решился он на последнюю попытку.

— Э, полноте! Уж будто отечество погибнет от того, что мы прокинем две-три талии!

— Так вам решительно не угодно кончить?

— Ах, да перестаньте пожалуйста! Делайте свое дело, если оно у вас есть, и не мешайте нам заниматься нашим.

— В таком случае завтра вам придется сильно раскаиваться в этом, — проговорил он, едва сдерживая в себе кипевшее негодование, и отошел в сторону. Другого, впрочем, ничего и не оставалось ему покамест. Меж тем время близилось к рассвету. Надо было торопиться сбором и снаряжением.

— Все ли налицо? — громко окликнул Бейгуш толпу, раскинувшуюся на поляне.

— Кажись, что все; по крайней мере, уж с полчаса как никто более не подходит, — ответил ему пан Сташец, ржондца[195] одного из фольварков графини, выбранный в старшие урядники тиральеров.

По приказанию Бейгуша, толпа скучилась в одно место и примолкла. Он вынул из бокового кармана список и стал по именам выкликать людей. Кто был назначен в тиральеры, тот шел в особую кучу, направо, кто в косиньеры — налево, а кавалерия толпилась несколько в стороне с табуном разномастных и разнокалиберных коней, наполовину не снаряженных и не заседланных. Наконец, перекличка и сортировка были окончены. Но тут, на первом же шагу, встретилась непредвиденная неудача: по спискам общая численность банды простаралась свыше шестисот человек, а налицо оказалось только четыреста с чем-то. Лошади тоже не все в должном количестве, так что одна треть охотников-кавалеристов, вместо четырех конских ног, благополучно оказывается только на своих на двоих... Бейгуш считает и людей, и коней, сверяет недочет и вновь пересчитывает. Толпа не хочет ждать, не стоит на месте, галдит, поминутно разбредается во все стороны: там драка, там смех, здесь ругань. Но вот наконец-то, после долгих и тщетных усилий, заранее выбранные урядники кое-как приводят эти кучи в некоторый порядок, заставляя их строиться в ряды с помощью крепкой брани, зуботычин и подзатыльников. А паничи-офицеры меж тем все еще продолжают себе преспокойно резаться в штосе, не обращая ни малейшего внимания на хлопоты и распорядки «майора». Но двух сотен, значившихся в комплекте, так-таки и не досчитались. Эти две сотни разбрелись, Бог весть куда. Оказалось, что иные люди, прокормившись и пображничав около трех недель на даровщину, заблагорассудили перекочевать в другие банды, на том основании, что там жалованья будто бы больше платят, другие же не хотели даже идти на сборный пункт и остались на квартирах, а третьи, без объяснения причин, просто убрались подобру-поздорову, скрылись, сбежали и были отмечены "пропавшими без вести".

Приступили к разборке оружия, мундиров, амуниции. Все, что было на поляне, шумно и безо

всякого порядка кинулось к возам и стало разбивать ящики, бочки, вспарывать тюки, и тут-то последовало новое нежданное разочарование для Бейгуша. Организатор, обещавший прислать четыреста ружей и встребовавший с графа квитанцию именно в этом числе, прислал их только двести, да и то не бельгийских штуцеров, как значилось в его бумаге, а разного сброда и хлама, вроде старых карабинов, и мушкетонов, кремневых ружей, охотничьих двустволок, бракованных «туляков» и австрийских винтовок. И все это оказалось Бог знает в каком виде: там нет шомпола, здесь курок не действует. Люди, бросившиеся впотьмах на повозки, хватают первое, что попало под руку. Кому досталось ружье, кому сабля, этому пистолет, тому патронташ, иному одни патроны, а оружия никакого, один тащит узду, другой седло без потника. Бейгуш выходит из себя, вынимает саблю и, кинувшись в толпу, начинает вместе с урядниками плашмя фухтелять направо и налево. С помощью этого решительного средства, кое-какой порядок снова восстановляется на некоторое время. Но тут опять новые неудачи, новые открытия: вахмистр докладывает, что потников нет более чем наполовину, про них совсем забыли; зато белые конфедератки с красными гарусными султанчиками все налицо, и черные чамарки с белыми крестами, и *холщовые коллеты* с красными отворотами и все это в совокупности издали имеет вид очень красивый. Другой урядник докладывает, что значительное количество штыков вовсе не подогнаны к ружьям: гайка у штыка чересчур узка и принадлежит ружью какого-то другого калибра, патроны не входят в дуло, а другие, напротив, идут уже слишком легко, с невозможным зазором, капсюлей тоже нет, а те, которые отыскались, подходят едва к десятому ружью, не насаживаются на стержень, или слишком слабы, не разбиваются, дают осечки. Один жалуется на сапоги, которые жмут, другой на узкую чамарку, тот недоволен своим чересчур широким картузом, этот цепкой от мундштука; нет принадлежностей к мундштуку, да и сам мундштук никуда не годится. Люди, и без того уже достаточно деморализованные, начинают громко роптать, видя во всем такую несостоятельность. Жалобы летят со всех сторон, а что отвечать на них, и чем помочь делу? Кто предварительно осматривал эти ружья? Кто укладывал их в ящики и в повозки? Кто считал и делал сборку всех этих предметов? Пронырливые евреи, трусливые аптекаря, болтливые адвокаты, невежды паны и чиновники, отроду не державшие ружья в руках, фанатики-ксендзы и восторженные женщины…

Зато "трупьи глувы", со скрещенными костями, и эти черные с белым флюгера на пиках делают такое траурное, мрачно-поэтическое впечатление; зато неуклюжие и бесполезные косы, оказавшиеся в порядке более всего прочего, так эффектно сверкают на своих длинных четырехаршинных древках; зато все это так красиво, так символично и во всем напоминает "ойчизну за кржижу распненту"[196]… А это-то и есть самое главное, в этом-то и вся суть, по мнению кобет,[197] ксендзов и адвокатов.

С каждой минутой ропот и жалобы становились сильнее. Урядники кое-как уговаривали ропщущих, утешая и клянясь, что все беды минуют, что все найдется, все исправится, лишь бы только тронуться в поход и перейти Неман, а там уже все, все будет в полном изобилии и порядке.

Бейгуш молчал. У него не хватало духу расточать подобные уверения обманутым людям и утешать тем, на что не могло быть и призрака сбыточной надежды. Слезы отчаяния готовы были брызнуть из его глаз.

Но время не терпит — уже светать начинает. Хочешь не хочешь, а надо тронуться. Так повелевает ржонд народовый, под страхом смерти и общественного позора, под страхом черного имени «здрайцы» Изменника.,[198] за невыполнение в точности его безапелляционных повелений. И вот, краснея от жгучего стыда, с болью в душе за судьбу этих четырех сотен людей, наполовину безоружных, он вынимает саблю и неуверенным,

надтреснутым голосом подает команду.

— Вперед! Марш!.. Бог помочь, панове! На Него надежда!

И нехотя, молча и понуро, словно бы на смерть обреченная, банда тихо снимается с места и уходит в глубину густого, болотистого леса. Шалопаи-паничи, по необходимости прекратив игру и попойку, позавалились в свои брички, и вместе с отважными героинями поплелись вслед за бандой в хвосте длинного обоза.

IV. Лесная маювка

Граф Сченсный Маржецкий и приближенные лица его штаба, проведя вечер за картами, а половину ночи за веселым ужином, покоились еще сладким и безмятежным сном, на пышных пуховиках, по своим спальням, когда отряд подошел к месту переправы, верстах в трех ниже замка. Солнце уже сияло на небе и предвещало жаркий день.

Уезжая с вечера на сборный пункт, Бейгуш усиленно просил капитана с поручиком озаботиться, чтобы к рассвету на месте переправы, кроме парома, постоянно находившегося в этом пункте, приготовить еще столько лодок, сколько было возможно собрать в ближайшей окрестности.

Но какова же была его досада, когда, подойдя к Неману он не нашел ни одного челна, тогда как сделать это было вовсе не трудно. С досады дав сильные шпоры коню, Бейгуш помчался в замок и приказал разбудить графа. Но сонный камердинер не отважился на такой подвиг, оправдываясь, что ясновельможный недавно только изволил започивать и не приказал будить себя ни под каким предлогом.

Бейгуш почти насильно ворвался в его комнату.

— Генерал! отряд уже готов и ждет на переправе! — проговорил он над ухом спящего, бесцеремонно тряся его за плечи.

— А?.. что… как? — впросонках хлопал тот глазами. — А!.. это вы?.. что вам надо?.. Ведь я ж не велел будить себя… Дайте мне спать, пожалуйста… Экая скотина этот Якуб мой!..

Бейгуш повторил свое сообщение.

— На переправе?.. Что такое на переправе?.. Кто на переправе? Отряд?.. Ну и пускай его!.. И прекрасно!.. Переправляйтесь! — с досадой бормотал полусонный довудца.

— Не на чем, генерал, — заметил Бейгуш.

— Что такое не на чем?.. Мне-то что? Это ведь ваша забота, ваше дело! Хорош же у вас порядок!.. Ах, ей-Богу!.. Вы мне мой сон перебили… Я теперь и не усну пожалуй!..

— И прекрасно сделаете…

— Да, вам легко говорить, а я целую ночь не спал…

— Я тоже не спал ее. Повторяю, отряд дожидается вас.

— Дожидается?.. Хм… Ну, пусть подождет… Можно и потом переправиться… Отведите его в лес обратно и подождите там… Часов в десять я приеду… Прощайте, господин майор, мне

некогда…

И генерал повернулся на другой бок, спиной к Бейгушу, с самым решительным намерением не отвечать более ни слова, ни звука и не поддаваться никаким настояниям.

Бейгуш вышел из спальни, стукнув за собой дверью. С отчаяния он готов был рвать на себе волосы.

Но делать было нечего. Лодок нет да и день на дворе, казачьи разъезды могут случайно рыскать на том берегу, какие-нибудь барочники на Немане, какие-нибудь проезжие хлопы увидят, разболтают, — словом, при дневном свете переправа и без того небезопасная становилась положительно невозможной. Нечего было и думать начинать ее в эту пору, на одном пароме да на двух рыбачьих лодчонках.

Спешно вскочив на взмыленного коня, со злобой и отчаянием в сердце, помчался он обратно к покинутому отряду и отвел его неподалеку от берега в густую, непродорную чащу. Люди были голодны, а возы с провиантом, собранные на окрестных фольварках графини, еще и не прибыли к переправе, благодаря тому, что пан интендант, он же и начальник "всей кавалерии", спал богатырским сном в замке, после нескольких бутылок доброй венгржины и наливок, осушенных за ужином. Бейгуш готов был бросить все и бежать хоть на край света. Ему было больно, совестно и стыдно глядеть на жалких и голодных людей Августовского «корпуса», и только одно совестливое чувство чести и нравственного долга понудило его остаться вместе с ними, разделяя их голод и усталость. Люди меж тем не переставали роптать, и роптали тем более, что шалопайные паничи, вместе со своими героинями, опять раскинули ковры и наметы около повозок и, немного проспавшись, снова занялись чаями, картами да закуской. Для них лесная скитальческая жизнь, пока еще целы были запасы, представлялась только веселой лесной «маювкой».[199]

И чем сильнее, чем резче был контраст между ропотом всякого сброда, составлявшего главную силу банды, и этим беззаботным, сытым и пьяным смехом паничей с их женщинами, тем все злобнее и мрачнее становилось на душе у Бейгуша. Еще в самом начале дела, на первом же шагу рискового предприятия, он уже ясно стал предвидеть теперь роковое начало конца его. Это, можно сказать, был уже конец в самом начале и даже без всякого начала. Отойдя несколько в сторону от бивуака, он раскинул под деревом свою бурку и отвернулся на ней от людей, стараясь притвориться спящим, чтобы ничего не видеть и не слышать, ни этого хлопского ропота, ни панского разгула. "Ах, если бы теперь пришли москали, и если бы первая пуля досталась на мою долю!.. Господи! Какое счастие мне это было бы!" смутно и глубоко искренно подумалось ему в эту тяжелую минуту.

Часу уже в первом дня на бивуак прискакал юный Поль Секерко.

— Фу! насилу-то отыскал вас! Эк, в какую глушь забрались! И не продерешься! — говорил он, отирая с лица обильный пот. — Что вы тут делаете, майор? Генерал недоволен: вы не прислали ему сказать о месте бивуака; он прислал вам приказание, чтобы вы немедленно привели отряд во двор замка и там построили бы его развернутым фронтом.

— Это зачем?! — выпучив глаза от изумления, воскликнул Бейгуш.

— Как, помилуйте, генерал желает, во-первых, лично познакомиться со своим войском, а во-вторых, сделать парад с церемониальным маршем. Это его непременная воля.

— Тьфу!.. какие глупости! — вскипятился Бейгуш от досады. — Скажите, молодой человек,

вашему генералу, что я ему средь бела дня не стану без нужды водить отряд на показ посторонним людям! Это безумие! Это значит рисковать удачей всей экспедиции, портить в самом начале все дело и играть судьбой и жизнью нескольких сотен людей! Теперь не до парадов, — взволнованно жестикулировал он, будучи рад, что есть человек, который передаст все его резкости и горькие истины по прямому назначению; — люди голодны, со вчерашнего дня и куска хлеба не съели еще, а ваш генерал и не позаботился об этом!

— Но генерал непременно желает познакомиться, — в затруднении пожимал плечами Секерко.

— Ну, так пусть его приезжает сюда и знакомится сколько душе его угодно!

— Но… в таком случае надо выбрать здесь какую-нибудь удобную поляну.

— Выбирайте, коли охота.

И Бейгуш без дальнейших церемоний отвернулся и пошел прочь от юного адъютанта.

Едва к четырем часам пан Копец догадался прислать на бивуак провиантские фуры с ветчиной, хлебом и водкой, да и то благодаря лишь напоминанию Поля Секерко; но зато вслед за провиантом и сам он прибыл вскоре "до обозу".

— Майор, генерал вами очень недоволен, — сухо обратился он к Бейгушу. — Да-с, недоволен и велел вам передать, что на этот раз охотно извиняет, но вперед не намерен терпеть никаких нарушений его воли. Отыскали вы поляну для парада?.. Генерал в шесть часов прибудет сюда со свитой и сделает смотр войскам.

— Послушайте, — с горечью усмехнулся Бейгуш, — вы говорите, что вы старый служака, неужели же вы не понимаете всей бессмысленности подобных комедий в настоящем положении?

— Но что ж делать! — пожал Копец плечами. — Такова уж его воля!.. Надо же потешить его… Ведь как хотите, все-таки *граф* — шутка сказать!.. Такое лицо… Ведь это сила!.. Надо иметь в виду и будущее… тем более, что уже распорядились принести сюда алтарь — ксендз будет служить молебен… Музыкантов тоже Шмуль привез сегодня утром… Это возбудит дух отряда.

— Делайте как знаете! — махнул рукой Бейгуш.

Копец выкликнул из банды полесовщиков, знакомых с местностью, и приказал им выбрать поблизости просторную поляну. Те сказали, что знают неподалеку подходящее место и вызвались проводить. Не дав людям хорошенько окончить обед, экс-улан приказал им взять оружие и сам повел всю орду вслед за проводниками, которые через десять минут ходьбы привели всадников на полянку, сажень около полутораста в окружности. Здесь пан Копец построил в развернутом фронте сперва кавалерию, потом тиральеров, наконец косиньеров, и занялся репетицией парада. Бейгуш стоял в стороне, не принимая никакого участия в его хлопотах.

— Да помогите же мне, наконец, господин майор генерального штаба!.. Я, черт возьми, кавалерист и по-пехотному не знаю!

— В чем прикажете помочь вам, господин полковник? — пожав плечами и усмехаясь, подошел к нему Бейгуш.

— Как в чем? Ну, докажите людям, как ходить в ногу, как делать "презентуй бронь",[200]

научите салютовать господ офицеров и как должно им парадировать мимо начальника.

— Лишнее, господин полковник! — махнул тот рукою.

— Как лишнее?! Ведь мы же, черт возьми, наконец, регулярное войско называемся, — должны же мы уметь все это! Неужели вас это не интересует?

— Увы! я выжил уже из тех лет, когда нравится игра в солдатики! — иронически, но вовсе не весело вздохнул Бейгуш.

— Хо-о!.. Так по-вашему, это игра в солдатики?!

— Не более. И если будет так продолжаться, то лучше распустить людей по домам сию же минуту.

— Однако, господин майор, у вас черт знает какой неподатливый характер.

— Да, в особенности на бездельные вещи.

— Как?! Так я по-вашему бездельник?.. Так я бездельник?! — побагровел и забрызгал сквозь усы пан Копец. — Да я уши обрублю тому, кто осмелится сказать это мне, старому кавалеристу!.. Я сатисфакцию!.. Да! Я сатисфакцию потребую!

— Во-первых, я не называл вас бездельником, — заметил Бейгуш спокойно и прямо глядя ему в глаза, — а во-вторых, если вам угодно удовлетворения, извольте хоть сейчас. На чем прикажете?

— Как?!. Вы вызываете меня на дуэль?.. Пред фронтом?! при исполнении моих служебных обязанностей!? Вы, майор, меня, полковника!? Так *это* у вас дисциплиной называется?.. Ге-ге! Хорошо же! Пусть только приедет генерал, я подам формальный рапорт и потребую военного суда над вами!

Бейгуш мог только усмехнуться и пожать плечами на выходку храброго пана, который так быстро и неожиданно перепрыгнул с сатисфакции на военный суд, едва лишь заметил, что противник не попятился пред его угрозой. Эта сцена, впрочем, была прекращена появлением ксендза и церковников с аналоем, образом и облачениями. Пан Копец нашел теперь благовидный предлог удалиться от Бейгуша и озабоченно занялся указаниями как и где установить походный алтарь и прочее.

Бейгуш почувствовал, что приобрел себе еще одного нового и едва ли примиримого врага в лице пана полковника.

"Господи! чем же все это кончится?!" тоскливо грыз его душу неотступный вопрос, который подымало в ней отчаяние за участь людей и дела.

Но вот, на двух фурманках приехал графский фактор Шмуль с музыкантами. Этих несчастных чехов успели уже перерядить в повстанские чамарки, наобещав им золотые горы и выдав в задаток по пятнадцати злотых на брата. Шмуль объявил, что "ясневельмозны пан энгерал" сейчас прибудет "до обозу" со всей свитой и с самой "ясневельмозной пани грабиной", которая тоже едет верхом "на конику". Поэтому пан Копец поторопился поставить музыкантов, со всеми их трубами, кларнетом и турецким барабаном, на правый фланг «армии», и внушил им, что как только подъедет генерал, то немедленно бы грянули ему навстречу "Еще Польска не згинэла".

Прошло еще минут десять; и вот прискакал один из трех «несмерцельных» уланов, выставленных на дорогу с тем, чтобы известить отряд и указать к нему путь генералу.

— Едет! Едет! — кричал он, махая руками.

— Смирно! — гаркнул Копец на весь отряд. — Цихо, дзяблы! На рамен' бронь!

И по этой команде вояки, кто как мог и умел, взяли на плечо свое оружие.

Копец что есть мочи шпорил и горячил коня, видимо стараясь гарцевать и рисоваться перед фронтом.

Но вот из-за деревьев показалась веселая кавалькада.

— Презентуй бронь! — снова гаркнул воинственный Копец и, салютуя саблей, коротким галопом поскакал навстречу генералу.

Чехи грянули «Польску», люди заорали «vivat» — и граф Сченсный, рядом с Цезариной и в сопровождении красноштанного штаба, с лихим и величественно-горделивым выражением в лице, как истый фельдмаршал поехал вдоль по фронту, «манифестуя» людям своей конфедераткой. В эти мгновенья он воображал себя чем-то очень близким к Наполеону пред Аустерлицем.

Но объезд «армии», занимавшей по фронту очень небольшое протяжение, продолжался гораздо менее трех минут, после чего генерал слез с коня и предложил ксендзу служить молебен.

— Вы понимаете, что я-то собственно не верю, но для этих добрых людей надо же показать себя добрым католиком, — не преминул он в сотый раз порисоваться перед штабом и графиней своим "маленьким атеизмом".

Ксендз Игнаций принялся служить, а клир подпевал ему нестройными голосами. В конце молебна принесли знамя, которое было привезено в экипаже, сопровождавшем графиню.

Цезарина развернула полотнище и сама наклонила перед алтарем свой стяг с золотыми кистями. Костельный мальчик, в белой «комже», подал кропило и святую воду. Ксендз прочитал молитву и окропил знамя. Тогда Цезарина торжественно вручила его "пану хорунжему". Снова грянули чехи «Польску», и снова, еще громче прежнего, раздались повстанские виваты. Граф был в упоении, в восторге, и с аристократическим чувством любовался на картину «армии», приветствовавшей свое нарядное знамя, которое так красиво развевалось в воздухе. Он приказал полковнику командовать парадом, а сам, склоняя перед Цезариной и саблю, и голову, повел мимо нее свой корпус, под звуки труб и турецкого барабана. Затем выскочил перед фронт и стал говорить своей армии воинственную речь, где указывал и на знамя, и на Цезарину, и на Европу, которая с надеждой смотрит на героев отчизны и с нетерпением ожидает от них победы над варварскими врагами католицизма, прогресса, цивилизации и свободы.

А затем снова музыка, крики "нех жие Польска!" и виваты, лобзанья, обниманья, потрясание оружием… Растроганный граф отирал слезы умиления; Копец ругался на москалей и гарцевал ни к селу ни к городу; штаб «манифестовал» высоко поднятыми конфедератками и красовался красными штанами; ксендз Игнаций благословлял банду, кропил ее водой и давал воинам отечества «отпуск» всех грехов настоящих, прошедших и будущих, а красивый знаменосец, под аккомпанемент всего этого шума, восторженно клялся Цезарине умереть с ее знаменем в

руках, но не отдать его москалям. Наконец, вся эта толпа, с ксендзом и генералом, со Шмулем, знаменем и панами во главе, с ревом и пением под музыку "С дымем пожаров", двинулась обратно к месту бивуака, где ожидали ее новые бочки с водкой и пивом, присланные ради праздника Цезариной, которая, проводив толпу, поехала домой в приготовленной для нее коляске.

В повстанском лагере пошло разливное море. Бессмертные и тиральеры с косиньерами упивались водкой и. пивом, а граф, приказав раскинуть себе шатер, объявил своему штабу и паничам-офицерам, что намерен задать им добрую «маювку» с ужином и жженкой. Пан Копец, успевший тотчас же перезнакомиться со всеми героинями-патриотками, находившимися в банде, представлял их поочередно генералу, и тот остался в полном восторге от всех этих барынь, восклицая, что только одна бессмертная Польша может рождать подобных женщин-героев, и только в Польше женщина может и умеет наряду с героем-мужчиной драться и умирать за отечество. Одна из героинь в особенности понравилась старому ловеласу, так что он поторопился предложить ей у себя пост "особо доверенного адъютанта", на что героиня согласилась с величайшим и довольно кокетливо выраженным удовольствием, к крайнему конфузу своего приятеля-панича, который, от ревности и досады, приказал своим людям поскорее складывать пожитки, запрягать лошадей, и в четверть часа укатил из банды восвояси, предоставив счастливому сопернику-довудце проливать кровь за отечество и украшаться "миртами Эрота и лаврами победы".

Целый вечер продолжалось самое бесшабашное веселье, дымились костры, челядь и «быдло» банды орали песни, музыка гремела польки, кадрили и мазурки, героические панны в бутах отплясывали жестокий канкан, ксендз говорил побасенки да ухаживал около яств и бутылок, а паны, перепивая друг друга, хвалились оружием, лошадьми и победами над женщинами и над "москалем".

О Бейгуше, казалось, все позабыли. Генерал, упоенный не столько жженкой, сколько лестью окружающих, щедро раздавал им чины, должности и назначения.

А ночь между тем наступала.

Бейгуш решился, наконец, не церемониться более и окончательно выяснить свои фальшивые отношения к банде и ее генералу. Без всякого доклада, единственный трезвый человек среди этого табора гуляк, он вошел в шатер Маржецкого и объявил довудце, что имеет настоятельную надобность переговорить с ним наедине о серьезном деле.

Граф Сченсный неохотно, с гримасой, поднялся с места и вышел из шатра вместе со своим "майором".

— Послушайте, честный ли вы человек? — без дальних околичностей, серьезно и неуступчиво приступил к нему Бейгуш, с первого же слова.

— Что за вопрос, милостивый государь? — возразил граф, совсем уже готовый оскорбиться.

— Вопрос самый естественный ввиду того, что вы делаете. Вы забываете, что на вас лежит нравственная ответственность за судьбу всех этих людей; вы не позаботились даже окружиться цепью сторожевых ведетов; русские войска каждую минуту могут подойти и забрать нас врасплох.

— Но... но это, кажись, ваша бы забота, господин майор? — всхорохорился обиженный довудца. — И, признаюсь, мне очень странно, что вы приходите выговаривать мне за то, за что собственно я бы должен вам сделать выговор. Вам предоставлена власть, отчего вы не

распоряжаетесь?

— Власть, которую однако вы на каждом шагу парализуете…

— Я?.. Сделайте одолжение, распоряжайтесь; я буду очень доволен.

— В таком случае, кончите сию же минуту вашу оргию, — решительно предложил Бейгуш. — Время начинать переправу; еще часа два, и уже будет поздно, а у нас ничего не готово…

— Ну, начинайте!.. Начинайте, господин майор! Я, кажется, не мешаю и не препятствую.

— Во-вторых, — продолжал Бейгуш, — удалите сию же минуту из лагеря всех этих барышень и их кавалеров.

— Зачем?.. Это невозможно!

— Это необходимо, говорю вам, это первая причина беспорядков. Лагерь не бабье дело.

— О, какой ретроградный взгляд! Женщина, которая с оружием в руках встает за свободу, такой же герой, как и мужчина; их место рядом!

Бейгуш махнул рукой, отвернулся и пошел прочь от генерала.

— Куда же вы, господин майор?… Постойте, подождите!.. Куда вы?

— Вон из лагеря, — с горечью отвечал тот, приостановясь на минуту. — Я вижу ясно, что мне остается только одно: идти к русским и принести им свою повинную голову.

Граф был не на столько хмелен, чтобы не сознать, что ему угрожает опасность лишиться единственного человека, знающего военное дело и способного распоряжаться.

— Quelle idée! Quelle idée, mon brave![201] — сказал он притворно-дружеским и увещательным тоном, взяв его за руку. — Зачем такой мрачный взгляд!.. Вот видите ли, что… скажу откровенно… Вы говорите, барышни… Ну, хорошо, я согласен; только не теперь, а как-нибудь потом, после… мы с вами найдем благовидный предлог и удалим. А пока сделайте мне эту маленькую уступку!.. Я вас прошу!.. Я к вам пришлю сейчас на помощь Сыча и Секерко, начинайте с ними переправу и распоряжайтесь всем от моего имени, но только не трогайте барышень и их кавалеров: они все право такие славные!

Бейгуш только плечами пожал. Вчера он думал было показать на этих паничах пример воинской строгости, а теперь убедился, что с них и взыскивать нечего, если первый пример распущенности подает сам генерал-довудца. Он еще раз раздумался над своим печальным положением. Что остается? С одной стороны, настойчивое предписание Центрального Комитета, а с другой — убеждение в окончательной невозможности сделать что-либо путное с таким генералом. А между тем, отвязаться от него невозможно: этот генерал, которым ржонд дорожил ради его громкого имени, навязан был ему на шею как непременное условие, и, волей-неволей, Бейгуш должен был ему подчиняться. Бросить все и головой выдать одного себя русским? Бейгуш чувствовал, что это было бы самое разумное, самое честное, но его останавливал страх пред именем «здрайцы», изменника, которым заклеймят его навеки перед лицом целой Польши. Это бы значило подтвердить те подозрения, которые пали на него еще в Петербурге, а в душе его не было настолько нравственной силы и независимости, чтобы презреть все это во имя высшей правды, и потому, отчаявшись и не веря в успех, он слепо решился действовать на авось, очертя голову, с намерением найти себе смерть под русскими

пулями, и с такой решимостью начал переправу полупьяной банды.

V. В лесном "обозе"

Едва лишь к семи часам утра успели окончить длинную процедуру этой переправы, которая производилась с помощью парома и двух-трех рыбачьих лодок, добытых по соседству. Последним переправился генерал со своим штабом, и чуть лишь ступил на противный берег Немана, как тотчас же завалился в свою коляску и заснул самым безмятежным образом. Пьяный штаб последовал благому примеру, разместясь возможно удобным образом в своих фурманках и нетычанках, а за штабом не приминули сделать то же самое и все почти остальные офицеры.

Наконец отряд тронулся. Вековечная пуща скоро скрыла его в глубине зеленой чащи, но лесное движение было крайне затруднительно. Надо было идти узкой и вязкой тропой, которая обозначалась двумя колеями когда-то проехавшего воза. Пехота и конница, идучи не более как по два человека в ряд, растянулась вместе с обозами верст на пять. Эта длинная колонна беспрестанно разрывалась: возы и фурманки, которых хватило бы, по крайней мере, на трехтысячный отряд, поминутно вязли в болоте и препятствовали движению; приходилось останавливаться, скликать людей, вытаскивать неуклюжие экипажи; всяк при этом лез распоряжаться и командовать, но никто не хотел подсобить добровольно, пока-то, наконец, не выручало «быдло», т. е. косиньеры, которых на эту «помочь» сгоняли нагайками. Колонна шла без охранительных боковых патрулей, несмотря на то, что Бейгуш, тщетно разрывавшийся на части, беспрестанно, и лаской, и угрозами, посылал людей в этот необходимый наряд; но ничто не помогало: патруль отделялся, уходил в сторону и затем либо дезертировал, либо самовольно спешил возвратиться к колонне, из боязни как бы не попасться в лапы казакам.

К счастью банды, во всей окрестности, что называется, и духом казачьим не пахло. Малочисленные подвижные русские отрядцы не могли быть везде и повсюду и — благодаря случайности — пуща, оставленная на время без всяких наблюдений, благополучно укрывала пока банду графа Сченсного от роковой встречи.

Пан Копец, успевший кое-как проспаться на походе, беспрестанно гарцевал на своей лошади, с целью показать «солдатам» собственную ловкость и лихость, и время от времени так усердно подгонял фухтелями отстававших косиньеров, что одному невзначай поранил голову, а другому ухо рассек.

На каждом привале генеральские фуры и офицерские повозки, пролагая себе путь к группе начальников, сгоняли отдыхавших людей в сторону с тропинки в болото, причем от кучеров нередко доставалось бичом неповоротливому «быдлу». Генерал с офицерами весело принимались "подкреплять силы", пить и закусывать, а люди меж тем голодали, довольствуясь лицезрением закусывающего начальства и питаясь пока приятным обещанием, что поедите, мол, вечером на бивуаке, а теперь-де некогда для вас разворачивать провиантские фуры.

Наконец, уже под вечер, пройдя несколько более двадцати верст, пришли на место ночлега. Тут среди пущи торчала под деревьями одинокая хатка лесника; ее тотчас же заняли под помещение генерала и его "самого доверенного адъютанта", который, с пенсне на носу, бойко передавал своим женским голоском генеральские приказания. На этого «адъютанта» остальные героини банды стали уже поглядывать с нескрываемой завистью и злобой, быть может потому, что каждой в душе хотелось бы занять такое первенствующее место около знатного довудцы. Ксендз Игнаций не менее героинь-адъютантов необходимое лицо при банде, в качестве капеллана и узорешителя всех грехов — тотчас же приступил к деятельным распоряжениям по части генеральской кухни и походного погреба. Бейгуш меж тем старался

восстановить хоть какой-нибудь порядок и расположить лагерь так, чтобы ввиду нечаянного нападения была возможность выстроиться всем частям для встречи, но не тут-то было; пан Копец, как начальник кавалерии, и притом «полковник», не хотел подчиняться распоряжениям «майора»; начальники тиральеров тоже не соглашались располагаться на назначаемых местах, начальники косиньеров с своей стороны представляли какие-то возражения; Бейгуш просто надседался, стараясь втолковать им существенность своих распоряжений, необходимость какого-нибудь боевого порядка, но наконец должен был безнадежно махнуть рукой: его не слушали, не понимали, представляли нелепые возражения и, в конце концов, расположились по собственному произволу, как кому казалось удобнее. Злосчастному «майору» с первого же шага суждено было встретить в среде своих товарищей споры, пререкания, партии, каверзы и интриги, недоверье и подозрительность, взаимный обман и чуть не взаимное предательство. Частные эгоистические интересы в каждой мелочи сейчас же выступали на первый план, честолюбие всех парализовало действия одного: никто не хочет и не умеет повиноваться, но всякий лезет, хотя и не умеет, властвовать и повелевать. С первого же ночлега все эти начальники отдельных частей, более или менее, переругались друг с другом, и каждый перед своими приятелями и подчиненными утверждал заочно про остальных, что все они подлецы и изменники, а один только он честен и один лишь его взгляд исключительно хорош и верен.

Едва угомонилась и оселась кое-как сумятица и каша с обозами да с перемещениями людей на бивуаке, как началась нескончаемая процедура со сторожевой службой: никто не хочет идти на сторожевые посты, всяк старается увильнуть, отлынять от этой трудной обязанности; офицеры, расположившись около повозок за картами да за закусками, и слушать не хотят про какие-то ведеты. — "Не наше дело, пусть другие идут, мы без того устали!"

Бейгуш просит наконец генерала, чтобы он сам энергически и строго вмешался в дело.

— Ах, любезнейший мой майор! — с кисловатой гримасой отвечает ясновельможный, — не могу же я сам поминутно мешаться во все пустяки и мелочи!.. Постарайтесь сами как-нибудь уладить все это... Мне, право, не до форпостов!

Нечего делать: унтер-офицеры нагайками и фухтелями сгоняют людей на сторожевую службу и кое-как расставляют на указанных местах пикеты и *нумера*.[202] Проходит два часа — урочное время смены, а сменять никто и не думает; проходит три и четыре часа, а часовые все еще стоят бессменно: про них как будто позабыли, и опять хлопочет злосчастный Бейгуш, на сей раз уже просто из человеческого сострадания; опять надо прибегать к убеждениям, просьбам и ссорам, к фухтелям и нагайкам, надо отыскивать очередных стрелков и косиньеров, которые, чтобы отлынять от форпостов, разбрелись и попрятались под кустами, позарывались в сено и солому. Но вот кое-как собрали смену — опять нарекания и проклятия; кто побойчее, тот, придя в передовую цепь, не хочет становиться на нумер, а кто посмирнее, тот едва сменясь, сейчас же опять становится поневоле на место непокорного и, дав отойти смене, валится от усталости на землю и как убитый засыпает под деревом.

И таким-то образом пошла лесная жизнь и в последующие дни. Наутро ксендз Игнаций обыкновенно служит «мшу», исповедует и снова дает «отпусты» желающим; Бейгуш с помощью урядничьих фухтелей кое-как собирает людей на ученье; генерал еще опочивает после вчерашних трудов, а на его походной кухне уже стучат поварские ножи, рубятся котлеты, жарятся бифштексы для привилегированного штаба, кипят самовары... И опять повторяются те же истории с форпостной службой, опять жалобы и недовольство: тому сапог не хватает, тому водки не дали; возы с припасами опустошаются довольно быстро, а пан «интендант» и не думает позаботиться о правильном расходовании провианта, так что около полудня оказывается уже надобность послать часть людей на фуражировку. В это предприятие снаряжают все тех парий косиньеров в том рассуждении, что если их перебьют москали, то не

так жалко; тиральеры нужнее и потому их следует поберечь. Наполовину босые и оборванные, грязные и презираемые, не слыша ни от кого приветливого слова и видя поощрение только в фухтелях, без гроша за душой, эти люди идут шататься по редким пущинским поселкам да по хатам кутников, требуя хлеба, молока, сала и отбирая все это насильно. Наконец, к вечеру приносят они "до обозу" набранные продукты. Интендант Копец подзывает уланов и тиральеров и приступает к дележу: лучшие куски офицерам и урядникам, затем кавалеристам и стрелкам, а скудные остатки косиньерам, которые все время оставались впроголодь. Быдло начинает роптать, а за ропот пан интендант приказывает отпустить по десятку горячих «бизунов» бунтующим зачинщикам.

Между тем в генеральском штабе вечерний бал начинается. Бутылки не сходят со стола, самовары шипят, слуги едва поспевают угождать панским прихотям. Чехи наигрывают польки да кадрили, и женский элемент банды опять выступает на первый план в своих мужских костюмах. Каждый из паничей-офицеров непременно старается "вести к славе" свою коханку. Пан поручник ведет к славе панну Зосю, а пан капитан панну Олесю, и каждая из них состоит при своем друге в качестве "особо доверенного ординарца". Этот отчаянный легион вмешивается во все, сплетничает, ссорится между собой и ссорит мужчин, мирится, целуется, запивает мировую и снова сплетничает, исповедуется у ксендза Игнация, причащается, отплясывает канкан и мазурку, дебоширит в офицерских оргиях и в конце концов дерется и царапается между собой... Ревность, брань, слезы, нежности и насмешки — и все это сплошь, подряд, без малейшего перерыва и отдыха. Бейгушу на третий день подобной жизни стало глубоко противно его пребывание в банде.

VI. Гроза идет

10-го мая прибыл в Вильну генерал Муравьев, о котором европейские газеты с ужасом трубили, что он облечен полномочиями диктаторской власти. Поляки Северо-Западного края знали Муравьева еще по преданиям тридцатых годов, и новое появление его на политическом поприще встречено было в их среде затаенным страхом и отчаянием: они уже предвидели, что с появлением этого человека приходит конец святой справе, хотя и старались еще храбриться по наружности. Ржонд народовый решил, именно по поводу назначения Муравьева, сосредоточить вооруженное восстание по преимуществу в Литве, с целью показать Европе, что Муравьев не пугает поляков, что теперь-то они с ним и поборются. Для этого были двинуты из «Конгрессувки» в пределы Ковенской и Гродненской губерний все шайки, какие только можно было сформировать или собрать из остатков прежних банд. Вспыхнув на берегах Вислы, польский мятеж с мая месяца пошел усиленно гулять по лесистым берегам Вилии и Немана. Вся его кровавая энергия сосредоточилась теперь почти исключительно на литовско-русской почве; то там, то здесь почти ежедневно происходили стычки и схватки, в которых непроходимые литовские пущи оказывали повстанцам не малые услуги, скрывая их от поисков и преследования русских отрядов. В этот период восстания поляки Литвы и Царства напрягали все свои последние усилия, чтобы поддержать мятеж "против Муравьева". На разных пунктах, вовсе не отдаленных от мест расположения русских летучих отрядов, беспрестанно возникали новые шайки не из десятков, а из сотен повстанцев. Правда, все это рассыпалось как горох и пряталось по лесным трущобам при первом появлении русских, но тотчас же собиралось вновь, чуть лишь минула на время опасность. Проходя через какое-нибудь местечко, повстанцы, если не чуяли ближайшего соседства наших отрядов, забирали с собой всех наличных цирюльников, кузнецов, слесарей, портных и других подходящих ремесленников, которых заставляли в лесу работать на банды, под руководством более искусных мастеров, прибывавших в лагерь обыкновенно из Вильны и Варшавы. По всем дорогам, тропинкам и проселкам начинали в это время особенно заметно сновать какие-то темные личности, не то шляхтичи, не то однодворцы, которые, бывало, вербуют по корчмам людей, наводят справки, собирают и доставляют

сведения, ведут переговоры с ксендзами и «ржондцами» имений, делают разные покупки и отправляют их "по назначению", в особенности же зорко следят за духом, поступками и намерениями местных жителей, дабы знать кто друг, а кто враг, кто "поляк добржемысленцы",[203] а кто "шпег и здрайца".[204] Эти эмиссары "главных квартир" действовали тем успешнее, что по виду ничем не отличались от обыкновенных жителей и никаким неуместным, неосторожным разговором не изобличали своей профессии. Только и было в них подозрительного, что внезапные появления в каком-либо месте, невесть откуда, и столь же внезапные исчезновения неведомо куда.

Как гром небесный, поразил литовско-польских помещиков Высочайший указ 1-го марта 1863 года о прекращении всяких обязательных отношений к ним крестьянского люда. В течение апреля месяца, несмотря на все проволочки и оттяжки местных гражданских чиновников польского происхождения, указ все-таки был обнародован в большинстве сел и волостей Северо-Западного края. Крестьяне приняли с восторгом весть об окончательном своем освобождении: и православные и католики, безразлично, в ознаменование этого события, спешили ставить у себя «каплицы» во имя Св. Александра Невского. От разных сельских обществ и приходов Виленской и Гродненской губерний посыпались благодарственные письма Монарху и заявления военным властям о готовности задавить "панское рушенье", помогать войскам, составлять из себя партизанские отряды и сельские «варты».[205] В самой Польше было то же самое: около Кутнова и Влоцлавка, например, хлопы поголовно восстали на панов и заявили прямо о намерении «рзнонц»[206] свою шляхту и помещиков, так что полковнику Нелидову пришлось, во избежание кровопролития, оставить их волонтерами при своем отряде. Военным властям нередко с трудом надо было сдерживать крестьянскую злобу на панов, — злобу, накопившуюся веками и которая особенно сильно сказалась на литовской Руси, где с именем поляка невольно связывалась мысль о прошедшем гнете во всех его разнообразных проявлениях, потому что литовский поляк — это не столько даже помещик (между помещиками были и русские), сколько его управляющий-шляхтич; поляк — это не всегда губернатор, но наверное чиновник его канцелярии, письмоводитель станового; поляк на литовской Руси — это все то, что стояло в непосредственном столкновении с народом, что росло на нем гнилым паразитным грибом и постоянно давило его в течение нескольких веков. И, замечателен факт, что панская Вильна, Гродна и Ковна, равно как и Варшава, впервые облеклись в глубокий траур в самый день 19-го февраля 1861 года.[207] Хотя Герцен из сил выбивался, стараясь уверить Россию и Европу, что Центральный польский Народный Комитет начинает восстание во имя земли и воли крестьянам, но это не помешало Центральному Комитету обмануть и Герцена, и крестьян. Центральный Комитет, если б и захотел, то не мог бы дать ни земли, ни воли, потому что это значило бы восстановить против себя и против восстания всю громадную помещичью партию *белых,* которая действительно приносила ему громадные материальные услуги и жертвы: и самый ржонд народовый да и все это восстание только и могли еще кое-как держаться помещичьими деньгами и хлебом. Вот почему, повторяем, указ 1-го марта поразил польский мятеж в самое сердце. Но надо было во что бы ни стало продолжать этот кровавый пуф, показать Европе, что литовско-русский крестьянин "не хочет царской воли", что в ответ на нее, он идет в леса, в банды, и с оружием в руках братски умирает вместе с помещиком за общую польскую свободу и отчизну. Вот с какой целью в апреле и в мае были двинуты из «Конгрессувки» новые банды в жмудские и гродненские леса, и вот почему в числе довудцев стали все более и более попадаться имена знатных дворянских фамилий, этих, по выражению Герцена, лучших, поэтических, рыцарских и доблестных представителей цивилизованной Европы.[208] Литовские ксендзы всемерно принялись предостерегать народ от "коварной царской воли" и даже изобрели по этому поводу "тропарь преподобному отцу нашему Игнатию Лойоле", написанный и напечатанный по-русски, и заставляли гродненских чернороссов заучивать его наизусть. Но ничто не помогало — ни рыцарские представители Европы, ни преподобный отец Лойола: восторг крестьян по поводу

царской воли был неудержим, а злоба на панов и того более: "Кабы только дали нам ружья! Кабы только позволили, мы бы показали!" говорили безоружные и не всегда достаточно защищенные крестьяне. Но должно же было Европе знать и верить, что хлопы не желают воли. Для этого их насильно уводили в банды и позволяли иногда свободно убегать из них, а после подобного побега, какой-нибудь ржондца или ксендз с помещиком тотчас же извещали начальство официальным донесением, что там-то и там-то проживает повстанец *крестьянин* такой-то; земское начальство из польских чиновников, конечно, сейчас же забирало повстанца в свои лапы, а несколько дней спустя все эти донесения и эпизоды очень аккуратно появлялись в заграничной печати. Одно только сельское православное духовенство в эту печальную годину явило себя стойким и мужественным стоятелем за "хлопскую веру" и "хлопскую народность".

VII. Победа в Червленах

Граф Сченсный Маржецкий, проснувшись в одно утро в своем лесном обиталище, вспомнил наконец, что надо же что-нибудь сделать на пользу и славу дорогой отчизны, и так как инструкция ржонда предписывала ему, по возможности более и чаще, демонстрировать летучими отрядами в разных направлениях и местностях Литвы, то Сченсный, собрав военный совет, объявил, что намерен с "главными силами" держаться пока на месте, в избранном уже стане, а пану полковнику Копцу предлагает произвести с кавалерией рекогносцировку "в каком угодно направлении".

Местность пану Копцу, как «тутейшему» обывателю, была знакома хорошо, да притом и все окрестные помещики состояли с ним, более или менее, в приятельских отношениях. Ну как не пощеголять перед ним опять воинственной ролью довудцы? Как удержаться от соблазна, подмывающего упиться еще раз фимиамом их лести, подобострастных встреч, поклонов и угощений?.. Пан Копец живо собрал свои "шквадроны несмерцельникув и дзяблов червоных",[209] снарядил самый легкий обоз, причем, конечно, не упустил прежде всего нагрузить запасами свою собственную фурманку и, захватив с собой ксендза Игнацего да капитана Сыча, двинулся налегке прямо на Червлены, в гости к старому своему добродею и благоприятелю, пану Котырло.

Пан Копец, впрочем, недаром избрал Червлены первой целью своей экспедиции. Еще накануне его выступления, в лесной лагерь пробрался один из эмиссаров, шнырявших по всем дорогам, и привез от пана Котырло дружеский поклон с известием, что хлопы в Червленах сильно волнуются, косо и сурово поглядывают на панскую усадьбу, служат молебны за Царя и зорко держат вокруг всего имения свою сельскую «варту», а главным вдохновителем и двигателем их в этом направлении является все тот же ненавистный хлопский поп Сильвестр Конотович. Надо было помочь старому приятелю восстановить силу его авторитета, устрашить хлопов, наказать «схизматицкого» попа и, кстати, собрать кое-какую контрибуцию; а так как выбор направления «рекогносцировки» генерал оставил на волю самого Копца, то пан полковник поэтому и махнул себе прямо на Червлены. Путь предстоял верст на сорок с чем-то и, как старый кавалерист, Копец предполагал окончить его в один переход, держась по преимуществу лесных дорог, чтоб удачнее скрыть свое движение.

Судьба щадила пана Копца и позволила его отряду счастливо избежать опасной встречи с русскими. Между прочим, попался ему на дороге какой-то парень в «полукошеке», запряженном сытой лошадкой. Парень было «злякауся»,[210] наткнувшись на конных повстанцев и хотел "задать драпака", но уходить было уже поздно и некуда; поэтому он — хочешь не хочешь — придержал «коняку» и снял свой «капелюх».[211]

— Стой, пся крев! Скудова едзешь? — окликнул его Копец, заговорив с ним "по-хлопську".

— С Гостынки, — пробормотал тот с поклоном.

— А чи нема там москалюв?

— Не чуть, паночку… Нема…

— А чи не споткавсе, часом, на дорози гдзе з казаками?

— Не, и на дорози не бачно было…

— А може, брешешь, пся юха?

— А вбей мне Бог!..

— То вольно ехац?

— Вольно, вольно, паночку, а ниж адной души не бачиу!

— А дакуль едзешь?

— А ось, тутай… по пана-ойца… по требу…

— По як требу?

— Та кажу, паночку, бацько хворы… вмырая… сповядацься хочя… послау по пана-ойца, каб хутчей привьёз, а то може й не застаня…

— Э, глупство!.. Брешешь, хлопче!.. Выпрагай коняку та й гайда з нами! Уланем бендзешь зроблёны!

— Ой, паночку! — слезно взмолился испуганный парень. — Уся власць ваша… Не вольно мне, бо бацько, кажу, вмырая… Адпусциць мене, паночку!

— Ну, ну, быдло! Выпрагай… Прендко!..[212] Тай сядай на конь, бо нема часу балакаць!..

— Ой, пане мой яснавяльможны!.. Змилуйся гля пана-Бога! — повалился парень в ноги Копцу. — Як же так, бацько мой кревны… хворы, кажу…

— Гей, хлопцы! — обернулся полковник к уланам. — Десять бизунов ему в спину да сажай на конь силой, когда добром не хочет!

Хлопцы не заставили повторить себе приказание: в одну минуту лошадка была выпряжена, полукошек брошен на дороге, а парень отхлестан, посажен на свою коняку и поставлен в ряды защитников отечества, между двух надежных улан, которым велено держать его под присмотром.

— Пускай же не болтают москали, что в бандах нет у нас хлопов! — с самодовольной усмешкой, крутя сивый ус, обратился Копец к ксендзу Игнацему, ехавшему рядом.

Под Червлены конная банда пришла уже вечером, когда совсем стемнело, и заночевала в Вишовнике — лес, стоявший версты на три от местечка. Копец тотчас же послал надежного эмиссара к пану Котырло проведать, нет ли поблизости москалей. Эмиссар воротился под утро, с известием, что по всей окрестности тихо и не слыхать о появлении русских отрядов. Эта весть намного придала самоуверенности пану Копцу, который порешил, что стало быть в

Червлены следует войти не иначе, как триумфатором, с церемониалом, с парадом и трубными звуками, тем более, что ради воскресного дня в местечке соберется много панов и народа, стекающегося на базар и к обедне.

Червленского ксендза и пана Котырло предупредил об этом уже утром все тот же посланец. Но крупному землевладельцу и собственнику Червлен было крайне не по сердцу это торжественное вступление, ибо он знал, что за торжество пана Копца, которого ему, как доброму патриоту, подобает встретить соответственным образом, русская власть потянет к ответу все его же, пана Котырло, за сочувствие и помощь мятежникам; поэтому крупный землевладелец, не желавший за торжество благоприятеля платиться контрибуцией с собственного «маентка», живо составил в голове своей план, что принять-то Копца он, пожалуй, и примет, но вслед за его уходом, сейчас же поедет к ближайшему военному начальнику и заявит, что приходили-де повстанцы и, под угрозой смерти и пожара, насильно позабирали у него из экономии фураж и съестные продукты. Составив себе такой ловкий план, пан Котырло успокоился и даже не без удовольствия стал поджидать торжественного вступления повстанцев.

Собравшийся народ присутствовал еще в церкви и в костеле, когда пан Копец, в предшествии четырех «шквадроновых» трубачей, которые что есть мочи трубили что-то такое «фанфардное», вступил в Червлены во главе своего воинства. У околицы, на пикете местной сельской стражи им попалось три хлопа, из которых один конный, завидев повстанцев, ударился было целиком по полю, с целью предупредить русских о появлении нежданных гостей, но Копец послал в догонку за ним нескольких улан, которым и удалось перенять бедного стражника. Захватив таким образом весь пикет, Копец объявил его военнопленным и подлежащим полевому суду "за измену". Связанных хлопов приторочили к седлам и, окружив опущенными пиками конвоя, ввели в местечко в хвосте своей колонны.

Топот коней и звуки труб привлекли внимание обывателей. Все еврейское население Червлен и все крестьяне, оставшиеся на базарной площади «доглядеть» свои возы, кинулись в ту сторону, откуда вступали польские триумфаторы. Еврейки и маленькие жиденята со страху подняли гвалт и вопли, а крестьяне как-то глухо, и скорее враждебно, чем дружелюбно загомонили между собой по поводу появления народовых вояк. На лицах этой крестьянской толпы написано было недоумение и нерешительность боязни.

Отряд остановился на площади перед костелом. Ксендз, при колокольном звоне, с крестом и «хоронгвами», вышел на паперть и приветствовал победоносного полковника. Шляхта, высыпавшая из костела, махала шапками и платками, кричала "vivat!" и восторженно кидалась в ряды защитников ойчизны, обниматься и целоваться с ними. Местные «шляхтянки» поспешали домой и щедро, полными фартуками и корзинами, выносили из своих «комор» гусиные палатки, сало, булки, колбасы, сыр, молоко и сметану. Все это тотчас же поедалось, выпивалось или переходило в кабуры да в чемоданы воителей.

Пана Котырло не было. Узнав о намерении Копца, он еще рано утром благоразумно послал известить ксендза, что чувствует себя нездоровым, и потому не может со своим семейством присутствовать сегодня у обедни. Впрочем, в обольщении своего торжества, Копец о нем и не вспомнил. У него пока была другая, более важная и, так сказать, «государственная» забота. Дело в том, что на углу площади стоял домик, над крылечком которого помещалась деревянная доска с надписью "Волостное правление" и с намалеванным на ней русским государственным гербом.

Приняв от ксендза благословение, Копец отправился в костел слушать "Te Deum"[213] по поводу своего победоносного занятия Червлен, а одного из офицеров отрядил со взводом

"красных чертей" — "ниспровергнуть русского орла, захватить всю наличную кассу и уничтожить следы наяздового владычества".

Взвод «чертей», сопровождаемый толпой шляхты и любопытными евреями, направился к волостному правлению и стал расстреливать вывеску. Через минуту весь орел был продырявлен пулями и доска исщеплена. Все это совершалось совершенно серьезно, при оглушительных виватах шляхты. Затем воители, не забыв предварительно воспользоваться кассой, повыносили из правления шнуровые книги, дела, бумаги и, вместе с изщепленным и снятым орлом, свалив на площади все это в одну кучу, подожгли ее. Виваты не умолкали, торжество было полное.

Между тем капитан Сыч получил от Копца еще более важное поручение. Точно так же с особым взводом, он отправился к православной церкви, где в это время отец Сильвестр совершал еще литургию. Приставив к дверям караул, Сыч вошел в алтарь и потребовал, чтобы отец Конотович немедленно же прочел своим прихожанам манифест народового ржонда и "манифест о секретной царской воле", а затем привел бы народ к присяге на верность польскому "ржонду".

Священник наотрез отказался и просил Сыча не мешать ему продолжать службу.

Капитан пробормотал какую-то угрозу и удалился, оставив караул перед дверями. Он поскакал к пану Копцу с докладом о решительном отказе священника. Пан полковник, подпевая звукам "Te Deum'a," вскользь выслушал его доклад и кратко буркнул в ответ какое-то слово. Сыч поклонился и вышел из костела.

Пять минут спустя, в православную церковь шумно ворвалась толпа повстанских уланов, а там, как раз в это самое время, торжественно растворились Царские врата и в них показался отец Сильвестр со Святыми Дарами.

— Со страхом Божиим и верой приступите! — спокойно и твердо и громко раздался по храму его голос.

Несколько человек с обнаженными саблями и пистолетами в руках окружили его со всех сторон, а один и урядников накинул на него веревку и захлестнул петлю вокруг шеи.

Отец Сильвестр не дрогнул, только смертная бледность разлилась по лицу его.

Вдруг раздался отчаянный вопль, и в кучу повстанцев ринулась обезумевшая женщина: то была престарелая жена отца Конотовича, которая, вопя и взывая о помощи, борясь руками и расталкивая злодеев, пробивалась на выручку мужа. Народ словно бы онемел и окаменел от ужаса; но некоторые из прихожан очнулись и тоже кинулись было к своему пастырю.

— Остановись!.. Я с дарами!.. — крикнул жене своей отец Сильвестр, опасавшийся не за жизнь свою, а за то, как бы в этой толкотне и сумятице не пролить или не уронить на землю чашу.

Трое дюжих повстанцев подхватили женщину на руки и насильно отнесли ее в сторону.

— Кто приступится, пулю в лоб! — грозно обернулся к народу Сыч, потрясая револьвером. — Тащи его! — приказал он своим приспешникам, кивнув на Сильвестра, и урядник повлек священника на веревке.

Отец Конотович крепко прижал к груди чашу и бестрепетно, твердой поступью, пошел за урядником, чувствуя, что задыхается под петлей.

Вдруг, в эту самую минуту, продираясь сквозь караул, поставленный у входа в церковь, вбежал запыхавшийся еврей из местных обывателей, живший по соседству с отцом Сильвестром.

— Ой, вай! Ратуйтесен', панове! ратуйтесен', Москале идзон! Енгерал Ганецкий!.. Москале! — кричал он, размахивая руками.

"Енгерал Ганецкий" — это было магическое слово. В тот же миг урядник бросил веревку и давай Бог ноги, а за ним капитан Сыч и вся остальная братия, давя, толкаясь и перегоняя друг друга, в страхе и ужасе кинулись вон из церкви, скорее к своим коням, и в паническом беспорядке поскакали на площадь, где меж тем спокойно стояло остальное воинство, раздавались виваты и пылали дела волостного правления.

Переполох пошел ужасный. Увидя сотоварищей, сломя голову скачущих от церкви с криками: "Москале! Ганецкий!" остальные взводы обоих «шквадронов» поддались точно такой же панике. Кто-то из шляхтичей догадался дать знать пану Копцу, находившемуся еще в костеле. Но пан довудца, где бы наперед разузнать основательно в чем дело, да восстановить хоть какой-нибудь порядок, опрометью вскочил скорее в седло и задал такого «драпака», что далеко опередил всю банду, благодаря прытким и здоровым ногам своей лошади.

Не ранее как уже под самым лесом пришел он в себя и поинтересовался расследовать, с чего весь сыр-бор загорелся? Где эти москали и страшный Ганецкий? Откуда они показались? Кто и когда их видел, в какой стороне и далеко ли? Кто дал знать о них? Или разве прискакал кто-нибудь с пикетов? Оказалось, что никто ничего не знает и не понимает, никто ничего не видел, и с пикетов люди не приезжали, а просто крикнул один только жид какой-то.

Копец ввел свою банду в опушку леса и, велев одному надежному человеку переодеться в крестьянское платье, послал его в Червлены проведать о положении дела, да кроме того, направил два разъезда обозреть местность около местечка и высмотреть, что делают покинутые пикеты. Через час разъезды вернулись и донесли, что люди на сторожевых постах стоят себе самым спокойным образом, а еще несколько времени спустя вернулся и переодетый посланец. Из его рассказа оказалось, что в местечке болтают, будто никаких москалей и духу близко не пахнет, а всю штуку удрал еврей Зильберович, который, проведав, что уланы пошли в церковь вешать священника, вздумал спасти его от петли, так как вероятно имеет с ним какие-то дела и денежные расчеты.

Краска стыда и негодования покрыла и без того уже багровое лицо пана Конца. Он выругался энергичнейшим образом и, решив, что надо немедленно же и во что бы ни стало наказать изменников, рысью повел свою кавалерию обратно в Червлены.

Базар был в полном разгаре, и народ, толкуя о сегодняшнем происшествии, большими кучами толпился на площади, когда в местечке снова показались повстанские «шквадроны», уже без трубных звуков и безо всякого торжества, но зато исполненные желанием отомстить за свое посрамление. Трусоватость защитников ойчизны сказалась слишком резко, явно и всенародно, ничтожность причины, возбудившей их панику, обнаружилась слишком скоро, и весь фарс торжественного вступления разыгрался так жалко и смешно, что уязвленное самолюбие вояк не могло не вопиять о восстановлении своего достоинства, хотя бы для этого пришлось прибегнуть к крови и пожару. Все вояки чувствовали, что повстанский авторитет их может быть спасен только в том случае, если им удастся нагнать на народ жестокого страху. Вступив на рысях в местечко, они тотчас же заняли все выезды и тропинки, с целью не выпустить из Червлен ни единого человека; затем окружили дом отца Сильвестра и, арестовав на площади волостного старшину, приказали ему, под страхом смертной казни, сию же минуту указать

еврея Зильберовича и тех трех крестьян, что были захвачены на варте и упущены из плена "при отступлении".

Перепуганный старшина, к груди которого была приставлена пара пистолетов, беспрекословно исполнил волю повстанского полковника, и через десять минут перед рядами польской конницы уже стояли, связанные по рукам, отец Сильвестр, еврей Зильберович и трое стражников.

Народ снова обступил повстанцев и смутно, в ожидании чего-то страшного, стоял, обнажив свои головы.

На площадь вынесли откуда-то стол и несколько стульев.

Ксендз Игнацы взобрался на этот стол и оповестил народу, что желает говорить проповедь. Часть повстанских уланов рассеялась между массой народа и, приняв на себя полицейские обязанности, кулаком и словом старалась восстановить достодолжную тишину и внимание.

— Во имя Ойца, Сына и Духа Свянтего, — начал Игнацы, набожно осеняя себя католическим крестным знамением. — Муи коханы браця и сиостры о Христусе! Вы в глупой вашей простоте верите царским указам о воле, но вы не знаете, что это за воля. Вот, слушайте, я прочитаю вам *подлинный* царский манифест о *секретной* воле, тогда вы узнаете, что оно такое. Внимайте, братия! Вот что гласит манифест московский.

И, развернув печатный лист, ксендз Игнацы начал читать громко и явственно:

"Объявляю всенародно, что воля есть Цара истребить всех католиков, зачиная от господ, потом дворан, всю шляхту, а кончить на крестьянах; за то вся их земля и все имущество будут принадлежать к тем, которые заострут ножи, косы и топоры. Осмеляйте людей на резь, все за дело возьмитесь, будете богаты: Цар в благодарность зделает вас членами и российскими дворанами; в сем деле будут подтверждать отцы духовные; в том воля Божая! Взывает вас общая русская любовь, наша славная вера и вся благочесть, истребить католиков до единого. А мы с помощью церквы благословляем вас и повелеваем укреплять дух водкой, для истребления слуг дьявольских, очистить свет от противников божых. Бог, церковь, цар повелевает!"[214]

В толпе между католиками пошел смутный говор. Шляхта, искренно или нет, но показывала вид, будто безусловно верит прочтенному манифесту и волновалась негодуя: "москалям велено резать... Теперь всех, всех перережут, камня на камне не оставят, а вы, хлопы глупые, им помогаете!" Но хлопы-католики еще не выказывали никаких признаков волнения; они раздумчиво стояли, не зная верить или нет, и скорее склонялись на сторону недоверия. Зато повстанские уланы принялись сильно агитировать мелкую шляхту. Между тем ксендз Игнацы снова подал знак ко вниманию, и через несколько минут площадь смолкла.

— Вы верно слышали, — начал он, — что теперь установлено правление польское, что это правление польское дает вам справедливую свободу, как у французов, и возвратит еще вашу прежнюю справедливую веру дедов и прадедов. Обманывает вас москаль, толкуя, что эти паны поднялись, чтобы вернуть назад панщизну.[215] Наше дело о справедливой свободе, которой наши отцы и деды издавна ожидали, и которую москаль с кровопийцами вашими задержать хочет. Дело наше — дело такой свободы, которую сам Бог, прийдя на сей свет, желал установить и за которую пролил Свою святую кровь, претерпевая крестные мучения. Миновала уже панщизна, миновала ваша обида, и никакая сила не вернет ее — ни московская, ни чертовская. Теперь-то настало то время, что каждому будет отмерено так, как он сам себе намерит. Пан будет злой — пана повесим как собаку, хлоп будет злой — и хлопа повесим, а

дворы их и села сожгутся, и будет справедливая свобода, ибо того сам Бог желает и Пречистая Богородица. Чиншов, оброку и податей в казну московскую не платить, а платить только казне польской, так как вы сами принадлежите правлению польскому. Ополчений и караулов по селам чтобы не было! А если поймают кого на варте или из ополчения, то повесят — не теперь, так после. За вашу свободу проливают кровь справедливые люди, а вы, как те Каины и Искариоты, добрых братий предаете врагам вашим! Правление польское спрашивает у вас, как вы смели помогать москалю в нечистом деле? Где был у вас ум, где была у вас правда? Подумали ль вы о страшном суде Божием? Вы скажете, что делали поневоле, но мы люди свободные, и нет у нас неволи, а кто из вас хочет московской воли, тому мы пропишем виселицу.[216]

Пока ксендз Игнацы с высоты стола проповедывал народу, пан Копец, присев к тому же столу, строчил краткий рапорт графу Маржецкому о своих подвигах и деяниях.

"Сего числа утром, писал он, я торжественно вступил было в местечко Червлены, Гродненского воеводства; от имени народного правления низложил и уничтожил московское владычество; а на его место возвел польское народное правление в лице обывателя Антония Юцевича, коего обязанность состоит в представительстве народной гражданской власти, пока не будет прочно введено постоянное правление.[217]

"Изменники народному делу будут немедленно же подвергнуты мною заслуженной каре, о чем вашему превосходительству донести честь имею".

Капитан Сыч, вслед за подписью Копца, скрепил это донесение и своим рукоприкладством, в качестве правящего должность адъютанта, а затем оно тотчас же было отправлено с нарочным в стан к графу Маржецкому.

— Теперь же, о братия! — вещал между тем ксендз Игнацы, — да познает всяк из вас милость польского правления, которую оно оказывает вам, присоединяя вас к числу своих верноподданных, и да увидит всяк его силу, дабы на будущее время вы себе крепко намотали на ус, что ржонд народовый не шутит с изменниками отчизны. Вот, перед вами нечестивый служитель алтаря, — указал он на связанного отца Сильвестра, — священник, который, вместо внушения о послушании и любви к законному вашему правительству научал вас изменять делу польской родины и помогать Богом проклятому московскому наезду, был «шпегом» этого наезда, возмущал вас против кротких и добрых ваших помещиков, коих вся вина только в том, что они суть добрые патриоты, учил вас верить лживой воле царской и не верить справедливой свободе польской. Преступления эти многи и обильны и вопиют на небо! Вот перед вами другая собака, — указал он на еврея Зильберовича, — жид, недостойный называться братом-поляком Моисеева закона, жид, который осмелился смутить сегодня ложным извещением ваше доблестное воинство народовое! Вот, наконец, эти три гнусные хлопа, которые, забывая Бога и совесть, забыв долг истинных сынов отчизны, стали на стражу против нас, своих кровных братии и намеревались известить москалей о нашем благодатном для вас прибытии. Но ни одно из этих намерений не удалось сим гнусным людям. Да познаете в этом, о братия, перст божий, сохраняющий нас на всех путях наших, да не преткнем ногу нашу о камень, но да поборем льва и змея, василиска и скорпия! Вы же, недостойные, идите во ад к отцу вашему дьяволу, принять достойную награду за ваше преступление! Да спалить огонь жилища ваши и да будут имена ваши анафема-прокляты ныне, и присно, и на веки веков! Amen!

Ксендз Игнацы слез со стола, а пан Копец вскочил на подведенного ему коня и, высоко держа над головой конфедератку, провозгласил громко над толпой:

— Объявляю всем друзьям и недругам, что отныне московское правительство в Червленах и на

всей окрестной земле мною низложено навсегда и возведен единый и вечный, законный наш польский ржонд народовый! Vivat! Нех жие Польска!

Шляхта и уланы, махая шапками, восторженно подхватили эти виваты и восклицания.

Крестьяне же, по большей части, безмолвствовали. Они были смущены и напуганы появлением вооруженной шайки, ибо по опыту уже знали, что защитники отечества добром не уходят ниоткуда и что расправа у них бывает коротка и беспощадна.

Между тем, пан Копец втайне сообразил себе, что хотя изменников и необходимо надо повесить, но черт возьми, если неравно попадешься как-нибудь потом в лапы к москалям, да если они проведают, что казнь-то совершена им, паном Концом? — "Ведь уж тогда никакой пощады не жди: и самого наверное вздернут". Поэтому пан полковник сообразил, что гораздо благоразумнее будет, если он увильнет от видимой инициативы в этом деле, немножко стушуется, отойдет на второй план, а предоставит первые и наиболее видные, активные роли капитану Сычу и ксендзу Игнацему. Капитан Сыч весьма охотно принял его предложение распоряжаться казнью и с видимым удовольствием принялся устраивать "смертный кортеж", затеяв обставить его как можно торжественнее. Он выстроил оба эскадрона шпалерой от площади до ограды православной церкви, окружил конвоем осужденных, впереди шествия пустил трубачей, приказав играть им, что сами знают, — "абы цось погржебового",[218] и те принялись усердно издавать какие-то нестройные, дикие звуки, раздиравшие и душу, и ухо; а в замок шествия пан Сыч отрядил особый взвод "несмерцельникув" в том предположении, что их "трупьи гловы", белые кресты и черные с белым флюгера будут как нельзя более соответствовать общему мрачному впечатлению. Присущая польскому характеру страсть к театральничанью, к позировке, к громким словам, к мистическим и романтическим эффектам, даже и в данном случае ухитрилась найти себе повод к особому «торжеству», в котором вдоволь можно было порисоваться перед толпой и особенно перед женщинами, в роли "грозного меча правосудия".

В таком порядке "смертный кортеж", под предводительством Сыча, медленно двинулся к церковной ограде, где на перекладине ворот уже приготовлены были две петли.

Отца Сильвестра и еврея Зильберовича подвели под виселицу.

Но пан Сыч не ограничился еще этим эффектом! Для пущего назидания и устрашения толпы, он приказал, чтобы на место казни были приведены семейства осужденных и заставил их смотреть, как будут вешать. Жена и дети Зильберовича истерически вопили, рыдали и бились в толпе своих соплеменников, так что несколько дюжих повстанцев едва могли удержать их. Но когда привели мертвенно-бледную жену отца Сильвестра и поставили ее в трех шагах от мужа, она уже не рвалась и не вопила, как давеча в церкви. В лице этой женщины царило, если можно так выразиться, какое-то спокойствие ужаса, нечто высшее, чем обыкновенный страх или отчаяние, словно бы она вполне сознавала какая это минута. Несчастная сделала было шаг к мужу, но ее не допустили.

— Прощай! — тихо кивнул ей головою священник, и чтобы ободрить ее, хотел было улыбнуться, но улыбки не вышло, одна только конвульсивная судорога, вместо нее, покривила его посинелые губы.

И он видел, как жена его опустилась на колени, как устремила взоры к небу, на церковный крест, и, осеняя себя его знамением, стала шептать какую-то молитву.

Повстанцы, исполнявшие роли палачей, накинули на осужденных петли. Еврей был уже без

чувств, в бессознательном состоянии, так что его пришлось поддерживать на ногах, как куклу, но отец Сильвестр стоял, по-видимому, спокойно и твердо.

— Господи! в руци Твои предаю дух мой! — прошептал он, вскинув к небу взор, как вдруг, в это самое мгновенье гицеля крепко дернули веревки — и две страшные фигуры закачались в воздухе.

Глухой стон ужаса пронесся в дрогнувшем народе, а коленопреклоненная женщина все еще глядела на небо и молилась.

В это время, в нескольких концах местечка, взвились к облакам клубы черного дыма — и народ с отчаянными криками: "Пожар!.. Горим!" кинулся в разные стороны. — Это ксендз Игнацы приказал своим приспешникам поджечь дома осужденных «здрайцов», в числе которых были и три хаты пойманных сельских стражников.

Пан Копец собрал людей своих «шквадронов» и повел их из местечка. За околицей, в том самом месте, где был взят крестьянский пикет, капитан Сыч приказал повесить на ближайшей сосне и трех несчастных хлопов, захваченных "на варте".

Повстанская кавалерия не успела еще спрятаться в темном Вишовнике, а осторожный и предусмотрительный пан Котырло, тайком, окольными путями пробирался уже в закрытой коляске к местному военному начальнику, со слезным донесением, что нагрянули-де нежданно-негаданно какие-то неизвестные вооруженные люди, повесили несколько человек, зажгли несколько строений и скрылись неведомо куда, а он-де и сам едва укрылся от смертной опасности и разорения, и теперь "как наиверно-преданьный своему Цару и ойтечеству" спешит заявить обо всем законной власти, чтобы не было на него потом каких-либо подозрений и нарекания. При этом физиономия Св. Бонифация была уже заранее рассчитана, обдумана и устроена себе благонамеренным паном Котырло.

VIII. Тревога

Граф Маржецкий, получив донесение Копца, принял его с таким восторгом, как словно то была весть о великой победе или о вооруженном занятии целого края. Копия с этого донесения тотчас же была послана в Центральный Комитет, с просьбой немедленно напечатать ее в "Вядомосцях з поля битвы"[219] и если возможно, то опубликовать и в заграничной прессе. Вместе с этим, граф отправил нарочного и к Цезарине с письмом, в котором напоминал о ее обещании посетить его лагерь, где он готовит целый праздник для приема столь дорогой гостьи, тем более, что "всей его армии пламенно желалось бы отпраздновать в ее присутствии первой успех своего оружия в Червленах. Цезарине и самой хотелось прокатиться "до обозу", взглянуть на поэтическую обстановку лесной жизни "польских героев", устроить там веселую «кальвакаду», проездиться верхом и вообще весело провести день, столь оригинальный и исключительный, какой навряд ли выдастся вторично в жизни. Какая же польская женщина отказалась бы в то время от удовольствия похвалиться при случае пред приятельницами, что и она тоже была в лесу, в военном стане? А тут еще для нее, *для нее одной* готовят целый праздник, весь корпус жаждет ее видеть, и вдобавок, граф Маржецкий уверяет, что дорога вполне доступна, легка, непродолжительна и совершенно безопасна. Впрочем, последнее обстоятельство было безразлично для Цезарины: ее не пугала опасность, — напротив, пылкой и впечатлительной душе ее даже хотелось порою риска и опасности, которые разнообразили бы монотонность ее сельского уединения. Ей очень хотелось бы увидеть настоящий бой, присутствовать на самом месте сражения, испытать что за чувства, что за впечатления волнуют в это время человеческую душу, увлечь других к героизму и самой увлечься, тем более, что это все казалось ей так весело, так ярко и поэтично!.. А кроме того, хотелось еще

увидеть и своего статного красавца Жозефа, который должен быть так дивно хорош на породистом коне, с ее знаменем в руках, пред эскадронами польской кавалерии... Одним словом, мысль об этой поездке вполне улыбалась графине Цезарине; она обещала приехать непременно, во что бы то ни стало, обдумала весь костюм и даже заблаговременно отправила в лагерь дамское седло и своего кровного, светло-серого Баязета, с Сангушковского завода.

В лагере меж тем шли усиленные приготовления к приезду и встрече графини. Ксендз Игнацы весь ушел в соображения по части кулинарного искусства, вин и напитков, хлопотал, суетился, наблюдал за поварами, приказывал огородить елками, в виде беседки, известное пространство лесной лужайки, где должен будет поместиться обеденный стол; Поль Секерко устраивал иллюминацию к вечеру и сам клеил бумажные фонарики; Маржецкий снаряжал почетный караул для графини и обдумывал церемониал встречи; благополучно возвратившийся Копец учил церемониальному маршу свою кавалерию; тиральеры готовили холостые патроны для залпов во время обеденных тостов, чистили и исправляли перепачканные свои мундиры; чехи разучивали какой-то новый полонез, и одни лишь героини были не совсем-то довольны, так как Маржецкий приказал Копцу убрать их куда-нибудь на время посещения Цезарины, так, чтобы и голоса их не было слышно, да и физиономии не выставлялись бы. Не был доволен еще и Бейгуш, не принимавший никакого участия во всех этих приготовлениях; но зато он позаботился усилить на всякий случай сторожевые посты, направить по разным направлениям особые разъезды и приказал им глядеть как можно зорче и слушать как можно чутче. Его давило и грызло словно бы какое предчувствие, что вся эта шумная потеха ясновельможного довудцы и вся эта игра в солдатики не обойдется даром...

Наконец настал и день праздника. Цезарина приехала. Овации, манифестации, встречи, виваты, полонезы, почетный караул и преклонение знамени, и чего-чего тут не было!.. Графиня сияла от восторга, любовалась лесом, любовалась лагерем, косиньерами, кострами и была беззаботно весела, как ребенок. Наряд ее удался как нельзя лучше: белая бархатная конфедератка со страусовым плюмажем, изящный хлыст, перчатки с крагами, венгерские сапожки с золотыми звонкими подковками и фиолетовый атласный кунтуш, весь расшитый серебром, с откидными рукавами или так называемыми «вылетами», надетый поверх бледно-палевого платья-амазонки с роскошным шлейфом — все это было хотя и несколько театрально, но необыкновенно эффектно, красиво, изящно, все так ловко на ней сидело, так удивительно шло к лицу и гармонировало между собою, что и старый ловелас, и юный «хоронжий», красавец Жозеф — оба онемели от восхищения и восторга при первом же взгляде на свою героиню. Да и сама она чувствовала, что очаровательно хороша сегодня.

Граф Сченсный и статный Жозеф не покидали ее ни на минуту, предупреждая малейший взгляд, малейшее желание дорогой гостьи. И ксендз Игнацы, и пан интендант Копец, еще до ее приезда, ради усиленных трудов своих хватившие на радостях "правдзивой старей литевки", оба были теперь в необыкновенно "добрым гуморже" и цвели, как пионы, от вина и удовольствия. Ксендз был особенно в ударе, и потому всевозможные «диктерийки», рифмы, присловия и пословицы в «старожитном» роде и духе лились у него рекою.

Наконец, после объезда лагеря и прогулки на аванпосты, граф Сченсный подал Цезарине руку и, под звуки полонеза, повел ее к обеденному столу, где ксендз Игнацы уже заранее взял на себя роль мажордома, обер-шенка, всеобщего угощателя и увеселителя. И блюды, и застольный порядок, с присовокуплением разных ксендзовских «диктериек» — все это было обещано графине совершенно в "добром, старожитном польском роде", и потому достопочтенный ксендз, в силу старого обычая, не преминул пред обедом прежде всего говорить громко молитву и благословить пития и яства. В разгар повстанского патриотизма у поляков во всем пошла мода на всякую "старожитность".

— Выпьем, шановне[220] панство, для начала по килишку венглювки, а по-другому нашей правдивой литевской старушки! — подняв графин и золотую чарку, возгласил ксендз мажордом, обращаясь к мужчинам.

Выпили, закусили и расселись. Подали бульон из бараньих ножек.

— Выпиймы знув по килишку, жебы бяране ножки не бегалы! — опять возгласил Игнацы с комически-серьезным видом. Это уже у него начинались «диктерийки» и присловья, а потому все мужчины сочли своим долгом рассмеяться и, конечно, выпить. На всякое блюдо и на всякий напиток у ксендза Игнацего непременно была в запасе особая прибаутка, как того требовал "звычай старожитны". Подают, например, зразы с кашей, артистически приготовленные, — ксендз предлагает, чтобы зразы не смешались с кашей, разделить их цитриновой наливкой.

Подают новое блюдо в старопольском порядке.

— Ш-ша, Панове! — расставляя руки, возглашает ксендз все с тем же необычно важным и комически-серьезным видом. — Ш-ша!.. Индык надзеваны яблками и сливками до нас едзе![221]

— Венц, цуж нам робиц: чи уцекать, чи брониць сен'?[222] — с комическим ужасом, в тон ксендзу, восклицает пионовый Копец.

— Э, фэ, Панове!.. Нех уцекаион' москале, — махает ксендз рукою; — а мы, як поржондне людзе, зъемы егомосц, та й запиемы вишнювко, для тэго жебы индык не балботал глупства и жебы была у нас perilitas et orexis.[223]

— От-так! — подхватывает Копец, — от-то есть бардзо добрже, мосци панове! бо поляк здавна сыт не з тэго цо ие, а з тэго цо пие![224]

— Ну, а тэраз, панове, жебы индык не глодны у нас седзял, — предлагает ксендз, — нех пршинесон' нам, и ему мнихув![225]

— Ага, ага! — хлопает в ладоши Копец, — слышалем, же мнихи сон' вельке майстры на куры, индыки и бараны, — то може и нам они цо дорадзон' до стравенья.[226]

— Мнихи, як ми сен'сдае, сон'то людзе и еще Боже слуги, а затым глодным седзец им есть неподобна! — докторально замечает на это ксендз Игнацы. — Подайце ж нам паштэцик, для накармения мнихув! Нех же мнихи знаион', же мы и их не за-поминамы, и одмавяион' за наше гржехи пацюрже![227] — але ж зналем еднего мниха, ктуры пил вино, — замечает Копец, с особенной пристальностью устремляя взгляд на ксендза и приложив к своему носу указательный палец, — так сдае мй сен', же не шкодзило бы даць напиць сен', нашим мнихам.[228]

Подобный-то нехитрый жарт в стародавнем вкусе, к общему удовольствию состольников, сопровождал у ксендза Игнацего каждую перемену блюд и напитков. Он уже начал было приговариваться к тому, как после обеда станет почтенное панство подпивать "тэго-овэго, по трошку вшисткего, запалим фаечки и бендзем гадаць баечки",[229] а пан Копец уже задекламировал:

Еще польска не сгиняна,
Кеды мы жиемы,

Еще вудка не сплесняла,
Кеды мы пиемы,

как вдруг, где-то вдалеке раздался выстрел.

— Чу!.. Что такое? что это, Панове? — сторожко подняв палец, в некотором смущении заговорил граф Маржецкий, обводя собеседников пытливыми и встревоженными глазами.

— Выстрел, — ответил ему Бейгуш, который во весь обед не проронил еще ни одного слова.

— Как выстрел!?.. Зачем выстрел?.. Кто смеет стрелять без спросу?

— А хотя бы москали, почем знать?

— О, полноте, что это вы говорите!..

Однако беспокойство сильно-таки заиграло в подвижном лице графа. Он не умел скрывать своих ощущений.

— Не пугайтесь, надо узнать наперед, — холодно успокоил его Бейгуш.

— С чего это вы взяли, что я пугаюсь, черт возьми!? «Пугаюсь» это мне нравится! — бормотал граф, силясь придать себе небрежную улыбку.

Раздался еще один выстрел… другой, третий… еще и еще.

— Милейший майор… Бога ради, что ж это такое однако?

— Перестрелка, ваше превосходительство; разве вы не слышите? — иронически усмехнулся Бейгуш.

— Перестрелка?!.. Зачем? где перестрелка?..

— Судя по звуку, у нас в тылу. Барабанщик!.. Тревогу! — крикнул Бейгуш, вставая из-за стола. — Гей! Коня мне!.. Живее!..

— До брони, панове! до брони! — понеслись по лагерю крики урядников, мешаясь со звуком трубы и рокотом барабана. Вмиг поднялась величайшая сумятица, беготня и бестолочь.

— Гей, живее запрягать экипаж! — крикнул гайдукам своим граф Сченсный.

— Не экипаж запрягать, а *седлать* коня, ваше превосходительство! — выразительно поправил его Бейгуш, уже занося ногу в стремя.

— Я не для себя… я для графини, — пробормотал покрасневший довудца, которого как школьника поймали на затаенной мысли.

— Графине ехать в ту сторону нельзя: дорога отрезана. Разве вы не слышите, откуда приближаются выстрелы?

— Но… в таком случае, можно в другую сторону?

— Я никуда не поеду, я остаюсь здесь! — решительно объявила Цезарина, с сияющим лицом и пылающим взором, натягивая на руку перчатку.

Вдруг прискакал улан из цепи, вопя что есть мочи: "москале! москале, панове!.. Москале!"

— Я поеду разузнать в чем дело, — сказал Бейгуш Маржецкому, но тот стремительно вдруг кинулся к нему и схватил коня его за повод.

— Не уезжайте, Бога ради! — растерянно бормотал он. — Не уезжайте!.. С кем же я… с кем же войско останется?!

— Войско остается с вами: вы его начальник…

— Нет, Бога ради… Примите уж вы сами начальство… хоть на первое время… Видите, какая каша идет… Надо устроить их… надо вести… Ведите, майор… умоляю вас, ведите! Не стесняйтесь мною… я после, после уж… я потом… Ах, да ведите же, Бога ради!

— Хорошо. Только пустите прежде повод моего коня! — нетерпеливо и досадливо откликнулся Бейгуш и, дав шпоры лошади, поскакал к переполошенному отряду. Там все еще шла сумятица. Лишь немногие из офицеров находились на своих местах, между солдатами, устраивая их во взводы; большинство же кинулось к своим повозкам и лошадям, думая более о том, как бы удрать, нежели о том, чтобы сражаться. Урядники были значительно лучше этих офицеров: они ругались, кричали, дрались кулаками, фухтелями, саблями, но все ж таки старались восстановить хоть какой-нибудь порядок. Пан Копец оказался однако исправнее тиральеров и косиньеров. Несколько лишних стаканов, выпитых за обедом, немного придали ему храбрости и самоуверенной продерзости. Работая, что называется, всеми легкими и нелегкими, он довольно живо успел выстроить свои "несмерцельные шквадроны", пред фронтом которых красовался уже на лихом коне пан хоронжий, с развернутым знаменем Цезарины. Она же, смеясь, как шальной ребенок, легким ударом хлыста подбодрила своего сиятельного кузена, чтобы тот проворнее карабкался на лошадь, и рядом с ним загарцевала сдержанным троттом, подъезжая на своем Баязете к кавалерийскому фронту.

— Иль со щитом, иль на щите! Не правда ли? — бросила она мимолетное слово, проезжая мимо красавца Жозефа.

Тот молча кивнул ей головою.

— Э, я вижу, один только Бейгуш молодец между вами, — засмеялась графиня, — с ним весело и любо! Ей-Богу!.. Посмотрите, как он живо устроил и косиньеров, и стрелков, а вы-то!..

Эти слова заставили Жозефа встрепенуться и построже заглянуть в свою помутившуюся душу. Меж тем все уже было готово, и Бейгуш, не адресуясь более ни с чем к графу Маржецкому, как полный и самостоятельный начальник, сам двинул отряд на позицию.

Выстрелы слышались все ближе и ближе, огонь становился сильнее и чаще, — но с кем же это там дерутся москали? Что за отряд и кто его довудца?

IX. Мы и Они

Пока Хвалынцев оправлялся от раны, нанесенной ему кинжалом пана Тршидесентего, восстание, подобно костру, сложенному из сухих поленьев и хворосту, успело с треском и дымом ярко распылаться по целому краю. В Варшаве со дня на день ожидали всеобщего взрыва; поляки сами неоднократно уже назначали день и час, обещали поголовную резню с 22-го на 23-е марта, а после Пасхи зловещие слухи и физиономии еще более стали гулять по Варшаве; потом подобные же посулы были на 3-е мая — исторический день "заложения крулевства", то есть основания польского государства и день знаменитой конституции

Чарторыйского, — словом, обещания, угрозы и застращивания повторялись почти периодически; но грозные пушки Александровской цитадели, могущие чрез три часа обратить Варшаву в груду развалин, глядели спокойно и строго из своих амбразур, и Варшава, volens-nolens, ограничивалась одним глухим волнением. Теперь уже было не то, что в период демонстраций 1861-62 года: теперь, в случае открытого нападения вооруженных масс городских обывателей, едва ли кому из русских властей пришло бы в голову шутить и деликатничать. Ржонд народовый, хотя и собирался бомбардировать цитадель конгревовыми ракетами, однако в то же время очень хорошо знал и свойство пушек этой цитадели, а потому решился щадить Варшаву, полагаясь на своевременность европейского вооруженного вмешательства. Ржонду хотелось сохранить в целости столицу Польши для будущей Ржечи Посполитой.

Между тем «Колокол» в начале 1863 года не только продолжал свои кокетливые заигрывания с русским войском, но даже усилил их до пределов последней возможности. Так, например, новогодний свой спич он кончал "заздравным кубком в хвалу и славу русских воинов", уверял будто "казаку на Кавказе стало противно бить независимого черкеса",[230] и будто "военные должны стать с поляками по тому высшему нравственному закону, пред которым бледнеют и краски знамени, и обеты присяги",[231] посылал русских офицеров на казнь, утешая их тем, что мы-де (то есть издатели "Колокола") пред ними, идущими на смерть, склоняем седые головы наши и просим их благословения.[232] Для большего воздействия на русское войско, «Колокол» завел на страницах своего "Общего Веча" какого-то «Старообрядца», который уверял, что за русское правительство могут стоять только "нелюбители православия", что русским людям "не нужно опасаться, но должно точно и с уверенностью надеяться, что под польским управлением нам будет несравненно лучше теперешнего тиранственного положения", и все это потому, что "поляки не бесчеловечны, не властолюбны и не грабительны, и ни за что не будут теснить и мучить народ беззащитный; поляки суть истинные желатели свободы".[233] "Братья старообрядцы! восклицал тот же голос, братья старообрядцы! Вызовите казаков из Польши! Спасите их души от проклятия и научите их лучше смерть принять, чем бесчеловечно святотатствовать".[234] В то же время другой голос, принадлежащий какой-то «Украинке», обращался к русским женщинам с заявлением, что теперь "Россия гибнет хуже чем во времена Минина" и что "ее надо спасти". "Сестры, будем же мы на этот раз Мининым! приглашала «Украинка». Не допустим наших мужей, братьев, сыновей окончательно сгубить себя. Употребим всю *силу любви*[235] нашей к ним, чтобы поднять их дух до геройского, смелого отречения идти против поляков", в заключение объявляла, что "нет ничего тяжелее и грустнее" чувства русского патриотизма.[236] Впрочем, в этом последнем отношении Герцен поступил еще решительнее, начистоту причислив себя к "русским независимым, то есть не несущим на себе креста патриотизма", и объявив, что он никогда "терпеть не мог патриотизма", потому что "это самая злая, ненавистная добродетель из всех".[237] Вообще, кого-кого только не выкликал в это время «Колокол» из недр России! На его страницах беспрестанно фигурировали и «друзья-юноши», и «друзья-крестьяне», и «друзья-офицеры», и «друзья-семинаристы», которым "терять нечего", и «сестры-женщины», и «братья-солдаты», и «братья-старообрядцы» и наконец даже какой-то "многоуважаемый инок". Все эти друзья и братья с пафосом приглашались отречься от русского государства и восстать с поляками и за поляков.

Но увы! разочарование «Колокола» настало даже гораздо скорее, чем можно было предполагать. Адрес на имя великого князя Константина Николаевича, подтасованный Варшавским Отделом Земли и Воли, появился без подписей в «Колоколе» в конце 1862 года. Но спустя короткое время, на страницах европейских газет раздался протест русских офицеров, расположенных в Варшаве и Польше, протест, покрытый множеством подписей и отвергавший всякую солидарность с подложным адресом. "Печатая документ, содержание

которого для нас столь же неприятно как и бесчестно, говорилось в этом протесте, г. Герцен находит достаточным засвидетельствовать одним своим личным ручательством достоверность и подлинность письма, цель которого выставить нас изменниками Государю, отечеству и долгу. Г. Герцен, по своей заботливой услужливости, от которой мы просим его освободить нас, нашел нужным давать советы относительно обязанностей нашего положения. Мы не просили его об этом и желали бы избавиться от таких попечений. По его мнению, честь наша требует, чтобы мы помогали оружием всякому беспорядку, всякому стремлению, которое враждебно правительству и общественному порядку. — Честь не допускает измены присяге, добровольно принятой. Наши обязанности в Варшаве таковы же, как и везде: верность Императору и установленным законам".

Но несмотря на этот протест, перепечатанный и в самом «Колоколе», журнал этот не переставал уверять, что подложный адрес вовсе не подложен, и что напротив, протест составлен подневольно и подписывался по принуждению начальствующих лиц. Эти уверения, вопреки очевидной истине, долго еще продолжались в «Колоколе» со слепым и чересчур настойчивым упорством. Но это упорство имело в виду уже не Россию, а Европу, на которую нужно было напустить тьмы и мглы, так как в европейской печати все сильней и дружней раздавались голоса, призывавшие западные державы к крестовому походу против России. — "Мы (т. е. Англия) должны соединиться с Францией и поддержать Австрию!" вопиял "Morning Post" (февр. 24), в то время как «Колокол» усердно переводил и перепечатывал эти строки: "Австрия и Англия обе должны требовать освобождения Польши... Россия *слишком бессильна*, чтобы напасть, а Пруссия, ее союзник, слишком ничтожна; обе державы слабы, дезорганизованы и должны подчиниться решению остальной Европы, когда Наполеон, лорд Пальмерстон, Рехберг и Гарибальди соединятся для достижения общей цели".[238] Эти громы не ограничивались одною Россией: за честное союзничество с нами, Герцен неоднократно предрекал анафему и гибель Пруссии и, между прочим, обращался к ней с таким пророчеством, что "нет-де, не быть тебе, Пруссии, во главе германского единства! Нет, ты сама развалишься, государство без народности, — военная нелепость, созданная королем-энциклопедистом!".[239] Зато "очищенная Австрия" удостаивалась его кокетливых похвал и поощрений за каждую поблажку повстанцам, за каждый подвох против России, зато восхвалил он даже католические монастыри и их монахов.[240]

Открылись военные действия против повстанцев. Офицеры и солдаты честно исполняли свой долг. "Братья старообрядцы" не вызвали казаков из Польши, а сами стали присоединяться волонтерами к русским летучим отрядам; "русские сестры" тоже не сделались Миниными по рецепту «Колокола», а употребили "силу любви" своей на ухаживание за ранеными в госпиталях Западного Края, в качестве сестер милосердия, на складчины в пользу их и семейств русских людей, священников да крестьян, замученных повстанцами, — словом сказать, дело сорвалось, не выгорело, воззвания пропали втуне, обманчивые надежды лопнули, — и вот, «Колокол», разражается иеремиадой, которую так и озаглавил «Плачем»: "Ну, солдатики, вы хорошо отслужили вашу службу в Польше! Не забудьте и дома, как вы весело жгли господские усадьбы, какова попили винца из панских погребов, каково поразбивали сундучки с их добром, "при всем блеске пожара". Не все же поляков да поляков — вы уж не оставьте вашей милостью и наших-то, русских". Тут же вопиет он, что "пора пасть России" и в заключение обращается с проклятием: "Что же вы, анафемы сделали из всех усилий наших!? Все, что мы лепили по песчинке, смыли ваши помои, унесла ваша грязь, и через пятнадцать лет я снова, идя по улице, боюсь, чтобы не узнали, что я русский"[241]... Слепая злоба его тут же необузданно предается фельетонному кощунству и глумлению над мертвыми, над памятью человека, случайно захваченного по дороге и с варварской жестокостью замученного жандармами-вешателями единственно за то только, что был одет в русский жандармский мундир.[242]

Эта же злоба не раз предавала поруганию имена тех русских, которые за границею делали денежные складки в пользу наших раненых солдат и семейств убитых; зато имена поляков, казненных за тайные убийства, с благоговением вписывались в "святые мартирологи" «Колокола». Складки эти были тем более прискорбны лондонским эмигрантам, что касса русского "фонда на общее дело" давно уже не обогащалась никакими посторонними приношениями и с каждым днем пустели все более и более. Напрасно «Колокол» без числа взывал о пожертвованиях "в общий фонд" и "на общее дело" — ему уже никто не откликался из русских. Но признаваясь, что никто не хочет более жертвовать в пользу "Земли и Воли", Герцен в следующем же нумере впадал в странное противоречие с самим собой, самонадеянно уверяя, что "говорить о силе общества "Земли и Воли" неуместно",[243] и это в то время, когда названное общество выпрашивало у варшавского ржонда *сто пятьдесят* (150)*рублей* "на поддержку польского дела в России!"

Вместо недавних заигрываний, на русское войско посыпались всяческие клеветы, и Россия стала обзываться в презрительном смысле уже "казарменной, гвардейской и армейской Россией".[244] Г. Огарев распинался в неоднократных уверениях, что стотысячное русское войско в Польше "грабит хорошо, а дерется плохо и оттого не может сладить с двадцатью тысячами повстанцев",[245] что солдаты наши еще "кое-как держатся в перепалке на дальнем расстоянии, но так как у поляков пороху мало, и они жалеют зарядов и сейчас берутся за косы, то наши солдаты большею частью разбегаются по деревням, где они грабят и убивают всех без разбора".[246]

Чуть, бывало, зайдет речь о варварстве русских войск в какой-либо деревне и над каким-либо польским помещиком, сейчас же следует сожаление, что корреспондент позабыл название деревни и имя помещика, но зато отлично помнит все до единой русские фамилии! «Колокол», в своем слепом усердии к польскому делу, договорился наконец до Бог знает каких нелепостей, вроде заявления, что должность министра внутренних дел у нас занимает какой-то Келлер,[247] когда всему свету было известно, что портфель этого министерства принадлежал тогда г. Валуеву, или что польских помещиков арестовывают за то, что они "противу царского указа отпустили усы и бороды",[248] что наш известный русский и православный генерал Иван Федорович Ганецкий есть поляк и называется Владиславом Казимировичем или Казимиром Владиславовичем, что на постах и караулах при железнодорожных станциях весь строй постоянно бывает пьян и, не выходя из фронта, производит насилия, грабежи и бесчинства над пассажирами, что в Вильне не видать солдат иначе, как пьяных, что очень много офицеров и нижних чинов перешло к инсургентам за плату 30 руб. в месяц и что, вообще, *нагайки драгун* дружно работают, тогда как известно, что наши драгуны никогда и ни в каких случаях не имеют нагаек в своем снаряжении. Наконец, после всего этого, Герцен разражается истерическим криком «подлые», посылая его всем русским, не разделяющим его симпатий к Польше: "Подлые!.. Ни сердце, ни ум, ни опыт ничему их не учат, оттого что они *подлые*", и тут же отказывается о всякой солидарности с Россией. "Все прежние грехи, говорит он, все настоящие недостатки Польши искупают ей ее мученики и наши мучители. Они смертью своей убивают врагов своих. Каждое замученное тело, брошенное грязными палачами в землю польскую, освобождает ее и освобожает нас самих от призрачного патриотизма"[249]... "Тот, кто любит народ русский тот должен во искупление его звать на главу его кару очистительных несчастий" — и Герцен не задумывается призывать, в виде такой кары, войну Европы на Россию, иронически подзадоривая эту старую Европу, что она, без сомнения, имеет полное право сложа руки смотреть, как лучший, поэтический, рыцарский, доблестный представитель ее — Польша, гибнет, терзаемая грубым, плотоядным животным, паразитно выросшим на несчастном, забитом народе".[250]

Появились известные ноты трех западных держав: Англии, Франции и Австрии — акт

величайшей политической наглости, которая, основываясь на призрачном праве трактатов 1815 года и забывая о праве завоевания 1831 года, позволили себе вмешаться во внутренние дела России. Этой наглости, конечно, немало способствовали подстрекающие заявления о бессилии нашего государства и о его внутренних революционных брожениях, то и дело раздававшиеся в европейской печати, с легкой руки «Колокола». Наглость этих требований простиралась до того, что ноты иностранных держав осмелились низводить наше правительство на одну доску с каким-то безымянным подпольным ржондом, приглашая нас вступать этим ржондом в политические соглашения и признать его воюющей стороной. Все эти политические каверзы и проделки совершались именно в расчете на воображаемое бессилие России, в расчете на то, что мы трусим и смиренно подчинимся ультиматуму трех западных кабинетов. Но наши «благожелатели» жестоко ошиблись в этом расчете. Еще прежде дипломатических ответов князя Горчакова, раздался в один голос единодушный ответ целой России. К подножию трона со всех концов, со всех сторон, углов и закоулков Русской земли посыпались бесчисленные адреса. Оскорбленный дух народа встал и заявил себя так твердо, так решительно, что западные благожелатели попятились. — "Что они так испугались"? вопрошал при этом «Колокол», забывший на этот раз свои подуськивания и подпевания разным "Morning Post'ам". "Чего они так испугались или чем их всех так настращали, что нельзя больше удержать вопль, крик, плач, завыванье патриотизма, усердие без границ, преданность без смысла? Адресы, панихиды, молебны на чистом воздухе и в воздухе, продымленном ладоном адресы от грамотных и безграмотных, от старообрядцев и новообрядцев, от курляндских, эстляндских и лифляндских русских, от временно-обязанных крестьян и бессрочно-разоренных помещиков, от старшин Рогожского кладбища и школярей (sic!) кладбища науки, называемого московским университетом".[251]

Герцен не понял, что тут не правительство, а весь народ встал за свою историческую тяжбу, за свое право, добытое многовековою "борьбою за политическое существование", как не понял и того, что у народа есть свой инстинкт, свое чутье, которого ничем и никогда не обманешь. Теперь он стал жалобно причитать о "простом сердце простых людей, которые бесхитростно поддались официальному обману и, помня недавнее освобождение, воображают, что отечество в опасности",[252] что народ верит в правоту неправого дела, будто награбленное немецким правительством (то есть Северо и Юго-Западный край) есть его народное и законное достояние, что за правительство "простодушно подает свой голос обманутое небывалой опасностью старообрядчество и крестьянство".[253] Но и жалобные причитания продолжались недолго. Адреса по-прежнему сыпались отовсюду; общее одушевление росло, готовность на всяческие жертвы за целость, неприкосновенность и достоинство русской державы высказывалась слишком громко, горячо, искренно, и Англия, ввиду этой высоты народного духа, первая попятилась назад. 8-го мая лорд Россель заявил в парламенте, что "при данном настроении русского правительства, а *еще более русского народа,* не может быть и речи об отделении какой-либо части этой великой империи", что шутки с ней крайне опасны, а потому Англии и нельзя рисковать случайностями вооруженной борьбы. Ответные ноты князя Горчакова, написанные с достоинством прямоты и твердости, подобающими державе, сознающей свое законное право, сделали такое впечатление и на кабинеты, и на общественное мнение Европы, что угрожающие позы трех наших противниц превратились в вежливо-скромный и ласковый поклон. Противники отретировались. Полная дипломатическая победа России была одержана блистательно, и Герцен, с сожалением, с горечью и грустью разочарования воскликнул в «Колоколе», что "войны не будет!".[254] Пока из Финляндии не было адресов, он всячески колол этим глаза русскому правительству, а когда адреса появились, то бесцеремонно объявил, что они добыты стараниями чиновников, обманом и подкупом,[255] и наконец решил, чтс адреса всей России есть ничего незначащая подделка, но что в то время русское общество повально заражено "сифилисом патриотизма".[256] В это время "друзья-солдаты и офицеры" превратились у него уже в палачей и грабителей, «друзья-

старообрядцы» и «друзья-казаки» в изуверов и святотатцев, а «друзья-юноши» были обозваны "наемными школярами". Нравственные связи с Россией были порваны, значение Герцена рухнуло навсегда. Его погубило польское дело. "Выжав до конца этот лимон", сами поляки от него отшатнулись, бросили и забыли не сказав ему даже спасибо.[257]

В Варшаве меж тем смутно гомонилась глухая тревога! Всякий день по вечерам за черту городского вала пробирались охотники "до лясу", мужчины и женщины. Одни уходили, другие возвращались. Бежавшие из города и послужившие у Лангевича и у других довудцев, преспокойно приезжали себе в отпуск, на побывку к варшавским «родакам», проживали некоторое время в городе, фланировали по улицам да в Саксонском саду и снова уходили подобру-поздорову в какие-нибудь новые банды. Многие из этих временно-отпускных принимали на себя роль «квестарей», наподобие обыкновенных польских квестарей, какие всегда собирали на бедных, ходючи по квартирам обывателей. Повстанские «квестаржи» точно так же шлялись по разным квартирам, по преимуществу появляясь в русских домах, в то время, когда мужчины отсутствуют, и бесцеремонно требовали у запуганных женщин денег "на раненых". В этом отношении в наиболее странное положение были поставлены русские домовладельцы, нередко женатые на польках. Они, например, не смели требовать квартирную плату со своих польских жильцов; иной жилец принесет только частицу денег, а остальные, говорит, удержал на общее дело, или с меня-де взыскали в счет наложенной на вас подати. Вдруг окажется, что пропала какая-нибудь домашняя рухлядь, белье да платье или железные вещи: пилы, топоры, ножи кухонные и т. п., но толковать об этом с домовым «ржондцем» считалось не безопасным, и потому поневоле приходилось смотреть на все сквозь пальцы. По нескольку раз в день, бывало, отворится дверь и входит какой-нибудь подозрительный лобус: "Я, говорит, до лясу иду, не поможете ли чем с ласки паньскей?" Другой из лясу вернулся: "Я, говорит, за ойчизну сражался, ранен и пр., не будет ли милости помочь чем?" Третий из цитадели выпущен — политический мученик, значит, страдалец за отечество, за свободу, тоже просит "з ласки" — и ему тоже надо дать, и дать не пустяк, не гроши какие-нибудь, а по крайней мере несколько «злотувок», потому что в противном случае обидится и погрозится мщением народовым, а в результате домохозяину наверное приключится какая-нибудь неожиданная и далеко не безопасная мерзость. Так же и квартиры известных артистов, артисток и вообще людей со средствами, наряду с русскими землевладельцами, подвергались подобным же бесцеремонным визитам, с просьбою "не оставить". Ржонд объявлял не раз, что подобные просители должны иметь от него особое уполномочие, бланк на квесту и на личную помощь, без которой просил обывателей денег им не давать; но это не действовало, и на сто просителей едва ли двое являлись с «картэчками» народового ржонда. Иные назойливо приходили по пяти, по шести раз в день, и на требование «картэчки», отвечая какой-либо глухой угрозой, добивались-таки каждый раз какой-нибудь подачки. Подобное вымогательство и тунеядство разрослись до такой громадной степени, что в одной лишь Варшаве, в течение первых трех-четырех месяцев восстания, эти самозваные пройдохи понабирали в собственные карманы более ста тысяч рублей серебром, на счет народового ржонда. В эту же эпоху и ксендзы более чем когда-либо торговали особого рода индульгенциями. Бывало, иная ревностная католичка, по слабости здоровья, не может переносить постной пищи, а меж тем ксендз, приходящий к ней в дом преподавать «реколекции» (наставления), требует соблюдения поста, ради спасения ойчизны. Чтобы помирить одно с другам, благочестивые хозяйки вносили в "фундуш желязны" известную сумму, которая, конечно, вручалась ксендзу-реколектору, и взамен получали от ксендза, за его подписью и печатью, билет, который заключал в себе разрешение употреблять скоромную пищу и заблаговременный «отпуск» этого греха. Такой билет нередко выдавался на целый дом, с семейством, со чады, домочадцы, «служонцы», и даже с «мешканцами» (жильцами), и в знак особого уважения вешался иногда в гостиной на стене, на каком-нибудь видном и почетном месте! Патриотическая экономия доходила до того, что очень многие зажиточные люди перестали пить чай и отказывали себе не только в лишних

«бутиках», в «ренкавичках» и в «карвательках», но носили даже черного цвета белье, и это называлось тогда "сподней жалобой", то есть нижним трауром. Но сердце варшавянок не долго выдерживало искус простоты и скромности траурного наряда. Настали весенние дни, зацвели каштаны Саксонского сада — и варшавские дамы защеголяли своей «жалобой» до того уж роскошно, что подпольный листок «Правда» (№ 10) обратился к ним с предостережением и вопросом: "неужели эти великолепные убранства, эти метущие дорогу шлейфы, эти кринолины, эти дорогие накидки и бурнусы, вышитые прехитрыми узорами юбки, балетные фестоны, пышные кружева, шляпки с удивительными перьями и наконец эти невероятные прически — неужели все это согласно сколько-нибудь с тем ужасным положением, в каком находится наше отечество? Правда, прибавлял листок, вы ходите *исключительно в черном,* но разве в этом заключается истинный траур? Это *мода,* и больше ничего!" Таким-то определением заклеймил орган «ржонда» кокетливые поползновения варшавских патриоток. А между тем эти же самые щеголихи одной русской девушке публично, ка улице, плевали в лицо за то только, что у нее, при скромном черном наряде, был надет на шее розовый бантик. Но голос подпольной «Правды» на первый раз не образумил патриоток: господство кружев, шлейфов и кринолинов продолжалось в той же силе. Варшавянки соглашались лучше не пить своей утренней "кавы и гербаты" в пользу ойчизны, но не могли отказаться от кринолина и шиньона. Тогда революционный комендант и подпольный обер-полицмейстер напустили на них несколько десятков лобусов, вооруженных палками с острым железным крючком на наконечнике. С помощью этого снаряда, лобусы очень ловко и быстро срывали с модниц шиньоны и кринолины, оставляя их на улицах часто даже без "сподней жалобы". Скандалов из этого выходило множество. Варшавяки и особенно варшавянки возмутились не на шутку; раздались громкие голоса против наглости ржонда, который, боясь потерять свою популярность, поспешил отказаться от всякой солидарности с обрывателями и свалил всю вину сначала на какую-то партию «черных», а потом просто-напросто на русское правительство, что это, дескать, оно все нарочно подкупает лобусов, чтобы отучить патриоток от жалобы. Но русское правительство в этом случае поступило практичнее: оно просто наложило на жалобу двадцатипятирублевый штраф, и эта мера подействовала гораздо существеннее палок с крючками. Однако ловкие польки и тут нашли возможность извернуться, по пословице "и Богу свечка, и черту кочерга". — Выходя из дому, они стали надевать на черные платья серые юбки, и придя в гости, снимали эти юбки в прихожей вместе с верхней одеждой и таким образом все же оставались в «жалобе». В эпоху до штрафов и самые свадьбы совершались не иначе, как в трауре. Самый глубокий траур, надетый на невесте, во время венчания, служил даже признаком хорошего тона. А сколько браков было заключено под непременным условием, чтобы молодой муж на следующее же утро отправился "до лясу"! Браки этого рода вошли тогда в особенную моду. Впрочем, подобных мод существовало множество и в Варшаве, и во всей Польше. Так, например, у гимназистов сделалась чем-то вроде особого и высшего патриотического подвига обязанность получать из русского языка нули и единицы. Тот ученик, который сподряд весь год получал круглый нуль, удостоивался особенных подарков, похвал и оваций со стороны родителей, знакомых, польских учителей, товарищей и преимущественно со стороны молодых патриоток. В некоторых местах было формально положено, что за каждый нуль из русского языка, избранная красивая девушка или дама *обязана* была награждать наедине взрослого гимназиста своим страстным поцелуем, и не иначе как страстным, для того чтобы прелесть этой награды превозмогла страх начальнических взысканий и влекла к новым подвигам. Другая, не менее замечательная мода состояла в том, чтобы, проходя мимо православных церквей, всенародно затыкать себе уши при звоне русского колокола. Третья мода — отсутствие на головах мужчин пуховых шляп-цилиндров. Поляки почему-то считали эти шляпы исключительной принадлежностью русских. И стоило лишь кому-нибудь показаться на улице в цилиндре, чтобы толпа лобусов и мальчишек тотчас же окружила дерзновенного с криками: "рура ангельска! рура ангельска!",[258] вслед за которыми нередко следовали комки нечистот и грязи. Четвертая мода — отсутствие какой бы то ни было музыки и пения, за

исключением патриотических гимнов. Впрочем, это была мода, так сказать, принудительная со стороны ржонда; но замечательно, что даже полицианты законного правительства сами запрещали музыку, — и горе, бывало, если появится на улице какой-нибудь несчастный итальянец или чех со своей хриплой шарманкой! — Полицианты тотчас же и без рассуждений тащили его "в циркул до козы". — Так повелевал подпольный обер-полицмейстер, и правительственная полиция беспрекословно исполняла его распоряжения. Впрочем, это не покажется особенно мудреным, если принять в соображение, что между варшавскими полициантами много было тайных агентов революционного ржонда. В ряду модных проявлений стояло также необычайное сочувствие к Гарибальди и к его аспромонтскому сапогу. Имя итальянского героя повторяли даже и те, кто о нем не имел никакого понятия: "есть-де в Польше такой человек, Гарибальди называется, он-де и все восстание поднял, он же и москалей выгонит". Фотографические карточки его раскупались бойко; фотографы делали хорошие «гешефты» не только с его портретами, но даже и со снимками с его сапога, пробитого пулей при Аспромонте. Варшавская фантазия изукрасила этот сапог эмблемами и атрибутами польского восстания, окружив его косиньерами и аллегорическими фигурами Литвы, Польши, Свободы и пр. Столь же бойко раскупались карточки Лангевича и Пустовойтовой, о которых рассказывали всевозможные легенды самого героического свойства. Сплетням, суевериям, басням и разговорам не было конца — и всему верилось безусловно. — "Франция уже тут на границе!" болтает один. "Мак-Магон с 7-м корпусом уже вступил в Люблинскую губернию и наполеоновский орел летит на помощь польскому белому орлу", прибавляет другой. — "Саксонский консул арестован в Варшаве, и так как французский консул воспротивился этому акту возмутительного своеволия, то посланники отозваны", таинственно повествует третий. — "Наполеон не посмеет отказать в помощи, потому что шавельские инсургенты послали ему письмо с угрозой, если не поможет, то будет предан суду шавельского революционного трибунала и неминуемо подвергнется "справедливой смертной казни".[259] Герцен с Бакуниным собирают "легион русских братий". Ученики военных училищ затевают бунт в пользу поляков, солдаты поклялись, что впредь не будут сражаться, раскольники уже соединились с повстанцами, Австрия наша союзница, "сама Хина (Китай) за нас идзе!" Москаль бежит, и наши легионы везде одерживают победы!" — Таков был общий тон всех разговоров и сообщений. Общую уверенность в победах поддерживали революционные "Вядомосци с поля битвы", где беспрестанно печатались громкие бюллетени и донесения о блистательно выигранных битвах. Краковский «Час» немедленно же перепечатывал эти известия, откуда они расходились уже во все европейские газеты. Остальные летучие подпольные листки — «Стражница», "Рух", "Новины Политичне" и «Правда» наперебой трубили о необычных подвигах польских героев, и все это сопровождалось твердою уверенностью в божественную помощь, которая уже проявляется в чудесах и знамениях; говорили, что где-то в близкой окрестности уродились чудотворные бобы с изображением польского орла, что на Смочей улице, близ Повонзковского кладбища, выросло *держевочудотворне* с изображением креста — и вся Варшава бегала на Смочу смотреть что за *держево;* и хотя никакого креста на нем не произрастало, тем не менее траурные дамы стояли перед деревом на коленях и молились, ударяя себя в грудь кулаками, а мужчины благоговейно обнажали головы. Один парафиальный ксендз объявил в проповеди, что "Матка Бозка Ченстоховська" дала ему слово провести под цитадель французский броненосный флот, — и опять вся Варшава, в течение нескольких дней, бегает на берег Вислы и на мост, и смотрит вдаль, наводит бинокли, подзорные трубы и ждет, когда-то появится наконец "Матка Бозка" с броненосным флотом. И добро бы делало это простонародие, а то нет: расфранченные «элеганты» и изящные дамы приезжали в экипажах и тоже наводили вдаль бинокли и лорнеты. Ловкие евреи продавали носовые платки и сорочки, омоченные в крови (вероятнее всего в телячьей), уверяя и божась, что это кровь того или другого из казненных мучеников. И все охотно верили, или показывали вид, что верят столь грубой мистификации, раскупая нарасхват платки "свентых менчен*и*кув замордованных". А между тем в Варшаве повторялись беспрестанные убийства. Редко проходил день без того,

чтобы не пала одна, две и более жертв от руки народовых «операторов». Убивали мужчин, убивали и женщин; так, между прочими, была заколота кинжалом на мосту одна очень молоденькая и замечательной красоты девушка из хорошего семейства, в то время как выходила утром из купальни — и вся Варшава только плечами пожала от недоумения: сами поляки не могли понять, за что сделано такое убийство и чем могло провиниться или повредить ржонду это невинное существо? Под предлогом политической казни нередко действовала личная месть и даже нечто хуже, а именно расчет отделаться от назойливого кредитора. Того-то закололи, этого зарезали, там повесили, здесь отравили — только, бывало, и слышно изо дня в день по Варшаве, так что, наконец, подобного рода новости перестали даже производить свое впечатление: к ним привыкли как к явлению нормальному, и самое внимание общественное как-то притупилось к ним вследствие беспрестанных повторений.

А на цитадельной эспланаде, время от времени, разыгрывались иные трагедии... Туманное утро. На сероватом фоне небосклона чернеется силуэт эшафота, с двумя столбами и перекладиной, покоем. Вокруг него ряды войск; в отдалении широко раскинувшаяся цепь конных казаков едва сдерживает напор масс любопытного народа. Вот послышался монотонный бой барабана... Из ворот цитадели показалась процессия. Открывает это шествие оригинальная фигура верхом на замундштученном вороном коне; на голове — цилиндр, обвитый траурным крепом, на руках белые лайковые перчатки, поверх черного фрака накинута на плечи широкая красная мантия с кистями. Это — пан Дитвальд, наследственный "меч справедливосци" города Варшавы. За его красной мантией идут «гицеля», помощники и прислужники по его профессии; а за ними в нескольких шагах расстояния медленным шагом выступает ксендз-бернардин, в своей коричневой хламиде, с распятием в руках, и рядом с ним кто-то мертвенно-бледный, полуживой, полусознающий все совершающееся вокруг него в данную минуту... Он шатается от слабости, ноги его подкашиваются, — один из гицелей поддерживает его под руку; сзади жандарм несет белый саван с остроконечным капюшоном; вокруг этой группы сверкают штыки конвоя, а по бокам едут конные жандармы с обнаженными саблями. Процессия останавливается пред эшафотом. Осужденному велят обнажить голову. "Слушай, на кра-ул!" раздается команда, и вслед за ней звуки горнов и барабанов. Аудитор выступает вперед с листом бумаги, и все умолкает. На несколько минут водворяется мертвая тишина. Слышится чтение приговора, а там, опять грянула дробь барабанов. "Меч правосудия" подходит к осужденному, берет его за руку и, подведя под виселицу, передает своим помощникам, а сам торопится сорвать с руки и брезгливо бросить на землю перчатку, «осквернённую» прикосновением к убийце. Гицеля принимаются за работу. Словно пауки, живо и ловко опутывают они веревкой руки и ноги осужденного, напяливают на него смертный мешок, закрывают голову и лицо капюшоном, ставят на скамейку, черное ожерелье веревки уже захлестнуто вокруг шеи... Мгновение — и белая фигура болтается под покоем. Стон и гул раздается вдали за казачьей цепью... Пан Дитвальд сосредоточенно смотрит на свои карманные часы, считает секунды и взглядывает порой на болтающуюся фигуру. Проходит минуты две. "Скончоны!" тихо и авторитетно произносит он, и под протоколом казни подписывает свое имя с традиционным титулом "меч справедливосци". Войска уходят, красная мантия снимается, и все кончено... Но там, в массах народа не кончаются вопли, рыдания, коленопреклонение, исступленная молитва, исступленная злоба и рокот проклятий...

X. Вновь испеченный

С началом вооруженного восстания, полк, в котором служил Хвалынцев, выступил из-под Варшавы и отдельными эскадронами вошел в состав нескольких отрядов. До Константина доходили иногда вести об экспедициях и стычках, где участвовали его товарищи, в то время, как он поневоле должен был лежать в Уяздовском госпитале и возиться со своей раной,

опасность которой требовала весьма тщательного, осторожного и продолжительного лечения. Ему до смерти надоело валяться на госпитальной койке, в то время, как другие живут такой кипучей, лихорадочной жизнью и деятельностью, дерутся, борются, испытывают столько новых разнообразных и сильных впечатлений. Он всей душой рвался на волю из своей госпитальной палаты, а между тем медики каждый раз утешают, что лечение идет правильно и прекрасно, но… все еще надо "погодить маленько", все еще рано выписываться.

Не раз теперь глубоко и грустно раздумывался он над своим нравственным положением. Давно уже он отрезвился, давно уже повязка спала с его глаз, и веры в "общее дело" давно уже не было в его душе; единственная связь с этим «делом», созданная роковым недоразумением и слепой страстью к Цезарине, была окончательно порвана, а предательский удар кинжала окончательно освобождал его от всяких отношений и к польскому заговору, и к жалкой шайке Варшавского Отдела "Земли и Воли". Теперь он мог честно, без внутреннего разлада, без внутренних противоречий с самим собой чувствовать себя русским, — человеком своей родины и своего народа, который так громко и так высоко на весь мир заявлял себя в ту напряженную тревожную эпоху. Все, что было в нем чужого, наносного, извращенного при помощи талантливой пропаганды «Колокола» и иных нерусских идей и стремлений — все это теперь отпало, смылось с его души: правда жизни взяла верх над сочиненной и предвзятой ложью чуждой пропаганды. Но втайне его все-таки снедал и грыз неотвязный упрек совести за свое прошлое, за временное отступничество от *своих,* за свое малодушное якшание с заведомыми врагами своей земли и народа. Он произнес полное осуждение самому себе и жаждал только одного, чтобы милость судьбы дала ему возможность искупления, которое было ему нужно не ради каких-либо выгод житейского спокойствия, не ради уверенности, что его не тронут, не потянут к расплате — ни расплат, ни наказания он не страшился: он принял бы их покорно и легко, как должное, как заслуженное, — но искупление было нужно ему ради собственной совести, ради внутреннего примирения с самим собой, все равно, будет ли принесено ему это искупление карающим приговором военного суда или сам он возьмет его себе с бою в кровавой схватке, и вот почему он так жадно стремился вырваться поскорее из стен Уяздовского госпиталя. Наконец, в апреле месяце доктора объявили ему однажды, что он здоров совершенно, и чрез час его уже не было в Уяздове.

Приказ о производстве его в офицеры, по выслуге установленного срока, был получен еще в то время, когда он лежал в госпитале. Наскоро обмундировавшись в два-три дня и явившись в штаб да по начальству, он на четвертый день, с первой же "летучей оказией", сопровождаемой конвоем казаков, в числе других попутчиков, ехал уже по назначению к своему эскадрону.

Эскадрон майора Ветохина, куда командир полка зачислил теперь Хвалынцева, был на ту пору расположен в местечке Нова-Руда Августовской губернии, в районе которой ему приходилось то занимать наблюдательные пункты, то держать кордонную линию, то вдруг экстренно собираться и входить в состав какой-либо подвижной колонны, делать громадные переходы, рыскать по лесам и болотам, отыскивая повстанцев, рассеивать и гнать их при встрече — все это, в совокупности, представляло жизнь, исполненную самой кипучей деятельности, тревог и самых разнообразных впечатлений.

Командир эскадрона — старый сивоусый майор, холостяк, прослуживший двадцать два года все в одном и том же гусарском полку, подравшийся на своем веку и против венгерцев, и против турок на Дунае, принял Хвалынцева так, как мог принять только родной отец и как умеют пока еще принимать у нас молодых офицеров старые, закаленные в армейской службе служаки.

— Испекли? — воскликнул он с добродушной радостью, хлопнув Константина по наплечной корнетской гомбочке.

— Как видите, майор…

— Вижу, голубчик, вижу! Уж не первый десяток вашего брата, вновь испеченного, у себя вижу, а пожалуй что и за сотню перевалило!.. В Бога веруешь?

— Верую.

— Царя чтишь?

— Чту.

— Товарищей уважаешь?

— Уважаю.

— А водку пьешь?

— Пью.

— Ну, обними меня!.. Поцелуемся!.. Гусар, значит, будешь хороший… Ну, а насчет службы у меня ухо востро держи! Уговор лучше денег; хочешь служить, так наперед знай: дружба дружбой, а служба службой. Взыщу, и строго взыщу, коли за дело!.. А другом все-таки буду, и ты, старика, не осуди — потому таков уж порядок, дело святое!.. Что ни понадобится, беги прямо как к отцу родному — отказу не будет! Эй! Чубарый! — крикнул он своего денщика, — приготовь-ка, братец, поживей закуску, да беги к господам офицерам, скажи: майор-де немедленно просить изволят на водку — вновь испеченного корнета вспрыснуть, по обычаю!.. Живо!.. Ну-с, ваше благородие, — обратился он вслед за тем к Хвалынцеву, — "кладите шляпу, сденьте шпагу", венгерку нараспашку и будьте как дома, потому официальное представление ваше кончено.

В тот же самый день, в убогой хате того же самого майора, эскадронные товарищи радушно приняли в свою боевую среду нового друга, и узы братства были заключены между ними с первого же раза. Ничто так не сближает людей и не роднит их между собою, как боевая жизнь и обстановка.

XI. Робак, ксендз-партизан и вешатель

Во второй половине мая месяца, в окрестностях Новой-Руды пошли тревожные слухи о целой банде жандармов-вешателей, которая перекинулась через Неман из Виленской губернии, где-то неподалеку от Гайдун и Друскеник, и — во главе со своим довудцей, ксендзом Робаком, — производит разные бесчинства, жестокости, казни и облагает крестьян подушной податью. Придя в одну деревню и узнав, что тамошние девушки танцевали на своем сельском празднике с солдатами проходившей роты, ксендз-довудца приказал собрать всех девушек на выгон и пересечь их до единой. В другом месте приспешники его захватили отставного солдата, который служил сторожем при сельском хлебном магазине, выкололи ему глаза и вырвали из суставов руки, а потом ноги, "для того, чтобы впредь мог исполнять как следует свою обязанность". В третьем месте поймали по дороге казака и заживо изрезали его в куски, еще где-то живьем закопали в землю немецкого колониста, повесили русского учителя и фельдшера, распоров первому живот, а второму прибив к груди его паспорт четырьмя гвоздями; какому-то крестьянину содрали с головы кожу и оставили при нем записку, что это "заломал его медведь польский за сочувствие и послуги медведям русским". Вообще, ни один из довудцев не предавался таким изысканным жестокостям, как знаменитый ксендз Робак (червяк), взявший себе этот псевдоним из Мицкевича "пана Тадеуша" и стяжавший громкую,

но черную славу даже между своими соотечественниками. Оставляя по себе такие ужасные следы, Робак долгое время был решительно неуловим. Он отлично знал край и, нагоняя жестокого страху на жителей, опасавшихся его мщения и потому молчавших о близком присутствии ксендза-вешателя, этот палач постоянно успевал с замечательною ловкостью ускользать от преследования русских отрядов, хотя и вертелся у них то сбоку, то в тылу, то прямо под носом. Становилось ли ему жутко в Трокском уезде, он перекидывался за Неман в «Корону»,[260] к Сейнам, к Августову или к Мариамполю; начинали ль теснить и облавить его здесь, он снова уходил за Неман, куда-нибудь в Ковенскую губернию и начинал разгуливать по Жмуди, а через несколько времени, гляди, опять появляется то там, то сям на местах своих прежних подвигов. В этом отношении Робак обладал замечательным партизанским талантом. Часто банда его разделялась на несколько мелких отрядцев, под временным начальством осободоверенных подручных, и в то время, как сам он находился в одном каком-нибудь пункте, подручные принимали на себя его псевдоним и действовали, то есть казнили, в разных направлениях. Таким образом, страшное имя его гремело одновременно во многих местах и на значительных расстояниях, становилось чем-то вездесущим и приобретало легендарное значение. Ксендз Робак был везде и нигде; везде куролесил, казнил, наводил ужас и нигде не давался в руки.

Как только дошли в Августов слухи и вести о появлении Робака, начальник местного военного отдела тотчас же распорядился отправить на поиски несколько отрядов в разных направлениях.

XII. Старый знакомый нежданным гостем

Майор Ветохин со своими офицерами только что садился во втором часу дня за обед, как подъехала к его хате обывательская парная подвода, в сопровождении четырех конвойных казаков верхами.

— Кого Бог дает? — спросил майор, вглядчиво оборачиваясь к окну со своего места.

— Чужой кто-то… старик… майорские погоны пехотные, — объявил один из офицеров, ближе всех сидевший к растворенному окошку.

Через минуту дверь отворилась.

— Хлеб да соль, господа!.. Извините! — снимая на пороге запыленную фуражку, несколько смущенно проговорил вошедший, очевидно, никак не чаявший попасть прямо к обеду. — Могу я видеть эскадронного командира? — прибавил он, обводя присутствовавших вопросительным взглядом.

— К вашим услугам! — поднялся с места майор и назвал свою фамилию.

— Позвольте передать… от полковника Пчельникова, — с полупоклоном проговорил старик-пехотинец, достав из бокового кармана пакет за казенной печатью.

— Садитесь, пожалуйста, — предложил ему Ветохин и, сорвав конверт, пробежал глазами бумагу. По мере чтения лицо его все более и более озарялось довольной улыбкой.

— Поздравляю, господа, с экспедицией! — радостно проговорил он наконец, обращаясь к своим офицерам, и вполголоса, как бы под большим секретом, но вполне внятно стал читать им "конфиденциальное сообщение". "Вследствие предписания г. начальника отдела, от такого-то числа, за No таким-то, вверенный вам эскадрон назначен в состав моего отряда, а посему

предписываю вашему высокоблагородию, с получением сего, немедленно изготовиться к экспедиции против появившейся в окрестностях шайки ксендза Робака. Вверенный мне отряд прибудет в местечко Нову-Руду сего числа вечером и после трехчасового привала двинется в направлении на Красно, Сапочкин и Ятвице. Не дожидаясь моего прибытия, ваше высокоблагородие имеете выступить, в виде авангарда, как наискорее, в том же направлении, своевременно посылая ко мне донесения обо всем, что будет замечено вашими разъездами. В случае если бы шайка Робака переправилась обратно за Неман, то, не стесняясь переходом оной в район Виленского военного округа, преследовать безостановочно, но при этом вы имеете озаботиться о средствах переправы для моего отряда. NN-ского пехотного полка командир полковник Пчельников".

— Ура! — крикнул было один из офицеров, радостно сорвавшись с места.

— Тсс!.. остановил его эскадронный, — секрет, господа, прежде всего секрет!.. Тут ведь за каждым нашим шагом следят и все передают повстанцам: узнают часом ранее, и пиши пропало! Вся экспедиция ни к черту!.. Уйдут!..

И Ветохин сейчас же послал за эскадронным вахмистром, чтобы отдать ему приказания о секретном сборе. Старый пехотинец стал откланиваться.

— Куда же вы, майор? — остановил его Ветохин. — Погодите…

— Нельзя-с, тороплюсь в Пяски… там велено мне взять роту да пятьдесят казаков и тоже идти на поиски.

— Да вы туда как? На подводе?

— На обывательской, под конвоем.

— Так погодите же, пока перепрягают… пять минут!.. Перекусите чем Бог послал… Господа, угощайте майора!

С первой минуты появления нового гостя, его лицо, его голос и вся фигура сказались Хвалынцеву чем-то знакомым. Некоторое время он вглядывался в физиономию старика и наконец подошел к нему.

— Извините, майор, ваше имя Петр Петрович Лубянский? — спросил он.

— Да, я Лубянский.

— Вы не знаете меня?

Старик пристально вскинулся на него глазами.

— Господи Боже мой!.. Да неужели Хвалынцев?!.. Батюшка!.. Какими судьбами?..

И они бросились в объятия друг друга.

Пошли расспросы: как? что? Старика усадили за стол. Он-таки проголодался с дороги. Хвалынцев между прочим неосторожно спросил его про дочку, про его Нюточку и вдруг, заметив, что лицо майора на мгновенье передернуло что-то глубоко и затаенно скорбное, спохватился, что вероятно сделал какой-нибудь промах, но уже было поздно.

— Умерла, — отрывисто и как бы вскользь проговорил Лубянский. — Вот почему-то и я… как

видите, тоже здесь, — продолжал он, — надоело, знаете, там-то… Что, думаю, одному бобылём на старости лет блыкаться! И пошел сюда… Здесь все же жизнь… И пользу какую ни есть принести можно… Да и того… отвлечение, знаете, есть для себя… Здесь лучше… А умирать все равно надо… так уж лучше здесь умереть… по-солдатски, по крайней мере!.. Люди нашего века, батюшка, все уж помаленьку на тот свет подбираться начинают… Старуху Гореву помните?

— Тетку Татьяны Николаевны? — весь встрепенулся Хвалынцев. — Как не помнить, помилуйте!.. Что ж она?

— А тоже вот недавно… долго жить приказала.

— А Татьяна-то Николаевна как же теперь? — помолчав, спросил Хвалынцев, на которого это неожиданное известие произвело несколько грустное впечатление.

— Да что ж Татьяна Николаевна! — пожал старик плечами, — одна осталась, круглой сиротою…

— Не вышла замуж? — понижая голос и с чувством какого-то затаенного внутреннего опасения продолжал Хвалынцев, почувствовав, что ему будет больно и тяжело узнать, если Татьяна позабыла его.

— Э, где уж! — махнул Петр Петрович. — Помилуйте, за кого там выйти… Да она, кажись, и не думает об этом. Фантазерка она большая, но хорошая, честная фантазерка.

— А что? — насторожил уши Хвалынцев.

— Да как же! — усмехнулся майор. — Писал мне этта недавно Устинов, Андрей Павлыч… А, кстати, — перебил он самого себя, — Устинов-то… вы не слыхали? Ведь он теперь здесь, недалеко, по соседству!

— Как так? — радостно встрепенулся Хвалынцев.

— Да как же!.. В Гродне!.. Там у него, пишет, есть старый приятель какой-то… Как бишь его?.. Забыл… доктор военный…

— Холодец? — подсказал Константин.

— Ну, ну, он самый и есть!.. Они вместе и живут теперь.

— Да Устинов-то какими же судьбами в Гродне очутился?

— А очень просто-с. Ведь он в последнее время в Питере жил без места; ну, а тут вдруг в Северо-Западный край русских людей стали на службу вызывать, он и поехал учителем в гимназию… Назначили в Гродну, а там нечаянно с этим приятелем своим столкнулся… И прекрасно, пишет, устроился!..

— Ваше высокоблагородие, подвода готова, — доложил вошедший казак и тем невольно прервал дальнейшие расспросы.

— Да и нам, господа, время. Собирайтесь-ка поживее, — заметил Ветохин своим офицерам.

— Ну, а Татьяна-то Николаевна?.. Вы про нее хотели что-то… Бога ради, хоть одно слово еще! — с живым и нетерпеливым любопытством приставал меж тем Хвалынцев, удерживая Лубянского

за руку.

— Ну, батюшка, долго рассказывать!.. Некогда! — благодушно улыбнулся ему старый майор, выходя из хаты и на ходу прощаясь с офицерами. — Вот погодите, — прибавил он, — побьем Робака, встретимся, даст Бог, после экспедиции, тогда уж все расскажу вам на досуге!

И через минуту пароконная подвода, окруженная четырьмя казаками, быстро покатила по дороге в Пяски, оставляя за собой облака золотистой пыли.

В это время гусары уже выводили из конюшен лошадей и строились на площади пред квартирой майора. Любопытные жидки озабоченно шныряли туда и сюда, стараясь пронюхать в чем дело, а из-за углов подозрительно и враждебно выглядывали пытливые физиономии разных обывателей и обывательниц из местной "дробной шляхты", которая в этом внезапном сборе эскадрона инстинктивно уже учуяла что-то недоброе для своей "свентей справы" и только искала случая, как бы предуведомить кого следует о грозящей опасности.

XIII. Мученики, не вписанные в "мартирологи Колокола"

Первые двенадцать верст эскадрон сделал без всяких приключений. В попутных деревнях и мужчины, и женщины встречали его совершенно спокойно, стоя группами у своих хат, с кучей разной детворы; молодицы охотно выносили ведра с водой утолять жажду солдат, а мужики кланялись, снимали свои «капелюхи» и свободно отвечали на расспросы — все это для опытного майора служило верным признаком, что банда не посещала еще этих селений и не бродила в ближайшей окрестности. Но вот, прошли еще верст десять, и поведение крестьян в дальнейших деревнях резко изменилось. Здесь уже, при входе отряда в околицу, хлоп ни на кого не глядит, прячется, пугается, спешит смущенно удрать куда-нибудь подальше и на расспросы отвечает одним лаконическим «невем». Такое поведение тоже служило одним из признаков, но это уже был верный признак близости неприятеля. Это значило, что банда только что побывала в деревне, успела настращать крестьян, наобещать им виселиц и пожаров за общение с москалем, успела быть может кого-нибудь увести и повесить для примера, и теперь скрывается где-нибудь тут же, в ближайшем соседстве. Эскадрон усилил меры военных предосторожностей и безостановочно двигался дальше. Вот лес навстречу, и на самой опушке его замечены уже явные следы недавнего становища; полупотухший костер, окурки папирос, оборвыши бумажек, портянка какая-то, клочки разбросанного сена и соломы.

— Господи!.. Братцы, гльди-тко, страсть какая! — раздался вдруг голос одного из солдат, посланных обшарить место покинутого бивуака.

На зов его бросилось несколько всадников, которые вдруг остановились у одного из деревьев в безмолвном негодовании и в смущении. Пред ними качался на суку обнаженный труп четырнадцатилетней девочки, удавленной узлом из собственных кос и повешенной за волосы. На груди ее пригвождена была бумажка с надписью: *По подозрению в шпионстве.*

— Глянь-ко, братцы, девонька-то… а? Ну, какого зла могла она сделать! — покачивая головами, тихо говорили промеж себя гусары. Иные молча крестились и отъезжали прочь, другие же озлобленно ворчали угрозу не давать убийцам пощады при встрече. Просили было у майора позволения снять и закопать повешенную, "хоть с молитвой, заместо христианского погребения", но мешкать было некогда: майор торопился накрыть банду врасплох и как можно скорее. Кто-то из солдат сорвал широкий лист лопуха, положил его на землю, в то место, над которым висела девочка, и кинул на лопух копейку. Несколько гусар молча последовали примеру товарища, и на лопухе в минуту образовалась кучка медных денег.

— Для чего вы это, ребята? — спросил один из офицеров.

— А пущай, ваше благородие, на похороны ей будет, — ответил кто-то из жертвователей.

— Да ведь это напрасно: придет какой-нибудь бродяга-повстанец и преспокойно заберет себе ваши гроши.

— Ну, и пущай его, ваше благородие, коли греха не боится!.. Это все единственно! А только все ж ей от нас. значит, пущай на поминки душе ее будет…

Офицеры, по примеру солдат, тоже бросили в кучку сколько-то мелочи и тронулись далее.

Но не прошел эскадрон и нескольких десятков саженей, как невдалеке от дороги послышался слабый, страдальческий стон. Особый патруль бросился в ту сторону, и через минуту из чащи выскочил на дорогу ефрейтор с донесением:

— Ваше высокоблагородие!.. Раненый казачок лежит неподалечку-с… шагов с двадцать в сторону будет.

Ветохин с Хвалынцевым бросились по указанию ефрейтора, и оба невольно вскрикнули от ужаса.

В нескольких шагах от раненого валялись двое убитых, а третий тут же висел на одном из деревьев, и в этом третьем они вдруг узнали старика Лубянского. На развороченную грудь его страшно было взглянуть.

Раненый казак был еще в памяти и кое-как мог рассказать случившееся. Оказалось, что часа три тому назад, когда Лубянский проезжал мимо этого места по лесной дороге, с обеих сторон ее, из чащи еловых кустарников, вдруг раздались залпы. В подлесной деревушке майору переменяли подводу, а в это время кто-то успел оповестить банду, которая устроила засаду. Подводчик был убит на месте, майор ранен в бок, а с ним вместе и двум казакам досталось по пуле, остальные же двое кинулись было наутек, но одного из них захватили, а последнему удалось-таки пробиться и ускакать по дороге в Пяски. Тогда повстанцы окружили путников, стащили их с коней, а майора сняли с подводы и всех повели в чащу. Здесь над ними делали разные надругательства

— Ксендз обещал помиловать, рассказывал казак! — "И раны вам, говорит, вылечим, и денег по пятнадцати рублев дадим, только, значит, переходите к нам в банду". А майор ему на это самое в рожу плюнуть изволили. "Ну, говорит, коли ты так, готовься. Пять минут вам всем на покаяние!" и приказал достать веревки. Майор одначе ж не смутились, и мы тоже не захотели у ксендза крыж его целовать… Это его пуще всего взбесило. "Вы, говорит, теперь казаки, а я из вас сделаю уланов", и приступил к майору, велел снять с него сюртук да рубашку и держать покрепче, а сам кинжалом распорол ему грудь вдоль и поперек и приказал разворотить. "Это тебе, говорит, лацканы будут, теперь ты по гвардии". Майор хоть бы охнул! Только и сказали ему на все на это «собаку». — "Видно, говорят, не знаешь ты, собака, русского солдата!" и снова плюнуть в него изволили. Тогда они стали вешать майора: подвесят, эдак, маленько и опять опустят, подвесят и опустят, чтобы, значит, мученьев больше предоставить ему, но одначе ж повесили-таки, наконец, и как только это вздернули, майор вдруг руку изволили поднять и словно бы кулаком на них на всех погрозиться, так что ажно все дрогнули от страху и стон пошел между ними[261]… А тут вдруг пригнал на клячонке жидок какой-то и кричит: "Ратуйтеся! Москале выступают!" И тут они все ужасти как испужались! Вешать нас уже некогда было, а приказали просто расстрелять, ну и впопыхах, уже садясь на коней, дали по

нас несколько выстрелов, товарищей насмерть убили, а меня Бог помиловал: только поранили, значит... Одначе ж я все-таки из опаски думал, что лучше мертвым прикинуться, и притворился эдак. А они, верно, подумали, что убит, и не трогали больше, и сейчас же все ускакали... И лошадей наших угнали, проклятые!.. Больно уж лошадей-то жаль, ваше скородие!..

Пока раненый вел с передышкой свой рассказ, подъехал эскадронный вахмистр и объяснил, что солдаты в придорожном рву отыскали еще одно тело: это был убитый подводчик. Ветохин приказал гусарам снять Лубянского и подобрать убитых. Весь эскадронный обоз состоял из двух обывательских подвод. На одну из них сложили мертвых, а другую уступили под раненого и с возможною скоростью двинулись далее. Движение в незнакомом и довольно густом лесу оказалось крайне затруднительно. Надо было осторожно и внимательно осматривать все ближайшие кусты и заросли, из которых каждая могла таить в себе засаду. Боковые патрули то и дело вязли в болотных трущобах, плутали в чащах и ежеминутно рисковали отбиться от эскадрона. Сообщение между ними кое-как поддерживалось только условными свистками, в которых они старались подражать голосам разной лесной птицы.

Ужасная смерть Лубянского, видимо, сделала сильное и глубокое впечатление на весь эскадрон. Гусары, слышавшие рассказ раненого казака, мрачно передавали его в рядах другим товарищам.

— Ваше высокоблагородие! — вполголоса обратился к Ветохину подъехавший вахмистр. — Люди очинно просят вас, не прикажите щадить... потому больно уж обидно!..

Ветохин понурился и не ответил ни слова. Он сделал вид, будто не расслышал слов своего старого вахмистра. Отказать — значило заставить роптать на себя справедливо озлобленных и оскорбленных людей, а разрешить... Ветохин понимал, к каким ужасным, беспощадно-кровавым результатам могло повести такое разрешение, а он знал, что в бандах попадаются не только насильно захваченные крестьяне, но даже и двенадцатилетние дети.

Но ни на ком из офицеров вся тяжесть недавнего впечатления не отразилась такой скорбной грустью, как на Хвалынцеве. Порой что-то похожее на рыдания давило ему грудь и сжимало горло. В душе его смутно проходила целая вереница воспоминаний: скромное зальце в славнобубенском домике майора, и сам майор в своем стеганом халатике за шахматной доской. Хорошенькая и капризная Нюта Лубянская... Устинов, Татьяца... И та звездная ночь вспоминается, когда они втроем возвращались со сходки у этой бедной Нюты... литературный вечер и несчастное приключение с «Орлом» гимназиста Шишкина... несостоявшаяся дуэль Устинова и снова Татьяна... А там блуждающая мысль невольно как-то набредает на закат солнца над Волгой, на последний прощальный разговор в садовой беседке с Татьяной и на те слова, которые тогда говорила ему эта девушка... И Бог весть, зачем и для чего вспоминается теперь Хвалынцеву вся грустная прелесть ее простоты, ее скромного, девственного, но глубокого чувства, ее честный взгляд, открытая, доверчивая улыбка и эта благоухающая свежесть ее молодости... Вспоминается и свое собственное чувство, которое зарождалось тогда в его душе и которое было так безжалостно заглушено в нем ради другой обаятельной женщины... Казалось бы, давно ли все это было, а между тем уже целая полоса жизни — и какой еще жизни! — прошла между этим недавним прошлым и настоящим... И все это было забыто, все так скоро изгладилось в душе, но вдруг — сегодняшняя встреча с майором, мимолетный разговор с ним за столом и эта нежданная, трагическая кончина снова поднимают в душе все прошлое, с такой поразительной яркостью, с такой болезненно-щемящей жаждой возврата всего, всего, что некогда было столь дорого и мило... "Что он хотел мне сказать о ней и не успел досказать?" мучил Хвалынцева безответный вопрос, который заставлял предполагать за собой многое...

Но вдруг размышления его были прерваны двумя гусарами, прибывшими из передового разъезда. Один из них тащил за повод какую-то клячу, на которой сидел, весь сгорбившись, помертвелый со страху еврей, а другой, ехавший сбоку, внушительно держал на изготовке пистолет, направленный в висок сына Израилева.

— Еврея переняли, ваше скородие! — доложил передовой майору.

— О?.. Что же он, знает что-нибудь? — отозвался Ветохин.

— Говорит «ниц», одначе ж, надо быть врет, ваше скородие, потому кабы ему не знать, то так бы прямо и ехать по дороге, а он это чуть завидел разъезд, сейчас стрекача в сторону — насилу догнали-с!

— Бетхер, допытайте-ка его там, в обозе, да осмотрите наперед, не найдется ли чего? — обратился майор с неприятным поручением к старшему поручику.

Конвоиры потащили арестанта на кляче вслед за Бетхером, в хвост эскадронной колонны.

— Готовь фухтеля, ребята! — послышался оттуда озлобленный голос поручика, у которого еще сердце не уходилось после недавней картины казненных и который поэтому рад был сорвать его на первых порах хоть на подозрительном еврее.

— Ой вай! гевалт! Ясневельможны пане! Васше високоблягхордне блягхородю! — завопил умоляющий пленник, при виде нескольких внезапно обнаженных сабель.

Между тем его обыскали и в сапоге под подошвой нашли «мандат» на должность сельского жандарма народового ржонда, надписанный на имя Сруля Шепшела. Ясная улика была налицо.

— То не мои чоботы, дали-бугх, не мои! — отнекивался еврейчик.

Но разговаривать было бесполезно.

— В фухтеля его!

— Уй, пачакайце! Вшистко доложу, вшистко! — упал он на колени и признался, что действительно состоит в должности сельского жандарма, на обязанность которого возложено шпионство за русскими властями и войсками, своевременное предуведомление о их мероприятиях и движениях, а также наблюдение за поведением жителей; признался также, что должность эту принял, во-первых, потому, что получает за нее десять рублей жалованья — "алежь кепсько плацон', лайдаки!",[262] а во-вторых еще — и это главное — потому, что такая почетная должность внушает обывателям "вельки страх" к его "властной персоне", а за этот страх он может взимать с них в свою пользу разные негласные поборы. Затем открыл он, что о назначении отрядов против Робака тотчас же дано было знать по секрету местному «начальнику» народных жандармов, "аж з Августова", и чуть ли еще не по телеграфу, и что о выступлении "гузарського шквадрону" известил его тоже сельский жандарм из соседнего местечка, который был предуведомлен таким же образом другим своим товарищем-соседом и в свою очередь успел предупредить его, еврея, прискакав во весь дух окольными путями, а он, Сруль Шепшел, уже известил "его превелебну мосць пана ксендза Робака, ктуры был тутай, алеж як задал драпака, так аж до тых час драпье!".[263]

— Куда он направился? По какой дороге? В какое место? — допытывал поручик Бетхер, меж тем как четыре гусара стояли над евреем, готовые принять его в фухтеля своими обнаженными

саблями.

Сруль Шепшел сначала было заминался и отнекивался: "кеды ж я вем", да "что я знаю", но потом объявил, что если "ясневельможны войсковы москале" дадут ему "пянт-дзесенць рубли", то он уж так и быть откроет им и всю банду и самого Робака выдаст головою. Пятидесяти рублей конечно ему не дали и даже не пообещали, а просто отправили связанного и под надежным конвоем в авангардный взвод, приказав указывать дорогу и вести прямо на банду, с тем, что если обманет или хоть чуточку покривит душой, то будет тотчас же изрублен на месте.

Бледный жидок, притороченный к седлу своей «шкапы», с закрученными на спину руками, весь дрожа и бормоча про себя какую-то молитву да потряхивая пейсами, потрусил рысцой вперед к авангарду, между двумя гусарами. С одной стороны лезвие сабли, а с другой — острие опущенной наперевес пики очень неприятно блестели у него пред глазами и безмолвно, но внушительно убеждали, что кривить душой теперь уже нет ему ни малейшей возможности.

Между тем наступил уже вечер. В лесу становилось сумрачно и сыро. Кони, сделав почти тридцативерстный переход, с одним незначительным привалом, начинали уже несколько уставать под своим тяжелым походным вьюком. Но останавливаться среди незнакомого леса было бы рискованно, и потому Ветохин решил продолжать путь, пока не выберется на открытую местность, тем более что Сруль Шепшел уверял и божился, будто скоро конец этому лесу. И точно, через полчаса показались между поредевшими стволами сосен бледные просветы угасшего заката.

Вскоре после этого эскадрон выбрался из опушки на открытую и широкую поляну, тонувшую в тусклом и слегка туманном сумраке вечера, сквозь который там и сям мигало несколько огоньков в каких-то двух-трех деревнюшках. Было тихо и на земле, и в воздухе, только собаки заливались где-то около жилья да болотные жабы далече в каком-то тенистом ставку, под корявыми вербами, поднимали вечерний концерт, монотонно выводя свои урчащие и своеобразно-мелодические стоны. Ветохин остановился и стянул к себе рассыпанные по лесу боковые разъезды.

Вдруг впереди послышался, все более и более приближавшийся, быстрый конский топот. Но в авангардном взводе тихо: ни выстрела, ни голосов не слышно.

— Что ж это значит? Неужели свои? — вполголоса обратился Хвалынцев к майору.

— Ах, дал бы Бог, на подмогу!.. это бы недурно! — проворчал тот в ответ, но на всякий случай перестроил эскадрон из справа по шести во взводную колонну, чтобы в момент выстроить фронт и встретить атакой, если, не ровён час, окажется вдруг неприятель.

Между тем многочисленный топот слышался все ближе и ближе, и вскоре на дороге сквозь густую пыль показалась какая-то темная масса. Очевидно, эта масса спокойно прошла мимо гусарского авангарда.

— Свои!.. Теперь нет сомнения, — заметил один из офицеров.

— Полусотня сто-ой! — послышался оттуда чей-то командный голос, и топот стих в ту же минуту, а навстречу к эскадрону отделился и поскакал один всадник.

— Есаул Малявкин, — отрекомендовался он, подъехав к майору и приложив к козырьку руку, на которой болталась опущенная нагайка.

— Откуда вы? — осведомился Ветохин.

— Из Пясков… Бегим на выручку… Пригнал этот казачок насчет несчастья с майором Лубянским… Ну, мы сейчас же по тревоге и выступили… Всю дорогу, почитай, на рысях гнали… Пехотные тоже поспешают за нами… Банду не встренули?

— К сожалению, нет еще! — вздохнул майор, пожав плечами.

— Досадно, черт! — крякнул сотник и, как бы для пущего выражения этого чувства, стегнул нагайкой по крупу своего вертлявого дончака-головодера. — А не знаете ль, майор, прибавил он, — какие насчет нас инструкции были у Лубянского?

— В подробности не сказывал, а бумаги его вместе с сюртуком забрал с собой Робак, — отозвался Ветохин.

— Что ж нам делать теперича?.. Как прикажете?

— Да что ж, конечно, присоединяться к эскадрону и действовать вместе, пока полковник Пчельников не пришлет из отряда особых приказаний.

— Слушаю-с!

И сотник опять закатил две добрые нагайки своему головодеру, который крутым поворотом взвился под ним на дыбы и как стрела помчался к полусотне.

Решено было сделать часа на четыре привал у ближайшей деревни, где подождать, пока подойдет пехотная рота, заготовить для нее сколь возможно более обывательских подвод, выкормить лошадей и дать закусить людям, которые с раннего обеда ничего не ели, да заодно уже похоронить и своих покойников.

Подошли к околице, и первым же делом, выставив вокруг казачьи «бекеты», послали кое-кого из донцов пошарить по хатам да по стодолам, не отыщется ли «языка» какого.

Офицеры меж тем улеглись себе в кучку, под забором крайней хаты, и принялись за сухомятную закуску, испивая из походной майорской фляги. Тут же рядом лошади мерно хрустели в тишине зубами, выедая подвешенные торбы[264]"Выедать торбу" — кавалерийское выражение, значит съесть отмеренную дачу овса, засыпаемого в холщовый мешочек, который подвешивается лошади к морде., а люди поочередно принимали из рук вахмистра общую чарку водки, добытой в жидовском шинке, без которого не обходится ни один польский и литовский поселок. Костров не разводили, чтобы не привлекать на себя без надобности внимания повстанских шпионов, которые, в разных видах и образах, беспрестанно шныряли тайком везде и повсюду. Эта предосторожность была необходима, потому что повстанские банды никогда не шли нашим отрядам навстречу, а всегда удирали заблаговременно, и потому, чтобы вернее настичь и захватить их, необходимо нужно было, по возможности, скрываться от предупредительного внимания польских шпионов.

— Ваше скородие! языка в стодоле поймали! Только молчит, не сказывается, шельма! — доложил вдруг бойкий казачий урядник, за которым несколько товарищей вели скрученного повстанца, в чамарке, в штыфлях и в рогатывке. По всем наружным признакам, это был один из представителей "дробной шляхты" польской, а его костюм указывал на несомненное знакомство с лесом. Ветохин приказал препроводить его для расспросов в казачью полусотню, где нагайки очень скоро развязали упорный язык шляхтича. Оказалось, что это был один из членов шайки Робака, оставленный здесь для наблюдений за отрядами, по случаю отсутствия

местного жандарма. От него же было узнано, что Робак, бывший здесь часа три назад, ударился наутек к Неману, по направлению к замку графов Маржецких. Это показание совершенно согласовалось со сведениями, добытыми на пути от Сруля Шепшела. Медлить было нечего.

— Константин Семеныч! — озабоченно обратился майор к Хвалынцеву. — Через час, а не то и скорее, как только лошади выедят торбы и кончат водопой, берите ваш взвод да двадцать казаков на придачу, ну и этого «языка», пожалуй тоже, и живо, голубчик, как можно живее валяйте в погоню!.. Захватите ксендза, если успеете, на переправе, или помешайте ей, или задержите, пока мы подоспеем с пехотой… Можете развлечь или заманить его на себя — одним словом, что удастся, лишь бы только след его не потерять из виду!

Хвалынцев был утомлен не менее других, но это отдельное, самостоятельное поручение льстило его молодому самолюбию — чувство, которое достаточно возбудило в нем и сил, и бодрости, и энергии. Он с благодарностью пожал руку майора и пошел распорядиться да поторопить людей своего взвода.

Между тем в поле, немного в стороне от эскадрона, несколько гусар и казаков рыли железными заступами широкую могилу, и тут же двое солдатиков наскоро мастерили православный крест, материалом для которого послужили запасные подковные гвозди да две жердины, вытащенные из садовой изгороди. Вскоре эта печальная работа была готова. Весь эскадрон и полусотня в благоговейном молчании, с обнаженными головами, обступили могилу. Принесли на шинелях четыре трупа и бережно опустили в неглубокую яму.

На деревне какой-то казак отыскал у одной хозяйки восковую свечу "громни*ц*у", которую крестьяне в Западном крае теплят пред иконами во время грозы и зажигают над покойниками. Теперь ее тоже затеплили и воткнули в выкопанную рыхлую землю на краю могилы, в головах четырех русских мучеников. Старый, сивоусый вахмистр как-то строго и угрюмо прочитал вполголоса "Отче наш" да «Богородицу» и перекрестил усопших и их общую братскую могилу. Майор со всеми офицерами первые бросили на них по горсти земли, а за офицерами стали, крестясь, подходить и бросать пригоршни казаки вперемежку с гусарами. Хвалынцев, которому еще впервые доводилось видеть подобный обряд военного христианского погребения, трепетно ощущал в душе, что эта святая минута, во всей своей трогательной простоте, под звездным небом тихой, темно-синей ночи, полна глубокого и таинственно-тихого величия. Чувствуя, что слезы вновь закипают в груди, но весь отрешась на время от самого себя, весь отдавшись строгому впечатлению этого разлитого вокруг величия, он безмолвно и вдумчиво глядел на мертвое лицо Лубянского, по которому смутно и неровно колебался порою скользящий отсвет восковой свечи.

— Пора… собирайтесь, голубчик! — вывел его из этого полузабытья голос Ветохина.

Константин еще раз перекрестился и отдал земной поклон усопшим.

Через двадцать минут его команда, с притороченным в седло и связанным по рукам проводником-повстанцем, уже неслась по проселку крупной рысью, исчезая из глаз отдыхавшего отряда в тусклом сумраке теплой, благодатной ночи.

XIV. Погоня

Было уже позднее утро, когда Хвалынцев, проплутав по милости проводника всю ночь Бог весть по каким весям и дебрям, выбрался наконец на настоящую дорогу и подошел к замку Маржецких. Повстанец, очевидно, с умыслом повел сначала команду совершенно в противную

сторону, и когда часа в четыре утра, при въезде в одну принеманскую деревню, Хвалынцев справился у крестьян о направлении своего пути, то оказалось, что он очутился от замка Маржецких по крайней мере верст на двадцать в сторону. Проводник, снятый с лошади, пал на колени и слезно стал клясться и уверять, что он невинен, что впотьмах да в страхе за свою судьбу, и притом связанный по рукам, он сам невольно сбился с дороги. Эти слезы и выражение испуга показались Хвалынцеву настолько искренни, что он не дал позволения расстрелять или повесить шляхтича, о чем просили его взводный вахмистр и казачий урядник.

— Пригодится еще, — кратко ответил им Константин и велел построже караулить его.

Люди и лошади после такого форсированного марша пришли в крайнее утомление. О дальнейшем пути, не дав наперед отдыха часа на четыре, по крайней мере, нечего было и думать. Выставив необходимые пикеты и приказав сменять их через каждый час, Хвалынцев позволил размундштучить коней и освободить им подпруги. Люди, свободные от караула, задали торбы и сразу же, как убитые, заснули подле своих лошадей, не выпуская из рук оружия.

Без четверти в восемь часов утра, проснувшийся Хвалынцев поднял свою команду и на рысях пошел далее, но уже по верной дороге. Связанный шляхтич, по-видимому, служил добросовестно. — "Но черт ли теперь в его услуге!" досадливо думалось Константину. "Робак наверное ушел уже за Неман или вильнул куда-нибудь в сторону"... Досаднее всего было то, что первое самостоятельное поручение кончается так неудачно.

Около десяти часов подошли к замку Маржецких. Вызвали старика «каштеляна», который с низкими поклонами объявил, что ни о каких повстанцах у них и не слыхать, что сама ясневельможна пани грабина рано утром сегодня уехала "до Августова", и что, если угодно, отряд может осмотреть весь замок, обыскать все службы, всю «экономию», и в заключение весьма радушно предложил людям водки, шинки[265] и хлеба, а коням оброку[266] и сена. Люди были голодны, да и запас фуража истощился, и потому Хвалынцев не отказался ни от того, ни от другого. Пока вахмистр с несколькими гусарами, на всякий случай, для большего удостоверения, наскоро делали осмотр замка и служб, все припасы были уже розданы по рукам. Благодаря распорядительному каштеляну и расторопным челядинцам, все это было исполнено менее чем в десять минут.

Хвалынцев предложил плату — каштелян наотрез отказался и пояснил, что ясневельможна пани грабина раз навсегда приказала давать русскому войску безвозмездно все, что бы ни потребовалось.

— Ну, а повстанцам вы тоже даете? — усмехнулся Хвалынцев.

— Э, те и сами возьмут, когда нагрянут! — уклончиво ответил старый каштелян и с низкими поклонами проводил со двора команду.

Подкрепясь перед этим сном, а теперь пищей, люди Хвалынцева стали гораздо веселей и бодрей. Запалили носогрейки, повели между собой разговоры, послышались шутки; один взводный балагур очень живо и смешно изображал каким образом ксендзы заманивают панков до лясу — и Бог его знает, откуда и как он все это так характерно и типично подметил. Товарищи-солдаты и сам Хвалынцев невольно смеялись, слушая ловкого рассказчика, и подходили уже близко к парому, когда к Константину подъехал казачий урядник.

— Ваше благородие, сакма есть! — радостно заявил он, указывая нагайкой на траву близ дороги.

— Что такое сакма? — переспросил непонявший его Хвалынцев.

— А это, ваше благородие, по-нашему, по-казачьему, значит людской да конский след, сакма-то… И видно, что свежая, недавняя — извольте хоть сами взглянуть.

Константин съехал вместе с урядником с проселка и действительно убедился в свежести следа.

— Да это, быть может, наши раньше нас поспели, — заметил он сомневающимся тоном.

— Никак нет, ваше благородие, это повстанец… это аны так ездють…

— Почему же ты так думаешь?

— Да уж мы знаем!.. Это видко сразу, который *ень,* а которы наши… Мы уж доподлинно знаем и пехотную подошву, и казачью подкову… Вот, взгляньте на глинку, на следок: тут гвоздь другой, не русский гвоздь, подбойка, значит, не та, да и шип не казачий… Нет, ваше благородие, уж это *ень* прошел беспременно! будьте благонадежны! — заключил урядник с полной и окончательной уверенностью.

Подошли к переправе. Паром оказался на том берегу, да и лодки там же вытащены на песок. Толкнулись в сторожку, где жили паромщики, — ни души. Подали клич на ту сторону — никто не откликается: очевидно, и там никого нет, все разбежались. А следы меж тем сближаются как раз к месту причала, и притом совсем свежие, ясно и резко отпечатленные на сыроватой глинистой почве; видно, что переправа вот-вот только что окончена, быть может, не прошло еще и часу!

Чувство досады при виде полной неудачи своего поручения охватило Хвалынцева таким живым ощущением, что ему даже обидно сделалось — обидно на себя, на проводника, на случай, на судьбу, на весь свет, одним словом, он представлял себе как подъедет Ветохин, увидит всю суть и укоризненно скажет ему с досадливой горечью: "Эх, батюшка!"… Больше ничего не нужно, никакого другого слова, но это «батюшка» просто ужасно для самолюбия!.. Подавляемый тяжестью этого чувства, он решил себе, что надо по крайней мере исполнить хотя последнюю часть поручения — приготовить средства для переправы отряда. Как это сделать?

— Что, ребята, не возьмется ли кто переплыть на ту сторону? — обратился он к людям.

Те смерили на глаз расстояние и силу течения, которое около того берега было весьма-таки быстро.

— Мудрено, ваше благородие, — вполголоса заметил урядник, — кабы лодочку какую.

— Да где ж ее взять у черта! — досадливо выбранился Хвалынцев и кинул вокруг себя ищущий взгляд, не найдется ли около чего подходящего? Этот взгляд мимолетно скользнул по бревенчатому срубу сторожки.

"А ведь из бревен-то можно бы плот связать?" домекнулся он про себя и энергически обратился к солдатам;

— Разноси, ребята, сторожку!.. Живо… По бревнам! Шанцевый инструмент есть с собой?

— Два топора у наших прихвачено, — доложил урядник.

— Руби, живее связи… Давай плот мастерить!

— Да без лома вряд ли что поделаешь… Чем их выворачивать станем?

— Ничего, заместо лома колья пойдут — лесу вокруг довольно. А вязать будем чумбурами.

— И то, — согласился урядник, и работа закипела.

В это время к Константину подошел пленный повстанец и слезно стал просить, нельзя ли развязать ему руки, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить его страдания. Взглянув на затекшие, посинелые пальцы пленника и сознавая, что дальнейшая жестокость ни к чему не поведет, Хвалынцев приказал развязать его. Освобожденный повстанец кинулся сначала целовать полу его пальто, а потом очень усердно принялся помогать гусарам и казакам в их работе. Он сбросил с себя чамарку и остался в одной сорочке. Солдаты, видя такое усердие, не препятствовали ему подсоблять сколько душе угодно, и даже весьма благодушно стали подтрунивать. "Порадей, порадей-ка, братец, на мир, поработай на москалей!.. На мать-Рассей работать, значит!" Чрез несколько времени пленный, обтирая с лица обильный пот, подошел к Хвалынцеву и попросил позволения отойти несколько сажен к реке, чтобы утолить свою жажду. Константин, руководя работой и будучи весь поглощен этим занятием, не обратил на него особого внимания и потому мимоходом, рассеянно дал свое позволение. Людям тоже было не до повстанца. Вдруг, минут пять спустя, кто-то из солдатиков, указывая на Неман, возвестил товарищам:

— Гляди, гляди, ребята!.. Полячек-то наш!.. Утекает, шельма.

Все повернули головы по направлению его руки и увидели плывущего пленника, который усиленно греб руками и достигал уже середины реки.

— Убегить, проклятый!.. Стрелять бы надо, — замечали казаки. — Чернолобов, у тебя глаз меткий; бери-ка винтовку, догони его. Позвольте, ваше благородие?

— Погож, ребята, — рассудительно заметил урядник; — винтовки наши и на том берегу его дохватят, а наперед лучше давай поглядим: коли доплывет, значит и нам можно. Тогда и лодки, и паром живо сюда переправим. Это он нам, спасибо, пробу делает.

И урядник, вместе с Чернолобовым, взведя курки, взяли на изготовку свои винтовки и внимательно стали следить за плывущим повстанцем. Белая его сорочка, при каждом взмахе рук, ярко сверкала на солнце в серебристых брызгах, то показываясь над водою, то исчезая в ней.

— Доплывет, — замечали иные, наблюдая усилия беглеца.

— Ой, где уж!.. Гляди-ка, слабнуть стал, — отзывались некоторые.

— Ей-ей доплывает, шельмец!.. Чернолобов, ты, брат, гляди: как только на берег станет выходить, тут ты его и спущай обратно в воду.

— Ладно, не промахнусь, — со спокойной и уверенной насмешкой кивнул Чернолобов, не сводя с пловца внимательного взора.

Тот меж тем выплыл уже в полосу самого быстрого течения, которое заметно выделялось в массе спокойной воды резвой игрой солнечных блесток и особою рябью. Силы видимо изменяли ему, взмах руки становился все реже, тяжелее. Он напрягал последние усилия, но течение относило его от берега. Вот окунуло его… вот опять вынырнул… кружит… закрутило… Еще одно ужасное, невероятное усилие… Плывет, плывет… Нет, опять-таки окунуло…

Вынырнет или нет?.. Если вынырнет, то пожалуй и доберется… Вынырнул.

— Гляди, Чернолобов, не зевай!

— Не галди под руку, знамо!

— Цельсь!

Но нет, несчастный мелькнул над поверхностью на одно лишь мгновенье и снова канул в воду… Прошла минута, две — все спокойно, тихо, и масса воды так плавно несется мимо и мимо, и золотые блестки над быстриной прыгают в глазах и змеистыми струйками обгоняют друг друга. — Тут ему и аминь! — опуская винтовку, нарушил, наконец, общее глубокое молчание казак Чернолобов, и работа закипела снова.

— Ваше благородие! — подошел к Хвалынцеву урядник. — Пущай, значит, плот будет плотом и аны за им работают, а ми тем часом авось-либо лодки сюда переправим.

— Да какими же судьбами? — недоумело спросил Хвалынцев.

— А очинно просто-с!.. Порохонщиков! Гуськов! тащи сюда эти два бревна да давай чумбуры! — приказал он двум ловким казакам.

Живо оба бревна плотно связаны чумбурами и спущены на воду. Еще живее разделись донага двое казаков и, взяв каждый по длинному шесту, смастеренному тут же из срубленных елок, сели верхом на пару связанных бревен и поплыли через реку, то опираясь шестами в дно, то работая ими как веслами, Течение относило пловцов в сторону, и на самой быстрине, где их стало крутить, была однако минута весьма критическая, но казацкое счастье, как видно, пришло на помощь русскому *авось,* — и хоть трудно было, очень трудно, но смельчаки благополучно выбрались на противный берег. Тут они сдвинули в воду обе лодки, привязав одну к другой все тем же чумбуром, захватили весла и вернулись к товарищам. Теперь уже не трудно было переправить потребное количество людей, дружные усилия которых помогли вскоре одолеть паром, спустить его на воду и, с помощью шестов, пригнать на свой берег. Все это было делом менее получаса. Команда переправилась вся сполна за один раз. Половина лошадей уместилась на пароме, а остальных пустили за ним да за лодками вплавь на поводах, — и все обошлось как нельзя лучше. Хвалынцев вернул на ту сторону и паром, и лодки с шестью казаками, которым были сданы на руки все чумбуры, топоры и приказано как можно скорее вязать плот, чтобы доставить отряду Ветохина лишнее средство для скорейшей переправы. Этим же казакам он вручил и записку к майору, наскоро написанную карандашом на клочке бумаги. В ней он кратко извещал его о всех главнейшие своих приключениях, мероприятиях и о намерении идти на поиск Робака в Гродненскую пущу, где свежая «сакма» будет служить ему верным указанием для открытия банды.

Но не успели еще люди заседлать лошадей, как у переправ вы показались казаки, гусары, а затем и пехотинцы на подводах. Хвалынцев ясно разглядел между всеми типичную фигуру Ветохина на его статном горячем жеребце, и видел, как один из оставленных казаков подал ему записку. Отделясь на своем коне несколько в сторону от команды, Константин подъехал к самой воде и старался напряженно, хотя и тщетно следить, какое впечатление делает на майора его донесение.

Тот прочел и бросил взгляд на противный берег.

— С Богом! Сейчас буду вслед за вами! — послышался с той стороны его голос.

Хвалынцева до этой самой минуты грызло беспокойное сомнение — не испортил ли он все дело тем, что не успел выполнить в точности данного ему поручения? Как молодой и неопытный офицер, которому впервые довелось действовать самостоятельно, он, естественно, хотел отличиться и в то же время был недоверчив к самому себе и полон сомнения: так ли он действует как следует? Это был щекотливый вопрос самолюбия, вопрос более важный для него самого, для его собственного сознания, чем для других: ему важно было получить уверенность в самом себе, в правильности своих распоряжений, и потому-то это с *Богом!* долетевшее с того берега, сразу ободрило, успокоило и даже развеселило его. "Слава Тебе, Господи! Значит, я пока ничего еще не испортил", подумалось ему при этом, и он бойко, весело и уверенно скомандовал движение вперед своим людям.

XV. Бой

Старые высокие сосны и между ними густой, хорошо выросший ельник, перемешанный с ольхой и осиной, приняли в свою прохладную сень маленький отрядец Хвалынцева. Зоркие и сметливые казаки вели путь по «сакме», которая все далее и далее углублялась в пущу. Сначала почва была суха и песчана, а потом вперемежку пошли болота. Старые пни, поросшие мохом, вывороченные корчи и между ними большие болотные ямы, наполненные разными гадами, представляли на каждом шагу преграду для движения. Местами лес до того становился густ и болотист, что казалось бы, только с опытными проводниками можно было проникать в его глубину, а между тем казаки, никогда не бывавшие в этой пуще, ничтоже сумняся, пролагали себе дорогу по одной лишь «сакме», то есть, говоря вернее, просто по какому-то чутью, по врожденному нюху и сметке. Эта обширная пуща далеко не во всех концах и урочищах своих известна жителям редких лесных деревень и поселков; хорошо знают ее только «кутники», одиноко живущие в лесу, да и тех-то сведения иногда простираются не далее нескольких верст в окружности своего жилища. Но вот болота перемежаются иногда с «грудом», где почва становится суха и возвышенна; здесь множество грибов и ягод, земляника рдеет по склонам небольших пригорков, кучи бурелому валяются повсюду и мирно истлевают себе, долгие годы не тронутые ничьею рукою. Высокие кусты орешника разрослись местами так густо и часто, что с трудом пробираешься сквозь эту массу зелени: в двух шагах ничего не видно. Глубокомирным, вековечным и глухим покоем веет под сенью пущи, так что Хвалынцеву, который невольно отдался впечатлению этого леса, вдруг показалась дикою самая мысль о вражде, войне и крови среди этой поэтической тишины и покоя. Тут скорее всего проникали в душу исторические воспоминания седой, баснословной древности. Так и казалось все, будто на этих пустынных "урочиськах"[267] встают образы Кейстута, Скиргайло, Ольгерда, Гедымина, Миндовга… Празднества в заповедных лесах в честь Перкуна, жрец и поэт Лиздейко, священный неугасимый знич и его весталки-вайделотки.

Вдруг раздавшийся выстрел и резкий свист пули мимо самого уха разом вернул Хвалынцева из области мечтаний к суровой действительности. Звук был настолько резок и неожидан, что Константин, никогда еще не слыхавший свиста пули, не вдруг и сообразил, что оно такое.

— Что это?.. Неужели выстрел? — спросил он ехавшего рядом вахмистра с недоумением оглядываясь по сторонам.

— Так точно-с, — тихо отвечал тот со спокойной и легкой усмешкой, которая вероятно относилась отчасти к неопытности молодого корнета.

Хвалынцев заметил и понял эту усмешку, невольно покраснев за свой недоумелый вопрос. Но он тотчас же овладел собой и захотел показаться молодцом пред людьми. Остановя свой взвод и приказав казакам спешиться, отдать повода гусарам, а самим рассыпаться в цепь, он, пока те еще справлялись с конями, лихо выскочил вперед, чтоб осмотреть расположение врага и

местность.

— Не суйтесь, ваше благородие, без нужды вперед: подстрельнут ни за копейку, — добродушно предостерег его казачий урядник.

— Да где же неприятель, однако? — сделав вид будто не. слыхал предостережения, спросил Константин, ища глазами противников и, к удивлению своему, никого и ничего не видя.

— А вон аны… вон-вон за бугорками, да под корчами позалегши… Извольте видеть? — объяснял урядник, указывая рукой на местность впереди, шагах в семнадцати расстояния.

Еще одна пуля свистнула мимо.

— Эх, ваше благородие!.. право же говорю, не торчите больно на виду у ево… Ведь ёнь по вам, сударь, метит…

В эту минуту новая пуля щелкнулась рядом в ствол ольхи, задев наперед несколько сучьев — и две-три зеленые веточки, срезанные ею, тихо упали на землю.

— Огонь! — громко подал команду Хвалынцев, и казаки открыли перестрелку.

— Эх, хорошо бы атаковать их сразу же! — словно бы ни к кому не обращаясь, но искоса пытливо взглянув на урядника, — заметил Хвалынцев.

Казак только улыбнулся на это. — «Молодо-зелено», как будто сказала его улыбка.

— Кабы сушь да полянка, так оно бы ништо себе, — проговорил он в ответ, — а то вон впереди опять болото, да пень, да колода… ёнь тоже хитер — ишь, за болото залег себе и стрелить… Конному, значит, по экому месту никак не способно.

Хвалынцев и сам понимал, что "не способно", а все-таки молодая кровь играла, и возбудившиеся нервы стали сказываться ему каким-то новым, никогда еще не испытанным ощущением, в котором было и нечто лихорадочное, и нечто щекотное, нетерпеливое и слегка ноющее, словно бы зуд какой-то в груди и в самом сердце.

— А мы вот что, ваше благородие, — продолжал урядник, — пока ёнь лежит себе, да пукаит, будем и мы пукать полегоньку; назад побегит, за им пойдем, а напирать станет, поглядим сколько у ево силы есть: коли очинно уж большая сила, ну, назад чуточку подадимся, а малая сила, пущай его подходит: в рукопашную примем.

При местных условиях, с горстью людей, да еще обремененных конями, действительно, ничего другого пока и не оставалось. Важно было только не упустить банду, задержать ее на месте до прихода пехоты, а уж там все дело будет решено и покончено минут в двадцать, не более! Хвалынцев, на усиление казаков, спешил и послал в цепь четырех гусарских «наездников», вооруженных в то время короткими штуцерами, и отправил по одному ряду направо и налево наблюдать за своими флангами, а двух нарочных услал назад, приказав им скакать как можно скорее и дать знать майору, что банда открыта.

Ветохин, зная, что всадникам Хвалынцева, в случае встречи, будет крайне трудно и даже почти невозможно действовать среди густого леса, поспешил первым же делом переправить на паром пехотную роту, которая тотчас раскинула охранительную цепь и пошла по следу Хвалынцева. Нарочные не успели отъехать и полуторы версты, как наткнулись на пехотинцев. Еще ранее этой встречи, заслышав выстрелы, они бегом, поодиночке, кинулись узкой тропинкой на звук

— выручать своих конников. Чрез четверть часа стрелки сменили в цепи казаков и открыли редкий, но меткий огонь по неприятелю. Чуть неловко выставится из-за пня какая-нибудь голова или фигура, в то ж мгновенье нарезная пуля скашивает ее с места, и подстреленный повстанец вздрогнет, завертится и падает ничком на землю. Не прошло и десяти минут, как ротный командир уже велел горнисту трубить наступление — и пара барабанов грянула бой к атаке. Стрелки, перескакивая с кочки на кочку, с пня на пенек, чрез валежник и колоды, бегом приближались к неприятелю. Повстанцы едва лишь заметили это движение, как уже начали отступать, но отступали сдержанно, неторопливо и даже соблюдая некоторый порядок. Нашим порой было видно меж деревьями, как они уводят своих коней и, судя по этому признаку, почти уже не оставалось сомнения, что отряд имеет дело именно с конной бандой Робака, из которой две трети людей были теперь спешены. По этой относительной стойкости можно было предполагать, что суровый ксендз-партизан держит своих людей в крепких руках, применяя вероятно и к ним ту же самую беспощадно-жестокую дисциплину, благодаря которой наводил он повсюду ужас на хлопов. Чуть только представлялась мало-мальски удобная позиция, спешенные повстанцы сейчас же занимали ее и старались хоть на две, на три минуты задержать наступление русских. Хвалынцев с гусарами и казаками следовал в некотором; расстоянии за резервным пехотным взводом.

Вскоре прибыл Ветохин с остальной кавалерией и принял начальство над отрядом. Ознакомясь с положением боя, он, по примеру Робака, пока кавалерии нечего было делать, спешил две трети казаков и послал их усилить стрелковую цепь, где таким образом прибавилось около тридцати лишних винтовок. Это обстоятельство значительно поколебало первоначальную стойкость повстанцев: они теперь уже не думали о занятии позиций и задержке нашего напора, а заботились только о том, как бы поскорее уйти из-под выстрелов. Огонь их цепи сделался значительно слабее и с каждой минутой угасал все более и более…

Но вот пред русским отрядом неожиданно открылась обширная лесная поляна — совершенно ровное и сухое место пространством около трех верст по окружности, занятое большей частию под пашню, на которой зеленели яровые всходы.

Ветохин, сопровождаемый трубачом да двумя ординарцами — гусарским и казачьим юнкерами, выехал в цепь, чтобы осмотреть вновь открывшуюся местность, на которой должны были в точности обнаружиться силы противника, и вдруг увидел на противоположной стороне поляны, под самой опушкой, какие-то колонны, по-видимому, совершенно готовые к бою. Колонны эти не двигаются и как будто ждут атаки, в центре у них сверкают косы, а за ними, по бокам, веют флюгера кавалерии.

— Что за притча такая? Откуда Бог счастье еще посылает? — проворчал себе под нос старый служака и велел стрелковой цепи занять опушку по сю сторону поляны, а казакам садиться на конь.

Банда Робака, меж тем выйдя на простор, подала несколько назад свое правое плечо, вероятно, в том расчете, что при фронтальном преследовании, русские, увлеченные пылом боя, быть может, не заметят новых сил по ту сторону поляны и таким образом подставят свой левый фланг атаке совершенно свежего неприятеля. Но Робак ошибся. Едва лишь успел Ветохин осмотреть местность и отдать свои первые распоряжения, как полусотня донцов была уже готова и, по знаку сотника Малявкина, с неистовым, пронзительным гиком бросилась лавой на расстроенную цепь Робака. В минуту вся эта цепь была опрокинута, смята и перекрошена на месте, а большая часть коней и обоз, не успевший уйти, достался тут же боевым призом казакам за их лихую атаку. Из-за облака пыли, поднявшегося над местом свалки, видно было, и как уцелевшие люди и несколько всадников удирают через поле под прикрытие банды, стоявшей под лесом.

В ту минуту, когда у казаков шла еще самая горячая свалка, из-под лесу выдвинулась на рысях часть повстанской кавалерии и явно выказала намерение идти на выручку атакованным. Первый полуэскадрон гусар пошел ей навстречу. Но еще издали заметив его приближение, поляки вдруг остановились и повернули назад. Гусары, выждав некоторое время, тоже вернулись шагом на свое место. Между тем польские стрелки, рассыпанные по противоположной опушке, открыли огонь. Первые выстрелы их были сделаны по возвращающимся гусарам, но выстрелы вполне безвредные, так как большая часть пуль, посылаемых разными «дубельтовками», "карабинками", «мушкетами» и тому подобным огнестрельным хламом, даже не долетала до цели. Редко разве которая пуля, пущенная из бельгийского штуцера или австрийской винтовки, невдалеке простонет мимо ушей своим заунывным звуком и шлепнется в сухую землю, подняв маленький дымок пыли. Русские стрелки стали отвечать на огонь повстанцев.

Хвалынцев, стоя пока в бездействии пред своим взводом, вынул из футляра висевший у него на наплечном ремне военный бинокль и принялся наблюдать и разглядывать неприятеля. Вскоре он заметил, что несколько в стороне от фронта, в сопровождении трех-четырех человек, из которых один одет был английским грумом, разъезжает на чистокровном светло-сером коне какая-то эффектная амазонка. На ней можно было разглядеть белую конфедератку с пунцовым плюмажем, фиолетовый кунтуш и шлейф бледно-палевого платья. Над повстанской кавалерией, остававшейся пока без движения, колебались черные с белым значки на сверкающих пиках, а посредине фронта и несколько впереди его развевалось красивое знамя: одна сторона пунцовая, другая белая, на пунцовой — белый орел и серебряная надпись, а на белой виден образ какой-то; золотая бахрома блистала вокруг полотнища. Что-то знакомое сказалось Хвалынцеву в этом красивом знамени, и сказалось скорее чутьем каким-то, чем по точному определению. Он стал вглядываться пристальнее. "Неужели… Боже мой, неужели это знамя Цезарины?!. Кажется, оно… Оно самое!" не без внутреннего волнения подумалось Константину, и он снова перевел бинокль вправо, на эффектную амазонку. Теперь ее можно было наблюдать еще ближе и лучше. Держась вне поражаемого пространства, около левого крыла «тиральеров», она спокойно выдвинулась вперед и стала на среднем расстоянии между крайними звеньями цепи польского левого и русского правого флангов. С этого пункта ей можно было свободно охватывать взором общую картину начинавшегося боя. Поминутные вспышки белых дымков на двух противоположных опушках ясно указывали направление боевых линий обоих противников. С левой стороны, ближе к амазонке, стоял гусарский эскадрон, готовый к бою; с правой, в центре, сверкала колонна косиньеров, красовались "красные черти" и траурно чернелись «несмертельные» со своим роскошным знаменем.

Хвалынцев продолжал еще разглядывать, когда амазонка случайно повернула лицо на русских гусар и некоторое время осталась в этом положении. "*Она!*" подсказал Константину инстинкт его собственного сердца. — "Она!" подтвердил он самому себе с непоколебимой уверенностью, и какой-то злобный, но вместе с тем и радостный трепет мгновенно пробежал по его телу. В это время от амазонки отделились двое красно-штанных всадников: один представительного вида, пожилой и тучный, а другой миловидный и розовый юноша, совсем почтк мальчик. Эти всадники, обогнув свою цепь, во всю прыть помчались за ее фронтом к своей кавалерии. При смелой наезднице остались только грум да еще одна странная фигура, которой, казалось бы, вовсе не свойственно быть на коне, принимая во внимание ее ксендзовскую сутану.

Вскоре в рядах повстанской кавалерии обнаружилось какое-то движение: два-три всадника, махая саблями, заегозили и заметались пред фронтом, послышались звуки сигнальных труб, затем крики команды.

Константин, видя, что что-то такое начинается, поспешил спрятать в футляр свой бинокль, и когда после этого снова поднял глаза, то увидел, что вся польская кавалерия гурьбой несется

уже через поле, с криком «ура», держа направление на гусар.

Ветохин, следя за общим ходом дела, случайно находился в это самое время не при эскадроне, а шагах в пятистах на левом фланге, который только что был усилен частью людей из резервного взвода.

— Что это? Никак они в атаку? — обернулся он на своих ординарцев, заметив несущуюся кавалерию. — Эка, дурачье какое! С такого-то расстояния да вдруг прямо карьером!.. Хороши, нечего сказать!.. Прелестны!.. трубач! "Атаку"!

И вот зарокотали по полю знакомые кавалеристам звуки «похода», полные в строгой своей простоте какого-то грозного величия. Этот сигнал — верх кавалерийской поэзии! Его знают не только люди, — его и кони понимают. Все встрепенулось в эскадроне при этих обаятельных звуках.

— Слава тебе, Господи!.. Наконец-то! — шепотом пронеслося по фронту. Офицеры, стоявшие на своих местах, словно бы делая нравственную проверку себе и товарищам, как-то пытливо и серьезно переглянулись между собой.

Меж тем Ветохин, не выжидая пока окончит трубач, звуки которого должны были только заблаговременно предупредить эскадрон — дал шпоры коню и поскакал к гусарам.

— Пики к ата-а-ке! — еще издали раздалась его звучная команда. — И в то же мгновение послышался металлически-шипящий свист вынимаемых сабель, а пики разом поднялись и разом наклонились вперед, описав дугу, сверкнувшую в воздухе.

Повстанская кавалерия меж тем еще азартнее галдит, несется, машет саблями, руками, локтями; красивое знамя так и вьется пред ее толпой.

Ветохин, словно бы на простом обыденном ученьи, отъехал перед фронтом несколько в сторону, окинул людей спокойным уверенным взглядом и, будто желая пропустить эскадрон мимо себя церемониальным маршем, не суетясь, негромким, мерным голосом подает команду.

— Эскадрон! Равнение направо! *Шагом* — ма-арш!

И по знаку его сабли фронт тихо и плавно двинулся с места, хотя люди и не без труда справлялись с ретивыми конями. Еще едва заслышав звуки знакомого сигнала, лошади по привычке стали уже подбираться, горячиться, беспокоиться: копыто нетерпеливо бьет и роет землю, зуб грызет удила, с которых брызжет белая пена, яркие ноздри раздуваются, строго озирающийся глаз исполнен огня, легкая нервная дрожь ощущается в персях и весь конь неудержимо рвется вперед, чуя атаку.

— Без суеты, без суеты, господа офицеры! Пока нет карьера, покорнейше прошу равняться! — энергически и начальнически строго звучит голос майора. — Эй; ты там! в первом взводе… третий человек второго отделения… Кто там это? Бондаренко? Не суети, братец, без толку коня! Повод на себя!.. Спокойнее… Хорошо, ребята!

— Р-р-р-рады стараться, ваше вскородие! — дружно и весело загремело по фронту.

А повстанцы несутся, несутся с блеском, с шумом, с криком и гамом, и успели уже порядочно разбросаться в стороны. Расстояние до противника было слишком велико, чтобы можно было атаковать с места карьером; поэтому их лошади, проскакав едва лишь половину данного расстояния, стали уже выказывать признаки утомления, закидываться в сторону, переходить в

галоп, а потом и в рысь мало-помалу. Таким образом стройность атакующей массы была нарушена еще задолго до столкновения с противником; это неслись уже не эскадроны, а просто пестрая толпа, ватага, орда какая-то. И когда эта орда с удивлением увидела, что противник встречает ее атаку не более как шагом, с такой выдержкой, с таким твердым спокойствием, одною стройною и плотною массою, всемерно сдерживая до времени пыл горячих коней, нравственный дух и решимость орды заметно поколебались. Напрасно пан Копец воинственно махал саблей, напрасно заскакивал и туда и сюда, оборачивался на свои «шквадроны», ругался и подбодрял их патриотическими возгласами, — его всадники задерживали повод и уменьшали рысь на каждом шаге.

Между противниками оставалось уже не более полутораста шагов расстояния, как вдруг…

— Марш-маррш!!! — скомандовал Ветохин — и эскадрон, как стрела, пущенная из лука, всей стройной массой в одно мгновенье, молча, ринулся на повстанских всадников, так что только земля дрогнула и загудела под копытами да ветер засвистал в ушах, шумя флюгерами грозносклоненных пик. Повстанцы не выдержали и дружно дали тыл еще до удара. Гусары налетели на бегущих, послышался гул и шум размашистой сшибки, треск ломаемых пик и лязг скрестившихся сабель, глухой звук наносимых ударов, стон, проклятия и крики о пощаде. Одни из повстанцев разметались по полю, а другие, ошалев от страху, неслись так-таки прямо на свою пехоту. Там поднялось смятение ужасное, кутерьма, суматоха, паника.

— Панове косиньержи напршуд, бо тыральеры не пршимаен'![268] — слышатся голоса каких-то начальников.

— Инфантэрия на бок, альбо до лясу… Язда скаче! Мейсце для езды… Мейсце![269] — кричат и машут другие.

— Уцекайце, Панове косиньержи, бо з тылу гарматы стоен'![270] — возвещают третьи, которым со страху вдруг почудились в тылу небывалые пушки.

Все это, как стадо баранов при степном пожаре, металось из стороны в сторону, не зная как быть, не понимая что делать.

Русская пехота с барабанным боем открыла энергическое наступление.

— Матка Божска!.. Пане москале, змилуйсен'! Ратуйтесен' панове!.. До лясу!.. Прендзей до лясу!.. Не даваць пардону! — носятся над повстанскими кучами разные голоса и возгласы.

Казаки Малявкина, оставя всех этих «несмертельных» и "красных чертей" на жертву гусарам, с фланга бросились лавой на польскую пехоту. В одну минуту и «тыральеры», и «косиньеры» образовали из себя какую-то жалкую кашу; одни кидались на колени и протягивали руки, взывая о пощаде, другие, побросав оружие, пустились что есть духу бежать под защиту леса.

— Прендко! — со смехом кричали им вослед казаки, действуя не столько шашкой, сколько нагайками по спинам. — Прендко, панове! Шибче беги! Утекай поскорее, а то вдругорядь не уйдешь!

Одна только кучка, человек в десять, лучших, наиболее храбрых людей, со всех сторон ощетинясь штыками да косами, стойко оставалась на месте, не подпуская к себе казаков. Душой этой горсти храбрецов был Бейгуш, под которым еще в самом начале дела была убита лошадь. Теперь же, в минуту крайней опасности, видя, что уже все гибнет, он схватил винтовку убитого стрелка и одушевленно кликнул клич окружавшим его людям; но из всей толпы едва

лишь десять-двенадцать человек отозвались на призыв начальника. Несколько казаков гикали и кружились около ощетинившейся кучки, но ничего не могли с нею поделать, пока не подбежала пехота и кинулась на нее в рукопашную. Обе стороны дрались с остервенением, и в особенности повстанцы, для которых дело шло не о победе, а только о том, чтобы купить себе смерть возможно дорогой ценой. Тут беспощадно работали штыки и приклады, но эта ужасная, кровавая работа продолжалась не долго: в две-три минуты все было кончено, горсть храбрецов не существовала. Избитый прикладами и раненный штыком, Бейгуш упал, но не просил пощады. Один из солдат занес уже было над ним штык, чтобы «прикончить» его на месте, но к счастию или несчастию Бейгуша, молодой прапорщик, командовавший взводом, на долю которого досталась борьба с храброй кучкой, стремительно кинулся к солдату и в роковой момент отвел рукою штык в сторону.

— Не тронь! Это начальник! — закричал он. — Бери его в плен, ребята!.. Живьем бери!

Бейгуша подняли и взяли. Он не сопротивлялся и только кинул грустный взгляд на молодого офицера.

— Не благодарю вас: вы оказали мне очень дурную услугу, — проговорил он ему слабым голосом; но тот почти не слышал этих слов и вел своих людей далее.

Между тем гусары, после первого налета, рассеяв польскую кавалерию, рассеялись и сами по полю, преследуя и там, и здесь отдельные группы всадников.

Вдруг, Хвалынцев заметил, что мимо его, в нескольких шагах расстояния, одиноко несется красивый всадник, в руках которого развевается знакомое знамя. Этот всадник видимо торопился уйти с места сшибки, направляя своего коня в ту сторону, где отдельно от всех стояла скорбная и бледная Цезарина, которую ксендз Игнацы и английский грум с двух сторон умоляли пощадить себя, уходить, спасаться как можно скорее. Но она словно бы и не слыхала или не понимала ни просьб, ни доводов и продолжала стоять в каком-то немом и окаменелом состоянии.

Константин с первого взгляда узнал в лицо знаменоносца, и молнией сверкнуло в его голове воспоминание о нем, о Цезарине, о дуэли на узелок, и о словах "будет исполнено".

Какое-то странное чувство поднялось в его груди — чувство насмешливо-радостной злобы и презрения, желание мести и желание быть замеченным Цезариной.

Дав сильные шпоры коню, он в тот же миг безотчетно пустился в погоню за «хоронжим». Несколько сильных скачков — и его конь очутился рядом с Жозефом.

— А! з мартвых всталы?![271] — закричал, налетая на него Хвалынцев, и в тот же миг плашмя полоснул его по лицу саблей. Затем, делом одного мгновенья было перекинуть эфес в левую руку, а правою схватиться за древко. Константин на лету, упершись в стремя, рванул это древко с такой силой, что знамя очутилось в его руке, а пан Жозеф, потеряв баланс, вылетел из седла и шлепнулся на землю.

— Молодец, корнет! — где-то вдалеке за собою услыхал Хвалынцев ободряющий, веселый голос Ветохина.

Вся эта сцена произошла в нескольких саженях пред Цезариной.

Константин раздумчиво замедлился на мгновенье и… беззаветно поддался соблазну внезапно мелькнувшей ему мысли. Задержав коня, он тихо подъехал к Цезарине.

— Графиня, я сдержал свое слово! Как видите, я взял и несу ваше знамя…

Но вдруг раздался выстрел из револьвера, и в тот же миг Хвалынцев почувствовал, как что-то с необычайной силой ударило его в правую лопатку. Он коротко вскрикнул, зашатался в седле и поник головою. Рука его тихо выпустила знамя и, вместе с ним, Константин без чувств упал к ногам Цезарины.

— Честь спасена, графиня!.. Не знаю, я, кажется, ранен, но наше знамя не взято! Я возвратил его! — кричал поднявшийся из пыли Жозеф, подбегая к своей амазонке и потрясая револьвером, одно гнездо которого удачно было разряжено на Хвалынцеве.

— Подите прочь!.. На вашем лице виден след фухтеля, — с холодным презрением проговорила ему Цезарина и, отвернувшись, отъехала в сторону на своем Баязете.

В это время на Жозефа налетели два гусара, случайно видевшие издали его выстрел по Хвалынцеву.

— О, ля Бога!.. Змилуйсен', пане! — едва успел воскликнуть красивый знаменоносец, как острие пики сверкнуло у его груди, и в то ж мгновение выдернулось из нее, покрытое алою кровью.

Другой гусар, занеся свою саблю, подскакал к Цезарине, но вдруг рука его остановилась в самом начале разящего движения; осадив своего коня, рубака с самым наивным изумлением глядел в лицо увернувшейся и отскочившей женщины.

— Тьфу, ты черт! — воскликнул он наконец, оскалив широкой улыбкой свои белые зубы, — я думал что путное, а это баба!

И покачивая головою, гусар со смехом над своей ли неудачной попыткой, или над «бабой», которую принял за повстанца, отъехал прочь от Цезарины.

— О, ля Бога!.. Пани грабина! — с новыми мольбами приступил к ней чрез минуту бледный, перепуганный ксендз, который в то время, пока налетевший гусар предавался недоумению, успел вместе с грумом "дать драпака" в соседние ореховые кусты, но заметив оттуда, что опасность миновала, пересилил свой страх и вернулся к графине с последней попыткой. — О, ля Бога! — молил он чуть не со слезами. — Пощадите!.. вы губите даром и себя, и нас. Ну, что тут делать?!. Все кончено… ничего любопытного больше не будет… Умоляю в последний раз, ускачемте, пока есть время, пока нас не забрали!..

— Да, вы правы: больше здесь нечего делать! — с горечью вздохнула Цезарина, и дав хлыста Баязету, поскакала в кусты с ксендзом и грумом.

Через минуту она уже была среди густой чащи, совсем в стороне от того направления, по которому пехота русского отряда вела по лесу дальнейшее преследование рассеянной банды.

Граф Сченсный Маржецкий успел ускакать еще гораздо ранее, воспользовавшись той минутой, когда Цезарина, около которой он, сконфуженный и ничтожный, вертелся без всякого дела, предложила ему атаковать русских гусар. Граф Сченсный повез это приказание пану Копцу, а сам, под шумок, когда "несмертельные шквадроны" с гамом и гвалтом ринулись вперед, благоразумно ретировался в лесную чащу.

В боковом кармане его оставалось еще до девяти тысяч рублей "народовых денег", полученных на содержание банды, а с эдаким кушем, при некоторой удаче — лишь бы только москалей не

встретить! — не трудно было пробраться за границу и, по примеру уже многих довудцев, на некоторое время зажить во все свое удовольствие где-нибудь в Дрездене или в Париже, вещая по курзалам да по клубам о своих подвигах во славу и за свободу дорогой "ойчизны".

Цезарине тоже вполне благополучно удалось ускакать с места боя, благодаря тому обстоятельству, что внимание двух гусар было отвлечено Хвалынцевым. Рядовой, заколовший Жозефа, тотчас же спрыгнул с коня и наклонился над своим офицером.

— Ваше благородие!.. Живы, аль померли? Эй, Лишухин! Чего зубы-то скалишь? Ступай живее сюда!.. Глянь-ка!.. корнета-то никак убило…

Лишухин, все еще ворча про «бабу», подъехал к товарищу и, с коня, внимательно посмотрел на лежавшего Константина.

— Подержи-ка повод, — обратился к нему первый гусар, отдавая свою лошадь, а сам попытался осторожно приподнять Хвалынцева за плечи.

Тот очнулся и застонал от мучительной боли.

— Виновати, ваше благородие!.. Одначе ж славу Богу… ваше благородие живы!.. А мы уж было подумали, что вы совсем тово… искренно обрадовался солдатик. — Скачи, Лишухин, доложи майору!

Гусар в ту ж минуту дал шпоры и, держа на поводу лошадь товарища, помчался отыскивать эскадронного командира.

Через несколько минут он отыскал его, доложил о ране корнета и проводил на место. Ветохин прискакал с ординарцами.

— Жив? — тревожно спросил он у остававшегося гусара, который, склонясь над Хвалынцевым, поддерживал на своем колене его голову.

— Так точно-с!.. изволят быть живы, ваше высокоблагородие!

Майор слез с коня и заботливо осмотрел раненого.

— Куда угораздило? — осведомился он с ласковой, ободряющей улыбкой.

— Не знаю… боль во всей спине, но… кажись, что в правую лопатку, — ответил тот, стараясь подавить в своем лице невольное выражение страдания и боли.

— Ну, в таком случае, поздравляю с первой боевой раной и с крестом за храбрость!.. Сколько могу судить, рана вероятно не опасная! — весело ободрял Ветохин, пожимая Хвалынцеву руку, и тотчас же сдал его на попечение одному из своих ординарцев, приказав взять под раненого телегу и как можно скорее привезти из обоза эскадронного фельдшера, чтобы на месте же сделать первую перевязку.

Везти раненых в Августов или в Сейны было гораздо дальше, чем в Гродну, а потому майор Ветохин предпочел этот последний пункт, в котором кстати находился и ближайший военный госпиталь со всеми необходимыми удобствами. Уже позднею ночью, по окончании дела, доставили в этот город русских и польских раненых, а также и гурьбу пленных, под достаточно сильным конвоем. Пленные немедленно были сданы в острог, раненых же разместили в обширном госпитале. Хвалынцева внесли на носилках в офицерские палаты, где нашлась для

него свободная койка в особой комнате, а Бейгуша положили в арестантском отделении.

В числе убитых повстанцев пленные кавалеристы называли пана-полковника Копца и адъютанта Поля Секерко. Что же касается до ксендза Робака, то этот ловкий партизан-вешатель успел-таки скрыться с двумя или тремя из ближайших своих помощников, покинув всю остальную банду на жертву казакам.

XVI. Сестра

Длинный переезд на тряской подводе, и притом в напрженном сидячем положении, так как рана не позволяла лежать на спине, истомил Хвалынцева до такой степени, что во дворе гродненского госпиталя его сняли с воза почти в бесчувственном состоянии. Дежурный ординатор, с помощью двух сонных фельдшеров, сделал ему новую перевязку и уложил, в сидячем положении, в особое покойное кресло на винтах, где Константин мог наименее испытывать страдания, причиняемые раной. Боль распространялась от лопатки на всю спину, страшно отдавалась в груди, в плече и совершенно парализовала правую руку, которая покоилась на широкой перевязи. Лежать ему можно было только на левом боку, да и то с трудом, так что он поневоле предпочитал сидячее положение, как наименее причинявшее страданий. Под утро, с помощью одного из наркотически-успокоительных средств, дежурному ординатору удалось погрузить Хвалынцева в сон, в котором сильно нуждался его организм, истомленный усталостью, болью и потерею крови.

Долго ли продолжалось это забытье болезненного и неровного сна, Константин не мог определить себе; но он пришел в сознание вследствие одного внешнего ощущения, которого менее всего мог ожидать в настоящем своем положении.

Он ясно почувствовал на своем лбу легкое прикосновение мягкой и нежной, как будто женской руки.

"Что это?.. Вправду, или только чудится?" смутно подумалось ему.

Он открыл глаза: дневной свет пробивался сквозь опущенную штору.

— Пить… пить хочу, — тихо произнес он, чувствуя жгучую, сильную жажду.

Чья-то заботливая рука осторожно поднесла к его пересохшим, лихорадочно воспламененным губам кружку лимонаду.

Он жадно приник к краю сосуда и медленными глотками стал утолять свой внутренний жар живительным и прохладным напитком. Рука, на которую невольно упади его взоры, показалась ему женской рукой… Бледная, молодая, изящна выточенная, с длинными, прекрасной формы пальцами… "Чья это рука?.. кто это?" вспало ему на мысль, и он, перестав пить, поднял глаза на стоявшую сбоку женщину.

Пред ним обрисовались строгие складки темно-коричневого платья, белая пелерина, белый фартук и белый чепец сестры милосердия.

"Но Боже мой, что ж это?!. Видение? сон? галлюцинация, или и точно правда?.." Точно ли въявь мелькнули ему знакомые, добрые черты прекрасного лица, — лица, некогда столь милого и дорогого?..

— Таня?!.. — смутно прошептал он, не веря глазам. — Таня… Татьяна Николаевна… Вы ли?

— Тсс… Не говорите… доктор запретил пока… Вам вредно! — заботливо предупредил его ласковый, нежный и давно знакомый голос.

Но он не мог успокоиться: явление этой девушки было столь неожиданно, казалось столь странным и почти сверхъестественным, что душой его овладело понятное смятение. Он все еще не верил ни глазам своим, ни слуху, и не мог сообразить что это значит, зачем, почему и какими судьбами эта девушка присутствует здесь, в госпитале, в такую минуту и в таком исключительном костюме?.. Он, полагавший ее за тридевять земель, в глухом поволжском городе, или в далекой степной деревне, вдруг воочию видит ее пред собой — и где же, и в какое время? — когда кругом кипит война, бушуют политические страсти, кишит измена, предательство, и каждый день обагряется кровью новых убийств…

— Господи!.. Что это мне чудится!.. К смерти, что ли?.. как бы про себя пробормотал он, не сводя с нее крайне изумленного и недоверчиво-тревожного взгляда.

— К жизни!.. к жизни! — порывисто и с глубоким внутренним убеждением прошептала она, стремительно бросаясь на колени пред его креслом и схватив его свободную, здоровую руку. — Ничего тут нет необыкновенного, — продолжала девушка, спеша вывести его из тревожного недоумения, — розно ничего!.. Я уже несколько недель здесь, в этом госпитале… Тетушка недавно умерла, я одна осталась — деваться некуда, а время теперь такое… нужное время — сами знаете… Я пошла в сестры… Предлагали мне в Вильну или в Варшаву, но я предпочла здесь, потому что здесь теперь Устинов служит… Он все же свой человек, близкий друг и предан мне… И все же не совсем уж одна я, при нем-то, на чужой стороне. Вот и только!.. И все, как видите, очень просто это… и ничего необыкновенного!.. Узнала сегодня, что в ночь привезли вас и выпросилась ухаживать… сказала, что старый знакомый… ну и позволили, слава Богу… Вот вам и все объяснение!

Татьяна видимо торопилась подробнее высказать и разъяснить Хвалынцеву все дело, чтобы ни минуты лишней не держать его в беспокойном состоянии сомнений и недоумения, так как это состояние могло бы вредно отозваться на его здоровье.

Он, не встречая сопротивления, приблизил к своим губам ее руку и молча приник к ней тихим, благодарным поцелуем.

На глаза его навернулись невольные слезы, а в уме, столь же невольно, возникло сопоставление двух женщин: одна встала пред ним со всем эффектным обаянием своей патриотической миссии, во всем поэтическом блеске заговорщицы, со всем обаянием красоты, пламенного энтузиазма, фанатической ненависти и коварства, — встала так, как еще вчера встретил он ее: под свистом пуль, среди лихой атаки, на ее кровном коне, в блестящем, хоть и несколько театральном костюме… И рядом с ней это строгое платье сестры милосердия, эта скромная, не бьющая ни на какой эффект нравственная чистота, любовь и христианское самоотвержение простой, бесхитростной русской женщины.

Только в эту минуту внутренно понял и оценил Хвалынцев разницу между той и другой. Хотелось ему сказать этой Тане: "Прости меня, если можешь!.. Я много виноват пред тобой, чистая, честная душа, и много за то наказан!" Но взглянул на нее еще раз и не сказал того, что хотелось. Слов не нужно было, потому что это доброе, спокойно светлое лицо и без того уже все было озарено кроткой улыбкой любви и прощения. Вместо слов ту же самую мысль высказал ей взгляд Хвалынцева, и девушка, казалось, женским чутьем своим угадала и сознательно почувствовала значение и поняла смысл его безмолвно говорящего взгляда. Она ответила ему тихим пожатием руки, и Константину показалось, что с этой минуты внутренний мир был заключен между ними.

Тихо скрипнула дверь, и позади Хвалынцева послышались чьи-то осторожные шаги.

— Не спит? — шепотом спросил мужской голос. Татьяна ответила отрицательным кивком головы.

— Здравствуйте, Хвалынцев!.. Узнаете старого знакомца?

Константин поднял глаза, и радостная улыбка засветилась на его страдающем лице: пред ним стоял доктор Холодец, все такой же бодрый, славный, симпатичный, как и в первую встречу. Больной слабо протянул ему свою здоровую руку.

— Ну, вот, сказывал я вам на прощанье, что только гора с горой не сойдется, а мы с вами наверное! И привел Бог, как видите, — говорил Холодец, подсаживаясь около него на табурет. — Что, батюшка, лопатку поляки царапнули? Ничего, починим! Придется только поистязать вас немного разными пластырями да перевязками, вообще пачкотней этой, — ну, да уж дело наше такое, без того невозможно.

И Холодец сообщил, что главный доктор поручил специально ему вести лечение Хвалынцева, и что он еще с апреля месяца, за недостатком врачей, временно прикомандирован к госпиталю, где большая часть раненых постоянно поступает на его попечение.

— А я к вам старого приятеля привел, — сказал он, — угадайте-ка, кого?

— Знаю… догадываюсь… Где он? — оживленно спросил Хвалынцев.

— Здесь, в дежурной комнате дожидается. Вы только не волнуйтесь, Бога ради, и молчите побольше, а уж предоставьте нам развлекать вас, коли желаете. Захаров! — обратился Холодец к фельдшеру, стоявшему у дверей, — проводи-ка, брат, сюда Андрея Павлыча.

Свидание с Устиновым, после двухлетней разлуки, хоть было и радостно, но для Хвалынцева, в глубине души его, отзывалось затаенной грустью. Ему больно было за самого себя, за ту сторону своей внутренней жизни, которая, после разрыва с Паляницею и Цезариной, так тяготила его и все же оставалась глубокой тайной для всех друзей его. Теперь, пред его скорбным ложем, неожиданный случай свел троих людей, дорогих его сердцу.

Эта девушка, отвергнутая им когда-то ради иной женщины, и этот школьный друг и товарищ, позабытый им в том водовороте, куда швырнула его рука чуждых заговорщиков, и этот доктор, нравственно поддержавший его в одну из скверных минут жизни — все они здесь теперь налицо, и все как были, так и остались, простыми, прямыми и честными людьми, которые имеют нравственное право, с чистой совестью, открыто глядеть в глаза всему миру… И он знал, он чувствовал, что каждый из этих трех людей любит его по-своему, горячо и бескорыстно, даже и она, эта Таня, любить не перестала, хотя ее любовь и не дала ей ничего, кроме горя, не оставила ее душе никакого просвета, никакой надежды и в конце концов привела в общину сестер милосердия… Он знал еще и то, что эти люди смотрят на него, как на честного человека, верят в него, убеждены в нем и с негодованием отвергли бы малейшую тень сомнения, если бы такая могла быть брошена на него кем-либо, а между тем… он должен скрывать свой прошлый грех и заблуждение, таить от них ту сторону своей внутренней жизни, которая самому была столь невыносимо тягостна, и тягостна именно тем, что надо было одному безраздельно нести ее до времени в глубине души своей, не смея облегчить себя откровенным и полным признанием.

XVII. Честный шаг

С таким внимательным и сведущим врачом, как Холодец, и с такой заботливой сиделкой, как Татьяна, лечение Хвалынцева шло очень успешно. Чрез два месяца рана затянулась, только правой рукой не мог он еще владеть свободно. Почти ежедневно, в послеобеденное время, навещал его Устинов и просиживал с ним часа по два, по три, развлекая его то чтением, то разговором, главной темой которого, конечно, были жгучие текущие события. Татьяна, с тех пор, как страдания Хвалынцева значительно уменьшились, стала уже реже показываться в его комнате: ее обязанности призывали ее к другим страдальцам, которые теперь более Константина нуждались в ее заботливом уходе и попечениях. Ни слова о прошлом за все это время не было сказано между Хвалынцевым и ею. Она являлась к нему только сестрой милосердия и другом, но не более, и не подала ни малейшего повода завести речь о прошлом. Заводить же самому такую речь — Хвалынцев не считал возможным. Слишком многое удерживало его от этого шага, и прежде всего сознание своей глубокой виновности пред отвергнутой им девушкой. Да и какое же будущее мог бы он предложить ей, если и сам-то не был еще уверен в своем собственном будущем? Он мог с каждым днем ожидать, что участие его в заговоре раскроется помимо его воли и что за это участие, быть может, придется вскоре понести искупительную кару. Он не боялся, а напротив, желал этой кары, и какова бы ни была предстоящая ему судьба, ожидал ее с покорным спокойствием. Тут он один виноват и один понесет за себя расплату. Но после всего, что было, обрекать эту девушку еще на новые страдания, на новую тревожную неизвестность Хвалынцев считал невозможным: против этого восставала вся лучшая, вся человеческая и честная сторона его натуры.

Однажды заметил он, что Устинов пришел к нему в каком-то грустном настроении духа. После нескольких оборотов разговора, который на сей раз, вопреки обыкновению, не совсем-то клеился между ними, Хвалынцев спросил его что это значит?

— Прегрустное письмо получил, — сообщил Устинов. — Помнишь ты Шишкина?

— Шишкина? — переспросил Константин, не совсем-то ясно отдавая себе отчет, кто бы мог быть этот Шишкин, и почему эта фамилия кажется ему несколько знакомою.

— Ну, да; гимназиста Шишкина, в Славнобубенске, — продолжал пояснять Устинов. — Того самого, что на литературном вечере, который устраивал покойник Лубянский, дернул вдруг публично «Орла» — история, из-за которой у меня чуть не состоялась дуэль с Подвилянским, из-за которой меня шпионом ославили, — ну, неужели не помнишь?

— А-а!.. Как же, как же!.. — подхватил Хвалынцев, — теперь вспоминаю! Гимназист Шишкин, который умел отлично декламировать стихи и был, кажись, выгнан за это из гимназии, затем исчез куда-то… Помню и «Орла», и Шишкина, и всю эту глупую историю…

— Благодаря которой, однако, — заметил Устинов, — я должен был уехать из Славнобубенска и теперь наконец очутился в Северо-Западном крае.

— Ну, так что же этот Шишкин? — спросил Хвалынцев.

— Да вот, представь себе, какая история вдруг оказывается! — Совершенно неожиданно получаю я сегодня от него из петербургской пересылочной тюрьмы письмо, которое он пишет накануне своего отправления в Сибирь на каторгу.

— На каторгу?.. За что?.. Неужели за «Орла» на каторгу?

— Нет, почище чем за "Орла", — за распространение в Жигулевских горах "золотых грамат", вместе с каким-то Василием Свиткой…

— Свиткой?! — воскликнул Хвалынцев, невольно побледнев при последнем слове.

— А что? Тебе разве знакомо это имя? — спросил Устинов, от которого не укрылись ни странный тон невольно вырвавшегося восклицания, ни эта внезапная бледность, ни взгляд, исполненный смущения и тревоги.

— К несчастию, слишком хорошо знакомо, — помолчав и как бы собравшись с мыслями, тихо проговорил Хвалынцев.

— Какими судьбами? — поднял на него удивленный взор маленький математик, еще более придя в недоумение от последних слов своего приятеля.

— Об этом после… Потом расскажу как-нибудь, — уклонился Хвалынцев. — Так что же Шишкин-то… Говори, пожалуйста… Это любопытно, — в некотором замешательстве старался он навести разговор на прерванную тему

— Да что Шишкин… Подцепил его в крутую минуту этот самый Свитка. — А что за Свитка? Про то и сам он никогда не знал да и о сю пору не знает!.. Зачали они вместе пропагандировать в лето 61-го года на Волге, пока не нарвались в одной какой-то деревне на здравый мужичий смысл; мужики их заприметили, заподозрили, хотели было руки назад скрутить да в становую квартиру, однако же не удалось на тот раз: выручил кистень да револьвер, чуть убийства не вышло… Скрылись приятели в Самарскую губернию, а оттуда в Питер пробрались, но только после студентской истории Шишкина на родину выслали, в Славнобубенск, а там он прекрасно было устроился, получил место в пароходной компании, занялся делом, средствами поправился и мать свою, старуху, приютил у себя, — ну, словом, совсем отрезвился малый и зажил себе порядочным и честным человеком, как вдруг — нужно же случиться такому обстоятельству! — ехал он прошлой осенью на пароходе, и случись тут же на палубе несколько жигулевских мужиков из той самой деревни, где он со Свиткой в пропаганде подвизался. Признали сразу! И в лицо, и по складу признали, да на первой же пристани и заявили по начальству, что промеж ними «смутитель» едет. Того, разумеется, сейчас же сцапали, пошло особое формальное следствие, чуть не целая деревня была вызвана в качестве свидетелей-очевидцев, и каждый на следствии почти сразу признает в лицо: даже того мальчонку что перевозил его со Свиткой на Самарский берег, и того откопали, — ну, словом, улик собралось достаточно, да наконец, и сам повинился, признался во всем что было… Отправили в Петербург, судили, и вот тебе финал всей этой истории, — каторга!

— Это ужасно! — как бы про себя проговорил Хвалынцев, медленно проводя по лбу рукой.

— Да, мой друг, и ужасно потому, что случилось уже в то время, когда человек совсем отрезвел, когда из него и для общества могло бы выработаться что-нибудь путное и полезное… Каково в таком-то вот положении идти на каторгу, если даже самому себе не остается призрачного утешения, что я-де политический мученик, страдалец за убеждения!.. А тут еще беспомощная и больная старуха-мать на произвол судьбы остается!..

"Да, платиться, когда отрезвел и когда не остается самому себе даже призрачных утешений — грустно", подумалось Константину. А Устинов и не подозревал, в какой мере и как близко эти самые слова подходят к его другу и как чутко ударили они его по сердцу.

— По каким же причинам он написал тебе это? — полурассеянно и после довольно долгого раздумчивого молчания спросил Хвалынцев, видимо находясь еще под давлением какой-то

другой посторонней мысли.

— Да просто из благодарной памяти: ведь я любил его, — пояснил Устинов. — Ну да вероятно и душу отвести хотелось, напоследок высказаться хоть перед кем-нибудь в такую тяжелую минуту… Это так естественно.

"Высказаться хоть перед кем-нибудь!". — Как была понятна Константину такая нравственная потребность! Как самому ему хотелось порой высказаться! А в данную минуту, вследствие рассказа Устинова, эта жажда чистосердечной исповеди овладела им еще более. — "Пора!.. пора!" говорил ему какой-то неотразимый, настойчивый внутренний голос, в то время как мысль предавалась раздумью о судьбе несчастного Шишкина. — "Пора!.. видно ив самом деле всем нам приходит время расплаты за прошлое"…

— Но скажи пожалуйста, что это за личность? — продолжал меж тем Устинов, — ты говоришь, что знавал этого Свитку?

Константин, не выходя из своего раздумья, вместо ответа, утвердительно кивнул ему головой.

— Точно ли он Свитка и насколько это имя законно принадлежит ему, я не знаю, — заговорил он наконец, после некоторого молчания, в течение которого Устинов смотрел на него вопросительным взглядом, как бы выжидая более определенного ответа и разъяснения. — Я знаю только одно, — продолжал Константин, — что у этого человека есть несколько имен, между прочим и имя Свитки; но кто он такой в сущности и как его подлинное имя — это мне известно столько же, сколько тебе и Шишкину, а между тем…

И как бы осекшись на полуслове и не досказав своей мысли, Хвалынцев снова отдался какому-то раздумью, которое снова вызвало вопросительный взгляд со стороны учителя! Но теперь к этому взгляду примешался уже оттенок некоторого недоразумения. Это беспрестанно возвращающееся раздумье и этот тон невольно казались Устинову несколько странными и загадочными.

— Да, и между тем этот человек имел громадное влияние на мою судьбу, — высказался наконец Хвалынцев.

— На твою судьбу?.. на *твою?..* Влияние, говоришь ты? — с возрастающим удивлением повторил вслед за ним Устинов.

— Да, мой друг, влияние, — подтвердил Константин. — И притом, быть может, столь же роковое, как и на судьбу этого Шишкина.

— Воля твоя, — пожал учитель плечами, — я тебя не совсем понимаю!

— Погоди, поймешь и узнаешь все очень скоро, — слегка усмехнулся Хвалынцев. — Да вот что, — продолжал он, — зачем откладывать в долгий ящик — благо мы одни и времени еще есть достаточно… Бери-ка вот на столе карандаш да бумагу… Я попрошу тебя записывать и потом переписать то, что я тебе продиктую… извини, голубчик, прибавил он, — рад бы был и сам это сделать, да рука еще не совсем свободно действует.

И он, в возможно краткой, сжатой и точной форме письма, стал диктовать Устинову всю последовательную историю своего вступления в заговор, своих отношений с "Варшавским Отделом Земли и Воли", и своих разочарований по поводу подложного адреса на имя великого князя Наместника, последствием которых был удар кинжалом "за измену делу". Цезарина не была названа в этом письме: он не хотел компрометировать и путать в свое дело женщину, и

только рассказал о ней Устинову, чтобы не оставлять для него загадкой главную причину своих сумасбродных увлечений делом, совершенно для него чуждым.

Был назван в письме поручик Паляница, о котором в то время имелось уже положительное официальное сведение, что он убит при Пясковской Скале, в деле с Лангевичем, в банду которого бежал незадолго до того времени; названы были еще Добровольский, открыто командовавший шайкой, Веллерт и Кошкадамов, заведомо бежавшие за границу, и наконец Василий Свитка — псевдоним безусловно загадочный для самого Хвалынцева. Письмо было написано просто и правдиво и от начала до конца дышало искренностью и горячим увлечением. — "Я не смею рассчитывать на милость и не прошу пощады, говорилось там в заключение. Я ожидаю заслуженной мной кары и приму ее как должное и справедливое возмездие, во искупление моих заблуждений и ради очищения своей собственной совести, ради нравственного примирения с самим собой".

Устинов остался неожиданно и сильно поражен всем, что открыло ему это письмо, погрузившее его в глубокое раздумье.

— Послушай, Константин! — заговорил он наконец, перечитав еще раз написанное. — Я не знаю, что ты намерен с этим письмом делать, но по-моему не лучше ли его поскорей уничтожить?

— Ни за что в мире! — наотрез отказался Хвалынцев.

— Но… по крайней мере, к кому ты намерен адресовать его?

— К Муравьеву.

— Как?!.. — вскочил с места Устинов. — К Михаилу Николаевичу?!

— Да, к нему непосредственно, — спокойно подтвердил Хвалынцев. — Прямой путь, самый простой и короткий, и тем более, что, будучи здесь, в Гродне, я временно нахожусь под его начальством, стало быть имею на такой поступок даже некоторый законный повод.

— Сумасшедший! Да подумал ли ты…

— Э, мой друг! — нетерпеливо перебил Константин. — Откровенно говоря, мне уже невмоготу больше ни мое фальшивое положение, ни эта проклятая неизвестность за свою участь. Лучше же порешить все сразу и скорее!

— Но ведь из Вильны не жди уж пощады.

— Я и не жду ее. И… что бы там ни было, я решился… твердо и бесповоротно!

Устинов перестал возражать и грустно поник головой.

— Еще одна последняя просьба, — дружески обратился к нему Хвалынцев, — во-первых, до времени никому ни полслова, ни намека, — понимаешь? А во-вторых, перепиши ты мне это к завтраму начисто, я подпишу и — отправим его с Богом… Только дай слово, что непременно отправишь! — поспешил он прибавить торопливо и заботливо.

Устинов отвечал молчаливым знаком согласия.

На следующее утро все было исполнено по желанию Константина и письмо в тот же день

пошло по назначению, а к ночи местный военный губернатор получил уже из Вильны лаконическую телеграмму: "Немедленно арестовать корнета Хвалынцева, впредь до дальнейшего о нем распоряжения".

XVIII. Русская сила

Польским патриотам Северо-Западного края очень не хотелось верить, что вновь назначенный начальник есть именно прежний гродненский губернатор. Одни утешались мыслью, что назначен «Амурский», другие ласкали себя надеждой, что «Карсский», стараясь и то, и другое мнение навязывать даже русским. Но сколь ни отгоняли они от себя эту тревожную весть, она подтвердилась во всей своей силе: 14 мая генерал Муравьев был уже в Вильне.

Он застал Край в полном разгаре мятежа. С разбитием шаек на одном месте, они мгновенно являлись на другом, возникая из рассеянных остатков. Более мирная часть крамольного дворянства ютилась на «гражданских» местах революционной организации, тогда как более воинственная или «завзятая» ушла в банды. Все что было из шляхетства в боевом настроении, уже ратовало в лесах, а женщины насмешками и мольбами, обольщениями и ценой собственного целомудрия выгоняли "до лясу" и последних из оставшихся почему-либо дома. Магнаты рассчитывали на "широкие плечи" влиятельных защитников, которые будто бы найдутся для них в Петербурге, и пребывали в полной уверенности, что правительство не решится применить к ним лично никакой чересчур уже резкой и крупной меры, а ксендзы точно так же были твердо уверены, что они ни в каком случае не подлежат действию закона, применяемого к мирянам, что их судить может только Рим и установленная от него католическая церковная власть, в которой они всегда найдут защитников, а не судей, и эта уверенность ксендзов в личной своей безопасности и в безнаказанности в начале восстания была несокрушима.

Муравьев, первым же делом, выделил резкой чертой из местного населения ополяченное общество, то есть ту среду, где именно гнездилась крамола. Он круто переменил систему, которой до него держались в Крае представители высшей русской власти, и из строго оборонительной сделал ее решительно наступательной. Надо было прежде всего сломить уверенность магнатов и ксендзов в их безнаказанности и в бессилии законной власти; и вот 22-го мая викарный ксендз Станислав Ишора, за возбуждение в костеле народа к мятежу, был приговорен к смертной казни, в Вильне, на торговой площади. День был базарный, почему и собралось в город множество окрестного народа. В толпу были пущены уверения, что Муравьев на подобную меру не отважится, что "сам Напольон" ему этого не позволит, что это будет безрассудный вызов римскому папе, что вся латинская Европа вторгнется в пределы России искать возмездия за Ишору, что это только шутка, которая устраивается ради театрального эффекта, чтобы напустить страху и сейчас же помиловать. Но когда всенародно, среди бела дня, грянул залп — в толпе раздались стоны и вопли виленских горожанок. Первая паническая весть с необычной быстротой разнеслась по целому Краю. Через два дня, 24-го мая, точно так же всенародно были расстреляны в Вильне, за возбуждение народа к мятежу, двое подсудимых — один ксендз, а другой шляхтич. 27-го мая, граф Леон Плятер, предводитель шайки, разбившей транспорт с оружием близ Креславки, был расстрелян в Динабурге. 28-го мая, в Вильне повешен захваченный предводитель банды Колышко, уличенный кроме того в разграблении сельских правлений, общественных дел и в повешении должностных лиц. 6-го июня, в Ковне, расстрелян корнет Белозор, взятый с оружием в руках, а в Могилеве тот же приговор исполнен над поручиком Корсаковым, над двумя прапорщиками Манцевичами и над предводителем шайки, эмигрантом Анцыпою. 10-го июня расстрелян в городе Лиде ксендз Фальковский, а 15-го июня повешен в Вильне военный воевода Литвы и Белоруссии, капитан Сераковский.[272]

24-го мая по всему Краю было введено военное положение: в каждом уезде утверждено военно-гражданское управление, с безусловным подчинением ему всех местных властей и всего населения, при строгом предписании "ограждать крестьянское сословие от покушений мятежников"; образованы сельские стражи и конные разъезды для наблюдения за проезжающими, все помещики, их прислуга, шляхта, ксендзы и римско-католические монастыри обезоружены, и обезоружение это произведено в течение трех дней по целому Краю; помещики обязаны жить безотлучно в своих имениях, с возложением на них строжайшей ответственности за укрывательство бродяг, за образование скопищ в черте их имений и за содействие мятежу деньгами или припасами; латинскому духовенству объявлено, что за возбуждение населения к мятежу члены его подвергнутся всей строгости законов, "без принятия отговорки, что были-де вынуждены, ибо служители алтаря еще менее других должны подчиняться сим угрозам"; помещики, управители, настоятели монастырей, равно как и сельские общества, обязаны, под опасением строгого суда, немедленно доносить о всяких мятежных проявлениях в их черте; на имения всех прямо или косвенно содействовавших мятежу, наложен секвестр, и кроме того наложен на всех вообще помещиков десятипроцентный немедленный сбор с их доходов на покрытие военных издержек; военные же суды предписано кончать без замедления и приговоры тотчас же приводить в исполнение.

Но при самом решительном и беспощадном напоре на крамолу, Муравьев понимал, что ему следует действовать с величайшей осмотрительностью и тактом, дабы, восстановляя законную власть, не подать ни малейшего повода к явному противодействию ей, не дать случая никакой шальной выходке, в присутствии власти, оказать ей неуважение или ослушание. После этих радикальных мер, крамола могла действовать только ощупью, исподтишка, всячески скрываясь от русского глаза. Но карающая сила тотчас являлась на место преступления и страхом грозного примера отбивала от охоты повторений и участия. Вслед за истязаниями, произведенными на панской мызе, — мыза тотчас же была разрушаема до основания; за истязаниями в шляхетской "околице", — околица немедленно сжигалась, шляхта выводилась на поселение в Сибирь, и вслед затем плуг белорусского хлопа вспахивал самое место мятежного поселка, чтоб и следов его не оставалось. Несколько таких своевременных примеров, — и неистовства шляхты сразу же прекратились. Дворяне-землевладельцы и католическое духовенство, а особенно высшее, были поставлены в неизбежную необходимость, без всяких уверток, ясно и категорически высказаться, намерены ли они быть верноподданными. Это было для них тяжелее всего, особенно же ввиду соблазнительного уведомления князя Чарторыйского, что 16-го июня иноземная помощь непременно будет уже на месте, в пределах Польши и Жмуди. Такое уверение магически действовало и на белых, и на красных, которые решили держаться до прибытия англичан, французов и австрийцев, во что бы то ни стало, а между тем следы революционной литовской организации вскоре начали быстро разоблачаться. Спутанный узел ее развязывался нитка за ниткой. 20-го мая был арестован один из самых "сильных умов" и наиболее видных "филяров велькего будованья", крупный собственник граф Виктор Старжинский, а к 1-му июня крупные помещики Оскерко, Антоний Еленский и Франц Далевский уже сидели в крепости. Яков Гейштор, уцелевший четвертый член комитета белых, отказался от всяких дальнейших действий и совещаний. Таким образом, "Литовский Отдел" партии белых был разрушен в первые же дни Муравьевского управления, а с падением этого белого комитета, в котором собственно и заключалась вся нравственная и материальная сила восстания, перестал действовать и "Петербургский Отдел" со своим коммисаром Иосафатом Огрызкой. Красные снова стали у кормила революционной власти и сгруппировались около железнодорожного чиновника Дюлорана, которому варшавский ржонд передал главную власть над "Литовским Отделом".

В это-то время Константин Калиновский, сын бедного ткача из-под Свислочи,[273] бывший студент Петербургского университета, решился привести в исполнение свой давно задуманный

план. С помощью происков в центральном ржонде, перед которым доселе он разыгрывал смиренную роль покорнейшего слуги, ему удалось добиться того, что Центральный Комитет назначил новыми членами в Литовский Отдел людей, рекомендованных самим же Каликовским. Эти люди — собственные его креатуры, находились у него в полной нравственной зависимости. Таким образом под Дюлораном очутились помощники, замыслившие крамолу против крамольного ржонда. Близорукий Дюлоран, ничего не подозревая, рекомендовал их с наилучшей стороны членам Варшавского Центрального Комитета, а между тем Калиновский, помимо его, объявил себя самовластным и независимым диктатором Литвы; креатуры его охотно приняли "министерские портфели", и одураченный Дюлоран, боясь признаться, что проспал диктатуру Кадиновекого, поскакал в Варшаву с докладом, будто "генерал Муравьев разбил уже вдребезги всю литовскую организацию" и будто дальнейшее сопротивление там невозможно. Варшавский ржонд совсем уже из посторонних рук узнал в чем кроется истинное дело, и встревожась отложением Калиновского, послал к нему его университетского товарища Оскара Авейде «уломать» нового диктатора, урезонить его не отделяться от ржонда, во имя любви к общей польской отчизне. Но тщетно бегал Авейде на виленское немецкое кладбище для свиданий и переговоров с Калиновским. Этот последний не соглашался ни на что и заявил, что ему дела нет до «Короны», что Литва и Белоруссия совершенно особое и самостоятельное государство и что "такой глупой башке, как Варшава, нельзя вручать судьбу Западного края".

Между тем «белые» увидели уже ясно всю безвыходность своего положения; 16-го июня прошло, а иноземная помощь не явилась, зато Муравьев день ото дня все больше и суровее налагает на них свою железную руку. Литовские паны исподтишка стали «отцураться» от восстания, заявлять себя невинными жертвами, сваливать всю вину на красных и уже подумывали о поднесении верноподданнического адреса. Заварив кашу, они спешили теперь удалиться от ее расхлебывания. Тщетно диктатор Калиновский внушал своим подручным, что "революционные власти должны с неподатливыми жителями обращаться суровее власти правительственной". Страх закона пересилил страх революционного террора. В половине июня Вильна уже совершенно преобразилась и все более и более принимала вид русского города. Польские патриоты боялись подать даже малейшую тень своего недавнего нахально-крамольного настроения, и ясно стало всему городскому населению, что законная власть вполне утвердилась. Все обратилось к обычным, мирным занятиям, с особенным торжеством праздновались царские дни, на площадях гремела музыка, собирался и гулял народ. В день тезоименитства Государыни, 22-го июля, Вильна со всеми своими переулками заблистала вечером великолепной иллюминацией: для каждого окна нашлась покорная рука, которая зажгла свечи, а костелы точно желали перещеголять другие здания и, соперничая между собой, изощрялись в блеске декоративных иллюминаций... А казалось бы, давно ль было время, когда в день рождения Государя, 17-го апреля, город был погружен в глубокий мрак, и на темной улице, перед одним казенным зданием, едва освещенным несколькими плошками, толпа школьников вопила: "Ах, какая блистательная, какая торжественная иллюминация"!. Давно ли кадеты виленского корпуса громкими возгласами заявляли из окон свое неудовольствие командиру гвардейского полка, который стоял перед строем; давно ли русское духовенство, в которое плевали при встречах, избегало выходить из домов, и по городу ходили слухи о резне русских то в ночь на Страстную пятницу, то на Светло-Христово Воскресенье, и русские тревожно баррикадировали окна и двери, готовясь к отпору, на случай ночного нападения; давно ли, в ожидании скорого прибытия французов, поляки лукаво перемигивались когда гвардейцы церемониальным маршем вступали в Вильну, после разбития шаек. "Какой-то марш заиграют москали когда пойдут за Двину?" громко раздавались при этом из толпы бахвальные возгласы. Давно ли наконец, помещики, снаряжавшие у себя шайки, напевали в то же время русской властк свою старую песню о «легальности» и жаловались, что русские священники подзадоривают крестьян к бунту против панов-землевладельцев, так что под

воздействием таких напевов, военачальники не знали что им предстоит назавтра: писать ли реляции о разбитии шаек или оправдательные ответы против заявлений польской легальности. Казалось бы давно ли все это творилось?

А теперь.

27-го июля торжественно был представлен дворянством верноподданнический адрес. «Красные» пришли в ужас. Они очень хорошо понимали, что одними своими силами, без нравственной и, главное, без материальной поддержки дворянства, в Литве они ничего не поделают, и потому решили удержать силою террора выскользающее из заговора дворянство. Но Муравьевские меры нагнали такого страху, что из местных жандармов-кинжальщиков, несмотря на все старания Калиновского, не нашлось ни одного, который решился бы привести в исполнение кровавый декрет диктаторского трибунала. За наемными убийцами пришлось посылать в Варшаву и вот, в отместку за адрес, 29-го июля, в квартиру виленского губернского предводителя дворянства г. Домейко, вошел под благовидным предлогом неизвестный человек, нанес ему несколько ран кинжалом и скрылся на улице.

Следствия этого покушения были до того ужасны для литовской организации, что Калиновский и его друзья назвали "июльской катастрофой" удар, разразившийся над ними. Убийца и его товарищ были пойманы, несмотря на то, что обрили себе усы и бороды и перерядились в женское платье. Весь город в одну ночь был подвергнут общему повальному обыску, причем открыты все городские жандармы-кинжальщики, вся городская организация и все управление диктатора. В течение августа семь человек ближайших исполнителей террора были повешены в Вильне. Эти казни и аресты нагнали на заговорщиков такой панический ужас, что из Вильны разбежались все уцелевшие приспешники диктатора. Калиновский остался один, и даже ржонд варшавский прекратил свои домогательства укротить и подчинить его своей власти. Ржонд хотел теперь помимо его отвоевать себе Северо-Западный край и потому снова собрал шайки с Августовской губернии, для вторжения в пределы Гродненской и Ковенской территории. Августовские крестьяне ответили на эту новую попытку известной депутацией, которая 6-го августа явилась к Муравьеву, прося его принять августовских крестьян под свою защиту для спасения от неистовств и насилий.

"Июльская катастрофа", так сказать, наступила мятежу на горло и окончательно задавила его в Северо-Западном крае. Дальнейшие проявления были уже только агонией, предсмертными его судорогами. Такие результаты были достигнуты глубоко обдуманными, а главное — решительными мерами. Исполнено было то, что до того почиталось невозможным.

Муравьев за мятежными шайками, за этим видимым проявлением мятежа, видел и скрытую во тьме мятежную организацию, а за этой последней — мятежную польскую интеллигенцию, питаемую шляхетными традициями и иезуитизмом костела, из-за которых на почве северо-западной России периодически возобновляется борьба русской силы с чужеядным полонизмом.

Но наконец-то русские люди увидели в этом Крае возрождение общественных признаков русского господства и русской жизни, увидели возобновление разрушавшихся православных храмов, администрацию — русскую по своему личному составу, водворение русского языка в школах, в общественных и присутственных местах, русские вывески, русские гульбища, русский театр. Но рядом с этими наружными признаками были положены и внутренние начала к коренным преобразованиям. Едва прошло две недели со дня прибытия Муравьева — мятеж еще кипел и бушевал, паны и шляхта были полны еще тревожных ожиданий иноземной вспомогательной силы, а Муравьев, чуя за собою мощный голос целой поднявшейся России, и ободренный настроением местного русского земледельческого населения, сделал уже первые

распоряжения об устройстве быта сельчан, основанные на истинном духе и смысле "Положений 19-го февраля", а не на своекорыстных и лукавых изворотах польской «легальности». Призванные сюда русские мировые посредники приступили к делу в духе закона, равно обязательного для обеих сторон — столь же и для панов, сколько и для хлопов, а озабоченное местное дворянство, искони привыкшее понимать, что действие закона есть собственно не что иное, как пристрастная поддержка его дворянских выгод и интересов — это дворянство завопило в заграничных листках "о правильно организованном грабеже", о социализме и коммунизме Муравьева и его посредников. В июле поверочные комиссии уже приступили к работам, а в то же самое время были положены прочные начала и к тому, чтобы местные воспитательные и учебные заведения не могли уже быть на будущее время рассадниками ополяченных патриотов и патриоток. Русский народ и русское преподавание смело, как коренные хозяева, вошли в мужские и женские гимназии и школы, а вместе с тем даны были широкие средства и приложено полное внимание к учреждению наивозможно большего числа чисто русских сельских школ для образования народа.

XIX. Железный человек

Арест Хвалынцева продолжался несколько недель. В течение этого времени один только доктор Холодец да Татьяна, в качестве госпитальной «сестры», могли навещать его в положенное время. Они знали теперь причину этого ареста, узнали и тот путь, который вовлек Константина в заговор, и те нравственные укоры, которые суждено ему было переиспытать, и потому-то теплое, дружеское участие обоих служило ему немалым источником нравственной поддержки и утешения: в их лице он видел, что порядочные люди от него не отвернулись, что девушка, любившая его когда-то, остается ему добрым другом, со всею ободряющей силой, со всей мягкой деликатностью, на которую бывает способно всепрощающее, простое и чистое сердце женщины. Ни намеком, ни взглядом никогда не выразила она ему ни малейшего упрека за прошлое, но при этом слово «любовь» все же не выговаривалось как-то между ними. Татьяна новая, какую узнал и понял он только теперь, оставалась для него, как и в первое время болезни, только другом, только «сестрой». Что касается сурового будущего, которое должно последовать за этим арестом, Константин и теперь, как прежде, ждал его покорно и спокойно. Порою одно только удивляло и его, и друзей его: это то, что дни ареста проходили за днями, а между тем он ни разу еще не был подвергнут даже предварительному допросу со стороны местной военно-следственной комиссии. Холодец попытался разведать стороной, есть ли в этой комиссии какое-либо дело или переписка о Хвалынцеве, но оказала, что ни дела, ни переписки никакой не имется, да и не было.

Между тем, лечение пришло к благополучному концу; Константин чувствовал себя уже совершенно здоровым и мог легко и свободно владеть рукой. Он подал рапорт о выздоровлении и в тот же день был перемещен на городскую гауптвахту. Здесь уже посещения друзей поневоле прекратились, так как, при строгом аресте, к нему не допускали никого.

Однажды, ранним утром, в камеру, где содержался Хвалынцев, вошел жандармский поручик и разбудил его.

— Потрудитесь поскорее одеться: вы должны немедленно ехать, — сообщил он.

— Куда?.. Верно, в комиссию?.. Наконец-то! — проговорил Константин, испытывая даже чувство некоторого довольства при мысли, что сообщение жандармского офицера, вероятно, предвещает ему скорый конец той томительной скуке и темной неизвестности, в которых находился он со дня перемещения на гауптвахту.

— Вы едете в Вильну, — продолжал жандарм. — Я получил предписание сопровождать вас по

железной дороге.

— В таком случае, — сказал Хвалынцев, — вам, вероятно, известно, и то место, куда вы должны меня сдать по приезде?

— Без сомнения, — улыбнулся жандармский поручик.

— А не будет с моей стороны нескромностью, если я спрошу вас куда именно?

— Нимало… Отчего же!

— В таком случае?..

— Мне велено доставить вас непосредственно к генерал-губернатору, — сообщил офицер. — Однако, одевайтесь живее, — поторопил он арестанта, взглянув к себе на часы. — Мы отправляемся сейчас же, с утренним поездом.

Хвалынцев не заставил долго ожидать себя и через десять минут, вместе с конвоиром, ехал уже на железную дорогу.

* * *

Приемная зала в виленском дворце была полна посетителями, когда дежурный адъютант ввел туда Хвалынцева, который был сдан ему с рук на руки жандармским офицером.

Константин скромно поместился у крайнего окна и издали стал осматривать присутствовавших. Все, что собралось здесь, ожидало утреннего выхода грозного генерала. Затаенное беспокойство, робость и томление ясно отпечатлевались на многих лицах из числа тех, которым довелось еще впервые присутствовать и ожидать в этой зале. В одном конце стояла, тихо разговаривая, группа военных генералов и штаб-офицеров, затянутых в полную парадную форму; в другом — группа статских чиновников, между которыми виднелось два-три священника и несколько черных фраков с серебряными крестами в память работ по освобождению крестьян и с широкими золотыми цепями на шее. То были некоторые из новых мировых посредников, вызванных из внутренней России. Рядом с ними в каком-то напряженном и благоговейно-чинном молчании стояло несколько крестьянских депутаций со своими сельскими старостами и старшинами; несколько евреев с раввином, несколько смиренноликих ксендзов и монастырских опатов (настоятелей), десятка полтора панов-помещиков, предстоявших здесь частью во фраках, но более в своих дворянских мундирах, затем несколько обывателей с разными просьбами и несколько польских дам-просительниц под вуалями, с бледными и грустными лицами, которые так не гармонировали с веселым и светлым цветом их нарядов… Тут был и пан Пшепендовский, "присоединившийся и воссовокупившийся", которому, после неудачного повстанья, очень хочется с помощью «воссовокупления», вынырнуть на теплое местечко, "для того как он наусегда был верным собакой и увесь живот свой под престол отечества желает подложить". Тут был и пан грабя Слопчицький, который с юркостью вертелся между русскими чиновниками, найдя среди их своих петербургских знакомых и видимо желая показать пред "виленьскими родаками", что он тут "свой человек", на короткой и независимой ноге, "совсем sans faèon", и потому, значит, он «сила», дипломат, политик и необычайно ловко умеет обделывать свои делишки.

Вглядываясь пристальней, Хвалынцев, среди дворянской группы, заметил и своего знакомца, пана Котырло, который тоже явился сюда с заявлением о своем всегдашнем «наивернопреданьстве», лелея мысль "о примиренью и забвенью". Над этими двумя группами ксендзов и панов, по преимуществу, веял дух томления и уныния, который они старались

прятать под личиной кротости и покорства.

Но вот распахнулись двери — и из смежной комнаты, среди мертвой тишины, водворившейся в зале, ясно послышался звук старчески медленных, но твердых шагов. Хвалынцев мог заметить, как невольно побледнели и вытянулись польские лица при мерном стуке этой походки. Несмотря на все свое предшествовавшее спокойствие, он сам почувствовал внутри себя нечто жуткое, замирающее, при наступлении минуты, которую имел полное право считать для себя решительной и роковой.

В дверях показалась столь характерная и всем известная фигура.

Ни на кого не глядя, ни к кому не обращаясь, генерал вышел на середину залы и, сделав общий поклон, не торопливо, но зорко и внимательно, несколько исподлобья осмотрелся вокруг и обвел своим пристальным взглядом одну за другой все собравшиеся группы. Затем, заметив православных священников, направился прямо к ним и подошел под благословение седовласого протоиерея, как старшего между ними. Внимательно выслушаны были просьбы и заявления священников, и еще внимательней и радушней были они отпущены после аудиенции. Смиренноликие ксендзы, искоса поглядывая на них, достаточно могли понять и оценить значение и смысл такого приема и предпочтения, оказанного прежде всех представителям православного духовенства, тогда как до Муравьева это предпочтение всегда принадлежало им, а не русским священникам.

Последовало представление военных и гражданских чиновников, затем крестьянских депутаций и наконец дошла очередь до панов-помещиков. С тем же сосредоточенным вниманием выслушивал генерал заявление каждого из них и негромким голосом делал свои вопросы и замечания. Этот голос был тих, совершенно спокоен и в высшей степени ровен, таков же точно был и взгляд; но перед этим голосом и взглядом, где просвечивала железная, непреклонная воля, испытывали неодолимое смущение и трепет те самые магнаты, которые искони сами привыкли, чтобы перед ними все преклонялось и трепетало. А как были глубоко почтительны и низки те поклоны, которые отвешивали эти гордые головы и негнуткие спины, когда генерал, выслушав одного, переходил к следующему!.. При виде этого человека, Хвалынцев в этой сдержанности и строгой простоте его почувствовал присутствие действительной и громадной нравственной силы, перед которой невольно гнулась и немела иная сила, заносчивая, кичливая и самонадеянная.

Но вот, обходя постепенно присутствовавших, генерал остановился, наконец, перед Константином и поднял на него взор с выражением вопроса.

— Корнет Хвалынцев, — назвал его дежурный адъютант, следовавший за генералом с листком бумаги, на котором записаны были фамилии представлявшихся.

Старик несколько мгновений держал Константина под магнетическим влиянием своего пристального, твердого и внимательного взгляда, который был встречен однако взглядом открытым и прямым, и затем, с легким полупоклоном промолвил «подождите», отошел по порядку к одной из просительниц.

Минут через двадцать аудиенции были окончены, и те же твердые, медленные шаги затихли за затворившеюся дверью. Публика мало-помалу удалилась, и наконец Хвалынцев остался один в этой громадной опустевшей зале, которая на своем долгом веку видела в своих белых стенах столько монархов и столько исторических личностей. Но вот, чрез несколько минут появился вновь дежурный адъютант и пригласил Хвалынцева следовать за собою в кабинет генерал-губернатора.

При этом у Константина невольно екнуло и шибче забилось сердце. Роковая минута наступила. Он постарался собрать все присутствие духа, чтобы, по возможности, спокойнее и тверже переступить порог кабинета, пред дверью которого адъютант его оставил, пригласив жестом следовать далее.

Хвалынцев очутился в довольно обширной и чрезвычайно просто убранной комнате, где стояли старинной формы стулья и кресла с деревянными спинками и кожаным сиденьем, старинные большие часы, огромная карта Северо-Западного края и очень большой рабочий стол, за которым, в расстегнутом сюртуке, с дымящимся длинным чубуком сидел тот, которого звали "грозою литвинов".

Он тяжело, с некоторым усилием, поднялся с кресла и пригласил Хвалынцева приблизиться

— Я получил ваше письмо, — начал он все тем же тихим и ровным голосом, глядя ему прямо глаза своим неотводным и внимательно испытующим взглядом. — Должен сознаться, — продолжал он, — что это письмо понравилось мне, оно писано очень искренно и с честным чувством. Однако же я счел нужным на время арестовать вас. Это, между прочим, нужно было и затем, чтобы собрать о вас более полные сведения да и проверить отчасти то, что вы говорите. Очень радуюсь, что собранные факты вполне подтвердили о вас доброе мнение, которое я составил себе, судя по этому письму. Вы увлеклись, конечно, но… кто молод не был!.. И притом же вы собственною кровью дважды искупили ваше заблуждение. Этого довольно. Возвращаю вам ваше оружие — вы свободны от ареста.

И с этими словами он подал Хвалынцеву его саблю.

Константин мог ожидать всего, но уж никак не такого исхода. Он едва верил своим глазам и уху — до такой степени расходился факт, совершившийся сию минуту, с представлением о "бессердечном варваре", о "виленском палаче", как трубили об этом человеке на весь мир европейские газеты. Луч беспредельной, глубокой и живой благодарности красноречиво, хоть и безмолвно сверкнул в радостном взоре Хвалынцева.

Старик заметил это и добродушно слегка улыбнулся.

— Садитесь, корнет!.. Потолкуем! — указав на кресло, вдруг неожиданно предложил он, когда тот подстегнул возвращенную саблю. И, к пущему удивлению Хвалынцева, в тоне, которым были сказаны последние слова, и в том выражении лица, какое их сопровождало, вдруг сказалось необычайно много доброй и разумной простоты и такой сердечности, которая встречается как коренное свойство в матерых русских натурах. Это широкое, старчески-обрюзглое лицо, озаренное теперь благодушно-серьезной улыбкой, этот чубук, дымящийся в губах, спокойные, умные глаза и даже этот сюртук расстегнутый — все это так живо, так наглядно представляло патриархальный, беспритязательный тип русского, матерого барина, в его простом деревенском обиходе, и ничто не напоминало в нем того грозного человека, пред которым несколько минут назад трепетало столько человеческих существований.

— Я получил о вас наилучшую аттестацию от вашего командира, — заговорил старик, пыхтя из своей трубки. — Вас рекомендуют, как дельного и даровитого офицера, да кроме того, вы из университета, стало быть, человек не без образования… Скажите, какие ваши намерения, и вообще, что вы думали бы относительно дальнейшей вашей жизни?

— Служить, — ответил Хвалынцев.

Генерал на минуту задумался.

— Хотите служить у меня? — предложил он. — Мы, даст Бог, сойдемся поближе, я узнаю покороче ваши способности, и тогда... мне сдается, что вы с пользою могли бы послужить в этом Крае по крестьянскому делу. Что вы на это скажете?

Константин сказал, что служба этого рода всегда казалась ему очень симпатичною, что еще в университете, прежде вступления на военное поприще, он предполагал посвятить себя именно этой службе, в губернии, где находится его имение, и с этою целью изучал "Положение 19-го февраля" и внимательно следил за ходом крестьянского дела.

Умный и проницательный старик в дальнейшем разговоре очень тонко и незаметно сумел, так сказать, выщупать и проэкзаменовать Константина относительно его знакомства с крестьянским делом и, в конце концов, остался доволен полученными результатами.

— Я зову вас к себе именно для крестьянского дела, — заметил он, подымаясь с места, причем, конечно, поднялся и Хвалынцев. — В здешнем Крае это теперь самое настоятельное и святое дело, для которого мне прежде всего нужны честные люди. Но, — продолжал генерал, — прежде чем приступить вам к работе, я хочу, чтобы вы вполне познакомились с моим взглядом на условия жизни этого края. Помните, что Северо-Западный край — *Россия,* а проживающие в нем враждебные России поляки и ополяченные сотрудники польской справы суть изменники и мятежники, без всяких облегчающих обстоятельств. Мои меры круты, я знаю это, но все мои меры истекают из одного основного положения: очистить эту русскую землю от всего польского наноса, истребить, искоренить все, что польская интеллигенция, русской жизни враждебная, исподволь успела вдавить крамольного в русскую почву и которая в течение пяти веков терзала здесь Русскую землю. Вы должны твердо помнить и глубоко сознавать, что здесь народ — *русский,* шляхетство — *ополяченное,* а каждый вновь воздвигаемый костел — новое знамя для мятежной борьбы против русской жизни. Таков окончательный вывод исследований минувших судеб и настоящего положения западной России. И когда, с изгнанием полонизма, ополяченный Западный край снова станет русским, тогда немыслимо будет никакое восстание и в Польше; тогда исчезнут и иноземные надежды иметь в поляках постоянную фистулу против силы России.[274]

XX. "Патриоты"

Так как Хвалынцев был привезен в Вильну только в том, что было на нем надето, то ему в тот же день пришлось возвратиться в Гродну, чтобы взять там свое белье и кое-какие необходимые вещи, доставленные к нему из эскадрона еще во время лечения его в госпитале.

Торопясь захватить пассажирский поезд, он из дворца поехал прямо на железную дорогу.

Светло и мирно было теперь у него на душе, точно бы с него разом сняли тяжелый гнет, точно бы почувствовал он в себе прилив новых сил, новой энергии и нравственной бодрости. С светлым упованием и верой смотрел он на будущее, на честный и серьезный труд, который предстоит ему вскоре. Словно из бронзы отлитый, вставал перед ним типичный и характерный образ старика, железного деспота, пред которым в зале трепетало столько людей, и доброго, простого человека, который в своем кабинете успел чутко подметить честное сердце в молодом человеке, разглядеть на что он годен, ободрить, поднять его нравственно своим доверием и сразу приурочить к тому делу, где он мог принести самую существенную пользу своей стране и народу. С признательным, горячим чувством в душе, Константин дал самому себе обет посвятить всю жизнь, все силы свои этому благому делу и честно идти твердым, неуклонным путем к той цели, которую показал ему прозорливый и разумный опыт сильного умом и волей "железного человека".

Наскоро пообедав в столовой дебаркадера, он взял билет и поспешил заранее занять себе в вагоне место поудобнее. В том отделении, дверцу которого растворил пред ним кондуктор, сидел уже какой-то пассажир. Хвалынцев поместился напротив и искоса оглядел его таким взглядом, каким всегда оглядывают входящие в вагон своего случайного соседа. Это был тучный, отменно упитанный человек несомненно российского, черноземного пошиба, представитель тех благосклонных и мирных захолустий, от которых, по выражению гоголевского городничего, "хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь". Что-то смутно знакомое, где-то виденное, когда-то встреченное сказалось Хвалынцеву в лице и во всей фигуре упитанного соотечественника. "Кто бы такой это мог быть?" подумалось ему в то время как пытливый взгляд искоса еще раз скользнул по лицу соседа? — "Ба!.. да ведь это славнобубенский привилегированный и праздноживающий остряк и философ Подхалютин!" вдруг домекнулся он, ясно припомнив себе данного субъекта с последним брошенным на него взглядом. Константин уже хотел было сказать ему "здравствуйте!" но вовремя вспомнил, что представлены они друг другу не были а только встречались кое-когда и кое-где в славнобубенском обществе. Поэтому, вместо «здравствуйте», он прислонился поудобнее в угол своего эластического сиденья и развернул пред собою нумер какой-то петербургской газеты, купленный на станции.

Уже пробил второй звонок, когда перед дверцею вагона послышался снаружи чей-то хрипло-басистый голос:

— Кондуктор!.. Эй! Что вы, дьяволы, оглохли здесь, что ли? Или, полячье, по-русски не понимаете?.. Я вас выучу, р-рака-лии!.. Отводи мне место в вагоне, где попросторнее!

Кондуктор раскрыл дверцу и между Хвалынцевым и его vis-a-vis неуклюже полезла в вагон чья-то кудластая, бородатая, несуразная и высокая фигура, с поднятым до ушей воротником толстого пальто, в надвинутой на глаза войлочной шляпе, с саквояжем, дубиной, подушкой, шляпным футляром и волочащимся пледом. Фигура наконец влезла, ворча себе под нос какие-то нелестные эпитеты, невесть к кому обращенные, и повернувшись задом к своим соседям, с кряхтеньем и сапом стала возиться в другом конце отделения, размещая и прилаживая свои дорожные вещи.

Хвалынцев, не обращая внимания на неуклюжую возню нового пассажира, продолжал читать свою газету, как вдруг:

— Ба-ба, ба!.. Знакомые все лица! — раздался около него приятно удивленный голос, и прежде чем успел он опомниться, его уже облапили чьи-то бесцеремонные объятия, а уста, обрамленные мохнатою растительностью, напечатлели на щеке его мокрый поцелуй. От этих уст Константина обдало спиртуозным букетом, и едва успел он несколько отстраниться да поднять глаза, как вдруг, к необычайному изумлению своему, воочию узрел пред собою Ардальона Полоярова.

— Не ожидали-с?.. Признаюсь, оно точно!.. Ха, ха, ха!.. И сам я не ожидал, ей-Богу!.. Здравствуйте, батенька! — говорил он своим обычным бесцеремонным тоном по-видимому вовсе не замечая того холодно-удивленного взгляда, которым уставился на него Хвалынцев. Быть может, впрочем, к такому настроению располагало Ардальона Михайловича то состояние "легкого подпития", в каком обретался он в данную минуту. — Астафий Егорыч! Батенька! Голубчик! А вы-то здесь какими судьбами? — отвернувшись на минуту от Хвалынцева, говорил меж тем Ардальон Подхалютину, растопыря пред ним руки и готовясь точно так же заключить и его в свои непрошеные объятья.

— Извините... С кем имею честь? — как-то затруднительно поеживаясь, промямлил ему

Подхалютин.

— Господи!.. Да неужели не признали?.. Ардальона-то Полоярова?.. Батенька!.. Это ведь я самый!.. В Славнобубенске-то мы с вами хоть и не близко были знакомы — так только, встречались кое-где, но я помню как вы всех этих тамошних прохвостов отлично чехвостили, и я всегда вам в том сочувствовал и от всей души за то вам в ножки кланяюсь и уважаю!

Эта несуразная, грубая лесть не осталась однако без воздействия на податливую натуру острослова, который впрочем, не зная близко господина Полоярова, мог относиться к нему вполне безразлично, и потому подкупленный его «сочувствием», "уважением" и "поклоном в ножки", с радушной улыбкой, словно бы и в самом деле узнав в его лице своего хорошего старого знакомца, протянул ему руку.

Полояров, которому такое пожатие, что называется, "пошло в повадку", не замедлил тотчас же подсесть к Подхалютину рядом.

— Ах, батенька, — заговорил он даже в несколько умиленном тоне, — просто, не поверите вы, как то есть это приятно здесь, в этом крае, так сказать, просто на чужбине, среди этого, знаете, подлого полячья, вдруг встретиться с настоящим русским человеком! Да еще со старым знакомым, с земляком! Ведь, это то есть, просто как родного встретишь!

"Однако что ж это такое?" подумал себе при этих словах Хвалынцев, кинув из-за газеты любопытный взгляд на Поло-ярова. "Что за метаморфоза?.. Ардальон Полояров в роли «патриота» да еще не просто, а квасного патриота!.. Курьез да и только!"

И он, оставя на время газету, решился не только прислушаться, но даже, если потребуется, то и вступить с Ардальоном в подходящий разговор, лишь бы уяснить себе смысл и значение явления столь неожиданного и курьезного.

— Ну, скажите вы мне, — говорил меж тем Ардальон острослову, — давно ли вы из Славнобубенска?

— Не более недели, — отвечал тот.

— И верно за границу катите?

— Я-то?.. А что я там забыл? Что мне там делать?.. Я ведь без крайней нужды не езжу никуда, все больше дома привык сидеть. А здесь, вот неподалеку… В Гродненскую губернию еду.

— Батенька! Да ведь и я туда же! — радостно выпучил глаза Ардальон Михайлович.

"Вот те и на!" подумал при этом Хвалынцев. "Как это, зачем и для чего бы Полоярову ехать вдруг в Гродненскую губернию?"

— Нешто на службу? — слегка нахмурился Полояров, уставясь с серьезным видом на Подхалютина.

— Нет, имение покупать, — объявил упитанный философ. — Русскому делу, батюшка, послужить хочется… Теперь в Крае, пишут вон в газетах, требуется усиление русского землевладельческого элемента, и сказывают, что из конфискованных имений есть прекрасные, и будто вскоре можно будет любое приобрести за сущие пустяки, за бесценок! Так вот и еду, чтобы заблаговременно выглядеть себе подходящее.

"Экой свинтус!" невольно подумалось Хвалынцеву. "Русскому делу послужить, за бесценок, в пользу собственного кармана! И с каким достолюбезным, наивным цинизмом все это высказывается!"

— А *вы* здесь, батенька, какими судьбами? — обратился вдруг Полояров к Константину, с бесцеремонной любезностью дотронувшись ладонью до его колена.

— Что я-то здесь, в том нет мудреного: служу, как видите, — пояснил ему Хвалынцев, не замедлив убрать свое колено из-под руки Ардальона, — а вот лучше объясните, какими это судьбами вы-то сюда попали?

— А очень просто-с. Русских чиновников стали на службу вызывать, и притом на усиленных окладах... А я тоже некогда чиновником был, административное место занимал — дело, значит, знакомое — ну и поехал! И вся недолга!.. У нас ведь из этого просто!

— Вы какое же место занимать изволите? — спросил его Подхалютин.

— Мм... Да пока еще, собственно, никакого... Надо, знаете, осмотреться сначала, сообразить что будет поподходящее... Я послан пока в распоряжение гродненского губернатора, а там посмотрим... Может по акцизу, может по контролю — не знаю еще... Но самому мне хотелось бы лучше по администрации или по крестьянскому делу... Вообще что-нибудь такое, где бы можно было, знаете, непосредственное влияние оказывать, то есть, знаете эдак того... в ежовых-с...

И при этом Ардальон сделал такого рода выразительный жест, как будто ухватил за шиворот кошку, сжал в кулак и нагнетательно придавил ее к полу.

— Вы представлялись в Вильне? — спросил Подхалютин.

— А как же-с!.. Всенепременнейше! — не без самодостоинства похвалился Полояров. — И даже могу сказать целый анекдот произошел при этом! Прекурьезная штука, ей-Богу!

— А именно? — с видом внимания подвинулся к нему философ.

— А именно, что когда я представлялся, *он* меня и спрашивает: "Давно ли приехали?" А я ему на то говорю: "То есть куда это? в Вильну?" Заметил, что сказал я *Вильну,* а не Вильно. "А! говорит, у вас Вильна склоняется?" А я ему: "Не токма что Вильна, говорю, но пред вашим превосходительством *все здесь склоняется,* так уж Вильна-то и подавно!" А? Каково загнул?.. Ловко?! Ха, ха, ха! Понравилось! Ей-Богу!

— Ну, и что же вам сказал на это?

— Он-то?.. Мм... то есть... Ничего не сказал... Посмотрел... только исподлобья и прочь отошел... Но я знаю, что понравилось... Мне один человек сказывал... Да и не могло не понравиться, согласитесь, потому оно и смело, и находчиво, и комплимент, и правда, и все что хотите!

Философ хотя и безмолвно, одним только движением головы, но все-таки выразил, что конечно вполне соглашается.

— Знаете, — продолжал Полояров, подвинувшись еще ближе к соседу и, с видом задушевной откровенности, многозначительно и таинственно понижая тон. — Я вам скажу-с, что этого человека никто не понимает: ни Россия, ни Европа... Да-с, не понимают! Но... могу сказать, я его понял, заочно понял, и потому пошел сюда на службу... Вы думаете, он что такое?

Патриот? Генерал? Укротитель?.. Хе-хе!.. Все это вздор-с! Ничего не бывало!.. Н-нет-с, тут подымай выше!.. Не знаю, понимает ли и сознает ли даже он сам свое предопределение, свои задачи и цели так, как, например, я их понимаю, но… между нами сказать, окружен-то он не совсем удачно. А кабы ему да побольше людей нашего бы закала!.. Го-го! Мы бы всю эту «реформу» живо двинули да и до конца довели бы… Радикально-с. То есть, во как!

И Ардальон опять выразительно сделал свой жест радикального свойства. Найдя себе охочего и досужего слушателя, он рад был поболтать, а под воздействием своего «подпития», и сам не замечал, как выбалтывается все больше да больше, да и насчет такого, про что в трезвом состоянии обыкновенно хранил угрюмое, но многозначительное молчание.

— *Наши,* к сожалению, не понимают этого и ругают, — все в том же таинственно-откровенном тоне продолжал Полояров. — А почему? Потому дураки! Не знают, где раки зимуют!.. А я понял!.. Н-да-с! я понял… и не убоялся идти сюда на службу… *Они* меня теперь, пожалуй, подлецом ругают, думают, поди-ка, что я перекинулся и продал себя; а я не подлец, я — пионер!.. Я смотрю так, что все равно с кем бы ни идти: с ними ли, или с правительством, лишь бы я шел к честной идее. Не так ли?.. А *они* ругают!.. А мне плевать! Ругай себе сколько хочешь, брань на вороту не виснет!.. У меня прежде всего — идея… То-есть, вы понимаете, *честная* идея… Я, например, батюшка мой, однажды целый капитал мог бы иметь… Двадцать пять тысяч — шутка сказать!.. Н-да-с! Капитал!.. И уж ведь совсем вот в руках был, проклятый, взять бы да в карман положить его, а я нет… Упустил!.. То есть не то что *упустил,* это я вру, не то слово сказал, но отказался… сам добровольно отказался, *потому у меня* прежде всего, говорю, идея, да и свои убеждения тоже!.. Понимаете-с?

Философ опять в сочувственном смысле утвердительно покачал головой.

— А они пущай ругаются! Сволочь! — презрительно махнул Ардальон рукою.

— То есть кто это они?.. русские? — осведомился Подхалютин.

— Не-ет, помилуйте, какие там русские! нигилисты!

— Да-а?! — с удивлением расширил рот и выпучил глаза философ, словно бы ему довелось услыхать интереснейшую и необычайную новость.

— Да, нигилисты, — подтвердил Полояров, — *Они!.. Все они это!..* Дрянной народишко, никак с ним каши не сваришь!.. Уж на что в нашей ассоциации, устроил было я им коммуну, и все это, понимаете, прекрасно так, образцово, на разумных экономических началах… тут и ассоциация труда, и самопомощь, и круговая порука, артель и равноправие, и все такое…

— Ну, и что же?

— Сорвалось!.. И не то, чтобы полиция, — нет-с, а просто сами разрушили… Во-первых, даже мне самому доверия никакого не делали, а без доверия разве возможно? Сами подумайте!.. А во-вторых, никакого единодушия не было… Один под другого мины да подкопы, да подвохи разные… Подлецы!.. Однако же я не унывал, и кое-как удалось мне все это снова сплотить — и опять-таки разрушили…

— Кто же на этот раз был разрушителем? — вставил вопрос Хвалынцев, для которого исповедь Полоярова не лишена была даже своего рода психического интереса.

— Анцыфров плюгавый, — помните? сообщил тот.

— Это ваш-то сателлит неизменный?!

— Какой он сателлит! Просто, сволочь, и только! Вообразите себе, — и Полояров снова фамильярно дотронулся до колена Хвалынцева. — Жили мы этто сообща вчетвером: я, он, Малгоржан некто, да еще Затц… Помните в Славнобубенске Лидиньку Затц? — обратился он к Подхалютину.

— Как же, она и теперь там, — подтвердил философ.

— Ну, вот!.. Возжался я было одно время с ней, хотел перевоспитать, думал, прок будет, да надоело, потому — дурища… Она после этого и подружись с Анцыфровым, а потом и Малгоржана в гражданские мужья на пристяжку взяла — вместе, значит. Анцыфров и ну ревновать! Она его била за это, больно-таки била — ей-Богу! Иной раз даже жаль беднягу станет, как усядется с ножками на подоконник, в комочек эдак, и горько плакать начнет, — это после трепки-то… Тут его и место постоянное было, на подоконнике. Только, знаете, терпел, терпел он это, да вдруг… И подумаешь, кто бы ожидал от этого зайца подобной-то прыти!.. Нос откусил ей, представьте!

— Как нос? — воскликнули в один голос оба слушателя.

— Да так! Нос, как есть нос! Ей-Богу!.. Больно уж, значит, окрысился. Как захватил его, среди горячей трепки, зубами, так и отмахнул по самый хрящик!.. Пожевал, пожевал, да и выплюнул. — Это со злости-то… Каков? Думали уж было мы пришить бы ей как-нибудь кончик-то, да ничего не поделаешь, никак не возможно, потому в сумятице-то этой как-то нечаянно его под каблуком раздавили — вконец негоден стал… Так и осталась без носу… Ну, а в таком виде, сами согласитесь, что же ей в Петербурге-то делать? И поневоле должна была к мужу в Славнобубенск вернуться.

— И тот ее принял? — спросил Хвалынцев.

— А как же ж бы не принять-то? Ведь она по начальству пошла, как законная жена. Кто ж ее иначе содержать бы стал, без носа-то? Ничего не поделаешь!

— Но зато, вернувшись на мужнее иждивение, она, по крайней мере, не может сказать, что осталась с носом, — плоско сострил славнобубенский острослов и философ.

— Да, вам хорошо говорить, вам все смешки да шутки! — с легким упреком возразил Полояров. — А подумайте каково мне-то было!.. Нос!.. В сущности что такое нос?.. Ну, что такое нос, я вас спрашиваю? — Нюхательный и сморкательный аппарат, не более. А между тем, из-за этого дурацкого носа целое предприятие погибло!.. И какое предприятие!.. Честное, высокое, проводящее в жизнь новые начала!..

— Это коммуна-то? — домекнулся Подхалютин.

— Н-да-с, коммуна! Подите-ка, устройте ее снова!.. В этом проклятом, пошлом обществе — я вам говорю — ничего не устроишь путного! Ты для них надрываешься, из кожи лезешь, мозг костей своих сушишь, а они, пошляки, возьмут да сами же все и разрушат!.. Сволочь, как есть сволочь, и только! Плюнул я на них после этого и прочь пошел. Что ж, когда не понимают!..

— Но почему же нос разрушил коммуну? — методически спросил Подхалютин.

— А потому что не с кем стало жить: Затц уехала, Анцыфрика в кутузку засадили — не кусай, значит, носов! — и остался я один с Малгоржаном, а эта свинья восточная вдруг вздумала было

жить на мой счет, на даровщинку. — "Ну, уж нет, думаю, это аттанде-липранди!" Ассоциация труда — дело иное, а на мои заработчие деньги — шалишь кума, в Саксонии не бывала! И протурил его к черту… то есть, вернее сказать, сам переехал в шамбр-гарни… Ну, и облыкался это кое-какое время по Питеру, по редакциям путался, а тут вдруг повстанье это поднялось, весна пришла, в Северо-Западный край русских деятелей вызывать стали, — я подумал-подумал, да и махнул себе! — "Все, мол, склоняется, так уж Вильне-то и подавно!.." Ха, ха, ха!.. Н-нет, черт возьми, каково ловко загнул-то, подумайте!.. А?.. Какову фразочку отмочил ему!.. Курьез да и только! Ведь это, просто, хоть в историческую христоматию! Ей-Богу!..

— Но только уж здесь едва ли коммуну заводить придется? — с видом добродушия, слегка подтрунил Подхалютин.

— Здесь-то?.. А что вы себе думаете? — многозначительно и самохвально подмигнул Ардальон Михайлович. — Здесь, гляди, можно, пожалуй, завести кое-что и пошире коммуны!.. Коммуна — это для Питера было хорошо, а здесь ведь почва-с! Непочатая почва! Простор!..

— Да что вы с этой почвой сделаете?

— Как что?.. Мало ли что!.. Помилуйте! — Во-первых, это полячье проклятое, паны. Что такое паны? — Привилегированное сословие, дворянский элемент, феодальные традиции — гни их в бараний рог, сметай долой! Это одно уже расчищает почву. Во-вторых, ксендзы. Что такое ксендзы? — Представители религиозного культа — долой его! Довольно уже было в истории невежества и суеверий!.. Дайте мне только волю, я б вам показал, что можно тут сделать! Но… в двух главных вещах я радикально не согласен с Муравьевым. Он хочет на место польского землевладения водворить русское. Это вздор. Не надо никакого землевладения, никакого дворянства, никакой интеллигенции, ни польской, ни русской! А потом — это православие, на место ксендзов-то. Это уж, по-моему, еще хуже! Народ здесь, говорят, индифферентен к религиозным вопросам; тем лучше: этим, по-настоящему, следовало бы воспользоваться, пока не ушло еще время. И этого-то наше дурачье не понимает!.. Вот-с почему я и говорю, что Муравьев все-таки ниже своей задачи: он не сознает, в чем настоящая суть, не понимает дела так, как должно, как понимают его люди иного закала. А пойми он только да захоти — го-го! Чтобы тут можно понаделать! Батюшки!..

— И вы с такими взглядами едете сюда на службу? — уже без малейшей тени прежней своей благосклонности, очень сухо и даже неприязненно спросил Подхалютин, которого стало очень-таки неприятно покоробливать во время сего последнего монолога.

— А что же-с? Чем не взгляды? — отозвался внезапно озадаченный Ардальон. — Нешто вы иных придерживаетесь?

— Помилуйте, я — патриот…

— Да и я патриот! — подхватил Полояров.

— Я русский человек, — не слушая и подфыркивая, продолжал недовольный философ.

— Да и я, кажись, не французский!

— Я, наконец, сам дворянин, и еду теперь именно с целью, как вы говорите, водворять русское землевладение, имение глядеть…

— Да и я поглядел бы! — Разве я прочь от этого? Зачем не поглядеть, помилуйте! И выходит, что нам не из-за чего спорить! Мы, в сущности, совершенно согласны друг с другом, а ежели я

что и говорил, так это только так, вообще… Больше с отвлеченной, теоретической точки зрения, для приятного разговора, не более-с!.. Могу вас честью уверить!.. Я вам, кажись, и за правительство стоял, и нигилистов ругал — припомните, разве неправда?.. А впрочем извините, ежели что не показалось…

И Ардальон с заискивающим взглядом и улыбкой, как бы ища себе нравственной поддержки, хотел было обратиться к Хвалынцеву, но тот круто взялся за свою газету, не обратив ни малейшего внимания ни на улыбку, ни на взгляд Ардальона.

Полояров почувствовал себя не совсем-то ловко. Он только теперь спохватился, что благодаря «подпитию», заболтался чересчур уже далеко и храбро, а потому и не замедлил струсить.

Упитанный философ отвернулся от него к окну и, явно показывая, что не желает более продолжать разговора, упорно глядел сквозь стекло на несущиеся мимо телеграфные столбы, желтоватые поля и жиденький ельник. Хвалынцев тоже углубился в газету.

Полояров посидел-посидел, как на иголках, бесцельно повертел в руках папироску, поулыбался какой-то не то смущенной, не то иронической улыбкой, но наконец, видя в своем смущении, что ничего далее не высидишь, неуклюже поднялся с места, перешел на свой диван и грузно бухнулся на него всем своим телом, с ногами. Затем, повернувшись к соседям спиной да уткнув нос в подушку, сначала притворился будто спит, а потом и в самом деле захрапел с похмелья.

XXI. Он сам хотел того

Прямо с машины Константин полетел на квартиру к Холодцу, который жил вместе с Устиновым. Внезапное появление его среди двух друзей, ничего еще не знавших про то, как сегодня ранним утром увезли его прямо с гауптвахты в Вильну, произвело эффект не малый. Но когда он передал им всю историю своей аудиенции у Муравьева и конечный результат ее, Холодец просто не хотел верить, а Устинов радостно бросился к нему на шею. Ни один из них — а сам Хвалынцев менее чем кто-либо — не отважился бы даже мечтательно предположить подобного исхода. Наименьшее, что, по их общему мнению, могло ожидать Константина, это ссылка в какую-нибудь отдаленную губернию, под надзор полиции, с лишением или ограничением некоторых прав, и вдруг, вместо того — такое доверие, оказанное вместе с полным забвением прошлого… Радость их была велика и сердечна.

— Бога ради! Я хочу видеть Татьяну Николаевну! — сорвался Хвалынцев, опомнясь от первых впечатлений свидания и радости друзей своих. — Бога ради! если возможно, господа, сейчас же! Непременно! Поедемте!

Холодец объяснил, что через час, по смене ее другой дежурной «сестрой», она должна освободиться на весь вечер от своей обязанности.

— Тогда поезжайте, — прибавил он. — А мне невозможно: надо еще к одному трудно больному ехать.

В сказанное время оба приятеля входили уже в скромную, чистенькую келью Татьяны. Неожиданное появление освобожденного Хвалынцева и здесь было встречено радостным изумлением. И здесь точно так же рассказ о сегодняшних событиях, торопливо передаваемый вперемежку обоими друзьями, был принят с самым теплым и живым участием. Так сочувственно слушать и радоваться могла бы только добрая, любящая сестра.

Но внутренно, в самой затаенной глубине души, Хвалынцев остался озадачен. Он рассчитывал

встретить здесь другое, не сестринское сочувствие. Он надеялся, что какой-нибудь луч ее мимолетного взгляда, или легкий трепет руки во время пожатия, или тон первого восклицания встречи, или что-нибудь такое, чего не выразишь, но инстинктивно, электрически почувствуешь, быть может невольно прорвется и обнаружит в этой сдержанной натуре то чувство любви, которое некогда билось для него в груди этой девушки. Он ожидал от нее радости невесты, но нашел только радость сестры, сочувствие хорошего, преданного друга. Это его и озадачило, и огорчило втайне. Он думал, что Татьяна, в глубине души, все-таки любит его по-старому, и только помня оскорбление, нанесенное ее чувству, из гордости не хочет первая показать ему проблески этого чувства.

Но сегодня, казалось ему, наступил именно такой момент, что если прежняя любовь еще живет в ее сердце, то она невольно хоть в чем-нибудь должна прорваться наружу, — и увы! этого-то он и не нашел в Татьяне. "На себя пеняй!" подсказала ему совесть, в то время как жадное, эгоистическое сердце, почувствовав утрату и вместе с тем удар самолюбию, готово было бы упрекать и жаловаться. "На себя пеняй! Не ты ли сам, покидая ее ради другой, просил не отымать у тебя ее дружбы?.. Только дружбы! Она и дает ее тебе, дает в полной мере… Чего же более!" И он с затаенной горечью в душе покорился приговору этого голоса.

Между им и Татьяной так и осталось внутренно что-то недосказанное…

XXII. Нечто о борьбе за существование

Штык, пропоровший бок Анзельма Бейгуша, оставил свои роковые последствия; рана слегка коснулась легкого, но эта царапина стоила ему чахотки. Находясь на попечении Холодца, и благодаря его заботливости, он содержался в особой комнате арестантского отделения, где ему были предоставлены возможные удобства. Рана затянулась довольно скоро, но начало чахотки осталось. Холодец, по обязанности врача, ежедневно являясь к больному и добросовестно следя за его болезнью, своим заботливым вниманием сделал то, что Бейгуш мало-помалу совсем освоился с ним и от души полюбил своего симпатичного доктора. Минуты его посещений были единственными светлыми минутами для больного арестанта, когда от удрученной головы его отлетали на время черные думы о предстоящей трагической развязке. А что развязка неизбежно должна быть трагической, в том Бейгуш не сомневался, зная военные законы. Он был дезертир, взятый с оружием в руках, — стало быть, суд не долог и конец известен. Он был уже осужден, и только последняя развязка задерживалась его болезнью. Одно время несчастному сильно хотелось известить о себе жену, покинутую в Петербурге, просить ее, чтобы приехала и облегчила ему своим присутствием последние минуты; но мысль о том, что он заставит ее быть свидетельницей своей казни, превозмогла порыв любящего сердца, и Бейгуш ни единым словом не известил о себе Сусанну. Он был уверен, что если написать ей хоть одно слово, она примчится тотчас же. А сколько страданий и какая пытка ожидают ее! Да и самому-то легче ли будет видеть мучительное горе любимой женщины!.. Один только Холодец, во время своих посещений, рассеивал безысходную и томительную скуку его одиночного заключения. Иногда он приносил ему кое-какие книги и газеты, которые Бейгуш исподволь прочитывал в те минуты, когда чувствовал себя несколько лучше и свежее.

Однажды, войдя к нему, Холодец застал его в глубоком и видимо тяжелом раздумьи над несколькими газетными листами. На приветливый вопрос, что с ним такое, больной молча подвинул к нему лежавший сверху лист и указал пальцем на заглавие одной статейки. *Это* был перевод известной брошюры Прудона о "Польском вопросе".

Перекинув взор от газеты на Бейгуша, Холодец не без удивления заметил, что он не то что взволнован, а скорее потрясен чем-то нравственно.

— Бога ради, что с вами такое? Что за причина? — повторил он с участием.

— Вы не читали этого? — тихо проговорил Бейгуш.

— Брошюру Прудона? — слыхал, но не читал еще.

— Ну, так прочтите… Читайте вот эти строки… Вспомните, что я поляк, и тогда вы поймете что со мной…

Холодец наскоро стал пробегать глазами указанное место.

— Читайте громко, если можете, — попросил Бейгуш. Тот исполнил его желание.

"Польша идет наперекор всем соображениям, читал он, в то время как больной с напряженным вниманием следил своими большими, лихорадочно блещущими глазами за малейшим движением его лица, будто стараясь уловить и разгадать на нем отблеск сокровенной мысли. — Ее мнимая цивилизация в средние века, продолжал доктор, есть не более как восточная роскошь, ее литература — подражание латинистам; ее республика, с терминами, заимствованными у древнего Рима — лишь оперная декорация; ее набожность — отчаянное ханжество. Ничего искреннего, ничего прочного у этих чувственных натур, преданных всему неистовству страстей, всем побуждениям эгоизма, всем прихотям своей фантазии. Дворянские предрассудки доведены до ребячества, до безумия; отсутствие дисциплины возведено в требование чести; все понятия извращены, и вы видите поляков то лжероялистами, то лжеаристократами, то лжедемократами, то лжекатоликами, то лжепротестантами, то лжереволюционерами, как были они лжедворянами; они останутся верными только иезуитам".

— И это говорит человек, который для стольких из нашей молодежи был богом, оракулом, каждому слову которого мы веровали, от которого мы вправе были ждать сочувствия и одобрения! — с глубокою горечью проговорил Бейгуш, грустно качая головой.

— Но разве он говорит неправду? — пожал Холодец плечами.

— О, если бы неправду! — из глубины груди вздохнул больной; — тогда бы это не было так тяжело и горько… Читайте далее… Вот здесь читайте, — нервно указал он на другое место газеты.

"…Вы и теперь остаетесь дворянами, продолжал Холодец, вы и теперь, точно также как и прежде, хотите властвовать и распоряжаться другими… Вы хотите возродиться, но возродиться вне условий новейшей жизни. Восстановление вашей народности повлекло бы за собой в Польше, как вам очень хорошо известно, реакцию и усиление шляхетского элемента, который, придав другую форму зависимости крестьян, отсрочил бы на несколько веков создание польского *народа;* в России восстановление ваше повлекло бы заглушение в зародыше общественной свободы; в Венгрии — усиление мадьярской партии, подобно вам враждебной простому народу и национальностям; в Пруссии и Германии — поддержание старой феодальной партии, отвергаемой самими католиками; во Франции, Бельгии и повсюду — обеспечение торжества промышленного феодализма, царство жидов, бывшее первой причиной и основанием новейшего пауперизма; в католическом мире — укрепление клерикальной и иезуитской партии, которая в тягость всем религиозным душам. И все это клонилось бы к удовлетворению аристократизма, который заслужил свое падение и не умеет умереть. Или логика не играет в человеческих делах никакой роли, или таковы последствия, которые повлекло бы за собой восстановление Польши. Разве двадцать три миллиона крестьян, освобожденных русским государем, представляют нам подобную опасность? Я протестую против такой измены народному делу. По примеру ваших предков, я противопоставляю вам

veto французского гражданина. Поляки! прошедшее, настоящее, будущее, свобода, прогресс, право, революция и договоры — все осуждает вас. Вам остается только покориться этому приговору. Колебаться было бы с вашей стороны недостойно. Припомните энергические слова, с которыми, по уверению Светония, обратился к Нерону римский солдат, когда этот гнусный император, совершивший столь ужасные преступления, не решался умереть: "Разве смерть такое несчастье?"

Дочитав до конца, Холодец молча положил лист и молча взглянул на Бейгуша. Тот сидел в глубоком, сосредоточенном раздумьи, подперев рукой низко опущенную голову.

— "Разве смерть такое несчастье", — медленно и тихо повторил он как бы про себя, прерывая минутное молчание. — И это все, что остается после стольких жертв, усилий и страданий!.. Боже мой, но неужели же мы не правы?!. Неужели не только мы, но и все наши прошлые века — одна преступная ошибка?!. Умирать с таким сознанием, ведь это ужасно!..

— Послушайте, — спокойно и раздумчиво начал Холодец, — Что касается вас и нас, что касается нашей многовековой борьбы, то тут, мне кажется, нет ни правых, ни виноватых. Вы правы по-своему и мы по-своему точно так же.

— Как так? — оживленно поднял голову Бейгуш, сверкнув своими лихорадочными глазами. — А три раздела, разве это не великое преступление восемнадцатого века?.. После этого прав и волк, зарезавший ягненка!

— Да, милый пациент мой, по-своему прав и волк, зарезавший ягненка. Вы привели пример, пожалуй, очень подходящий, с тою впрочем оговоркой, что вы не ягнята, да никогда ими и не были. Называйте это как хотите: великим ли преступлением восемнадцатого века или иначе как; отрицайте, пожалуй, нашу славянскую кровь, — пусть мы, по-вашему, тураны, — не все ли равно в сущности? Мы знаем что мы такое, и этого с нас довольно. Наша тяжба началась не вчера и не сегодня, она идет уже более десяти веков, и я никак не стану утверждать, что ныне мы положили конец ей. Кажись что *да,* а как знать! — быть может и *нет.* Известна вам Дарвиновская теория борьбы за существование?

— Так что ж из этого? — вопросительно поднял на него Бейгуш свои взоры.

— Перенесите вы тот же самый известный физиологический закон этой борьбы с естественно-исторической на историко-политическую почву — и наша тяжба, наша с вами борьба станет для вас понятна! Каждый живой организм должен себе с бою завоевывать право на свое существование, и процесс его естественного развития и роста необходимо совершается на счет других, менее сильных организмов, часто одного и того же рода. Мы с вами — это два зерна, брошенные в общую почву, слишком близко одно к другому. И тому, и этому надо жить, но чтобы жить, надо пускать в почву глубже и шире свои корни, а вместе нам тесно, мы мешаем друг другу, один из нас затрудняет естественный рост другого. Отсюда невольная борьба — борьба за существование, где играют роль не одни политические вопросы, а все, решительно все жизненные условия ваши и наши. Чья возьмет? Это вопрос внутренней силы зерна. В ком более естественных сил, более здоровых жизненных зачатков, тот скорее вынесет борьбу и останется победителем. Если не виноваты вы, когда вам хочется жить так, как вам кажется лучше, то виноваты ли мы, если, при таком же точно стремлении, в нашем зерне более живых соков и сил чем в вашем? Что ж тут делать!.. По закону физиологии остается умереть, но разве и в самом деле смерть такое несчастье?

* * *

Бейгуш не был расстрелян. Смерть от скоротечной чахотки застала его на госпитальной койке. Жена его, узнавшая об этой смерти совершенно случайно, из корреспонденции одной газеты, снова очутилась "вдовушкой Сусанной". Беспристрастная истина однако обязывает нас сказать, что горе ее по исчезнувшем муже было хотя и сильно, но не продолжительно. В начале 1863 года она как-то случайно встретилась где-то со своим восточным кузеном, и Малгоржан, возобновивший с ней прерванное знакомство, вскоре успел снова покорить себе ее слабое сердце. Сусанна утешилась. Но Малгоржан, проученный опытом, стал если не умнее, то гораздо практичнее прежнего. Он успел убедить Сусанну, чтоб она отдала ему в распоряжение половину своего капитала, который будет употреблен на очень выгодное и самое верное предприятие. Сусанна послушалась и вручила ему двадцать тысяч. На эти деньги Малгоржан в одной из бойких улиц открыл гласную кассу ссуд, обзавелся прекрасной квартирой, прекрасной мебелью и обстановкой, среди которой и поместился вместе с Сусанной, а в довершение всех своих операций, блаженств и удовольствий стал иногда пописывать обличительные статейки в одной из газет мелкой петербургской прессы, на последних страницах которой в то же время неизменно красовалось видное объявление о его гласной кассе.

XXIII. Последний из Могикан

Оскару Авейде так и не удалось уговорить Константина Калиновского снять с себя диктатуру и примириться с Варшавским ржондом. Чувствуя, что пребывание в Вильне с каждым днем становится все рискованнее, Авейде под конец рад уже был согласиться на все условия диктатора, лишь бы только убраться поскорее из-под глаз Муравьева. Но бегство под сень Варшавы не удалось ему: при отъезде, Авейде был арестован на дебаркадере.

Меж тем диктатор Литвы до времени успевал еще кое-как стушевывать себя перед полицией, беспрестанно меняя в Вильне свои фамилии и квартиры. Из «подвластных» ему воеводств и поветов до него доходили самые плачевные донесения и вести: шайки то и дело бегали за Неман, с той единственной целью, чтобы пообедать после нескольких дней голодания; на предписание добыть оружие "для освежения", повятовый коммиссар доносил, что мог достать только три ружья, да и то с величайшим трудом; на предписание собирать новые подати для поддержки восстания, квестиры отвечали, что у помещиков опустели кошельки после Муравьевского десятипроцентного сбора. В кассе литовского ржонда, считавшей у себя рубли сотнями тысяч, оставалось только шесть тысяч всего-навсего.[275] При Моловидах уже давно была рассеяна последняя банда белых, а довудцы красных требовали денег на продовольствие. Калиновский приходил в отчаяние. Учрежденная Муравьевым сельская стража, которая в самом начале казалась диктатору весьма подручной вещью, если только удастся поднять крестьян на панов и москалей, оказалась теперь гибельной для всех его начинаний. Доставка припасов, рассылка доверенных лиц, сборы, движение шаек, словом, вся революционная деятельность стала почти невозможной, благодаря сельской страже: повсюду — сущий, зоркий и подозрительный глаз озлобленного хлопа следил за малейшим проявлением этой деятельности и наконец довел-таки панов до сознания, что не русские, а поляки составляют «наядз» в Западном крае.

Поздней осенью 1863 года шаек уже не существовало, только кое-какие жалкие остатки, по несколько человек, бродили еще в жмудских и самогитских лесах, грабя и воруя у одиноких лесных «кутников», ради дневного пропитания. Теперь уже не нужно было посылать на поиски за ними ни военных отрядов, ни даже летучих команд. Эти последние были заменены сборами охотников из крестьян, с придачей им по нескольку солдат или казаков. Действия подобных охотников против бродяг обратились положительно в нечто вроде облав на дикого зверя. А между тем в бумагах, которые удавалось захватывать у таких повстанцев, все еще попадались

заготовленные рапорты и реляции фантастических довудцев о новых победах над русскими войсками, об отличном революционном настроении народа, и все это не иначе как за нумером и печатью, и все это, по старой памяти, предназначалось для заграничной прессы, ради мороченья европейской публики. Зимой были пойманы последние два довудца, ксендз Мацкевич (Робак) и Червинский, которые за множество неслыханных изуверств, совершенных ими, поплатились виселицей.

Калиновский окончательно потерял голову. Постепенно лишившись всех своих помощников, он все-таки не мог оставить Вильны и продолжал считать ее стратегическим ключом своей диктаторской позиции. Решаясь, что называется, идти напролом, добиваться немедленно нового восстания во что бы то ни стало, вопреки очевидной действительности и здравому смыслу, он силился возобновить организацию по губерниям и завести с ней хоть какие-нибудь сношения. Это было теперь уже не дело, а скорее одна только безумная мечта мономана, фанатика революционной идеи. И тем не менее, нашлось-таки несколько женщин и ксендзов, которые не задумались подать диктатору руку и возмечтать вместе с ним о возрождении и продлении восстания. Нашлись и обязательные евреи, чтобы за деньги служить ему почтальонами и, с помощью своей собственной еврейской послуги, предохранять его от опасности, всячески пронюхивая и заблаговременно извещая о ней диктатора. Но увы! шесть тысяч, остававшиеся еще в распоряжении Калиновского, скоро совсем уже иссякли, благодаря еврейским послугам, и он остался, наконец, один-одинешенек, без друзей и евреев, без гроша денег и без куска хлеба со своим лишь фантастическим титулом диктатора Литвы да все с одной и той же неугомонной и горячечной идеей… Напоследок, один только ксендз-бернардин да две добрые патриотки были единственными личностями в Вильне, которые знали кое-что о существовании Калиновского, да и то потому лишь, что в одно из трех мест поочередно являлся он для ночлега.

Вся польская организация была уже раскрыта, весь заговор распутан, вся деятельность диктатора Литвы обнаружилась для правительства самым ясным и положительным образом, а меж тем сам диктатор все-таки продолжал скрываться, словно бы для этого правительства он был покрыт сказочной шапкой-невидимкой. Его выдали сами же поляки, и, что замечательнее всего, выдали в то уже время, когда он был нищ, убог и совершенно безвреден. Из губерний неоднократно приходили от них указания на квартиры, куда он являлся для приема донесений и отдачи распоряжений своих; но пока в его кармане оставался последний рубль, евреи не переставали служить ему и предупредительно спасать от угрожавшего ареста. С последним рублем прекратилась и их последняя послуга. Тогда-то один из членов подпольной губернской организации, знавший у кого именно скрывается в Вильне диктатор, указал на него следственной комиссии, и таким образом, в конце января 1864 года, Калиновский был арестован. Последний из могикан, он представлял собою последнее знамя мятежа. Во время его кипучей деятельности и даже после ареста, между низменным виленским населением, равно как и на Жмуди, долгое время бродили темные слухи, что где-то, мол, в Вильне проживает "Круль Литвы", который хочет "адхилиться от поляков" и завести "свое властне крулевство".

7-го марта 1864 года Вильна была свидетельницей последней политической казни. Утром, при грохоте барабанов под эскортом жандармов и пехотного конвоя, по городу везли на виселицу осужденного. Он был бледен, но совершенно спокоен.

Хвалынцев, случайно проезжая в это самое время по улице и будучи остановлен процессией, шедшей навстречу, спросил у одного из эскортировавших офицеров, кого это будут вешать?

— Константина Калиновского, диктатора Литвы, — было ему ответом.

Он вскинул взгляд на бледную фигурку, сидевшую на высокой колеснице, и вздрогнув сам побледнел невольно.

В осужденном диктаторе он узнал Василия Свитку.

Мог ли он думать, что этот невзрачный скромный и серенький на вид человечек будет играть такую роль в польском восстании!.. Но теперь ему ясно вспомнилось, как этот самый человечек, два года назад, в скверном нумере жидовской гостиницы в Гродне, экзальтированно предлагал ему братски разделить с собой либо громкую славу и счастливую будущность при осуществлении великой идеи, либо за ту же самую идею веревку гицеля на эшафоте. Он знал заранее куда идет и что его ожидает... Не потому ли и умер он с такой твердостью и спокойствием, как могут умирать только глубоко убежденные люди...

* * *

Та девушка, которую он любил, которую в минуты своего восторженного поклонения ее красоте, стоя на коленях перед нею, называл королевой Литвы, не присутствовала при его казни. Панна Ванда оставалась в Гродне и только через стоустую молву узнала о судьбе, постигшей ее друга. Скорбь ее была велика и отчаянна, она рвалась и металась по всему дому, хотела топиться в Немане, хотела с заряженным пистолетом ехать в Вильну и убить Муравьева, но...

Время взяло свое, и панна Ванда утешилась.

Через два года с небольшим, она благополучно вышла замуж за русского чиновника, нарочно приняв для этого православие, и из панны Ванды превратилась в госпожу Кулакову.

Впрочем, "что имя? Звук пустой!"

Несмотря на русскую фамилию и на православие, принятое по расчету, г-жа Кулакова остается в душе все такой же панной Вандой, все так же видается иногда наедине с ксендзом Винтором, все такая же полька по духу, понятиям и привычкам, держит под башмаком своего супруга, и в двух своих маленьких ребятишках усердно воспитывает под сурдинку двух будущих "патриотов".

XXIV. Холопское "дзякуймо!"[276]

Ардальон Полояров не долго наслужил в Северо-Западном крае. Гродненский губернатор, снисходя к его усиленным просьбам, приспособил сего «деятеля» к крестьянскому делу, но увы! — не прошло и нескольких месяцев как «деятель» намудрил, начудесил и... проворовался. Взял он с пана Котырло легкую благодарность, и взял ее вперед, с тем чтоб оставить за ним кое-какие угодия, да и с крестьян тоже заручился благодарностью, и притом за те же самые угодья. Дело всплыло наружу. Произвели негласное расследование и призадумались: как быть с «деятелем»? Формальным образом предать его суду? Оно бы и можно, да не совсем-то ловко: это значило бы дать разным благожелателям повод колоть нам глаза и кричать: "вот они каковы ваши деятели!" И потому местная власть порешила уволить его тотчас же в отставку с предложением немедленно удалиться из Края. Ардальон Полояров почувствовал себя безвинно обиженным, даже кровно оскорбленным "в самых священных своих чувствах и принципах", и потому уехал в Петербург, пылая непримиримым негодованием к виленской администрации. В Петербурге, шатаясь по разным редакциям, он с благородным негодованием стал отзываться о «деятелях» и не без похвальбы сообщил, что удален из Края "за распространение социализма между крестьянами", цитируя эту якобы официальную фразу не иначе как с едкой иронией.

— А вы в самом деле распространяли? — вопрошали его иные.

— Я был только верен самому себе, — серьезно и веско ответствовал Полояров, — "понимай, дескать, как хочешь", и засим далее уже следовала красноречивая фигура умолчания.

Вскоре после этого в умеренно-либеральной и умеренно полякующей газете г. Цемша появился ряд ядовитых «статей», в которых под прозрачным флером изобличалась и порицалась виленская администрация.

— Я отомстил за себя, — многозначительно замечал Ардальон своим приятелям, когда те хвалили ему эти статьи, "исполненные такого благородного сочувствия к цивилизованной и угнетенной нации".

В настоящее время уже не одна виленская администрация, а все, решительно все без разбора служит предметом его угрюмого порицания. Теперь у него уж нет более подразделения людей на *мы и подлецы,* — теперь у Ардальона Полоярова уже весь свет без исключения обратился в подлецов, и даже самих нигилистов в снисходительные минуты называет он не иначе как мерзавцами. Ходит он каким-то маньяком промеж живых людей, болтается мрачно и здесь, и там, и кто бы ни говорил ему, он только ворчит про себя сквозь зубы: "Знаем, мол, знаем подлецы!.. мерзавцы!" так что, наконец даже и сами приятели Ардальона Полоярова не могут определить с точностью — исключает ли он из числа подлецов свою собственную особу. Из всех идей, волновавших его некогда, одна только глубоким гвоздем засела в его голову и, обратись в некоторую манию, вероятно, не покинет этой головы уже до конца дней злосчастного Ардальона. При воспоминании о ней, он оживляется и еще более начинает злобствовать.

Что же за идея такая и что за воспоминание? Увы!.. Эта идея о том, что он в свое время мог бы целый капитал иметь — "шутка ль сказать, двадцать пять тысяч!" — Капитал! громадный капитал и… всем пренебрег, от всего сам добровольно отказался.

* * *

Чтобы поправить путаницу, которую натворил в своем участке деятель Полояров, надо было посылать на место особую комиссию, в число членов которой был назначен и Хвалынцев. Разобрав дело, комиссия выяснила претензии обеих сторон и привела их к добровольному обоюдному соглашению. Пан Котырло выказал при этом даже замечательную уступчивость в пользу своих бывших «подданных». При заключении этой сделки, кроме членов, пана и сельской «громады», находилось еще и несколько ближайших соседей-помещиков. Наконец, когда все дело было завершено благополучным образом, председатель комиссии обратился к «громаде» с несколькими словами.

— Что ж, братцы, — сказал он, — ваш пан, как видите, разверстался с вами по чести и без спору, вы получили вдосталь всего: и земли и угодий. Ведь надо и поблагодарить его за это? Как вы думаете?

— А вже ж! Як нада, дак нада! — отозвались в громаде.

И вслед за тем из среды крестьян вышел один человек преклонного возраста, который был очевидно побойчее прочих. Выступя вперед и сняв свою шапку, он низенько поклонился пану и окружавшим его помещикам.

— Дзякуймо, пане, — заговорил он при этом, — та и вам паночки здякуймо, што вы зрабили[277] тоё вашо повстанье! Во каб вы его не зрабили, тоб нам и по век такого ужитку та

щастя не бачици.[278]

Выслушав столь оригинальную и откровенную благодарность, паны невольно почувствовали некоторую неловкость и слегка сконфузились; члены комиссии, с легкой, сдержанной улыбкой, тоже потупили долу очи.

"Вот оно, приличное нравоучение и вместе с тем эпитафия всему этому повстанью!" подумал себе Хвалынцев, в то время когда вся громада, вслед за своим оратором, не без некоторой добродушной иронии повторила мирское "здякуймо!"

XXV. Роковая дилемма

Прошло несколько лет. Ряд новых событий нашей внутренней и внешней европейской жизни отодвинул на дальний план 1863-й год и сделал его уже достоянием истории. С одной стороны, страсти улеглись, с другой — ушли в глухую, сокровенную глубь души и там затаились. Многое нами сделано, частию удачно, частью нет, а многое и забыто. Мы народ не злопамятный. Да кроме того и нет в нас той систематической, неуклонно-настойчивой последовательности в достижении раз постановленных целей, какой отличаются наши германские соседи. Мы легко прощаем, легко забываем — до какой-нибудь новой встряски, если таковую вздумается кому-либо задать нам. Тогда мы снова подымемся разом, как один человек, и покажем свои зубы и когти. Минет невзгода, пройдет известный период времени, и мы снова уляжемся, снова забудем… Быть может это хорошо, быть может дурно. Кто его знает!..

Когда люди в доме спят, мыши в подполье начинают свою подтачивающую работу.

Итак, прошло несколько лет. Славнобубенский острослов и философ Подхалютин, с целью "послужить русскому делу", удачно высмотрел и еще удачнее купил себе имение, всадил в него не мало денег, пожил год-другой, но наконец нашел, что это скучно, и сдал имение в аренду компании жидов, которая "для легальности" выдвинула подставного арендатора, и уехал с Богом в свой достолюбезный Славнобубенск. В этом случае не он был первый, не он и последний… Но как бы то ни было, а дело русского землевладения в Западном крае можно, кажется, считать делом неудавшимся, и вина в этом никак не на стороне правительства.

Зато пан Котырло сидит себе смирно и тихо, "при своих пенатах", умеренно плачется на тугие времена, подчас уверяет даже, будто в Крае никакого такого повстанья вовсе и не бывало, что паны сидели себе смирно в своих имениях, а по Краю гуляли шайки каких-то лайдаков-разбойников, что «дворанство» всегда было "наивернопреданнейшей подпорой Цару и ойтечеству", а теперь, вследствие черной интриги Каткова, «одклеветано» и за все, про все сделалось невинной жертвой, тогда как с этим добрым и верным «дворанством» давно бы надлежало помыслить о полном "примиренью и забвенью".

Муж графини Цезарины, еще до начала вооруженного восстания высланный на житье в Славнобубенск, сумел с течением времени как-то так устроить, что ему переменили место ссылки и дозволили жить в одном из русских городов, лежащих на линии Петербургско-Варшавской железной дороги. Здесь часто посещает его графиня Цезарина, которая благополучно успела избежать последствий своего визита в повстанскую банду. Время почти нисколько не изменило ее наружности: она все также обаятельна, и в последние годы все чаще и чаще начинает показываться на петербургском горизонте, ловко, а иногда и не безуспешно стараясь возобновить свои, некогда прерванные, добрые отношения во влиятельных сферах. Зачем это ей нужно — про то ей знать… Пан грабя Слопчицький в этих случаях нередко бывает спутником графини Цезарины, и все что-то предпринимает, что-то устраивает, все хлопочет о чем-то и иногда продолжает по-прежнему неожиданно летать из Петербурга в Вильну, из

Вильны в Варшаву, в Париж, в Женеву и т. д. Он теперь, между прочим, состоит в большой дружбе с Моисеем Фрумкиным, которому кто-то дал большие деньги, с тем, чтобы Фрумкин, при подставном редакторе, издавал умеренно-либеральную газету в защиту "эзраэлитских интересов", а пан грабя серьезно думает, что интересы евреев и интересы польско-дворянской интеллигенции весьма удобно могут ужиться в русской прессе под сению "умеренного либерализма". Пан грабя вообще старается, чтобы до поры до времени казаться как можно умереннее, и если желает для своих «родаков» восстановления некоторых утраченных прав и привилегий, то это только ради поддержки и развития между ними "консервативных элементов".

Полковник Пшецыньский переменил род службы, причислился к одному из министерств и теперь хлопочет о довольно влиятельном административном месте, желая получить его не иначе как в Польше или в Западном крае, дабы там в пользу русского дела применить свою испытанную служебную опытность.

Один только ксендз-каноник Кунцевич по-прежнему остается в Славнобубенске, служа утешением местной польской колонии, которая с 1863 года значительно там увеличилась и, по преимуществу, служит теперь по железным дорогам.

Бывший славнобубенский губернатор Непомук Анастасьевич Гржиб-Загржимбайло со своей огненной супругой в настоящее время находится в Петербурге. Некоторое время он оставался причисленным к министерству, но потом, при помощи такого туза как Почебут-Коржимский, ему удалось заполучить весьма солидное место, на котором он сидит довольно прочно и очень, очень осторожно работает при случае "ad majorem Dei et patriae gioriam".[279] Его супруга, между прочим, подружилась с графиней Цезариной, для которой служит иногда, в некотором роде, необходимою ступенью во влиятельные гостиные петербургского света.

И так, слава Богу, все пока обстоит благополучно!

Польская эмиграция, которая вслед за последним повстаньем рассеялась по лицу Европы, ныне скучивается все более и более в гостеприимной Швейцарии, где, впрочем, муниципальные власти не знают как отделаться от этих милых гостей своего отечества. Эмиграция поделилась на бесчисленное множество кружков и партий, которые все враждебны друг другу и, заседая в своих избранных «кнейпах», без конца сплетничают, ругаются, дерутся между собой, обличают то того, то другого члена в измене, в воровстве народовых фундушов, в предательстве и т. д., и в то же время неустанно конспирируют, агитируют, подделывают русские кредитные билеты и вообще представляют собой одно из печальнейших явлений современной социальной жизни. Одно время между этими партиями бродила мысль о том, чтобы в 1872 году, в память столетней годовщины первого раздела Польши, произвести какую-нибудь яркую демонстрацию в одной из разделенных земель бывшей польской «Короны». Галиция считалась между ними наиболее подходящей для подобной цели. Отголоски этого проекта проникли и в наш Западный край, но отголоски до такой степени смутные, что на них даже не стоило обратить хоть сколько-нибудь серьезного внимания. Между тем эмиграция не оставляла своей "животворной идеи". Она и сама ни одной минуты не рассчитывала на успех, она была убеждена, что попытка будет раздавлена тотчас же, но все-таки намеревалась привести ее в исполнение ради того только, чтобы "заявить свой протест", чтобы показать миру, что хотя и сто лет прошло со времени раздела, но Польска все ещё не «згинэла», как вдруг, среди всех этих споров, вздоров, интриг и подпольных приготовлений, неожиданно грянули первые боевые выстрелы при Саарбрюкене. Эти выстрелы застигли врасплох и не одних поляков, которые, после их громового эхо, все вдруг притаились и замерли в напряженном ожидании. Конечно, никто в Европе не следил с большим напряжением за франко-германской борьбой и никто увереннее поляков не ожидал ее счастливого для Франции

исхода. Затаенные надежды стали оживать... но увы! — погромы Верта и Гравелоты сильно поколебали такие надежды и привели чающих движения воды в печальное недоумение. Вслед за тем в устах всего мира прозвучало имя Седана. Вместе с катастрофой для Наполеона, Седан был катастрофой и для поляков. Он разом пришиб смертельным ударом все их блестящие надежды и планы.

"Что делать? Как быть теперь? Что будет дальше?" встал пред ними беспощадный, роковой вопрос — и взоры поляков смущенно обратились на Север.

..."Что будет дальше?"

Суждено ли длиться еще и еще этой "борьбе за существование" между двумя силами? Сознает ли, наконец, одна из них неизбежную дилемму, которая с беспощадной логикой говорит ей: "либо исчезай с лица земли, бесследно растворяясь в культурном германском начале, либо сливайся с русским народом, чтобы возродиться как народ в могучем славянстве". Признает ли польская интеллигенция прямо и честно этот единственно возможный для нее выход, или же, оставаясь верной своим традициям, ничему не научась и ничего не умея забыть, попытается вновь разразиться еще одним кровавым пуфом"?

Как знать! — Это покажет будущее, которое, быть может, наступит и гораздо ранее, чем можно, по-видимому, ожидать его.

1874

[1] Сблаговать — причинять какую-либо мерзость, сделать недоброе.

[2] Млостно — тошно.

[3] Згодно — выгодно, удобно.

[4] Згодно — выгодно, удобно.

[5] Найлепш — наилучшее.

[6] Не ашукаюць — не обманут.

[7] В "Пане Тадеуше".

[8] У поляков, вообще, звание сапожника почему-то исстари пользуется наибольшим презрением, несмотря на то, что из этого цеха у них выходили и выходят патриотические деятели, имена которых приобрели даже некоторую историческую известность, как, например, Килинский, Гишпанский и др.

[9] Парафия — приход.

[10] Уездный предводитель дворянства.

[11] Небольшая школа для деревенских детей (польск.).

[12] Слишком, чересчур.

[13] Возный — мелкая должность в старых польских судах вроде пристава.

[14] Такого рода мысли во многих проповедях того времени далеко не составляли исключения, и даже нелепости, подобные родовитошляхетному происхождению Христа, сколь они ни кажутся теперь невероятными, находили в них свое место. Это факты, на которые легко могут быть даны доказательства, тем более, что в свое время они не были пропущены даже и русскою литературой.

[15] Дело чести (фр.).

[16] Дружина, рать.

[17] Помощи, пособия.

[18] Измены.

[19] Поживем — увидим! (фр.).

[20] Мы любим друг друга (польск.).

[21] Возлюбим друг друга.

[22] Трубку.

[23] Вепрж — кабан.

[24] С той стороны.

[25] Купалась.

[26] Мандат — то же что номинация, нечто вроде патента на известную должность и удостоверение, что предъявитель есть точно должностное лицо.

[27] Конец Московии! …Она погибла! (лат.).

[28] Истина в вине! (лат.).

[29] Спит немного владелец богатства! (лат.).

[30] Осел из ослов во веки веков! (лат.).

[31] По мне пусть так! (лат.).

[32] Еще и еще раз! (лат.).

[33] Внимание! (лат.).

[34] Людвиг Жвирждовский, капитан генерального штаба.

[35] Киневич, действовавший в Казани вместе с Черняком и другими.

[36] Сигизмунд Сераковский, капитан генерального штаба.

[37] Более чем уверен! (лат.).

[38] Именем.

[39] То есть из начальников губернского, уездного, станового и приходского.

[40] Согласились.

[41] Святому делу.

[42] Так желают звезды! (лат.).

[43] Следовательно, выпьем! (лат.).

[44] Да здравствует Польша.

[45] Испакостили.

[46] Работаем.

[47] Топориком.

[48] А, пан из России! Это для меня очень приятно. Прошу пана откушать.

[49] Это факты, относительно, весьма еще недавние, несмотря на то, что нажуется невероятными. Например, князь Огский, ковенский помещик, снискал себе большую известность своими деспотическими тиранствами: сек попов, становых, заседателей, исправников, убивал неоднократно людей, крестьян своих в наказание в землю закапывал. А наследники его даже недавно отличились на поприще поронья со своими "надворными казаками". Как о том, так и об этом даже наша публицистическая литература упоминала.

[50] Автор видел это замечательное издание у одного польского графа П., который, впрочем, кажись, и не подозревает, какой обличающий, антипольщизновый документ хранит он в своей прекрасной коллекции древностей.

[51] "Храм русский кирпичный", "Храм русский стенами окружен", "Храм русский в городе (лат.).

[52] "Храм польский в городе" (лат.).

[53] Факты несомненные, документальные, которые в случае надобности могут быть подтверждены даже и именами российских чиновников того времени.

[54] С 1854 по 1863 год возведено в Северо-Западном крае 339 новых латинских костелов, не говоря уже о том, сколько каплиц и филий обращены в приходские храмы, зачастую обманным путем и без всякого правительственного разрешения.

[55] Крест.

[56] Окружные.

[57] Уездные.

[58] Искал.

[59] Совещание.

[60] Не обманет.

[61] Неграмотные обыкновенно пишут своей рукой три креста, против которых писарь отмечает имя приложившего руку. Таковые кресты, на основании закона, равносильны собственноручной подписи.

[62] Изменники.

[63] Цепи.

[64] Не здрадзимо — не изменим.

[65] Извините.

[66] Не обращает внимания.

[67] Рабовац — просить милостыню. Скориночки — корки хлеба. Дбай — думай, заботься.

[68] Ни славы, ни пользы нет.

[69] По милости.

[70] Хозяйство.

[71] Чтобы снова обратиться в крестьян, потому что это искони была наша батьковщина.

[72] Очень доволен.

[73] Кровь.

[74] Может, этому пану что-нибудь потребуется.

[75] Чернила.

[76] Стекло.

[77] Тяжелый.

[78] Жертва на народное дело.

[79] Крестом.

[80] Шпион московский.

[81] Разве пан не говорит по-польски? Пан не понимает?

[82] Разве месье не поляк? (фр.).

[83] Нет, месье (фр.).

[84] Я — иностранец (фр.).

[85] Чужеземцем.

[86] Пономарь.

[87] Благочинного.

[88] В 1861 году по всему Северо-Западному краю, можно сказать, не было почти ни одного костела, где бы не имелось черной хоругви с нашитым на ней белым сломанным крестом и подписями вроде: "Боже змилуйсен' над нами!" "Боже збав ойчизнен" и т. п. (Боже, помилуй нас! Боже, спаси отечество).

[89] Святый Боже, Святый крепкий и проч.

[90] Держи в сторону, собачья кровь!

[91] Прочь с дороги! Назад! Убирайся к черту проклятые! Прочь с москалями!

[92] Почтенный, честный.

[93] Кофе и шоколад.

[94] Прошу извинить! Пан еще не уплатил денег семнадцать с половиною копеек.

[95] Филижанка — чашка.

[96] Извините, сударь!.. Но ведь на весь мир сразу не поспеешь. А если пан уже заказал, то и следует уплатить. Пану вольно пить или не пить — мне это все равно.

[97] — Что тут такое.

[98] Господин москаль не хочет платить, и все тут!

[99] Не понимаю!

[100] Что вам, сударь, угодно?

[101] Проклятого.

[102] Впрочем.

[103] Монастыря.

[104] Собачьи голоса не возносятся в небеса!

[105] Этот старик, очень мало известный даже в самой Гродне, был жив еще недавно.

[106] Что вам угодно?

[107] Сейчас, в одну минуту!

[108] Обеденную карту.

[109] Извините, не понимаю по-каковски вы это говорите, ничего не понимаю!

[110] Что это за московские карточки?!. Тут нет таких!

[111] Из Курляндии! (нем.).

[112] Друзья наших друзей — наши друзья (фр.).

[113] Масло, покрытое платом (лат.).

[114] Название улиц в городе Гродне, — нынешние Садовая и Полицейская.

[115] "Ревю де дё Монд" (фр.).

[116] Кошачью.

[117] Лобузами в Варшаве называют уличных шатунов, иногда «лобуз» значит то же, что в Москве жулик, в Петербурге мазурик.

[118] Моисеева закона.

[119] Проклятый!

[120] Скорей кадило, прошу пана!

[121] А, это хоть и москаль, но дельный москаль и такой благомыслящий!

[122] Восточного исповедания.

[123] Долой москалей! Да здравствует Польша!

[124] Константин!

[125] Документ, определяющий назначение на какую-либо должность или полномочие на какое-либо особое поручение.

[126] Сборщиков податей.

[127] Отдел ржонда.

[128] Стол (лат.).

[129] К вящей славе Божьей и славе Отечества (лат.).

[130] В каждое воеводство от высшей инстанции (варшавского ржонда) назначался особый комиссар, который был полновластным распорядителем местных средств и наблюдателем за исполнительностью всех членов организации своего воеводства. Он мог уже от себя назначать и требовать утверждения в должности комиссаров повятовых, которые были ближайшими наблюдателями в уездах.

[131] Очень.

[132] Царская водка (серная кислота).

[133] Но вперед следовало поймать.

[134] Больше.

[135] На частной службе.

[136] Караул.

[137] Исторически верные слова и постоянное proffession de foi бывшего Диктатора Литвы.

[138] По старому стилю — 23-е сентября.

[139] Миссионерам.

[140] Св. Креста.

[141] Выгнать.

[142] Зайца.

[143] Извозчиков.

[144] С собою.

[145] Краковское предместье.

[146] Бьют.

[147] "Моментами" в армии принято называть тех из офицеров генерального штаба, говорунов, которые, практически не смысля военного дела, разражаются при каждом удобиом и неудобном случае красноречиво-туманными теориями о нем, и кичатся своим «ученым» званием пред простыми смертными — фронтовыми офицерами.

[148] Безделушки.

[149] Большом театре.

[150] "Модистки".

[151] "Орфей в аду".

[152] Историческая песнь.

[153] Variété — театр «разнообразия», где дает свои представления польская драматическая труппа.

[154] Шпион.

[155] Государственный гимн (польск.).

[156] Обедня.

[157] Визави, лицом к лицу (фр.).

[158] Благотворительное общество в Варшаве.

[159] Живи настоящим днем! (лат.).

[160] Господи, помилуй, Христе, помилуй! (греч.).

[161] Каменица — каменный дом.

[162] Чего вы ищете?

[163] То есть Варшавский Отдел Русского Общества "Земли и Воли".

[164] "Свобода, равенство, независимость. Петербургский отдел" (польск.).

[165] "Колокол", 1862 года, № 135.

[166] "Колокол", 1862, № 147.

[167] "Колокол", 1862 года, № 140.

[168] "Колокол", 1862 года, № 143.

[169] "Колокол", No№ 139 и 143.

[170] "Колокол", 1862 г., № 148.

[171] Смысл существования (фр.).

[172] Писарь главного штаба войск 1-ой армии, Минаев долгое время передавал агентам "ржонда народоваго" все секретные распоряжения русского военного начальства. За эти преступления он был расстрелян. № 29-ый приказа революционного начальника города (Варшавы), извещая об его казни, восклицает о нем: "благородный Минаев!"

[173] Кошары — казармы.

[174] О времена! О нравы! (лат.).

[175] Слава в вышних! (лат.).

[176] Смертен! (лат.).

[177] Околоточный надзиратель.

[178] Пять копеек.

[179] Ветчину, окорок.

[180] Дитвальд — имя привилегированного варшавского палача, который присутствовал при исполнении казни, скрепляя смертельный протокол своей подписью.

[181] Преклонить колено.

[182] Пятьдесят копеек.

[183] Извините, сударь!

[184] К оружию! (польск.).

[185] Да будет препрославлен Иисус Христос.

[186] На хорошую работу.

[187] "Колокол", 1863, № 157 и 158.

[188] Кавказские казаки варшавского конвойного дивизиона издавна известны у поляков под именем черкесов.

[189] Обоз — лагерь.

[190] Резонно, основательно.

[191] Знаменоносцем.

[192] Графа.

[193] Штыфлями назывались высокие повстанские ботфорты.

[194] Курительная коротенькая трубка.

[195] Управляющий.

[196] Отечество, на кресте распятое.

[197] Женщин.

[198] Женщин.

[199] Маювка — весенний пикник.

[200] На караул.

[201] Что за идея! Какая мысль, мой храбрец! (фр.).

[202] Нумерами у повстанцев назывались часовые на аванпостах.

[203] Благомыслящий в польском духе.

[204] Шпион и изменник.

[205] Караулы.

[206] Резать.

[207] Этот исторический факт в свое время был дважды подтверждаем "С.-Петербургскими Ведомостями" (№ 55 и № 121, 1863 года). "Говоря о здешнем трауре, писано в этой газете, мы должны заметить, как многознаменательный факт, что эта модная мания увидела впервые свет в тот великий день, когда ко всеобщей радости всех друзей человечества, был обнародован манифест 19-го февраля. Такое стечение обстоятельств наводит на многие, многие думы".

[208] "Колокол". 1863, № 167.

[209] Красный чертей.

[210] Испугался.

[211] Шапка.

[212] Скоро.

[213] "Тебе, Господи" (начало католического гимна, лат.).

[214] Орфография подлинника соблюдена в точности.

[215] Барщину.

[216] Исторически верно. Проповедь эта была отпечатана в Вильне, в день Св. Бартоломея, на особом листке, и распущена по всему Краю.

[217] Исторически верно. Заимствовано из бумаг и документов покойного полковника С. А. Райковского. Изменено только название местечка, а именно: в подлиннике, подписанном Колышкой, названо местечко Эйрагола "Ковенского воеводства".

[218] Лишь бы что-нибудь похоронное.

[219] Военные бюллетени «ржонда», выходившие в Варшаве периодическими листками, под этим названием.

[220] Почтенное.

[221] Индюк, начиненный яблоками и сливами, едет к нам.

[222] Однако, что ж нам сделать: или удирать, или обороняться?

[223] И аппетит (греч.).

[224] Поляк искони сыт не тем, что он ест, а тем, что пьет.

[225] Ну, а теперь, господа, чтобы индюк не сидел у нас голодный, пусть принесут и нам, и ему мнихов (одно из любимейших польских блюд в Литве).

[226] Слыхал я, что монахи большие мастера на кур, индюков и баранину, так может статься

они и нам порадеют.

[227] Монахи, как мне кажется, люди и еще Божьи слуги, а потому голодным сидеть им не подобает. Подайте ж нам паштет, для накормления монахов. Пускай же монахи знают, что мы их не забываем, и отчитывают за наши грехи по четкам.

[228] Однако ж знавал я одного монаха, который пил вино, так мне кажется, что не мешало бы дать напиться и нашим монахам.

[229] Того, другого, понемножечку всего; закурим трубочки и станем смешить друг друга побасенками.

[230] "Колокол", 1863 (1-е января), № 153.

[231] Там же. № 154.

[232] Там же.

[233] Вообще позволительно сомневаться, что вряд ли под именем этого «Старообрядца» скрывался действительный старообрядец, а не кто-либо из людей близких редакции и вовсе незнакомых с бытом и настроением русского народа. Эта догадка нагляднее всего подтверждается тем деланным, нарочно придуманным языком, каким в действительности ни один русский человек не выражался. Для примера укажем хотя бы на такую наивную и крайне неумелую подделку как знахарь здоров я ("Общее Вече", № 12) взамен слова медик. Очевидно, сочинитель забыл или не домекнулся, что в нашем простом народе, для определения этого понятия, искони существует коренное русское слово лекарь.

[234] "Общее Вече", № 11.

[235] Курсив в подлиннике.

[236] "Колокол", № 158.

[237] "Колокол", № 167.

[238] "Колокол", № 157.

[239] Там же.

[240] "Колокол", № 159. "Что за чудное свойство польского восстания, что оно очищает все, до чего коснется, даже Австрию и монастыри!"

[241] "Колокол", № 158. "Плач".

[242] Одна газета, описывая смерть капитана Грауерта, назвала его мучеником. Герцен, между прочими выходками по этому поводу, восклицает: "как удивятся в раю! Это первый святой по корпусу жандармов!" «Колокол», № 150.

[243] "Колокол", № 164.

[244] Там же.

[245] "Общее Вече", № 16. — Выкликание духов.

[246] "Колокол", № 163.

[247] Там же.

[248] Там же.

[249] № 166.

[250] 167.

[251] "Колокол", № 163.

[252] Там же.

[253] "Общее вече", № 16.

[254] "Колокол", № 169.

[255] № 167.

[256] № 168.

[257] Герцен с самого начала своей пропаганды был почти исключительно орудием польских рук. В письме его к Чарнецкому ("Колокол" 1863 года № 159 — "Десятилетие вольной русской типографии в Лондоне") мы находим в этом отношении в высшей степени знаменательные признания. "В России никто не откликался на первые призывы "Колокола", — говорит он в этом письме, — но вот преждевременно состарившийся, болезненный Станислав Ворцель встрепенулся при вести о русской типографии; он помогал мне делать заказы, рассчитывал число букв, устраивал станок в польскойтипографии. Угасая, святой старик и перед смертию благословил еще раз наш труд своей умирающей рукой. Второй лист, выпущенный русской типографией в Лондоне, был о Польше. Крестьянское дело и польский вопрос сами собой легли в основу русской пропаганды. И вот с тех-то пор, любезный Чарнецкий, мы десятый год печатаем с вами без устали и отдыха. Помощь, которую вы мне сделали упорной, неусыпной всегдашней работой, страшно мне облегчила весь труд... В лице вашем польская помощь и участие в нашем деле не перемежались... Спасибо вам!.. И тем больше спасибо вам, что начала наши были темны и бедны. Три года мы печатали, не только не продав ни одного экземпляра, но не имея возможности почти ни одного экземпляра послать в Россию; кроме первых летучих листов, отправленных Борцелем и его друзьями в Варшаву, все печатанное лежало у нас на руках или в книжных подвалах благочестивого Paternoster R W".

[258] Английская дымовая труба.

[259] Факт.

[260] "Короною" поляки называют собственно коренную Польшу, в отличие от Литвы и Руси, которые считаются у них «провинциями», относительно главной метрополии.

[261] Исторически верно. См. рапорт частного военного начальника Келецкого уезда военному начальнику Радомского отдела от 7-го мая 1863 года (Военный журнал от 19-го мая. "С.-Петербургские Ведомости" 1863 года, № 113) о смерти Полоцкого пехотного полка капитана

Никифорова.

[262] Да скверно платят, негодяи!

[263] Который был здесь, но как задал стрекача, так и до сих пор удирает.

[264] Который был здесь, но как задал стрекача, так и до сих пор удирает.

[265] Ветчины.

[266] Овса.

[267] Урочисько — урочище.

[268] Господа косиньеры, вперед, потому что стрелки не выдерживают.

[269] Пехота в сторону или в лес. Кавалерия скачет! Место для кавалерии!

[270] Удирайте, господа косиньеры, потому что в тылу пушки стоят.

[271] Воскресший из мертвых.

[272] Сераковский, с приездом в Вильну, изменил партии красных и перекинулся на сторону белых, Истребление помещичьих шаек в Витебской и Могилевской губерниях, равно как и поражение Сераковского при Гудишках, были громовые удары, понесенные белыми в течение апреля месяца. Красные с самодовольством смотрели как гибнут их противники: поражение при Гудишках они приветствовали как собственную победу (См. Рач — "Материалы для истории мятежа 1863 года", стр. 207).

[273] Гродненской губернии Волковыского уезда.

[274] Подлинные слова и мысли графа М. Н. Муравьева (См. В. Рач, стр. 219 и 239).

[275] Один только заграничный бюджет приходов, которые не могли быть скрыты, составляет 78,750,000 фр., из коих более 17-ти миллионов было внесено польскими патриотами одного лишь Северо-Западного края, а отчеты показали, что из польских пожертвований 51,605,080 фр. были расхищены разными ревнителями. А сколько украденных денег не попали еще в эти отчеты!.. (См. В. Ратч, стр. 237).

[276] Дзяковать — благодарить; дзякуймо — благодарим, спасибо.

[277] Зрабиц — сделать.

[278] Бачиц — видеть.

[279] "К вящей славе Божьей и славе Отечества" (лат.).

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch